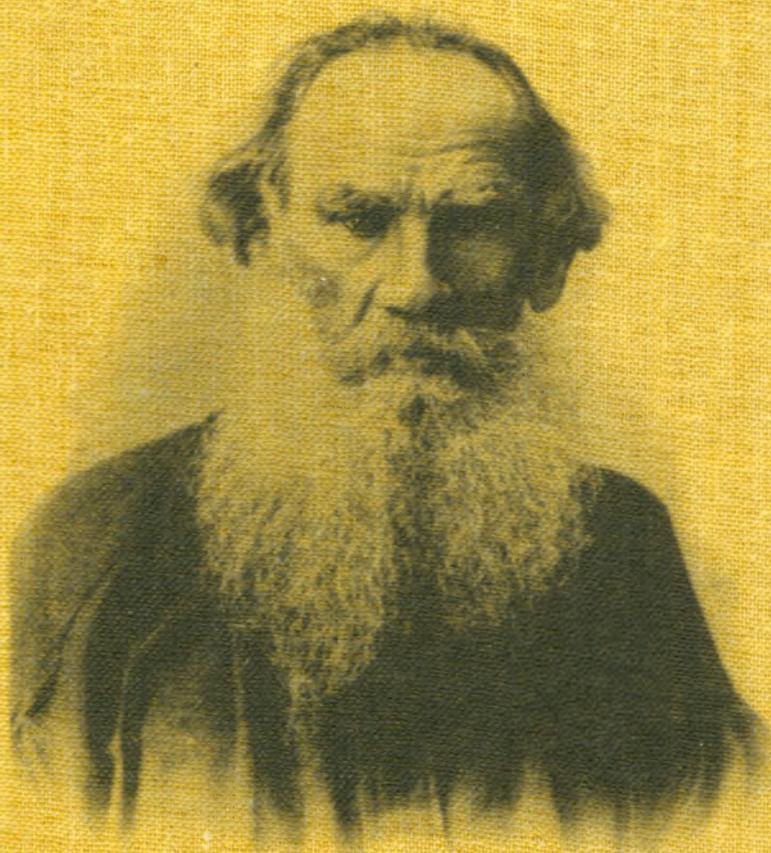


БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ИНТЕРВЬЮ
И БЕСЕДЫ
С ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ



•ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ•

БИБЛИОТЕКА



ИНТЕРВЬЮ И БЕСЕДЫ С ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ



Москва
1987

83.3P1
И58

Общественная редколлегия:
доктор филол. наук *Ф. Ф. Кузнецов*,
доктор ист. наук *А. Ф. Смирнов*,
доктор филол. наук *Н. Н. Скатов*,
доктор филол. наук *Г. М. Фридендер*

Составление, вступительная статья
и комментарии *В. Я. Лакшина*

И-4603010101—041 322—85
М106(03)—87

ББК83.3P1
8P1

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОК

Мы знаем Льва Толстого по его романам, повестям, рассказам, пьесам, философским и публицистическим статьям, дневникам и письмам. Но вот перед нами еще один необычный жанр, доносящий его живое слово,— беседы, интервью и газетные отчеты о встречах с яснополянским гением.

Толстовское литературное наследие собрано и прокомментировано у нас с особой тщательностью. Не имеет себе равных по полноте текстов и основательности комментария 90-томное (Юбилейное) издание сочинений Толстого, осуществленное в 1928—1958 годах. После этого издания и специальных «толстовских» томов «Литературного наследства» находки новых автографов — писем или черновых рукописей писателя — стали большой редкостью. Каждая строка кумира нашей литературы на учете у специалистов-толстоведов.

Заметным подспорьем для понимания творчества, взглядов и судьбы Льва Толстого стали дневники близких ему людей — В. Ф. Булгакова, А. Б. Гольденвейзера, Н. Н. Гусева, Д. П. Маковицкого и, конечно, С. А. Толстой. Немалое значение имеют и мемуары. Воспоминания о встречах с Толстым начали появляться еще при его жизни, а вскоре же после смерти хлынул настоящий мемуарный поток: журнальные публикации, отдельные книги, сборники воспоминаний. Уже в наши дни трижды, постоянно пополняясь, издавался сборник «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников».

За бортом сборников, объединивших собственно мемуары, оставались, однако, по большей части те беседы и интервью с Толстым, краткие, а иногда и весьма пространные газетные отчеты о встречах с писателем, какие появлялись при его жизни в отечественной и зарубежной прессе. Эти интервью и беседы с Толстым никогда не были собраны, лишь малое число их перепечатывалось к юбилейным датам в позднейшие десятилетия, а большая часть была и вовсе забыта и затеряна. Погребенные в

подшивках пожелтевших газет и не отмеченные даже тщательными библиографами, они оставались в большинстве своем неизвестными не только широкому читателю, но и специалистам-толстоведом.

1

В России газетное интервью с наиболее значительными лицами политического или литературного круга стало повседневностью лишь с 80—90-х годов прошлого века. Газеты существовали и при Пушкине, Гоголе, Лермонтове, но никто бы не вздумал брать у них интервью. Не давали газетам интервью и Достоевский, Тургенев, Некрасов. Сама эта форма еще не прижилась и не казалась законной или общественноинтересной. Но со второй половины 80-х годов живая беседа с писателем, отчет о встрече с ним стали пробивать себе дорогу на страницы русских газет, и первым из «интервьюируемых», конечно, стал Лев Толстой. Фигура «яснопольянского старца» — писателя, философа, страстного протестанта, религиозного реформатора — с каждым годом вырастала в глазах читающей России.

В 1891 году Н. Н. Страхов писал в статье «Толки о Л. Н. Толстом»: «Малейшие известия о том, что пишется и как живет в Ясной Поляне, газеты помещают наравне с наилучшими лакомствами, какими они угощают своих читателей, т. е. наравне с политическими новостями, с пожарами и землетрясениями, скандалами и самоубийствами. <...> Может быть, со времен Вольтера не было писателя, который производил бы такое сильное действие на своих современников»¹.

В самом деле, примерно с 1885 года в Ясную Поляну, как некогда в Ферней к Вольтеру, стекались паломники, желавшие видеть писателя и говорить с ним. Зимы Толстой обычно проводил в Москве, и его дом в Долго-Хамовническом переулке осаждали тогда корреспонденты русских и иностранных газет, давние почитатели «Войны и мира», новообращенные последователи его философии, да и просто любопытствующие. Его гостями бывали студенты, курсистки, фабричные рабочие, учителя, сектанты, крестьяне отдаленных губерний, семинаристы, репортеры, священники, актеры, ученые, музыканты, художники, врачи, юристы, ремесленники... Двери дома были гостеприимно открыты, и никому не было заказано ступить на его порог — даже никаких предварительных рекомендаций не требовалось.

Потрясенные встречей с Толстым, его личностью, его обращенной к любому и поражающей своей откровенностью беседой, многие посетители Толстого, не говоря уж о профессионалах-журналистах, спешили запечатлеть свои беглые наблюдения в заметках, становившихся достоянием газет.

¹ Вопросы философии и психологии, 1891, № 9, с. 98—99.

По количеству печатавшихся материалов можно судить о возрастающей всероссийской и мировой славе писателя. Сначала одно-два интервью с Толстым в год, потом — встречи с ним каждый месяц, далее — едва ли не каждую неделю. В 1908—1909 годах газетные репортеры выслеживали, казалось, уже каждый его шаг. Помимо представителей московских, петербургских, одесских и других русских газет у Толстого в разное время побывали корреспонденты из Англии, Франции, Америки и других стран.

Толстой никому не давал интервью в нынешнем смысле слова, по принципу «вопрос — ответ». Но он охотно поддерживал свободную беседу и не уклонялся от разъяснения тех вопросов, какие интересовали гостя: разговор велся обычно с живой непринужденностью. Конечно, мера его содержательности зависела и от уровня интересов, личности собеседника. Однако едва ли не каждый посетитель Толстого выносил из встречи что-то свое, подмеченное и записанное лишь им.

В беседах с гостями Ясной Поляны, в том числе и с профессиональными журналистами, Толстой затрагивал широкий круг вопросов, по сути, все, что волновало в тот момент его самого или отвечало интересам собеседников: новинки литературы, музыки, живописи, повседневный круг чтения обсуждались Толстым с тою же страстностью, что и новости политики и науки, религиозные и философские вопросы.

В какой мере, однако, можно доверять основательности и точности этих газетных и журнальных сообщений? На первый взгляд литературные мемуары в сравнении с летучими репортерскими отчетами — жанр более обдуманной и солидной. Мемуарист, как правило, располагает преимуществом дистанции времени: в его возможностях отсечь все частное и бросить должный свет на фигуру великого современника. Но интервью и беседы, появлявшиеся на газетной полосе «по горячему следу», сразу же после самой встречи или с малым промежутком после нее, обладают, в сравнении с поздними воспоминаниями, и своими достоинствами.

Мемуарист, собравшийся спустя годы восстановить подробности облика и подлинные слова великого человека, часто поневоле «досочиняет» на ходу. Лишь в тех случаях, когда в основу воспоминаний кладутся дневниковые записи, непосредственно приближенные к памятной встрече, можно рассчитывать на их достоверность. Трудно возлагать надежды на столь капризный, субъективный и избирательный инструмент, как человеческая память, работающая с заметными подмесами воображения. Закон, давно обнаруженный психологами: то, что автор воспоминаний несомненно видел и слышал сам, легко сливается в причудливую амальгаму с тем, что он вычитал в книге, узнал с чужих слов. Я уж не говорю о тех, тоже нередких, случаях, когда события «выпрямляются» и «подгибаются» в согласии с предвзятой точкой зрения или роль мемуариста бывает раздута в угоду тщеславию.

Не сбросишь со счетов и то обстоятельство, что мемуары, напечатанные иногда годы и десятилетия спустя после смерти знаменитого собе-

седника, лишены главного контроля — возможных возражений с его стороны.

Во всех этих отношениях жанр газетного отчета, беседы или интервью, разумеется также не свободный от субъективной окраски, в целом все же более надежный источник, чем большинство мемуаров о писателе. Суть обстоятельств и разговора, как правило, передается в нем точнее, конкретнее. Да и как иначе? Вооружившись карандашом и блокнотом, корреспондент обыкновенно ведет живую запись или, на худой конец, запечатлевает беседу по свежему впечатлению, оставшись один. В тот же самый или на следующий день еще не составляет труда восстановить подробности и весь ход разговора слово за словом, тогда как приводимая в воспоминаниях, написанных спустя десять или двадцать лет, прямая речь прославленного современника производит натянутое впечатление.

Кроме того, интервьюер поневоле чувствует дополнительную ответственность: «герой» его интервью всегда может прочесть описанную в газете встречу и резко реагировать на возможные неточности. В письмах, дневниках, записях секретарей Толстого не редкость встретить указания на то, что он читал в газете проведенное с ним интервью; бывало, что писатель поправлял задним числом или, напротив, одобрял побывавшего у него журналиста.

Этой нравственной узды начисто лишен мемуарист, сочиняющий свои воспоминания после смерти того, кому они посвящены.

Вот почему, наверное, в отличие от мемуаров, наиболее содержательные интервью могут быть включены даже в состав сочинений писателя. Так, в недавнем Собрании сочинений И. А. Бунина в разделе «Приложения» напечатаны и его газетные интервью.

С того момента, когда к известности Толстого-художника добавился его авторитет мыслителя и общественного проповедника, его имя не сходило со страниц русских и иностранных газет: нами разыскано более двухсот интервью и бесед с писателем разных лиц, по преимуществу журналистов-профессионалов. Трудно переоценить значение этого источника для изучения взглядов, творчества и биографии писателя.

Однажды, разговаривая с репортером «Новостей дня» Н. М. Никольским, Толстой произнес добрые слова о его профессии: «А ведь это — дело хорошее и интересное. Благодаря ему, что случилось в одной части города, становится известно в других частях, что случилось в городе — становится известным в России, Европе... Дело полезное — общаться, оно способствует общению людей между собою»¹.

В другой раз он неожиданно высказался о технике журналистского письма, сопоставив ее не без лукавства со своей работой художника:

«— Хотя я очень близко и не знаком с газетным миром, но к работникам его всегда чувствую некоторую зависть.

¹ Новости дня, 1900, 9 января.

— Почему так?

— Журналистам не приходится так уходить в работу с головой, отдаваться всем телом и душой своей идее и, наконец, испытывать те родовые муки, которые неизбежно всегда сопровождают появление на свет божий какого-нибудь произведения. Независимо от этого у журналистов вырабатывается техника, которой, признаюсь, даже у меня совсем нет¹.

Не следует, впрочем, представлять отношение Толстого к современной ему печати и журналистам как идиллию. Он не раз высказывался о газетах и газетчиках критически или с долей иронии, иногда на долгое время просто прекращал их читать.

Известен рассказ о том, как однажды он вовсе перестал выписывать в Ясную Поляну какие-либо периодические издания, рассудив, что ничего нового для тех задач душевного мироустройства, какие его занимают, он там не найдет. Прошло несколько лет, и один из гостей настойчиво рекомендовал ему заинтересоваться какой-то опубликованной недавно статьей. Обратившись к Софье Андреевне, Толстой посетовал, что этой газеты или журнала нет в их доме, и просил с нового года вновь подписаться на наиболее известные издания. Начав после нескольких лет перерыва вновь читать московскую и петербургскую прессу, Толстой, однако, был разочарован: он мог подумать, что что-то пропустил, чего-то не узнал, а на газетных полосах было все то же, что годы назад,— те же «вопросы», те же споры, даже слова и фразы знакомые...

Имеется, впрочем, документальное свидетельство, что Толстой, как пишет его секретарь Н. Н. Гусев, уже в последние годы регулярно проглядывал за утренним чаем одну из ежедневных утренних газет. «Сначала при мне такой газетой было «Новое время»,— пишет Гусев,— затем Лев Николаевич сменил его на «Русь», в которой находил два достоинства: газета эта печатала наверху первой страницы сведения о количестве смертных казней и приговоров за день (этот вопрос жгуче волновал Толстого.— В. Л.), а также перечень выдающихся событий за минувший день. Затем, летом 1908 года, Лев Николаевич стал читать «(Русское) Слово» и др.»².

Среди корреспондентов газет и журналов, посещавших Ясную Поляну, Толстой выделял некоторых журналистов, вызывавших у него профессиональное и человеческое доверие. В их числе нельзя не упомянуть корреспондента «Нового времени», известного театрального критика и драматурга Ю. Д. Беляева и корреспондента газеты «Русское слово» С. П. Спири. Эти журналисты не однажды беседовали с Толстым по разным вопросам и положили себе за правило точно передавать все оттенки мысли и сам способ выражения писателя. Точность была частью их журналистской этики.

¹ Курьер торговли и промышленности, 1895, 14 декабря.

² Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 358.

Не всегда, конечно, слова Толстого воспроизводились в печати верно. В иных случаях газетчики, особенно мелкотравчатых «бульварных» изданий, склонны были внести элемент сенсации в свои сообщения о Толстом, иные их сведения преувеличены и недостоверны, так что необходим тщательный отбор, проверка и комментирование этого материала. На характер интервью накладывала печать и личность интервьюера, его собственные цели и пристрастия, способ ставить вопросы и манера выражать свои мысли. Не зря Толстой заметил как-то, что с умным собеседником — умнеешь, с глупым — глупеешь... Среди посетителей Толстого встречались бесцеремонные репортеры, которые не брезговали тем, чтобы расцветить газетную страницу вымышленными подробностями о «визите к графу» или приписать ему слова, каких он сроду бы не произнес.

Бывали и вовсе анекдотические случаи, когда журналист, побывав на коротке в Ясной Поляне и поговорив лишь с извозчиком, доставившим его от станции, а после с родными и прислугой, разукрашивал газетный рассказ перлами собственного воображения. «...Я бываю изумлен иногда, — прочитав будто бы «свою» речь, — сказал как-то Толстой корреспонденту «Нового времени». — Приезжал ко мне недавно один господин и попросил позволения напечатать нашу беседу. Я разрешил. Но слава богу, что этот визитер прислал мне свое писанье на предварительный просмотр: боже мой, чего только не сочинил автор статьи! Я просто диву дался»¹.

Вопиющие случаи таких недостоверных «бесед с Толстым» вызывали возмущенные отклики в печати его близких, друзей, а также известных литераторов, желавших охранить достоинство автора «Войны и мира» от притязаний наглой бульварщины. Так, Н. С. Лесков дважды выступал в газетах с фельетонами по поводу появившихся в 1888 году в двух номерах «Русского курьера» рассказов о пребывании в Ясной Поляне некоего Штанделя. За девяносто минут этот репортер «успел сделать девять совершенно фальшивых наблюдений, средним числом он каждые десять минут принимал что-нибудь одно за другое или даже видел то, чего совсем нет»².

Случай со Штанделем не был такой уж редкостью. В газете «Юмористическая копейка» появилась даже некая пародия на этот жанр под заглавием «Толстой и интервьюер»:

«Промучив 12 часов Софью Андреевну, 12 часов Татьяну Львовну и 12 часов Александру Львовну, интервьюер принялся за Льва Николаевича.

— Правда, что вы граф? — спросил интервьюер.

— Правда!

— Правда, что вы носите блузу? Я хоть вижу это, но хотел бы для верности услышать это от вас самих.

— Правда!

Так допрашивал он Льва Николаевича три дня и три ночи.

¹ Новое время, 1899, 6(18) марта.

² Лесков Н. С. О хождении Штанделя по Ясной Поляне. — Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1958, т. 11, с. 199. См. также статью Лескова «Девочка или мальчик?» (там же, с. 200—202).

Четвертый день интервьюер начал следующим вопросом:

— Правда, что вы проповедуете непротивление злу?

— Правда, — ответил Лев Николаевич. И добавил с приятной улыбкой: — У меня есть даже доказательства.

— Какие? — встрепенулся интервьюер.

— Вы еще до сих пор не были спущены с лестницы...¹

Понятно, что в разумной доле скептицизма и критическом взгляде нуждается едва ли не любое газетное сообщение о встречах и беседах в Ясной Поляне. Но есть случаи, когда достоверность сведений о Толстом в газетной статье неоспорима, а прямая речь писателя, приведенная в интервью, может быть приравнена к авторскому тексту. Это те случаи, когда безусловно доказано, что Толстой сам просмотрел текст интервью или газетного отчета перед публикацией или даже собственноручно выправил его в гранках.

В 1903 и 1906 годах в Ясную Поляну приезжал с заданием редакции уже упоминавшийся сотрудник газеты «Новое время» Юрий Беляев. Известный журналист, он понимал, насколько ответственное дело предавать гласности беседу с Толстым. И, вернувшись в Петербург, в обоих случаях заблаговременно посылал в Ясную Поляну набор своей статьи, чтобы Толстой мог внести необходимые поправки и уточнения.

Гранка первой из этих статей с многочисленными исправлениями и вставками Толстого на полях недавно была обнаружена в фондах Ленинградского театрального музея в составе коллекции книг и автографов Протопопова. Еще в 1912 году эта гранка с энергичной правкой Толстого была воспроизведена в крайне редком библиографическом издании «Библиотека В. В. Протопопова» (Спб., 1912)². Работа писателя над этой корректурой не оставляет никакого сомнения в том, как внимательно относился Толстой в иных случаях к воспроизведению своих слов и оценок в печати.

12 июня 1906 года Толстой писал Беляеву: «Возвращаю Вам, любезный Юрий Дмитриевич, корректуры Вашего очень хорошо составленного фельетона»³. Есть все основания говорить о полной *авторизации* этой беседы Толстого с журналистом. В дневниках С. А. Толстой и секретарей писателя зарегистрированы и другие случаи просмотра Толстым корректурных оттисков своих интервью. Толстой предварительно знакомился со статьями о себе корреспондента «Руси» А. Зенгера, корреспондента «Русского слова» С. П. Спири, журналиста Н. Чудова из «Орловского вестника» и некоторых других своих посетителей.

¹ Юмористическая копейка, 1910, № 68.

² См.: Л а к ш и н В. «...Точность прежде всего!» — Журналист, 1978, № 9.

³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90-та т. Юбилейное изд. М., 1928—1958, т. 76, с. 160. Далее все цитаты из Толстого даются по этому изданию с указанием лишь тома и страницы.

При чтении этой книги читателя, мало знакомого с полным противоречий, парадоксальным и ярким способом мысли Толстого, многое способно ошеломить, и, может быть, более всего — отсутствие почтения к любым авторитетам.

В «философических замечаниях» 1846—1847 годов совсем еще молодой Толстой писал: «Я начинаю историю моего познания с того момента, до которого я шел одинаково с другими». Общеизвестное заранее выносится за скобки, каждое утверждение представляет собою скрытый или явный спор.

Враг любой банальности, касается ли она расхожего вкуса, интеллектуальной моды или навязшего в зубах школьного постулата, Толстой смело заявлял протест, основываясь на здравом смысле, изучении или просто пронизательной догадке. Дерзость мысли, отвержение полуправд, уклончивостей и компромиссов сообщали могучую силу его гению. Конечно, в конкретных случаях политики, философии и эстетики это не спасло его и от множества ошибок, опрометчивого увлечения и поспешного суда — тем более наглядных, чем яростнее настаивал он на своем. Но та же страсть Толстого к бескомпромиссной правде, как он ее понимал, представила в ясном, нагом свете истины множество проблем, до той поры закомуфлированных угодливым сознанием, деспотизмом моды или равнодушным обыденного рассудка.

В разговорах с посетителями Ясной Поляны и Хамовников Толстой касался самых различных тем, но с наименьшей охотой говорил о своем художественном творчестве.

Тем интереснее нам все, даже скупое оброненные, замечания Толстого о собственной работе, художественных замыслах поздних лет: романе «Воскресение», повести «Хаджи-Мурат», не воплощенных, но занимавших его долгие годы сюжетах «Подмененный ребенок» и «Николай I и декабристы». Он писал в эту пору и пьесы: «И свет во тьме светит», «Живой труп», присутствовал на репетициях «Власти тьмы» в Малом театре. Его много спрашивали об этом, и он отвечал охотно. Замечания Толстого о том, как трактовать роли Акима или Никиты,— готовая программа для артиста.

Литературные вкусы Толстого резко определены и порой пристрастны. С огромным уважением поминает он в публикуемых беседах имени Пушкина, Гоголя, Герцена, Достоевского. Однако скептически отзываясь о критиках-шестидесятниках и даже о Белинском, некогда им высоко ценимом (см. Дневник 1856 г.). Непримиимо высказывается Толстой о всех разновидностях модного декадентства; поддерживает, дружески критикуя по частным поводам, новое поколение русских писателей-реалистов.

Глубокий интерес проявляет Толстой к Чехову и Горькому, а из более молодых — к Леониду Андрееву и Куприну. Многие его оценки и здесь остры, пристрастны и субъективны. Так, высоко ценя прозу Чехова, он

решительно отвергает его как драматурга¹. Скептически отзываясь Толстой о пьесе «На дне» и вообще о теме босяка у молодого Горького. За рамками публикуемых интервью остались, однако, другие высказывания Толстого о Горьком: он признавал заслугу Горького в том, что тот «в натуральную величину» изобразил мир обездоленных оборванцев и сделал по отношению к ним то же, «что в свое время сделали Тургенев, Григорович по отношению мира крестьянского...». В дневнике за 11 мая 1901 года Толстой уточнил свое понимание темы молодого Горького: «Мы все знаем, что босяки—люди и братья, но знаем это теоретически, он же показал нам их во весь рост и заразил нас этой любовью» (т. 54, с. 98).

Непривычно, дерзко звучат и многие оценки Толстым признанных явлений мировой культуры. Он нападает на сложившиеся веками репутации, как будто хочет нарочно эпатировать публику. Однако дело тут не в прихотях вкуса, хотя Толстой всегда разрешал себе прямо выражать то, что чувствует, и не терпел в оценках прочитанного и услышанного ни малейшего притворства. К явлениям искусства, помимо непосредственных суждений «нравится» или «не нравится», он пытался приложить строгие мерки христианского, религиозно-нравственного содержания, как он его понимал. Вследствие этого он упорно отрицал драмы Шекспира, скептически относился к творчеству Гёте и явно недооценил Бетховена. Впрочем, художественная впечатлительность нередко поправляла хмурый суд моралиста, и Толстой с восхищением говорил журналистам не только о дорогах его сердцу просветителях — Лихтенберге и Руссо, но не скрывал своего увлечения поэзией Гейне или музыкой Шопена, хотя и спешил оговориться, что это выглядит как бы исключением в свете его общего понимания задач искусства.

Конечно, осуждение Толстым «Божественной комедии» Данте или драм Ибсена не заставит нынешнего читателя поколебаться в отношении к прославленным именам и усомниться в их созданиях. Но толстовские оценки, всегда недвусмысленные и прямые, помогают глубже понять особенности его собственной эстетики: крупный талант избирателен, часто полемически отталкивает от себя чужеродное ему, и с тем большим задором, чем несокрушимее кажутся признанные репутации.

Искренний максимализм, откровенность и независимость суда подкупают и в суждениях Толстого на общественные темы. В беседах со своими посетителями Толстой охотно откликается на «злобу дня», события современной ему политической жизни: с резким неодобрением отзываясь о деятельности Государственной думы; в пору англо-бурской войны выступает в защиту народов Южной Африки; высказывается по поводу греко-турецкого конфликта вокруг Крита; осуждает политику репрессий царского правительства по отношению к сектантам и т. п. Толстой отзываясь на события Кровавого воскресенья 9 января 1905 года. В его голосе — слезы и гнев, когда он говорит о смертных казнях.

¹ См. об этом в кн.: Л а к ш и н В. Толстой и Чехов. 2-е изд. М., 1975.

Конечно, приходится учитывать, что многие большие темы внутренней жизни России, волновавшие Толстого, не могли найти себе отражения на страницах газет подцензурных и зависимых. Но и получившие выход в печать мысли Толстого, как, например, его суждения о русском «парламентаризме» или аграрном вопросе, звучали крайне дерзко, еретически. Толстой неизменно оставался, говоря словами В. И. Ленина, «срывателем всех и всяческих масок».

Хотя Толстой и рассуждает обычно как воинственный архаист, в живом своем облике он предстает человеком нового времени, стоящим на пороге или уже перешагнувшим в XX столетие. Он пользуется «вечным» пером, его снимают в кинематографе, он наговаривает тексты на восковые валики аппарата Эдисона и интересуется успехами воздухоплавания. Но в главном он остается верен природе и земле, выражает опасение, как бы прогресс науки и техники не ущемил естественного бытия человека на его планете. Он страшится наступления века «автоматов-машин» и, вопреки общим надеждам, не верит, что аэропланы как новое могущественное средство войны сделают ее бессмысленной и переменят судьбу человечества. Кое в чем он упрямо наивен, но оказывается порой пронизательнее своих благодушных современников, упоенных успехами технического прогресса и не склонных замечать постепенного оскудения природы и других горьких плодов пышно цветущего древа цивилизации.

Противоречия мысли Толстого, отмеченные В. И. Лениным, сказываются и в публикуемых беседах. Они заметны прежде всего в его полемике с материализмом, проповеди религиозно-нравственных идеалов, в проклятиях «современному Вавилону» — городу, в отрицании роли революционного насилия. Все это, разумеется, никуда не денешь из совокупности взглядов Толстого.

Нынешнему читателю куда проще, чем современникам Толстого, отделить «предрассудок» писателя от его «разума». Но интересно отметить, что даже некоторые из беседовавших с Толстым журналистов, далеко не во всем соглашаясь с ним, апеллировали к будущему историческому опыту. «Я уже не раз во время беседы замечал,— пишет Е. А. Соловьев (Андреевич), выступавший под псевдонимом Скриба,— что всякие несогласия и возражения очень неприятно действуют на Толстого. Он раздражается и говорит зло, красиво, с воодушевлением. Здесь он доказывал невозможность стачек, безумие каких бы то ни было баррикад и революционных попыток, говорил о Чингисханах с телеграфами, о том, что парижский макадам (щебенная мостовая) сделал немислимыми баррикады, и о том, что такой макадам теперь везде и повсюду. Я, впрочем, думаю, что эту часть моего разговора с Толстым читатель с гораздо большим интересом и гораздо большей пользой для себя прочтет в «Русской старине» 1953 года»¹ (т. е. через 50 лет — В. Л.).

¹ Одесские новости, 1903, 22 июля.

В наше время и впрямь смешны надежды Толстого на то, что замена булыжника — привычного «оружия пролетариата» — щебенкой на мостовых сделает невозможными революционные бои на городских улицах. Все это проверено и опровергнуто историей. И только лишний раз подтверждает, как тесно сплетены в высказываниях Толстого мудрость и заблуждение, сильные и слабые стороны его гения.

3

Сейчас нам ценна каждая крупница нового знания о Толстом, и оттого мы с таким любопытством листаем подшивки старых газет, с волнением всматриваемся в «столбцы» и «подвалы», где снова и снова мелькает его имя. Публикация интервью и бесед с Толстым помогает уточнить множество сведений, фактов, дат, пополнить канву летописи его жизни и творчества.

Однако помимо этого газетные летучие материалы создают в совокупности и живой образ Толстого.

Во многих воспоминаниях отмечено и стало уже неким общим местом, что «ни один портрет не передает» подлинность выражения лица, глаз Толстого. Отчего же его внешность и художниками, в том числе очень талантливыми, и мемуаристами, в том числе весьма точными, рисуется поразному? Очевидно, лицо его жило, он часто менялся в течение одних суток, одного дня, в течение часа, не говоря уж о том, как меняли его годы. Также и внешность усадьбы, обстановки дома: в обжитом жилье — все живое, вещи меняют места, теряются, ветшают, заменяются новыми, пропадают как сквозь землю. Даже при самом устойчивом быте происходит это изменение обихода, «среды обитания».

В репортажах газет, современных Толстому, для нас запечатлены мгновенные снимки «уходящей природы»: зарисовки быта усадьбы и городского дома Толстых, черты обстановки и окружения, одежды, походки, облика самого Льва Николаевича в разные минуты жизни.

Надо принять в расчет еще и силу первого впечатления. Люди, наблюдавшие Толстого день изо дня, привыкшие к нему, как Софья Андреевна, дети, секретари и домашний врач, многого не замечали и не регистрировали просто в силу привычности впечатления. Не приходило в голову отмечать всякий раз, во что был одет Толстой, что он ел, как он выглядел в тот или иной рядовой день. А для случайного пришельца все это было полно значения и усиливалось сто крат его возбужденным вниманием: «Сейчас он увидит Толстого!» — и все пять чувств начинали работать с максимальной остротой.

Может показаться, что описания дороги в Ясную Поляну или Хамовники, разговоры о «графе» с ямщиком или прислугой, подробные описания жилья, расположения мебели и картин на стенах, бюллетени о состоянии здоровья Толстого грешат избытком праздного любопытства. Может показаться чрезмерной и подробность воспроизведения всех частных мне-

ний и суждений Толстого о событиях и людях, о войнах, Думе, земле, крестьянах, о религии, науке, искусстве, об англичанах, французах и бурах, о спорте, кинематографе, аэропланах, о духоборах, молоканах, народных школах, вегетарианской пище, чае из земляники, о министрах, врачах и сумасшедших, об охоте, Сибири и железных дорогах. Оправдан ли этот калейдоскоп?

Пусть некоторые сведения интервьюеров и случайных посетителей Ясной Поляны неточны, неполны, впечатления разрозненны и субъективны, все равно из этих десятков взглядов, брошенных на великого собеседника с разной мерой проникновения, наблюдательности и просто ума, встает в совокупности неповторимая фигура Толстого. Так из многих неподвижных кадров в киноленте, когда их число достигает двадцати четырех в секунду, складывается движение, воспринимаемое глазом, — изображение оживает. То, что сочтет несущественным или о чем забудет сказать один посетитель Толстого, непременно подцепит на кончик пера другой. А в целом возникает достоверный облик великого писателя и человека.

4

Интервью и беседы с Львом Толстым интересны не только тем, что нового мы узнаем о Толстом, какие слова его слышим, но и тем, как воспринимался он современниками, какое место занимал в их сознании. К началу XX века и еще при жизни Толстой стал легендой. В глазах русского общества и всего просвещенного мира он был чем-то несравненно большим, чем просто литератор, пусть даже самый выдающийся.

Апостол нового вероучения для одних, он для других был примером безоглядного обличения всех язв русской жизни, воплощением неофициальной власти совести и слова. Одиноким пророком, он умел и смел громко выговаривать правду, неприятную правительству и церкви, идущую наперекор сословному и национальному предрассудку. Его суда боялись, к его голосу прислушивались; гордились, что живут в одно время с таким человеком-гигантом. Помощь Толстого голодающим, протесты против смертной казни, его отлучение Синодом от церкви, наконец, его уход из Ясной Поляны и смерть в пути становились событиями, обсуждавшимися в каждой грамотной русской семье.

На рубеже XX века публику все более интересовали личность и лицо творца. И русские буржуазные газеты (среди них одна из первых — «Новое время») хорошо это поняли и этим воспользовались. Идя навстречу жадному желанию публики знать о Толстом больше, знать во всякую пору, что он делает, что пишет, о чем думает, как относится к тем или иным современным событиям, редакции и посылали к нему то и дело корреспондентов или пользовались сведениями других лиц — литераторов, учителей, студентов, только что побывавших в Ясной Поляне. Свежие сведения о Толстом прочитывались жадно, перепечатывались другими газета-

ми и, как правило, становились достоянием всей читающей русской публики. Жизнь людей в конце прошлого и начале нынешнего века шла как бы в постоянном ощущении присутствия Льва Толстого.

Публику не по праздному любопытству волновала частная жизнь и приемы, внешность и быт, портрет и мнения автора «Войны и мира» и «Воскресения». Это была инстинктивная попытка понять, какими человеческими силами вызвано к жизни это художественное чудо, чем можно объяснить такую редкостную творящую способность в человеке. Но общественный «феномен Толстого» объяснялся и невольным желанием увидеть в ком-то, сильно действовавшем на твое воображение, защитника, образец и жизненный пример. Рождалась гордость уже одной принадлежностью к сонму его современников, к числу людей вообще.

И внимание к мелочам быта, частностям его вкусов и мнений — не пустой фетишизм, а желание видеть в великом совершенство, возможность прислониться душой к какому-то безусловному авторитету и, в случае крайней нужды, явиться к нему за поддержкой и советом.

Пусть это издержки «легенды», всегда творимой вокруг великого имени, но создатели прекрасных книг не могут, как издали кажется, жить подобно заурядным людям — носить те же пиджаки, есть и пить, как все, страдать от житейских пустяков и мучиться нескладницами дома и в семье. А когда узнается, что все это при них и гений не защита от конфликтов и бед обыденной жизни, какое-то теплое сочувствие разливается в читателе. И не злорадство, а лишь большее понимание рождает эта похожесть: Лев Толстой — а «ничто человеческое ему не чуждо».

Иных отталкивали, а иных привлекали в Толстом его «чужачества»: шитье сапог, работа за плугом, вегетарианство, блуза. В отношении же мира мнений, он завоевывал внимание большинства тем, что ничего не боялся, верил лишь искренности и громко, ясно выговаривал вслух то, о чем многие лишь шептались или еще вовсе не успели осознать и подумать. Он мог ошибаться, заблуждаться, преувеличивать — ему прощалось, как никому другому. Не он ли как молотом разбивал общественную рутину, ложь, застой мысли? И за одно это, даже слепо не поклоняясь ему, можно было им восхищаться.

Оттого многие годы, при переменах моды на тех или иных беллетристов, журнальных пророков и общественных философов, не иссякал интерес публики к Толстому: ошибочное его мнение казалось ценнее обкатанного профессорского или газетного трюизма. Оттого и у многих людей, даже у самых духовно независимых и сильных современников, каковы, к примеру, Чехов, Блок или Горький, одна мысль о возможной смерти Толстого вызывала сознание огромного духовного сиротства.

«— Вот умрет Толстой—все к черту пойдет!— говорил Бунину Чехов.
— Литература?
— И литература»¹.

¹ Б у н и н И. А. Собр. соч.: В 5-ти т. М., т. 5, с. 274.

А Горький восклицал в неотправленном письме к Короленко: «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»¹

И Блок писал в статье «Солнце над Россией»: «Часто приходит в голову: все ничего, все еще просто и не страшно сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой... Пока Толстой жив, идет по борозде за плугом, за своей белой лошадкой,— еще росисто утро, свежо, нестрашно, упыри дремлют, и — слава богу. Толстой идет — ведь это солнце идет. А если закатится солнце, умрет Толстой, *уйдет последний гений*, — что тогда?»²

А Брюсов рассуждал, едуци на похороны в Ясную Поляну: «Будущие поколения узнают о Толстом многое, чего не знаем мы. Но как они будут завидовать всем, кто имел возможность его видеть, с ним говорить, сколько-нибудь приблизиться к великому человеку, и даже тем, кто, подобно мне, мог собирать сведения о Толстом от знавших его лично! Теперь, когда Толстого нет, мы начинаем понимать, как много значило — быть его современником!»³

Слова Брюсова помогают лишний раз оценить значение того источника сведений о Толстом, с каким встретится читатель в этой книге. Интервью, беседы, репортажи о Толстом, взятые в целом, предстают как факт общественного сознания, восприятия современниками его личности. Даже принимая в расчет отдельные неточности, приблизительную передачу слов Толстого в иных из этих газетных материалов, мы можем представить себе, что думали, что знали о Толстом из русской прессы его первые читатели. А для историка общественной мысли это в конечном счете явление не менее объективное, чем подлинность поступков и слов Толстого, запечатленных документально.

5

Из разысканных в старых газетах и журналах интервью, бесед с Толстым и репортажей о нем нами отобрано сто шесть. В состав этой книги, ради полноты впечатления, в двух-трех случаях включены материалы, перепечатававшиеся в сборниках о Толстом в советское время. Но с огромным большинством статей и репортажей наш читатель сможет познакомиться впервые. Отвергнуты и не включены в текст книги явно недостоверные или малосодержательные интервью с Толстым, вы-

¹ Горький М. Лев Толстой.— В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. М., 1978, т. 2, с. 492.

² Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М.— Л., 1962, т. 5, с. 303.

³ Брюсов В. Я. На похоронах Толстого. Впечатления и наблюдения.— В кн.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 451.

зывавшие возражения его самого или его близких, становившиеся предметом полемики в печати.

Некоторые беседы с Толстым появлялись в дореволюционных журналах с временным интервалом, иногда спустя несколько лет после имевшей место встречи. Мы включили в книгу те из них, которые отличаются от мемуаров в собственном смысле слова двумя признаками: опубликованы при жизни Толстого (исключение — две последние беседы, напечатанные сразу же после его смерти) и основаны на предварительной документальной записи.

В этой книге читатель познакомится с беседами и интервью, напечатанными в русских газетах и журналах. Разысканные нами материалы этого рода, появившиеся в газетах и журналах Америки, Англии, Франции, Италии, Испании, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Словакии, Польши, Германии, Японии и других стран, могут составить еще одну книгу примерно такого же объема, как лежащая сейчас перед читателями¹. В настоящее издание включены лишь те из иностранных корреспонденций, которые перепечатывались в России и становились, таким образом, приметой русской общественно-литературной жизни, фактом сознания отечественного читателя.

Купюры, к которым мы прибегли в ряде случаев, всякий раз отмечая их многоточием в угловых скобках, связаны с устранением повторов в описании дороги к Толстому, его усадьбы и т. п., а также побочных мотивов, не связанных непосредственно с интересующей нас темой.

Следует учесть, что корректура в газетах и журналах, конца XIX — начала XX века, в частности провинциальных, велась весьма небрежно, а особенности орфографии и пунктуации оставались на совести издателей. Мы не имели в виду строго унифицировать этот разнобой и лишь исправили явные опечатки, небрежности, обычные в газетном листе, страдающем отсутствием хорошей корректуры. Когда произвол в способах передачи прямой речи, особенностях грамматики и синтаксиса был слишком очевиден, мы позволили себе привести его к современной удобочитаемой норме.

Мне остается выразить мою глубокую признательность Николаю Федоровичу Кайдашу, помогавшему мне в библиографических и текстологических разысканиях. Я благодарен также сотрудникам Государственного музея Л. Н. Толстого за их неизменное благожелательство, а Лидии Дмитриевне Опульской и Артуру Федоровичу Ермакову — за ценные советы и замечания на разных этапах этой работы.

Владимир Лакшин

¹ Некоторые материалы этого рода предварительно опубликованы нами в «Литературном наследстве», (М., 1965, т. 75, кн. 2) — «Вблизи Толстого». Корреспонденции Андре Бонье в «Temps» — и журнале «Иностранная литература» (1978, № 8) — «Лев Толстой беседует с Америкой». Интервью с Толстым Эндру Д. Уайта, Джеймса Крилмена, Стивена Бонсла, Генри Джорджа-младшего.

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Г. ДАНИЛЕВСКИЙ

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(Поместье графа Л. Н. Толстого)

Из письма к редактору: «Вы мне предложили рассказать для читателей «Исторического Вестника» о моем недавнем посещении Ясной Поляны, поместья графа Л. Н. Толстого. Охотно беру из моей записной книжки, относительно этой поездки, то, что вправе был бы, не нарушая чужой скромности, рассказать всякий, посетивший жилище знаменитого отечественного писателя».

Это было минувшею осенью. Стояла теплая, тихая погода. Легкие белые облачка редели и таяли над зелеными холмами, долинами и желтеющими лесами Крапивенского уезда, Тульской губернии. Солнце готовилось выглянуть. Был полдень 22 сентября.

Скорый поезд курской дороги, не доезжая Тулы, остановился на две минуты у станции Ясенки. Я вышел из вагона и пересел в тарантас.

Каждый, кому дорого имя любимейшего из русских писателей, творца «Войны и мира» и «Анны Карениной», поймет, с каким чувством, получив на пути пригласительную телеграмму¹, я ехал навестить хозяина Ясной Поляны.

Иностранцы, в особенности англичане, с особенною любовью встречают в печати описания жилищ и домашней обстановки своих писателей, художников, общественных и государственных деятелей. В «Graphic», «Illustrated London News» и других изданиях давно помещены превосходные фотогравюры и описания деревенских жилищ Тенниссона, Диккенса, Гладстона, Вальтер-Скотта, Коллинза и других. Здесь изображены не

только «рабочие кабинеты», «приемные» и «столовые» лучших слуг Англии, но и места их обычных сельских прогулок, скамьи под любимыми деревьями, виды на поля и пруды и проч. Нельзя не пожалеть, что наши художники еще не ознакомили русского общества с видами поместьев Гоголя, Аксаковых, Островского, Хомякова, Григоровича, Фета, Л. Н. Толстого и других. Это в особенности приходит в голову при посещении Ясной Поляны.

Едучи в это поместье, я невольно вспомнил и другое обстоятельство, а именно те странные и противоречивые толки и слухи, которые в последнее время возникли о гр. Л. Н. Толстом, не только в обществе, но и в печати. Еще недавно, в изданной весной 1884 года, в пользу литературного фонда, переписке Тургенева, все с недоумением прочли трогательное, предсмертное письмо карандашом автора «Дворянского гнезда» к графу Л. Н. Толстому. Умиравший Тургенев обращался к последнему (в июне 1883 года, из Буживаля) с такими загадочными, последними словами: «Милый и дорогой Лев Николаевич! друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель Русской земли, внимайте моей просьбе...» Разнообразные толки и пересуды о графе Л. Н. Толстом, как известно, выросли, наконец, в целые легенды. Иностранная печать подхватила эти толки и пошла еще далее. В одном из выпусков известного парижского журнала «Le Livre» (№ 70, 1885 г., стр. 549) под заглавием «Россия» явилось даже такое чудовищное известие: «Уверяют, что граф Лев Николаевич Толстой достигнут умопомешательством и что его должны подвергнуть заключению». В этом известии удостоверяется, между прочим, будто Л. Н. Толстой «бросил перо писателя, чтобы лично заняться усовершенствованием обуви и одежды», и проч., и проч.

Нам, русским, не в диковину подобные разглашения о людях, с самостоятельным, сильным умом, переживающих душевную борьбу. «Миллион терзаний» Чацкого кончился известною сценою:

«С ума сошел? — А, знаю, помню, слышал!

Как мне не знать? Примерный случай вышел...

Схватили, в желтый дом и на цепь посадили!

— Помилуй! он сейчас здесь в комнате был, тут...

— Так с цепи, стало быть, спустили!»

Помню, что под впечатлением подобных же ложных толков я ехал когда-то с покойным О. М. Бодянским впервые к Гоголю. Об этом свидании я расскажу в другое время². Надо надеяться, что известный, острый эпизод с отношениями рус-

ской критики пятидесятих годов к Гоголю, по поводу его «Переписки с друзьями» будет когда-нибудь заново пересмотрен и решен другим, более спокойным и беспристрастным составом «присяжных» ценителей. Былые разглашения о Гоголе, как и о Чаадаеве, в сущности та же трагикомедия Чацкого. Неудивительно, что злые пересуды коснулись и современного нам, своеобразного русского писателя.

Резвые, сытые лошадки, погромыхая бубенцами, весело неслись с холма на холм, между жнивьем и свежих озимей, по которым паслись овцы и скот.

— Что это за поселок? — спросил я на пути возницу.

— Кочаки.

— Помещичий?

— Купцы.

— А та, вон, вдали, деревня, на взгорье? чей дом за лесом, с зеленою крышей?

— Ясная Поляна... дом графа Льва Николаевича.

Тарантас, свернув с шоссе, понесся большою дорогой.

Скажу несколько слов о моей первой встрече с графом Л. Н. Толстым. Я с ним познакомился в Петербурге, в конце пятидесятих годов, в семействе одного известного скульптора-художника³. Тогда автор «Севастопольских рассказов» только что приехал в Петербург и был молодым и статным артиллерийским офицером. Его очень схожий портрет того времени помещен в известной фотографической группе Левицкого, где вместе с ним изображены Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский и Дружинин. Граф Л. Н. Толстой, как теперь помню, вошел тогда в гостиную хозяйки дома во время чтения вслух нового произведения Герцена. Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена⁴. Надо вспомнить, что это суждение было высказано задолго до поры, когда русское общество, а под конец и сам Герцен, разочаровались во многом, чему тогда так от души поклонялись.

Припоминается мне и другой случай разногласия графа Л. Н. Толстого с признанными авторитетами былого времени, где он опять явился победителем. Это было лет десять спустя.

В конце шестидесятих годов, сперва в отрывках — в «Русском вестнике», — потом отдельным, полным изданием, вышел в свет знаменитый роман графа Л. Н. Толстого «Война и мир». Вскоре затем в «Военном Сборнике» явился разбор этого произведения А. С. Норова, под заглавием: «Война и мир, 1805—1812 гг., с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника». Приехав с юга в Петербург, я осенью 1868 года навестил в Павловске А. С. Норова, при котором, незадолго перед тем, я служил в качестве его секретаря. Он прочел мне свой отзыв о романе графа Л. Н. Толстого.

Увлеченный достоинствами романа, я с досадою слушал разбор А. С. Норова и спорил с ним чуть не за каждое его замечание. На мои возражения Норов отвечал одно: «Я сам был участником Бородинской битвы и близким очевидцем картин, так неверно изображенных графом Толстым, и переубедить меня в том, что я доказываю, никто не в силах. Оставшийся в живых свидетель Отечественной войны, я без оскорбленного патриотического чувства не мог дочитать этого романа, имеющего претензию быть историческим». На это я ответил Норову, что не всегда отдельные участники и очевидцы крупных исторических событий передают их вернее позднейших исследователей, хотя бы и романистов, получающих доступ к более всесторонним и разнообразным источникам, и что, между прочим, художественная правда произведения графа Толстого вовсе не зависит только от того, стояла ли именно такая-то колонна, во время описанного им боя, направо или налево от полководца и проч., и проч.

Более всего Норов нападал на одно место в романе.

— Граф Толстой, — говорил он мне, — рассказывает, как князь Кутузов, принимая в Царёве-Займище армию, более был занят чтением романа Жанлис — «Les chevaliers du Cygne»*, чем докладом дежурного генерала. И есть ли какое вероятие, чтобы Кутузов, видя перед собою все армии Наполеона и готовясь принять решительный, ужасный с ним бой, имел время не только читать роман Жанлис, но и думать о нем?

— Но что же тут невозможного? — возразил я критику, — быть может, это был расчет со стороны Кутузова, чтобы видимым своим спокойствием ободрить окружающих. Да притом так свойственно всякому человеку стремление, подчас чем-либо совершенно посторонним, чтением книги или не идущим к делу разговором, успокоить потрясенные свои чувства и,

* «Рыцари лебеда» (фр.).

через это внешнее отвлечение, хотя бы на миг оторваться от тяжелой и роковой действительности.

Я приводил Норову примеры из жизни великих людей: Цезаря, Петра I, Александра Македонского и других. При этом я ему напомнил, что Александр Македонский в персидском походе не расставался с Гомером и, среди столкновений с азиатскими кочевниками, переписывался с своими друзьями в Греции, прося их о высылке ему произведений греческих драматургов. Наконец, указывая Норову на описание последних дней приговоренных к смертной казни, я просил его вспомнить, что иные из них, за несколько часов до неминуемой смерти, искали беседы с тюремщиками о театре и других новостях дня или с увлечением читали своих любимых поэтов.

— Все это так, мой милый, все это могло случиться, но с другими людьми и в иные времена! — возражал мне Норов. — Мы же в двенадцатом году не были искателями приключений, вроде Цезаря или македонского героя, а тем паче производителями пышных, шарлатанских эффектов, наподобие гильотинированных во время французской революции клубистов. До Бородина, под Бородиным и после него мы все, от Кутузова до последнего подпоручика артиллерии, каким был я, горели одним высоким и священным огнем любви к отечеству и, вопреки графу Льву Толстому, смотрели на свое призвание, как на некое священнодействие. И я не знаю, как посмотрели бы товарищи на того из нас, кто бы в числе своих вещей дерзнул тогда иметь книгу для легкого чтения, да еще французскую, вроде романов Жанлис.

А. С. Норов, через два месяца после напечатания своего отзыва о романе гр. Толстого, скончался. В январе 1869 года, после его похорон, мне было поручено составить для одной газеты его некролог. Каково же было мое удивление, когда, собирая источники для некролога, я в семействе В. П. Поливанова, родного племянника покойного, случайно увидел крошечную книжку из библиотеки Норова «Похождения Родерика Рандома» («*Aventures de Roderik Random, 1784*»)⁵ и на ее внутренней обертке прочел следующую собственноручную надпись А. С. Норова: «Читал в Москве, раненый и взятый в плен французами, в сентябре 1812 г.» («*Lu à Moscou, blessé et fait prisonnier du guerre chez les francais, au mois du septembre, 1812*»).

То, что было с подпоручиком артиллерии в сентябре 1812 года, забылось через сорок шесть лет престарелым саванником, в сентябре 1868 года, так как не подходило под понятие, невольно составленное им, с течением времени, о временах двенадцатого года. Нельзя, разумеется, утверждать,

что роман о Родерике Рандоме Норов держал под подушкой у Царёва-Займища, где Кутузов читал роман Жанлис. Но нельзя отвергать и предположения, что Норов мог читать роман о Рандоме даже под самым Бородиным, как впоследствии раненый он дочитал его, во время занятия Москвы французами, в голицынской больнице, из окон которой он, по его же словам, с таким искренним презрением смотрел потом воочию на уходившего из Москвы Наполеона.

Это обстоятельство я тогда же подробно записал и сообщил графу Л. Н. Толстому.

Тарантас, миновав поселок Ясной Поляны, повернул между двух кирпичных сторожевых башенок влево и въехал в широкую аллею из красивых развесистых берез. На взгорье, в конце аллеи, обрисовалась графская усадьба.

Каменный в два этажа яснополянский дом, в котором теперь граф Л. Н. Толстой живет почти безвыездно уже около двадцати пяти лет (с 1861 г.), переделан им из отцовского флигеля. Большой же отцовский дом, в котором родился автор «Войны и мира» (в 1828 г.), был им сломан. Место, где стоял этот старый дом, левее и невдали от нового. Оно заросло липами, обозначаясь в их гущине остатком нескольких камней былого фундамента. Здесь под липами стоят простые скамьи и стол, за которыми в летнее время семья графа собирается к обеду и чаю. Колокол, прицепленный к стволу старого вяза, созывает сюда, под липы, из дома и сада, членов графской семьи.

У этого вяза обыкновенно, между прочим, собираются яснополянские и другие окрестные жители, имеющие надобность переговорить с графом о своих деревенских нуждах. Он выходит сюда и охотно беседует с ними, помогая им словом и делом. Не все, однако, соседи умеют, как слышно, ценить внимание и щедрость графа. Он невдали от своего двора, лет пятнадцать назад, посадил целую рощицу молодых елок. Елки поднялись, почти в два человеческих роста, и немало утешали своего насадителя. Недавно граф вздумал пройти в поле, полюбоваться елками, и возвратился оттуда сильно огорченный: более десятка его любимых, красивых елок оказались безжалостно вырубленными под корень и увезенными из рощи. Он досадовал и на происшествие, и на свое неудовольствие. «Опять вернулось мое былое, старое чувство, досада за такую потерю!» — говорил он и, узнав, что, по домашним разведкам, виновником дела оказался домашний вор, тайно свезший

елки, под праздник, в город, просил об одном — чтобы этот случай не был доведен до сведения графини, его жены.

Тарантас, обогнув левый угол дома, остановился у небольшого крыльца, ведущего в сени нижнего этажа. Не успел я здесь, внизу, войти в переднюю, в нее отворилась дверь из смежного графского кабинета, и на ее пороге показался граф Лев Николаевич. После первых приветствий он ввел меня в свой кабинет.

Давно не видя графа, я тем не менее сразу узнал его — по живым ласково-задумчивым глазам и по всей его сильной и своеобразной фигуре, так художественно схоже изображенной на известном портрете Ив. Н. Крамского. Помню, как на Парижской всемирной выставке, восемь лет назад, в отделе русской живописи, все любовались этим портретом, где граф Л. Н. Толстой написан с длинною темно-русою бородой и в темной, суконной рабочей блузе. С такую же бородой и в такой же точно блузе я увидел графа и теперь. Ему в настоящее время пятьдесят семь лет, но никто, несмотря на седину, проступившую в его окладистой, красивой бороде, не дал бы ему этих годов. Лицо графа свежо; его движения и походка живы, голос и речь звучат юношеским жаром.

При входе в яснополянский дом невольно вспоминаются всем известные картины «Детства» и «Отрочества» его владельца: его покойная мать, в голубой косыночке, живший здесь когда-то его учитель Карл Иванович, с хлопущей на мух, дворецкий Фока, ключница Наталья Саввишна и ее сундуки, с картинками внутри крышек, дядька Николай, с сапожною колодкой, учительница музыки Мими и юродивый Гриша, за ночную трогательную молитву которого дети, с испугом и умилением, однажды наблюдали из темного чулана.

Граф провел меня, через переднюю часть своего кабинета, за перегородку из книжных шкафов. Мы сели у его рабочего стола: он на своем обычном, рабочем кресле, я — на другом кресле, против него, за столом, оба закурили папиросы и стали беседовать.

Опишу вкратце кабинет графа.

Это светлая высокая и скромно убранная комната, аршин 12 длины и около 6-ти аршин ширины. Два больших книжных шкафа, из лакированной, белой березы, разделяют эту комнату пополам — на нечто вроде приемной и уборной графа и на его рабочий кабинет. Окна и стеклянная дверь этой комнаты выходят на невысокое садовое, покрытое каменными плитами,

крыльцо. Мебель в обеих половинах — старинная и, очевидно, не только отцовская, но и дедовская.

В приемной — мягкий, широкий и длинный диван, покрытый зеленою клеенкой, с зеленою сафьяною подушкой. Перед диваном — круглый стол, с грудой разбросанных на нем английских, немецких и французских книг. У стола и возле стен — с полдюжины кресел. На этажерке — опять книги. Между дверью в сад и окном — умывальный стол. Вправо от окна, в углу, березовый комод, с зеркалом. Над ним — оленьи рога, с брошенным на них полотенцем. На задних стенах книжных шкафов висят разные вещи — верхнее платье, коса для кошения травы и круглая мягкая шляпа графа. В углу, за этажеркой, несколько простых, необделанных, с суковатыми ручками, палок для прогулки. Стена над диваном увешана коллекцией гравированных, фотографических и акварельных портретов родных и знакомых графа — его жены, отца, братьев, старшей дочери и друзей. Между последними — фотографическая группа Левицкого⁶, с портретами Григоровича, Островского и др., и отдельные портреты Шопенгауэра, А. А. Фета, Н. Н. Страхова и других. В стенной нише — гипсовый бюст покойного старшего брата графа, Николая. На окне разбросаны сапожные инструменты; под окном — простой, деревянный ящик, с принадлежностями сапожного мастерства, — колодками, обрезками кожи и проч.

В рабочем кабинете, за перегородкою, направо, у другого окна в сад, — письменный стол графа, налево — железная кровать, с постелью для гостей. Полки березовых шкафов, с стеклянными дверцами, обращенные в эту часть комнаты, снизу доверху уставлены старыми и новейшими, иностранными и русскими изданиями. За рабочим креслом графа, в большой стенной нише, — открытые полки, с подручными книгами, справочниками, словарями, указателями и проч. Остальные свободные стены этой части комнаты также заняты полками с книгами. Здесь, как и в шкафах и в нише, виднеются — в старинных и новых переплетах и без переплетов — издания сочинений Спинозы, Вольтера, Гете, Шлегеля, Руссо, почти всех русских писателей, затем — Ауэрбаха, Шекспира, Бенжамена Констана, Де-Сисмонди, Иоанна Златоуста и других, иностранных и русских, духовных и светских мыслителей. Жития святых, «Четьи-Минеи», «Пролога», — перевод на русский язык «Пятикнижия» Мандельштамма, еврейские подлинники «Ветхого Завета» и греческие тексты «Евангелия», — «Мировоззрение талмудистов» с немецкими, французскими и английскими комментариями, — установлены на полках, рядом с известными русскими проповедниками и русскими и ино-

странными, духовно-нравственными, дешевыми, изданиями для народа*.

Простой письменный стол графа, аршина в два длины и в аршин ширины, покрытый зеленым сукном и обведенный с трех сторон небольшою решеткой, известен обществу по новейшему, прекрасному портрету графа работы профессора Н. Н. Ге. На этом портрете, бывшем на передвижной выставке, граф изображен пишущим за этим именно столом. Справа и слева чернильницы разбросаны рукописи, книги и брошюры. Здесь лежат — «Новый завет» в греческом переводе Тишендорфа и новейшее издание еврейского подлинника Библии. На окне — несколько портфелей, с рукописями, и опять книги.

Верх окна прикрыт зеленою шерстяною занавеской. Перед окном — лужайка, с клумбами еще свежих, нетронутых морозом цветов. За цветником — столб с веревками для так называемой игры «гигантские шаги». Кучка яснополянских ребятшек, свободно проникая в сад, бегают в эту минуту у названного столба.

Из окна — вид на сад, спускающийся к пруду, и на живописные окрестности. Вправо из окна виднеются вершины густой, березовой аллеи, по которой дорога поднимается к дому. Влево — аллея из старых, громадных лип. Прямо — просторный, гладкий скат к пруду, у которого красиво зеленеет несколько высоких, живописно разбросанных елей. Между липовою и березовою аллеями, за низиной, в которой прячется пруд, вид на шоссе, на дальние поля, холмы и голубоватые леса, а между холмами и лесами — на полосу железной дороги, по которой время от времени взвивается дым и проносятся московско-курские поезда.

У этого окна, в дедовском кресле, работы XVIII века, с узенькими, ничем не обитыми подлокотниками и с потерткою, зеленою, клеенчатою подушкой, граф Л. Н. Толстой писал свои знаменитые произведения. Здесь, на этом простом столе, днем, поглядывая на синеющую даль, а вечером и ночью — при свечах, в старинных, бронзовых подсвечниках, — он писал историю Наташи Ростово́й, Андрея Болконского и Пьера Безухова. Здесь же он рассказывал поэму любви Кити Щербацкой и Левина, рисовал образы Вронского и Стивы

* В числе последних виднеются на полках: «Progress and poverty, by Henry George» (1884); «God and the Bible, by Matthew Arnold» (1885); «Israel Sack» (1885); «A discourses oi matters, pertaining to religion, by Theodore Parker» (1875); «The twenty essays of Ralph W. Emerson» (1877); «Literature and Dogma, an essay towards a better apprehension of the Bible, by M. Arnold» (1877) и др.

Облонского, набрасывал очерки лошади Фру-Фру и собаки Ласки и с такою глубиною рассказал полную трагизма судьбу Анны Карениной.

Беседу с графом о прошлом и настоящем прерывает, вбегая, красивая, рыжая, лягавая собака. Она ложится у ног хозяина.

— Это не Ласка?— спрашиваю я, вспоминая «Анну Каренину».

— Нет, та пропала; эта охотится с моим старшим сыном.

— А вы сами охотитесь?

— Давно бросил, хотя хожу по окрестным полям и лесам каждый день... Какое наслаждение отдыхать от умственных занятий за простым физическим трудом! Я ежедневно, смотря по времени года, копаю землю, рублю или пилю дрова, работаю косою, рубанком или иным инструментом.

Я вспомнил о ящике, с сапожными колодками, под окном приемной графа.

— А работа с сохой!— продолжал граф.— Вы не поверите, что за удовольствие пахать! Не тяжкий искус, как многим кажется,— чистое наслаждение! Идешь, поднимая и направляя соху, и не заметишь, как ушел час, другой и третий. Кровь весело переливается в жилах, голова светла, ног под собой не чувствуешь; а аппетит потом, а сон? Если вы не устали, не хотите ли пока, до обеда, прогуляться, поискать грибов? Недавно здесь перепали дожди; должны быть хорошие белые грибы.

— С удовольствием,— ответил я.

Граф надел свою круглую, мягкую шляпу и взял лукошко; я тоже надел шляпу и выбрал одну из палок за этажеркой. Мы, без пальто, вышли с переднего крыльца, невдали от которого, у ворот на черный двор, стоял станок для гимнастики.

— Это также для вас?— спросил я графа, указывая на станок.

— Нет, это для младших моих детей; у меня здесь другие упражнения,— ответил он, поглядывая за ворота, где виднелась гряда свеженарубленных дров.

Неудивительно, что, при постоянном физическом труде, граф так сохранил свое здоровье. Этому, в значительной степени, помогло и то обстоятельство, что большую часть своей жизни Л. Н. Толстой провел в деревне. Лишившись в ранние годы матери, урожденной княжны Волконской, он 9 лет от роду, в 1837 году, был увезен в Москву, в дом бабки, потом опять жил в деревне, в 1840 году поступил в Казанский университет⁷, где был по восточному, затем по юридическому факультету, с 1851 по 1855 год провел в военной службе на Кавказе, на Дунае и в Севастополе, и с 1861 года, почти безвыездно,

живет в Ясной Поляне. Из 57 лет он, следовательно, более 35 лет провел в деревне.

Пройдя через смежный с усадьбой, молодой плодовый сад, насаженный графом, мы вышли в поле и направились в ближний лес. От этого леса, за небольшим ручьем, виднелись другие лески и поляны. От одной лесной чащи, то взгорьем, то долиной, мы переходили к другой, останавливаясь и разговаривая. Солнце выглянуло и опять спряталось за легкие, пушистые облачка. Свежий воздух был напоен лиственным, влажным запахом. Золотившийся лист медленно сыпался с деревьев. Ни одна ветка не шелухнулась в безветренной тишине.

Я шел рядом с графом, любуясь его легкой походкой, живостью его речи и простотою и прелестью всей его так сохранившейся могучей природы. «Боже мой,— думал я, глядя на него и слушая его,— его прославили потерянными для искусства, мрачным, сухим, отшельником и мистиком... Посмотрели бы на этого мистика!»

Граф с сочувствием говорил об искусстве, о родной литературе и ее лучших представителях. Он горячо соболезновал о смерти Тургенева, Мельникова-Печерского и Достоевского. Говоря о чуткой, любящей душе Тургенева, он сердечно сожалел, что этому, преданному России, высокохудожественному писателю пришлось лучшие годы зрелого творчества прожить вне отечества, вдали от искренних друзей и лишенному радостей родной, любящей семьи.

— Это был независимый, до конца жизни, пытливый ум,— выразился граф Л. Н. Толстой о Тургеневе,— и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самостоятельный художник, не унижавшийся до сознательного служения мимолетным потребам минуты. Он мог заблуждаться, но и самые его заблуждения были искренни.

Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем неподражаемого психолога-сердцевода и вполне независимого писателя, самостоятельных убеждений которому долго не прощали в некоторых слоях литературы, подобно тому как один немец, по словам Карлейля⁸, не мог простить солнцу того обстоятельства, что от него, в любой момент, нельзя закурить сигару.

Коснувшись Гоголя, которого Л. Н. в своей жизни никогда не видел, и ныне живущих писателей, Гончарова, Григоровича и более молодых, граф заговорил о литературе для народа.

— Более тридцати лет назад,— сказал Л. Н., когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только

работать, в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских и городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата, с раскрытыми ртами, и говорят нам: господа, родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; пишите для нас, жаждущих живого, литературного слова; избавьте нас от все тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, Милордов Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился, по мере сил, попытаться на этом поприще.

— Как тепло и как пахнет листвою! — сказал он, подходя к ветхому, полуразрушенному мостику через узкий ручей. — Удивительная сила непосредственных впечатлений от природы. И как я люблю и ценю художников, черпающих все свое вдохновение из этого могучего и вечного источника! В нем единая сила и правда.

При этих словах графа я вспомнил его рассказ «Севастополь в мае 1855». «Герой моей повести, — сказал в заключении этого рассказа Л. Н., — которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Мы разговорились о различных художественных приемах в литературе, живописи и музыке.

— Недавно мне привелось прочесть одну книгу, — сказал, между прочим, граф Л. Н., останавливаясь перед бревнышками, перекинутыми через ручей. — Это были стихотворения одного умершего молодого испанского поэта⁹. Кроме замечательного дарования этого писателя, меня заняло его жизнеописание. Его биограф приводит рассказ о нем старухи, его няни. Она, между прочим, с тревогой заметила, что ее питомец нередко проводил ночи без сна, вздыхал, произносил вслух какие-то слова, уходил при месяце в поле, к деревьям, и там оставался по целым часам. Однажды, ночью, ей даже показалось, что он сошел с ума. Молодой человек встал, приоделся впотьмах и пошел к ближайшему колодезю. Няня за ним. Видит, что он вытащил ведром воды и стал ее понемногу выливать на землю; вылил, снова зачерпнул и опять стал выливать. Няня в слезы: «Спятил, малый, с ума». А молодой человек это проделывал с целью — ближе видеть и слышать, как в тихую ночь, при лунном сиянии, льются и плещутся струйки воды. Это ему было нужно для его нового стихотворения. Он в этом случае проверял свою память и зарю-

нившиеся в нее поэтические впечатления — тою же природой, как живописцы, в известных случаях, прибегают к пособию натурщиков, которых они ставят в нужные положения и одевают в необходимые одежды. Читая своих и чужих писателей, я невольно чувствую, кто из них верен природе и взятой им задаче и кто фальшит. Иного модного и расхваленного, особенно из иностранных, не одолеешь, с первой страницы, как ни усиливаешься. Даже угроза телесным наказанием, кажется, не могла бы заставить меня прочесть иного автора...

В одной из критических статей Н. Н. Страхова о «Войне и мире» говорится, что если Достоевский был психолог-идеалист, то графа Л. Толстого следует назвать психологом-реалистом. «Война и мир», по выражению почтенного критика, «подымается до высочайших вершин человеческих мыслей и чувств, до вершин, обыкновенно недоступных людям. Граф Л. Толстой — поэт, в старинном и наилучшем смысле слова. Он прозревает и открывает нам сокровеннейшие тайны жизни и смерти. Его идеал — в простоте, добре и правде. Он сам говорит: нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Голос за простое и доброе против ложного и хищного — вот существенный, главнейший смысл «Войны и мира». Кто умеет ценить высокие и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время».

Беседующий с графом Л. Н. Толстым об искусстве невольно вспоминает эти выражения его лучшего истолкователя.

Мы приближались обратно к усадьбе, мимо молодых, собственноручных насаждений графа. Красивые, свежие деревца яблонь и груш, с круглыми, сильными кронами ветвей, стояли в шахматном порядке на обширной плантации, невдали от усадьбы. Крестьянские девочки, с серпами в руках, копались над чем-то в бурьяне, у соседних хлебных скирд. Граф разговорился с ними, называя каждую по имени.

— Знаете ли, что они делают? — спросил он. — Жнут крапиву, для обставки на зиму стволов плодовых деревьев; это лучшее средство против зайцев и мышей, которые не любят крапивы и бегут даже от ее запаха.

Вот и дом. Я взглянул на часы. Мы провели в прогулке около трех с половиною часов и прошли пешком не менее шести-семи верст. Граф, после такого движения, смотрел еще более молодцом и, казалось, был готов идти далее. Но был уже шестой час: жена графа, Софья Андреевна, возвратилась из Тулы, куда возила на почту просмотренные графом

и ею корректуры нового полного собрания его сочинений, и нас ждали обедать.

— Вы не устали?— спросил Л. Н., весело посматривая на меня и бодро всходя, по внутренней лестнице, в верхний этаж своего дома.— Для меня ежедневное движение и телесная работа необходимы, как воздух. Летом в деревне, на этот счет, приволье; я пашу землю, кошу траву; осенью, в дождливое время,— беда. В деревнях нет тротуаров и мостовых,— в непогоду я крою и тачаю сапоги. В городе тоже одно гулянье надоедает; пахать и косить там негде,— я пилю и рублю дрова. При усидчивой, умственной работе, без движения и телесного труда, сущее горе. Не походи я, не поработай ногами и руками, в течение хоть одного дня, вечером я уже никуда не гожусь; ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать других; голова кружится, а в глазах — звезды какие-то, и ночь проводится без сна.

В московском, недавно купленном своем доме (в Долгохамовническом переулке), Л. Н. обыкновенно с утра сам рубит для печей дрова и, вытащив воды из колодезя, подвозит ее в кадке на санях к дому и к кухне.

«А досужие-то вестовщики, свои и чужие, в особенности свои?— подумал я, слушая эти простые откровения знаменитого писателя.— Чего они ни наплели? и литературу-то он оставил, для шитья платьев и сапогов, и якшается с чернью, под видом рубки дров на Воробьевых горах!»

Верхний этаж яснополянского дома занят семейным помещением и столовою графа. По деревянной лестнице, на средней площадке которой стоят старинные, в деревянном футляре, английские часы, мы поднялись направо в зал. Здесь у двери стоит рояль, на пюпитре которого лежат раскрытые ноты «Руслана и Людмилы». Между окон — старинные, высокие зеркала, с отделанными бронзой подзеркальниками. Посредине залы — длинный обеденный стол. Стены увешаны портретами предков графа. Из потемнелых рам глядят, как живые, представители восемнадцатого и семнадцатого веков, мужчины — в мукдирах, лентах и звездах, женщины — в робронах, кружевах и пудре. Один портрет особенно привлекает внимание посетителя. Это портрет, почти в рост, красивой и молодой монахини, в схиме, стоящей в молитвенной задумчивости перед иконой. На мой вопрос граф Л. Н. ответил, что это изображение замечательной по достоинствам особы, жены одного из его предков, принявшей пострижение, вследствие данного ею обета богу¹⁰. В комнате графини, смеж-

ной с гостиною, мне показали превосходный портрет Л. Н-ча, также работы И. Н. Крамского. Этим портретом семья Л. Н. особенно дорожит.

Вошла жена графа; возвратился с охоты его старший сын, Сергей, кончивший в это лето курс в Московском университете и несколько дней назад приехавший из самарского имения отца; собралась и остальная, наличная семья графа: взрослая, старшая дочь Татьяна, вторая дочь Мария и младшие сыновья. Все, в том числе и маленькие дети, сели за обед. Всех детей у графа ныне восемь человек (второй и третий его сыновья, в мой заезд в Ясную Поляну, находились в учении в Москве; младший ребенок, сын, скончался в минувшем январе)¹¹. Нежный, любящий муж и отец, граф Л. Н., среди своих взрослых и маленьких, весело болтавших детей, невольно напоминал симпатичного героя его превосходного романа «Семейное счастье». Скромный в личных привычках, Л. Н. ни в чем не отказывает своей семье, окружая ее полною, нежною заботливостью. Занятия по домашнему хозяйству разделяют, между прочим, с графиней и старшие дети графа.

Когда-то наша критика назвала великого юмориста-сатирика Гоголя русским Гомером. Если кого из русских писателей можно действительно назвать Гомером, так это, как справедливо заметил А. П. Милюков, графа Л. Н. Толстого¹². В «Илиаде» воспет воинственный образ древней Греции, в «Одиссее» — ее мирная, домашняя жизнь. Граф Л. Н. Толстой в поэме «Война и мир» одновременно изобразил бурную и тихую стороны русской жизни. Но главная сила графа Л. Н. Толстого — в изображении мирных, семейных картин. В отдельных главах «Войны и мира» и «Анны Карениной» и в целом романе «Семейное счастье» он является истинным и могучим поэтом тихого, семейного очага.

Начало вечера было проведено в общей беседе. Подвезли со станции продолжение корректур нового издания графа. Его жена занялась их просмотром. Мы же с Л. Н. спустились вниз, в его приемную. На мой вопрос он с увлечением рассказал о своих занятиях греческим и еврейским языками — благодаря чему он в подлиннике мог прочесть Ветхий и Новый Завет — о новейших исследованиях в области христианства и пр. Зашла речь об «истинной вере, фанатизме и суеверии». Суждения об этом Л. Н. не новость, они проходят и отражаются по всем его сочинениям, еще с его «Юности» и исповеди Коли Иртеньева. Коснувшись современных событий, граф говорил о последней восточной войне¹³, о крестьянском банке, податном, питейном и иных вопросах, и снова — о литературе. Мы проговорили за полночь...

Я затруднился бы, наряду с доступными для каждого внешними чертами Ясной Поляны, передать подробно, а главное — верно, внутреннюю сторону любопытных и своеобразных суждений графа Л. Н. Толстого по затронутым в нашей беседе вопросам.

Ясно и верно вспоминаю одно, что я слушал речь правдивого, скромного, доброго и глубоко убежденного человека.

Он, между прочим, удивлялся одному явлению в нашей общественной жизни. Привожу его мысли по этому поводу, не ругаясь за точность их изложения.

...Вслед за видимым и коренным погромом старинного, дворянско-поместного землевладения, в некоторой части общества особенно горячо и искренно усиливаются поощрять и навязывать крестьянам покупку дворянских и иных земель. Но для чего? для того ли, чтобы вовсе не было на свете помещиков? Оказывается, что отнюдь не в тех видах, а чтобы сейчас же выдумать, искусственно сделать новых помещиков-крестьян. И мало того — сюда втянули, кроме бывших крепостных, и не думавших о том государственных крестьян, обратив их из вольных пользователей, оброчников свободных казенных земель — в подневольных земельных собственников, т. е. опять-таки в помещиков. Но кто поручится, что новым помещикам-крестьянам все это с течением времени не покажется недостаточным и что они, за свой суровый сельский труд и за свои деревенские лишения и тяготы, не станут справедливо добиваться былых привилегий и, между прочим, стать дворянами?.. Забывают пример Китая, Турции и большей части древнего Востока. Там вся земля казенная, государственная, и ею, за известный оброк правительству, казне, пользуются из всех сословий только те, кто действительно, тем или другим способом, личным трудом или капиталом, ее обрабатывает. Для такой цели выкуп в казну и при посредстве казны частных земель имел бы скорее и свое оправдание, и полезный для государства исход. На этот способ пользования землею давно обращено внимание западных и в особенности американских ученых, например Джорджа и других. Это, без сомнения, предмет далекого будущего; но не следует, среди современных европейских доктрин, забывать и того, чем живет и ряд тысячелетий зиждется великий, древний Восток.

Я ночевал в кабинете графа, на кровати, за перегородкой из книжных шкафов. После новой, утренней беседы, прогулки с Л. Н. по парку и завтрака в его семье, я уехал в его экипаже в Тулу и далее по чугунке в Москву.

Оставив Ясную Поляну, я с отрадой разбирал и проверял свои впечатления. Граф Л. Н. Толстой, после этой новой



*Кабинет Толстого.
1870—1880 гг. Ясная Поляна,
1887 г. Фото М. А. Стаховича.*

нашей встречи, остался в моих мыслях тем же великим и мощным художником, каким его узнала и знает Россия. Он вполне здоров, бодр, владеет всеми своими художественными силами и, вне всякого сомнения, может еще подарить свою родину не одним произведением, подобным «Войне и миру» и «Анне Карениной». Скажу более. Как затишье и перерыв, после «Детства», «Отрочества» и «Севастопольских рассказов» (когда он занялся вопросами педагогики и издавал «Яснополянский журнал»)¹⁴, были не апатией и не ослаблением его художественных сил, а только невольным отдыхом, в течение которого в его душе зрели образы «Войны и мира», — так и теперь, когда граф Л. Н. Толстой, изучив в подлиннике Ветхий и Новый Завет и Жития святых, посвящает свои досуги рассказам для народа, — он, очевидно, лишь готовится к новым, крупным художественным созданиям, и его теперешнее настроение — только новая ступень, только приближение к иным, еще более высоким образам его творчества.

« НЕДЕЛЯ »

В. ГРИБОВСКИЙ

У ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

Я не видел гр. Л. Н. Толстого около года и нынешним летом собрался посетить его в его имении Ясная Поляна.

На станцию Козловку, ближайшую железнодорожную станцию к Ясной Поляне, поезд пришел в час ночи. Мне показалось неудобным прямо отправиться в имение Льва Николаевича, и я решил провести ночь на станции, в маленькой каморке, назначенной для пассажиров. Ночь стояла темная, тихая, теплая. Развесистые кущи душистых лип тянулись ко мне в окно и чуть-чуть шелестели листьями. Неумолкаемый рокот соловьев и жужжанье комаров отгоняли сон от моих глаз, и ранним утром, пешком, я отправился в Ясную Поляну, любуясь по дороге холмистой местностью.

Полагая, что Лев Николаевич еще спит, я зашел в ближайшую, попавшуюся мне, избу его деревни, спросил себе молока и был приятно поражен общим видом довольства и зажиточности обитавшей здесь крестьянской семьи.

— Как вы думаете, граф еще спит? — спросил я у старика хозяина.

— Чего спит! Он теперь, поди, давно на карточниках или печку кладет.

— Печку кладет? У кого, зачем?

— У вдовы здешней; муж у ней помер, так граф помогает ей.

— А где она живет?

— На краю деревни.

Я обошел усадьбу и по дороге спрашивал встречаемых мужиков, не видели ли они Льва Николаевича. Мужики мне отвечали с особенным удовольствием, что граф уже на работе. У крайних изб я встретил второго сына Толстого, Илью Львовича, дюжего работника и очень милого господина, о котором мне еще придется говорить. Он мне указал путь к маленькой избушке, в которой проживала вышеупомянутая вдова и где я застал Льва Николаевича перед недавно сложенной печкой, занимавшей половину всего жилого помещения.

Лев Николаевич не заметил моего прихода; он был погружен в работу и лишь изредка перекидывался словом с хозяйкой. Если бы я раньше не видел Толстого, я бы на этот раз мог его принять за кого-нибудь из деревенских рабочих. Его грязная, вымазанная сажей и глиной белая рубашка, ремешок вместо пояса, пространные крестьянские сапоги, по голенище запачканные в глине, вполне гармонировали с курчавой головой и широкой спиной, на которой выступал сквозь рубашку обильный трудовой пот. Передо мной стоял крепкий, здоровый русский старик-патриарх, представитель той почтенной старости, о которой Лев Николаевич сам упоминает в «Смерти Ивана Ильича», указывая на градации старости¹.

Лев Николаевич при помощи двух девочек тщательно прилаживал какую-то подпорку к навесу перед печью и по-видимому был сильно озабочен тем, будет ли эта подпорка держать верхнюю перекладину, или придется сбоку подпереть ее шестом. Хозяйка запросто, без малейшего раболепства — даже, можно сказать, по-товарищески, — подавала ему советы и, вероятно, в труде Льва Николаевича не видела ничего особенного: ей просто помогал добрый человек.

Итак, несколько времени я оставался незамеченным и вглядывался в работу Льва Николаевича. Наконец, нечаянно обернувшись в мою сторону, он обратил на меня внимание и, не отрываясь от работы, кивнул мне головой, назвал по имени и пригласил подать ему какой-то необходимый кол.

— Я сейчас кончу, подождите, — сказал он мне.

Наконец он кончил и с удовольствием начал оглядывать дело своих рук.

— Прощай, прощай, спасибо, что помог,— отвечал он седенькому старичку, тут же работавшему у печки и намеревавшемуся уходить.— Это учитель мой,— снова обратился ко мне Лев Николаевич.— Я клал печку в первый раз. Хорошая работа, занимательная, а не всякий ее сумеет сделать...

Разговаривая, мы незаметно дошли до того места, где я встретился с Ильей Львовичем. Навстречу нам из ближайшей рощи, ведя под уздцы лошадь, вышел крестьянин с очень интеллигентной физиономией, впоследствии оказавшийся одним из многочисленных последователей доктрины Льва Николаевича. Меня с ним познакомил сам Лев Николаевич; кроме того, тут же присутствовал второй гость Толстого, тоже приверженец его учения. С ним втроем мы отправились к барскому дому и расположились в кабинете Льва Николаевича, который принялся приводить себя в порядок.

— Что у вас нового в Петербурге?— спросил он меня, между прочим. И мне показалось, что, задавая этот вопрос, он мысленно решал отнестись вполне безразлично к моему ответу.

Тем не менее, однако, я, находясь под свежим впечатлением царствующего в нашей литературе пессимизма, начал развивать свои любимые теории и перечислять ту массу всевозможных бедствий и неурядиц, которым подвергается рабочий люд в Петербурге. Сам не замечая того, я увлекся, и, когда поток моего красноречия истощился, я заметил, что результат моего повествования оказался далеко не таков, какого я ожидал.

Лицо Льва Николаевича омрачилось. Он видимо остался недоволен моим пессимизмом.

— Мир не может держаться на зле,— ответил он.— Если бы мир держался на зле, он давно бы погиб. Вы не хотите видеть в мире хорошего и видите только дурное. Перемените взгляд на жизнь, и вы сами избавите себя от нравственных страданий. Зачем вы все берете петербургскую жизнь, жизнь городскую? Загляните сюда, в деревню, где маленькая девочка знает закон Христа и делится ягодами с другой девочкой. Город — это болезненный нарыв на здоровом теле. А вы, увидев на теле прыщик, решаете, что все тело гнилое и что из него не будет никакого толку.

И Лев Николаевич начал приводить примеры христианского отношения к людям некоторых известных ему индивидуумов. Уже давно, из сочинений Льва Николаевича, и теперь, в начале нашего спора, я заметил, что он как-то отбрасывает от человечества рабочих, фабричный класс, мещан, купцов и интеллигентных пролетариев. Лев Николаевич умышленно

забывает об этих сословиях, как математики забывают о бесконечно малых величинах при сложных вычислениях. Он точно признает право на жизнь только у земледельца; прочие же представители нашего общества с их радостями, горестями, стремлениями — словом, со всей внутренней душевной борьбой — осуждаются на постепенное уничтожение per se*. Между тем из среды этой пестрой толпы вышли все великие учителя древнего и нового мира, по следам которых идет теперь сам Лев Николаевич.

Другой чертой его мышления является крайний радикализм. Он не согласен с тем, что человечество не допускает в своем умственном развитии скачков и идет постепенно к лучшему будущему. Лев Николаевич утверждает, что нужно упростить формы жизни, людские отношения, — словом, упростить до крайних пределов все. Он логично доказывает, что многое в нашем общественном строе не согласуется с законом Христа и таким образом по своему существу противно истине. Между тем он не желает признать того, что, прежде чем нитка запутанного клубка будет вытянута, клубок примет множество различных положений, т. е. прежде чем будет упрощена, вытянута нить общественной жизни, общество пройдет много фазисов своего развития. Далее, разрушая царствующие представления, Лев Николаевич не дает ничего определенного в будущем; он только указывает путь, говорит нам, плавающим в житейском океане: «Вон там земля». Но как мы устроимся на этой земле — он не знает, и как мы пристанем к ней — он тоже определенно не говорит.

Как я уже сказал, Лев Николаевич умышленно игнорирует сословия, не занимающиеся косвенно или прямо обработкой земли, и для них не хочет работать, полагая, что его слушатели — черный народ, который он знает с детства и в котором таится много сил и душевной простоты, давно утраченной нами, городскими обитателями. Лев Николаевич — идеалист и оптимист, по крайней мере, судя по высказываемым им мыслям. Осудив давно город, как логовище насильников, он ждет от деревни проявления лучших стремлений и воплощения идеалов жизни. Для него крестьянин и городской житель не одинаковые люди со страстями и похотями, одинаково жаждущие личного счастья даже в том случае, если оно основывается на несчастьи ближнего. Лев Николаевич заразително требует от всех членов нашего общества одновременного нравственного перерождения, отрешения от всех усвоенных с детства понятий и вообще не намерен делать человечеству никаких уступок. Положим, его мысль о том, что высоко

* сами собою (лат.).

поднятое знамя идеала долгие продержится на своей высоте, заслуживает полнейшего внимания, но зато многие считают а priori этот идеал недостижимым и уже поэтому не желают к нему стремиться, как вообще в наш век положительных знаний редкий считает нужным и важным преследовать мечту. И все-таки из среды той интеллигенции, к которой с таким пренебрежением относится Лев Николаевич, являются фанатики его доктрины, покидающие и дом, и семью во имя общей семьи — человечества, а мужички-земледельцы в его же деревне тащат странников-богомольцев в кутузку и гонят от порога своего дома. Свой художественный талант Лев Николаевич хочет посвятить отныне исключительно народу, находя, что он уже много поработал на пользу образованных классов. Действительно, книжек «Посредника»² выпущено около двух миллионов, и во всех концах государства Российского можно найти эти маленькие брошюры с девизом: «Не в силе Бог, а в правде». Льва Николаевича искренно радует такое требование на его мелкие произведения, и он, конечно, не встречал у себя стольких читателей среди интеллигенции, если принять в расчет то обстоятельство, что каждая народная книжка побывает в пяти, шести руках, а иногда и более.

Лев Николаевич горячо восстает против глупого и пошлого либеральничанья, которое царствует в наше время среди интеллигенции. Заодно достается притом и Тургеневу, к которому граф Толстой относится неодобрительно за его кажущееся сочувствие к русскому оппозиционному движению. Но и радикальную партию, признающую за собой верховное право улучшать людей и направлять их посредством силы к благу, Лев Николаевич считает серьезным тормозом в деле движения человечества к царству всеобщего довольства и счастья. Лев Николаевич признает свободную волю человека, непотухающую искру божественного разума, которому насильно нельзя ничего навязывать, а тем более какие-либо республиканские или конституционные формы управления. Основа всякого общественного строя людей лежит в самом их духе, и, изменяя этот строй насильно, насильники только обманывают себя. Справедливость этой мысли блестящим образом доказывает французская революция с династией наполеонидов, директорией и прочими побегамися старого и крепкого дерева монархии. Прочное основание имеет только нравственное перерождение человечества в духе гуманности и стремления к вечной истине.

— Многие утверждают, — говорил Лев Николаевич, — что я стою на одной дороге с крайними радикалами. Нет, я не могу стоять с ними на одной дороге, я исключаю их главный

принцип — насилие, в который они верят и от которого ждут благотворных результатов. Все доброе выдвигалось вперед не мучителями, а мучениками.

Вообще попытки разрешения социальных вопросов очень занимают Льва Николаевича, но сложные проекты экономических улучшений и теории насильственных переворотов не только не удовлетворяют его, но даже внушают к себе отвращение, в силу противоречия основному принципу его учения: не противясь злу насилием.

Несмотря на то что Лев Николаевич решил забыть интеллигенцию и посвятить себя всецело народу, из-под его пера нет-нет да и выльется что-нибудь специально предназначенное образованным классам. Речь нечаянно зашла о двух неоконченных вещах Льва Николаевича, касающихся дел политики и людской совести³. Вещицам этим Лев Николаевич сам не придавал особого значения и, вероятно, по рассеянности забросил в кипу своих бумаг, где они и лежали до тех пор, пока один из друзей Льва Николаевича, попросив позволения разобраться в этих бумагах, не извлек их на свет божий и не отдал их переписать. Среди читавших эти наброски в рукописи высказываемые в них мысли произвели сенсацию. В них рядом с беспощадным критическим отношением к людскому обману и самообольщению поясняется терминология предыдущих сочинений, в которых некоторые библейские выражения для неподготовленных затемняли смысл и затрудняли чтение. Оказывается, что Лев Николаевич даже забыл содержание этих двух статей, полученных мною от нашедшего их.

— Прочтите, прочтите, что я говорю, — обратился он ко мне с улыбкой, когда я рассказал, каким успехом пользуются в Петербурге среди молодежи эти две статьи, написанные, должно быть, мельком, под влиянием какой-нибудь неотвязной мысли. — Слог их неотделан, но зато полон чувства сердечного негодования.

Видно, что Льву Николаевичу хотелось высказаться о том предмете, который давно занимал его, и, даже в то время, когда я читал выдержки из его произведения, он находил удовольствие в своих же словах.

Несколько странное заключение я вывел о характере Льва Николаевича. Мне казалось, что передо мной сидит человек с непреклонной волей, вспыльчивый, горячий, но сумевший подчинить свои страсти рассудку.

— Ах, как я не люблю споров! Они ни к чему никогда не ведут, — говорил он, когда я упорно защищал идею, не симпатичную ему; и при этих словах, сказанных мягким, ровным голосом, под нависшими густыми бровями точно пробежала

молния нетерпения; но Лев Николаевич сдерживал себя и оставался верен одному из своих основоположений.

Незаметьно время подошло к завтраку. Мы поднялись наверх в столовую, украшенную рядом фамильных портретов, и уселись за общим столом, где нас уже ожидали. После завтрака Лев Николаевич пошел писать или читать что-то, а я со вторым гостем отправился в деревню, к той избе, где Лев Николаевич решил положить крышу на сарай. Илья Львович уже был там с топором в руках, обдирал кору с привезенных из рощи осин, приготовленных для переметов и стропил. Спустя часа полтора подошел Лев Николаевич и тоже принялся обчищать свежие бревна, с которых так и брызгал душистый сок. Лев Николаевич оказался в прежнем наряде, включая блузу, которую он переменял на более чистую. В руках у него был топор. Вероятно, всякому известно, что Лев Николаевич денежной помощи нуждающемуся человеку не признает. Милостыню он считает чем-то вроде вежливости, подобной той, которую мы выказываем на чью-нибудь просьбу закурить у нас папиросу. Исходя из этой точки зрения, он у себя, в своей деревне, старается принести посильную помощь крестьянам личным трудом, доставлением материала для построек и для посева. Мне пришлось присутствовать именно при кладке крыши на сарае бедной деревенской вдовы, которой, по примеру Льва Николаевича, пришел помогать сосед мужичок и еще какой-то паренек. Этот мужик, Прокофий, худой, истощенный, «заправлял работами» и действительно, входя в роль, командовал как следует, без стеснений. Он, по-видимому, уже вполне привык к Льву Николаевичу, более или менее узнал его взгляд на непротивление злу и поэтому не сдерживаясь проявлял свой раздражительный характер. Льву Николаевичу нравилась его новая работа. Он с видимым наслаждением подпиливал бревна, вырубал гнезда для стропил, обстругивал деревянные гвозди, изредка отрываясь от работы для того, чтобы скрутить толстую неуклюжую папироску. Эти моменты закуриванья и свертыванья папирос были вместе с тем моментами его отдохновения от непривычного, довольно тяжелого труда.

При постановке стропил Лев Николаевич выказал значительную силу и ловкость, перетаскивая громадные бревна и поднимая их вверх для закрепления их в гнездах. Лев Николаевич строил сарай в первый раз и относился к этой работе с той же любовью, как и к кладке печи на краю деревни. Он внимательно следил за правильным размерением стропил и брусьев, с точностью обравнивал деревянные подпорки и с живым интересом следил за тем, как Прокофий из ветвей гибкой черемухи плел кольца и скреплял ими слуги и переметы.

— Вот,— говорил Лев Николаевич,— и в школах учат ботанику; а разве там при описании черемухи указывают на то, что она держит бревна крепче гвоздей, крепче железа? Нет, у них все лепестки да тычинки... А наш Прокофий и без ботаники знает, что полезно и нужно ему при постройке сарая или избы.

Толстой на все смотрит с утилитарной точки зрения, во всем преследует большую или меньшую степень пользы, приносимой предметом, и в этом случае он вполне остался верен своей доктрине о счастье человека и средствах достижения этого счастья здесь, на земле, где нам, по-видимому, суждено только страдать и мучиться. Мне, конечно, в этой статье, посвященной описанию личных впечатлений, было бы неуместно разбирать pro и contra этой доктрины; но все, кто успел прочесть со вниманием последние произведения Толстого, наверно, согласятся, что новое учение много говорит за себя, тем более что по существу своему оно далеко не ново, и не раз лучшие умы древнего и нового мира старались поднять его до уровня общего понимания.

Как сказано выше, Льва Николаевича я не видел целый год, и за это время, как мне показалось, мышление его стало более решительным, если так можно выразиться, более неуклонным, неуступчивым. Те вопросы, о которых в прошлом году Лев Николаевич говорил не вполне определенно, получили теперь ясный ответ, не уклоняющийся ни в ту, ни в другую сторону. Таков, например, вопрос о страдании. Очевидно, увлекаясь благородным учением стоиков, Лев Николаевич развивает эту забытую теорию, применяет ее к условиям настоящей жизни и исходною точкой полагает безразличное отношение ко всякой душевной и физической боли, общественным и частным бедам. В этом случае его мысль хорошо формулируется русской оптимистической пословицей: «все худшее к лучшему» или «нет худа без добра». Такое стоически-оптимистическое настроение хочет выработать в себе Лев Николаевич и даже выражает его по отношению к самым близким людям. Случилось, что во время моего пребывания в Ясной Поляне у самого младшего сына Льва Николаевича разболелись зубы. Графиня с ног сбилась, приискивая средства болеутоляющие и ухаживая за страдающим ребенком. Между прочим, уже поздно вечером она обращается ко Льву Николаевичу и спрашивает, что делать, как пособить сыну?

— Оставь его,— ответил Лев Николаевич,— верного средства от боли нет, а гадательные только раздражают больного, заставляют его надеяться, и при этом разочарование, несбыточность надежды прибавляет к действительному страданию

страдание, созданное фантазией, которое и есть истинное несчастье.

Почти никто из присутствующих не согласился с этими словами, и поднялся спор, в котором никто не хотел уступить другому. Я сперва не понял основной мысли Льва Николаевича и вместе с прочими напал на него, переходя от этого простого случая к общей идее медицины и ее служителей — врачей. Лев Николаевич высказывался очень резко, радикально, определенно и уверенно, но я только после долгих прений понял то, что хотел он выразить. Вообще понять Льва Николаевича сразу для многих очень трудно. И неудивительно, так как Толстой на все смотрит со своей особенной точки зрения и в разговоре с другим полагает, что все, что он говорит, уже давно известно и близко знакомо слушателю. Он постоянно делает только вывод из длинного рассуждения, которое противнику должно быть известно. Отсюда часто возникают недоразумения, причина которых кроется в том, что спорящие подходят к одному и тому же предмету по разным дорогам, т. е. путем различных рассуждений. Все согласны, что мнительность — продукт болезненного воображения, увеличивает страдание от физической боли и ведет даже к ужасной болезни — ипохондрии. Никто также не станет отрицать, что роль врача при нездоровье более предохраняющая, чем исцеляющая. Лечит сама природа, дело врача — дать природе вступить в свои права. Следовательно, мысль, что больного человека лучше оставить в покое и не развивать в нем мнительности, вовсе не так неверна, как это кажется с первого раза. Терпение и время — великие доктора. В защиту своего стоического отношения к боли Лев Николаевич рассказал, между прочим, что во время одного из его путешествий пешком вместе с богомольцами ему встретился странник, отставной солдат, который, лишившись вследствие паралича употребления руки и ноги, справлялся очень свободно с другой рукой и ногою. Этот солдат при помощи палки проходил сотни верст и не думал жаловаться на свою судьбу, поставившую его в столь печальное положение. О докторях он не думал, так как врачи даже среди интеллигенции подчас представляют собой не всем доступную роскошь, и приспособлялся обходиться без пораженных членов.

— А мой приятель О.⁴, — говорил Лев Николаевич, — чуть-чуть тронулся параличом, — и боже мой, сколько хлопот он доставил и себе и другим! В Париж ездил, со всесветными знаменитостями советовался, целый дом для себя с удобствами выстроил. А много ли ему от этого пользы стало? Только себя и других измучил. Лучше бы он помирился со своим положе-

нием, как помирился солдат, приспособился и жил бы гораздо счастливее, чем теперь.

Ту же теорию стоицизма Толстой проповедует по отношению к людским несчастьям. Люди живут по учению мира, и их беды, воображаемые и невоображаемые, суть прямое следствие их неправильной жизни, от которой никто не хочет отказаться.

Как я уже упоминал, Лев Николаевич радикален в своих мнениях до крайности и, глубоко сжившись со своим образом мыслей, не хочет делать никому никаких уступок, руководясь тем убеждением, что чем выше держится знамя идеала, тем оно дальше от житейской грязи. На тех же, которые говорят, что к достижению высокого нужны лестницы со ступеньками, он раздражается. Остается вопрос, что лучше: притянуть ли высокое сверху вниз и сделать его общедоступным, или строить лестницы? Лев Николаевич хлопочет об упрощении всего, т. е. о низведении недосыгаемого на степень общедоступного. Занимателен был по этому поводу мой спор со Львом Николаевичем. Разговор зашел о распространении народных книжек «Посредника» и грамотности среди крестьянского населения. Я спросил у одного из присутствующих, хорошо знакомого с делом крестьянского образования, преуспевает ли грамотность в деревнях и в особенности в Ясной Поляне. Получив утвердительный ответ, я вслух выразил свою радость по этому поводу. Вдруг один из собеседников, человек вполне преданный учению Льва Николаевича, возразил на это, что развитие грамотности ничего особенно радостного представлять не может.

— Кроме книг писанных и печатных,— говорил мой противник,— есть постоянно раскрытая перед глазами всех книга жизни, из которой люди почерпают мудрость и истину.

Лев Николаевич, слышавший это, с своей стороны высказал то же самое и указал мне на тот факт, что правила нравственности выработались и укоренились в человечестве задолго до изобретения способов скорейшего распространения мыслей, т. е. задолго до изобретения письменных знаков и книгопечатания. Я не понимал внутреннего смысла этой фразы и просил ее разъяснения. Я думал так: «Если мы будем читать книгу жизни, то на каждом шагу, рядом со страницей, преисполненной глубокого чувства, встретим пошлые и грубые строки обыденной жизни, между тем как в книге печатной мы находим, так сказать, избранные, лучшие места из книги жизни». И вот как ответил Лев Николаевич на мой вопрос:

— Если в настоящее время распространение грамотности может представляться нам радостным явлением, то в будущем,

когда правила добра и истины будут передаваться ребенку и матерью, и отцом, и братьями, и всеми, кто только окружает его, печатная книжка не будет в состоянии сказать что-либо новое в области нравственного и таким образом дать духовную пищу насытившемуся.

— Допустим, что основные правила добра не будут нуждаться в печатном распространении, — возражал я, — положим даже, что они уже известны всем; но что вы скажете о выводе из этих основных правил, о выводах науки, людского знания? Разве печать не есть хранилище мысли человеческой? Разве двинулась бы так далеко наука, если бы выработанное ею в прошлом не сохранилось до настоящего времени?

— Если печать, — отвечал гр. Толстой, — сохранила выводы дорогой вам науки и сохранит их еще на будущее время, то этим она окажет плохую услугу науке, выставив ее на позор и посмеяние потомству, как ряд грубых ошибок и разногласий. Цель науки есть человеческая польза, а много ли пользы принесли ваши философии, политические экономии и разные права? Никакой. Цель вашей науки — разыскивание способов оправдания насилия. Науки еще нет у нас; у нас есть софистика и сумасбродные бредни...

— Но позвольте, у науки есть свои методы, свои пути.

— Да, есть пути, как я уже сказал вам, к апологии всяческого насилия. Хотите, на основании вашей науки я логично буду защищать все, всякую мерзость, начиная с отнимания куска хлеба у голодного человека и кончая убийством его из-за личного блага. Верьте мне, люди нынешнего века признают научные теории оттого, что они потворствуют и оправдывают людей в их дурной и порочной жизни. Недавно царствовала в ученом мире философия духа, по которой выходило, что нет ни зла, ни добра, что бороться со злом человеку не нужно, а нужно проявлять только дух. Ведь много было различных выражений человеческой мудрости, и проявления эти были известны людям девятнадцатого века. Известны были и Руссо, и Паскаль, и Лессинг, и Спиноза, и вся мудрость древности, но ничья мудрость не овладела толпой. Нельзя сказать и того, чтобы успех Гегеля зависел от стройности его теории. Были такие же стройные теории: Декарта, Лейбница, Фихте, Шопенгауера. Только одна была причина, что учение это на короткое время сделалось верованием всего мира, — та причина, что выводы этой философской теории потакали слабостям людей.

— Итак, вы говорите, что отвлеченные словесные науки имеют целью оправдывать дурные стороны человеческой натуры?

— Конечно. Возьмите, например, пресловутый закон Мальтуса⁵. Какой-то весьма плохой английский публицист, сочинения которого признаны были за абсолютное ничтожество, пишет трактат о народонаселении, в котором придумывает закон несоразмерного со средствами питания увеличения населения. Мнимый закон этот писатель обставляет математическими, ни на чем не основанными формулами и выпускает в свет. И что же? Закон встречается в массе огромный успех и все кричат: «Мальтус! Мальтус! Закон увеличения населения в геометрической и средств пропитания в арифметической прогрессии!» Почему же это так случилось? А потому, что если вы приложите закон Мальтуса к нашей жизни, то получится, что умирание с голода есть самая законная вещь, и евангельский текст, гласящий об отдаче бедняку рубашки с кафтаном, является более чем абсурдом. К этим же выводам клонится и теория Конта, основанная на сказке Менения Агриппы, представлявшего общество в виде организма⁶.

Я был несколько ошеломлен выводами Льва Николаевича, все сказанное им казалось мне слишком новым и смелым, и, увы, я не мог сразу решить, правильны ли эти выводы. Если они правильны, почему же общество не примиряется с ними? — задал я вопрос.

— Потому, — ответил на это один из собеседников, — что выводы Льва Николаевича идут вразрез с людскими слабостями и поэтому нравиться не могут большинству. Неужели вам это не ясно?

Я смутился и стал слушать дальше, что говорил Лев Николаевич, несколько увлекшийся и начавший с жаром развивать свои взгляды. Он жестоко нападал на позитивизм и на временное увлечение им.

— И удивительнее всего то, — говорил Лев Николаевич, — что эта самая позитивная наука признаком истинного знания признает научный метод, и сама определила то, что она называет научным методом. Научным методом она называет здравый смысл. И этот-то любезный ей здравый смысл на каждом шагу уличает ее. И когда наука наконец почувствовала, что в ней не осталось ничего здравомыслящего, она сама себя назвала здравомыслящей, т. е. научной, наукой.

Я убедился из слов Льва Николаевича, что все отрасли современной науки отрицаются им в силу того, что, по его мнению, наука давно потеряла свою истинную цель, пользу человечества, и занялась не подлежащими ей частными вопросами. Как я после узнал, в одном из сочинений Льва Николаевича есть целый трактат на эту тему⁷.

Вообще воззрения Льва Николаевича в этом отношении

чрезвычайно оригинальны. Он скорее даже готов признать за нечто положительное философии греков и индийцев, чем нынешние изыскания в области опытных и умозрительных наук. Даже медицину нашу, столь прославленную первостепенными светилами, Лев Николаевич третирует очень жестко, говоря, что деревенская знахарка ничуть не хуже знает дело врачевания, чем любой лекарь. То есть Лев Николаевич полагает, что и знахарка и лекарь ровно ничего положительного не знают, но за то ничегонезнание знахарки обходится русскому обществу несравненно дешевле неуверенного и гадабельного знания врача.

— Да вот,— привел пример Лев Николаевич,— гостил у меня князь У⁸. Раз вечером здесь на дереве, в саду, стал он показывать свою ловкость и упал на землю со значительной высоты. Конечно, вывихнул руку. Все перепугались, послали за доктором, а пока кто-то посоветовал позвать деревенскую знахарку-костоправку. Она пришла, попросила масла деревянного и осторожно вправила руку так, что и доктора никакого не надо было.

После Лев Николаевич сам, по примеру этой знахарки, занимался костоправством и исполнял это дело с большим успехом. Как-то раз мужик, рубивший дрова, по неловкости вывихнул руку и с посиневшим от боли лицом просил товарища тянуть ему руку, что последний исполнял с чрезвычайным усердием, причиняя этим большую боль. Лев Николаевич видел это из окна и, выйдя на улицу, предложил пострадавшему свои услуги. Поступая так, как поступала знахарка, он без труда вправил руку, имея, как он говорил, очень смутное понятие о вывихах и научном их лечении.

— Мы давно запутались в наших науках,— повторял мне Лев Николаевич,— мы потеряли их смысл, создали себе исключительные права, избавляющие нас от борьбы с жизнью. Я признаю истинную художественную и научную деятельность, но эта деятельность в настоящем смысле слова только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает только обязанности. А такова ли наша наука, старающаяся защитить всякую мерзость убедительными научными формулами и изысканиями? Может ли назваться человеком науки тот же Мальтус или Конт? По моему мнению, если люди действительно призваны служить другим духовной работой, то они в этой работе будут видеть только обязанность и с трудом, лишениями и самоотвержением будут исполнять ее. Мыслитель и художник никогда не должен сидеть, как теперь, на Олимпийских высотах; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение и утешение⁹.

Учить тому, сколько козявок на свете, писать романы, оперы можно не страдая, но учить людей их благу, которое все только в отвержении от себя и служении другим, и выражать сильно это учение — без страдания нельзя.

Всякий день, пока я был у Льва Николаевича, он после завтрака отправлялся на деревню доканчивать вдовый сарай и возвращался домой поздно. Работал он неумоимо, так что Прокофий не раз с сердечным удовольствием говорил: «Ишь, ишь, куда полез дед! И не смеется!» Все, кому нужно было видеть Льва Николаевича, являлись к нему в деревню и тут же, или помогая ему, или просто сидя на бревнышках среди навоза, беседовали с ним. Во время отдыха, около пяти часов, если Лев Николаевич не уходил домой, все усаживались в ближайшей избе и, утоляя свой голод хлебом и квасом, снова рассуждали о явлении борьбы за существование или о разделении труда, на который Лев Николаевич тоже имеет очень своеобразные взгляды. Особенно запомнилась мне такая картина. В маленькой, почерневшей от дыма и копоти избе интеллигентного работника, во время сильной грозы, сидит за деревенским столом Лев Николаевич, положив одну руку на колено, а другой придерживая ковш квасу. В избе темно. Сквозь маленькие, закоптелые окна со двора падают слабые лучи вечернего солнца, заслоненного грозовой тучей. Вокруг Льва Николаевича в различных положениях сидят трое его гостей и стараются не проронить ни одного слова из речей маститого беллетриста. Две бабы, зашедшие в избу спастись от дождя, человек пять ребятишек на лавках и под лавками и наконец книжки толстых журналов на полках дополняют оригинальную картину.

Однажды мне пришлось видеть Льва Николаевича сильно разгневанным. Случилось это так. В то время, когда Лев Николаевич с Прокофием подымали последний перемет на верх сарая, к нему от барского дома подошла фантастически одетая в разноцветный костюм пьяная женщина и высокопарными фразами начала его о чем-то просить, поминутно тыкая пальцем в какое-то письмо. Лев Николаевич сперва ее терпеливо слушал, вникал в ее слова, но потом, когда просительница в порыве увлечения замолела какой-то чересчур несообразный вздор, он с сердцем попросил ее уйти. Женщина не унялась, стала кричать, взывать к справедливости, обвинять в чем-то Льва Николаевича и наконец объявила, что она не уйдет до тех пор, пока он не даст ей денег и своего платья.

— И это всегда так! — обратился тогда ко мне Лев Николаевич. — Чего ей нужно? Она пьяна, и я ее не понимаю.

Знаете ли вы, сколько наглых писем я получаю каждый день с насмешками и издевательствами надо мной?

Сперва Лев Николаевич старался не слушать возгласов пьяной просительницы и по-прежнему продолжал постукивать топором. Но наконец у него не хватило терпения; он бросил топор, отошел в угол сарая и там, отвернувшись, скрестил руки на груди. Просительница попыталась, спотыкаясь на каждом шагу, добраться до него, но ее не пустили мужики, добродушно подшучивавшие над ее душевным состоянием:

— Брось, тетенька, не лезь с пьяных глаз!

В эту минуту Лев Николаевич обернулся и почти крикнул:
— Оставьте вы меня!

Я никогда не видел его таким. Он совершенно изменился под влиянием гнева, и я снова подумал о том, скольких трудов стоило Льву Николаевичу побороть себя и подчиниться одному из главных его положений: «не гневись».

А спустя несколько времени в нем, как и во всяком вспыльчивом человеке, совершенно изгладилось первое неприятное чувство раздражения, и он спокойно беседовал с гостями об основах индийской философии, с которой Лев Николаевич близко знаком по французским и английским источникам.

Кстати, нужно удивляться Толстому в его умении распределять свое рабочее время. Постоянно занятый физическим трудом, развлекаемый массой посетителей, знакомых и незнакомых, он находит время отвечать на письма своих друзей, читать, думать и писать самые разнообразные вещи, начиная с рассказов из народного быта и кончая рассуждениями на тему мировых вопросов. Кабинет Льва Николаевича завален книгами и рукописями. Здесь Толстой живет в своем царстве и может любоваться развешанными по стенам портретами своих друзей и товарищей по перу. Между его книгами можно найти представителей почти всех философских систем, и я помню, как, читая трактат Матью Арнольда «Literature and Dogma»¹⁰, он в восхищении ходил по комнате и с удовольствием перечитывал некоторые места. Эта книга ему нравилась потому, что в ней он находил мысли более чем родственные ему, составляющие в настоящее время цель его жизни. Может быть, читателю известно это сочинение, полагающее основой религиозного чувства нравственность и этику. Поэтому-то оно так понравилось Льву Николаевичу, радостно встречающему все, что хотя несколько согласуется с его мировоззрением. Несмотря на то что многие положения Матью Арнольда тождественны с положениями Льва Николаевича, последний, будучи далек от мелочного авторского самолюбия, рекомендовал читать этого писателя своим знакомым и

не боялся того, что его могли обвинить в заимствовании. То же случилось с декларацией некоего Гаррисона, либерала времен войны между Севером и Югом Нового Света¹¹. Тезисы Гаррисона, его требования любви и мира от общества вполне совпадают с требованиями Льва Николаевича. Толстой при каждом удобном случае спешит поведать слушателям об этом заатлантическом мыслителе и борце за идею. Сам Гаррисон давно уже умер, но, будучи некогда деятельным членом либеральной партии, он на некоторое время своей личностью занял умы лучших людей нашего времени и был почтен со стороны соотечественников объемистой биографией, с указанием на все его литературные труды. Между прочим, в этой биографии его учение о непротивлении злу совершенно игнорируется, точно автор боялся уронить самого Гаррисона в глазах читающей массы признанием за ним такой вопиющей нелепости.

— Об этом умалчивают умышленно,— говорил Лев Николаевич, рассказывая жизнь и идеи Гаррисона,— как умалчивают в том случае, когда гость делает за столом какое-либо неприличие, то есть, например, икает или что-нибудь в этом роде.

К мысли о непротивлении злу Гаррисон пришел не сразу и не сразу нашел кружок сочувствовавших ему лиц. Как рассказывал Лев Николаевич, этот стойкий человек обладал железной волей, и неудивительно, что он наконец своим словом и примером увлек некоторые умы. Сколь велика была в нем жажда деятельности, можно видеть из того, что он, не обладая большими средствами, но желая быть услышанным, вошел в соглашение с таким же, как он, бедняком кузнецом и решил издавать либеральный журнал под названием «The Abolitionist»¹². Как известно читателю, дело тогда шло о ниспровержении рабства в северных и южных штатах. Весь Новый Свет разделился на две партии, и Гаррисону даже в родных городах приходилось бороться с консерваторами, составлявшими еще очень сильную партию. Гаррисон со своим товарищем и единомышленником жил в маленькой комнатке в сажень длины и таковой же ширины, там писал статьи, сам набирал, корректировал и печатал. Массу лишений, унижений, непосильного труда пришлось вынести этим двум работникам. Наконец великое дело совершилось — и Гаррисон занял почетное место наряду с Вильямом Чанингом и Лонгфелло, автором известного «Сна невольника...». Заветная мечта северян была исполнена, черные стали равноправными гражданами, но Гаррисон на этом не успокоился. Он пошел дальше и наконец, исходя из своих основных гуманных на-

чал, пришел к неожиданным заключениям, именно — к отрицанию всякого насилия. Будучи последовательным, он смело выступил на проповедь и, как нужно было ожидать, на первых порах потерпел фиаско; на него снова посыпался град насмешек, ему не давали прохода, на него натравливали неоднократно буйную, необузданную чернь, но он все выносил со спокойствием духа и наконец добился того, что вокруг него собралось сто двадцать девять человек единомышленников, твердо решивших переносить во имя правды и добра все, не исключая жесточайших мучений и смерти.

Как следовало ожидать, горсть фанатиков в среде хладнокровных американцев не произвела сильного впечатления. Вообще крайний радикализм редко увлекает массы, а тем менее способен увлекать радикализм пассивный, точно задающий себе целью бесконечное страдание. Страдать за других есть способность немногих впечатлительных и высоких умов. Протекли годы, Гаррисона потомство оценило по заслугам, причислило его к выдающимся общественным деятелям, но позабыло или, лучше сказать, постаралось забыть его странное учение. И вот наконец его сын, прослышав о том, что в России объявился новый чудак, разделяющий с его отцом мысли о насилии, посылает в страну медведей и волков биографию родителя.

Весть о том, что за океаном, задолго до него, энергичный труженик высказывал одни с ним мысли, чрезвычайно порадовала Льва Николаевича. Мы любим проверять свои ошибки на чужих опытах, это старая истина.

Нужно еще сказать, что Гаррисон со своими товарищами для обнародования новых положений издал декларацию, т. е., лучше сказать, брошюру с перечислением главных правил жизни. Эта декларация тоже попала в руки Льва Николаевича, удивлявшегося даже сходству языка брошюры со слогом и образностью его сочинений¹³. <...>

Тут я считаю нужным сказать несколько слов о супруге Льва Николаевича и ее отношении к философской деятельности мужа. Не знаю почему, но в умах многих из почитателей Толстого с давних пор укоренилось мнение, будто Софья Андреевна тормозит деятельность Льва Николаевича и заставляет его удалиться от конечной цели, т. е. старается, чтобы он не высказывался окончательно. Если бы действительно на совести графини Толстой лежало такое преступление, то в будущем, когда она предстанет вместе со Львом Николаевичем на суд потомства, ей угрожал бы суровый приговор поколений двадцатого столетия. Но насколько я понял Софью Андреевну, судя по тому, как она отзывалась об уче-

нии Льва Николаевича, судя по ее отношению к крестьянам, к детям, к разношерстным посетителям и последователям мужа, ее влияние далеко не оппозиционное, а разве только регулирующее.

Однажды в разговоре я откровенно передал графине мнение о ней некоторых кружков и сообщил, как ее обвиняют за то, что, когда Лев Николаевич хотел отказаться от всех преимуществ своего общественного положения и идти крестьянствовать в деревню, она отговорила его и слезами заставила отказаться от своего намерения.

— Так что же? — ответила графиня. — Разве я не должна беречь силы и здоровье Льва Николаевича? Разве он мог бы вынести все невзгоды крестьянской работы, когда большую часть своей жизни он провел совершенно при других условиях? Станные, в самом деле, эти люди; они точно не понимают, что есть принципы благородные, возвышенные, есть взгляды очень верные и целесообразные, но недоступные на практике тому или другому человеку. Мы должны стремиться к идеалу по мере сил, но надрываться во имя его, по моему мнению, более чем неблагоприятно. Например, Лев Николаевич теперь требует, чтобы я надевала лапти, сарафан и шла в поле работать или стирать на речку белье. Я бы и рада сделать это, но мои силы, мой организм не позволяют мне этого. Еще недавно Лев Николаевич сердился на меня за то, что я из экономии ездила на дачу во втором, а не в первом классе, а теперь он советует мне идти в Москву пешком.

Я невольно улыбнулся, представляя себе графиню Толстую шествующей *per pedes apostolorum** за триста верст в образе странницы или крестьянки.

— Лев Николаевич очень радикален, — ответил я.

— Нет, он в увлечении не измеряет человеческой силы и способности. Ему кажется, что каждый все может; но я уверена, что он сам бы скоро истощился и заболел, если бы только во всем стал следовать своим убеждениям; поэтому я стараюсь не допустить его до излишка. Я разделяю его мысли и, по возможности, следую им. Я далеко не держу себя так, как бы могла держать, я стараюсь быть полезной всем; я воспитываю своих детей в правилах чести и трудолюбия и, если отправляю их учиться не к скотнику, а в гимназию и университет, так потому, что не имею права поступить иначе. Я им должна дать воспитание, соответствующее с их общественным положением, чтобы они впоследствии не могли обвинить меня в незаботливости об их судьбе. У нас с Львом Николаевичем были по

* апостольским способом (лат.).

этому поводу долгие совещания. Я его спрашивала, куда отдать сыновей: в лицей, училище правоведения, корпус или в гимназию.

— И я всегда повторял одно и то же,— вмешался Лев Николаевич, слушавший наш разговор издали,— отдай их в деревню, учиться жизни. В университете еще есть один факультет, математический, где можно узнать что-нибудь положительное, а остальные только забивают голову и извращают понятия. Благодаря гимназиям и университетам, интеллигентному человеку труднее понять простые евангельские истины, чем человеку простому, без отуманенных мозгов.

— Ну, я с тобой несогласна,— ответила Софья Андреевна,— я думаю иначе. Я для Льва Николаевича,— обратилась она снова ко мне,— регулятор; я регулирую его мышление тем, что не соглашаюсь с ним безусловно. Человек всегда начинает проверять ход своей мысли, когда близкие люди не вполне усваивают их. И может быть, не будь меня — Лев Николаевич бог знает куда ушел бы в своих умозаключениях. А теперь он сдерживает себя и идет равномерно в одном и том же направлении.

Я был восхищен таким метким и образным сравнением. Графиня думает так, как думают и многие согласные с Львом Николаевичем в его оригинальном мировоззрении. Сам он требует громадных скачков, она же хочет строить лестницу. Лев Николаевич сразу требует подвигов — Софья Андреевна приравнивается к слабостям человеческого естества. Отсюда получается кажущееся противоречие и принципиальная оппозиция графини. Между тем она рассуждает, с своей точки зрения, очень правильно, и в высказываемых ею мыслях видна большая обдуманность.

Я видел Софью Андреевну в ее домашней жизни только три дня, но и за это короткое время успел подметить много симпатичного в ее характере и деятельности. Соберутся ли мужички с просьбами к барскому двору — графиня, если Льва Николаевича нет дома, расспросит и по мере сил поможет им словом или делом; приедут ли ко Льву Николаевичу его разношерстные гости, графиня их примет любезно, ласково, внимательно; нужно ли скроить, починить что-нибудь, одеть, уложить детей — везде чувствуется ее уверенная и твердая рука опытной хозяйки. Я видел графиню за шитьем, видел за штопаньем чулок — и она не рисовалась, не гордилась и не стыдилась этого. Все у нее выходит просто и естественно. Характерны, кстати сказать, ее отношения к детям. Младший сын Льва Николаевича, мальчик лет девяти, выиграл однажды бабку у гостя, своего двоюродного брата, который не хотел

отдавать проигрыша. Оба пошли на суд к Софье Андреевне.

— Ты честно поступаешь?— спросила графиня у племянника, называя его по фамилии.— Тебе разве не совестно так делать? Скажи мне, совестно тебе?

Графиня говорила это несколько сурово, точно относясь к взрослому человеку. И это подействовало на мальчика; он бросил бабку, расплакался и побежал вон из комнаты. Маленький Толстой пустился за ним вдогонку с испуганным личиком и умолял взять назад бабку, уверяя, что он пошутил. Наконец оба еще пуще расплакались и, пролив обильные потоки слез, помирились. Графиня подействовала на обоих, даже не повысив голоса, пробудив в них серьезным отношением живые струны детского сердца; в этом случае она не противилась злу насилием и оказалась достойной последовательницей своего великого супруга.

Таким образом, вся семья, весь дом Льва Николаевича и, наконец, даже он сам, если так можно выразиться, находятся под непосредственным внимательным оком хозяйки графини, служащей главной пружиной в механизме семейной жизни. Действительно, жизнь Льва Николаевича, даже по отношению к его друзьям, можно назвать в широком смысле слова семейной. Он не живет, как другие, на каждом шагу отстаивая свою личную независимость и ведя тонкую политику с окружающей его средой; личных врагов у него нет; есть враги его идей, но с ними он без злобы и проповеднического ожесточения ведет упорную борьбу через тех, кто считает себя в рядах его учеников и последователей. И напрасно, кажется, многие почтенные люди усиленно нападают на Толстого, видя в его учении опасность религиозного и политического свойства. <...> Его коренная мысль — воздействовать на людей силою нравственных принципов, а это кому же или чему может быть опасно?

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

А. МОЛЧАНОВ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Посетив вчера графа Л. Н. Толстого, я могу сообщить приятную вестъ: напугавшие всех жестокие приступы его старой болезни печени прошли и здоровье маститого писателя, видимо, поправляется. Косить, жать и вообще всякий утомительный физический труд ему запрещен строго-настрого, и достаточно взгляда на аскетическую фигуру Л. Н., чтобы полностью оправдать этот запрет. Но так как в этом больном теле дух жив и велик, то даже докторский режим не осмелился наложить veto на умственную работу графа. И граф пишет усердно: он уже кончил и отдал в печать «Послесловие к «Крейцеровой сонате». Самая «Соната», как объяснил он мне, написана им уже давно.

— К сожалению, — прибавил он, — очень многие из моих произведений появляются у нас в литографиях, а за границей в переводе в таком искаженном виде, что я сам не узнаю своего труда... Эта «Соната», например, изданная на немецком языке, бог знает что такое... Пока только один английский перевод ее сделан Диллоном по точному оригиналу¹.

— Каким же образом уберечься от подобных фальсификаций, — спросил я, — когда вы сами не печатаете ваших произведений?

— В Москве есть мой приятель, Чертков, — вы не знаете его? — ответил Л. Н. — Он прекрасный библиофил... у него все подлинники моих произведений.

Затем граф также в последнее время написал предисловие к книге д-ра Алексеева о пьянстве. Этот труд передан им профессору Гольцеву и выйдет в свет отдельной книжкой². Читая рукопись г. Алексеева с богатым материалом и обдумывая предисловие к ней, граф — по его собственному выра-

жению — увлекся и начал теперь обширный труд, пробуя дать первый ответ на вопрос: почему человечество начало употреблять наркозы — вино, водку, курение etc. — и где причина, что страсть к этому опьянению сохраняется так крепко и поныне во всех слоях общества всех стран?

— Не знаю, — прибавил он к рассказу об этой теме, — не знаю и сомневаюсь, можно ли будет напечатать этот труд. Впрочем, — заметил он, как бы конфузясь, — я глубоко убежден, что и вредно и нехорошо, когда произведения печатаются при жизни их авторов.

— Отчего же, граф? — удивился я.

— Во-первых, когда произведения публикуются еще при жизни автора, он, когда пишет, не свободен, он непременно будет думать, что скажут о его труде, как его встретят и прочее и прочее. Все это не хорошо, очень не хорошо... А потом пережить, знаете, свою славу, дело та...кое трудное, которое не всякому удастся... Вот Николай Успенский... был, несомненно, талантливый человек, гораздо талантливее Глеба — не вынес этой тяжести... Начали его хвалить, приглашать, голова закружилась, стал невнимателен к труду, все отвернулись, и человек погиб... Даже Тургенев и тот не вполне совладал с этим крестом. Начинается баловство, хочется опять выходить на сцену, пишут просто для того, чтобы снова слышать рукоплескания. Нет, я решительно убежден, что все произведения должны появляться в свет только после смерти их авторов...

Слушая это, в моей голове было готово много возражений против такой идеи графа, но, с одной стороны, его болезненное состояние, с другой — естественное желание слушать его речи, как в этом случае, так и в последующих беседах, удерживали меня от продолжительных возражений.

А беседа наша была долгая: почти три часа мы провели в ней, сидя на террасе, в саду и гуляя по тенистым аллеям яснополянского парка. «Я разошелся», — говорил мне граф улыбаясь и с той искренностью и простотой, которые суть знамена больших людей, высказывая мне свои мысли общие и, в частности, относящиеся лично к моей деятельности.

— Как жаль, — говорил граф, — что вы живете литературным трудом. Получать деньги за него — вещь не... не подходящая. Не следовало бы... Надо бы как-нибудь иначе устраиваться, чтобы писания свои не продавать...

Я, кроме объяснений реального свойства, сказал Л. Н., что труд журналиста имеет крупные особенности, — мы, руководствуясь действительной жизнью и вопросами дня, чувствуем себя более свободными от гнета авторского самолю-

бия — искренне и ясно сообщить читателю мои сегодняшние впечатления и думы с верой, что правдивость такого сообщения всегда приносит пользу,— вот почти единственный стимул и мотив нашего труда.

— Да,— ответил граф,— вы действительно правы, что ваши условия труда, как более непосредственные, и более свободны. Мне это интересно... Я давно уже задумал написать сочинение об искусствах и о разных видах его... Яблоко упало, и пришла идея о притяжении земли... Человеку нова эта идея, он бросается к людям, спрашивает их — они отрицают, а он все-таки думает — земля притягивает. Бьется, пишет, находит доказательства и просто ради одного самоудовлетворения пишет и публикует... Это выходит вполне искренне и полезно... Только тут необходимо, чтобы это было непременно ново для меня и мое собственное, тогда только оно может быть сделано свободно и искренне.

Говоря о крупных издательских фирмах России, Л. Н. выражал крайнее сожаление, что у нас до сих пор нет сжатого экстре из классиков всемирной литературы.

— Подобное издание было бы в высшей степени важно для самообразования русского общества,— говорил он.— Как можно не знать, что сказали, суть того, что сказали, великие умы. Да, по-моему, даже средние и маленькие писатели не должны быть забыты в таком издании: даже у самых маленьких найдутся такие мысли, которые человечество не должно забывать. Я убежден, что подобное издание принесло бы у нас огромную пользу: у нас уже есть люди, которые могли бы сделать хорошее экстре, и просто удивительно, что до сих пор такое издание даже никем не задумано³.

Тарелка бульона — единственное кушанье, составляющее весь обед графа,— не прерывала нашей беседы. Все вопросы дня и мира интересуют Л. Н. Таким образом, мы незаметно от литературных вопросов перешли и к политике. Темой к тому послужил разговор моего сотоварища с князем Бисмарком⁴.

— Удивляюсь,— заметил граф, пожимая плечами,— к чему это он стал там пояснять свою прошлую политику... Просто не понимаю.

— А не напомнил он вам,— спросил я, смеясь,— отставного фельдфебеля, когда заговорил о рабочем движении?

— О, я никогда-никогда не признавал Бисмарка великим человеком,— с живостью возразил граф,— пришло историческое время для объединения немцев; в этот момент стояли во главе Вильгельм и Бисмарк, вот и будут повторять эти два имени... Я пережил интересную эпоху Наполеона III;

его ведь тоже признавали гением. Все держатся известных привычек, известных приличий; вдруг среди них является нахал, ничего не признает, и при успехе его немедленно провозглашают великим... Так всегда делается, нередко и в частной жизни появляются такие же гении — нахалы...

— А как, граф, вы относитесь к затеям молодого Вильгельма? — спросил я⁵.

— С большим интересом.

— И с симпатией?

— Да, и с симпатией... Я всегда доказывал, что у каждого времени есть своя забота. В этом состоит смысл истории и человеческого прогресса. В наше время была такой заботой крестьянская реформа, теперь на Западе и на очереди рабочий вопрос. Игнорировать его — такая чепуха. Да, в сущности, это вовсе не рабочий вопрос. Жаль только, что молодой император не с того начинает. Ограничение, например, часов рабочего времени... Разве это возможно? У нас, например, в Московском округе, я знаю, запретили детям работать — пошли работать матери... Не то нужно, нужно, чтобы самому рабочему не было необходимости закабалить себя на четырнадцатичасовой труд или отдавать на фабрику детей. Без такого коренного дела все попытки исправить настоящее положение не дадут доброго результата.

После своего скромного обеда и долготщетных уговоров графини и моих отправиться на обычный полуденный отдых граф на прощанье сообщил мне в кратких словах тему, на которую он желал бы написать роман⁶.

— Это факт — действительность, и такая, какую ни за что не выдумаешь. Купеческая дочка заразилась революционизмом. Остриглась, начала курить и т. д. Явился у нее ребенок, богатые родители выгнали ее из дому, ей некогда было заниматься ребенком, и она отдала его в воспитательный дом. Одна кормилица этого дома получила этого ребенка к себе на дом, а ее собственный ребенок достался другой кормилице. В приемной она, однако, успела выменять ребенка — унесла домой своего, а нумер-то у нее был на купеческое дитя. Купчиха с супругом часто навещали этого ребенка, признавая его за своего, привозили лакомства, ласкали его и любили. Затем настоящее купеческое дитя умерло, а у купчихи все революционные идеи вылетели из головы вместе с дымом пахитосок, она примирилась с родителями и стала опять богата. Незачем, значит, оставлять ребенка у кормилицы. Хочет взять его — кормилица не дает, предлагает деньги, крупные деньги — не берет. И вот совершился новый соломонов суд над директором воспитательного дома — настоящий соломонов суд,

и ребенок достается, конечно, настоящей матери его — кор-милице.

По уходе графа на отдых, я еще много беседовал с добрым гением нашего маститого писателя-философа и его многочисленной, состоящей из девяти душ, семьи, в которой старшему члену 28 лет, а младшему — всего два года, с супругой Л. Н., графиней Софьей Андреевной. Главной темой были тут две злобы дня яснополянского дома — тень, выброшенная на отношения семьи к знаменитому главе ее⁷, и беда с посетителями.

— Никогда,— подтверждала графиня с чувством столь естественного в данном случае возбуждения,— никогда в наших старших детях не могло мысли зародиться в чем-либо перечить отцу. Если б меня обвиняли в этом — да, я открыто признала бы это. Лев Николаевич хотел и настаивал на раздаче бедным всего его имущества — и я, одна я протестовала, объявив, что я не годна для заработка, что с девятью детьми нищета убьет меня, что сам он — больной и хилый — неспособен жить ручным трудом... Но я, слава богу, победила. С той поры одна я, исключительно одна управляю всеми делами графа, все у меня и в моих руках, следовательно, о какой же расточительности может быть речь? Столь же основательны и слухи о пропаганде: Л. Н. никогда с крестьянами не разговаривает о религии, да он и совершенно не годится для таких разговоров. Был у нас на селе еврей Ф.⁸ с женой; действительно это были фанатики идеи. Два года они жили по соседству с нами, но только что я услышала в Москве один намек на возможность народной пропаганды со стороны Ф., я тотчас сообщила ему мои опасения, и он немедленно уехал, уехал даже совсем из Тульской губернии. Поверьте, никакой пропаганды нет и не было...

Проживая второе лето по соседству с Ясной Поляной и по привычке часто двигаясь по этому району, я могу с полной искренностью и с полнейшей уверенностью подтвердить слова графини: я нигде и ни разу не встретил, хотя и искал, последователей идей графа среди крестьян; даже среди интеллигенции я видел лишь образчики жалкого фальшфейера* этих последователей. Причина столь, по-моему, странного явления очень проста: кто хоть раз видел графа Л. Н. и хоть однажды говорил с ним, тот, конечно, мог полностью убедиться, что этот великий человек совершенно не создан для устной пропаганды. Сочинения же его не годны для крестьянской среды в качестве замены устной пропаганды, да и кто в деревне читает? Тульская губерния, как я наглядно

* вспышкопопускательства.

убедился, одна из самых несчастных в деле народной грамотности; даже церковноприходские школы в ней существуют больше на бумаге.

Столь же грубое недоразумение заключается в осаде графа посторонними посетителями. Тут явно сказывается русское обезьянство: навестили графа единожды американские и английские, по их стопам хлынули в Ясную Поляну русские тысячи. К человеку больному, усталому от трудов, занятому глубокими думами о высших идеях человечества, люди мелкие лезут нескончаемой вереницей, без церемонии и без совести, угощая маститого писателя длинной повестью о своих личных ничтожных мыслях, недоразумениях и чувствах. Это грех, и теперь тем больший, что страдания болезни еще написаны на исхудалом лице графа Льва Николаевича и что годы требуют от тех, кто любит и уважает его, отдыха и отдыха, спокойствия и спокойствия, чтобы русская земля могла еще долго и долго гордиться жизнью этого великого ума.

2-го июня. Село Селиваново.

«ДЕНЬ»

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ В СУДЕ

Нам пишут из Крапивны

С 26-го прошлого ноября в Крапивне отделением Тульского окружного суда, с участием присяжных заседателей, было решено несколько уголовных дел. Между прочими делами разбиралось одно очень важное: по обвинению четырех крестьян Крапивненского уезда в предумышленном, с заранее обдуманном намерением, убийстве крестьянина-односельчанина Николая Б., 18 лет. Сущность дела состояла в том, что убитый крестьянин Николай Б. считался в деревне силачом и не давал себя в обиду сверстникам, а наоборот, как показывали при судебном разбирательстве свидетели, он на разных вечеринках и в хороводах всегда первенствовал, и вот 4 апреля сего 1890 года в один вечер его заманили четыре парня погулять, вывели его за деревню в глухое место, завели с ним ссору и убили его, затянув ему шею веревкой и ремнем.

В судьбе обвиняемых принял живое участие граф Лев Толстой. Накануне разбирательства дела Л. Толстой прибыл в Крапивну и с разрешения прокурорского надзора отправился в

тюремный замок для свидания и объяснения с обвиняемыми.

Приехал граф к тюрьме, вызывает смотрителя. Было уже поздно — часов 7, смотритель, вышед за ворота, подходит к саням и спрашивает у кучера: могу видеть графа? А граф уже стоял у калитки и был принят смотрителем просто за извозчика. Да и нельзя было не ошибиться. Он стоял у дверей острога в простом деревенском старом полушубке, в валеных сапогах, подпоясавшись простым ремнем и с рукавицами за поясом. Предъявив разрешение на посещение заключенных, граф просил смотрителя дозволить поставить лошадь на двор, но смотритель сказал, что в тюремный двор он не может допустить, а другого двора не имеется, зато обещался приказать присмотреть за лошадью, чем граф остался доволен.

В городе тотчас же узнали о приезде графа и о посещении им арестантов, и вот на другой день вся крапивенская интеллигенция устремила в залу суда, ожидая, что граф Толстой будет защищать обвиняемых. Собрались. Все устремили свои взгляды на графа. Граф сидел в публике. Увы! разочарование. Граф не защищает. Действительно, граф еще с вечера долго беседовал с защитником и передал ему план защиты, а сам остался наблюдателем. Но зато крапивенская публика насмотрелась вдоволь на графа Толстого. Граф был вместе с дочерями своими¹. Одет был в свою серую суконную блузу, уже поношенную, подпоясан ремнем, обут в валеные сапоги. Он очень постарел. Все время, как шло разбирательство дела, граф писал в своей записной книжке, всматривался в лица присяжных, но был все время безмолвен.

Разбирательство окончилось: один из обвиняемых оправдан, один — присужден к заключению в тюрьме на три года, а двое в ссылку на поселение в места не столь отдаленные. Когда осужденных повели в тюрьму, граф торопливо оделся в свой старый полушубок, побежал за арестантами и что-то говорил с ними. А потом отправился в свое имение.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

А. СУВОРИН

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

На днях я был у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Он указал мне, между прочим, на повесть «Мимочка на водах», напечатанную в «Вестнике Европы» (февраль и март), как вещь талантливую и написанную, вероятно, женщиной¹. Возвратясь домой, я прочел эту повесть. Подписана она буквами В. М. и названа «очерком». Все это очень скромно и просто. Самое чтение доставило мне истинное удовольствие...

Кстати Л. Н. Толстой рассказывал, что год или два тому, хорошенько не помню, приехала к нему с Волги девушка, дочь богатого купца, который оставил двум дочерям и сыну огромное состояние. Так как они остались после отца малолетними, то их опекали. Несмотря, однако, на эту опеку, когда они достигли совершеннолетия, дочерям досталось по 400 тысяч каждой, а сыну 800 тысяч. Получив свои деньги, девушка, о которой я говорю, приехала к Толстому посоветоваться насчет своих денег. «Я не могу, — сказала она, — раздать нищим все свое состояние, как сказано в Евангелии, но двести тысяч готова отдать на то дело, которое вы, Лев Николаевич, укажете. За этим я и приехала к вам». Стал Л. Н. думать с ней и рассуждать и в конце концов посоветовал ей сжечь эти двести тысяч, ибо другого, лучшего употребления этих денег он при всем своем желании указать ей не мог. Кому может показаться это странным, тот пусть сам себя поставит в ответственное положение человека, советы которого принимаются в исполнение. А Л. Н. Толстой, кроме того, имеет свои убеждения насчет денег и того не только преходящего, но уже уходящего значения современной цивилизации, со всею ее

лживую благотворительностью и заштопыванием на живую нитку дырявых на ней мест.

На одном он было остановился, именно он думал, что хорошо было бы, если б интеллигентные люди брали себе на воспитание сирот; что, может быть, если б платить им за такое воспитание, то некоторые сироты нашли бы себе верный приют. Он написал, в этом соображении, нескольким своим знакомым. От одной из них он получил ответ, что она готова взять себе на воспитание сироту, но от денег отказывается. Так и это средство употребить с пользою 200 тысяч доброй девушки осталось втуне.

— Что же, она сожгла двести тысяч?

— Нет. Я посоветовал ей обратиться к московским барыням благотворительницам. Они лучше меня знают, что делать с этими деньгами.

«ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ОКТАВ ГУДАЙЛЬ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

⟨...⟩ Каким глубоким уважением пользуется, например, наш великий художник и мыслитель Лев Толстой на западе, можно видеть из следующего описания паломничества в Ясную Поляну одного французского журналиста — Октава Гудайль:

«Из Петербурга перенестись в Ясную Поляну; где живет граф Толстой,— резкий переход.

Покинуть громадный город, еще полный отголосками кронштадтских манифестаций¹, покинуть эту атмосферу яркого энтузиазма — город полный живых чувств восторга, когда в ушах еще звучат братские приветствия и рука хранит следы дружественных пожатий,— и очутиться в уединенном убежище великого русского писателя — должно было составить поразительный контраст и произвести странное, особенное впечатление. И я испытал его во время нашего недавнего путешествия по России, когда в компании с Шарлем Рише и профессором Гротом имел счастье провести целые сутки под гостеприимным кровом графа Толстого.

В нескольких часах езды по железной дороге от Москвы мы вышли на станции Тула. Нас дожидалась здесь карета, в которой мы и отправились прямо в Ясную Поляну, куда через полчаса благополучно и прибыли.

Карета остановилась у подъезда, проехав по тенистой аллее: столетние деревья, составляющие ее, переплелись ветвями, образовав над нею свод, через который с трудом проникают солнечные лучи.

Дом в цветах и зелени имеет простой и приветливый вид.

Среди сумрачных рощ он вырастает неожиданно, раздвигая просеками купы теснящихся к нему деревьев. В усадьбе находилась графиня с старшей дочерью, Таней; она приняла нас и приветствовала с милою любезностью.

Муж ее появился тем временем в своем рабочем костюме, в туфлях, подпоясанный ремнем.

Автору «Анны Карениной» за шестьдесят, он среднего роста, с белыми как снег волосами и бородой; задумчивый взор смотрит вдаль и внутрь, повит той неопределенной дымкой, как у всех мыслителей, вглядывающихся в лежащее за пределами этого мира; в общем он производит впечатление апостола и солдата. В самом деле, найти военную складку в нем естественно, он служил в 1854 г. во время Крымской кампании.

Талантливый офицер, — он тогда встречал грудью первую и тщетную осаду Севастополя, стоившего нам столько крови.

Мы садимся за стол.

Граф говорит нам, что за несколько минут до нашего прибытия он оставил одр умирающего крестьянина соседней деревни.

А как раз накануне мы осматривали картинную галерею в Москве, и я был еще под тяжелым, почти подавляющим впечатлением ее.

Ни нагой природы, никаких жизнерадостных, веселых, полных неги и страсти образов, нигде нет даже легкого колорита и светлой игры красок, — всюду смерть и человеческое страдание, которые художник изучает и живописует со всех сторон и точек зрения с жестокою настойчивостью.

Одна из картин особенно поразила нас своим грубым реализмом: это умерщвление Иваном Грозным своего сына².

Когда мы заговорили с Толстым об этом стремлении русских художников точно щеголять мрачностью сюжетов, изображая упорно одну смерть и страдания, он нам сказал:

— Смерть безобразна и страшна только на полотнах наших художников. Здесь, в наших деревнях, она облекается в формы полные величественной простоты и почти радостна.

Удивленные, мы смотрели на него. Он продолжал:

— Я упомянул вам об умирающем, которого только что видел; его агония продолжалась несколько дней, и он не терял ни на минуту бодрого спокойствия. Когда смертная минута приблизилась к нему и, по обычаю, ему вложили в пальцы свечу, его лицо приняло выражение неизреченной, невозмутимой ясности. И в нашей стороне все так умирают.

Присутствуя при этом таинстве, я невольно сдерживал в себе волнение, умиротворяемый безмятежностью великого акта. Отвлеченное понятие претворилось у этих людей в живое чувство беспредельной веры, и смерть для них прежде всего освобождение; они не испытывают ужаса, и печаль, в которую погружается стоящий около умирающего, самому ему чужда. Для этого человека, за которым пришла смерть, она является как покой, как сон и отдохновение, сменяющее дни тревоги и скорбей.

Ныне кончаются дни его. Он понимает, что пришло наконец избавление от того, что составляет закон всего его существования,— страдания...

И Толстой заговорил о страдании. По его мнению, оно необходимо. Оно не есть только свойство нашей природы; в нем есть что-то сияющее. Это мистический закон, который не может быть уничтожен; да и не будет даже блага от его уничтожения.

Можно стараться умерить и облегчить его, но не уничтожить, так как нужно, чтобы человек страдал, чтобы человечество чувствовало боль, чтобы душа очищалась скорбью.

Я обратился в эту минуту к сыну Толстого, страдавшему жестокой невралгией и переносившему болезнь stoически.

— Да, надо страдать и уметь страдать,— подтвердила графиня, взглянув на своего сына.

Но я не думаю, что ошибаюсь, утверждая, что голос противоречил ее словам и что она не смыкала глаз целые ночи напролет, проводя их у изголовья сына. Было уже поздно. Мы простились с хозяевами.

Я удалился в библиотеку, превращенную в спальню. Но не мог заснуть. Большие черные мухи, которых, вероятно, заманила дневная теплота, летали надо мной с назойливым жужжанием.

Я встал и сел у окошка.

Я прислушивался к монотонному стрекотанию кузнечиков в парке и вдыхал с жадностью нежный аромат цветов, волны которого лились в окно.

Устремив глаза в ночной сумрак, который сливался с полусветом лунного сияния, пронизывавшего его, я задумался.

Ветерок касался вершин старых деревьев, производя в них

легкое трепетание и шелест, и в этих смутных звуках, казалось мне, я различал тихие жалобы, в них слышался мне голос всех скорбей человеческих, которые оплакивал автор «Анны Карениной» в этом уединенном уголке, в течение тридцати лет жизни, протекавшей под этими молчаливыми деревьями, среди этой дружественной природы.

И я думал о высказанном Толстым, о человечестве, погруженном в неисходное страдание, заключенном в мрачный круг бедствий.

Я видел этого философа, так любящего людей, что слава не могла его утешить и закрыть глаза на их страдания, ныне проповедующего необходимость этих страданий, его — чьи гениальные произведения представляют пламенный протест против скорби и ничтожества земного бытия. <...>

«ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

МИСС ГАПГУД В ГОСТЯХ У Л. Н. ТОЛСТОГО

По примеру Стевина¹ еще одна туристка, мисс Изабелла Гапгуд, нанесла визит Л. Н. Толстому в Ясной Поляне и описала его в последней книжке американского журнала «Atlantic». Но американская мисс сообщает такие подробности о времяпровождении в семье нашего писателя, что невольно заподозреваешь все ее известия. Так, она подробно рассказывает о купанье всех членов семьи вместе с их гостями в маленькой речке. «Все мы, — говорит мисс, — вошли в воду, большие и маленькие, но без всякого костюма. Подобный костюм был сочтен бы в этом случае доказательством желания скрыть какой-нибудь телесный недостаток». Оставив в стороне такие наивности, мы приведем только мнение писателя об англичанах и их литературе. Мисс Гапгуд нашла, что он очень хорошо знает ее. Он говорил с презрением о романах Ридер-Гаггарда² и строго отзывался обо всех английских и американских писателях. Один Диккенс очень нравится ему. «Нужны три условия, — говорил он, — чтоб быть хорошим писателем, надо, чтобы ему было о чем говорить, чтоб он рассказывал своеобразно и был правдив. Диккенс соединяет в высшей степени все три условия; они соединены также и у Достоевского. Теккерею, напротив, было почти не о чем говорить, он писал занимательно, но с аффектацией, и ему не доставало искренности». Об англичанах Толстой выразился так: «Англичане — самая удивительная нация в мире, разве исключая зулусов. В них искренно только уважение к мускульной силе. Если бы у меня было время, я написал бы небольшую книгу об их манерах. И потом эта страсть их ко всякого рода боям, экзекуциям. Русская цивилизация, конечно, груба, но самый грубый русский человек всегда ужасается обдуманного убийства. А англичанин!.. если бы его не удерживало чувство приличия и страх перед самим собою, он с бесконечной радостью поел бы тело своего отца».

«НОВОСТИ ДНЯ»

Н. Р (АКШАНИН)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНВЕНЦИЯ

У гр. Л. Н. Толстого

«Покупайте мудрость, но не продавайте ее».

Великий писатель земли русской любезно согласился побеседовать со мною по вопросу о литературной конвенции, и я в условленный час был у подъезда его квартиры в Хамовническом переулке. Лакей во фраке отпирает мне дверь и, доложив обо мне, провожает меня наверх. Ожидать Льва Николаевича мне приходится недолго: через минуту он удивительно легко для своего возраста поднимается по деревянной лестнице, и я вижу его характерное лицо, хорошо знакомое всему миру по массе портретов.

— Здравствуйте!

Обменявшись рукопожатиями, мы входим в просторную залу и усаживаемся около столика в углу ее. Густые сумерки. Лицо Л. Н. совершенно в тени, и я слышу лишь его голос. Кто-то входит и зажигает лампы. Свет той из них, которая стоит на столике около нас, мягко освещает фигуру писателя, очень плохо, нужно сознаться, передаваемую всеми существующими портретами. Последние особенно слабо воспроизводят выражение глаз. Нужно видеть эти глаза, чтобы понять их силу и проникновенность, если можно так выразиться.

— Вы хотите со мной поговорить о конвенции? Что ж? Вопрос хотя мне и чуждый, но интересный. Вы знаете, ведь Гальперин-Каминский в Москве теперь? Видали вы его?¹

— Я был у него и читал составленный им доклад.

— И что же, согласились с его доводами?

Я ответил, что доводы г. Гальперина очень мало меня убедили.

— А ведь доклад хорош,— оживленно заговорил Лев Николаевич.— Все дело в точке зрения. С моей точки зрения, я не могу одобрить заключения конвенции. Ведь конвенция,

если посмотреть на дело серьезно, не более как форма протекционизма по отношению к нашим писателям.

Глаза графа смотрели прямо на меня. Лицо его казалось очень оживленным. Нога была заложена за ногу, руки скрещены на колене.

— Конвенции нельзя сочувствовать. При выборе книги нужна свобода, и добиваться протекционизма в этом отношении нехорошо.

— А что вы думаете о выгоде или невыгоде для России такого протекционизма?

— Мне кажется все это очень гадательным. Как бы мы теоретически ни рассчитывали выгоды или невыгоды, практика может разрушить все наши расчеты. Говорят, что наши журналы помещают сорок процентов переводных вещей... А разве было бы лучше, если б они заполнили это место плохим отечественным производством? Во всяком случае, ради этих гадательных вычислений не следует идти на меру несимпатичную по самому своему началу.

После небольшой паузы Лев Николаевич заговорил с меньшим оживлением:

— Если же стать на другую точку зрения, то, пожалуй, придется задуматься. Подумайте, дело стоит таким образом: иностранцы не хотят, чтобы мы пользовались даром их достоянием, а мы, в силу того что у нас нет конвенций, будем насильно брать у них то, чего они сами нам давать не хотят. Ведь тут есть какая-то неловкость... В этом заключается нечто неблагоприятное, некрасивое... Не правда ли?.. Как вам кажется?..

Я поспешил согласиться, что в этом отношении положение наше действительно является несколько рискованным.

— Именно, именно! — подхватил Лев Николаевич. — Есть тут какая-то неловкость. Я говорю ведь не за себя собственно... Лично для меня тут вопрос решенный. Я стою выше всего этого и убежден, что, несмотря на всякие неловкости, нельзя стеснять читателя в выборе такой вещи, как книга. Но, становясь на иную точку зрения, я не могу отрицать наличности известной неловкости, которую мы допускаем в этом отношении.

Разговор перешел на вопрос о художественной собственности вообще.

— Нет ничего отвратительнее этой продажи. Еще Соломон говорил: «Покупайте мудрость, но не продавайте ее».

Лев Николаевич произнес это очень быстро, с видимым возбуждением. Глаза его теперь казались особенно выразительными.

— В этом вопросе не может быть двух мнений,— начал Лев Николаевич после небольшого молчания.— Но и тут неизбежны известные компромиссы и отклонения. Вопрос о литературном гонораре — это ведь то же, что вопрос о гонораре врачей. Отвратительно, разумеется, что врач, имеющий возможность помочь больному, говорит ему: «Я тебе помогу, но при условии, что ты мне заплатишь три рубля». Не менее отвратительно, когда писатель, имеющий что сказать массе, говорит ей то же самое: «Я открою тебе истину, но только в том случае, если ты заплатишь мне три рубля». Трудно ведь представить себе что-нибудь более ненормальное. Но, с другой стороны, если подумать, что у этого врача или писателя может быть престарелая мать, больная жена или ребенок, которых нужно кормить, одевать и поить... Если вспомнить, какую массу труда затратил врач, приобретая свое знание, и как долго, с какими усилиями, с какими лишениями добивался писатель права кормить своим заработком семью, то невольно начнешь более или менее снисходительно смотреть на врачебный или литературный гонорар.

Л. Н. Толстой замолчал на секунду и внимательно посмотрел на меня.

— Вам, может быть, покажется, что в этом заключается известное противоречие, но, с моей точки зрения, тут его нет. Компромиссы, отклонения от идеала неизбежны в жизни. Важно, чтоб идеал был ясен человеку и чтоб он твердо и искренно к нему стремился. Жизнь сама сделает неизбежные отклонения от этого прямого пути к идеалу. Условия ее сильнее самого сильного стремления личности к совершенству. Ясно ли вам это?

Выслушав мой утвердительный ответ, он продолжал:

— Компромиссы ведь могут быть двойного рода. Нехорошо, если человек добровольно и без особо побудительных причин идет на компромисс с требованиями идеала. Но если человек бессознательно отклоняется от прямого направления, вины тут его нет.

Лев Николаевич склоняется к столу, и замечательное лицо его приближается ко мне.

— Поясню вам мою мысль примером. Представьте себе, что путник идет по дороге к явно сознаваемой цели. Идет — и вдруг видит на пути своем препятствие. Нехорошо, разумеется, сделает он, если, увидев это препятствие и убедившись, что на боковой дороге его нет, просто-напросто свернет с прямого пути и, забыв о цели своего путешествия, пойдет в сторону. Но можно ли его винить, если, не имея силы преодолеть препятствие, он обойдет его и затем вновь пойдет

по прежнему направлению, стремясь все к той же благой цели?.. Ведь нельзя?.. Не правда ли? То же самое и в жизни, в стремлении человека к идеалу. Важно, чтоб оно было сильное и искреннее... А если жизнь его и сломит подчас — не беда.

Важно сознавать и проникнуться мыслью, что мудрость нельзя продавать, но с получением гонорара нуждающимся литератором примириться приходится.

Беседа приняла другой оборот и коснулась отношения русских писателей к вопросу о литературной конвенции². Я указал Льву Николаевичу на то, что наши писатели всегда протестовали против заключения литературной конвенции, хотя им лично от нее была бы лишь одна выгода.

— Да,— задумчиво ответил Л. Н. Толстой,— это действительно любопытный факт. Признаюсь, мне не приходилось обращать на него внимание.

— Думаете ли вы, Лев Николаевич, что за произведения русских авторов за границей станут платить при заключении конвенции?

— Вероятно, потому что и теперь заграничные издатели часто предлагают гонорар за исключительное право перевода.

Лев Николаевич, разумеется, имел в виду свои сочинения, о полной свободе перевода которых он напечатал недавно в иностранных газетах специальное письмо.

По вопросу о том, сколько могут платить русским авторам иностранные издатели, я привел в пример цифры, сообщенные мною вчера в отчете о беседе с И. Н. Потапенком.

— Не следует забывать,— прибавил я,— что перевод так оценивается в Англии, где трудно предположить большое число литераторов, знающих русский язык.

— Ошибаетесь,— возразил мне Лев Николаевич,— теперь там их немало. Коммерческие отношения создали давно уже потребность в знании русского языка для англичан. Многие лондонские коммерсанты присылали к нам своих сыновей для изучения языка, и теперь, при международном характере, который принимает литература, эти молодые люди стали пользоваться своими познаниями, применяя их к литературным занятиям. Во время неурожая я встречал английских корреспондентов из этого сорта молодых людей.

— Но, во всяком случае, перевод с русского там оценивается очень дешево.

— Не полагаете ли вы, что это обстоятельство обескураживает русских литераторов, и они, не ожидая особых доходов, ввиду этого и отказываются от конвенции?

Лев Николаевич улыбнулся. Улыбнулся и я, заметив, что

немногие из русских литераторов знают о положении русских произведений на иностранных книжных рынках.

Разговор был кончен. Мне оставалось лишь поблагодарить Льва Николаевича за любезное согласие побеседовать со мной — и удалиться. Крепко пожимая руку, написавшую «Войну и мир», я бормочу слова благодарности, а через минуту спускаюсь уже с лестницы, провожаемый любезным хозяином.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

БЛУМЕНТАЛЬ У ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

(Корреспонденция из Берлина)

Известный немецкий драматург, фелъетонист и театральный директор доктор Оскар Блументаль воспользовался своим пребыванием в Москве (где во время поста гастролировала часть его берлинской труппы — Лессинг-Театра), чтобы повидать графа Л. Н. Толстого.

«Пройдя целый ряд длинных коридоров, я очутился наконец лицом к лицу с этим замечательным человеком. Толстой совершенно таков, как его показал читающей европейской публике знаменитый портрет: в широкой мужицкой рубашке, подвязанной одноцветным поясом, с длинной белой бородою, с меланхолическими голубыми глазами и седыми космами волос, с изрытым глубокими морщинами лбом — работника мысли и грубыми, привыкшими к тяжелому труду руками, которые он в разговоре охотно засовывает за пояс. Глубокая, захватывающая душу серьезность, как бы истекающая от его лица, производит впечатление встречи с библейской фигурой. Граф Толстой кажется внезапно ожившим апостолом Леонардо да-Винчи, но к этому впечатлению присоединяется еще удовольствие цивилизованного вкуса, не встречающего в фигуре великого поэта ни малейшего следа намеренного оригинальничанья. Отчужденность от общества и его предрассудков так прекрасно гармонирует с отшельнической фигурой Толстого, что даже его странности кажутся вполне естественными. Монастырская простота комнаты соответствует тихому величию ее обитателя. Белые стены безо всякого украшения, черные кожаные стулья, полка с небольшим количеством книг и березовый стол, заваленный свежеисписанными



*Ванечка Толстой.
1891—1892 гг. Фото И. Ф. Курбатова.*

четвертушками белой бумаги, — такова светская келья этого монаха по убеждению.

Первая неловкость гостя скоро исчезла, благодаря живости, с которой граф Толстой вступил в разговор о специально-литературных вопросах. С очевидным удовольствием слушал он мои ответы, в которых, по его выражению, «чувствуется веяние журнального воздуха». Я воспользовался первой возможностью и перевел разговор на драматические произведения самого Толстого.

— Вы так живо интересуетесь литературными явлениями Берлина, граф, отчего бы вам когда-нибудь не взглянуть на столицу Германии и не познакомиться лично с ее живой и разнообразной умственной жизнью?

Толстой отрицательно покачал головой.

— О, нет! Я разделяю мнение индийского мудреца, приведшего в числе семи смертных грехов также и путешествия без необходимости... Я никогда более не покину России!

— У нас, в Берлине, вы встретили бы целый прекрасно подготовленный кружок почитателей. Вашу «Анну Каренину» каждый образованный считает обязанностью прочесть*. А ваши пьесы «Власть тьмы» и «Плоды просвещения» неоднократно играны в Берлине.

— Какое же впечатление произвели они на немецкую публику?

— Комедия показалась довольно непонятной ввиду ее чересчур национального сюжета, зато «Власть тьмы» произвела хотя и тяжелое, но неоспоримое впечатление... Смее спросить, не могут ли современные сцены надеяться получить еще новую работу от вашего пера?

Толстой задумчиво улыбнулся.

— Я уже давно собираюсь написать драму, сюжет которой очень близок моему сердцу. Обе пьесы, о которых вы говорите, были как бы упражнениями для этой еще не начатой работы. Я хотел сперва несколько освоиться с технической стороной драматических произведений, но боюсь, что мне не дожить до окончания любимого плана. Я должен сначала окончить начатые в прошлых годах работы, дабы быть свободным от

* Не могу удержаться от маленького замечания. Почтенный г. Блументаль, очевидно, увлекается. До сих пор романы Толстого в Германии далеко не так популярны, как он уверял Льва Николаевича. Специально «Анну Каренину» знают лишь весьма немногие, она читается меньше всех остальных романов Толстого. Я даже смее сомневаться, прочел ли ее сам Блументаль. Действительной популярностью пользуется лишь «Крейцерова соната». (Прим. корреспондента «Нового времени».)

всех других авторских забот и отдаться целиком моей драме¹.

— Сюжет ее будет, вероятно, взят опять из русской жизни?

— Нет, драма, задуманная мной, будет иметь скорей космополитический характер.

— Однако с сюжетом из народной жизни, как и прошлые пьесы?

— Нет, из столичной общественной жизни. В этой драме я хочу изложить мою собственную исповедь — мою борьбу, мою религию и страдание, словом, все, что близко моему сердцу. Да я и вообще не ищу ничего иного в работах художников. Я не люблю того холодного беспристрастия, которое теперь так хвалят. При виде старания, с которым в некоторых новейших произведениях уничтожено всякое личное чувство, я всегда вспоминаю о картине, которую вы можете видеть здесь, в Москве, в одной из первых комнат Третьяковского музея.

Картина эта изображает старообрядческую женщину, которую стража ведет в цепях по городу и которую поносит и мучает фанатическая толпа². Я спросил у живописца: «Почему изобразили вы страдание именно этой женщины? Разве вы сами старообрядец?» — «Нет», — отвечал мне художник. «Почему же вы не создали образ той религии, которую вы сами чувствуете», — попытывался я... и этот же вопрос мне всегда хочется предложить нынешним поэтам. Не может захватить за сердце меня лично ни одно произведение, в котором я не могу найти какого-нибудь чисто человеческого признания, вытекшего из сердца самого автора... Скажите, пожалуйста, — прибавил гр. Толстой, внезапно меня разговор, — какое впечатление произвели на вас последние вещи Ибсена?

— Последние вещи! Вы говорите о «Хедде Габлер» и «Строителе Сольнесе»? По совести, граф, я сам ставил эти пьесы на своей сцене, но никогда не мог понять их вполне... Мне даже иногда казалось, что Ибсен публиковал эти таинственные драмы лишь в надежде хоть когда-нибудь от своих критиков узнать, что он сам думал, писавши их.

— Да, неясность раздражает меня больше всего в драмах Ибсена. Я прочел «Дикую утку» и «Привидения» и не могу понять успеха и славы их автора... Впрочем, плохой перевод может совершенно испортить впечатление. Я сам на себе испытал нечто подобное. Своим переводчикам я могу засвидетельствовать, что они знают по-русски, но сомневаюсь, чтобы они хорошо знали по-немецки. Особенно «Крейцера соната» много потеряла в немецком переводе. Мне кажется, что все

особенности стиля и красок совершенно сглажены и пропали.

— Правда ли, что она все еще запрещена в России?

— Лишь отдельной книгой. В общем издании моих сочинений она разрешена.

Разговор перешел на Москву и ее общественную жизнь и был вскоре прерван появлением меньшого сына графа Толстого³. Смеясь и сияя жизнерадостностью, ворвался хорошенький ребенок в тихий уют мыслителя, возвещая своей оживленной русской болтовней о приближении обеденного часа.

— Я еще раз выражу искреннее желание, чтобы все начатые работы, которые я вижу на вашем столе, кончились поскорей и уступили место той драме, о которой мы говорили.

— Я сам желаю этого более чем кто-либо. Но поверьте, я умру, не окончив желанной работы.

Странной, мистической серьезностью отзывалось повторение этого предсказания. С особенным внутренним чувством расстался я с патриархальной фигурой великого поэта, и долго, долго преследовал мою душу меланхолический призрак его чарующего образа. На другое утро граф Толстой прислал мне свой портрет с любезной надписью».

«РУССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА»

В. СЕРОВА

ВСТРЕЧА С Л. Н. ТОЛСТЫМ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ПОПРИЩЕ

— Возьмите меня к Льву Николаевичу,— просила я свою приятельницу, собирающуюся однажды к нему по какому-то делу.

— Вы его никогда не видали?

— Никогда! говорят, к нему много народу ходит, а я не решаюсь... зачем его тревожить? Видеть его все-таки хочется... Знаете что? Вы меня запрятывайте куда-нибудь в уголок и не обращайтесь на меня ни малейшего внимания; да не вздумайте меня представлять ему! Я из угла буду на него смотреть и слушать ваши разговоры. Согласны меня взять при таких условиях?

— Согласна,— смеясь ответила моя приятельница, немедленно собравшаяся к нему, шутя забрав и меня в путь-дороженьку.

Действительно, к Льву Николаевичу приходило так много разного рода людя, что я могла преспокойно сидеть поодаль, не возбуждая в нем даже ни малейшего желания осведомиться, кто эта незнакомка, фиксирующая хозяина так пристально, так беззастенчиво в его собственных стенах?

Разговор завязался грустный и, видимо, томил Льва Николаевича. Он хотел его прекратить и выразил довольно резко:

— Уж если они взяли на себя крест, то зачем затягивать жалобную нотку, возбуждая сожаление и сострадание? Это умаливает их подвижничество; они себя унижают, роняют, по-моему, в глазах тех, которые их должны считать за героев.

— Да ведь молодому существу терять здоровье больно! как же не жаловаться и не возбуждать в других желанье оказать помощь?— вставила моя приятельница.

Лев Николаевич поник головой и замолчал, потом он внезапно улыбнулся и промолвил:

— Эх, мы с вами затянули невеселую песенку!

Не знаю, что меня подзадорило в этот момент вмешаться в разговор, но непреодолимое желание точно толкнуло меня помимо моей воли вставить:

— А я могла бы с вами побеседовать о более радостных темах, затянуть веселую песенку...

Лев Николаевич вскинул свои пронизательные глаза из-под густых бровей на мою невзрачную фигуру, не носящую на себе никаких признаков городской обитательницы: я только что приехала из деревни, и оттенок непринужденной безвкусицы отражался в моем бесхитростном костюме. Взор его скользнул по мне и, привычный ко всем возможным одеяниям и наружностям, он проговорил совершенно равнодушно, не относя, по-видимому, даже ко мне слов своих:

— Эх, радостных тем что-то нет кругом!

— Ну, а у меня есть...— продолжала я упорствовать с моего отдаленного угла.

В моем голосе звучала такая уверенность, что Лев Николаевич наконец улыбнулся хорошей, приветливой улыбкой и ласково произнес:

— Так поведайте нам, что у вас есть веселенького?

— Устройство сельского походного театра в связи с музыкой,— произнесла я дрожащим от волнения голосом,— с специальною целью провести ее в деревню.

Лев Николаевич обернулся всем корпусом, его лицо сияло от удовольствия.

— Но... позвольте, вы уже пробовали этим заняться или у вас только еще пока одни добрые помыслы?

— Я уже несколько лет живу в деревне, обучаю ребя-

ток музыке и даю спектакли, включая в них наибольшее количество музыкальных номеров.

Лев Николаевич уже не сидел; как будто невольно поднявшись с кресла, он обратился ко мне с вопросом:

— Вы, следовательно, сведущи в музыке?

— Немножко, — ответила я.

Он обратился к моей приятельнице и спросил вполголоса:

— Кто это? это ваша знакомая?

— Я — Серова! — отрекомендовалась я.

— Это ваша опера, «Уриэль Акоста», которая давалась в нынешнем году в театре?¹

— Ее! Ее! — подтвердила моя приятельница.

Лев Николаевич как будто припоминал что-то; прикрыв глаза ладонью и не глядя на меня, он вполголоса произнес тихо, несколько нараспев.

— Идет девушка по лесу и думает: «Ах, кабы мне ленточку найти... розовенькую ленточку!» — идет, идет она, вдруг... ах ленточка-то и лежит на дороге, да еще расписная! — Он снял ладонь с лица и весело добавил: — Вот для меня вы теперь расписная ленточка, так я жаждал найти музыкальную силу, преданную столь великому делу. Приветствую вас от всей души! — добавил он, протянув мне обе руки. — Да! ваше дело — великое дело!

Этими словами, незабвенными для меня на всю жизнь, Лев Николаевич укрепил во мне веру в деятельность, давно уже избранную мною, и смахнул с души моей все возможные сомнения, которые подчас ее сильно волновали.

После первого дорогого мне приветствия разговор завязался так непринужденно, в таком дружественном тоне, будто мы были давно знакомы друг с другом.

— Слушайте, — оживленно заговорил Лев Николаевич, — я сейчас работаю над «Винокуром», мне нужна музыка к этой пьесе. Я хочу ее дать исполнить в балаганах на святой². Был я недавно на гулянье, посмотрелся, наслушался я там всякой всячины... знаете, мне стало совестно и больно, глядя на все это безобразие! Тут же я себе дал слово обработать какую-нибудь вещицу для сценического народного представления. Нельзя так оставить... просто стыдно!.. Я взялся за первую попавшуюся тему и ждал, чтобы кто-нибудь пристегнул музыку к ней (это весьма важно для народных спектаклей); но музыканты — простите меня — народ гордый, спускаться со своих высот не любят, не любят! — подчеркнул он шутливо и глянул на меня с тем чудным выражением юмора, который так бесподобно освещает его серьезное, умное лицо, ступившая некоторую его суровость.

— Дайте мне посмотреть вашего «Винокура»,— взмолилась я,— но... боюсь... не справлюсь!

— Только проще, проще... забудьте, что вы оперу писали, имейте в виду вашу аудиторию; она будет требовать простоты и жизненности. Я еще задумал другую вещь... ну, да посмотрим, что вы с «Винокуром» нам скажете?

Весь вечер прошел в мечтах, в проектах, в добрых намерениях, казавшихся так легко осуществимыми! Нам слышались уж хоры и напевы наших дорогих композиторов, проникших в недры народа, откуда черпались материалы для их великих созданий...

Как хороши подобные минуты! Как Лев Николаевич способен человека выхватить живьем, из будничной обстановки, поставить его мысленно в рамки идеальных условий и заставить его пожить, хоть одно мгновение, жизнью светлого будущего. Это удел великих, художественных натур — уметь так объективно отвлечься и отвлекать других от сейчасочной жизни. И чего-чего мы только не коснулись в этот достопамятный вечер. И распространения музыкальной грамотности в селах, и деревенских концертов, наконец, устройства музыкальных зрелищ.

— Значит, опростевшая, примененная к пониманию народа, опера?— спросила я.

— Нет, нет! только не опера!— воскликнул Лев Николаевич.— Это отвратительный, фальшивый род искусства. Петь нельзя по пьесе, когда в жизни не поется. Я уродливее ничего не знаю, как изображение предсмертной агонии в операх.

— Но ведь монологи также в жизни не говорятся...

— Да, но это я еще могу себе представить в виде «думы вслух», но петь о своих заветных мыслях,— нет, нет! это безобразие!

Лев Николаевич стоял только за дополнение словесных произведений музыкой. В этом, конечно, сказывался литератор.

Прочитав «Винокура», я должна была сознаться, что мало наша момента, возможных для пристегивания к ним музыки. Увертюры и антракты немислимы в народных театрах; к ним даже интеллигентная публика не умеет относиться с достождолжным вниманием. Пришлось в виде вступления заставить пройти хор девушек с граблями, под аккомпанемент фисгармонии, заменяющей деревенскую гармонию до полной иллюзии. Вместо антракта пришлось втиснуть inferнальный марш, под звуки которого дефилировали все обыватели ада.

Пляска опьяневшей четы, доходящая до умоисступления, под звуки чертовского наигрыша — эффект, достижимый только оркестровыми средствами или с помощью виртуоза-балалаечника.

Из музыкальных моментов всего богаче оказалась вставка хоровода на пирушке, с солистом, со скрипкою на завалинках, с сопровождением фисгармонии, фортепиано и трубы.

Написав все эти номера, я отправилась к Льву Николаевичу. Он выслушал внимательно, выслушал и — молчал.

— Был я проездом на одной станции, — заговорил он, — и один солдатик или фабричный (не приметил я в точности) наигрывал и плясал под гармонию; то есть, я вам скажу, ничего подобного я себе представить не мог! Просто не устоял было на ногах, вот так тебя и тянет пуститься в пляс! Верите ли? Вся окружающая его толпа так и заколыхалась... так и заколыхалась...

Критика Льва Николаевича вся сказалась в этих немудрых словах. Нет, от моей музыки, — я это чувствовала, — не заколыхалась бы толпа! «Оперность» ада, хоровода и хора девушек окончательно расхолодила его: я потерпела фиаско... Когда же Лев Николаевич мне прочел «Власть тьмы», то я, потрясенная до мозга костей этим чтением, еле доведенным автором до конца (его душили слезы, так он взволновался), решила про себя: я ему не сотрудник! Горько и больно мне стало от этого решения...

Какую музыку можно написать к этой мрачной, потрясающей душу драме? Для музыки и мрак, и заскорюзлая беднота может дать материалы, но образы во «Власти тьмы» поставлены в исключительные рамки, музыка только помешала бы, отвлекла бы зрителя от цельного, выдержанного тона, в который музыканту попасть невозможно по немзыкальности всей ситуации. Есть в деревне своя поэзия, есть просветы, пробуждающие звуки в душе музыканта, но именно во «Власти тьмы» их нет.

После поименованной драмы Л. Н. только еще написал для сцены «Плоды просвещения», не подошедшие к его первоначальной программе обогатить репертуар балаганных театров.

Когда наступила пасха, я любопытствовала узнать об участии «Винокура». Если бы даже моя музыка оказалась подходящей, она не увидала бы света божьего в балагане: нужны были хоры, оркестр, хоть в самом элементарном составе; но об этом Л. Н. нисколько не задумывался и на мой вопрос: «Кто же будет исполнять музыку?» — очень затруднился ответом.

«Винокур» давался в балагане и не имел успеха, та же

участь постигла его в спектакле у Н. В. Верещагина³, данным с музыкой, на сыроварне, при громадном стечении простонародной публики. Тут же давалась драма Островского «Не так живи, как хочется» с вкладными муз(ыкальными) номерами из оперы «Вражья сила» Серова, имевшая полный успех; а «Винокур», несмотря на юмор, на понятную всем фабулу, провалился при громком протесте народа, не скрывшего своего неудовольствия. Причины, вызвавшие его, крылись в фальши ситуации и в несправедливой морали, выведенной из всей фабулы. Фальшь состояла в опьянении самого мироеда, угощавшего мужиков, что было тотчас окритиковано зрителями: мол, мироед угощает, но никогда сам не сопьется (особенно когда опаивает из-за делишек, обдeldываемых под шумок).

Мораль, возмущающая своей неправдивостью, пущена Л. Н. под концом: «Я уродил хлеба лишнего, вот и заговорила в мужике лисья, волчья и свиная кровь».

Зрители обиделись и решили, что «господа потешаются над мужиком».

Да и действительно сцены пьянства проведены уж очень грубо и карикатурно.

Сообщив Льву Николаевичу об эффекте, произведенном «Винокуром» на народ, я попросила у него позволения изменить конец, т. е. прогнать с позором черта и тем прекратить пьянство, которое он завел своей наукой «курить вино из хлеба».

— Делайте как знаете,— засмеялся Л. Н.,— я не признаю авторских прав и авторской собственности.

Не пришлось проверить, какое действие произведет перемена конца, потому что голод прекратил движение в вопросах о сельских театрах. А уж проектировалось дать «Рогнеду» в опростелом виде... есть немецкая пословица: *aufgeschoben ist nicht aufgehoben**.

Немного более мне посчастливилось во мнении Л. Н. с моими иллюстрациями к его очерку «Чем люди живы», но, к сожалению, «розовой ленточкой» я во всяком случае не могла предстать пред художественными очами нашего маститого художника.

Судосево, 15 января 1894 г.

* отложить — не значит отменить (нем.).

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

И. С.

У ГРАФА ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Летом 1893 г. один из моих казанских приятелей ездил с молодой женой путешествовать по России. С дороги он писал мне письма, в которых, само собой разумеется, восхищался видами гор, городов, морей... И только. Встречаю его нынешним летом и с удивлением узнаю, что он заезжал в Ясную Поляну, где имел беседу с Л. Н. Толстым.

— Как тебе не совестно умолчать об этом!— обращаюсь к нему с упреком.

— Я, собственно, никому не хотел открывать своей тайны... Да вот проболтался...

— Что сие значит?

— Ты знаешь, я состою на государственной службе... А у нас в Казани атмосфера весьма неблагоприятна для имени Толстого... Профессор академии Гусев¹ поставил против каждого его положения неумолимое «напротив», а профессор университета А. обозвал графа, после поездки к нему, сумасшедшим...

Я рассеял опасения приятеля, обещав не открывать его имени, после чего он рассказал следующее.

— Неподалеку от Ясной Поляны живет наш родственник, помещик средней руки. Он читает «Московские ведомости» и «Гражданин» и ругается, как князь Мещерский². Первым делом — лишь мы успели с ним познакомиться — он обрушился на «знаменитого сумасброда, который вот тут неподалеку от нас живет...». Особенно почитатель «Гражданина» негодовал на Льва Толстого за «сворачивание» местного помещика, князя N³, который, по примеру знаменитого романиста, «опростился» и отказался от своего богатого имения.

От злобствующего родственничка повез нас в Ясную Поляну мужичок, много раз выдавший графа Толстого.

— Хороший барин, — оценивал мужичок Толстого, —

уж такой хороший... Подумаешь, он граф, а такой простяк... лучше, чем свой брат мужик. Простой, добреющий барин... Уж такой простой... Куда случится ехать, нет чтобы в тарантас сесть да разлечься: сядет непременно на облучок да вожжи в руки. Добреющий барин... Когда еще он сам хозяйством заведовал, грешным делом, поедешь в графский лес за дровишками... Хвать — навстречу граф! «Да разве этот лес твой, умная голова?! Какое имеешь право?» — скажет граф. «Виноват, ваше сиятельство, Лев Николаевич! Простите!» — «Ну, смотри, — скажет граф, — в чужой лес больше не ездят, а то засушу...» Да с тем и отпустит... Простой, хороший барин!

У крыльца графского дома встретила нас какая-то женщина.

— По делу вы к Льву Николаевичу или только познакомиться? — спросила она нас.

— Познакомиться, — отвечали мы.

Через несколько минут в дверях показался старик, в котором мы признали великого писателя. Лев Николаевич на вид стар, пожалуй, — дряхл.

Он пригласил нас к себе. Мы спустились по ступенькам в кабинет графа, помещающийся в нижнем этаже дома. По стенам кабинета — простые, некрашенные полки с большим количеством книг. Большой письменный стол тоже завален книгами и бумагами.

Завязался разговор. Лев Николаевич — добродушнейший старик, присутствие которого оживляет, а не стесняет.

Мы спросили Л. Н., какого он мнения о книгах профессора Гусева.

— Вздорные книги и престранная логика, — ответил граф. — Единственная польза от них та, что по ним можно с моими взглядами познакомиться...⁴

Наш разговор был прерван приездом заведующего редакцией «Посредника»⁵, после чего беседа естественно сосредоточилась на деятельности этой фирмы. Л. Н. находил эту деятельность полезною, но жаловался на стеснительные условия издательского дела.

— Вот скоро наберется двести сочинений, которые не смогли выйти в свет... — говорил граф, указывая рукой на одну из полок с книгами.

— А какого вы мнения, Лев Николаевич, о школьной деятельности? — спросила моя жена.

— Учительская деятельность может стать великим делом, но только тогда, когда в ней выражается свободное стремление вашей души, когда вы не опутываете себя цепью программ... Всякий род деятельности должен быть служением

истине; и если вы сознали, что ваше призвание в учительстве, то и работайте на этом поприще, но работайте так, чтобы ваш труд являлся действительным служением людям. А как могут ваши усилия дать подобный результат, если вы наперед свяжете себя по рукам и ногам? Необходимы такие условия, чтобы ваши педагогические воззрения могли свободно осуществиться в жизни... Да вы почему интересуетесь этим вопросом?

— Я работала три года в школе.

— Вы были учительницей?

— Да, я сама открыла школу и сама учительствовала.
— Как хорошо, как хорошо! Скажите, находили в этом душевное удовлетворение?

— Я с удовольствием вспоминаю о тех днях.

— Как относился народ к вашей школе? Все зиждется в этом случае на симпатиях народа...

— Народ, кажется, любил и школу, и меня...

— Как же вы этого достигли? Скажите, какого вы происхождения?

— Я дочь помещика и кончила курс в институте.

— Ужасно! Какое же может быть единение между вами и рабочим народом? Вы — хрупкое существо...

— Я одевалась, Лев Николаевич, в крестьянское платье и в летнюю пору работала вместе с бабами...

— Хорошо, как хорошо! В самом деле, чтобы быть понятым народом и понять его, существует единственное средство — встать в одинаковые условия с ним. Какая же может быть духовная связь между мужиком и человеком, проживающим в каменных палатах? Это два различных мира, и сближение невозможно. И вы никогда мужика не поймете, да и он никогда к вам не будет питать доверия. Ну, и что же дальше?

— Я вышла замуж и уехала оттуда.

— Ах! да зачем же это? Пожениться — значит наложить руки на нравственную свободу. Ведь это подобно тому, как если бы двух людей связали нога к ноге да и пустили бы по белому свету ходить в таком виде...

— Лев Николаевич! Вы когда-то говорили, что материнство — высшее назначение женщины...

Признаться, я очень смутился подобным оборотом речи. Л. Н. заметил это и тоном, преисполненным добродушия, сказал:

— Извините, мне не следовало бы так выражаться... Но жена моя не унималась.

— Да, вы раньше призвание женщины находили в мате-

ринстве, а потом воздвигли брань на семейные отношения...

— Я, собственно, нигде и никогда не умалял значения материнских обязанностей. Я только настаиваю на том, что христианская деятельность выше семейной жизни. А материнские обязанности могут быть сами по себе весьма почтенными...

Моя жена — вегетарианка и под конец коснулась в беседе с Толстым вопроса о вегетарианстве. Л. Н. одобрил ее взгляды.

Когда мы садились в тарантас и готовились выезжать из графской усадьбы, к нам подошел Лев Николаевич и подарил на память «Вегетарианскую кухню» изд. «Посредника».

«НОВОСТИ ДНЯ»

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

Вчера в VII отделении Окружного суда в Москве, в среде немногочисленной публики, собравшейся слушать неинтересные дела о пустых кражах, был и граф Л. Н. Толстой. Наш маститый писатель был не в обычной блузе, каким его рисуют на портретах, а в костюме европейского покроя. Граф живо интересовался всем ходом судебного следствия, прений и даже формальностями по составлению присутствия суда. Все время у него в руках была записная книжка, куда он часто вносил свои заметки. Слух о пребывании графа Л. Н. Толстого быстро разнесся по всем коридорам суда, и в Митрофаниевскую залу то и дело заходили посмотреть известного писателя. Все удивлялись лишь тому, что граф Л. Н. выбрал так неудачно день, когда рассматривались совершенно неинтересные дела.

«НОВОСТИ ДНЯ»

С. К. (УГУЛЬСКИЙ)

ДЕНЬ У ТОЛСТОГО

Наш талантливый художник К. Ф. Вальц¹, ездивший с режиссером Малого театра С. А. Черневским² к знаменитому автору «Власти тьмы» по поводу постановки этой пьесы на Малом театре, любезно поделился со мною впечатлениями своего пребывания в Ясной Поляне.

— Выехав из Москвы в пятницу вечером, — рассказывал мне К. Ф., — мы в субботу, в восемь часов утра, уже были перед домом знаменитого писателя. Нас встретила какая-то

баба, оказавшаяся единственной прислугой в доме, так как семья графа обходится в своих повседневных потребностях без посторонней помощи, и проводила нас в нижний этаж, в библиотечные комнаты, отводимые для приезжающих в Ясную Поляну гостей. Граф Лев Николаевич еще спал, но не прошло и получаса, как к нам вошел Лев Николаевич. Граф кажется несколько уставшим и постаревшим сравнительно с распространненными его портретами.

На авторе «Войны и мира» был какой-то длинный кафтан, напоминающий подрясник; встретил нас граф очень любезно и, осведомившись о цели нашего посещения, просил подождать, пока он переоденется, а пока пригласил перейти в столовую. В столовой мы застали за чаем большое общество, состоявшее из дочерей Льва Николаевича и нескольких знакомых семьи графа. Через несколько времени вошел сам Лев Николаевич, одетый вместо кафтана в блузу. За чаем завязался общий разговор и, между прочим, говорили о предстоящей постановке «Власти тьмы» в Малом театре.

— Как же отнесся граф к этому вопросу? — спросил я.

— О, — последовал ответ, — Лев Николаевич проявил самое тщательное внимание, которое только присуще автору, любящему свое детище и желающему воспроизвести его перед публикой во всех деталях по-своему. В этом отношении знаменитый писатель, как и большинство драматургов, входил до мелочей во все касающееся постановки, обсуждая каждую ничтожную подробность. Лев Николаевич, например, потребовал, чтобы постановка была сделана не только вообще верно, но и этнографически верно, чтобы декорации дали не только деревню, но именно деревню Тульской губернии. Вы, несомненно, будете поражены, когда увидите на сцене Малого театра каменные избы. Декоративное искусство не знает такого реализма, но Лев Николаевич желает, чтобы избы были именно тульские, а там они из камня.

— После чаю, — продолжал К. Ф. свой рассказ, — мы гуляли, я делал эскизы и рисунки, а в три часа мы были приглашены к обеду. Стол, конечно, чисто вегетарианский: ни мяса, ни рыбы; исключений ни для кого не полагается. Семья и знакомые графа довольствуются тем же меню. После обеда мы сделали, под руководством дочерей графа, закупки образцов одежды и предметов домашнего обихода крестьян Тульской губернии. Дочери графа любезно написали, какой костюм и в каком сочетании должен быть надет каждым исполнителем. За послеобеденным чаем и ужином, состоявшим из тех же вегетарианских блюд, граф продолжал чрезвычайно внимательно обсуждать каждую подробность постановки. Я

представил ему наброски и план декораций. И тут Лев Николаевич интересовался всем до мелочей, отстаивая каждую дверь, указывая окно, отмечая, где стоять столу или скамейке. Знаменитый писатель обещал приехать в Москву через неделю; он лично будет читать исполнителям «Власть тьмы»³.

С. А. Черневский говорил с Л. Н. о распределении ролей во «Власти тьмы». До сих пор не намечены исполнители для роли девочки Анютки и для главной роли Никиты, которую предполагалось поручить и К. Н. Рыбакову, и г. Падарину, и г. Рыжову, но до сих пор еще ничего определенного не решено. Остальные роли распределены между гг. Садовским (Петр), Музилом (Митрич), Макшеевым (Аким), г-жами Никулиной (Анисья), Лешковской (Акулина) и Садовской (Матрена).

«КУРЬЕР ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

СОНТО

У ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО

⟨...⟩ Я отрекомендовался графу, он любезным жестом пригласил меня сесть и сам поместился против меня в широком и удобном кресле.

— Цель моего посещения, Лев Николаевич,— начал я,— узнать ваше мнение о возникшей мысли об устройстве приюта для престарелых литературных тружеников.

— Дело это, несомненно, доброе,— сказал граф,— истинно христианское, и я своевременно выскажусь о нем. Хотя я очень близко и не знаком с газетным миром, но к работникам его чувствую всегда некоторую зависть.

— Почему так?

— Журналистам не приходится так уходить в работу с головой, отдаваться всем телом и душой своей идее и, наконец, испытывать те родовые муки, которые неизбежно сопровождают всегда появление на свет божий какого-нибудь произведения. Независимо от этого у журналистов вырабатывается техника, которой, признаюсь, даже у меня совсем нет. Не говоря уже о том, что я самым старательным образом отделяю каждую строку моих произведений, мне даже написать простое письмо чрезвычайно трудно и иногда приходится переписать его до пяти, шести раз. Пишу я только тогда легко, когда совершенно забываю о самом процессе и от-

даюсь моим мыслям. В настоящее время я так усиленно занят переделкой и отделкой моей новой повести¹, что особенно это чувствую. Работы очень много, а времени очень мало. Старость берет свое, чувствуется приближение смерти, и она уже не далеко.

— Как вы чувствуете себя вообще?

— Здоровье мое находится, в общем, в удовлетворительном состоянии, но простая арифметика показывает, что жить мне осталось уже очень и очень немного.

Отсутствие времени не мешает мне высказаться о новом направлении в литературе. Я хочу сказать о декадентах.

— Как вы определяете декадентизм?

— Декадентами я называю тех художников, которые, не имея своей мысли и не зная, что сказать, стремятся произвести на читателя впечатление сопоставлением ряда сцен или просто слов, но идеи, проходящей через все произведение красной нитью, у них нет. Декадентизм гораздо сильнее и опаснее, чем это принято у нас думать. Критики наши относятся к декадентам свысока и с насмешечкой, а сами не подозревают, что это направление отразилось уже на всех родах и видах литературы. Нужно только различать криптодекадентов, то есть тайных, от явных. Первые скрывают, что они принадлежат к этой школе, а другие просто действуют. У нас есть теперь уже и пьесы такие, и свои и переводные, и, как я слышу, публика ходит их смотреть и довольна, когда ей растрогают нервы, а автор только этого и добивается. Криптодекаденты опасны, а явные в публике никогда успеха иметь не будут, так как передаваемое ими настроение слишком интимно и никем понято не будет, а, следовательно, нервов не расстроит, иначе говоря — не понравится.

Просматривая современных беллетристов, я должен сознаться, что почти никогда не нахожу ни оригинальной мысли, ни даже нового какого-нибудь выражения. Только свое, хотя маленькое что-нибудь, ценно и может обеспечить жизнеспособность художественному произведению. Эту мысль еще раньше меня выразил Альфред Мюссе: «*Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre!*»* Может быть, причиной тому мои годы, и старикам все прошлое всегда кажется лучше, но не только я люблю старые произведения, но даже старые люди, иначе говоря отражение пережитой эпохи, кажутся мне лучше, чище и нравственнее, чем современное молодое поколение. Эту мысль я и старался провести во «Власти тьмы», резко проводя грань между представителями старого и нового. Там заветы добра и веры держатся

* Мой бокал невелик, но я пью из своего бокала! (фр.)

крепко и незыблемо, здесь заметно шатание, и нет цельности выдержки даже в зале. Насколько мысль моя была воспринята публикой и понята, конечно, я судить не в силах, но я собираюсь пойти как-нибудь в «Скоморох»² в раёк, и послушать, что там будут говорить о моей драме и, что самое интересное, — обо мне. Мнение людей, не знающих вас лично, а потому и беспристрастных, — несомненно самое ценное.

— Что вы скажете относительно исполнения «Власти тьмы» на сцене Малого театра?

— Об исполнении «Власти тьмы» на сцене Малого театра я не могу вам ничего сказать по той простой причине, что я не бываю в театре уже около тридцати лет. Так что мои указания, сделанные артистам, и не должны были служить им какой-нибудь руководящей нитью, а просто — советом³.

Прислушиваясь к отзывам и читая рецензии в газетах и журналах, я пришел к убеждению, что ни один из артистов, даже хвалимых, не играет так роль Акима, как я этого хотел и как я ее задумал.

— А как бы вы хотели, Лев Николаевич?

— Акима обыкновенно играют проповедником, серьезным и важным. Акима, по моему представлению, нужно играть совершенно иначе. Он должен быть вертлявый, суетливый мужичонко, вечно волнующийся, весь красный от пронимающего его волнения, беспомощно хлопающий себя руками, качающий головой и частящий свое «таё-таё».

— Но тогда, Лев Николаевич, он может показаться публике смешным.

— Вот этого-то я и хочу. Выходит Аким; что он ничего не стоящий мужичонко — видно даже из того, что его ни жена, ни сын в грош не ставят. Публика добродушно смеется над его заиканием, но вот настает момент, и Аким раскрывает свою душу, обнаруживает в ней такие перлы, что каждому должно сделаться жутко, невольно подумаешь в эту минуту о себе: «Я-то сохранил ли доброе и хорошее, что было мне дано наравне с Акимом?»

Я не отрицаю того, что эта задача очень трудна и вряд ли какой-нибудь актер решился бы так вести роль. Он мог бы вдруг чем-нибудь вызвать смех и в самый трагический момент, и для него все бы пропало, а мне, автору, было бы все равно.

Публика, просмеявшись даже всю пьесу и разойдясь по домам, в тишине и на досуге одумалась бы и в конце концов пришла бы к тем выводам, которые мне желательны. Относительно других ролей я ничего не могу сказать, только Никиту не нужно изображать ни Дон-Жуаном, ни героем.

Он самый обыкновенный крестьянский парень, каких по

деревням целая куча. Все его несчастье состоит в бесхарактерности и нравственном шатании. В общем, я бы дал совет всем артистам, играющим мою пьесу, как можно меньше стараться изображать чувства. Внешнего проявления чувств у крестьян вы не заметите, они их скрывают в своей душе гораздо лучше нас. Артисты должны стараться держать себя как можно проще, приложив все старания к толковой и правильной передаче своих слов.

— Как вы отнесетесь, Лев Николаевич, к изданию сборника на образование фонда для приюта неизлечимых больных и престарелых тружеников пера?

— Понятно, что это дело доброе, и хорошо, если каждый пишущий даст что-нибудь из своего портфеля на этот сборник. Я лично сейчас ничего не могу дать, так как у меня нет ничего готового, но не отказываюсь категорически. Повесть, которая должна быть скоро мною окончена, потребовала от меня капитальной переработки и отняла гораздо более времени, чем я того ожидал.

— Долго вы пробудете еще в Москве?

— Положительно не знаю, но думаю, что скоро уеду опять в деревню. Слишком уж я привык к ней за последние годы, да и работается там гораздо лучше и скорее, а работы еще очень, очень много. Хочется высказаться о целой массе вопросов, которые мучают и не дают покоя.

Лев Николаевич смолк. Лицо его было сурово, тяжелая складка легла посередине лба, придавая ему выражение репинского портрета. Глаза его смотрели в темный угол комнаты. Он задумался глубоко, глубоко...

— Много времени ушло, — сказал он тихим голосом, — в молодости бесплодно и бесцельно, и с каким удовольствием смотрю я на тех, кто уже в ранние годы может работать ясно и определенно! От души желаю успеха вашим начинаниям и замыслам!

Я встал и горячо поблагодарил Льва Николаевича за беседу, которой отвлек его от труда художника, с вопросами жизни и действительности.

Граф тепло и любезно простился со мною.

Мы вышли в залу. На пороге простились еще раз, и я повернул налево, на лестницу, а граф — направо, в коридор. Я остановился еще раз поглядеть на него.

И сейчас, когда я пишу эти строки, передо мною как живая рисуется удаляющаяся фигура великого писателя Земли Русской, колеблющаяся фигура, согнутая спина и руки, заложенные за спину. Еще одно мгновение, и Лев Николаевич исчез из моих глаз...

«НОВОСТИ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА»

Н. РАКШАНИН

БЕСЕДА С ГРАФОМ Л. Н. ТОЛСТЫМ

(Впечатления)

На этот раз я поехал к великому писателю земли русской, чтобы побеседовать о курьезном заявлении г-жи Бренко...¹ Впрочем, возможно, что вы совсем не знаете г-жи Бренко — спешу, ввиду этого, дать вам историческую справку. Г-жа Бренко — артистка, антрепренерша и писательница. Талант, вообще, разносторонний. Антрепренерствовала она в бывшем московском «пушкинском» театре, который волею судеб и «искусством» г. Корша превратился затем в театр этого последнего. Как антрепренерша, г-жа Бренко отличалась добрыми намерениями и безалаберностью. Добрые намерения вымостили путь для «театра Корша», а безалаберность погубила блестящее дело «пушкинского» театра. Артистки Бренко я не знаю вовсе. В качестве драматической писательницы г-жа Бренко заявила себя, кажется, всего одной пьесой, по поводу которой в каких-то «Губернских Ведомостях» было пропечатано, что живет-де на свете драматическая писательница А. А. Бренко, но пишет она, не в обиду будь ей сказано, не слишком хорошо.

Мало-помалу о г-же Бренко забыл мир, но на днях она напомнила о себе, сделав заявление сотруднику одной петербургской газеты², что лавры, довлеющие автору «Власть тьмы», в значительной степени принадлежат ей, а не Л. Н. Толстому... Как?.. Почему?.. На каком основании?.. Очень просто. Двенадцать лет тому назад г-жа Бренко читала графу Толстому свою народную драму «Дотаевцы». Драма эта очень понравилась великому писателю, так понравилась, так понравилась, что бедная г-жа Бренко должна была читать ее Толстому «три дня подряд от 12 час. утра до 6 ч. вечера»... Чтение

это привело в восторг Толстого и, окончательно зачитанный г-жою Бренко, он в конце концов заявил:

— Я непременно сам напишу нечто в этом же роде...

То есть Толстой захотел написать «вроде» г-жи Бренко. И, вообразите: взял и написал «Власть тьмы», ни словом не обмолвившись о том, что ставшая уже знаменитой драма навеяна ему произведением отставной антрепренерши... А между тем сходство между «Властью тьмы» и «Дотаевцами» поразительное. У г-жи Бренко был свой собственный Аким, но его лишь по недоразумению звали Алехой. Вероятно, по недоразумению же Алеха этот разговаривает возмутительно деланным, псевдомужицким жаргоном, в чем легко убеждает всех приводимый г-жой Бренко отрывок... Имеется в «Дотаевцах» и случай убийства ребенка. Мало того: даже знаменитое «тае» не целиком принадлежит бедному Толстому: Алеха г-жи Бренко постоянно повторяет шаблонное «братец мой», повторяемое без счета, между прочим, в известных кафешантаных куплетах, а Толстой самовольно переделал это «братец мой» в свое «тае».

Фантастичность заявления становилась очевидной при первом беглом ознакомлении с ним³. Тем не менее я все-таки поехал к Л. Н. Толстому, потому что меня глубоко заинтересовала, так сказать, «психология события». Мне хотелось узнать, в чем заключается та доля правды, которая должна же быть в заявлении бывшей антрепренерши?.. Мне казалось, что беседа с Львом Николаевичем даст мне возможность постичь, на какой почве выросла фантазия г-жи Бренко, и я сумею объяснить себе ее логику... Я употребляю слово «логика» из нежелания употреблять более точное, но и более сильное выражение, памятуя, что заявительница все-таки женщина...

Я не видал Л. Н. Толстого давно, около двух лет, и за это время он сильно постарел. Борода стала совершенно седой, черты лица точно обострились. Вообще, он заметно похудел, больше горбится, проявляет меньше подвижности. Но бодр еще очень. Глаза полны блеска и жизни. Речь отличается прежним оживлением. Лицо быстро отражает смену впечатлений, а беседа обнаруживает живой интерес ко всем явлениям жизни.

Застал я Льва Николаевича в небольшой комнате верхнего этажа давно уже заслужившего историческую известность дома в Хамовническом переулке. Облаченный во фрак лакей пригласил меня в эту комнату, и я последовал за ним по лестнице, затем через зал, обстановка которого живо напоминает дела давно минувших дней, спустился по ступенькам

в узкий коридор и тогда уже очутился в комнате с удивительно простой мебелировкой. Внешность комнаты ясно указывала на то, что она предназначена для работы. Лев Николаевич сидел в кресле и читал, приблизив рукопись к пламени единственной свечи, стоявшей тут же на небольшом столике и освещавшей всю комнату.

— Что могу я сказать вам по поводу заявления г-жи Бренко?— начал Л. Н. Толстой после первых приветствий.— Помнится, эта любезная особа действительно читала мне когда-то свою пьесу... Занятый другими делами, я всеми силами старался отделаться тогда от чтения, но в конце концов вынужден был слушать... Помню, пьеса мне понравилась по основной мысли и я тогда искренно похвалил ее. Правда, написана она была... как бы это сказать?— по-женски... расплывчато. Впоследствии, читая рассказ Чехова⁴, рассказ о том, как некая драматическая писательница чтением длиннейшей драмы доводит слушателя, кажется, даже до убийства, я весело смеялся, вспоминая тогдашнее мое впечатление... Тем не менее помню и рад удостовериться, что в пьесе г-жи Бренко было много хорошего.

— Но неужели же она в самом деле читала вам...

— Три дня подряд в течение шести часов ежедневно?— добродушно улыбаясь, спросил знаменитый писатель.— О, нет! Разумеется, нет! Это преувеличение, это маловероятно.

Далее Лев Николаевич с большою живостью рассказал мне, что натолкнуло его на мысль написать «Власть тьмы».

— Теперь я решительно не помню содержания драмы г-жи Бренко, но, во всяком случае, могу объяснить себе ее претензию лишь простым недоразумением... Можете заявить, если хотите и если это вас интересует, что фабула «Власть тьмы» почти целиком взята мною из подлинного уголовного дела, рассматривавшегося в тульском окружном суде. Сообщил мне подробности этого дела мой большой приятель, тогдашний прокурор, а теперешний председатель суда, Давыдов...⁵ В деле этом имелось, именно такое же, какое приведено и во «Власти тьмы», убийство ребенка, прижитого от падчерицы, причем виновник убийства точно так же каялся всенародно на свадьбе этой падчерицы...

Было легко поймете, с каким захватывающим интересом я вслушивался в это интересное сообщение.

— Отравление мужа,— продолжал Лев Николаевич,— было придумано мною, но даже главные фигуры навеяны действительным происшествием. Сцена покаяния в пьесе выражена мною значительно слабее. Прототип Никиты, так же как и в драме, не хотел было идти благословлять молодых и

звать его действительно приходили разные члены семьи. Пришла, между прочим, и девочка-подросток, вроде моей Анютки... Мучимый совестью, виновник преступления чувствовал, что у него нет сил идти и благословлять, в озлоблении схватил оглоблю и так ударил девочку, что она упала замертво. Под впечатлением этого нового преступления он и решился, охваченный ужасом, на всенародное покаяние... Я не ввел этой сцены, во-первых, ввиду сценических условий, а во-вторых, не желая сгущать краски, — ужасов в пьесе и без того ведь достаточно... Но когда я увидел «Власть тьмы» на сцене, я понял, что конец ее гораздо сильнее рисовался моему воображению под впечатлением уголовного дела.

По мере того как великий человек с полнейшей простотой передавал мне все это, весь эпизод с заявлением г-жи Бренко все более и более бледнел, терялся, уходил куда-то вдаль. От бывшей антрепренерши, от ее претензии, от всего «инцидента», очевидно рассчитанного на сенсацию, не осталось ровно ничего. Вопрос был окончательно и бесповоротно исчерпан... И мне оставалось лишь удивляться форме поразительного заблуждения г-жи Бренко. Никто, понятно, не мог отнестись хотя с известной долей серьезности к ее заявлению, но трудно было предположить, что оно до такой степени далеко от истины и что в нем справедливо лишь одно: г-жа Бренко действительно читала Л. Н. Толстому свою драму...

А гр. Толстой продолжал все тем же спокойным, полным добродушия тоном:

— Против г-жи Бренко я тем не менее ни малейшей претензии не имею... Очевидно, она заблуждается, и возможно, что заблуждается вполне искренно. Убежден, что, как только она узнает, что натолкнуло меня на мысль написать «Власть тьмы», она сама же поспешит признать свое заявление результатом простого недоразумения...

Разговор, естественно, перешел на другие темы и коснулся, между прочим, недавно помещенной в «Московских Ведомостях» корреспонденции из Варшавы⁶, в которой говорится об одном письме Льва Николаевича.

— Я не читал еще этой статьи — мне лишь говорили о ней... Помещена она, кажется, была в номере от второго января. Говорят, что в ней обвиняют меня чуть ли не в государственной измене!.. — Лев Николаевич рассмеялся, и глаза его заблестели. — Это, разумеется, только смешно, и мне не раз уже случалось выносить на своих плечах подобные, ни с чем не сообразные обвинения... <...>

Лев Николаевич пожал плечами и махнул рукой.

Лицо его теперь не носило следов оживления. Глаза точно

потухли. Он показался мне утомленным. Но минуту спустя он опять оживился и беседа опять возобновилась.

Теперь она коснулась профессионального съезда и вопроса о всеобщем обучении, как известно, дебютировавшем на съезде⁷. Мне приходилось посещать заседания съезда, и Л. Н. расспрашивал меня, что говорилось на съезде о грамотности. Я обратил его внимание, между прочим, на то, что на грамотность съезд установил взгляд практический и рекомендовал ее, как средство повысить работоспособность народа. Лев Николаевич слушал с величайшим вниманием. Когда я кончил, он опустил голову.

— Грамотность, знаете ли, это такое дело... такое дело!.. С нею нужно быть очень осторожным.

Он задумался, а затем продолжал тихим голосом, перебирая листки лежавшей перед ним рукописи:

— Разумеется, было бы хорошо, если бы грамотность получила самое широкое распространение... Но когда подумаешь, что для того, чтобы запастись этой грамотностью, подрастающему поколению народа приходится пройти через школу, поставленную у нас в самые неблагоприятные условия... Нет, грамотность при этих условиях средство обоюдоострое.

Я не мог, разумеется, распротиться с Львом Николаевичем, не расспросив его о его новой повести «Воскресение», о которой уже много раз упоминалось в газете.

— Скоро ли появится, Лев Николаевич, ваша новая повесть? — спросил я, уже поднимаясь, чтобы прощаться.

— О, я ее забросил пока!.. Она мне не понравилась, как-то не по душе... А главное — мне решительно некогда засесть за нее⁸. Годы, знаете, берут свое. Мне не хватает времени... Теперь работа требует от меня гораздо более усидчивости, а между тем все усложняющиеся и усложняющиеся личные отношения отнимают много рабочих часов. Приходится много читать, кроме того... В результате и оказывается, что работать над повестью некогда, а она требует еще много работы. Я еле успеваю справиться с текущей срочной работой.

Лев Николаевич говорил это, смотря куда-то в сторону. В голосе его теперь слышались мне нотки грусти.

Я стал прощаться. Л. Н. еще раз повторил мне, что никакой претензии против г-жи Бренко не имеет. Она, разумеется, и в мыслях не имела его обидеть... Я со вниманием всматривался в черты этого характерного старческого лица, дорогого всем русским, всему человечеству. Он стоял передо мной все еще бодрый, со светящимся, проникновенным, спокойным взглядом, и лицо его казалось мне точно озаренным каким-то внутренним светом. Я долго не мог отвести глаз от этого лица... И

долго удерживал в своих руках его руку, пожатием отвечающую на мои пожатия.

Всякий раз, когда на долю мою выпадает редкое счастье беседовать с этим величайшим из современных художников слова, меня охватывает, мною завладевает какое-то особое чувство, близкое — каюсь — к восторженному идолопоклонству. Одно простое общение с Толстым поднимает душу, она умиляется и начинает громко вопить против грязи окружающего нас существования. В его присутствии мне всякий раз становится и стыдно, и жутко, и в то же время радостно. Я умиляюсь и за грех себе этого не считаю. Бывают моменты, когда мне неудержимо хочется поклониться этому старцу в ноги... выразить ему как-нибудь силу моего настроения: в этот раз я мысленно благословлял г-жу Бренко и ее «недоразумение», так как, благодаря этому эпизоду, я еще раз всмотрелся в глаза Толстого, слушал его живую речь...

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА»

НАРД

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ?

(Беседа с Л. Н. Толстым)

<...> Ответить на этот вопрос, и ответить так, чтобы мнением этим можно было более или менее руководиться, может, разумеется, авторитетная личность, известный писатель, философ. А кто же с большим авторитетом, с большим правом может ответить на это, если захочет, как не граф Л. Н. Толстой? К нему я и отправился...

Подъезжая к Хамовническому переулку, где в своем старинном, деревянном барском доме живет наш знаменитый писатель, я, признаться сказать, сильно сомневался, чтобы он стал беседовать на эту тему, узнав в особенности, что это для газетного интервью... Уж очень он не любит, чтобы его спрашивали...

Лакей отворил мне входные двери, и, пока я раздевался внизу в передней, он пошел вверх доложить обо мне, откуда я тотчас же услышал, как он сказал мне: «Пожалуйте!»

Поднявшись наверх и пройдя большой зал, я вошел узень-

ким низеньким коридорчиком в маленькую комнату, а оттуда в другую, немного побольше, уставленную старенькой, но уютной мягкой мебелью, обитой черной кожей. У окна письменный небольшой стол, шкаф с книгами — вот и вся обстановка кабинета.

В ожидании Льва Николаевича я с любопытством осматривался в этой комнате, освещенной мерцающей свечой.

«Так вот откуда разошлось по миру столько глубоких мыслей!» — невольно думалось мне...

По коридору послышались шаги, и в комнату вошел граф Лев Николаевич Толстой.

Я думаю, его описывать нечего — кто его не знает, если не с виду, то по портретам? Единственно, чего ни один портрет не передал, — это взгляда его глаз, мягкого, доброго и ласкового.

Мы уселись друг против друга в кресле, и Лев Николаевич, подвернув под себя на кресле ногу, сказал мне:

— В чем же счастье, вы хотите знать? — и он засмеялся тихим, добрым смехом. — Счастье! Да разве можно о таком предмете вот так наскоро переговорить! Правда, там, за границей, это вошло в обычай трактовать в газете поверхностно о самых серьезных предметах.

— И все же, Лев Николаевич, есть много людей, которым хочется, ну хоть бы поверхностно, узнать о том, о чем подробно узнать им недоступно! Вот хотя бы вопрос о том, в чем счастье? Всяк знает, в чем счастье для него лично, но что такое счастье в отвлеченном смысле, где искать, как достигнуть — не знает...

— В отвлеченном смысле? Но ведь если истина отвлеченная есть истина, то она будет истиною и в действительности! Нужно только узнать эту истину, захотеть познать ее. А для того чтобы познать эту истину, нужно убедиться в той разнице, которая существует между учением мира и учением истинной религии. Ведь все эти разноречивые мнения одного или другого о том, что для каждого из них было бы счастьем, основаны на том, что по учению мира считается для них необходимым. И все они для этого побросали дома, поля, отцов, братьев, жен, детей, отреклись от всего истинного и пришли в город, думая, что здесь счастье...

— Но разве в городе нельзя найти счастья?

— В городе? Прикиньте ту жизнь, которую все ведут в городе, на мерку того, что всегда все люди называли счастьем, и вы увидите, что эта жизнь далеко не счастье.

— Так какие же условия счастья, о которых никто спорить не будет?

— Ну, разве это можно так прямо сказать — вот они,

эти необходимые условия, и всем они понятны, приятны и симпатичны! Но если уж хотите, чтобы я непременно сказал вам свое мнение, какие такие условия нужны для земного счастья, то вот я скажу, что прежде всего считаю невозможным счастье без света солнца, при нарушении связей человека с природой. Иными словами, жизнь вне города, под открытым небом, при свежем воздухе, в деревне — вот первое условие земного счастья. Посмотрите, даже поэзия его себе иначе не представляет и, рисуя счастливую аркадию, воспевает жизнь идиллическую на лоне природы, вдали от городов...

— Какая же масса людей живет в городах, привязана к ним, не имеет возможности жить в деревне, родится и умирает, не видя ее. Так неужели счастье для них невозможно?

— Невозможно, я в этом убежден! Посмотрите, чему эти люди обречены: видят они предметы, обделанные людским трудом и при искусственном свете; слышат звуки машин, грохот экипажей; обоняют запах спирта и табачного дыма; едят часто все несвежее и вонючее. Ничто не допускает их к общению с землей, растениями, животными. На вид это жизнь заключенных!

— Но разве города не естественный результат постепенного развития семьи, общины?

— Кто вам сказал? Откуда вы это взяли? Посмотрите в историю, и вы увидите, что города сооружались из целей завоевательных...

— Хорошо, но если так, то все плоды и успехи цивилизации, проявляющиеся ярко в больших центрах, — все это ни к чему?

— Ни к чему! Цивилизация! Но кто же вам сказал, что цивилизация ведет к счастью! Вот, говорят, разовьется цивилизация, завертятся машины, все будут счастливы... С чего это? Нет, цивилизация и наша, как бывшие до нее, придет к концу и погибнет, потому что она не что иное, как накопление уродливых инстинктов человечества. Разве до нас не было цивилизаций? Была египетская, потом вавилонская, ассирийская, еврейская, греческая, римская... Где они? Привели они к счастью? Все погибли, и туда же пойдет и наша!

— Так, значит, город — вот преграда счастья?

— Нет, не один город. Нужен и труд, чтобы быть счастливым. Но труд свободный, разумный, любимый и при том физический, а не атрофирующий мозг и мускулы.

По учению мира, люди служат, ходят в канцелярии, получают за это деньги... но разве они любят свой труд, разве он удовлетворяет их! Нет! Их одолевает скука, работают они ненавистную работу и, пари готов держать, что вы не услышите

ни от одного из них, чтобы он был доволен своей работой. А вот спросите мужика, вспахавшего поле, доволен ли он. Ах, как доволен и с какою любовью глядит на чернеющие борозды!

Еще одно условие счастья — семья. И этого нет здесь, где мирской успех считается ошибочно счастьем. Разве все эти мужья, жены — разве это семьи? Они друг другу часто в обузу, и дети ждут часто смерти родителей, чтобы наследовать им.

— Так что же делать тому, кто не может бросить города, кого удерживает здесь долг? Все бросить и уйти?

— Разве я это говорю! Сознайте свой долг, а куда это сознание вас приведет — другое дело, не будем вдаваться. Нужно осветить свой путь и идти по нему. Ведь иного удерживают в городе, быть может, старые родители, которых он кормит. Разве ж их бросить? Но от сознания, что он исполняет долг свой, он хоть немного счастлив, хотя вполне его и не достигнет...

— Но почему же?

— Потому что при условиях мирской городской жизни люди стараются прежде всего добыть то, что, по утвердившемуся ошибочному мнению, считается ступенью к счастью. И всякий бьется изо всех сил, чтобы добыть то, чего для истинного счастья ему совсем не нужно. Мало того, достигнув одного, ему становится мало, и он бьется и мучается, чтобы достать больше и еще больше. Нужно еще и еще, и этим все больше отягчается и так измученная душа, которой уже некогда стараться искать действительные истины и сознавать сделанную ошибку. Приобретая и достигая все высших ступеней, по которым напрасно мнят прийти к счастью, люди в городах все теснее и теснее замыкают кружок людей, с которыми возможно им общение.

— Да, но каждый класс людей, смотря по общественному положению, имеет свой же кружок знакомых, друзей, приятелей. Разве необходимо быть запанибрата со всеми, не разбирая ничего?

— Свободное любовное общение со всеми разнообразными людьми мира — тоже одно из условий, необходимых для счастья.

— Позвольте же задать вам вопрос, которым вы озаглавили одну из книг ваших: «Так что же нам делать?»

— Что делать? Я сказал вам, что нужно для счастья: нарушение связи нашей с природой, труд физический, любимый и свободный, семья, здоровое и свободное любовное общение со всеми разнообразными людьми мира.

— Но как же исполнить все это?

— Следовать учению Христа. Оно имеет глубокий философский, но вместе с тем простой, ясный для всякого практический смысл.

— А разве это так просто и легко?

— Тому, кто на минуту согласится отрешиться от привычки и посмотрит со стороны на нашу жизнь, тому легко это будет. И так ясно будет видно, что все то, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, ошибочно и не больше как праздное занятие. Мы увидим, что бедностью мы называем — жить не в городе, а в деревне, не сидеть дома, а работать в лесу, в поле, видеть солнце, небо, быть голодным несколько раз в день и с аппетитом съест кусок черного хлеба с солью, спать здоровым сном не на мягких подушках, а даже не на скамье, иметь детей, жить с ними вместе. Все это, по мирскому понятию, — бедность и несчастье, а между тем это и есть счастье, потому что тогда мы будем свободны в общении со всеми людьми и не будем делать ничего такого, что нам не хочется делать...

— Вы сказали, что для того, чтобы увидеть это, надо отрешиться от привычек и условий нашей жизни. Кто же на это способен? Не всякий...

— Да, человек живет сначала животной жизнью... Ему все равно, куда она его потянет. Но наступают года, когда он начинает анализировать свои поступки и жизнь, и если в эти минуты он может думать, захочет думать и искать истины, то ему вовсе не надо будет поворачивать круто под прямым углом или впадать в безнадежность. Надо будет только восстановить представление о том, что необходимое условие счастья человека есть не праздность, а труд; что человек не может не работать, что ему от праздности тяжело и скучно. Нужно будет отрешиться от предвзятого мнения, что счастье там, где есть неразменный рубль, и проникнуться убеждением, что не рубль спасает, а что только трудящийся достоин пропитания и будет прокормлен. А главное, нужно воспитать в себе любовь. Освещая себе путь и идя по нему, нужно желать ближнему то, что себе желаешь...

— И это?..

— Это при полном исполнении ведет уже ко благу...

— Но разве счастье и благо не все равно?

— О, нет, и даже часто противоположны друг другу. Мученик, на кресте распятый или за нравственные убеждения погибающий на костре, достиг полного удовлетворения своих нравственных потребностей, но разве он счастлив, можно его назвать счастливым? Счастье — я уже сказал вам, что оно невозможно при страданиях тела... Да, вот что!..

И опять, улыбаясь кроткой, доброй улыбкой, Лев Николаевич посмотрел на меня.

Говорил он так убедительно, с глубокой верой в то, что он считает истиной, что я невольно поддавался впечатлению, навеваемому его тихой, не лишенной убедительности речью.

И, взглянув на меня своими добрыми глазами, он, помолчав немного, спросил меня:

— Ну, знаете ли вы теперь, в чем счастье?

.....
— Вот в чем счастье,— сказал мне гр. Л. Н. Толстой.— При настоящих условиях, как видите, достигнуть его не всем возможно, и многие, многие тысячи еще долго будут вопрошать: «О, счастье, где ты?»

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА»

ИКС

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

Читателям нашим известно уже, что знаменитый автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» — граф Лев Николаевич Толстой на днях приехал в Петербург¹. Пишущий эти строки имел случай в этот приезд в Петербург нашего всемирно известного писателя познакомиться с ним. Знакомство это произошло на улице.

Рано утром, 9 февраля, шел я по набережной Фонтанки, между Аничковым и Симеоновским мостами. Навстречу мне, вижу, идет мой знакомый, представитель одной крупной книгоиздательской фирмы в Москве г. Б.², и с ним рядом быстро шагал какой-то почтенный старик. Большая седая борода его, густые, нависшие над глазами, седые брови, серая войлочная шапка, из-под которой видны довольно длинные седые волосы, наконец, довольно кургузое, с овчинным воротником пальто, какое обыкновенно носят мелкие торговые люди или прасолы, делали этого почтенного старика удивительно похожим на графа Льва Николаевича Толстого, каким его рисует художник И. Е. Репин.

«С кем это, — думаю себе, — идет Б.? Неужели с Толстым?»

Чем ближе подходил я к Б., тем все более и более убеждался в том, что рядом с ним идет действительно Л. Н. Толстой.

Б. узнал меня, остановился, вместе с ним остановился и так заинтересовавший меня спутник его.

— Пожалуйста, представьте меня Льву Николаевичу! — шепнул я поздоровавшемуся со мною Б.

— Ну вот, Лев Николаевич, — обратился Б. к своему спутнику, — мы нарочно вышли с вами так рано из дому, чтобы не встретить никого знакомого на улице, а вот встретили. Делать нечего... Позвольте вам представить, такой-то.

Л. Н. приветливо улыбнулся, крепко пожал мне руку.

— Давно ли вы в Петербурге?— спрашиваю я, обрадовавшись случаю, давшему мне возможность побеседовать с величайшим из русских писателей.

— Только вчера,— ответил Л. Н.

Его голос, звучный и громкий, вполне соответствовал его твердой, бодрой, чисто юношеской походке.

— Где вы остановились?

— На Фонтанке, в доме Олсуфьева, у Пантелеймоновского моста³.

— Ну вот, Лев Николаевич, теперь ваше инкогнито открыто,— обратился к нему Б.,— завтра весь Петербург узнает, что вы здесь.

— Что же, пускай знают: я не скрываю,— ответил Л. Н. и затем, обратившись ко мне, как бы вскользь спросил:— Вы где-нибудь пишете?

— Пишу,— ответил я, назвав издание, в котором работаю.— Вы позволите,— добавил я,— оповестить о вашем приезде в Петербург?

— Если это кого-нибудь может интересовать — отчего же? Я ни от кого не скрываю своего пребывания здесь.

— Не позволите ли также навестить вас, побеседовать с вами?— заикнулся было я.

— Гм!.. Знаете, вряд ли найдется у меня достаточно свободного времени для такой беседы, какую вы думаете со мною вести. Ведь вам для сочинений, конечно,— сказал Л. Н., и в тоне его голоса послышалось утвердительных ноток более, нежели вопросительных.

Я сознался, что для печати.

— Милости прошу, заходите. Удастся — побеседуем, не удастся — не взывайте. Как-нибудь раненько, поутру заходите. До среды, двенадцатого февраля, я буду здесь.

Весь этот разговор мы вели на ходу. Я распростился с ним и с Б.

На другой день, в 9 часов утра, я уже был в доме № 14 на Фонтанке.

— Его сиятельство уже вставши, и у них посетители,— сообщил мне швейцар, указывая на небольшую, полуоткрытую дверь, выходящую на нижнюю площадку лестницы.

За этой дверью слышно было несколько голосов. В одном из них я узнал голос Л. Н. Толстого. Разговор происходил довольно громко.

— У них теперь сидят господин директор публичной библиотеки Федор Афанасьевич Бычков и Владимир Сергеевич Соловьев⁴,— продолжал швейцар после того, как подал Л. Н. Толстому мою карточку.

Через минуту в дверях показалась характерная фигура самого Л. Н.

— Сегодня нам беседовать с вами не удастся,— сказал он, несколько понизив голос и поздоровавшись со мною.— Простите, что не приглашаю вас к себе. Помещение у меня маленькое, а между тем полна горница людей. До среды еще времени много... Наговоримся... В крайнем случае, вы изложите на бумажке вопросные пункты ваши, и я вам на них отвечу.

Через день, когда я явился опять в 9 часов утра к дому № 14 по Фонтанке, я уже нашел на площадке перед дверью временной квартиры Л. Н. Толстого человека пять-шесть, чающих свидания с ним. Дверь его квартиры опять была полуоткрыта, но не только не слышно было оттуда никаких голов, но, как оказалось, и самого Л. Н. в квартире уже не было. Несмотря на такую раннюю пору, он уже вышел из дому.

— Они рано встают-с,— объяснил присутствующим швейцар.— Уходят они на целый день; в пять часов обедают, потом опять уходят, и в одиннадцать уже спят. Принимают они к себе только самых близких своих друзей и ни минуты одни не бывают: всегда человек 5—6 около них. А за день, что его спрашивает народу, так видимо-невидимо... Кажись, если б всех принять, так весь дом не поместил бы их.

Я набросал вопросные пункты и в запечатанном конверте оставил их у швейцара с просьбою передать их Л. Н., когда он вернется домой.

До самой среды, 12-го февраля, т. е. до дня, назначенного Л. Н. Толстым для отъезда, мне так и не удалось с ним побеседовать.

Зная, что Л. Н., возвращаясь домой в четвертом часу, всегда ходит пешком по набережной Фонтанки, я решил, во что бы то ни стало, встретить его и поговорить с ним хоть на улице, раз его нельзя никогда поймать одного дома.

И вот за три часа до отъезда я с ним встретился, опять почти на том же месте, где я познакомился с ним.

— А! Ну вот хорошо, что мы встретились!— воскликнул Л. Н., увидев меня.— Здесь нам никто не помешает говорить. Я получил ваши вопросные пункты.

— Вы спрашиваете у меня,— начал Л. Н. после некоторой паузы,— мое мнение о возникающем у нас союзе писателей?⁵ Двух мнений здесь не может быть. Союз — эмблема единства, а единство среди людей вообще, а среди писателей в особенности, весьма и давно желательно. Рознь среди писателей порождает рознь и среди читателей. Образуются не только партии пишущих, но и партии читающих. Если только этот возникающий союз писателей будет таким, каким каждый чест-

ный и добрый союз должен быть, то ему остается только пожелать успеха. Что же касается вашего второго вопроса о суде чести среди писателей⁶, то вопрос этот слишком важен, для того чтобы ограничиться при его расследовании двумя-тремя фразами. О нем следует говорить поподробнее, и я, может быть, со временем им займусь.

В это время нам навстречу попался князь Э.⁷, который похитил у меня моего славного собеседника.

— В семь часов сегодня я уезжаю. До свидания!— сказал мне на прощанье Л. Н. и, сев с князем Э. в сани, уехал по направлению к своей временной квартире.

В 7 часов вечера, к отходу скорого поезда Николаевской железной дороги, на дебаркадере вокзала стояла уже толпа народу. Здесь была и учащаяся молодежь, и дамы, и статские, и военные. Все сгруппировались около одного из вагонов I класса. В дверях этого вагона стоял граф Л. Н. Толстой и разговаривал с некоторыми из провожавших его знакомых.

Вдруг, откуда ни возьмись, подскочила к нему маленькая девочка, лет 12.

— Лев Николаевич!— крикнула она знаменитому писателю.— Мой брат хочет с вами познакомиться!

Л. Н. улыбнулся своей доброй, мягкой улыбкой.

— Ну, ну, давайте вашего брата,— сказал он ей ласково,— где он?

— Да вот он!— тем же вынужденным криком продолжала девочка и подвела к Л. Н. маленького мальчика, лет четырнадцати, в гимназической форме.

— А! Так вот какой большой человек, брат-то ваш! Ну, здравствуйте,— шутливо сказал Л. Н. и протянул мальчику руку.

Мальчик с каким-то благоговением приложился к руке великого писателя, и оба они, и брат и сестра, словно очарованные стояли все время около вагона.

На мальчика глядя, с Л. Н. начали здороваться и многие из публики. Начались взаимные приветствия, а когда раздался третий звонок и гр. Л. Н. Толстой запер дверь вагона и остановился без шапки у стекла двери, вся толпа, как один человек, начала с ним раскланиваться, мужчины сняли шапки и фуражки, дамы замахали платками, послышались возгласы: «До свиданья! будьте здоровы!» Поезд тронулся, а толпа долго еще стояла на месте и смотрела ему вслед.

«ОРЛОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Н. ЧУДОВ

ДЕНЬ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Сначала — Тула, Московско-Курской железной дороги. Утро свежо не по-июньски: ветер, тучи. Поезд (№ 9), конечно, запоздал.

Вокзал все тот же. В пассажирской зале человек двадцать публики. Кто пьет, кто спит. Кажется, их же именно я видел здесь и раньше, год назад. Три барышни из петербургской косметической лаборатории по-прежнему ломаются на стенке у буфета.

Последний переезд не утомителен. С Козловой Засеки, версты четыре или три, дорога в Ясную Поляну, пересекаемая в одном месте киевским «большаком», наполовину идет лесом; местность — сравнительно неровная.

Усадьба расположена ближе деревни и скрыта в зелени. Свернувши у двух белых башен, я скоро увидел знакомый всем по описаниям дом, где гостили Стэд¹, Репин и др. Немного раньше, у ребятишек, собиравших ягоды, я мог узнать, что Л. Н. уже давно приехал из Москвы на лето. «Тут и графиня, и Татьяна Львовна...» Потом поднялся спор.

День успел проясниться. Небо, капризничавшее почти неделю, ласково синело. Светило солнце. Старые березы шумели и качались. Я с любопытством и с понятным интересом глядел кругом. Я был в Ясной Поляне. Для полноты картины здесь не хватало самого Толстого. Он должен был явиться — и явился.

Оказалось, что Л. Н. шел купаться. В руках у него было полотенце. Его глаза, знакомые лишь тем, кто его видел лицом к лицу, спросили, что мне нужно...

Когда я вспоминаю этот недавний день — передо мной встают два человека. Толстой по первому взгляду (по впечатлению, оно не изменяется), в халате и круглой шапочке, неторопливо шедший по аллее, и тот — почему-то другой — Толстой, в обычной блузе, подпоясанной ремнем, и фуражке, каким он смотрит на портретах, только — полный огня и силы, толкующий, как надо жить, чему надо отдать себя, отдать сознательно и беззаветно...

В небольшом очерке, предназначенном в печать, я не могу,

к несчастью, передать всех наших разговоров. Как автор «Царствия Божия», «Письма к либералам»² и пр. Толстой известен и без меня; а если еще неизвестен где как следует, то, без сомнения, будет известен очень скоро. Те исключительные условия, в каких ему приходится работать, сами в себе таят гарантию громадной популярности. <...>

На жизнь отдельной личности Толстой глядит как на одну из фаз ее же вечной жизни в мало-помалу возвышающихся формах, настолько близких между собой, что смутное воспоминание о предыдущем состоянии не исчезает в человеке никогда. Смерть не является ужасной: это — переход. Жизнь — счастье; все наши жертвы — не лишения, ибо весь мир — одно. Идея абсолютной справедливости тонет в идее вечной силы, которая не допускает отчаяния и тоски...

— Следовательно, вы не разделяете воззрений материалистов? — спросил я у него.

— Конечно, нет. Воззрения эти — одно из величайших заблуждений человечества.

Толстой-мыслитель недаром не считается сторонником радикалов, либерализма и т. д.: апостолу непротивления подобное движение необходимо должно казаться злом... Прибавлю, Л. Н. обижается, когда у него спрашивают о его учении. Он заявлял при случае не раз, что у него и нет, и не было своих учений.

— Если я написал несколько книг по религиозно-нравственным вопросам, то исключительно затем, чтоб показать, насколько люди исказили истину, — не мою истину, истину из Назарета.

Последняя работа, которую Л. Н. едва окончил начерно, посвящена вопросу об искусстве³. Толстой принадлежит к строгим судьям поэзии. Он ее чуть не отрицает вовсе. Я попытался было привести ему слова Карлейля, что «чувство должно быть пропето», но получил в ответ:

— Карлейль написал много умного, но это...

По заключению Л. Н., произведение искусства живет и остается полезным памятником лишь в том случае, когда оно способно удовлетворить хоть одному из двух главных требований: высокой красоты или общенародности. Поэт, писатель должны стоять на среднем уровне эпохи и в высшей степени должны остерегаться злоупотребления талантом. Тогда творения необходимо отразят религиозное мировоззрение эпохи, что и надо.

— Да у меня, например, есть сейчас десяток тем — и, знаете, я затрудняюсь выбрать... Намечены в особенности два рассказа: один, в котором я коснулся бы маленького кружка

нас, богатых людей, и который мне дорог субъективно,— ну, и другой, для большинства...⁴

Я отвечаю, кстати, что Толстой с своей любовью к ближнему сказался предо мною весь. Он принимает к сердцу каждое несчастье. Я, между прочим, слышал от него, что не особенно давно, где-то на Волге, полиция отобрала у молокан детей. Л. Н. негодовал:

— Я написал уж в Петербург, но еще нет ответа⁵. Во всяком случае, это — недопустимо...

При мне же в Ясную Поляну зашли две женщины из Тулы, попросить совета. Их родственник ссылался в Пермскую губернию,— и Л. Н. не помог им только потому, что нечем было и помочь.

Когда разговор далее пошел о живописи, он указал, после картины «Angelus» (крестьянин и крестьянка в поле, при звуке колокола в благоговении сложили руки), на потрясающий образ того рабочего с киркой, который сел, измученный, и еле-еле переводит дух...⁶

— Художник должен знать законы перспективы и тому подобное, излишней роскоши не нужно. Я допускаю хоть одни картоны. Но пусть они будут оживлены идеею и проникают всюду: народ увидит и поймет... И в музыке я, разумеется, стою за песню, на которую откликнутся сотни сердец,— а не за Вагнера, который чужд толпе... Ведь это — то же декадентство. «Музыка будущего» — жалкий софизм. Все, что имеет силу, не валяется в пыли: припомните Христа, Будду и их влияние на самый низший класс.

При таких взглядах на искусство для народа Толстой не мог, конечно, серьезно отнестись в свое время к затее наших барышень писать «что-нибудь» для тех масс, служить которым призываются лучшие силы. «И они думали, что это так легко», — задумчиво промолвил он. В силу того же, он отозвался неодобрительно о некоторых «плодовитых» беллетристах.

— Возьмите N.: поверьте, я решительно не в состоянии прочитать целую написанную им страницу... Не понимаю этой работы на заказ: какая-то позорная продажность... И девяносто девять сотых возятся с своею грязной половой любовью. А между тем у Диккенса, с его значением,— хотя его и портит его манера излагать,— нет ни одной почти красивой героини: или уроды прямо, или же — калеки...

Л. Н. не пашет больше. Года не те. Но и в иное время его работа не была рисовкою. Я лично говорил с одним подростком (сыном крестьянки Копыловой), для семьи которого, оставшейся без мужских рук, Толстой несколько лет был времен-

ным работником; в крестьянстве этим не играют... Желанье стать обязанным в жизни только себе («житье трудами рук своих»), по словам Л. Н., вряд ли осуществимо целиком: остается — ограничение потребностей...

День пролетел, как один миг. Вечером Л. Н. проводил меня пешком на станцию. Он ходит замечательно легко. Мы продолжали разговаривать, и я жалел, что не имею больше времени в своем распоряжении... На прощанье я выразил ему, что я стеснялся несколько зайти незванным гостем, но что теперь мой страх пропал. Он протянул мне руку.

— Ко мне действительно приходят и напрасно — не знаю, для чего. Но вы — другое дело. И я вам нужен был, и вы — мне нужны. Пишите мне...

Я не «интервьюировал» Л. Н. Он это знает. Девятнадцатого июня была минута, еще там, в купальне, — когда, закрытый ее соломенными переплетами от остального мира, я плакал перед этим человеком... Поэтому он не осудит меня; он, вероятно, только со мною вместе пожалеет, что мой рассказ неточен и короток.

Простившись, я поехал дальше, к месту назначения... Ночью опять ударил дождь. Утро опять было холодное. Но в душе жило ощущение, похожее на то, если бы кто из подземелья случайно вырвался на целый день поближе к солнечному свету и теплу.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

ИЗ РАЗГОВОРА С ЛОМБРОЗО

Профессор Ломброзо — один из самых ревностных почитателей графа Л. Н. Толстого. Он знаком со всеми его произведениями, которые почти все переведены на итальянский язык (в том числе и такие, которые не изданы в России). Почитание великого русского писателя не ослабляется тем, что граф Толстой не разделяет многих воззрений Ломброзо и относится к ним даже враждебно, а равно и тем, что Ломброзо видит в Льве Николаевиче гениального, но несколько парадоксального мыслителя, как он это и высказал в своей книге — о гениальных людях, хотя в то же время и решительно протестует против характеристики Толстого, сделанной его приятелем Максом Нордау¹. <...>

Поездка в Ясную Поляну к графу Л. Н. Толстому оказалась для Ломброзо не вполне удачной в том отношении, что он застал в доме тиф, поразивший одну из дочерей графа². Это обстоятельство, конечно, не могло не отразиться на отношении к гостю, который провел, впрочем, сутки в Ясной Поляне и мог видаться и говорить с графом. Впечатление, которое Лев Николаевич произвел на Ломброзо, было самое благоприятное; итальянский психиатр нашел его бодрым, здоровым, крепким и шутя заметил ему, что граф мог бы быть его сыном, хотя Ломброзо всего 61 год, а графу за 70³.

Вынужденный отказаться в последние годы от работ в поле, колки дров и других более тяжелых занятий, граф посвящает все-таки ежедневно 3—4 часа на писание, следит за литературой, а в свободное время упражняется в лаун-теннис, ездит верхом или на велосипеде и купается. «Он свободно плавает полчаса, тогда как я не выдержу более 10 минут», — заметил Ломброзо. Граф занят теперь большим трудом об искусстве, его значении и задачах. Вообще же, Лев Николаевич, по выражению Ломброзо, облекся в броню недоступности перед интервьюировавшим его психиатром и только отчасти мог удовлетворить любопытство последнего. Ломброзо, впрочем, был уже доволен тем, что ему удалось видеть знаменитого русского писателя в его сельской обстановке и хотя немного побеседовать с ним о некоторых вопросах искусства и жизни.

«ОДЕССКИЙ ЛИСТОК»

А. ГЕРМОНИУС-ФИНН

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ. У ЛЬВА ТОЛСТОГО

Константин Михайлов¹ в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты.

— Так пойдемте, что ли?.. — предложил он. — С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался... Лев Николаевич не долго обедает.

Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка

к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя.

Здесь в тени вековых лип и берез создавались и зрели чудные образы и художественные картины... Здесь воскресали в гениальной фантазии прежнего Льва Толстого герои его «Войны и мира», «Детства» и «Отрочества», «Военных рассказов», «Анны Карениной».

Я ехал в Ясную Поляну с одной определенной целью — на месте проверить разноречивые слухи об его болезни и толки о новых произведениях его. Меньше всего собирался я обращаться к нему за разрешением каких бы то ни было витиеватых «вопросов», как это по установившемуся шаблону практикуется большинством наезжающих в Ясную Поляну «интервьюеров», обращающихся ко Льву Толстому, как к модному оракулу, который обязан изрекать свои «мнения» относительно всего, что взбредет на ум досужему человеку...

Мы прошли уже мимо пруда и подымались по усыпанной пожелтевшими листьями аллее вековых берез прямо к видневшейся на пригорке каменной усадьбе, а невольное волнение мое никак не могло улеться...

— Вот беседка, где Лев Николаевич работает летом, когда хочет, чтобы ему не мешали... — указал проводник небольшой каменный павильончик влево от аллеи, летом укрывающийся в тени развесистых лип.

Эти липы длинною аллею тянутся влево к другому каменному флигелю, в котором живет сын писателя граф Л. Л. Толстой с супругой и куда яснополянский философ ходит обедать. Густой парк лип раскинулся и вправо от березовой аллеи, и впереди усадьбы. Летом, должно быть, чудно здесь, в тени этой листвы, которая теперь густым желтым ковром покрывает поблеклую траву цветника перед домом и широкую, не усыпанную песком, подмерзшую слегка дорожку аллеи, ведущей прямо к крыльцу стеклянной веранды дома.

Как-то пусто, сиротливо и неуютно кажется здесь сейчас. На лужайке парка пасется скот...

— Тут вот и наш скот вместе ходит, — объясняет толстовец, — Лев Николаевич никогда ничего против этого не скажет, позволяет...

Ни души не видно кругом. Белый каменный дом со своею зеленою крышею и стеклянною верандою кажется точно нежилым, да и на самом деле в нем заняты хозяином только две крайние комнатки в нижнем этаже с маленькими окнами в сад и черным узким входом с неряшливо содержимого двора, рядом со зданием людской кухни...

Только молодой гордон — Тик графский, как пояснил проводник, — подбежал навстречу, ласково виляя хвостом, да какая-то баба рубила березовый сук на задворках...

— Что, вернулся с обеда Лев Николаевич? — справился у нее Константин Михайлов. — Это жена садовника, — пояснил он, обращаясь ко мне.

— Нет, обедает еще... — ответила баба.

— Беспременно, значит, сейчас вернется... Он скоро!..

Я еще раз взгляделся в окружающую меня обстановку: и самый дом, и деревянную, резную, грубой плотничьей работы, решетку веранды давно не мешало бы покрасить или побелить, но об этом, очевидно, мало кто думает здесь... Немножко запущенным кажется все окружающее.

На дощатых перилах решетки аляповато вырезаны, очевидно тем же плотничьим инструментом, поочередно то фантастический петушок, то еще более фантастическая человеческая фигурка...

В окне, рядом с дверью крыльца, которым, видимо, не пользуются, к самому стеклу прислонен какой-то удивительный портрет масляными красками...

Это, очевидно, работа какого-нибудь доморощенного художника, и притом с весьма замечательного оригинала: на портрете изображен какой-то блондин купеческой складки и молочавой наружности, во фраке, оба борта которого буквально унизаны орденскими звездами неопределенного происхождения, крестами, медалями... На шее оригинала, на зеленой ленте, красуются тоже две звезды и еще какой-то орден или значок посредине между ними...

Я только что в недоумении занялся разгадкой, кто автор и кто оригинал этого необыкновенного портрета, как во флигеле, занимаемом графом Львом Львовичем Толстым, громко хлопнули дверью, и стук ее гулко разнесся в морозном воздухе...

— Вышел Лев Николаевич! — объявил мой чичероне.

Через минуту в конце длинной липовой аллеи, соединяющей оба каменных флигеля, показалась высокая, очень высокая фигура знаменитого отшельника Ясной Поляны.

Он быстро шел, пережевывая еще на ходу остатки последнего блюда, в серой круглой войлочной шапке и закутавшись, как в халат, в длинный черный не то армяк, не то пальто без пуговиц... Я сделал несколько шагов навстречу графу...

— Да ведь мы с вами, кажется, знакомы уж? — произнес он, протягивая руку... Лев Николаевич ошибался: маститого отшельника посещает такая масса «интервьюеров», корреспон-

пондентов, ученых и просто поклонников, что немудрено, разумеется, и ошибиться в этом синклите...

— Я завален работой по горло, корректура, переписка!.. Печатал свою последнюю вещь на «Ремингтоне», чтобы еще раз выправить ее... — говорил Лев Николаевич, пока мы медленно подвигались к дому. — Вы читали мое письмо по поводу молокан?..² Ведь это возмутительное дело, и об нем как будто замолчали везде после моего письма, да и самое письмо, кажется, осталось не перепечатанным в других газетах, а между тем тут бы и продолжать выяснение этого вопроса... Я, прежде чем напечатать свое письмо в «С. Петербургских Ведомостях», обращался к...

Лев Николаевич назвал высокую особу, к которой он адресовался по этому делу за защитой для молокан, и, видимо, волновался, рассказывая о перипетиях своего ходатайства, которое, вероятно, найдет когда-нибудь свое место в истории нашего сектантства.

Я сообщил графу, что видел его письмо перепечатанным в киевских газетах...

Это, по-видимому, искренне порадовало графа. Мы подошли между тем ко входу в обиталище маститого писателя...

Именно обиталище, никак иначе не могу я назвать, никакого более подходящего определения не могу я подобрать тому помещению, в которое вошел, пробираясь вслед за хозяином по узенькой дощечке, перекинутой через лужу возле здания людской кухни, к грязному черному крылечку!..

Охалка березовых суков, которыми граф топил свою печку, валялась у стенки темной передней — коридорчика!..

В какой-то не то кладовке, не то заброшенной комнатке с открытой дверью, сейчас налево от входа, виднелся велосипед Льва Николаевича.

Мы сделали еще два-три шага вперед и — вошли в полупустую, невзрачную каморку с двумя-тремя колченогими стульями, с простым некрашеным столом и вытертым и выцветшим от времени...

За другим столом такого же сорта, поставленным у одного из двух маленьких окон, работал над бумагами какой-то юноша, вставший с места при нашем приходе, юноша ужасно робкого и простоватого вида, в старом сюртуке с лоснящимися локтями и не в меру короткими рукавами.

Граф снял галоши, снял свою шапку, сам повесил на крюк прибитой к стене грошовой железной вешалки свое пальто-армяк, предоставив мне сделать то же самое, и — передо мной в натуральную величину предстал Лев Толстой в том виде, как его изображают на всех портретах последнего времени!.. В

верхнем пальто-армяке или пальто-халате своем граф Толстой выглядит несомненным баринoм: в том костюме, в котором он оказался теперь, — вырос всем знакомый облик барина «опростившегося». Темно-синяя пестрядная блуза или чуйка, подпоясанная черным ремнем, пресловутые «говяжьи» сапоги, о которых мне говорили толстовцы в деревне, — все было налицо!.. Редкие — не белые как лунь и не седые, а какого-то серого цвета — волосы на голове лежали сбившимися космами; борода, длинная и жидкая, висела такими же отдельными прядями...

Широкий, как будто приплюснутый нос и не скажу, чтобы добрые, напротив — насквозь пронизывающие из-под нависших бровей, пронизательные глаза — таков был портрет Льва Николаевича теперь!..

Его проповедь всяческого добра, его несомненные добрые дела, та репутация добрейшей души человека, которая безраздельно и безапелляционно царит среди всех близко знающих его и близко стоящих к нему, — как-то совсем не угадываются и не чувствуются в этих пронизывающих глазах — зеркале души, — скорее злых, чем добрых, скорее холодным острием пронизывающих собеседника, чем согревающих его каким бы то ни было теплым лучом!..

Верьте в то, что глаза зеркало души после этого...

Лев Николаевич, сделав два шага к двери во вторую комнату, сразу нагнулся к ярко разгоревшейся печке...

— Как раскалилась!.. — произнес он, обращаясь к молодому человеку.

— Не надо закрывать трубы...

— Я залью-с, Лев Николаевич...

— Да, да, надо будет залить...

Только после этого хозяйственного распоряжения Лев Николаевич попросил меня войти и сам вошел во вторую комнату своего «обиталища», притворив за собою двери...

Так вот она, святая святых нашего великого писателя, вот она, лаборатория редкого таланта, светлого ума... Разумеется, и комфортабельнее, и уютнее, и роскошнее устраиваются у себя, в Москве, те два камердинера графской семьи, о которых рассказывал мне Константин Михайлов!..

«Многое есть, друг Горацио, на свете...»³ Ему, этому маститому старцу, который, помимо своего родового состояния, мог бы быть миллионером от одних изданий своих позднейших сочинений, — ничего не надо, кроме этих двух жалких каморок в своей усадьбе?!

Мне вспомнился только что рассказанный мне все тем же Константином Михайловым, пока мы подходили к дому, эпизод

с лесом, который собирается якобы оттягать от графа один из соседей его по имению...

— Процесс будет,— добавлял Константин Михайлов.— Только сам граф-то, разумеется, судиться не будет... Он ни за что судиться не пойдет!..

Этому старцу, впрочем еще бравому и бодрому, действительно ничего не надо, если он способен довольствоваться теми двумя комнатами, в которых он живет...

Во второй комнатке, сводом низенького потолка как бы разделенной на две половины, стоит простая железная кровать у задней стены и три простых деревянных стола, заваленных бумагами, книгами, корректурными листами,— в первой половине комнаты...

Несколько таких же простых деревянных стульев у стены, у окон довершают обстановку. По приглашению хозяина я сел было на один из стульев у окна...

— Нет, пожалуйста, сюда,— указал он другой стул визави себя.— Там вам надует из окна...

Сам Лев Николаевич накинул себе на плечи, поверх своей чуйки, желтую вязаную шведскую куртку...

Я справился о здоровье маститого писателя, сказав, как много противоречивых сообщений появлялось в печати и о состоянии его здоровья, и об операции, которой он будто бы решился подвергнуться...

— Какой вздор,— ответил граф.— Пустой чирей вскочил вот здесь,— Лев Николаевич указал на правую щеку,— и никаких ни операций, ни докторов, ничего не было... Чирей прошел себе, вот и все, и я не прекращал своей работы!.. Я занят по горло... Жена уехала — она тоже очень беспокоится обо мне... Вот сын перевел мне с английского статью Карпентера «О современной науке», так я написал предисловие к ней для «Северного Вестника»: корректуру уж прислали...

— Скажите, Лев Николаевич, а ваш труд «Об искусстве», который должен был, кажется, появиться в журнале «Вопросы философии»...

— Да, но это оказалось невозможным... Я хотел, чтобы вся моя статья была помещена в одном выпуске журнала, а этого нельзя... Нет... Я напечатаю свою статью в Лондоне одновременно в русском оригинале и в переводе на английский язык...⁴

— Вероятно, этот молодой человек в той комнате...

— Да, он переписывает... Сын взял его в помощь садовнику, но он оказался таким талантливым юношей... Я перевел его к себе и на днях отправил в «Русскую мысль» два прекрасных стихотворения его: они, вероятно, будут напечатаны...⁵

Таким образом, в этом скромном молодом человеке, которого я видел за столом в первой комнате и который готовился заливать печку, скрывается, может быть, будущий крупный поэт, начинающий свою деятельность под покровительством Льва Николаевича...

Я спросил еще графа Толстого, правда ли, что он собирается в кругосветное путешествие, как сообщали газеты, что повергло его в полное недоумение...

— Удивительно!.. И не думаю... Чего только ни сообщают о моих намерениях и планах, чего мне и в голову никогда не приходило!..

Разговор перешел на мою недавнюю поездку на остров Крит, на взгляд Льва Николаевича относительно нынешних восточных событий.

В вопросе о последнем греко-турецком столкновении все симпатии графа — на стороне турок...⁶

— Нам чужды и те, и другие,— говорил он,— но симпатии и антипатии являются сами собой. Если два петуха дерутся, то и тогда симпатии наши будут на стороне которого-нибудь одного из них. Я сам знаю турок, это превосходный народ...

Слабо и неудовлетворительно их правительство, но народ прекрасен, и на него слишком много и долго клеветали. Ко мне приезжала сюда недавно графиня Капнист⁷, бывшая с лазаретом у греков во время последней кампании, но ее рассказы очень мало тронули меня.

Лев Николаевич заговорил об отношениях христианства и мусульманства, но взгляды маститого писателя на эти вопросы найдут себе оценку когда-нибудь в другое время.

С ничем не сдерживаемую прямою искреннего убеждения Лев Николаевич и тут высказал ряд совершенно оригинальных, своеобразных и, может быть, слишком уж смелых парадоксов о христианстве.

Мы вернулись к Одессе...

Лев Николаевич очень интересовался одесскою прессою, ее характером, работниками...

— Скажите,— любопытствовал он,— Л. Е. Оболенский совсем переселился в Одессу или только присылает свои статьи в «Одесский Листок»?..⁸

Я удовлетворил любопытство Льва Николаевича.

Но особенно заинтересовали маститого писателя сахалинские очерки В. М. Дорошевича⁹. Он расспрашивал меня, долго ли пробыл В. М. Дорошевич на Сахалине и где именно побывал на острове.

— Я нарочно отбираю все нумера газеты, где появляются эти очерки,— говорил Лев Николаевич,— чтобы прочесть их,

когда они будут закончены. Это очень интересно... Непременно прочту их: я читал Чехова сахалинские очерки, но они мне не понравились и не удовлетворили меня.

Моя беседа с графом продолжалась около часа; я чувствовал, что этот час отнят мною у Льва Николаевича от его работ, которыми он завален, и встал, чтобы проститься...

— Скажите, пожалуйста, какого происхождения ваша фамилия?..— спросил Лев Николаевич в заключение.— Не финляндская ли? Мы сейчас говорили об этом за обедом...

Я подтвердил основательность этой догадки графа.

— И вы говорите по-шведски?..

— Как же...

— Чудная страна, Финляндия!.. Я никогда не бывал в ней, но так много слышал об ней... Вот невестка моя была бы рада услышать родную речь!..

Сын Льва Николаевича, граф Лев Львович Толстой, женат, как известно, на представительнице аристократической финляндской фамилии Форселлес...

Покинув отшельническое уединение яснополянского философа, я торопливо заносил в записную книжку свои впечатления и слова маститого писателя, вернувшись в хату Константина Михайлова <...>.

«КАМСКО-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ»

Кн. Д. О〈БОЛЕНСКИЙ〉

В МОСКВЕ У ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО

〈...〉 В Москве я не мог лишиться себя удовольствия зайти посидеть вечерок у дорогого, не одному мне, близко знающему его, но и всему образованному миру близкого графа Л. Н. Толстого! Встречая, бывало, часто у гр. Л. Н. людей, которые исключительно заходили только для того, чтобы сказать, что были у великого человека, а еще чаще, чтобы описать свое интервью с ним, я, глядя на них, давал себе слово никогда не описывать своих посещений, тем более что знал Л. Н. не менее 40 лет, мне приходилось в старое доброе время, когда Толстой не был еще маститым философом, а был лихим охотником, и полевать и охотиться с ним целыми днями; так что теперь захожу запросто в силу старых давнишних отношений! Но с годами, когда Л. Н. Толстой уже старик и стоит как бы *один*, когда все его знаменитые сверстники уже — увы! — сошли со сцены, да и я уже не молод, и не как интервьюер пишу сейчас, — а потому только, что, думается, *всякая* мелочь, касающаяся Толстого, должна интересовать всех, и я решаюсь набросать несколько слов, в виде исключения, о посещении мною того русского гения, у которого, говорит И. С. Тургенев, *медвежий* талант.

Не видев давно Л. Н. Толстого, мне просто невообразимо захотелось повидать его, как это часто со мною бывает, когда я его не вижу и когда тяжело у меня на душе, ну просто, как бы это лучше сказать, для *нравственной дезинфекции* — как выразился современный один мудрец, — и я повторяю его слова.

Беседа с графом Л. Н., такая всегда возвышающая душу, такая успокоительная для измученного человека, приходящего именно отвести у него душу в наш нервный век

противоречий, и сомнений, и беспокойства, — что, мне думается, нет человека в мире (по крайней мере мне известных), кто мог бы словом, советом и беседою *помочь* ближнему, как он. Я не раз испытал это на себе и видел это на других!

Вчера, узнав проездом в Москве, что Л. Н. Толстой хворает, я поехал к нему в дом и застал его хотя хворающим, но на ногах и живо интересующимся всем, по обыкновению. Граф Л. Н. простудился и не знает наверное где, но недели 2—3 тому назад он, верный своей привычке к физическому труду, долго работал с лопатой и, вспоетв, должно быть, остудил поясницу — а может быть, и на коньках, так как он ежедневно почти упражняется час и больше на льду. И это в 68 лет! В данную минуту ему уже легче, хотя еще лихорадит и он писать не может, а то он ежедневно работает от 10 часов утра и до 4-х с пером в своем кабинете. Л. Н. вышел ко мне с книжкою стихотворений Гейне в руках и прочел мне несколько чудесных стихотворений знаменитого поэта и восхищался ими; читает Толстой даже вечером мелкую немецкую печать совершенно свободно, при неярком освещении, настолько зрение хорошо. «Пользуюсь болезнью, чтобы перечитать Гейне, которого очень люблю, — сказал Л. Н. — Писать сейчас еще не могу!» Разговор от Гейне перешел к современным событиям: Золя — Дрейфус¹ и т. д. <...> «Мне, по моим убеждениям, очень противна эта жидофобия во Франции и ее современный шовинизм, крики за армию, — продолжал Л. Н., — и признаюсь, я сочувствовал этому движению, которое, казалось, добивалось оправдания невинно осужденного; но вот вмешалась молодежь, студенты, всюду чуткая ко всему хорошему; она за правительство, и я начинаю сомневаться, и меня смущает — как бы правда не на их стороне?» — вопросительно заговорил граф Л. Н.

До Золя он не охотник, не любит его писание и не признает за ним большого таланта писательского: некрасиво, скучно, как будто все одно и то же! Перешли к другим вопросам.

Пришли какие-то тульские крестьяне, оказавшиеся весьма развитыми, что не редкость теперь в нашем крае. С ними Л. Н. беседовал довольно долго: он никому в совете не отказывает. Речь зашла о распущенности русской женщины, на что и крестьяне жалуются в своем быту и среде. Граф говорил довольно много. «Женщины все толкуют о свободе, — между прочим сказал Л. Н., — что они на нее имеют право как христианки; да такова ли должна быть христианская свободная

женщина, как наши барыни, декольте на балы и обеды и для этого не одевающиеся, а раздевающиеся? Я понимаю женщину-христианку не такую, а строгою, преисполненную христианской любви к ближнему, понимающую и строго относящуюся к своим семейным обязанностям — такая и свободна; она и не одевалась в первое время христианства, как язычницы; она носила платье широкое, скрывающее ее формы; не оголялась как язычницы — наподобие их! Мне теперь нездоровится, я сейчас не могу писать, но я надеюсь, что я не умру, не написав еще многое о женщине. Я перед смертью выскажу о женщине все, что у меня на душе...»

Много говорил в этот вечер Л. Н., и мы несколько раз возвращались к разговору о немецкой литературе. Л. Н. очень сожалел, что наша молодежь мало знает немецкий язык, почему лишает себя удовольствия знать ближе немецкую литературу и ее прелесть.

Сочинение его об искусстве выйдет в России не в полном объеме. Вспоминая прошлое, мне крайне досадно на себя, что я не записывал многого, что слышал от Толстого, когда подолгу бывал с ним; много, много интересного я мог бы сообщить, что теперь — забыто. Я видал и встречал Л. Н. во всех фазисах его творчества, даже в такие минуты, когда он хотел стреляться с И. С. Тургеневым из-за спора горячего, где оба считали себя обиженными!² Теперь, конечно, досадно, что я много не записал, ввиду общественного интереса, а не личного. Л. Н. такой убежденный человек, что именно этим он страшно влияет на всякого своего собеседника.

Все толки и болтовня про него большей частью преувеличены, и мне кажется, он никогда не был так умен, как теперь, и так *определен*.

Он никогда никому не навязывает своих убеждений, особенно религиозных; о последних говорит даже неохотно, разве разговор на это вызовет кто, или отвечает на поставленный ему вопрос. Самая его беседа, в которой проглядывает непротивление злу, удивительно успокаивает.

Да, именно теперь Толстой напоминает старую, с чудными плодами яблоню, которая год от году дает более и более прекрасных плодов!

Я засиделся у Л. Н. Он, по обыкновению, ужинал своими вегетарианскими блюдами, после чего мы расстались. Уходя от него, не впервые мне вспомнилось изречение из «Эдип-царь»: «Дружба великого человека есть особая милость богов». 12 января 1898 г.

⟨В.⟩ Я ⟨КОВЛЕ⟩В

У ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

Не без некоторого волнения я позвонил у подъезда небольшого домика, скрывающегося за деревянною, окрашенной в желтый цвет оградю. Этот домик, находящийся в Хамовническом переулке, — зимняя резиденция нашего маститого писателя, графа Льва Николаевича Толстого. Было около семи часов вечера. Я застал графа обедающим. Сейчас же, вслед за докладом о моем посещении, в приемную вошел сам Лев Николаевич. Тревожные слухи, ходившие по городу, относительно нездоровья графа совершенно неосновательны: Лев Николаевич чувствует себя хорошо, и состояние здоровья его не внушает никаких опасений. Обладая мощною фигурой и сложением, бодрый, веселый граф выглядит далеко моложе своих лет. Лев Николаевич извинился и просил меня немного подождать в гостиной. Мне пришлось очень недолго ждать графа: через 3—4 минуты в дверях показался сам граф. Целью моего посещения графа было дело совершенно частное, касающееся лично меня, но вскоре разговор принял общий характер и, как и следовало ожидать, коснулся животрепещущей современной темы — процесса Золя.

— Этот процесс, — сказал Л. Н., — нас, русских, не должен так глубоко интересовать, как он в действительности интересует нас, сосредоточивая на себе все внимание русского мыслящего общества. Дело Золя, при всей его важности, дело далекое от нас, настолько далекое, что мы совершенно бессильны что-либо сделать для него. Между тем у нас найдется немало своих собственных тем и своего собственного дела, где мы если не во всем, то во многом можем быть полезными.

Переходя затем к процессу Золя, граф продолжал:

— Я далек от того, чтобы увлекаться Золя как писателем, и поэтому могу более спокойно судить о его поступке, навлекшем на него, помимо неприятностей суда и вообще тяжбы, нападки со стороны учащейся французской молодежи¹. Я вам не первому говорю, — меня смущает это отношение к Золя со стороны французских студентов. Я не могу себе этого уяснить: за что?

В поступке Золя видна благородная, прекрасная мысль дать отпор шовинизму и антисемитизму, господствующим в известных кружках; показать Европе, что во Франции не так

плохо обстоит все, как можно судить по последним событиям. Антисемитизм и шовинизм — это что-то более чем ужасное; это какое-то дикое человеконенавистничество, недостойное французской нации.

В разговоре я привел графу мнение некоторых газет о подкупе Золя дрейфусовским синдикатом.

— Ложь, — с негодованием запротестовал граф. — В бескорыстии и честности Золя я глубоко убежден. Золя, выходя со своим письмом, сделал все, что он мог сделать и что он должен был сделать. Я не знаю Дрейфуса, — продолжал граф, — но я знаю многих «Дрейфусов», и все они были виноваты. В то же время я знал и знаю массу прекрасных, честных и умных людей, погибших и гибнущих без заступничества с чьей бы то ни было стороны.

Я был сам офицером, я знаю военный быт, и мне тяжело представить себе, чтобы товарищи судьи могли осудить Дрейфуса без достаточных улик, тем более что все они знали, что обвинение в государственной измене — самое тяжелое из обвинений и влечет за собой, в большинстве случаев, смертную казнь виновного.

Я спросил графа, не думает ли он сам печатно высказаться по делу Золя.

— Я получил немало писем, где меня просили высказаться по этому поводу. Я было хотел это сделать, но потом раздумал. Нашлись обстоятельства, от меня не зависящие. Форма статьи по поводу процесса Золя у меня уже сложилась². Мне хотелось бы в ней высказать именно то, что я уже высказал вам в начале нашей беседы по этому поводу, то есть, что процесс Золя для нас дело далекое, дело, в котором мы не можем принять участие, между тем у нас есть немало своих собственных дел, в решении которых наше участие более необходимо.

На этом наш разговор окончился.

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

М. ПОЛТАВСКИЙ

⟨Р. ЛЕВЕНФЕЛЬД⟩ У ГРАФА ТОЛСТОГО

День 28 августа, когда графу Толстому исполнилось семьдесят лет, был торжественно отпразднован во всей европейской печати. Почти все выдающиеся иностранные газеты по-

святили ему сочувственные статьи, иногда даже по несколько статей, в которых превозносили до небес «великого писателя земли русской», а известный немецкий писатель и знаток произведений графа Толстого д-р Рафаэль Левенфельд из Берлина предпринял даже к этому дню путешествие в Ясную Поляну. На впечатлениях, вынесенных Левенфельдом из этого путешествия, стоит остановиться, так как, помимо их чисто литературного значения, они знакомят еще с нынешним душевным и физическим состоянием графа Толстого.

— Езда из Тулы в Ясную Поляну, — пишет Левенфельд, — продолжается полтора часа. Шоссейная дорога довольно однообразная. Когда много лет тому назад я ехал по той же дороге, кучер рассказывал мне всевозможные вещи о странном графе, который носит мужицкие одежды и работает, как всякий земледелец. Было интересно следить, как отражается в голове человека, не умеющего ни читать, ни писать, образ человека, наполняющего своей литературной славой весь мир. Я и на этот раз пытался вступить в разговор с моим возницею, но человек этот не знал и имени Толстого. Он не знал даже деревни, в которой граф живет уже около пятидесяти лет и которая отстоит так недалеко от города.

Мы находились в расстоянии тысячи шагов от господского дома в Ясной Поляне, как вдруг на дороге показался сам граф. Он заметил меня издали и сделал знак кучеру. Экипаж остановился, я выскочил. Крепко, как и всегда, граф пожал мне руку и поздоровался со мною по-немецки.

— О, нет, — ответил я по-русски, — с «великим писателем земли русской» мне хотелось бы, как могу, говорить по-русски.

Толстой говорит хорошо по-немецки, теперь, может быть, медленнее, чем раньше, так как ему недостает практики, к тому же он с 1859 года не бывал в Германии¹. Но он много читает по-немецки и получает много писем от иностранцев, пишущих по-немецки.

— Ну, как хотите. Пойдемте-ка со мною немного по шоссе. Жены моей еще нет дома, и я делаю теперь свою первую прогулку после продолжительной болезни. Я, видите ли, четыре недели был нездоров, десять дней пролежал даже в постели, и сегодня первый день, когда я решаюсь выйти.

Толстой немедленно начал со мною разговор на литературную тему. Он осведомлен обо всем, что есть выдающегося

в Германии и Франции в области литературы, а также, поскольку возможно следить издали, в области искусства.

— Я многое читаю из новейших произведений ваших молодых писателей. Пишут много, и, очевидно, есть немало свежих литературных талантов. Но я знаю только одно произведение, которое более всего меня тронуло, это — «Ткачи» Герхардта Гауптмана. Это настоящее искусство, почерпнутое из самого сердца народа. Читали ли вы мое рассуждение «Что такое искусство?» — прервал сам себя Толстой.

Я отвечал, что только теперь, на пути из Москвы в Тулу, познакомился с первыми главами.

— Видите ли, — продолжал Толстой, — я изложил там методически свои взгляды по этому поводу. Мы все заблуждаемся. Мы творим не для народа, а это ведь значит ошибиться насчет всей нашей задачи. Только гауптмановские «Ткачи» являются произведением, дающим высшее художественное отражение чувств народа, и притом в форме, которая понятна для всякого из народа.

Я спросил графа, читал ли он «Одиноких людей» (того же Гауптмана), которые мы в Германии особенно ценим². Он знал, если не ошибаюсь, все драматические произведения Гауптмана, но относил их к тому роду искусства, который он теперь отвергает.

— Видите ли, — продолжал Толстой, — для меня совершенно непонятно, почему немцы ставят позднейшие произведения Шиллера выше его первой работы — «Разбойников». Во время болезни я эту вещь прочитал еще раз. Вот это народное искусство! Никогда еще после того Шиллер столь мощно не отражал пафоса народной души.

Толстой вообще большой поклонник Шиллера, чем Гете. Основной моральный тон шиллеровских произведений ближе к Толстому, чем возвышенное спокойствие Гете.

Левенфельд знакомит затем с внутренней жизнью в доме Толстого.

Библиотека Толстого, тщательно приведенная в порядок графиней, которая вносит в каждую книгу название шкафа, отделов и номер, включает в себе множество русских классиков и в особенности французских историков, классиков великих культурных народов, большею частью в хороших изданиях, и множество переводных произведений Толстого на всех европейских языках. Почетные места в библиотеке занимают произведения Жан-Жака Руссо, Бертольда Ауэрбаха, крупные издания Библии, жития русских святых и критические про-

изведения, посвященные Евангелию, Ренан, Штраус и епископ Рейс, по-видимому, тщательно изучались³.

Дом Толстого был несколько лет тому назад перестроен. Он сделался мал для подросших мальчиков и девочек. На низком флигеле поставлен теперь еще один этаж, так что по высоте он равняется старому зданию. Вследствие этого вся постройка обогатилась множеством комнат. Так как комнаты в новом этаже красивее, то граф, его супруга и дочь Татьяна перебрались туда. У Льва Толстого теперь более красивая и веселая рабочая комната, что, собственно, и заставило его супругу, особенно заботящуюся о его здоровье, переселиться туда.

Не все издания произведений Толстого имеются в библиотеке. Прежде всего, там отсутствуют экземпляры иностранных изданий — швейцарских и берлинских. Толстой и в этом случае придерживается своих понятий о собственности. Он слишком много раздаривает. Всякий гость берет кое-что с собою, так что у него самого недостает таких вещей, которых можно было бы искать именно у него. Мне хотелось бы узнать, каким изданиям он отдает предпочтение, так как, например, «Исповедь» его вышла в разных экземплярах.

— Не могу вам сказать определенно, — отвечал Толстой, — я не знаю хорошо этих изданий. Лучше всего вы можете узнать об этом у моих друзей в Англии⁴.

И он дал мне адрес одного из своих почитателей, собирающего все, что относится к Толстому.

В комнатах Толстого все просто. На стенах большой залы, в которой обедают, если погода не позволяет обедать на веранде перед домом, висят портреты предков Толстого. Новым украшением этой залы служат два поясных портрета Толстого работы Репина и Ге и превосходные статуэтки Гюнцбурга⁵, изображающие Толстого в сидячем положении.

В маленькой соседней комнате висит на стене портрет старшей дочери Татьяны, сделанный Репиным. Татьяна Львовна сама обладает немалым художественным талантом. К ценным картинам, находящимся в этих помещениях, относятся еще портрет Льва Толстого работы Крамского (Толстой в среднем возрасте) и известный портрет: «Толстой в своей рабочей комнате». Тут же висит еще портрет графини работы Серова.

Обойдя дом, Левенфельд наткнулся на сына Толстого, Льва, поселившегося теперь в Ясной Поляне вместе с своей молодой женою. По его словам, Лев Львович много путеше-

ствовал за границую, в особенности по Швеции и Франции, и, благодаря этим путешествиям, сделался противником взглядов своего отца, горячим сторонником которых был в молодости. Теперь он придерживается естественно научной точки зрения. Этой переменою во взглядах объясняется, между прочим, его последнее произведение «Прелюдия Шопена», представляющее собою полемику против идей отца, положенных в основание «Крейцеровой сонаты».

Весьма любопытен первый разговор Левенфельда с графиней Толстою. Он нашел ее нисколько не изменившеюся с тех пор, как виделся с нею (восемь лет тому назад).

— О, нет!— отвечала графиня.— Я очень, очень изменилась с тех пор, как вы у нас были. Сколько уже прошло лет? Восемь, не правда ли? Тогда вы еще видели нашего мальчика?⁶ С тех пор, как он умер, я очень изменилась. Я сделалась совсем, совсем другою. Вы теперь уже не встретите с моей стороны помощи в работе, в которой тогда с таким удовольствием я приняла участие.

Этими словами, продолжает Левенфельд, графиня намекнула на то, что во время моего первого пребывания в Ясной Поляне она читала мне из своих обширных дневников, доставив, таким образом, лучший материал для биографии Толстого, лучший, конечно, до тех пор, пока не сделаются доступны письма, писанные и полученные Толстым. Последнее, однако, может, как сказала графиня, случиться не раньше как через 50 лет.

Графиня часто возвращалась во время беседы к умершему своему (три года тому назад) ребенку.

— Это был несомненно самый способный из наших детей,— сказала она.— Он умер всего шести лет от роду, но обнаружил уже особые способности. Говорят, что это часто бывает с детьми, родившимися у родителей в зрелом возрасте.

Левенфельд спросил, как отнесся к смерти сына Лев Николаевич.

— В первый раз, может быть, в жизни,— отвечала графиня,— я увидела его пораженным горем. Он сам говорил об этом. Вы не можете себе представить, как подействовало на нас, когда мы увидели, что шестидесятилетний отец с маленьким гробиком на плечах направился к могиле. Ванюша похоронен в Покровском Глеbove, в расстоянии двенадцати верст от Москвы⁷. Вы знаете это место. Оно было обычной дачной местностью для моих родителей. Там Лев Николаевич просил моей руки. Мы до того были поражены смертью мальчика, что не хотели провести лето в Ясной Поляне.

— Помнится,— сказал Левенфельд,— вы хотели поехать в Германию. Среди находящихся у меня газетных вырезок есть письмо, которое Лев Николаевич послал одному немецкому писателю в Болгарию. Почему вы отказались от своего плана?

— Мы действительно твердо решили поехать в Германию. Я сама была очень рада уехать наконец разок из России. Вам известно, что я никогда не была за границую. Мне особенно хотелось познакомиться с Байретом⁸.

— И тем не менее не поехали?

— Не поехали.

Уселись за стол.

За столом было человек двенадцать. На главном месте сидела графиня, по правую руку ее — граф, по левую — две пожилые дамы, друзья дома, младший сын с четырьмя товарищами и младшая дочь графской семьи, красивая девушка лет четырнадцати со своею учительницею-швейцаркою.

Марии Львовны, второй дочери Толстого, не было дома, но она вернулась во время моего пребывания в Ясной Поляне. Мария Львовна также обладает прекрасным талантом: она — писательница⁹. Она пишет драму и дала нам ее прочесть. В этой драме она пытается сопоставить с одним молодым человеком, сторонником идей Толстого, одну молодую художницу, напичканную всякой житейской суетою. Конфликт возникает из любви молодого добродетельного героя к светской даме, утопающей во всевозможных удовольствиях. Драма еще не окончена, и поэтому окончательный отзыв был бы преждевременным.

— О, писательский талант — величайший дар,— сказала графиня, присутствовавшая при чтении.— И я раньше пробовала. Я говорю не только о сотрудничестве в рассказах для детей, которые, собственно, мы все писали в качестве школы Льва Николаевича; я пробовала писать кое-что другое, и величайшим наслаждением для меня было высказать то, что я чувствовала. Это само по себе было нечто столь прекрасное, что ни с чем не могу его сравнить. Самолюбия — увидеть себя в печати — у меня никогда не было. Что могла бы значить графиня Толстая в качестве писательницы рядом с графом!

— Я,— продолжает Левенфельд,— сидел около Льва Николаевича и должен был рассказывать ему о своей деятельности. Я рассказал ему об основании Шиллеровского театра¹⁰, о моей четырехлетней деятельности, об устраиваемых

нами вечерах поэтов, о развитии дела народных бесед в Германии, которым интересуется множество серьезных людей. В этих стремлениях есть нечто родственное Толстому, хотя они и отличаются от его учения в самом существенном пункте. Как велика эта разница — сделалось мне ясно на следующий день, когда он по прочтении отчета о нашей деятельности высказал мне свой взгляд.

— Все, что вы там делаете, я нахожу превосходным, но вы, по-видимому, стремитесь скорее к удовлетворению эстетических потребностей. Мне кажется, что вы достигнете большого влияния, если будете иметь в виду более нравственные цели, если вы рядом с вашими вечерами, посвященными Шамиссо, Шиллеру, Ленау, будете посвящать также вечера какому-нибудь Эпиктету, какому-нибудь Сакьямуни, какому-нибудь Паскалю. Германия ведь так богата народными поэтами! Я просмотрел всю вашу книжку и не нашел Бертольда Ауэрбаха и Гебеля. Одно имя нашел я такое, которое мне чуждо,— Рейтер¹¹.

Ауэрбах и Гебель — любимые поэты Толстого с ранней юности¹². Из мелких стихотворений Гебеля он и теперь еще знает некоторые наизусть. Сорок лет тому назад он привел в Киссингене в восхищении кружок немецких друзей своим знакомством с немецкими поэтами.

— Вы явились сюда, — сказал, между прочим, граф Толстой Левенфельду, — для того, чтобы снова поработать вместе с моей женою. Она вам может все лучше сказать, чем я. Но если вы хотите знать что-нибудь определенное, то спрашивайте только меня, я охотно буду отвечать. Мы можем это делать сидя, а то и прогуливаясь.

Понятно, что Левенфельд не заставил повторить себе еще раз это предложение, и вот что он сообщает в связи с данными, которые ему удалось узнать от самого Толстого.

Об университетских годах Льва Николаевича было известно очень мало.

— Одно только верно, — сказал Толстой, — я за всю свою жизнь только один раз держал экзамен, при переходе с первого курса на второй. Экзамен этот я хорошо выдержал.

Второй мой вопрос касался поездки Толстого в Италию.

— Невозможно, чтобы вы, побывав в Италии, не видели Рима, — сказал Левенфельд. — Но об этом нет нигде и следа. И в материалах, которые я получил от графини в 1890 году, ничего не было сказано о Риме.

— Я несомненно был в Риме, — отвечал Толстой. — Я очень хорошо знаю этот город и с одним русским художником, имени которого теперь не припомню, предпринимал оттуда

продолжительные экскурсии в Неаполь, Помпею и Геркуланум. Мы сходились в «Café Gresco» и оттуда отправлялись в путь¹³. Благодаря своему многолетнему пребыванию в Риме, он хорошо знал этот город.

Само собою разумеется, что речь зашла о сокровищах искусства, находящихся в Риме.

— Должен сознаться,— сказал Толстой,— что античное искусство не произвело на меня необычайного впечатления, которому, по-видимому, подчинялись все вокруг меня. Я тогда много говорил по этому поводу с Тургеневым, я был убежден в том, что классическое искусство слишком уже высоко ценят. Тургенева я пытался убедить в том, что у большинства людей вовсе нет собственного чувства к поэзии и искусству и что они большею частью говорят с чужого голоса, с голоса авторитета. В доказательство я посоветовал ему предложить большому количеству людей стихотворение Пушкина, которое само по себе очень красиво, но в котором есть довольно плохая строфа¹⁴. Тот, кто не отличит тотчас же разницы между этой строфою и другими, тем самым засвидетельствует, что у него нет тонкого органа к восприятию искусства.

Для меня, вообще,— продолжал Толстой,— человек представлял наибольший интерес. В том, что вы писали обо мне, я прочел вчера замечание, которое мне показалось удачным. Вы говорите, что меня повсюду интересует только человек; насколько это верно, свидетельствует мое пребывание в Риме. Когда я мысленно возвращаюсь к тому времени, в моей памяти пробуждается только одно маленькое событие. Я предпринял со своим товарищем небольшую прогулку в Монте-Пинчио. Внизу, у подошвы горы, стоял восхитительный ребенок с большими черными глазами. Это был настоящий тип итальянского ребенка из народа. Теперь еще слышу его крик: «Datemi un baiocco»*. Все прочее почти исчезло из моей памяти. И происходит это потому, что я занимался народом больше, чем прекрасною природою, которая меня окружала, и произведениями искусства.

Толстой рассказал Левенфельду много случаев из своей жизни.

В Брюсселе граф Толстой жил целый месяц. Семья Дондукова-Корсакова имела там открытый дом. В этот дом имел доступ и Толстой, встретивший в нем многих людей, которые его интересовали. Особенно сильное впечатление произвел на

* Поцелуй меня (ит.).

него Прудон и старый польский историк Лелевель¹⁵. После своей высылки из Вильны,— рассказал Толстой,— Лелевель очутился в очень тяжелом материальном положении. Он занимал очень маленькую комнату, быть может, длиною в 3 метра и шириною в 2 метра, и жаловался на неблагодарность, обнаруженную по отношению к нему.

— Я очень хорошо чувствовал себя в Брюсселе,— прибавил Толстой,— и испытывал большое влечение к работе. Там же я в один прием написал «Поликушку».

Из Брюсселя Толстой поехал в Лондон¹⁶. Рекомендательные письма графа Сюркура, занимавшего высокий пост в Париже¹⁷, доставили ему и там доступ в большие клубы. Он посещал «Pall Mall Club», где часто бывал Теккерей. Но в Лондоне ему не так нравилось, как в Париже и Брюсселе. Он завязал там мало знакомств, не познакомился с Теккереем, несмотря на то что случай представлялся ежедневно, и сократил по возможности свое пребывание в Лондоне, тем более что в это время он страдал сильнейшей зубной болью.

Толстой побывал проездом и во Франкфурте-на-Майне, но не видел там Шопенгауэра.

В Швейцарии его постоянным местопребыванием был Монтрэ. Там вместе с великою княгинею Мариею Николаевною была его кузина, с которою он поддерживал дружественные сношения¹⁸. Как превосходный ходок, он предпринимал пешком из Монтрэ экскурсии во всевозможные направления в сопровождении Плаксина, тогда еще очень молодого человека.

— Теперь,— заметил Толстой,— Плаксин живет в Одессе. Это лирический поэт¹⁹. С братом врача Боткина я сделал лучшую из своих пеших экскурсий в жизни²⁰. Мы перешли через Мон Сени в долину Аосты.

Новые данные, собранные Левенфельдом, свидетельствуют также, что молодые годы графа Толстого вовсе не были столь счастливыми, как это думают. Толстой, как известно, очень рано потерял своих родителей и был отдан на воспитание теткам, о которых нам известно только то, что он сам сообщил о них в своей исповеди. Одна тетка, Ёргольская, далекая родственница, жила всегда в Ясной Поляне. Она, как с серьезной шутливостью выразился Толстой, представляла собою «дом».

— Она всегда была здесь,— сказал Лев Николаевич.— В то время, как мы влетали и вылетали, как в голубятнике, она была неподвижным полюсом. Она поддерживала порядок, знала, где мы все находимся, и таким образом являлась

центральный пункт для семьи. Судьба тетки Юшковой нам известна. Она дожила до восьмидесяти двух лет и тут же в Ясной Поляне умерла. Она была чем-то вроде семейной хроники. Расскажу вам трагическую историю относительно графини Остен-Сакен, которая после смерти наших родителей взяла на себя сначала наше воспитание²¹. Она была сестрою моего отца и вышла замуж за прибалтийского дворянина. Он был ужасно ревнив, до сумасшествия. Однажды мания преследования охватила его до того, что он покинул свой дом вместе с женою и уехал. В дороге он вынул два пистолета и потребовал от жены, чтобы она его убила, ее же убьет он сам. Графиня, конечно, не выстрелила, но он выстрелил (жена его была беременна) и попал ей в грудь. Можете себе представить, как это на нее повлияло. Ее отнесли в ближайшее место. От волнения она сделалась больна и выкинула мертвого ребенка. После этого муж хотел с нею примириться, но едва только оказался вблизи нее, как бросился на нее и стал душить и пробовал вырвать у нее язык. Только с трудом освободили от него жену. Мне было двенадцать лет, когда она умерла. Это была прекрасная женщина. Жизнь ее вместе с этим человеком была сплошной пыткой.

Особенно большой интерес представляет то место впечатлений Левенфельда, в котором говорится о новых литературных работах Толстого.

Между прочим, он узнал, что еще несколько лет тому назад Толстой начал рассказ «Хаджи-Мурат» из кавказской жизни, но рассказу этому суждено остаться неоконченным²². У Толстого мало охоты продолжать его. Зато он очень симпатизирует другому рассказу, о котором уже говорилось в русских газетах, но с ошибочными подробностями. Рассказ этот начинается в суде²³. На скамье подсудимых сидит молодая женщина, обвинение поддерживает молодой прокурор. Безжизненными глазами смотрит он на обвиняемую. Он, по-видимому, ее знает. Но где он ее видел? Когда? Вдруг, как раз в ту минуту, когда он готов уже обвинить ее в тяжком преступлении, в голове его, как молния, пробегает воспоминание. Да, он именно был виновником ее падения. И тут-то прокурор превращается в ее защитника, требует справедливого приговора, и несчастная, опозоренная, измученная женщина делается его женою. Рассказ основан на истинном событии, о котором рассказал Толстому известный юрист А. Ф. Кони. На самом деле девушка под влиянием потрясающих событий умерла. В рассказе этом Толстой предполагает изобразить, как живут эти люди в браке.

— Это-то именно изображение, — прибавил Толстой, — и

есть настоящий предмет рассказа. Приступлю ли я снова к работе, не знаю...

— В настоящее время, — продолжал он, — я пишу некоторые дополнительные главы к моей статье об искусстве (при этих словах он показал Левенфельду рукопись, в которой было сделано много заметок). Мне было бы очень приятно, если переведете эту книгу, чтобы вы перевели также и дополнение.

— Тетрадь эта, — прибавляет Левенфельд, — иллюстрирует, как работает Толстой. Он, собственно, никогда не бывает готов со своею работою, он всегда исправляет, совершенствует, что бы он ни написал. Вся эта последовательная работа касается как хода мыслей, так и формы. В стилистическом отношении все, что пишет Толстой, почти совершенно с первого же раза, только ему этого мало. А что касается хода мыслей, то в этом отношении он необычайно щепетилен и доводит свою идею до конца, хотя бы приходилось к ней прибавлять уже после ее окончания.

Относительно семидесятилетней годовщины Толстого между ним и Левенфельдом разговора не было. Как свидетельствует Левенфельд, Толстой далеко не производит впечатления семидесятилетнего старика. Вид его очень бодрый, фигура — мощная, глаза — оживленные и блестят вечно-ровной доброю, беседа — живая, когда предмет разговора его воодушевляет. Он и теперь, как много лет назад, проходит пешком огромные расстояния, ездит верхом часок и затем возвращается к обеду. Работает Толстой не меньше прежнего, а читает даже больше, так как авторы посылают ему свои произведения со всех концов света.

Не мешает привести из рассказа Левенфельда курьезный случай, происшедший однажды с графом Толстым.

В первый раз «Плоды просвещения» появились на сцене дворянского клуба в Туле²⁴. Толстой сам руководил приготовлениями к спектаклю, дочь его выступила в качестве исполнительницы одной роли, все вообще исполнители были не призванные артисты, а любители, а цель, само собою разумеется, благотворительная. Одному из членов клуба пришлось играть роль слуги, который выбрасывает в одной сцене мужиков из передней своего барина. Но он не мог действовать так грубо, как требовал Толстой.

— Нет, — сказал Лев Николаевич, — так нейдет. Это не выш-

выривание. Вы должны налечь покрепче, как это только что было проделано со мною.

И затем Толстой рассказал следующее.

У дверей клуба, внизу, был поставлен городской с приказом не впускать никого, кроме графа Толстого. Вдруг он видит, к своему величайшему удивлению, что подходит какой-то мужик в полушубке и без всяких разговоров направляется мимо него в двери клуба. Возмущенный такою дерзостью, городской приказывает ему остановиться, но мужик продолжает спокойно подниматься вверх по лестнице. Не долго думая озлобленный городской кидается за ним, хватая его за шиворот и, стащив с лестницы, выбрасывает на улицу в снег. Только тогда, когда мужик разъяснил ему, что он — автор драмы и тот именно Толстой, которого ожидают, городской пропустил его в двери.

— Видите,— закончил Толстой,— он сумел. Это я понимаю — вышвырнуть!

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

НЕ-ФЕЛЬЕТОНИСТ (Н. М. ЕЖОВ)

У ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

К графу Л. Н. Толстому я делал визит не в первый раз. В прошлом году, прочитав в двух московских газетах «беседы» сотрудников с Толстым по поводу дела Дрейфуса и видя, что в одной газете граф Толстой говорит одно, а в другой совершенно противоположное, я решился проверить обоих «интервьюеров», из которых один, а может быть и оба вместе, оказывались истинными «сочинителями конца века», т. е., попросту говоря, хлестаковыми и баронами Мюнхгаузенами первой степени. Так оно, кажется, и было. Граф Толстой в действительности говорил всем и каждому, что дело Дрейфуса лично ему мало знакомо, что вообще это дело чуждо русских людей и русского интеллигентного общества, что у нас у самих очень много неотложных и насущных вопросов и лучше разрешать их, чем заниматься посторонними, а, главное, почти неизвестными для нас делами.

— Я обоим сотрудникам отвечал одно и то же, что повторяю и теперь, — говорил Л. Н. — Откуда я могу знать, виновен или невиновен Дрейфус? По совести говоря, я этого не знаю. Меня спрашивают, хорошо или не хорошо поступил Золя, вступившись за Дрейфуса? Опять-таки я скажу свое: не знаю. Очень может быть, что это хорошо, а может быть, и вовсе не хорошо.

— Но один интервьюер говорил утвердительно, что вы поступок Золя одобрили, а другой — что вы его осудили! — сказал я. — Кто из них ближе к истине?

— Ни тот, ни другой, — сказал, засмеявшись, Л. Н. — Впрочем, помнится, я слегка склонился в ту сторону, что не дело писателя поднимать шум, но сейчас же оговорился и опять подтвердил свою полную некомпетентность в этом весьма сложном вопросе¹.

Я вам могу сказать, что слова мои вообще так искажаются в газетном пересказе, что я бываю изумлен иногда, прочитав будто бы «свою» речь. Приезжал ко мне недавно один господин и попросил позволения напечатать нашу беседу. Я разрешил. Но слава богу, что этот визитер прислал мне свое писание на предварительный просмотр: боже мой, чего только не сочинил автор статьи! Я просто диву дался. Я, впрочем, поставил себе за правило: не протестовать, не опровергать, что бы про меня ни сочинили, чего бы ни напутали. Как-то, еще в шестидесятых годах, я по поводу одной литературной истории послал письмо в редакцию «Русского Вестника», желая разъяснить дело². Мое письмо появилось измененным, и потом на меня же возвели разные разности. С тех пор я дал себе слово не возражать, какой бы вздор ни вложили в приписанные мне речи. Так для меня лучше.

— Но как же публика-то? — заметил я. — Ей не будет лучше, если ее введут в заблуждение.

Граф Толстой засмеялся и сказал:

— Ну, публике, конечно, не будет лучше!

Этот разговор мы вели на улице. Л. Н. шел на Пречистенку, к знакомым, я его провожал.

— Вы внушаете мне доверие, — сказал Л. Н. — Поэтому обращаюсь к вам с просьбой, которую прошу исполнить. Обещаете?

Я только поклонился и спросил, в чем состоит просьба Л. Н.

— Будьте добры, не печатайте нашей беседы. По крайней мере, не делайте этого скоро. Можно так сделать?

Я немедленно обещал исполнить это легкое поручение и слово сдержал: целый год не напечатал ни строчки о разговоре с Л. Н. Толстым по делу Дрейфуса, хотя в то время этот разговор особенно мог бы пригодиться. Я бы и теперь не сказал ничего, но случилось так, что на этот раз сам Л. Н. Толстой просил меня написать по поводу новой газетной статейки, где Толстому приписаны такие фразы, автором которых он быть решительно не желает.

Дело в том, что в одной из мелких московских газет «малой печати» недавно появилось еще интервью с графом Л. Н. Толстым, имевшее темой близящиеся торжества Пушкинского праздника. По словам интервьюера, выходит так, что будто бы граф Л. Н. Толстой против всякого торжества в честь Пушкина и говорил, что всего бы лучше почтить память поэта панихидой 26 мая, и только.

Грешный человек, я усумнился в верности этих слов и решил, что газетный интервьюер, статья которого вообще написана впопыхах и бестолково, не мог всего запомнить и что-нибудь

напутал. И я решил снова пойти к графу Толстому, чтобы разрешить мои недоумения. Я застал графа дома и начал рекомендоваться вновь, но Л. Н. протянул руку, сказав:

— Да я вас отлично помню. Я читал ваш фельетон о духоборах... Прошу вас ко мне, я совершенно свободен.

Поговорив об интересующем обоих нас предмете, я наконец достал газету, где была помещена недавняя «беседа» с Толстым, и спросил, верно ли в ней все сказанное автором? Толстой долго припоминал автора, потом мы вместе прочитали статью.

— Интересно, интересно узнать, что-то я сказал?— говорил Л. Н., придавая своему голосу юмористический оттенок.

В конце концов вот что оказывается: да, Л. Н. Толстой против шума, помпы и трескучих речей, он не любит ничего подобного (оттого Л. Н. и склонялся к тому, что «подымать шум» Эмилю Золя, как писателю, может быть, и не следовало), но предложение заменить торжество праздника только одной панихидой 26 мая—этого Л. Н. Толстой никогда никому не говорил. Вообще он такой «программы» не составлял³.

— Автор это вообразил... что-нибудь спутал, ослышался! Ничего я такого и в уме не держал...— удивленно говорил Толстой.

Я напомнил Л. Н., что просьба его была исполнена, я не напечатал ни строки о нашем прошлогоднем свидании. Как поступить теперь?

— А вот уж теперь, наоборот, я прошу вас исправить газетную ошибку!— живо сказал Толстой.— Пожалуйста, сделайте это. Вообще напишите, что из каждого моего намека и полунамека создаются целые периоды, теперь же прямо указано то, чего я решительно не говорил... Удивительно! Это не мои слова.

Итак, узнав, что граф Л. Н. Толстой против всякой помпезности праздника, запомнив, что граф склонялся к мнению, что никакой шум ничего не прибавит к великому имени Пушкина,— газетный интервьюер все остальное приписал по ошибке. Не худо, однако, всем интервьюерам памятовать одно: точность прежде всего! Пусть это вышло случайно, но ни публике, ни графу Толстому, ни самой редакции того издания, где напечатаны неверные сведения, от этого не легче.



*Дом Толстого в Долго-хамовническом переулке
в Москве в 90-е гг. Фото К. Буллы.*

«РОССИЯ»

СЕРГЕЙ ПЕЧОРИН (С. А. САФОНОВ)

БЕСЕДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Москва, 7 мая

Вот как я виделся с графом Л. Толстым и о чем с ним говорил по поводу голодного бедствия.

Так как я не интервьюер и интервьюерских пасов и вольтов совершенно не знаю, то мне предстояло либо промямлить казенный разговор, из которого никакого толку не выйдет, раз нет «вопросов», либо... либо говорить по душе, без программы.

К графу Толстому я поехал попросту, как к человеку огромного ума, опыта и авторитета, стоящего, кроме того, очень

близко к делу продовольствования бедствующего населения, потому что к нему стекаются всякие пожертвования на голодающих. Граф Толстой, к которому у меня, кстати, было письмо от А. В. Амфитеатрова¹, мог помочь мне, во-первых, ответить на многие ужасные для моего сознания и моей совести «почему», а во-вторых, дать ценные указания для моих дальнейших странствований по голодающим местам. <...>

Живет граф Толстой очень далеко от центра города, в Хамовниках, и ехать туда на худшем во вселенной московском извозчике истинная каторга. Дорога идет с горы на гору, мостовая из огромных булыжников, колеса дребезжат, параличная лошадь, которую неустанно порет идиотический, ободранный извозчик, храпит и стонет, зловонная пыль доводит вас до удушья и судорог, — словом, от Кремля до Хамовников путешествовать не весело.

Зато в Хамовниках — тишина, больше юной зелени, меньше толчеи. Тут легче думать и работать.

Был я у графа Толстого в первый раз и был изумлен простотой и, если хотите, запущенностью обстановки, в которой он живет. Правда, графа я застал «на отлете»: комнаты потеряли жилой вид, мебель в чехлах сдвинута в кучу, везде разгром, так хорошо известный семейным людям, вынужденным кочевать.

Мне пришлось подождать графа изрядно, потому что он работал у себя в кабинете. За это время я имел возможность взглянуть висящие на стене портреты графа в разных видах и стоящие бюсты. Я приготовился встретиться с мощным «великим стариком», к словам которого прислушивается весь мир. <...>

Я сидел в пустой, разрушенной гостиной. Вдруг в смежном зале послышались поспешные, быстрые шаги. Я не успел встать, обернуться, как передо мной был старик — нет, я скажу «старичок» — это теплее и ближе к правде. Была на нем блуза, потом остальное, как у всех «господ».

С первого же взгляда я убедился, что и живописцы, и скульпторы, и даже фотографы безбожно лгут. Они представляют Толстого чересчур массивным, большим; рука об руку с ними работает воображение тех, кто видел не живого, а отраженного Толстого, с его гением и с его мировой славой.

Толстой — вовсе не огромный Толстой, а сгорбленный летами и трудом старец, хороший старик, великий и хороший старик... Я уж не знаю, как это сказать. Но живописцы и скульпторы лгут.

Подвижен он удивительно. Особого огня в его глазах я не усмотрел, но видел в них, увы, боязнь перед интервьюерами, которые с невероятной наглостью оболгали, облыгают и будут облыгать великого писателя до бесконечности. Я успокоил его, что не интервьюер, а хочу по душе поговорить с ним о насущно важном деле и просить его помощи, которая мне существенно необходима.

Мы уселись у столика в гостиной в опустевшем доме. Я заикнулся о голоде. Лев Николаевич заволновался:

— Голод, голод! Заладили все — голод! И как это нехорошо: одни сделали голод предметом аферы, другие — *орудием агитации против земства*, того, другого... Какой же может быть, скажите вы мне, неурожай, когда пуд хлеба стоит шестьдесят — семьдесят копеек?! При такой дешевизне говорить о недороде?! В нынешнем году неурожай ничуть не страшнее неурожая прошлых годов, а если теперь мужик бедствует ужасно, то надо искать здесь другую причину. Надо смотреть, что было в прошлых годах, каково было тогда благосостояние мужика. Ведь нынешние несчастья — *прямое последствие и логический вывод из обстоятельств прошлых лет*. Мужичье хозяйство вконец разорено, мужик затаскан, затравлен, забит, запутан в долгах... У него руки опускаются. Возьмите вы организм, который тощал в продолжение целого ряда лет... Что же вы удивляетесь, если человек наконец свалился с ног? Вот газеты: вместо того чтобы играть на нервах публики, лучше бы они занялись исследованием настоящей причины бедствия. *Она лежит в полном расстройстве крестьянского хозяйства, в подорванности его экономического благосостояния*. Ни общество, ни государство вовсе не должны кормить мужика, который сам кормит и государство, и общество. Дайте мужику стать на ноги, передохнуть, оправиться, взяться за правильную работу. Мужик вовсе не ленив от природы. *Он вам все тогда отдаст*. Что касается до помощи теперь, в настоящие дни, то она, конечно, желательна и даже необходима, но, по существу, совсем не годится, чтобы генералы кормили мужика. Рациональнее всего помогать путем организации столовых. Денег давать в руки мужику не след: либо он их спрячет, либо начнутся нежелательные явления на почве корыстолюбия. *Больше всего нуждается в помощи теперь Казанская губерния*, где почти ничего дельного не организовано. Да там и людей нет, некому дело делать. На Казанскую губернию следует обратить особое внимание. В Самарской губернии и люди есть, и пожертвования туда стекаются. Там главные дыры заткнуты².

— А цинга?

— Что ж цинга? Вот я знаю, что, например, в Самарской губернии в Бузулукском уезде в деревне Мурачина, в Каралыхе мрет башкирское население. Но ведь башкирцы вот уже тридцать лет как буквально вымирают в силу многих условий. Они как бы обречены на гибель... Мрут от цинги сильно, конечно... Крестьяне значительно меньше. Вот, кстати, наши доктора уверяют, что цинга не заразна. Они сами не знают, что говорят, но им придется с этим вопросом считаться. У меня есть знакомая барышня, вполне здоровая, обеспеченная, — чего кажется? Поехала в цинготную местность — и заразила цингой... десны загнили, зубы выпали... Вот вы и говорите про эпидемию и не эпидемию...

Граф настоятельно советовал мне обратить особое внимание на связь бедствий нынешнего года с условиями экономического быта крестьянства в годы прошлый и позапрошлый. Он дал также несколько адресов в Казань, к местным деятелям. <...>

«РУССКИЙ ЛИСТОК»

С. ОРЛИЦКИЙ (С. С. ОКРЕИЦ)

У ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

Быть в Риме и не видеть Папы, жить в Москве и не побывать у графа Льва Николаевича Толстого в равной степени непозволительно для писателя. Так мне по крайней мере казалось. Равнодушие москвичей к тому, что среди них живет один из величайших русских людей, просто поражало меня, особенно на первых порах, когда я переехал в Москву на жительство. Но такова уж московская складка.

Для незнакомых с Москвою я должен сказать, что великий писатель живет в Хамовниках в собственном доме. Хамовники — отдаленная часть города, по соседству с пустынным Девичьем полем. Воздух здесь чище, чем в центральных частях столицы; переулки малолюдны, и, если так можно выразиться, идиллическая тишина царит в похожих на уездный городок Хамовниках.

Популярность графа Толстого в этой части города чрезвычайно велика: и дом, и самого графа все знают.

— Это вы ищете дом нашего графа? — радостно улыбаясь, отвечали на мои расспросы, начиная с половины Остоженки. — Да граф прошел тут сейчас. Гулять, видно, отправился.

Было четыре часа пополудни. Мороз окреп до 20°, и, признаться, я не поверил, чтобы в этакый холод семидесятилетний старик пошел гулять. Но дело именно было так. Когда я позвонил у подъезда двухэтажного дома графа Толстого, лакей объявил, что действительно граф сейчас только отправился погулять... Пришлось отдать визитную карточку и книгу мою («Далекie годы»), с которою я хотел познакомить графа, и просить доложить графине: когда я могу видеть ее мужа?

Мне был назначен прием в восемь часов вечера. По утрам Лев Николаевич никого не принимает, так как это время у

него занято работой. Несмотря на недавнюю тяжелую болезнь, он не перестает трудиться, только стал принимать желающих его видеть гораздо реже.

* * *

Надо ли говорить, что в назначенный час я был снова в пустынных Хамовниках, несмотря на усилившийся мороз и прямо как ножом резавший ветер. Наконец-то я очутился в жилище человека — последнего уже, отсталого из тех великанов, которые, после Пушкина, преимущественно создавали русскую литературу. Мое волнение, несмотря на мои уже преклонные годы, понятно будет всякому, любящему родное искусство. Я думал: пройдет немного минут, и вот я увижу автора «Войны и мира» и десятка других хороших книг, увижу этого философа и беллетриста — волшебника, заставившего нас столько переувствовать!

Ничто не могло быть для меня маловажным из того, что я увидел в жилище Льва Николаевича Толстого. И я внимательно осмотрел тесную, простенькую переднюю и ступени деревянной лестницы, покрытые ковром, ведущие во второй этаж, куда меня пригласили и сказали подождать в маленьком кабинете выхода графа, отдыжавшего после обеда.

Я до этого времени никогда не видел Л. Н. И когда он вошел, я был озадачен и удивлен: на свои последние портреты он походит очень мало. Его изображают почти крестьянином, а у него лицо интеллигентное; нет и бороды до пояса. Предо мною стоял высокий, худой старик, с лицом морщинистым и болезненным, с белою бородою. Но глаза — глаза на этом старом лице были совершенно молодые. Мне сейчас же припомнился из романа «Война и мир» старый князь Болконский с такими же молодыми, зоркими глазами на дряхлом лице. Но в противоположность Болконскому создатель этого типа, граф Толстой, был приветлив и любезен. Он пригласил меня сесть, и мы начали беседу.

— Вы пишете в газетах, — заметил он, улыбаясь добродушно, — а я вас принял не за интервьюера, а за простого посетителя. Вот и нехорошо выйдет...

— Да почему же, граф!

Он усмехнулся еще добродушнее и прибавил:

— Все у меня интервьюеры выпытывают, исповедуют меня. Не остережешься, что-нибудь скажешь — сейчас напечатают. Не то чтобы это мне вредило, но... знаете... интервьюеры частенько мне приписывают то, о чем и речи вовсе не было.

Я поспешил заявить, что ничего лишнего, никакой «отсе-

бятины» не позволю себе включить в нашу беседу, но прошу дозволения напечатать сущность наших разговоров.

* * *

— Здоровье мое, — сказал, все так же добродушно улыбаясь, Толстой, — теперь нехорошо. Ближе к развязке... Но меня это не тревожит: я сам охотно иду навстречу неизбежному...

Как-то сделалось на сердце холодно от этих слов. Но, конечно, было бы и неловко, и банально говорить этому мужественному борцу какие-либо обычные в подобных случаях утешения. Я спросил только: какие новые работы задумал Лев Николаевич?

— Пока ничего сказать не могу об этих новых работах. Ничего еще не определилось, хотя по привычке я работаю...

Мы заговорили о последнем его романе «Воскресение» и об основных идеях этого творения.

— В этом сочинении несколько руководящих идей, — заметил Толстой. — В нем я пытался выразить то, что давно уже занимало меня; хотел изобразить несколько родов любви: возвышенную, плотскую и любовь еще высшего сорта, облагораживающую человека; в ней-то — в этой последней любви — и есть воскресение. Я доволен этим романом, так как высказал в нем то, что занимало меня уже давно.

— Но с помещением «Воскресения» в «Ниве», подцензурном издании, вам, вероятно, встретились большие затруднения?

На этот вопрос Л. Н. ответил утвердительно: затруднения и хлопоты были велики¹, зато и круг читателей оказался огромным.

О своих работах граф говорил вообще неохотно, но, едва речь зашла о Трансваале и англо-трансваальской войне², великий старик оживился: глаза его заблестели.

— Знаете ли, до чего я доходил, — сказал он. — Теперь этого уже нет; я превозмог себя... Утром, взяв в руки газету, я страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англичан. Эта война — величайшее безрассудство наших дней. Как?! Две высокоцивилизованные нации — голландцы и англичане — истребляют друг друга; Англия, страна, гордившаяся титулом свободной страны, пытается раздавить малочисленных буров, не сделавших англичанам ни малейшего вреда. Это что-то непонятное, невероятное!..

— Знаете, на что это безумное нападение похоже? — заметил после небольшой паузы Лев Николаевич. — Это то

же самое, если бы мы с вами, люди уже старые, вдруг поехали к цыганам в «Стрельну», утратив всякий стыд. И эта бойня, заметьте, совершается после гаагской конференции, так шумевшей³.

Трансваальская война — знаменье нашего времени, но печальное знамение, говорящее, что миром управляет бездушное торгашество... — Граф, помолчав, добавил: — Из Трансвааля мне пишет один мой знакомый, находящийся теперь там, а потому обстоятельства тамошние мне хорошо известны⁴.

Из приведенных слов читатель поймет, не только на чьей стороне в споре Трансвааля с Англией находятся симпатии гениального мыслителя нашего, но и то, как до сих пор много сохранилось огня в этом замечательном человеке.

* * *

Я перевел разговор на предметы более близкие: на упадок театра, как по части репертуара, так и исполнителей. Речь графа Толстого сделалась спокойнее, но лилась с прежнею плавностью и обилием метких, блестящих выражений.

— Техника в наше время, — говорил он, — во всех родах искусства доведена до замечательного совершенства. Но это еще не все, что нужно искусству. Я не был в Общедоступно-Художественном театре. Говорят, там постановка совершенна. Талантливых исполнителей, однако, не видно; пьес хороших тоже нет. И так везде! На внешности, на технике все и остановилось. Возьмите Достоевского. По своей технике он ниже всякой критики, но он не только нам, русским, но всей Европе открыл целый новый мир. Техника вовсе не главное дело, как теперь думают. Возьмите современные пьесы... Прокричали Ибсена. Я прочел его последнюю драму «Как мы, мертвые, пробуждаемся».

— Ну и как вы нашли ее? — не утерпел я спросить.

— Да это бог знает что! Какой-то бред! Вообразите себе: у него герой, художник-скульптор, ищет правды, жена его тоже ищет правды, сводит с ума нескольких, в том числе русского, и после этих подвигов возвращается к мужу, и художник с нею идет на какую-то гору, чтобы жить ближе к правде. Разве это жизнь?! Разве это характеры?! Где тут драма, в этом декадентском сумбуре?! Тридцать, сорок лет тому назад на драму, подобную ибсеновской фантазмагии, вероятно, какой-нибудь фельетонист написал бы ядовитую пародию, посмеялся бы — и все бы этим ограничилось. Теперь, напротив, ей придадут значение, переведут, поставят на нескольких сценах... Как же можно после этого говорить о

серьезных задачах нашего театра. Их нет, но они были... Но тогда был и театр, и пьесы, и исполнители, а теперь налицо одна техника.

— Литературу поглотили газеты,— продолжал Лев Николаевич.— Но и газеты и журналы ныне перестали уже быть литературным делом, а сделались азартною игрою. Вопрос уже не в том: как издавать? Чему служить? Что проповедовать? А в том, как выиграть приз, обогатиться... Между азартными игроками в карты или на скачках трудно и немислимо даже искать серьезных стремлений и нравственных целей. Литература, превратившаяся в азартную игру, тоже не может быть богата идеалами и нравственными целями...

По поводу близкого тридцатилетия со дня смерти Герцена Лев Николаевич сердечно и с задушевною теплотой заговорил об этом крупном писателе. Герцен, по мнению Л. Н., первый уразумел у нас и художественную, и общественную правду. Очень жаль, что его идеи изъяты, так сказать, из обращения, в некоторых из них много света и истины, и из них люди нашего времени многому бы могли научиться. Лев Николаевич Толстой лично знал Герцена, и до сего дня считает его крупным деятелем в сфере русской мысли. Софьи Ковалевской, о которой я его спросил, он не знал и совсем отказался говорить об ее деятельности.

Последний вопрос, мною поставленный, касался замечательного открытия Мечникова⁵. Я полагал, что граф, как человек старый и больной, очень заинтересован решением задачи продлить человеческую жизнь. Но этого не оказалось. Он только сказал, что об открытии Мечникова слишком много все говорят, тогда как это дело темное и определенного покуда ничего нет.

— И нужна ли еще человечеству эта удвоенная и утроенная жизнь?— задумчиво сказал Толстой. При этом я вспомнил его слова при начале нашей беседы: что он спокойно и даже охотно идет навстречу неизбежному...

Мечниковское открытие далеко не кажется Л. Н. таким значительным и важным. Как ни старайся продлить жизнь, но неизбежное придет...

В десять часов я распротился с графом Толстым и был при этом представлен графине Софье Андреевне. В противоположность мужу, это еще почти молодая, величественная и очень приятная женщина. У Толстых, в день моего посещения, пребывал петербургский гость Владимир Васильевич Стасов⁶, и поэтому Лев Николаевич извинился, что должен был сократить нашу беседу.

«НОВОСТИ ДНЯ»

Н. НИЛЬСКИЙ (Н. М. НИКОЛЬСКИЙ)

ПРОГУЛКА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

На днях мне выпал на долю счастливый случай сопровождать Л. Н. Толстого во время его прогулки по Москве и выслушать от него несколько замечаний по различным вопросам, интересным уже потому, что они были высказаны одним из самых выдающихся людей нашего времени. Сознаюсь, может быть, и не следовало бы очень утруждать его разговором; но уж слишком было велико искушение для газетного хроникера, чтоб он мог отказаться от беседы с знаменитым русским мыслителем...

Естественно, прежде всего разговор коснулся здоровья Л. Н.

— Поправляюсь теперь, чувствую себя хорошо,— сказал он.— Только вот слабость беспокоит немного.

Мне пришлось сказать Л. Н. о газетных сообщениях о его болезни и о том, что правильных бюллетеней, к огорчению публики, в газетах не появлялось. Только впоследствии сведениями о состоянии здоровья Л. Н. делился с газетами молодой врач, лечивший знаменитого писателя¹. Небезынтересно одно замечание Л. Н. по адресу медицины, характеризующее его отношение к этой науке, известное, впрочем, по его сочинениям и не изменившееся теперь после болезни. Хвала этого врача, он, между прочим, заметил:

— Да, да, это прекрасный человек, очень дельный, хороший врач; он все знает, чему учит медицина... Только сама медицина-то ничего не знает,— с усмешкой добавил он.

— Говорят, вам прежде всего была прописана мясная пища для усиления питания...

— Я не изменил своего вегетарианского стола, да и странно было бы из эгоистических целей менять мои убеждения, крайние убеждения.

Не имея какого-либо определенного плана, я позволил себе касаться в разговоре с писателем вопросов, мало связанных меж собой. Времени было немного, и я торопился; беседа поэтому вышла несколько мозаичной, если можно так выразиться.

— Это неверно, что я работаю теперь над новой вещью из народной жизни,— продолжал он.— Правда, в беседах своих со знакомыми и близкими я не раз высказывал желание написать что-нибудь в этом роде, но еще ничего не начал. Чувств-

вую склонность писать для народа, тем более что это мне всегда труднее дается, а следовательно, работа эта лучше, так как на нее тратится более сил. Роман пишешь легко, с удовольствием. Но сочинение для народа требует упорного труда, долгого размышления, а потому и кажется мне более ценным.

«Воскресение» Л. Н. относит к разряду «дурного» искусства, не «всеобщего».

— Да, да,— еще раз повторил Л. Н.,— «Воскресение» относится к этому роду искусства и написано подобно прежним моим романам; написано по старой привычке, так сказать — по инерции.

В это время дорогу нам пересекла партия молодых деревенских парней, в полушубках, с узелками, бодро шагавших рядами по направлению от Охотного ряда, вверх по Тверской.

— Какой губернии?— крикнул им Л. Н.

— Вологодской!

— Бедняги!— тихо заметил он.

Через минуту, сперва всячески извинившись за смелость, я рискнул предложить великому писателю несколько щекотливый вопрос о чувстве того удовлетворения, которое он должен испытывать теперь благодаря своей всемирной славе.

— Приятное здесь, пожалуй, есть — в том, что сознаешь тщету всего этого... А правда, в газетах иногда попадают похвалы мне крайне несправедливые, преувеличенные даже до неприличия... Это неприятно действует на самолюбие, равно как несправедливые нападки. Я газет ранее не читал: воздерживался, как воздерживаюсь от курения и прочего. Только вот во время болезни опять начал.

— Кроме того,— продолжал он,— при отсутствии удовлетворения, ощущаешь еще какую-то тяжесть, чувствуешь некоторую ответственность за себя... Как бы это сказать?— уподобляешься человеку на корабле, в руках которого находится рупор. Нельзя же в этот рупор говорить глупости...

Известность не может принести удовлетворения, когда есть иные, высшие стремления, чем слава. В этом направлении существует три ступени. Первая ступень — удовлетворение похоти. Но ведь похоть такова, что чем больше удовлетворяешь, тем больше она развивается, и тем меньше представляется возможности удовлетворить ее. Вторая ступень — слава: в стремлении к ней похоть отступает на задний план, удовлетворяется попутно. Наконец, третья ступень — это сознание исполненного долга, то есть то, что я называю служением богу и исполнением его воли. Третья ступень — высшая ступень; тогда уже стремление к удовлетворению

жажды славы отступает на задний план перед исполнением своего долга. В самом деле, не для того же я родился на свет, чтоб меня хвалили. Возвышение до сознания исполнения воли бога — вот истинное удовлетворение.

— Кстати,— заметил через минуту он,— говорят, составляются целые колонии и общества «толстовцев». Однако они имеют мало общего с моими воззрениями, и, таким образом, их ошибочно называют толстовцами. На примере это будет так: представим себе кольцо для ключей (он соединил концы пальцев — указательного и большого, изобразив таким образом кольцо); положим, один ключ через отверстие идет на кольцо и затем обогнул весь круг и снова очутился около отверстия, через которое вдевают ключи. Всякий новый ключ, который захотят вдеть, но лишь введут в отверстие, будет, видимо, близок к первому, находясь рядом с ним, между тем расстояние, отделяющее их, будет громадно: первый ключ обошел весь круг, тогда как второй — едва только надет. Я хочу этим только сказать, что близость толстовцев ко мне в этом случае только кажущаяся.

Интересны в последующем разговоре были замечания относительно искусства, музыки особенно, о которой он так много писал.

— Удивительно!— говорил Л. Н.— Приведи мужика в Третьяковскую галерею — он много поймет из того, что там увидит; даже прочитав роман, он более или менее поймет, разберется в нем; так было с одним из деревенских простых людей, прочитавшим мое «Воскресение». Но музыка, как это ни странно, совершенно непонятна народу. Даже Шопен, который проще других, чужд ему. «Шум,— говорит,— какой-то, и больше ничего». Я уже не беру Вагнера или новейших композиторов.

О романах, в которых восхваляется любовь и страдания от неудовлетворенных желаний, он сказал:

— Как только такие романы могут допускаться к исполнению в семейных домах, да еще молодыми девушками? Ведь если бы кто сказал словами в разговоре то, о чем поется в романах, ведь такого человека вывели бы вон...

В ответ на мои слова о том, что сочинение «Что такое искусство?» находит много почитателей даже среди жрецов искусства, Л. Н. сказал:

— Очень приятно, очень приятно. Вот мы только что говорили со Стороженко² о том удивительном развитии техники в искусстве, которое замечается теперь. За последнее время она сделала такие невероятные, изумительные успехи, что дошла действительно до совершенства. Зато, наоборот, содер-

жание в теперешних произведениях искусства, во всех его родах, упало до минимума, часто — положительно доходит до бессмыслицы. Все эти декадентские сочинения, картины и прочее, наилучшим образом свидетельствуют об упадке... Возьмите этот «Потонувший колокол»³, наконец — новое произведение Ибсена «Когда мы, мертвые, воскресаем!»⁴. Я недавно прочел его; это нечто удивительное. Бог знает до чего дошел здесь Ибсен! Мне хотелось бы, — вдруг добавил он, — все это видеть на сцене — и «Потонувший колокол», и пьесу Ибсена...

Позднее я узнал, что Л. Н. уже выразил желание администрации Художественно-общедоступного театра посмотреть на его сцене «Чайку», «Дядю Ваню» и «Одиноких»⁵.

— Хвалят «Ганнеле», — сказал я.

— Я не видел этой пьесы, я только читал ее; дочь же моя была на «Ганнеле» и рассказывала... Мне не понравилось. У Гауптмана есть одно замечательное произведение, — с одушевлением заговорил Л. Н. — это «Ткачи». Достоинств у этой пьесы много; во-первых, полное отсутствие любовных сцен, во-вторых, героем является не отдельное какое-либо лицо, а целый народ. Пьеса эта замечательная, одно из самых выдающихся драматических произведений.

— Да, символизм, — вернулся Л. Н. снова к прежнему разговору, — охватывает литературу все более и более; захватил он и Ибсена. Трудно противостоять этому течению... Даже я иногда чувствую какое-то невольное желание написать что-нибудь символическое... Я, конечно, устою, я окреп в своих убеждениях, сложившихся под влиянием долгих размышлений... Молодое же писательское поколение легко поддается соблазну. Удивительно, что случилось с Ибсеном.

Затем Л. Н. поинтересовался моим занятием, т. е. занятием газетного хроникера. Подумав, он сказал:

— А ведь это дело хорошее и интересное. Благодаря ему, что случилось в одной части города, становится известным в других частях; что случилось в городе — становится известным в России, в Европе... Дело полезное — сообщать; оно способствует общению людей между собою...

Мы находились на Пречистенке. Скоро подошла конка, на которую намеревался сесть Л. Н.

— Вот поднимаюсь в гору — там и сяду!

Казалось, он жалел лошадей, не желая садиться ранее, чем они поднимутся в гору.

Когда конка была близка, мы расстались.

Я смотрел с удивлением и радостью, как Л. Н. проворно, «по-молодому», на полном ходу вскочил на подножку вагона, несмотря на то что в руках его была корзиночка с только что

купленными куриными яйцами, а в кармане находилась бутылка с виноградным соком. На площадке вагона была масса народу, так что Л. Н. долго пришлось стоять на подножке, пока пассажиры не потеснились и не дали ему места. Узнали ли они нового пассажира, одетого в пальто с меховым воротником, в валеные калоши, в серую войлочную шапку, с лицом, украшающим теперь многочисленные витрины?

Во время прогулки Л. Н. я все время старался наблюдать, какое впечатление он производит на встречаемых. За редким исключением, публика не узнавала писателя, или по рассеянности, или по незнанию. Только около университета какой-то господин забежал вперед и особенно значительно всматривался в лицо писателя, очевидно, обрадовавшись такой встрече. Напротив, когда мы проходили по тротуару вдоль стены манежа, шедшая нам навстречу публика с окончившегося дневного гулянья положительно не узнавала Толстого.

Что касается самого Л. Н., то он, проходя по улицам, насколько это я мог заметить, зорким взглядом следил за всем, что делалось вокруг, и, кажется, он не пропустил ни одного лица, не оглядев его. Между разговором он вдруг, как бы про себя, делал замечания по адресу прохожих, извозчика и пр. Видно, что уличная жизнь не ускользает во всех мелочах от взгляда писателя. Во время прогулки Л. Н. не пропустил ни одного нищего без того, чтобы не подать ему. Когда мы проходили мимо Охотного ряда, Л. Н. зашел в лавку купить яиц.

— Единственно, что разрешаю себе теперь после болезни.

В заключение добавлю, что ходит Лев Николаевич бодрой, легкой походкой, как молодой, ходит быстро и, очевидно, почти не устает.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

НИКОЛАЙ ЭНГЕЛЬГАРДТ

У ГР. ЛЬВА НИК. ТОЛСТОГО

Желая видеть великого писателя земли русской, я обратился к Н. И. Стороженку, который принял меня в Румянцевском музее¹, за столиком, в светлом пространстве между тремя стенами полок, образующими как бы неболь-

шой кабинет чтимого ученого в длинной библиотечной комнате.

Книжные сокровища кругом, дальше зал с офортами и портретами и полный приветливости и благодушия Николай Ильич — все слилось в теплое и гармоничное впечатление. Тишина, труд, мысль, созерцание... после петербургского мелькания и неврастенического маразма.

Я просил Ник. И. дать мне записку или карточку с несколькими строками.

— Этого не нужно. Граф совершенно доступен. По крайней мере я уже так многих направлял к нему. Ступайте просто. Но чтобы дать Льву Николаевичу отдохнуть после обеда, приезжайте в половине восьмого.

Я так и сделал.

Узкий переулок с постройками провинциального типа, несколькими заводскими зданиями, где днем жужжание и гул, также и старый барский дом в глубине двора — все это мне было хорошо известно.

Признаюсь в смешном поступке. Года три назад, будучи в Москве, я тоже думал посетить графа, долго ходил по Хамовническому переулку, да так и не решился его тревожить. Представлялось, сколько «интервьюеров» всех стран и всевозможных праздношатающихся одолевают визитами великого человека. А потом мне лично всегда страшно увидеть во всех условиях материальной обыденности того, кто до сих пор являлся только, как дух, в своих свободных творениях, с кем в общении был только «в духе и истине».

Но вот я и в зале заветного домика, который очевидно чрезвычайно поместителен. Это большая комната — типичного старо-барского, московского колорита. По лестнице раздались шаги, и вот он сам, Лев Николаевич, в халате, невысокий ростом, седой и... волшебный. Я иным словом не могу выразить первого впечатления.

Ни один из портретов графа Льва Николаевича не похож на него.

Портреты — я говорю, конечно, о старческих изображениях Льва Николаевича — не передают главного — светлой и мощной жизни, которая льется от всей личности его. Не передают портреты и взгляда, как бы пронизающего вас до сокровеннейших глубин, — главного дара из многих, которыми наделен этот удивительный человек. Если же и передают, то все же взгляд на портретах только скорбно суров и теряет прямо волшебное очарование, которое манит исповедаться пред ним, раскрыть пред ним сердце и застарелые

боли его. Свет в лице, приветливость в манерах и речи, чуждая тени учительства, заставили меня, едва я увидел графа, про себя воскликнуть: «Боже, да какой же он славный, какой милый, какой светлый!»

Здоровье графа восстановилось. Утром того дня, когда я был у него, ему, правда, нездоровилось. Он чувствует себя бодрее к вечеру.

— Вы который? — спросил Лев Николаевич, — тот Энгельгардт, что ко мне писал?

— Нет, брат его².

Этим вопросом Лев Николаевич сразу воскресил прошлое. Вспомнилось Батищево, имение моего покойного отца³, куда в свое время приливала, как кровь к сердцу, идейная молодежь. И одно время между Батищевым и Ясною Поляною создалось общение, состоявшее, впрочем, в полемике. В самом деле, при внешнем сходстве батищевские идеалы не совпадали с яснополянскими. В Батищево являлись последователи Льва Николаевича, шли бесконечные диспуты. Два течения перемешались... Да, все это было, и так недавно. Было и уже былшем поросло. Старого Батищева нет.

Я должен признаться, что совершенно поглощенный впечатлением, которое произвел на меня Лев Николаевич, и роем воспоминаний, пробужденных его первыми словами, плохо исполнил собственно интервьюерскую часть, хотя, впрочем, и не намеревался ее хорошо исполнить. Я не задавал вопросов по книжке. Я только его слушал. Но и передача услышанного для меня отчасти стеснительна и во всей полноте невозможна. Мне вспоминается предостерегающий рассказ графа о заезде английском корреспонденте:

— Я сказал ему, между прочим, что однажды утром, читая газеты, поймал себя на таком сильном сочувствии к победам буров, что оно уже прямо переходило в желание, чтобы англичан еще и еще хорошенько поколотили. А корреспондент передал буквально: «Лев Толстой сочувствует победам буров и радуется поражениям англичан»⁴. И в таком виде сообщение обошло все английские газеты. Прямо каждое слово надо взвешивать, словно на каком-нибудь выходе.

Лев Николаевич говорил о народной жизни, о трудности уразумения ее смысла, о направлении, в котором она течет... Все это было очень просто, ясно и глубоко.

За последние дни Лев Николаевич был на представлении «Дяди Вани» Ант. П. Чехова⁵. Он чрезвычайно высоко ставит технику этой пьесы, но находит, что и на этом произведении, как на большинстве современных, сказилось преобладание

техники над внутренним смыслом. Иногда техника совершенно убивает внутреннее содержание, плоть подавляет дух, форма — идею. В «Дяде Ване» Лев Николаевич находит некоторый существенный недочет в нравственном смысле пьесы. Затем Лев Николаевич посетил чтения для народа. На одном интеллигентная лекторша опоздала, и граф, прождав напрасно и довольно долго, ушел...

Пока мы говорили, в комнату вошел сын Льва Николаевича и несколько молодых людей. Все обступили его и слушали. И эта сцена, и потом, когда за длинным столом сидел Лев Николаевич, окруженный молодежью, опять живо напомнили мне Батищево...

Пили чай, Лев Николаевич с медом. Он говорил о книге, вышедшей в Англии и изображающей весь ужас фабричного быта этой страны⁶. Работа не только не облегчается с успехами техники, а, наоборот, становится еще интенсивнее, быстрее, требует колоссального напряжения нервной силы. В фабричных центрах вы не найдете клочка травы, ни одного деревца — все съедено дымом и копотью. Напряженная работа, чисто механическая, истощает и извращает вместе с тем нервную систему рабочего. Чтобы поддерживать себя, он и в сфере физической и в сфере духовной должен прибегать к чему-либо острому, едкому, пикантному. Нигде столько не поглощается пикулей, как в фабричных городах. И развлечения рабочих кафешантанного характера... Лев Николаевич скорбел о таком извращении жизни, которая дана человеку на благо, должна его возвышать, а не унижать.

Удалившись ненадолго, Лев Николаевич явился в своей классической блузе. Легкой, быстрой походкой, немного сгорбившись, прохаживался он по комнате, и столько юности чувалось во всех его движениях, что о недавней тяжелой болезни, о преклонных годах графа и не вспоминалось...

В личности Льва Николаевича, на мой взгляд, так много непередаваемого, что даже его искусство не в силах это, и главное быть может, выразить. Личность Толстого — комментарий к его творениям. И во мне явилось сознание после вечера, проведенного в его доме, что не заменимо ничем личное общение с великим мыслителем и слово, не умерщвленное, не превратившееся в сухие книжные знаки, а переданное непосредственно, из души в душу, из ума в ум...

«НЕДЕЛЯ»

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

〈*«Смоленский вестник» о Толстом*〉

«Смоленский вестник» передает впечатления различных лиц, которым приходилось встречаться с Л. Н. Толстым. Пришли к нему однажды два молодых человека, которым хотелось поучиться у великого учителя жизни. У одного из посетителей Л. Н. спросил: не пьет ли он вина? На откровенное признание Л. Н. сказал: «Мне всегда кажется, когда я вижу пьющего человека, что он играет острым оружием, которым может всякую минуту обрезаться... Пьяный человек делает много того, чего бы он никогда не сделал трезвый». Л. Н. много говорил с молодыми людьми о том, что легче начать хорошую жизнь в юности. «Вот вы, сказал он посетителям, только что вступаете в жизнь, а я уже ухожу из нее, и верьте мне, что начать хорошую жизнь легче человеку молодому. Позднее мы уже связаны такими крепкими узами с близкими нам людьми, что порвать их нельзя, не сделав этим людям больно». При прощании Л. Н. сказал, что у него бывают радостные минуты: «Я за последнее время все чаще и чаще встречаю людей молодых, простых, неученых, собственными размышлениями дошедших до познания истины и понявших, как надо жить. Это все равно как островки оттаявшей земли, покрытые зеленой травой, после зимы среди все еще не стаявшего снега». На простых людей Толстой производит огромное впечатление. Один крестьянин, побывавший несколько раз у Л. Н., с восторгом говорил: «Такие люди, как наш Лев Николаевич, рождаются по одному в тысячу лет!» Приходилось встречать крестьян-чернорабочих, знавших Л. Н. Толстого понаслышке. Чернорабочие, желая похвалиться своей работой, говорили: «Вот на что граф Толстой, да и тот сам воду носит, дрова рубит... А нам и бог велел...» Рассказывали об одном молодом крестьянском парне из Тульской губернии, случайно попавшем в Ясную Поляну. Парень-фабричный вел разгульную жизнь и отбился от дома. Толстой разговорился с ним, и слова Л. Н. показались настолько противоречащими всему, что он знал до сих пор, что он даже обиделся на Толстого, ушел не простившись и не взял книгу, которую предлагал ему Лев Николаевич. Но дома он долго думал над тем, что говорил ему Л. Н., и замечательно: сразу переменял жизнь, сделался хорошим, честным работником. Перемена с ним поразила всех его знакомых. Теперь этот человек как святыню

хранит открытое письмо к нему Л. Н., в котором Толстой пишет ему несколько ободряющих слов...

Часто посещают Л. Н. Толстого раскаявшиеся. Они любят побеседовать с Толстым, хотя иногда не сходятся с его убеждениями. Терпеливо и кротко выслушивает Л. Н. этих людей. Автор приводит со слов очевидца одну беседу Л. Н. с бывшими раскольниками, приехавшими издалека. Крестьяне много говорили и иногда задавали Л. Н. довольно странные вопросы. Между прочим, один из них спросил: «Можно ли сравнить ревность и зло?» — «Как сравнить ревность и зло? — переспросил Л. Н. — Ревность есть тоже зло... Про какую ревность вы говорите — про ревность к женщине?» — «Да». И крестьяне рассказали Толстому, что когда они, познакомившись с мировоззрением Л. Н., оставили раскол, их стали бросать жены и даже, как выразился один из собеседников, жены их «стали обращать любовь свою к посторонним...». Один из посетителей простодушно признался, что когда жена его не нашла у него креста на груди, то сказала, что перестанет с ним жить... «Как же нам теперь быть?» — спрашивали крестьяне... «Я часто думал, — сказал им Л. Н., — как должен поступить человек в том случае, если его оставляет его жена. Мне кажется, что самое лучшее — сказать ей: «Меня огорчают твои поступки, но свой долг относительно тебя я исполню...» И нужно относиться к ней по-прежнему хорошо. Это самое лучшее средство. Жена может не вернуться к мужу, но может и вернуться... Да, это лучшее средство», — несколько раз повторил Л. Н. На крестьян слова Толстого произвели сильное впечатление.

«НЕДЕЛЯ»

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ

〈Вл. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ〉

Вл. И. Немирович-Данченко передал одному московскому журналисту следующие подробности о своем свидании с гр. Л. Н. Толстым в Ясной Поляне.

«Я нашел Л. Н. чрезвычайно бодрым, полным сил и удивительной для его возраста свежести. Сама графиня мне сказала,



*Толстой и Горький в Ясной Поляне
в 1900 г. Фото С. А. Толстой.*

что Лев Николаевич давно не чувствовал себя за последние годы так хорошо, как нынешнее лето. Все слухи о каких-то изменениях в образе жизни графа, под влиянием болезни, совершенно неосновательны. Он так же много работает и много гуляет, катается верхом... Между прочим, мы сыграли с Л. Н. две партии в шахматы, и он дважды дал мне «мат». Пьесу граф действительно пишет, но еще не окончил¹. Пишет он ее в часы досуга, в виде отдыха, для развлечения. Он вообще смотрит на свои произведения, в которых не проводит коренных философских взглядов, как на развлечение. «Плоды просвещения» называет шуткой. Я сказал Л. Н., что если бы часы его досуга и отдыха давали русскому обществу, хотя бы раз в несколько лет, такие гениальные «шутки», как «Плоды просвещения», то русская драматургия была бы достаточно прославлена. Л. Н. поспешил замять мое замечание. Пьесу Л. Н. обещал кончить в нынешнем сезоне и дать Художествен-



*Толстой, С. А. Толстая, В. В. Стасов
и И. Гинцбург в 1900 г.
Фото С. А. Толстой.*

ному театру. Образ жизни Л. Н. такой же, как был и раньше: до двух часов он пишет, в два — обедает, затем несколько отдыхает, гуляет, беседует с гостями, в девять ужинает и ложится довольно поздно. В Ясной Поляне почти каждый день бывают гости. За несколько дней до меня гостил М. Горький², и я даже привез сделанный графией фотографический снимок, на котором Горький снят с графом. Я вынес такое впечатление, что Лев Николаевич никогда (в последние, конечно, годы) не был так полон сил и энергии, каким я видел его в этот день в Ясной Поляне».

«ОДЕССКИЙ ЛИСТОК»

Г. М (ОДЕЛ)Ь

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

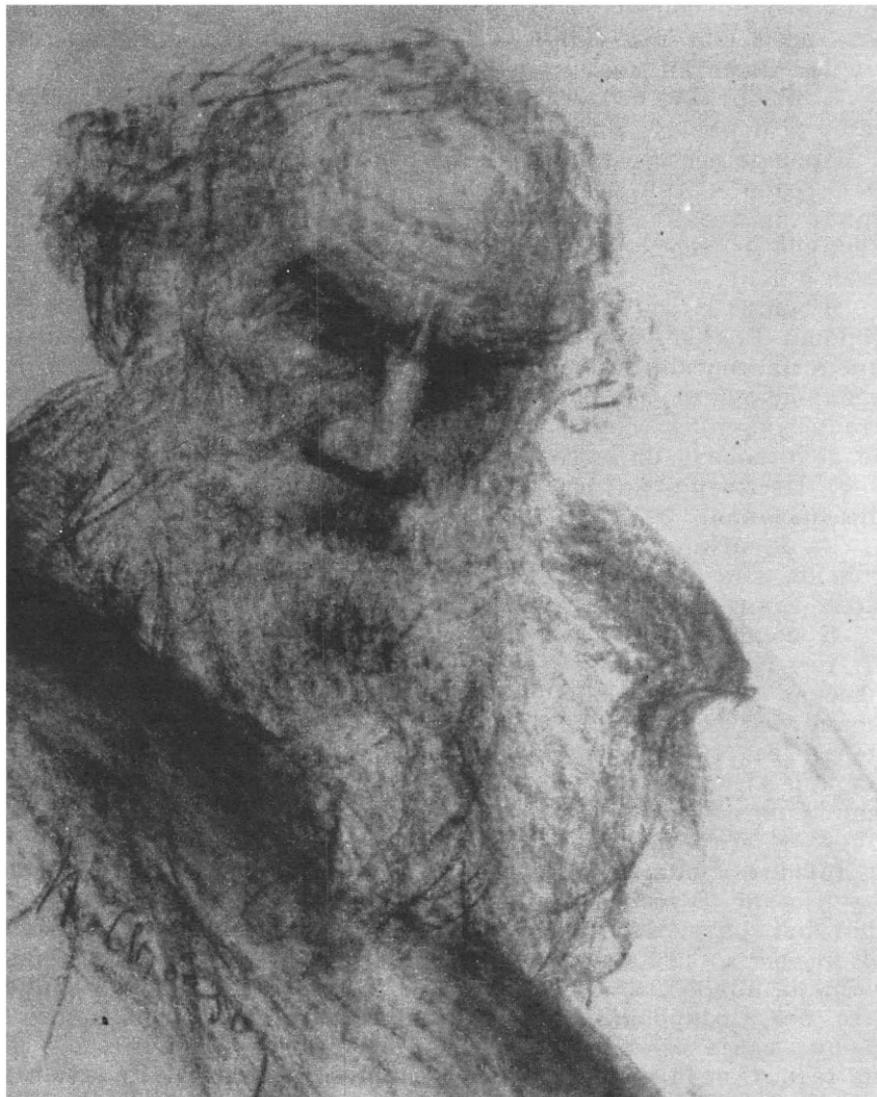
Во вчерашнем вечернем издании «Одесского листка» у нас сообщалось уже о приезде в Одессу известного скульптора Н. Л. Аронсона, прошедшего у знаменитого писателя в Ясной Поляне две недели. <...>

— Меня давно занимала мысль,— говорил нам вчера г. Аронсон,— вылепить бюст знаменитого русского писателя Л. Н. Толстого, и я решил отправиться в Ясную Поляну, несмотря на то что у меня не было к Льву Николаевичу никакой рекомендации. В Ясную Поляну я прибыл в первых числах июня. Л. Н. Толстой, графиня Софья Андреевна и все члены семьи оказали мне самый радушный прием. Мысль об изготовлении бюста Л. Н-ча в натуральную величину была встречена членами семьи очень сочувственно. Но трудно было сказать, как отнесется к этой мысли сам Л. Н-ч. Когда ему было об этом передано, он заметил, что ничего против лепки бюста не имеет, но позировать для этой цели не соглашается. Будучи представлен знаменитому писателю, я выразил мнение, что позирование необходимо. Без этого трудно достигнуть цельности впечатления, и работа вообще представляется чрезвычайно трудной.

— Все, что я могу сделать для вас,— сказал мне по этому поводу Л. Н.,— это предоставить вам возможность работать в моем кабинете в часы моих занятий. Когда я буду работать, тогда работайте и вы.

Он попросил меня показать ему фотографические снимки произведений моей скульптуры. Многие из них он видел раньше: мои работы ему понравились.

Я заранее знал, что из нынешней моей работы ничего не выйдет, так как при таких условиях могло бы получиться



Толстой в 1901 г. Рис. Н. Аронсона.

только одно общее впечатление. Я не имел возможности видеть всей фигуры «кругом». Это служило большим препятствием. Заметив мое смущение, Л. Н-ч сказал:

— Работайте себе таким образом. Я не буду вам мешать и не буду обращать на вас внимание.

Прежде всего я принялся лепить бюст супруги Л. Н-ча. Он был готов в три сеанса. Бюст всем очень понравился. Его признали весьма удачным. Л. Н. часто приходил в мою временную мастерскую и наблюдал за работой. Иногда по два раза в день.

Я часто слышал возгласы знаменитого писателя: «Очень хорошо. Великолепно!» Как-то раз я заметил, что тень мешает мне в мастерской. Оборачиваюсь, вижу у окна фигуру Л. Н-ча, наблюдающего за работой. Когда бюст графини оказался столь удачным, семья Л. Н-ча стала советоваться, как бы воздействовать на него, чтобы он дал согласие на позирование. Несмотря на все упрощения графини, он все-таки отказывался.

— Я позировать не буду,— повторял Л. Н-ч,— а согласен только, как сказал. Приходите ко мне в кабинет во время моих занятий и работайте.

Я волей-неволей согласился. Так я и начал свою работу. Л. Н-ч сидел за письменным столом и писал. Он оканчивал рассказ из кавказской жизни¹. Я сделал набросок. Л. Н-ч посмотрел и говорит: «Да, хорошо. Меня еще так никто не делал. Вы действительно дали мне движение. Шопенгауэр говорит: «Когда человек мыслит, тогда у него бывает такое движение». Бюсты Л. Н-ча лепили князь Трубецкой², Гинцбург³, а портреты писали Репин и Ге. У них он выходил иначе— с другим «движением». На следующий день предстоял еще один сеанс. В тот день ничего не вышло. Я не мог видеть всей фигуры сразу. Чтобы набраться впечатлений, я много гулял с Л. Н-чем в саду и других местах. Я собирал в памяти мельчайшие подробности всей фигуры и движений Л. Н-ча. Видя, что без позирования дело подвигается очень медленно, я решил взять бюст в мастерскую, чтобы там закончить его на память. С этой целью прогулки наши участились. Гуляли мы по 2—2 1/2 часа. Я часто уставал. В этих случаях Л. Н-ч, обнаруживая необыкновенную для его лет бодрость, улыбался, глядя на меня, и говорил: «Эх вы, молодежь. Я готов еще столько же с вами гулять».

Благодаря этим прогулкам у меня накопилось много ценных впечатлений. Я сделал бюст на память таким, каким задумал. Я собирался уже отлить фигуру, но графиня предложила еще подождать. «Может быть, он еще согласится

позировать», — заметила она. Старшая дочь, Татьяна Львовна, говорила мне: «Vous avez gagné les coeurs des mes parants»*. Я действительно чувствовал себя в семье Л. Н-ча, как у себя дома. Раз, вечером, Л. Н. приходит в мою мастерскую с зятем Сухотиным (мужем Татьяны Львовны) и принимается рассматривать свой бюст и бюст супруги. Работа понравилась. Легко себе представить мою радость, когда Л. Н-ч вдруг говорит:

— Ну, буду перед вами позировать минут пятнадцать.

Я быстро принялся за работу. Это был первый сеанс, в течение которого я успел много поправить и переделать. Когда Л. Н. вышел из мастерской, я был весь мокрый от усталости. Я работал с необычайным напряжением. Когда он затем увидел «переделку», то сам сказал: «Однако какая перемена в работе». Мне не хотелось делать бюст Л. Н. по обыкновенным его портретам, как мы его привыкли видеть, например, в образе крестьянина. Я хотел представить его, как он мыслит, Толстого — автора «Воскресения», а не автора романа «Анна Каренина», хотя это произведение является также шедевром. В этом произведении Толстой представляется мне более светским художником-психологом; в «Воскресении» же — проповедником. Выразить его мыслящим — и было моей главной задачей. По бюсту его лицо представляется уже необыкновенным. Во время моей работы я искал его лоб, глаза и рот. Я старался изобразить голову в состоянии умственной работы, а выражение глаз имеющим непосредственную связь с умом. (...) Мне приходилось думать над каждой мелочью. Я искал колорита в нем. Л. Н., по-видимому, сам заинтересовался работой и пришел на следующий день после первого сеанса для второго сеанса. На этот раз он позировал десять минут. День спустя он, по собственному желанию, пришел в третий раз. Я не смел просить его являться на сеансы, не желая злоупотребить его добрым отношением ко мне. Во время моей работы я изучил фигуру Л. Н. Она замечательно оригинальна. У меня явилось желание сделать «фигурку» Л. Н., и я передал об этом супруге его. Графиня советовала мне приняться за работу, но я спешил в Петербург. Из Одессы я отправлюсь по делам в Петербург, а оттуда опять в Ясную Поляну и примусь за «фигурку» Л. Н-ча. (...)

О Л. Н. Толстом, как человеке, и о том удивительном образе жизни, который ведет краса и гордость русской литературы, г. Аронсон отзывается с чувством благоговения. Несмотря на свой преклонный возраст, Л. Н-ч интересуется положительно

* Вы покорили сердца родителей (фр.).

всем, что происходит на всем земном шаре. Ничто ему не чуждо, ничто более или менее важное не оставляется им без внимания. Л. Н. Толстой встает в 9 час. утра и идет в свой кабинет, где принимается за работу. Работает он без устали до 3 часов. В этот час завтракает. Завтрак самый легкий, состоящий исключительно из зелени, кофе и т. п. После завтрака он прочитывает письма и газеты. Л. Н. получает массу писем со всех концов мира. Он лично отвечает на многие письма.

— При мне,— говорил г. Аронсон,— получены были письма от группы студентов, просивших у Л. Н-ча его автограф. Он удовлетворил их просьбу. Говорят, что будто бы Л. Н-ч позволяет себе дома некоторую роскошь. Так, например, письма ему будто бы подаются на серебряном подносе. Это безусловная ложь: образ жизни Л. Н-ча и всей семьи удивительно простой. Во всем доме вы не найдете даже мягкого стула. Вся мебель деревянная. Сам Л. Н-ч относится ко всему окружающему с необыкновенной предупредительностью и незлобивостью. Несколько тверже характер у графини. И это является необходимостью. В противном случае, смею вас уверить, весь дом Л. Н. Толстого разобрали бы, кажется, в несколько дней. Вот вам пример. При Ясной Поляне есть большой лес, принадлежащий Л. Н. Толстому. Крестьяне свободно рубят лес, отлично зная, что Л. Н-ч никогда с них взывать не будет. Но зато крестьяне, надо отдать им справедливость, благоговеют перед Л. Н-чем и называют его «дедом». Каждое спорное дело разрешается только Л. Н. Чуть что: «Пойдем ко Льву Николаевичу, он рассудит». Недавно некоторые из окрестных крестьян получили наследство. «Делить наследство будет Лев Николаевич»,— решили крестьяне. Он и разделил. Остались довольны. Недавно пожар истребил многочисленное имущество деревенских жителей. Погорельцы отправились к графу Толстому. Л. Н. принял самое близкое участие в бедственном положении пострадавших и оказал всем сильную помощь. Крестьяне не знали, как и благодарить. Вся семья Л. Н. пользуется большой любовью крестьян.

— Я сам,— рассказывает Аронсон,— был свидетелем такой сцены. К веранде, на которой вся семья и я пили чай, подошел нищий, больной, с ужасными ранами на ногах. На Л. Н-ча вид больного произвел удручающее впечатление. Супруга младшего сына Л. Н-ча⁴ лично промыла раны больному и сделала ему перевязку. Нищего снабдили всем необходимым и отправили в больницу.

В доме графа Толстого всегда большое общество. Наезжают друзья, знакомые. В 6 ч. обед — вегетарианский. За столом никогда нет вина, водки и вообще крепких напитков.

Пьют, в том числе и гости, исключительно квас, изготавливаемый дома и особенно вкусный. <...> После прогулки Л. Н., в 9 час. вечера, принимает ванну, пьет чай и играет в шахматы.

Во время пребывания г. Аронсона в Ясной Поляне Л. Н. не занимался физическим трудом. У него в то время немного болела нога. Тем не менее он поражает своей бодростью и ловкостью. Как-то он вошел в мастерскую скульптора и хотел снять с высокой полки книгу. Неподалеку находились козлы (параллели). Л. Н. быстро взобрался к полке. Когда он хотел соскочить, г. Аронсон подал ему руку, чтобы поддержать его. Л. Н. отказался и заметил:

— Если бы нога теперь не болела, то я перескочил бы через эти козлы.

— Вы, конечно, помните,— сказал снова г. Аронсон,— содержание рассказа Л. Н. Толстого «Охота на медведя»?⁵ Я встретил крестьянина, которому теперь за семьдесят лет и который мне рассказывал, что этот случай произошел с ним и с Л. Н.-чем. Этот крестьянин и другие передавали мне, что Л. Н. был всегда крепкого здоровья. Он пользовался известностью силача. Еще два года тому назад Л. Н. отправлялся пешком из Ясной Поляны в Тулу и обратно (тридцать верст). Теперь Л. Н. такие расстояния делает верхом, провожая своих детей к поезду и т. п. На лошади он держится превосходно. В последнее время только Л. Н. держит голову несколько наклоненной вниз. Об его силе и в то же время о добре, которое он творит, крестьяне рассказывают много фактов.

Г. Аронсону передавали, между прочим, такой факт. Проезжая по степи с ямщиком, Л. Н. встретил мужика с телегой, наполненной дровами. Телега свалилась на сторону, и бедный мужик не в состоянии был ее поднять. «Надо подсобить мужику»,— сказал Л. Н. и один поставил телегу на колеса. Мужик подивился на барина и его силу.

Крестьяне приходили в дом Л. Н. посмотреть сделанный г. Аронсом бюст. Он находился в кабинете, где на полках были размещены всевозможные книги.

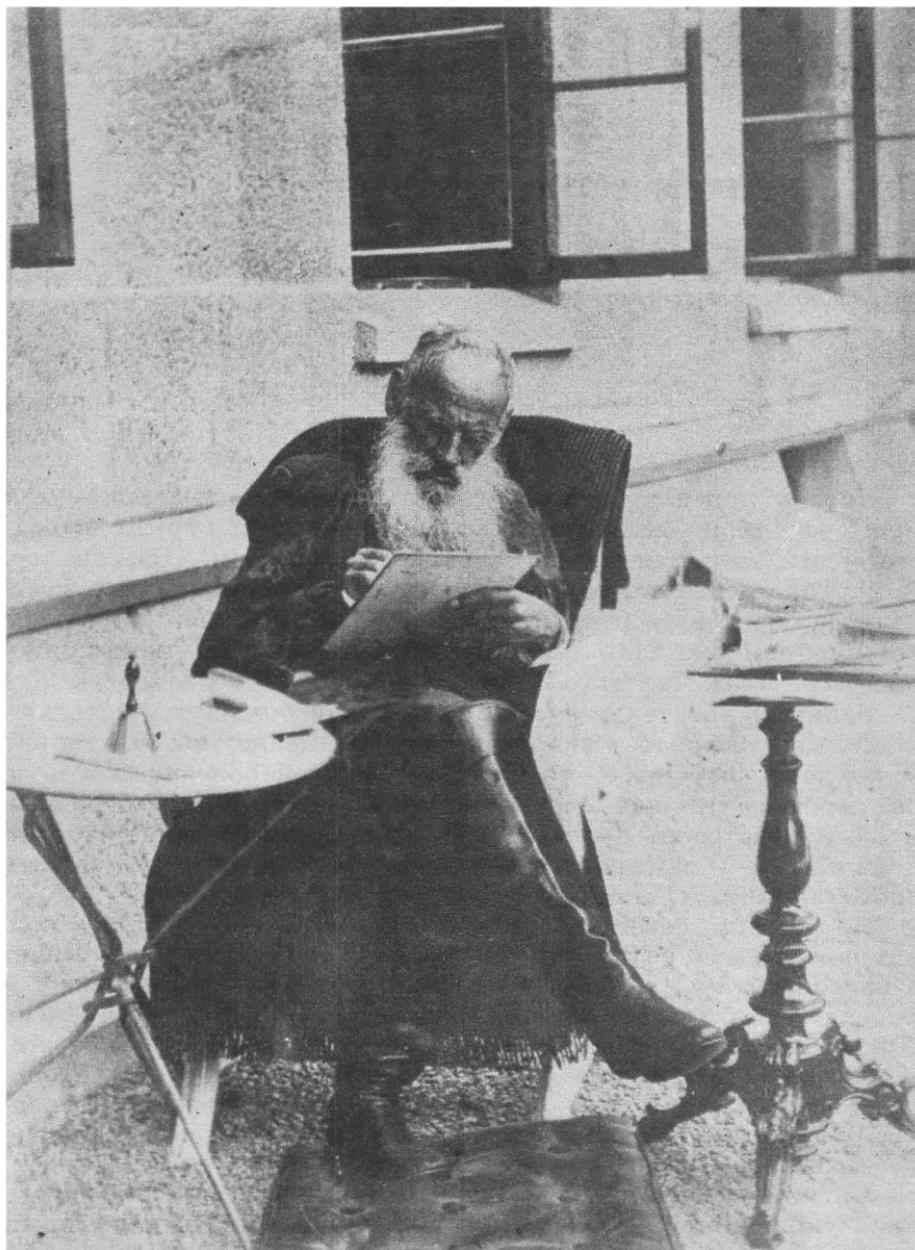
— То все голова Льва Николаевича написала,— говорили крестьяне, указывая, между прочим, и на французские книги. <...>

Л. Н., между прочим, интересовался жизнью знакомых ему русских журналистов, живущих в Париже. Л. Н. расспрашивал о парижском сотруднике «России» г. Яковлеве⁶, о котором прекрасно отзывался и которому просил передать поклон. Н. Л. Аронсон вынес из своего пребывания в Ясной Поляне самое отрадное впечатление и никогда неизгладимые воспоминания о Л. Н. Толстом и его семье.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Все последние, получаемые из Ясной Поляны известия говорят о том, что выздоровление Л. Н. Толстого идет самым нормальным образом¹. Он не только встает и занимается в креслах, не выходя еще, впрочем, на воздух. За последние дни Л. Н. мог даже почти закончить свою новую статью по рабочему вопросу². Кроме того, им написаны за это время среди целого ряда других писем два больших письма: одно — к писателю-индусу³ (о недавнем письме которого к Л. Н. мы уже сообщали) и другое — к персу, участвовавшему в гаагской конференции и проводившему на ней мысль о том, что для полного, совершенного уничтожения войн необходимо обращение всех лучших сил человечества на подъем нравственного уровня народов. Эту же мысль он одушевленно развивает в поэме, присланной им теперь Л. Н. Толстому⁴. Лица, видевшие Льва Николаевича на этих днях, передавали нам, что вынесли после свидания с ним самое отрадное чувство при виде его удивительной бодрости и энергии после недавнего упадка физических сил. Л. Н. с особенным оживлением рассказывал о только что полученной им книге одного французского аббата⁵, а также об одном новом вегетарианском журнале, который ставит вопросы вегетарианства во всесторонне гуманном освещении (сам Л. Н. по-прежнему, и здоровый, и в болезни, строго держится вегетарианского режима). <...>



Толстой в Гаспре. 1902 г.

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

ВНУТРЕННИЕ ИЗВЕСТИЯ

*Ялта**(От нашего корреспондента)*

До сих пор в некоторых газетах, помещавших более или менее регулярно бюллетени о состоянии здоровья гр. Л. Н. Толстого, эти известия помещались под рубрикой: «Болезнь гр. Л. Н. Толстого»¹. В настоящее время эту рубрику можно заменить другой, более отрадной, которую с таким напряженным нетерпением ожидала вся мыслящая Россия, а именно: здоровье гр. Л. Н. Толстого.

Великий писатель земли русской еще большую часть дня принужден лежать в постели или на диване, но это только вследствие слабости — последствия тяжелой болезни, которую он перенес. Он еще очень слаб, ему еще нужно беречься, и его нужно очень беречь, но он уже здоров. Я видел его 18 и 22 апреля и считаю своей обязанностью поделиться своими впечатлениями с читающей публикой.

На южном берегу Крыма, между Ореандой и Алупкой, находится имение графини Паниной «Гаспра», в которой живет в настоящее время Лев Николаевич. Наняв в Ялте коляску и проехав часа два по прекрасному шоссе, проходящему мимо Ливадии, Ореанды и целого ряда других перлов южного берега, я очутился в «Гаспре» — небольшом, но уютном и хорошо обставленном доме, на котором очень часто в течение последних месяцев сосредоточивалось внимание не только России, но и всего мира.

Я застал нескольких членов семьи графа в большой столовой, украшенной несколькими интересными историческими портретами и гравюрами, изображавшими сцены из эпохи кавказских войн. После первых, обычных расспросов о дороге, минут через 10—15 меня позвали к Льву Николаевичу.

Не без волнения вошел я в несколько темную гостиную и

тотчас же посредине комнаты увидел кресло на колесах, а в кресле знакомую фигуру Льва Николаевича. У стены, несколько поодаль, сидела его жена и заботливая хранительница, графиня Софья Андреевна.

Я с трудом удержался от слез при взгляде на Льва Николаевича: такой он казался слабый, исхудавший, осунувшийся. Но удержаться было необходимо; волнение заразительно, а ему волноваться вредно. Но когда раздался голос Л. Н., когда я взял его руку, я почувствовал, что первое впечатление несколько ошибочно. Правда, он действительно исхудал и осунулся; правда, он еще слаб, но в голосе его чувствуется бодрость, во взгляде — энергия, и он по-прежнему продолжает интересоваться всеми жизненными явлениями, в которых отражаются идеальные стремления людей или противодействия этим стремлениям. Он расспрашивал меня о том, что делается в Петербурге, о тех вопросах, которые так волновали в последнее время все русское общество. Я же со своей стороны, несмотря на все свое желание слушать, старался говорить сам, чтобы не утомлять больного, а через несколько минут вышел в столовую.

Я думал, что в этот день я больше уже не увижу Л. Н., но в самом конце обеда дверь неожиданно раскрылась, и показался Л. Н. в кресле, которое подкатили к столу.

— Пересядьте сюда, поближе ко мне, — сказал Лев Николаевич.

Я сел рядом с его креслом.

— Вы в Петербурге, вероятно, увидите Острогорского?²

— Да, увижу.

— Так передайте ему, пожалуйста, что мне очень жаль, что было помещено то мое письмо в газетах, которое наделало ему столько неприятностей. Передайте ему это, как только увидите. Я знаю, что никаких корыстных целей он не преследовал, и мне очень жаль, что все это так случилось.

Затем разговор перешел на события из современной внешней политики. Л. Н. выказывал живейший интерес к группировке французских политических партий, причем очень благосклонно отозвался о Гедде и его борьбе с Мильераном³.

Лев Николаевич очень оживился, и вся семья его начала беспокоиться, как бы это оживление не отозвалось потом особенным упадком сил. К счастью, опасения не оправдались.

Двадцать второго апреля я приехал в Гаспру снова — проститься с Львом Николаевичем. Я застал его лежавшим в кровати в его спальне, откуда открывался чудный вид на вершину Ай-Петри.

— Вот видите эти вершинки,— сказал Л. Н.,— вот ту, которая пониже? Когда дочери ездили на Ай-Петри, я отсюда смотрел на них в телескоп, и можно было различать, которая где.

На этот раз Л. Н. показался мне и свежее и бодрее, чем прошлый. Он много говорил о вопросах, касающихся земельных отношений, о своем любимом экономисте Генри Джордже⁴ и о том, как мало и у нас, и за границей интересуются идеями этого писателя.

Приближалось обычное время завтрака Л. Н., и я оставил его, чтобы присоединиться к тем из его домашних, которые отправлялись на прогулку в горы к развалинам старинной генуэзской крепости, разрушенной турками.

После обеда я снова виделся с Л. Н., чтобы окончательно проститься с ним, так как на другой день я должен был уезжать из Ялты. Он говорил о тех работах, которые он считает необходимым написать как можно скорее. Что касается художественных произведений, то их у него несколько начатых, но приняться за их окончание он считает возможным лишь при полном выздоровлении.

— Это уж мой отдых,— добавил он,— очень хочется ими заняться; надо там многое переделать, перетасовать, но для этого надо сперва окончательно поправиться.

Прежде чем окончить эту заметку, мне хочется сказать несколько слов о семье великого писателя, т. е. о тех членах ее, которые его окружают и берегут; их роль в жизни Л. Н. мало видна, о них почти не говорят, но мы должны быть бесконечно благодарны им за тот удивительный, неутомимый, заботливый уход, которым его окружают. Как знать, быть может, если бы не этот уход, не эта нежная заботливость, мы не сохранили бы Льва Николаевича...

Возвращался в Ялту я вместе с доктором Никитиным⁵, постоянным врачом Л. Н., живущим там же, в Гаспре. Он сказал мне следующее:

— Процесс в легких совершенно закончился, остались лишь чуть слышные хрипы. Сердце работает превосходно. Желудок и кишечный канал вполне исправны.

На другой день я возвращался морем в Севастополь. Поравнявшись с Гаспрой, я увидел ее серые башенки и белый купол. Там, за этими стенами, восстанавливались силы великого писателя, на которого по-прежнему с надеждой устремлено внимание всего мыслящего человечества.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

БЕСЕДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Интерес иностранцев не только к тому, что пишет и готовит к печатанию Толстой, но и к его личности, времяпрепровождению, состоянию здоровья увеличивается с каждым днем. Редкий день проходит без того, чтобы газеты не принесли вестей о нашем великом писателе или не поместили отчета о свидании с ним какого-нибудь корреспондента, специально посланного для того, чтобы спросить мнение Л. Н. Толстого о тех или других вопросах. За последний месяц особенно большие отчеты о свидании с Толстым появились в «Revue des deux Mondes» и в «Neue Freie Presse». С первым из них мы уже познакомили читателей¹; второй описывает поездку учителя гимназии и поэта Адольфа Тейхерта в Москву в апреле прошлого года. Автор медлил печатанием своего фельетона, потому что не хотел помещать его без согласия со стороны Л. Н. На свой вопрос о том, будет ли Л. Н. иметь что-нибудь против опубликования разговора с ним, корреспондент венской газеты получил ответ, в котором гр. Толстой, заявляя о своей привычке свободно говорить свое мнение всем желающим его слушать, выразил принципиальный протест против опубликования частных разговоров с ним, но, зная добросовестность данного лица, позволил ему воспользоваться беседой как угодно.

Адольф Тейхерт после обычных рекомендаций справился о том, какое впечатление произвела последняя его книга на гр. Толстого. Книга носила название «Auf den Spuren des Genius»², она заключала в себе поэтические произведения автора, навеянные путешествиями в Италию и на Восток, и была переслана Тейхертом по адресу Л. Н. незадолго до визита. Хотя гр. Толстой еще не успел тогда ознакомиться с книгой, но ввиду той формы, в которой она была написана, разговор сам собой перешел на оценку пригодности стихотворной формы для нашего времени.

— Я не люблю стихов, — сказал Л. Н., — их время прошло. Поэтому становится все труднее выразить свои мысли в стихах. Известные формы искусства умирают с течением времени; теперь настало время смерти для стихотворной формы искусства, для скульптуры и архитектуры. Я видел недавно скульптуру, изображающую работника, уснувшего от усталости на своей тачке; кажется, что это художественное произведение, но в конце концов оно почти ничего не говорит.

Л. Н. думает, что слова Гюго, сказанные еще в «*Nôtre dame de Paris*», вполне справедливы: «Книгопечатание убило архитектуру; живопись же скажет нам еще многое»³. На замечание собеседника, что стихи нельзя считать чем-то неестественным, так как, по мнению Руссо, песня существовала в самом начале речи и так как первые греческие авторы (напр., Гомер) были стихотворцы, а не прозаики, гр. Толстой сказал: «Гомер — дитя того времени, когда стихи имели право на существование; поэтому я всегда читаю с удовольствием его стихи на том языке, на котором они созданы».

Когда разговор перешел к искусству вообще, гр. Толстой выразил те мысли, которые уже были высказаны им в статьях об искусстве.

Для него произведение достойно занять место в ряду произведений искусства только в том случае, если оно возвышает душу к богу или если оно вообще пробуждает благородные чувства, связывающие людей ближе во взаимной любви. Как в стихотворениях, так и в скульптуре и в архитектуре теперь очень трудно найти подобного рода произведения. Живопись в этом отношении дает гораздо больше.

Так как Шекспир, Гете, Байрон, Шелли писали стихами, то разговор перешел к ним. «Я не могу выносить Шекспира», — сказал Толстой, но потом, стремясь точнее выразить свою мысль, прибавил: «Нет, это неверное выражение; мы в наше время не можем более читать его. В свое же время он играл роль. Что касается до Гете, то его произведениями наполнено 34 тома; но сколько из них не имеет никакой ценности! Из всего едва ли набралось бы более двух томов действительно прекрасного». Шиллера Л. Н. ставит выше Гете; «Фауст» последнего ему не нравится. В Байроне он находит много слабого. «Надо, — прибавил он, — обращать теперь внимание на произведения тех поэтов, о которых не часто упоминают другие, — например, на Кольриджа»⁴. Шелли Л. Н. очень высоко ставит; лучшее в его творениях написано, по мнению Толстого, прозой. По поводу роли критиков Л. Н. привел то выражение Арнольда, о котором он говорит в предисловии к «Крестьянину» фон-Поленца⁵ и о котором упоминал в приведенном нами несколько времени назад разговоре с г-жой Бентзон. Тейхерт захотел разъяснить далее кое-какие недоразумения относительно «Крейцеровой сонаты». Он обратил внимание собеседника на невозможность абсолютного целомудрия и как доказательство привел анатомическое строение человека и вытекающие отсюда потребности. Толстой признал справедливость этого, но вместе с тем указал на существование духовных стремлений к целомудрию; направление нашей жизни

определяется совместным действием этих стремлений с физиологическими потребностями. Он привел для сравнения параллелограмм сил, согласившись, однако, что человек, свободный от тех физиологических потребностей, о которых в данном случае идет дело, не стоит по одному этому на высшей ступени моральной лестницы, чем другие.

«Из этого,— прибавляет корреспондент «Neue Freie Presse»,— не следует, однако, что гр. Толстой отказался от идеи «Крейцеровой сонаты». Он просто не признает ступеней в нравственном развитии; так как идеал, которого надо достигнуть, находится в бесконечности, то мы всегда отдалены от него одинаково далеко. По его философии, все сводится к постоянному движению дальше, к стремлению к цели; самодовольное стояние на месте — фарисейство. Он думает по-прежнему, что мы должны смотреть на совершенное целомудрие как на нашу цель и к этой цели должны стремиться».

Беседа касалась, кроме того, вегетарианства и кое-каких других вопросов, которые представляют уже меньший интерес.

«ОДЕССКИЕ НОВОСТИ»

MUSCA <Ф. Г. МУСКАТБЛИТ>

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Беседа с Л. Н. Толстым)

<...> Текущим летом мне пришлось побывать в Ясной Поляне.

Деревушка разбита на холме. Она не велика — всего около 60 дворов, но производит весьма приятное впечатление: домики за редким исключением из красного кирпича, чистые, опрятные. Прекрасное здание школы. Во всем чувствуется сравнительный недостаток.

Я остановился у входа в аллею, начинающуюся двумя каменными, начисто выбеленными башнями.

Это знаменитая яснополянская аллея. В стороне от нее, словно стекло в зеленой плюшевой оправе, блещет пруд, над которым нависли липы и березы.

— У себя Л. Н.? — спрашиваю я у засевшего в камышах юного рыболова.

— Да, дома.

— А что, здоров он сейчас, принимает?

— Должно, здоров. Потому графиня намерена в Москву выехала. Остались только хозяин с дочкой... доктор из клиник...

Я попросил доложить обо мне.

Через несколько минут вышел слуга, попросивший меня подождать.

Л. Н. был занят.

Отведя уставшего коня под липы, я стал осматривать усадьбу.

Она производит впечатление чего-то необычайно солидного, спокойного и в то же время самоуверенного...

Двухэтажный барский дом — весь белый с зеленой крышей — и примыкающие к нему домики-службы расположены у самого парка.

Перед входом на веранду разбиты цветники, окружающие усыпанную песком площадку. Повсюду тень. Невдалеке, в чаще дерев — гимнастика. Скамьи со столом. Мертвая тишина.

Не прошло и получаса, как перед дверью, невдалеке от меня, показался врач Л. Н. — М. Д. Никитин (об этом я узнал позже) и остановился, указывая кому-то, как мне показалось, в мою сторону.

Меня охватило сильное волнение...

Я едва мог совладать с собой...

Все доводы урезонивавшего мое чувство рассудка были совершенно бессильны при мысли о том, что через момент я окажусь лицом к лицу с одной из величайших фигур XIX века...

Из-за кустов медленным шагом, слегка сгорбившись и опираясь на палку, вышел глубокий старик...

Глубоко ушедшие с нависшими над ними густыми, седыми бровями, еще не потерявшие своего блеска глаза, впадины у висков и заострившийся нос — все это говорило о перенесенном Л. Н. тяжелом недуге...

Одетый в шерстяное пальто сверх опоясанной кушаком серой блузы, он был в сапогах и — несмотря на сильную жару — в полуглубоких калошах...

Наиболее схожий с оригиналом портрет — по моему мнению, на котором Л. Н. снят с Горьким.

Увидя меня, Л. Н. остановился.

Я подошел к нему...

— Что могу я для вас сделать? — тяжело дыша, спросил он, снимая шляпу и пожимая мне руку.

— Не за услугой — поклониться пришел, — отвечал я, — узнать, как здоровье...

— Здоровье?.. Что ж, здоровье ничего... Скажу, как всегда говорю: слава богу,— ближе к смерти... Я рад... Для меня, знаете, одно важно: чтоб мыслительный аппарат работал, а что там разные желудки да легкие и все это — до этого мне дела нет... Действует мозг — больше мне ничего не нужно,— это для меня все...

— Да, Л. Н., но без желудка, и печени, и многого другого и умственный-то аппарат долго не проработает...

— А вот до них мне и никакого дела нет,— возразил улыбаясь Л. Н.,— пусть себе врачи да там семейство возится с ними... Я вот в Ялте сильно болел... воспаление легких, брюшной тиф... все-таки дорогу из Севастополя к себе хорошо вынес... но зато уж и удобства езды были громадные... громадные... прямо скажу — возмутительные удобства...

Слыша несколько ранее, что Л. Н. работает — со слов одного из домашних и теперь от него лично,— я вспомнил газетные сообщения о том, что Л. Н. занят своей автобиографией, и осведомился, верно ли это?

— Ничего подобного,— возразил Л. Н.,— это ложь... ничего я такого не писал, не пишу и не буду писать! А прошел этот слух, вероятно, вот из-за того, что за границей издается теперь полное собрание моих сочинений на французском языке. Один мой добрый приятель Б-в составляет для этого издания мою биографию и просил меня сообщить ему кое-какие данные из моей жизни...! Одно с другим — и пошел слух о какой-то автобиографии. Я автобиографии не признаю и никогда этого не сделаю. Автобиография!.. Ведь это что такое? Пишет человек о самом себе... хорошее скажет,— все дурное замолчит... ведь это так естественно!

Кому, скажите, охота прорехи свои на вид ставить — нате, мол, любуйтесь!.. Или наоборот: намеренно одно дурное выставить, еще подбавить, чего и не было: вот какой я грешник!.. Выйдет тоже плохо... уничтожение паче гордости, говорят...

Мы уж вышли из парка на пересекающую деревушку дорогу и, перейдя через нее, подошли к покосившейся крестьянской избе.

Войти в нее оказалось возможным, лишь порядком согнувшись.

Здесь Л. Н. пил кумыс.

Крестьянка, привыкшая к своему посетителю, подала ему стул «времен очаковских и покоренья Крыма», одна из ножек которого безнадежно волочилась по полу.

Я указал Л. Н. на некоторый риск, сопряженный с сидением на подобном инвалиде...

— Ничего,— ответил Л. Н.,— я уж с ним знаком, да и она знает его слабость, видите: ставит его к стенке, так что и ножек-то ему не надобно...

Кумыс, по словам Л. Н., оказывает на него благотворное влияние. Готовят его ему специально выписанные с этой целью татары.

Посидев минут десять, мы вышли, продолжая прогулку и прерванный разговор.

Речь шла главным образом о русской жизни, литературе и журналистике. Я коснулся Успенского.

Меня интересовали главным образом те подробности и черты из жизни и творчества покойного, которые могли быть известны Л. Н. как одному из ветеранов русской литературы.

В оценке им дарования Успенского я нисколько не сомневался, не сомневался до того, что, когда Л. Н., говоря — от слабости — с большими паузами, сказал между прочим: «Глеба Успенского я читал всегда с напряжением» — у меня сорвалось невольное: «Еще бы»...

— Но не думайте,— продолжал, передохнув, Л. Н.,— чтобы это было, так сказать, из-за положительности его... нет!.. Это деланная репутация... Я никогда не понимал, чего это он, собственно, хочет?.. Почитаешь одно — народник... И это очень хорошо, а потом окажется — и вовсе нет... Какая-то расплывчатость, туманность, мечтанья... Ни-че-го не понимаю!.. Ну, а вы знаете, чего он хочет?— спросил Л. Н., испытующе глядя на меня в упор и тоном скептика, предрешившего отрицательный ответ.

Я заметил в общих чертах те точки, в которые всю жизнь свою бил Успенский, указал на условия его работы и характер самого дарования как на причины некоторой калейдоскопичности его произведений...

— Пускай,— сказал Л. Н.,— но ведь все, что он говорил, все это не его, не ново... А это, по-моему, все! Писатель должен обнаружить определенное и главное свое,— особенно подчеркнул Л. Н.,— мирозерцание... чтобы нигде и ни у кого другого ничего такого не было... в себе выношенное... У меня, знаете, есть чисто механическое правило — прием для определения, крупный ли это писатель, известный или нет: это перевод.

Я несколько удивился.

— Да... перевод... то есть если этого писателя можно перевести на другие языки без ущерба, значит, писатель действительно крупный... да...

Я хотел было указать на несомненную наследственность мирозерцаний — если не ближайшую, то более или менее

отдаленную — на преемственность их, затем на Щедрина, Гоголя и еще кое-кого для иллюстрации непереводаемости творений и тем не менее несомненной талантливости их авторов, но вспомнил строго отрицательное отношение Л. Н. ко многим корифеям литературы, живописи и т. п. в его трактате об искусстве — и обошел эту несколько щекотливую тему, тем более что в этом мне несколько помог сам Л. Н.

— Вот, например, Чехов или Горький, — продолжал он, указывая в подтверждение правильности своего критерия оценки на громадный успех их за границей, — что за сила изобразительности и главное — самобытность!

Я заметил, что успех этот обусловлен игрой этих беллетристов на струнке всемирного, если можно так выразиться, сердца...

— А вот в том-то и дело... — с живостью возразил Л. Н., — В том-то и дело... общечеловечность!..

Признавая в Чехове крупнейший талант беллетриста, Л. Н. совершенно отрицает в нем драматурга и полагает, что в этом писательском «грехе» Чехова повинен несколько Художественный театр, играющий в данном случае роль «подстрекателя»...

— Читал и его «Трех сестер» и — каюсь — не дочитал... Набор каких-то фраз, каких-то слов ни к селу ни к городу...

Перепало несколько и новейшим «настройщикам» публики — сверчкам, пчелам и т. п. сценическим фокусам².

Наличность действия Л. Н. считает существеннейшим и выгодным для драматурга условием пьесы. Оно-то и дает возможность путем каких-нибудь двух-трех сценических положений выполнить задачу автора, которая сводится, по мнению Л. Н., к наиболее рельефной обрисовке характеров действующих лиц...

Не нравится Л. Н. и Андреев. Особенно возмущает его «Бездна».

— Ведь это ужас!.. Какая грязь... какая грязь... Чтобы юноша, любивший девушку, заставший ее в таком положении и сам полуизбитый, — чтобы он пошел на такую гнусность!.. Пфуй!.. И к чему это все пишется?.. Зачем?..

Мало-помалу весь огромный парк яснополянской усадьбы был обойден нами кругом.

За все время ходьбы — около часу, если не более, — Л. Н. ни разу не присел. Наоборот — он как бы умышленно выбирал при переходе с одной лужайки на другую такие места, которые требовали значительного для него напряжения сил: подъемы, насыпи — так что мне неоднократно приходилось поддерживать его...

При случае мне пришлось убедиться в том, что Л. Н., не-

смотря на свое кратковременное пребывание (теперь) у себя в именье, успел уже стать *au courant** деревенских происшествий.

Попалась нам по дороге крестьянка.

Л. Н. остановил ее:

— Здравствуй, Марья, как живешь?..

— Ничего, барин...

— А что, телят-то своих нашла?..

— Нет еще...

— Ну ищи, ищи...

Крестьянка пошла, самодовольно улыбаясь, польщенная, по-видимому, «известностью» своей скотины...

Последние минуты моего пребывания у Л. Н. были, к сожалению, несколько омрачены: Александра Львовна (одна из дочерей Л. Н.) подала Л. Н. телеграмму, извещавшую о серьезной болезни его зятя — г. Сухотина. Известие это очень огорчило Л. Н., который вызвал на веранду своего врача Мих. Дм. Никитина, чтобы осведомиться о сущности и характере заболевания... Несмотря, однако, на это, Л. Н. был настолько любезен, что пригласил меня к завтраку, от которого я за поздним временем отказался, осведомился, поен ли у меня конь, есть ли для него сено и т. п.

Около получасу провел я в доме Л. Н.

Комнаты, в которых я побывал, предназначенные: одна для врача, другая, по-видимому, рабочий кабинет Л. Н., обставлены необычайно просто.

По стенам портреты литературных деятелей, группы — между прочим, такая: Гончаров, Островский, Тургенев и Л. Н. (в молодости)...

Поодаль — гипсовая статуэтка — Стасов...

Главное украшение помещения — книжные шкафы, в общем не менее 20.

В одном из них собрана критическая литература о Л. Н.

В другом книги разнообразнейшего содержания на разных языках, рукописи (письма Л. Н.), «толстые» журналы...

Кстати, о «толстых» журналах.

Л. Н. жаловался на их пустоту.

— Ничего нет... открываю я их и — закрываю... пустота...

Я уходил от Л. Н., весь исполненный обаяния великого старца, думая о том, какое он, в сущности, живое опровержение тезиса: «*Mens sana in corpore sano*»**. Не наоборот ли —

* в курсе дела (фр.).

** Здоровый дух в здоровом теле (лат.).

начинало казаться мне: чем брэннее соgrus, тем мощнее в нем дух, который всеми силами рвется из слабой оболочки туда, откуда нет возврата...

— Слава богу,— вспоминаю я слова по этому поводу Л. Н.,— мне лучше: ближе к смерти...

«РУССКОЕ СЛОВО»

〈РЕЖИССЕР С. РАТОВ У ТОЛСТОГО〉

Гр. Л. Н. Толстого стали посещать почти ежедневно. Посетил его на днях режиссер Петербургского Нового театра Ратов. Разговор касался «Власти тьмы», о которой Л. Н. сказал:

— Фабула пьесы взята из действительного случая, имевшего место именно здесь; мне рассказал его здешний судебный следователь. Я познакомился с самим следственным производством, говорил со свидетелями, допрошенными при следствии и на суде, и таким образом, постепенно у меня шла работа над этой драмой и над созданием типов действующих лиц, пока оно вылилось в окончательную форму. Типы действующих лиц этой драмы до сих пор есть. Вы увидите их в селе.— Граф назвал несколько имен крестьян и крестьянок¹.

Разговор перешел вообще на искусство и на литературу.

— В науке еще возможна посредственность, но в искусстве и литературе, кто не достигает вершины, тот падает в пропасть,— сказал граф.

Относительно живописи граф заметил:

— Живопись самое нужное и самое живое искусство, она может существовать как чистое искусство, тогда как скульптура — искусство только прикладное.

Приходится только поражаться той неутомимости, которую великий писатель обнаруживает во время приема такой массы посетителей, желающих непременно узнать, как он смотрит на тот или другой вопрос.

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

У Л. Н. ТОЛСТОГО

Из Ясной Поляны г. Поль Бойэ пишет в парижской «Temps» (Нумер от 4 ноября (22 октября):

«Я провел неделю у одного из моих лучших друзей, Александра Е.¹, выдающегося писателя, который предпочитает здоровую жизнь фермера прозябанию в писательских кругах Петербурга и Москвы. Теперь я вернулся в Ясную Поляну.

Лев Николаевич встретил меня, по обыкновению, с распротертыми объятиями; был как раз обеденный час, и все направились в столовую.

— Ну, что наш друг,— спросил он,— пишет он теперь? Постарел, должно быть?

Этот вопрос «постарел он?» вы зачастую услышите из уст Толстого, но как-то вы всегда при этом сознаете, что говорит не эгоист, сам стареющий, а художник, для которого внешний вид людей и вещей всегда представляет значительный интерес.

Беседа оживляется, в ней участвуют все, настроение у всех отличное. Третьего дня состоялась консультация врачей, и решено, что в нынешнем году Толстой в Крым не поедет, а зиму проведет в своем родовом доме. Лев Николаевич, которого болезни, чередовавшиеся одна за другой, не излечили от скептического отношения к медицине, предоставляет всем судить и действовать, как заблагорассудится; он, мне кажется, счастлив тем, что ему позволили остаться дома. Одна только Москва остается для него запретной областью: там слишком много посетителей, там он часто устает.

— Как я жалею,— сказал он мне,— что в нынешнем году вы не застали мою сестру-монашенку². Она покинула нас несколько дней тому назад, незадолго, значит, до вашего приезда, и отправилась в свой монастырь; срок ее отпуска истек. Она все та же, нисколько не изменилась. Раз только она вечером села за рояль и с моей Ниной³ играла в четыре руки.

Кто-то заговорил о курских маневрах, о необычайном движении по железным дорогам, ведущим в Курск, о переполненных вокзалах, и тут Лев Николаевич рассказал, как однажды в Москве, торопясь занять место в вагоне 3-го класса, он воспользовался помощью кондуктора. Помощь несколько жестокая; он работал руками и коленками, приговаривая: «Живо, старик, усаживайся, нечего зевать!»

— Уверю вас, он был бы гораздо вежливее, будь я в мундире, — и Толстой засмеялся.

После обеда речь зашла о книге Альберта Метэнк⁴, которую я прошлой зимою послал Толстому.

— На днях, — начал Лев Николаевич, — я читал статьи и речи Жореса⁵, вышедшие отдельным сборником. Чего только нет в них! Тут и рабочий вопрос, и сахарная конценция, и гагская конференция. Тут решительно все, и ровно ничего. Должно быть, талантливый оратор, этот Жорес. Мне кажутся забавными претензии социалистов провидеть будущее. Как будто теория, какая бы то ни было теория, хотя бы новейшая, дает возможность что-нибудь предвидеть. Я слышу, говорят о трестах, которым суждено облегчить специализацию производства; это возможно, но далеко не доказано. Лично я в трестах не вижу ничего, кроме опасности страшного кризиса, который завершится возвратом к положению, мало чем отличающемуся от нынешнего. Мне известно только одно средство к улучшению общественной жизни. Надо устранять зло во всех тех случаях, где оно дает себя чувствовать, устранять в момент, когда оно причиняет страдания, а не сочинять теории. Да в них ли, в теориях, дело? Мне кажется, что они отжили свое время и могут еще волновать собою людей узких, малокультурных. Социалистские теории разделяют судьбу женских мод, быстро переходящих из гостиной в переднюю. О, эти теории! Вчера еще в «Русских ведомостях» я читал фельетон об автоматизме, о человеке-машине. Чистейший набор слов все это! Наши действия вовсе не произвольны, и мне не известно ни одно, которое не обуславливалось бы одним из трех следующих мотивов: разум, чувство, внушение; разумом — в случаях очень редких и притом лишь для лучших среди нас; чувством — почти всегда; внушением — гораздо чаще, чем полагают. Особенно над детьми страшно велика власть внушения. Потому-то так трудна задача воспитания.

Здесь был затронут вопрос о воспитании, наиболее близкий сердцу основателя яснополянской школы.

— Как-то на днях, — продолжал он, — одна из моих маленьких племянниц говорит мне: «Дядя Лева, я хочу остаться старой девой, и дочери мои тоже останутся старыми девами». Уважать ли это незнание, столь очаровательное в своей наивности? Мне кажется, самое лучшее — решить вопрос так, как его решал Жан-Жак Руссо. Вы помните грубый ответ, который он влагает в уста матери, «столь скромной в своих речах и манерах, но часто во имя добродетели и ради блага своих детей откидывавшей ложный стыд»?⁶ На неловкие вопросы детей я отвечал бы охотно, как она, вполне уверенный, что

прирожденное чувство стыдливости сделает свое дело. Я часто ставлю себе вопрос: что надо читать детям? Все зависит, прежде всего, от возраста, а затем от условий среды и характера также. У англичан имеется на это готовый ответ: «Дайте детям одну из двадцати или ста известных вам лучших книг». Но это совершенно коммерческий, «чисто английский» способ решения, которого никто вне Англии всерьез не примет. Англичане ведь и распространителями христианского учения считают себя, потому что они печатают Библию в десятках миллионов экземпляров.

И, переходя к французским делам, к известиям о клерикальной борьбе в Бретани, Толстой спросил:

— Каким образом вы до сих пор не добились отделения церкви от государства? Это для вас единственный разумный исход, но его-то и боятся многие французы. А между тем вас страшат опасности лишь воображаемые. Как часто жертвуют, вообще, несомненным благом во имя опасностей совершенно мнимых, которые никогда не могли бы настать».

«РУССКОЕ СЛОВО»

ЗДОРОВЬЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

В течение 13-го декабря Лев Николаевич не принимал никаких лекарств. До тех пор в течение 7-ми дней он почти ничего не ел. 13-го декабря у Льва Николаевича появился аппетит. Он ел овсянку, яйца и пил молоко. Днем он несколько раз засыпал.

Часов в 6 вечера Лев Николаевич пожелал, чтоб ему читали. Он слушал чтение книги более часа. Живо интересовался читаемым, переспрашивал, восхищался¹. Затем до полночи Лев Николаевич то дремал, то беседовал с домашними. Видно было, что сил у него все прибавляется. Голос звучал крепче. Лев Николаевич мог уже сидеть в постели.

Ночь на 14-е декабря Лев Николаевич спал плохо. Долго не мог заснуть. Тем не менее ни к каким лекарствам не прибегали. Он заснул только часов в 7 утра спокойным и хорошим сном и 14-го декабря проснулся около 11-ти часов утра бодрым и ясным.

Теперь в Ясной Поляне вздохнули облегченно, — вместе с Ясной Полянкой также вздохнет весь цивилизованный мир.

Болезнь Льва Николаевича — инфлюэнца, которая теперь

проходит. Температура и пульс нормальны. Аппетит и сон — хорошие признаки.

В то самое время, как все так тревожились за него, Лев Николаевич один хранил великое душевное спокойствие.

В немощном теле так же, как всегда, работал бодрый дух. Великий писатель занимался своими работами.

Ночью на 13-е декабря Лев Николаевич обратился к дежурному около него близкому человеку²:

— Если вам не скучно, достаньте, пожалуйста, вон там на полке книгу. Посмотрите, в котором году Воронцов был сделан князем? Надо будет переделать: везде в «Хаджи-Мурате» я называю Воронцова князем.

Пока наводилась справка, Лев Николаевич заснул.

Через час он проснулся, и вопросом его было:

— Ну, что? В котором году Воронцова сделали князем?

— В августе сорок пятого.

— В таком случае — верно. Переделывать не надо.

Главной заботой Льва Николаевича было каждому из окружающих сказать приветливое слово. Он все время думал и заботился о других.

Перед самым кризисом слуга, лет десять служащий в доме, Илья Васильевич, принес в комнату Льва Николаевича кофе³.

Больной открыл глаза.

— Вы вернулись, Илья Васильевич?

Тот ездил проводить сына и только что возвратился.

— Виделись с сыном? Не простудились ли дорогой? Вы, говорят, поехали в такой мороз без тулупа? Я все время боялся, что вы простудитесь. Ну, а на обратный-то путь вам прислали на станцию тулуп?

— Прислали, Лев Николаевич.

— А! Прислали? Вот это хорошо, что прислали.

Однажды зашла речь о здоровье.

— А вы знаете, — сказал Лев Николаевич, — ведь это ошибка: мы всегда, прощаясь, желаем человеку: «Будьте здоровы!» Право, иногда было бы лучше пожелать: «Будьте больны». Полежать больным недель шесть — как в это время можно поправиться! Сколько можно в это время передумать.

И в то самое время, как все кругом были полны тревоги, Лев Николаевич улыбался своей доброй ласковой улыбкой.

Так здоров все время был дух великого мыслителя.

И мы счастливы, что можем поделиться с читателями радостными известиями и о здоровье его тела.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

Ю. БЕЛЯЕВ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Кондуктор под окном кричит:

— Тула-а!

Надо вылезать из вагона... Тесный и грязный вокзал, засыпанный подсолнечной шелухой, благоухание незатейливого буфета, витрина металлических изделий, витрина тульских пряников, газетный ларек — и вот вы уже на той стороне вокзала в толчее извозчичьих пролетов, разрываемый на части местными «ваньками».

— В Ясную Поляну!

— Сюда пожалуйста! Со мной! Вот услужу! Барин, а со мной-то что же!..

Один, подогадливее, прямо берет вас силком, сажает на свою колесницу и мчит во всю прыть понурой лошадки, осыпаясь сзади хохотом и руганью оставшихся извозчиков.

Не знаю, по таким ли дебрям ехал почитатель XVIII века к Вольтеру в Ферней, но мне путешествие к яснополянскому философу во многом напоминало хождение по мукам.

На козлах сидел настоящий гоголевский Селифан. Он вез меня какими-то окраинами, переулками и закоулками и все уверял, что «скоро дорога полегчает». Но дорога, размытая весенними ручьями, до того вскре сбилась, что пришлось добрые две версты идти пешком.

Уже вечерело. Солнце скрылось за громадную тучу, сизую с огненными подпалинами. Слобода стояла розовая от заката, с зеленым пухом фруктовых садов, вся словно обвеянная острым весенним духом. Где-то пиликала гармоника...

Молодка в красном повойнике и нарядной свите высунулась по пояс из окна и скалит зубы. Смешно, должно быть, в самом деле, мое прыганье по кочкам, бок о бок с дребезжащей пролеткой...

Но вот наконец и земское шоссе. Оно вытянулось стрелой по ровному полю, с телеграфными столбами, с уныло шумящими ветлами. Миновали Киевскую заставу. Обогнали не одну партию богомолок, молодых и старых, завернутых в темное тряпье, сгорбленных и загорелых. Дорога снова пошла изволоком, меж густого казенного лесу, по березняку, мимо какого-то полуразрушенного завода, печального наследия «анонимных» бельгийцев, пока неожиданно не свернула в сторону. И вот опять проселок. Опять надо вылезать из протетки и помогать вытаскивать из грязи клячу.

— Долго, что ли?

— Не, не долго, — ворчит извозчик.

В самом деле, старая барская усадьба дает себя знать. Вон на пригорке какое-то полуразрушенное сооружение из кирпичей — не то межевой столб, не то чей-то забытый монумент. Еще немного дальше и фруктовый сад вышел на дорогу живой изгородью смородинных кустов. А вон и беседка. И вдруг усадьба предстала вся как на ладони с белыми каменными воротами, с плотиной, дворовыми строениями, уютным старомодным домом, который видал столько паломников.

Гостеприимные сени, заваленные книгами, встречают меня теплом и спокойствием. Узкая лестница наверх. Тиканье машинки переписчика где-то за стеной. Две-три комнаты, которые проходишь почти бегом, и наконец перед одной закрытой дверью слуга говорит:

— Сюда, пожалуйста.

И сквозь полумрак комнаты, освещенной одной рабочей лампой под темным низким абажуром, видишь, как с кресла поднимается знакомая сутуловатая фигура в синей рабочей блузе, подпоясанной простым ремнем, в высоких сапогах, и узнаешь любимую седую голову...

* * *

Я опускаю весь начальный разговор. Льва Николаевича в его деревенском уединении так мало интересуют пресловутые «злобы дня», которыми дышит город. Положим, он все знает, за всем следит, все читает. Спросишь его о чем-нибудь — и на все получаешь ясный, спокойный ответ. Даже такие вопросы, которые, казалось бы, касались лично его, не вызывают в нем ни малейшего волнения.

— Видали вы картину Бунина?¹ — спросил я.

— Видал на снимке.

— Ну, что скажете?

— Ничего. Я давно уже достойные общества и потому не удивляюсь ничему...

И весь пресловутый «инцидент» с этой картиной несколько не волнует Льва Николаевича. Редкое добродушие и удивительное спокойствие.

А вот темы литературные, темы религиозные, философские волнуют его и заставляют подниматься с кресла и после долгого оживленного разговора вызывают кашель.

Разговор зашел о Максиме Горьком, о его героях, о «На дне» и т. д. Эти разговоры главным образом я и хочу передать теперь. Тема, как видите, самая модная. Петербургские журналисты по поводу «На дне» учинили заправский допрос всех наших «hommes des lettres»*. И все они, кажется, осудили пьесу Горького. Теперь сказал свое слово и «великий писатель земли русской»... Я передал Льву Николаевичу свои московские впечатления о Хитровке, которую на днях в подробностях осмотрел. Я шел туда под впечатлением Горького. И вынес впечатления самые отрицательные. Московское босячество с легкой руки модного романиста положительно дошло теперь до значения каких-то сословных преимуществ. Современные московские босяки — это настоящие неаполитанские лаццарони, но те ленивы, добродушны и впечатлительны. Здесь как раз наоборот: видишь изобретательность рецидивиста, озлобленный, мстительный ум и самые низменные инстинкты. Они свободно разгуливают по Москве, пристают к прохожим, заигрывают с городовыми. Но добродушия тут мало, напротив: во всем чувствуется воровская уловка и неразборчивость средств.

— Я занимался тоже Хитровкой,— сказал Лев Николаевич,— во время переписи². Дружил даже с хитровцами. И вот что я скажу вам. Вы говорите, что босяки жестоки. Это неправда. Не прав и Горький, подчеркивая в них эту черту. Разумеется, есть между ними озлобленные, коварные люди. Но основная черта босячества все-таки заключается не в этом. Я, например, у большинства из них встречал душевное равновесие и добродушие. Когда Горький был у меня, я советовал ему особенно подчеркнуть эту черту в его новой драме. Надо было еще показать, что у босяков нет ложного страха, что нет пропасти под ними и что если захотят они встать на ноги, то встанут без малейшего усилия, потому что почва у них под ногами. Есть такой рассказ. Шел ночью мальчик и провалился в «дудку», где добывали руду. Ему, однако, удалось схватиться за край «дудки», и так провисел он целую ночь. Под утро

* литераторов (фр.).

у мальчика уже не хватало больше сил. Вдруг видит он какого-то прохожего. Мальчик зовет на помощь. Прохожий подходит и говорит: «Чего же ты кричишь? Прыгай, у тебя земля под ногами: всего каких-нибудь пол-аршина». Так вот этот рассказ,— закончил Лев Николаевич,— всегда приходит мне в голову, когда говорят о босяках. Настоящий босяк, попав в «дудку» или «на дно», никогда не теряет присутствия духа. Ему незнаком ложный страх, и во всякое время он знает, что земля под ним всего на пол-аршина...

Я возразил, что тип босячества мог значительно измениться с того времени, если не в основных чертах, то во многих частностях, и что литературное опоэтизирование Хитровки, какое мы видим у Горького, может привести к самым печальным результатам.

— Как вы понимаете босячество?— спросил я.— Не такое же ли это инстинктивное желание разгульной жизни, как и проституция, и мыслимо ли бороться с босячеством какими-нибудь благотворительными мерами?

Лев Николаевич задумался, потом улыбнулся и сказал:

— Я знал одного босяка-подпоручика по фамилии И.³ Маленький, вертлявый, похожий на воробья. Это был интеллигент Хитровки, любил рассуждать о важных материях и с пафосом декламировать запрещенные стихи. Видя интеллигентного пролетария, я предложил ему работу у себя на дому в виде переписки моих сочинений. Подпоручик принял за дело горячо, совсем остепенился, скопил кое-какие деньжонки, купил себе золотые часы... Потом вдруг в один прекрасный день запил, пропал из дому и очутился... на Хитровке. Узнал это я от какого-то хитровца, явившегося ко мне со слезным посланием от И. Бедняга просил чем-нибудь помочь ему, выкупить его платье и самого его от хитровских пауков. Я его выкупил, и снова он стал у меня работать, потом снова пропал, и так продолжалось долгое время, и всегда в одной и той же форме. А еще у него была привычка исправлять мою рукопись, вставляя слова или на полях писать свои замечания. Да, если хотите, это был экземпляр со врожденным инстинктом босячества, и этого инстинкта у него ничем нельзя было искоренить — ни лаской, ни угрозой, ни лишениями. Теперь скажите, о каких благотворительных мерах против босячества упомянули вы?

Я рассказал о некоторых московских благотворительных обществах, вроде приюта для малолетних босяков, и выразил сомнение, чтобы эти приюты при всей их гуманной цели не приносили в то же время вреда обществу.

— Разумеется,— согласился со мной Лев Николаевич,—

это обоюдоострый вопрос. С одной стороны, жалость к детям — ну как не подобрать из ужасающей нищеты и распутства ни в чем не повинного ребенка, а с другой стороны — такая забота общества о босяках не есть ли поддержка самих босяков? Босяк теперь рассуждает, и рассуждает вполне правильно, что было бы только мне хорошо, а о моей жене, ребятах и обо всем прочем общество позаботится. И потому босяку живется в Хитровке очень привольно и никакого другого образа жизни он не желает.

Пьеса «На дне» мне не нравится. Я говорил Горькому, что для драмы нужно драматическое положение. А в его пьесах этого нет. Но он с обычной скромностью отвечал, «что ему это не удастся...». Вообще я не понимаю современного театра. Не понимаю пьес Чехова, которого высоко ставлю как беллетриста. Ну зачем ему понадобилось изображать на сцене, как скучают три барышни? И что он изобразил, кроме скуки?⁴ А повесть из этого вышла бы прекрасная и, вероятно, очень бы удалась ему. Посмотрите на Запад. Какие славные, бодрые и живые пьесы пишут там. Я читал сегодня в «Новом времени» о новой пьесе О. Мирбо⁵. Вот настоящее драматическое положение. Непременно выпишу ее и прочту. Я высоко ставлю этого писателя. Он напоминает мне Мопассана. Это бодрый, правдивый и сильный талант, в котором чувствуется порода и настоящий «*esprit gaulois*»*. У французов тоже немало слащавости и сентиментализма, но зато есть много бодрых и ярких мыслителей, которые, собственно, и руководят течениями западной мысли. Укажу, например, на Анатоля Франса, которого тоже ставлю очень высоко...

Сам Лев Николаевич в настоящее время очень занят своими воспоминаниями⁶. Он работает каждый день утром и уже написал шесть глав. Совершенно неожиданно узнал я, что перепечатанное на днях письмо его, появившееся в каком-то духовном журнале⁷, привело самого автора в немалое смущение.

— Представьте, — сказал Л. Н., — я положительно не помню, кому писал его. Откуда они его достали? Некоторые выражения положительно не мои. Не переведено ли это с английского? Корреспонденция моя так велика, что всего не упомнишь. Вообще же я считаю по меньшей мере не деликатным опубликовывать чужие письма без согласия на то автора. Иные письма мои очень неправильно истолковываются публикой. В особенности старые письма, без проставленного под ними года, могут ввести в заблуждение многих.

* галльский дух (фр.).

* * *

Когда беседа наша окончилась, темная ночь глядела в окно кабинета. В комнатах зажглись огни. Пора было собираться домой...

И вот снова маленькая гостиная, увешанная портретами предков и хозяина дома; большая лампа с широким светлым абажуром; лестница и сени, заваленные книгами...

Теплая весенняя ночь обнимает ласково. Пробегает мимо абрис старого сада, белый призрак ворот, беседка... Серая потухшая деревня пропадает за пригорком. Ясная Поляна остается позади. Ухабы и кочки дают себя знать. В темноте, при шорохе придорожного леса, мерещатся неведомые страхи. По Тульской дороге частенько «шалют...». И потому вздыхаешь облегченно, когда наконец попадаешь в мирный город Тулу, где еще не спят и где заставу охраняет недремлющее око часового...

Станция. Вагон. И обратный путь в Москву, целую ночь, с открытыми глазами и горячей головой...

«НОВОСТИ ДНЯ»

АЛЕКСЕЙ МОШИН

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

⟨...⟩ Лакей провел меня в верхний этаж и там на площадке лестницы открыл одну из дверей направо.

Я увидел Льва Николаевича. Он стоял посреди комнаты и приветливо протянул мне руку.

— Я пришел, чтобы лично поблагодарить вас, Лев Николаевич, за разрешение поместить при моей книжке отрывок одной беседы моей с вами.

— За что же тут благодарить? Прошу садиться.

Граф указал мне на диван, а сам поместился как раз напротив меня в кресле. Преимущества для наблюдения были не на моей стороне: я сидел лицом к окну, а Лев Николае-

вич — спиною. Но все же я видел ясно и так близко великого писателя.

Его голубовато-серые глаза смотрели на меня, почти не мигая; в этих глазах я подмечал раньше пронизывающую остроту взгляда, они горели творческим экстазом, в них мерещилось мне напряжение пытливой мысли. Теперь я видел в глазах великого писателя необычайное спокойствие духа, мир, тишину невозмутимую, какая чудится в лазури чистого, безоблачного неба.

На самом темени Льва Николаевича была маленькая белая ермолка или, может быть, повязка, которую окружали его пышные, седые волосы, сходящиеся с седею широкою бородою. Мне казалось, я вижу перед собою библейского пророка, величественного и спокойного, душа которого далеко ушла от суеты мира сего. Выражение лица Льва Николаевича, его тихая теперь, ставшая немного медлительной речь, его движения — все в нем казалось мне полно спокойствия и великого душевного мира.

Граф был одет в широкий и длинный сюртук из желтоватого сукна.

— Где вы теперь живете?

Я ответил.

— Пишете? — серьезно и участливо спросил граф.

— Грешен, Лев Николаевич, пишу, — ответил я виновато, смиренным тоном, каким исповедуются «на духу».

Лев Николаевич улыбнулся.

Однажды я сказал уже Льву Николаевичу, что не могу не писать, как не может щегол не петь, хотя он и не умеет петь по-соловьиному, а только по-своему. Теперь для меня был вполне неожиданным вопрос Льва Николаевича: «Пишете?» — этот вопрос, заданный искренним, полным поощрения и теплого участия тоном. И я не знаю, как сорвался у меня шуточный мой ответ: «Грешен». Писать... искренно и с верою в то, что и мои слабые силы могут приносить хоть маленькую пользу, — нет, я, конечно, не считаю серьезно грехом, что пишу... И конечно, Лев Николаевич всей своей чуткой душой понял мою шутку и потому улыбнулся.

— С одним моим рассказом произошел маленький курьез, очень польстивший мне... Критика меня обвинила в том, что я подражал вашему Альберту...¹ В моем «Блуждающем огоньке» вывел я скрипача-пьяницу, которого в главных чертах я списал с натуры... Знал я лично подобного скрипача, знал до самой его смерти... И знал других подобных людей... Собрал у нескольких черты характерные — и написал моего Волчкова.

— Я помню, — сказал Лев Николаевич. — А с критиками

это случается: они часто любят подозревать в подражании.

— Вот по поводу типов с натуры: меня интересует одно... как будто противоречие... Когда читаешь произведения Гоголя, Мопассана, ваши, Лев Николаевич, поражаешься реальностью типов, правдивостью. Ясно, что писано многое с натуры... И сами вы, кажется, подтверждали, что часто писали с натуры.

— Да,— сказал Лев Николаевич,— я часто пишу с натуры. Прежде даже и фамилии героев писал в черновых работах настоящие, чтобы яснее представлять себе то лицо, с которого я писал. И переменял фамилии, уже заканчивая отделку рассказа.

— А между тем вскоре после выхода «Войны и мира» была напечатана ваша статья² — недавно она перепечатывалась,— в которой вы писали: «Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описать то или другое действительное лицо; в особенности потому, что та литературная деятельность, которая состоит в описании действительно существующих или существовавших лиц, не может иметь ничего общего с тою, которою я занимался».

— Не помню уж теперь, что я писал в той статье... Но я думаю так, что если писать прямо с натуры одного какого-нибудь человека, то это выйдет совсем не типично — получится нечто единичное, исключительное и неинтересное... А нужно именно взять у кого-нибудь его главные, характерные черты и дополнить характерными чертами других людей, которых наблюдал... Тогда это будет типично. Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать один определенный тип.

В комнату вошел сын графа.

— Мой сын, Сергей Львович,— сказал Лев Николаевич и назвал меня.

Мы поздоровались с графом Сергеем Львовичем, который сейчас же ушел.

— Я должен идти работать,— сказал Лев Николаевич,— теперь мой рабочий час,— не угодно ли вам кофе?..

Лев Николаевич провел меня в столовую, где его домашние сидели за кофе, остановился у входа, назвал меня и сказал:

— Пожалуйста, примите гостя. А я с вами прощусь,— сказал Лев Николаевич, пожимая мне руку.

И великий писатель прошел работать.

«ОДЕССКИЕ НОВОСТИ»

СКРИБА (Е. А. СОЛОВЬЕВ)

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

I

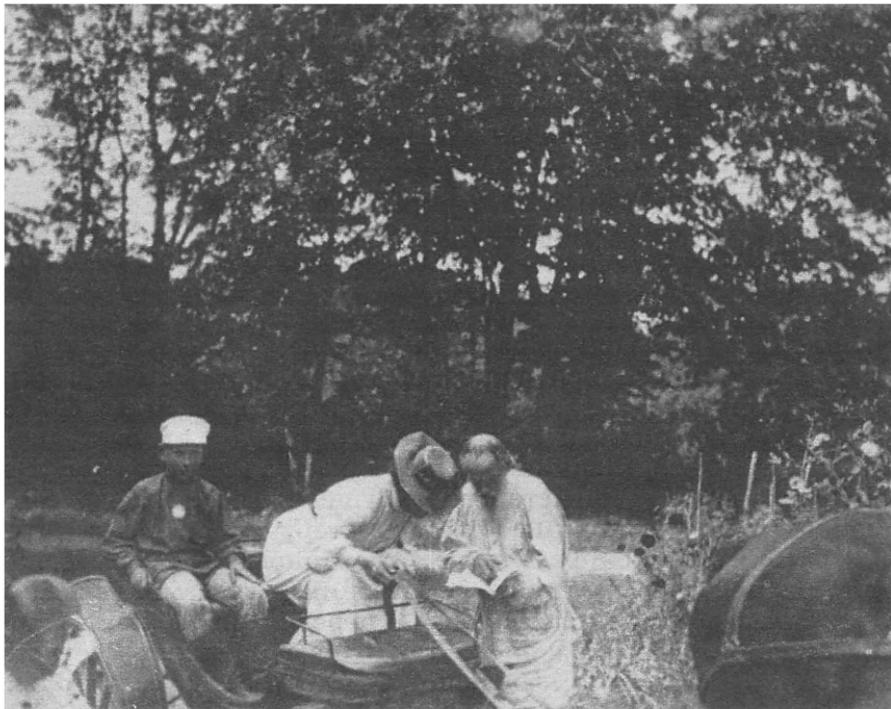
Я только что вернулся из Ясной Поляны, от Л. Н. Толстого. Целых два часа беседовал я с глазу на глаз с великим стариком, или, лучше сказать, слушал его, и теперь вот стараюсь разобраться в этом действительно огромном, полученном мною впечатлении...

С внешней стороны все обошлось как нельзя лучше... Л. Н. был бодр, здоров, разговорчив. Несколько раз во время нашей прогулки и по яснополянскому парку, и по полю вокруг последнего он приостанавливался и, как бы удивляясь себе, спрашивал:

— Что это я сегодня так разговорился?

Я могу точно сообщить вам, как он смотрит на последнюю книгу Мечникова, на драму Горького, на переворот в Сербии, на рабочий вопрос, на возобновляющуюся деятельность интернационала, на рационалистско-магометанское движение в Индии; я увез от него несколько выражений, которые рано или поздно войдут в его биографию и его характеристику, — словом, на более удачное свидание я и не рассчитывал... Быть может, теперь я понимаю Толстого лучше, чем понимал его раньше, — чувствую я его и его мысли больше, яснее, определеннее, отзывчивее, чем накануне... И все же хотелось бы еще какой-то особой яркости, особой полноты ощущения, которой, как ни ищу я ее, — нет. Быть может, мне просто не дано овладеть мыслью Толстого во всем ее объеме, и я понимаю ее слишком математически, слишком просто, как уравнение какое-нибудь, но, забегая вперед, скажу: мне недостает от Толстого того же, чего ему самому недостает от себя, от его собственной жизни: недостает ощущения *подвижничества*, трагизма...

Я рад, бесконечно рад, что целые часы ощущал возле себя земное величие, слушал доверчивую, откровенную, хотя и слегка раздраженную (почему — скажу ниже), речь Л. Н., — но осталось что-то недоговоренное, не хватало какого-то последнего штриха, как не хватает, повторяю, его и самому Толстому...



*Толстой дает последние указания
перед отправкой почты.
9 авг. 1903 г. Фото С. А. Толстой.*

Остановившись на секунду во время прогулки на одном из поворотов из поля в парк, Л. Н. сказал мне:

— Это не хорошо, что я заговорил о себе: надо было лучше взять в пример какого-нибудь Н. Н. ...Ну, уж раз начал — кончу. Мне хорошо, ужасно хорошо, слишком хорошо. Никакого отчаяния, никакой тоски и уныния. И вот одного жаль, что я *не пострадал* и вообще, что я мало страдал... Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление... Этого вот действительно жаль. А остальное все хорошо, слишком даже хорошо...

При этих словах мне показалось, что предо мной в самую жизнь Толстого, в его психологию открывается какой-то большой, яркий просвет. Сам Толстой чувствует, что он прежде всего судия, а не пророк, а ему хотелось бы, надо было бы быть пророком, надо бы *запечатлеть, освятить* в пределах человеческого разумения суровостью своего учения, суровостью

своей личной жизни и страданием — свой путь, свою критику, свое отрицание и свою любовь... Но «мне хорошо, слишком даже хорошо» — говорит и повторяет он теперь, как почти с отвращением писал и говорил раньше: «Мне, в моей *исключительно счастливой* жизни...» И вот какая-то неудовлетворенность, неравновесие — исключительные и великие, но все же неудовлетворенность и все же неравновесие. <...>

VI

Налево, за въездом в парк, сейчас же — большой пруд, в котором полощатся яснополянские бабы и ребятишки. Над прудом огромные старые ветлы, каждая чуть не в два обхвата... Дорога по парку идет все время вверх. За аллеями, очевидно, особенного ухода нет, и они едва поддерживаются. Все производит впечатление старого, запущенного сада, с оврагами и ложбинами, поросшими буйно кустарником. Недалеко от дома разбит большой фруктовый сад. Миновав его, мы неожиданно и неловко очутились в цветнике, возле балкона. Я остановил извозчика, слез с него и передал на имя Льва Николаевича небольшую записку такого содержания: «Лев Николаевич, очень прошу небольшой беседы с вами, если только это возможно по состоянию ваших занятий и здоровья. Ни-коим образом не собираюсь утруждать вас, но есть небольшое дело, требующее свидания; в письмо же это дело не укладывается...»

Надо еще сказать, что по какому-то странному недосмотру я написал эти строки на том самом листике почтовой бумаги, где делал свои заметки о посещении Хитрова рынка... Как это случилось, даже понять не могу...

Я присел на балконе на белый решетчатый стул возле большого семейного стола, на котором, очевидно, только что отзавтракали, — и ждал. Впрочем, ждать пришлось недолго.

Через 2—3 минуты на балконе показался маленький, сухонький старичок, одетый совсем по-домашнему: в белой ночной рубашке, запущенной в брюки, с подтяжками поверх, в легких летних брюках, затасканной шляпе на голове и с палочкой в руках. Телодвижения скорые, бодрые; выговор совершенно ясный; голос без всякой хрипоты... В этом старичке мне нетрудно было узнать Льва Николаевича. Я смущенно поздоровался.

— Здравствуйте, здравствуйте, — быстро заговорил Л. Н., протягивая руку... — О каких тут босяках вы пишете? Это интересно. Присядьте и расскажите мне...

Увидев в его руках свое письмо, я догадался, в чем дело, и наскоро передал, что был по дороге на Хитровом рынке, говорил с босяками...

— Что за охота — не понимаю. Ну что там интересного? Босяк как босяк. Всегда они были, долго еще будут... Пьянствуют, лентяйничают, и ничего больше. Выдумали тоже моду — босяки, — не без раздражения сказал Толстой...

— Пожалуй, Лев Николаевич, оно так и есть. Только все же Хитров рынок — эта та самая пропасть, та яма, куда немало нашего брата, вольного интеллигента, сваливается... Ну, страшно и хочется заглянуть туда, а заглянешь — голова кружится...

— Так ведь это простое любопытство, и даже нехорошее любопытство, потому что сваливаться туда совсем не надо. И заглядывать, пожалуй, не следует, раз никакого дела нет. Так — мода... А кстати, если вы не устали, пойдете-ка пройдемся.

Мы пошли в парк. Лев Николаевич продолжал ворчать:

— Босяка выдумали... Ничего не нашли лучше... Потерянные люди, с которыми ничего не поделаешь и поделаться нельзя, и как это не надоело возиться с ними — не понимаю...

— Что они потерянные — это они сами знают. Вон Коновалов¹ говорит у Горького: «Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы, чтобы нас искоренять из жизни... Потому пользы от нас нет»... Только мне думается, что тут дело совсем даже не в реальном босяке, а в том, что его разукрасили нищезанятием, анархизмом, дали ему силу плюнуть на нашу скуку и лицемерие, а пожалуй, воплотили в нем и наше отчаяние.

— Что это наше? Вот у меня, например, никакого отчаяния нет, хотя через два месяца мне исполнится семьдесят пять лет.

— Наше, Лев Николаевич, значит — интеллигентное...

— Ну да, конечно... У интеллигенции кроме других скверных привычек есть еще привычка носиться с своим отчаянием... В конце концов, это только скучно и нисколько не умно. Каких-то пятнадцать человек, заседающих в петербургских редакциях, выдумывают то свою веру, то свое отчаяние и серьезно думают, что это для кого-нибудь и для чего-нибудь важно и поучительно... Надеюсь, вы не думаете, что вся мудрость жизни сосредоточена в петербургских редакциях, — резко обратился ко мне Толстой.

— Сам пребываю в них лет десять, а мудрости, Л. Н., не замечал, — отвечал я.

— Ну, это еще хорошо. Ведь смешно, право. В России сто

тридцать миллионов людей, которые не знают ни отчаяния, ни босячества, ни петербургских редакций. Живут эти люди, и многие из них стараются хорошо жить, как можно лучше, по-божьи. Вот у меня в кабинете сидит теперь Новиков², простой мужик. Умница замечательный. Я вас с ним познакомлю, а вы потолкуйте с ним хорошенько и увидите, что это вот важно, а совсем не ваш босяк, не ваше отчаяние...

Толстой шел скоро, ничуть не задыхаясь, то и дело неожиданно останавливался и смотрел мне прямо в глаза, что меня очень смущало. Я заметил, что мои возражения ему совсем не нравятся, вызывают даже какие-то раздраженные нотки в его голосе, и я стал на их счет гораздо осторожнее.

— Итак, что же... Отчаяние?— спросил Толстой, в упор смотря на меня...

— Ну, это, быть может, слишком сильно сказано... А что греха таить, Л. Н., скучненько как-то. Ждешь, ждешь этого давно обещанного обновления жизни, простора какого-нибудь для себя, своей работе, для других. Вместо этого жизнь еле плетется по тине и кочкам, грязная, усталая, жестокая, — от того, что, быть может, слишком она измучена или кружит по сторонам, точно ее бес какой водит...

— И уж поверьте, оттуда, откуда вы ждете обновления и простора, вы никогда его не дождетесь. Все ваши надежды вы возлагаете или на какую-нибудь случайность, или на всемирную войну — что уж совсем безобразно, — или на что-нибудь вообще, что вне вас. Это вот большая ошибка, не отказавшись от которой вы никогда не поймете ни смысла, ни красоты жизни. Начинайте с себя. Нет в жизни никого и ничего сильнее человека, когда он захочет быть свободным и сильным. Ему надо только понять, что никого и ничего нет сильнее его. И раз он это понял, ничто и никто ему ни в чем не помеха, не указ... Быть собой, по-своему верить и думать — разве это так трудно, разве это невозможно при каких бы то ни было обстоятельствах и условиях?..

— Ох, как все это трудно и какая сила нужна для всего этого! — совершенно искренне вырвалось у меня...

— Разумеется, без сил ничего поделать нельзя... Разве опуститься до Хитрова рынка, — сказал Толстой. — Но сила есть в каждом из нас, в каждом человеке ее заложено столько, что себя-то привести в порядок он всегда может...

— В унижении он, Л. Н., в грязи...

— Откопать себя надо и в себя поверить... Вам это кажется и не может не казаться трудным, потому что весь ваш горизонт — стены петербургских редакций, где вы варитесь в

собственном соку. Выйдите-ка оттуда на простор, посмотрите, чем живут и чего ищут сто тридцать миллионов народа. А ведь они несомненно живут, несомненно ищут, только видеть вы этого не умеете, а пожалуй, и не хотите. Просто вам это неинтересно... Читаю я ваши журналы...

Лев Николаевич развел руками, а я насторожился...

— Ну, вот читаю я ваши журналы... Издаются, пишутся и печатаются они в Петербурге или в Москве. С обложкой спорить не стану. Но всегда кажется мне, что издаются и пишутся они не в Петербурге и Москве, горделиво ставящих себя во главе России, а где-нибудь в самой глухой провинции, откуда в три года ни до какого государства не доскачешь. Право, так... Какая-то печать глубокого, наивного провинциализма лежит на всех этих столичных писаниях, и, скажу, провинциализма дурного тона... Ни выбрать чего-нибудь важного и интересного для всех они не умеют и не умеют остановиться на этом важном и интересном... Самое для них главное и большое — это, очевидно, то, что происходит в их собственных литературных приходах и кварталах. Об этом они готовы звонить без конца с тем же усердием, с каким провинциалы обсасывают каждое свое происшествие и каждую сплетню. Ужасно раздувают событие какое-нибудь, вроде того что Боголепов написал статью, где сказал то-то и то-то, а Нелепов написал на эту статью возражение... И шумят и волнуются... Никогда не мог я понять, почему это важно, что написал Боголепов и что возразил Нелепов. Потом, снявши шапки, приподнявшись и шепотом, начинают — бог знает в который раз — пережевывать то, что сказали Белинский, Добролюбов, Михайловский... Это, скажите пожалуйста, кому нужно? <...> Совсем, говорю я, как провинциалы, которые департаментского курьера принимают за генерала. Скучно это, и надо вам всем на свежий воздух...

Конечно, многие из этих слов Толстого мне было очень тяжело слушать, и многое мог бы я возразить ему на это. Я молчал и ждал...

— Что это я так разговорился сегодня? — продолжал Толстой... — Ну, все равно... Возьмите хотя бы русскую литературу. Какая она большая, как жадно и настойчиво искала она всегда Бога и смысла жизни, как любила народ и верила в него! Но в лучшем и ценном она если не забыта, то почти не упоминается. На сцене то, что выдвинуто модой, минутой, днем — или великие люди маленьких литературных приходов... А впрочем, бог с ними совсем... Посмотрите, какая рожь... Вот тут вчера я вырвал колос поразительно высокий, какого еще не видал в своей жизни. Вернулся домой и смерил: три

аршина шесть вершков. Ничего подобного не запомню... Вот и этот, пожалуй, такой же будет...

Толстой долго и любовно смотрел на выколосившееся поле... Что-то особенное, милое, торжественное было у него в лице, какая-то чуть-чуть затуманенная, любовная пристальность во взгляде... Кто же знает, кто это может сказать, что в такие вот минуты происходит в душе великого человека, какая тайна общения с природой происходит там, тайна претворения вот этого буйного молодого хлеба, этих зеленых полей, этого свежего чудного воздуха в мечту о мире всего мира, счастье всех, здоровой человеческой жизни вообще!..

Толстой снял шляпу, смахнул платком с лица какую-то думу и обыкновенным своим скорым голосом сказал:

— Да, читают не то, что следует... Гоголя только к юбилею вспомнили, Тургенева как будто совсем забыли... Вы о чем теперь пишете?— спросил он меня.

— Больше о текущем. Написал восторженную статью о «На дне»...

— Это, пожалуй, и напрасно. Эти босяки в плащах, в шляпах со страусовыми перьями и при шпагах могли бы уже набить оскомину... А еще о чем?

— О «В тумане» Андреева. Пришлось, в сущности, ответить на массу писем в редакцию, которые вызвал этот рассказ...

— Какие письма?

— Почти такие же, какое поместила Софья Андреевна в «Новом Времени»³. Я возразил, как мог...

— Это вот следовало сделать. Андрееву ли или кому другому, во всяком случае, следовало указать на факт этой ранней похотливости и того отвратительного выхода, который она себе находит. У Андреева это сделано грубовато, но в общем хорошо. Ну, еще что?..

— Только что закончил статью, где провожу параллель между вами и Руссо... Поразительно, какие у вас схожие, почти что те же мысли...

Толстой сразу оживился...

— Конечно, конечно. Руссо я любил всю жизнь, с самой юности и всегда им увлекался. Мне думается, что вся литература XIX века, весь ее реализм от него. Для своего времени его «Исповедь» была откровением. Это огромная вещь. Пусть он был болен и раздражен, но его стремление к правде, к тому, чтобы освободиться от литературных прикрас, несомненно. И он достиг многого.

— Вы, Л. Н., знакомы с кругом наших читателей... Кого бы им рекомендовать?.. Они частенько запрашивают...

— То-то вот и горе, что, собственно, никого рекомендовать нельзя и не надо. Хорошего много, очень много, но действительно хорошо только то, что искал человек, что ему особенно нужно в данный момент. Важно, чтобы книга отвечала на запросы, и серьезные запросы человека. А они у каждого в разные моменты разные. Главное, чтобы он искал ответов; тогда и понимается и запоминается легко... Главное, чтобы такая-то вот книга была ему нужна. Помню, когда в шестьдесят первом году вышло Положение о крестьянах, я шесть месяцев читал и перечитывал его и не мог запомнить ни строчки; а когда сам стал мировым посредником, то что-то очень скоро знал то же Положение чуть ли не наизусть⁴. Словом, чтобы указать книгу, надо знать читателя и чего он ищет. <...>

IX

...Сажень в 30-ти из-за ветвей показался белый барский дом. Мы возвращались тою же дорогой, какой вышли из него. Как это часто бывает, те же предметы вернули к тем же мыслям и темам. Лев Николаевич опять заговорил о новых писателях...

— Я кое-кого из них очень любил как людей, потому что они хорошие. Талант у них есть, но бог знает, что они с ним делают, или, лучше сказать, что делают с ним газеты, критика, публика... Так превознести — ведь это что же такое?..

— Нервное время, Л. Н. ...Все сразу хотят найти ключ ко всем замкам и одну разгадку всех загадок. Ну и набрасываются...

— Рекламное время... Ничего подобного я не видел за всю свою жизнь. Ни о Тургеневе, ни о Герцене никогда так не кричали... Это печально прежде всего потому, что, выдумывая себе кумиров и «писания», люди как ширмами закрывают от себя настоящую живую жизнь. А в ней столько поучительного и бодрящего... Ну, пойдемте, я познакомлю вас с Новиковым...

* * *

Мы прошли в библиотеку. Здесь сидело несколько человек. Завязался общий разговор о народе, в котором Лев Николаевич почти не принимал участия. Молчал и я, слишком полный предыдущей беседой. Через полчаса один из гостей стал собираться домой. Поднялся и я. Толстой удерживал, предлагал

отдохнуть, пообедать. Но я поблагодарил и распрощался.

У меня было три важные причины торопиться.

Во-первых, в доме ждали одного из сыновей Льва Николаевича — Михаила Львовича. Его вещи уже прибыли, и, увидев их, Толстой стал нервничать и все справлялся, не едет ли Миша?

Во-вторых, я стараюсь держаться сократовского правила: не наедаться досыта. Мне было так хорошо в Ясной Поляне, что хотелось увезти самое милое впечатление. Я боялся остаться, чтобы не испортить его. Мало ли что могло случиться: могло, например, вырваться какое-нибудь неосторожное, ненужное слово, за которое потом пришлось бы казниться.

В-третьих, я поторопился записать под свежим впечатлением слышанное от Толстого. Я рассчитывал сделать это в Туле до отхода вечернего поезда в Москву.

Поблагодарив Льва Николаевича и попросив у него разрешения побывать еще как-нибудь, я с М. П. Новиковым сел на извозчика и поехал в Тулу...

Всю дорогу мы проговорили о Толстом, которого мой спутник лично и близко знает уже 7 лет. <...>

«ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

И. И. ПОЦОВ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ТУРИСТА

(Ясная Поляна)

Из Москвы я написал письмо Л. Н. Толстому с просьбой назначить время, когда я мог его навестить. Утвердительный ответ не замедлил, и я 16 октября в час ночи сел на товарно-пассажирский поезд М.-Курской железной дороги.

В Ясную Поляну, обыкновенно, ездят через Козловку (первая станция за Тулой или через Тулу, от которой до усадьбы Л. Н. Толстого 15 верст). По случаю осенней распутицы я избрал более длинный путь и поехал через ст. Ясенки, где всегда можно найти лошадей и дорога до Ясной Поляны большей частью идет по шоссе. На лошадях пришлось ехать 7 верст.

В 10-м часу утра я сел в пролетку, запряженную парой крепких крестьянских лошадок. Было довольно холодное утро; холодный сырой туман пронизывал до костей; я плотнее закутался в плед. Лошадки быстро бежали по тульскому шоссе. Справа и слева на большое пространство шли сжатые поля, на которых то и дело обрисовывались ярко-зеленые озими или черные, подготовленные к весне, новины, изредка попадались запоздалые пахари, боронящие и вспахивающие поля. Дубовые, липовые, кленовые и ольховые рощи стояли уже без летнего наряда, и только темно-зеленая ель или белое пятно снега оживляли осенний ландшафт. На шестой версте мы свернули на проселочную дорогу и по мерзлому грунту быстро подвигались к знаменитой Ясной Поляне, известной всему миру и имеющей в наше время несравненно большее значение, чем вольтеровский Ферней в XVIII ст. (олетии). Как некогда в Ферней, так еще в значительно большем количестве в Ясную Поляну стекаются знаменитости всего мира, представители науки, литературы, искусства; отсюда идет и сектант, и искатель истины, и человек, метущийся в поисках правды, и тот, кому нужна защита и нравственная поддержка, и тот, кто жаждет разрешения «проклятых вопросов».

Брандес и Вогюэ¹ говорят, что в истории нет примера, чтобы великий человек дожил при жизни до полного и всеобщего признания его, до того апофеоза, который не часто выпадает на долю людей даже после смерти. Лев Толстой редкий

и исключительный пример в этом отношении. Какой-то священный трепет и сознание собственного ничтожества невольно охватили меня, когда я подъезжал к знаменитой усадьбе. Само собой разумеется, что разговор с ямщиком все время вертелся исключительно около личности графа — так крестьяне называют Льва Николаевича. Еще на вокзале, когда я обратился к ямщикам с предложением возить меня в Ясную Поляну, ямщики наперерыв друг перед другом предлагали повозки.

— Вы к графу — пожалуйста, что заплатите — всем буду доволен.

— Я к графу часто возил: быстро домчу...

— Возьмите меня — я графа знаю, почитай, сорок и больше лет.

Мне казалось, что ямщики с какой-то особенной радостью и любовью предлагали свои услуги, когда услышали, что я еду в Ясную Поляну; их, по-видимому, не столько интересовала плата, сколько возможность еще раз повидать «графа». Ямщик, который меня повез, без всяких с моей стороны расспросов стал рассказывать о Льве Николаевиче.

— Добрейший человек... Всегда поможет бедному... Крестьяне живут у него хорошо... Всех их знает, да как и не знать — почитай, все на глазах его выросло, всем помогал, давал советы. Всегда по имени-отчеству величает. Добрейший человек... Да все они добрые. Помогают деньгами, лесом, дровами, всегда скажут доброе слово. Нужна солома — солому дадут, лес — лес. Нынче летом шесть изб сгорело, и граф приказал выдать из усадьбы лес, солому; дал денег, и погорельцы выстроили избы лучше прежних... И народу же к графу ездит; летом каждый день по несколько человек. Вот вы приедете, а у него уж кто-нибудь есть... В августе у графа юбилей был; рождение справлял, и наехало же народу — страсть, я два раза на станцию ездил...

В разговорах с ямщиком мы незаметно проехали шоссе, оставили позади несколько усадеб, свернули на проселочный тракт и въехали в Ясную Поляну. Попадавшиеся навстречу крестьяне приветливо кланялись, а ямщик с какой-то радостью докладывал всем и каждому:

— К графу.

— С богом, — слышится в ответ, и мне кажется, что картуз с головы мужика снимается с особенной приветливостью.

Ясная Поляна вытянулась по обеим сторонам довольно длинной улицы. Каменных изб, построенных вполне фундаментально, кажется, больше, чем деревянных. Слева на пригорке расположилась знаменитая усадьба; видны белые под

зеленой крышей надворные постройки, флигель, где когда-то помещалась известная яснополянская школа, составившая событие в истории нашего школьного дела.

Вот и каменные ворота, известные по фотографиям всему миру. По правому берегу пруда; по тополевой аллее, поднявшись на пригорок, обогнув площадку-цветник, обсаженную сиренью, и проехав мимо ели, под которой так любит летом проводить отдых Лев Николаевич, мы подъехали к известному всем и каждому длинному двухэтажному дому.

Терраса, часто фигурирующая на фотографиях, теперь, по случаю осени, заколочена и завалена садовыми стульями. Мы обогнули ее, и я не без трепета вошел через маленькую дверь в знакомую большую переднюю с широкой лестницей наверх. Я передал лакею визитную карточку, и через несколько минут меня попросили наверх.

Я вошел в обширную, увешанную фамильными портретами столовую, с большим чайным столом посередине комнаты.

— Очень рад вас видеть, — слышался приветливый голос.

Ко мне навстречу шел Лев Николаевич в своем обычном костюме-блузе, подпоясанной ремнем, и в высоких сапогах...

Первое впечатление было наилучшее. Лев Николаевич выглядит значительно моложе своих лет. Положим, борода, волосы и брови — темно-седые, но и не желто-седые, как это бывает у многих стариков. Ни один из портретов Л. Н. не передает приветливого выражения его глаз. Обыкновенно на портретах он выглядит суровым стариком, а на самом деле на меня смотрели замечательно ясные и приветливые глаза, глубоко проникающие в душу. Я извинился перед Л. Н., что просил разрешения посетить его.

— Полноте, я очень рад вас видеть, побеседовать с вами. Это важно и для меня. У меня в Сибири могут быть дела, поручения, и я буду обращаться к вам.

Я, конечно, изъявил полное согласие, Лев Николаевич познакомил меня с сидящими за столом д-ром Г. М. Беркенгеймом, Х. Н. Абрикосовым² и другими лицами. Познакомивши Л. Н. с последними новостями Москвы, мы заговорили о войне с Японией, причем на мое замечание, что война довольно вероятно, Л. Н. сказал:

— Это ужасно. Как люди мало понимают свои интересы. Как они еще жестоки. Война — это ужасно. Какие такие интересы могут быть, чтобы служить оправданием убийству?

Лев Николаевич никогда не меняет режима своего дня. Утром он гуляет четверть часа, затем пьет чай и идет работать. До двух часов он обыкновенно пишет свои статьи и художественные произведения.

В настоящее время он занят критикой Шекспира³. «Хаджи-Мурат» еще не закончен, но, по отзывам читавших, этот роман-повесть должен быть одним из тех художественных шедевров, какие только может писать Лев Толстой.

В настоящее время Лев Николаевич не работает в своем кабинете со сводом, известном по фотографиям, так изолированном от всего дома, что туда не проникает никакой шум. После болезни кабинет перенесли наверх в парадные комнаты, где больше света и воздуха.

Оставшись за чайным столом без Л. Н., мы повели беседу, конечно, о Л. Н. Г-н Абрикосов и врач Г. М. Беркенгейм с большой любовью и теплотой отзывались о Л. Толстом.

— Толстого ценят как великого художника, мыслителя, вполне искреннего и в высшей степени отзывчивого человека, — говорил г. Беркенгейм, — но как-то мало говорят о его доброте и мягкости. А это замечательно добрый человек, постоянно болеющий о других, умеющий проникнуть в измученную душу другого и найти для него утешение. Посмотрите на его добрые глаза, которые умеют проникновенно смотреть на вас.

Действительно, глаза у Л. Н. замечательно добрые, вдумчивые и придают его суровому лицу большую мягкость и даже нежность.

Столовая, в которой мы сидели, не раз была описана, а потому останавливаться на ее описании, равно как и на описании и других помещений, я не буду. По-прежнему на стенах висят фамильные портреты Толстых, Горчаковых и кн. Волконских, между последними дед и бабушка гр. Софьи Андреевны, описанные Толстым в «Войне и мире» в лице Андрея и Марьи Болконских⁴, здесь же стоят бюсты Льва Николаевича, число которых за последнее время увеличилось бюстом работы кн. Трубецкого, прекрасно исполненным и удачно схватившим выражение Л. Н.

Обстановка комнат и библиотеки также не изменилась. Л. Н. против всяких перемен, и его желание свято исполняется.

К завтраку в 12 ч. вышла Софья Андреевна, и у нас завязался оживленный разговор по поводу последних событий, а затем мы заговорили о Л. Н.

Софья Андреевна рассказала мне два эпизода из его жизни, о которых где-то вскользь было упомянуто. Во время Севастопольской войны Л. Толстой, уже автор «Детства» и «Отрочества» и других рассказов, был назначен в 4-ый бастион, считавшийся в числе опаснейших бастионов Севастополя. Об этом узнал император Николай I. Немедленно через специального курьера император приказал перевести Толстого в менее

опасное место, написав главнокомандующему, что «жизнь Толстого нужна для России»⁵.

Второй эпизод касается XIII т. сочинений Л. Н. и его «Крейцеровой сонаты», которые были задержаны цензурой. Софья Андреевна получила аудиенцию у императора Александра III, после которой сочинения были выпущены в свет⁶.

Софья Андреевна также мало походит на те портреты, которые мне приходилось встречать. Она значительно моложе своих лет, очень живой и интересующийся всем человек, посвятившая всю свою жизнь Льву Николаевичу и нежно заботящаяся о нем. Из детей Л. Н. во время моего пребывания в Ясной Поляне была только Татьяна Львовна.

В 2 ч. Лев Николаевич закончил работу и вышел к завтраку, а затем мы отправились гулять. Насколько еще крепок великий писатель земли русской, можно судить по тому, что пешком мы прошли около 6 верст. Дорога от Ясной Поляны до Козловки и затем лесом до тульского шоссе не особенно удобна для ходьбы, особенно во время осенней распутицы. Но Л. Н. прошел этот путь, не обнаруживая усталости, а затем с легкостью кавалериста сел верхом на лошадь и еще проехал версты 4. А накануне моего приезда д-р Чуковский встретил Л. Н., едущего верхом, в 15 верстах от Ясной Поляны. После прогулки Л. Н. спит около $1\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ часа, а затем в 6 часов обедает со всеми. После обеда он идет просматривать почту и писать письма и выходит к вечернему чаю, и день заканчивается в беседе с посещающими его лицами или за чтением газет, журналов, брошюр, которые посылаются ему на всевозможных языках со всех концов мира. Л. Н. с большим интересом расспрашивал о Сибири, задавши вопрос: «Что, Сибирь обеднела?» Когда я это подтвердил, он заметил: «Так и должно быть» — и распространился о железной дороге, способствующей, при условиях нашей жизни, вывозу необходимейших продуктов и взамен этого не дающей населению почти ничего. Он подробно расспрашивал о бурятах, очень заинтересовался мифом ламаитов об искуплении (Арья-Балло)⁷, а затем разговор у нас перешел на общие темы.

Причиной многих несчастий в жизни и неустойств является то обстоятельство, что мы не живем согласно своим убеждениям, а делаем много сделок с совестью, являемся оппортунистами. Между тем такие сделки ничего, кроме вреда, не приносят, и оппортунисты, идя на компромиссы, не могут предвидеть всех последствий этого печального факта. На мое замечание, что в наше время трудно согласовать все поступки с своими убеждениями, Л. Н. категорически ответил:

— Должно. Вы не можете себе представить всего вреда от

таких поступков. Нужно сохранить моральную чистоту, нужно стремиться к самоусовершенствованию, а путь компромиссов не для этого.

Л. Н. предложил мне прочесть статью Джемса⁸ о духоборах, только что им переведенную с английского языка. Статья замечательно интересная: я еще нигде не встречал такого ясного изложения мировоззрения духоборов. Джемс весной нынешнего года посетил в Канаде 30 деревень духоборов и работал с ними на железной дороге. Он с большим восторгом отзывается об их организации, о них самих, о том душевном приеме, с каким они отнеслись к нему (<...>). В духоборах Л. Н. видит яркий пример того, как нужно жить, как легко не делать компромиссов. По этому поводу у нас возник очень любопытный спор, который, к сожалению, трудно воспроизвести. Между прочим, во время спора им был высказан и такой парадокс: газетная и журнальная деятельность в настоящее время ничего, кроме вреда, принести не может, п(отому) ч(то) в этой сфере компромиссы чрезвычайно часты и неизбежны.

Русскими газетами Лев Николаевич вообще недоволен; у нас, по его мнению, нет ни одной газеты, которая рассматривала бы вопросы исходя из этой передовой мысли, которая постепенно завоевывает себе положение на Западе. Но он не сомневается, что пройдет 20—30 лет, и у нас появятся такие газеты. Обсуждают же теперь газеты вопросы, о которых в 70-е годы и невозможно было думать.

Во время разговоров затрагивалась масса и других вопросов, между прочим, о театре, о котором Л. Н. выразился так: «Он существует для женщин, детей и слабых». Все эти вопросы показывают, что беспокойная мысль великого художника неустанно работает, он ищет пути правды и в общем его мировоззрении совершалась за последние 20 лет замечательная эволюция, поставившая его в первом ряду передовых мыслителей.

Нечего говорить, что все эти разговоры производят на посетителя глубокое, часто потрясающее впечатление, которое забыть невозможно.

Образ великого художника и мыслителя всегда будет стоять перед вами, и вы с удивлением смотрите на него и думаете: как беспредельно он велик и благороден и как ничтожно все остальное.

Под таким впечатлением, простившись с милыми и радужными хозяевами, я оставил Ясную Поляну.

Лежа на мягком диване вагона I кл(асса), я воспроизвел в памяти мельчайшие подробности проведенного дня.

Величавый образ великого человека стоял предо мной: я чувствовал всю суету сует, мишурность всего того, к чему мы привыкли, что связало нас, а между тем загадка жизни проста, и как легко разрешил ее этот замечательный человек; он со спокойной совестью смотрит назад, с любовью вокруг себя и смело глядит вперед, несмотря на то что стоит у заката своей жизни. Величавость его растет, скромный по виду, бедный по одежде, он блестит, как та яркая звезда, которой вечно будет удивляться и восхищаться мир, пока он будет существовать.

«РУСЬ»

А. ЗЕНГЕР

У ТОЛСТОГО

⟨...⟩ В графский двор ворота ведут, как во все старые дворянские дома: две башенки круглые, по бокам и около них сторожка; но сторожка, как водится, давным-давно уже превращена в кладовую для картофеля и капусты, а собственно ворот... ворот нет и вовсе: так — одна дыра.

Минуем дыру. Старым чем-то веет, хорошим от аллейки этой, от пруда, от парничков, разбитых по правую руку, точно к себе возвращаешься после долгой, долгой отлучки в забытый, милый дом, где будут тебя поить вкусным кофеем с густыми сливками, кормить румяными, горячими булочками и ласкать и приговаривать: «Экий ты худой да бледный... Отдохнуть тебе надо...» Такое детское ощущение...

Но не домой ведь я еду; и везет меня не мой старый Митрей, а кучер графа Толстого — Андрей; и привык этот кучер возить разных знатных иностранцев, и горды эти иностранцы, и потому...

Лезу в кошелек — пока здесь в аллее нас никто не видит — выискиваю там полтинник и сую Андрею в руку. Смотрит на меня, смотрит на полтинник, а потом без одного слова сует деньги в карман и почему-то стегает лошадь... Глупо выходит. И за него стыдно, и за себя.

А вот и дом... Да, да! Совсем такой, как видели мы в детстве: чистенький, беленький, низенький и сбоку крытый балкон стеклянный; на балконе стол, на столе самовар, на самоваре кофейник...

Только — вспоминаю — я-то здесь чужой, пришлец, врывающийся со стороны в покой старого человека. И неловко мне радостно и свободно идти на этот балкон, а надо стоять у крыльца, заботливо обтирать ноги о коврик да тревожно выпрашивать лакея:

— Встал ли? Как здоровье? Не помешаю ли?

— Позвольте, я доложу, — слышу ответ.

— Вот моя карточка...

И уходит; через две минуты является вновь:

— Попросят обождать несколько; сейчас выйдут... Да вы пройдите, барин, на балкончик-с...

А из балконной двери уже выглядывает чье-то славное, бородатое лицо и произносит:

— Войдите, пожалуйста.

Вхожу; стесняюсь, конечно; странно как-то: как же, первый раз в доме, и вдруг так сразу — прямо с дороги и к столу...

— Садитесь, садитесь... Ваша так фамилия? А я Толстой (сын Льва Николаевича). А вот это... (называет имя). Вам чай? Кофе? Все есть... Вы откуда? Из Москвы? Хоронили Чехова?..¹ Папа будет доволен... Он хотел кого-нибудь повидать из газет... Хочет поговорить об Антоне Павловиче и еще кое о чем... Пейте же, пожалуйста...

Итак, сидим за столом, говорим; еле-еле я отвечаю, потому что думаю: «Сейчас вот позовут меня к нему; пройду и увижу его в полутемном кабинете, заваленном книгами, тихо сидящим на кресле...»

И вдруг чувствую я, что совершенно против моей воли какая-то сила подымает меня на ноги... И, не понимая еще, встаю и смотрю: резко хлопает балконная дверь, и твердыми, частыми шагами входит низенький старичок, с лицом, сплошь поросшим волосами, в белой мягкой шляпе на голове. И быстро подходит ко мне и берет меня, оробевшего, за руку и говорит:

— Такой-то? Очень рад... Я — Толстой...

Портретисты его изображают неверно. Глядя на него, вы не замечаете ни той бороды, которую так тщательно выписывают художники, ни шишковатого, особенного лба, ни сурового выражения лица...

Вы видите прежде всего одни глаза: небольшие, круглые и — в этом их особенность — совершенно плоские и одноцветные — сияющие; точно на сильный источник света смотришь: видишь сплошное сияние и различить не можешь — откуда и как оно происходит... Остальное — и широкий нос, и высокий лоб, и брови густые, и борода, и даже все тело — кажется пристроенным к этим глазам, сопровождающим их... Сначала глаза, а затем уже все прочее... Таким кажется мне Толстой.

Проходит мимо стола, не садясь; ко мне обращается:

— Вы не боитесь ходить?

— Нет, помилуйте (хочется почему-то назвать его «граф»), Лев Николаевич...

Смотрит заботливо на мои ноги, облаченные в франтоватые столичные ботинки.

— Вы без калош? Ну пойдем там, где калош не надо...

Выходим; спускаемся с лестницы; быстро он идет; исподлобья взглядывает на меня:

— Я рад, что заехал ко мне кто-нибудь из газеты... Мне хочется несколько слов сказать про Чехова и про реформу орфографии; сам не соберусь писать...

Говорит... Право, я сейчас, как и тогда, не могу уловить ни звука его голоса, ни его интонаций... Непосредственно воспринимал то, что говорил он, помимо его голоса.

— Так, скончался Антон Павлович... Хорошие похороны, говорите, были? Ну, отлично... Речей не было? По его желанию? Прекрасно, это прекрасно. Не надо речей... Я именно поэтому и не принимал никакого участия в его похоронах... Я противник всяких демонстраций... Даже и Тургеневу еще, — он нарочно ко мне приезжал, приглашал на пушкинские торжества, — отказал тогда по тем же соображениям; потому что это мой давнишний взгляд: не надо демонстраций никаких, особенно посмертных... Но вот, раз вы заехали, я могу вам высказать то, что думаю о Чехове...

Взглядываю на него: идет так же бодро и скоро, смотрит в землю и руки заложил за спину.

— Чехов... Чехов, видите ли, это был несравненный художник... Да, да... Именно несравненный... Художник жизни... И достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще... А это главное... Я как-то читал книгу одного немца, и там вот молодой человек, желая сделать своей невесте хороший подарок, дарит ей книги; и чьи? Чехова... Считая его выше всех известных писателей... Это очень верно; я был поражен тогда...

Он брал из жизни то, что видел, независимо от содержания того, что видел.

Зато если уж он брал что-нибудь, то передавал удивительно образно и понятно — до мелочей ясно... То, что занимало его в момент творчества, то он воссоздавал до последних черточек...

Он был искренним, а это великое достоинство; он писал о том, что видел и как видел...

И благодаря искренности его, он создал новые, совершенно новые, по-моему, для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде! Его язык — это необычный

язык. Я помню, когда я его в первый раз начал читать, он мне показался каким-то странным, «нескладным»; но как только я вчитался, так этот язык захватил меня.

Да, именно благодаря этой «нескладности», или не знаю, как это назвать, он захватывает необычайно и, точно без всякой воли вашей, вкладывает вам в душу прекрасные художественные образы...

Я смотрю на Льва Николаевича и невольно смеюсь... Ведь это же о своем языке говорит он так убежденно, почти сердито... Он с удивлением взглядывает на меня.

— Простите, Лев Николаевич,— спешу я объяснить свой смех.— Но ведь это именно ваше свойство: писать совершенно новым, простым языком и, благодаря этому языку, особенно захватывать читателя!..

— Нет, нет!..— отвечает он сердито и потряхивает головой.— Я повторяю, что новые формы создал Чехов, и, отбрасывая всякую ложную скромность, утверждаю, что по технике он, Чехов, гораздо выше меня!.. Это единственный в своем роде писатель...

— А Мопассан?— решаюсь я предложить давно вертящийся на языке вопрос.

— Мопассан?— повторяет он...— Да, пожалуй... Но я затрудняюсь еще, кому отдать предпочтение... Вы записали?

Он все время внимательно следит, чтобы дать мне возможность занести в свою книжечку его слова...

— Записали? Я хочу вам сказать еще, что в Чехове есть еще большой признак: он один из тех редких писателей, которых, как Диккенса и Пушкина и немногих подобных, можно много, много раз перечитывать,— я это знаю по собственному опыту...

Я боюсь сердить его и потому не говорю уже, а только думаю: «Опять же это ваше главное свойство... «Война и мир», «Анна Каренина» — кто из нас не перечитывал этого десятки раз?»

А Толстой заканчивает уже свою речь:

— Одно могу сказать вам: смерть Чехова — это большая потеря для нас, тем более что, кроме несравненного художника, мы лишились в нем прелестного, искреннего и честного человека... Это был обаятельный человек, скромный, милый...

Последние слова Толстой произносит сердечно и задумчиво... Мы идем по узенькой аллейке, поросшей травой; то остановимся, и он, глядя прямо мне в глаза, высказывает свои мысли, то опять пойдем, и он говорит, смотря в землю... Вдруг он резко меняет тон:

— Ну, а теперь я вам скажу о другом. Это мелочь, конечно, но об этом столько говорят, что я уже давно хочу сказать по этому поводу несколько слов... О реформе правописания...²— Он минуту думает и затем решительно произносит:— Помоему, реформа эта нелепа... Да, да, нелепа... Это типичная выдумка ученых, которая, конечно, не может пройти в жизнь. Язык — это последствие жизни; он создан исторически, и малейшая черточка в нем имеет свое особое, осмысленное значение...— Голос Льва Николаевича становится опять сердитым.— Человек не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь; это бессмысленно — пытаться исправлять природу, бессмысленно... Говорят, гимназистам будет легче. Да, может быть, но зато нам будет труднее; да и им будет легче только писать, а читать они будут дольше, чем мы читаем...

Для меня, например, очень трудно разбирать письма без твердого знака: сплошь да рядом читаешь и не знаешь, к какому слову отнести промежуточную букву: к предыдущему или последующему...

Ну, к этому еще можно привыкнуть; вы так и запишите: к отсутствию твердого знака можно привыкнуть... Что же касается до уничтожения «ъ», «ь» и прочих подобных букв, то уж это нелепо...

Это, как я уже сказал, упростит, может быть, письмо, но зато безусловно удлинит процесс чтения: ведь мы только пишем по буквам; читаем же вовсе не по буквам, а по общему виду слов. Мы берем слово сразу нашим взглядом, не разбивая его на слога; и потому для всякого читающего каждое слово, обладая своеобразным написанием, имеет свою особую физиономию, которую ей создают именно эти «ь» и «ъ». И благодаря этой физиономии я узнаю это слово, даже не вникая в него, как узнаю знакомое лицо среди сотни других, менее знакомых; и потому я такое слово воспринимаю легче других... Вот я очень бегло читаю, так что вижу всегда несколько вперед; и если, например, я впереди вижу «ь» в слове «тень», то я уже знаю, что это именно «тѣнь», а не «темя» или что-либо другое; и, зная, что это «тѣнь», я уже предугадываю всю фразу, и мне это облегчает процесс чтения...

Одним словом, благодаря таким «личным» признакам, которыми одарены слова при современном правописании, я получаю возможность читать быстро. Если же написание станет однообразным, то есть каждое слово лишится своих личных признаков, то узнавать мне его будет труднее, и, конечно, читать я буду медленнее...

Дело привычки, говорите вы? Это вот все говорят, но я отвечаю вам вот что: привыкнуть к этому действительно

можно, и не трудно, но что процесс чтения от этого делается медленнее, так это тоже очевидно... А это было бы очень печально.

Мы уже подходим к дому, обойдя большой кусок сада... Толстой молчит немного, затем переходит опять к Чехову:

— Так вы говорите, что не было речей на похоронах? Да? Это очень хорошо. Потому что речи над могилой... Они всегда неискренни. Видите ли...— и тут слова его звучат как-то медленнее, отчетливее.— Видите ли, когда мы стоим перед могилой, то если нам и хочется говорить, то совсем не о том, как жил покойник и что делал... Нам хочется говорить о смерти, а не о жизни; понимаете? Смерть настолько значительное событие, что, созерцая ее, мы уже думаем, не «как жил» человек, а «как умер»...

Он замолкает... Мы уже перед балконом.

Толстой быстро проходит через балкон, захватывает со стола пачку писем и газет и уходит работать. Я прошу разрешения пойти в парк, чтобы обдумать и записать то, что слышал: мне хочется раньше отъезда прочесть еще все Льву Николаевичу; и он оказывает мне и эту любезность: согласен выслушать.

На скамеечке под рослой липой пишу я, беспокоясь и волнуясь, чтобы не забыть чего-нибудь... Ничего, кажется, все как следует... Вот только с реформой правописания; насколько охотно и легко воспринималось все о Чехове, настолько же трудно пишется о реформе. <...>

А вот и опять Толстой. Присаживается к столу, но не ест ничего... Дочка ему рассказывает про какую-то Марью, которую надо в больницу...

— Нет, ты лучше позови того-то и сделай так-то...

— А вот мы только что о Горьком говорили, Лев Николаевич; о его «Человеке»³.

Сразу оживляется:

— Упадок это; самый настоящий упадок; начал учительствовать, и это смешно... Вообще я не понимаю, за что его сделали «великим». Что он сказал: что у босяка есть душа? Это так, но это известно было и ранее... Нового ничего... А вы записали все?— обращается ко мне.

— Да, да, как же... Вы были добры обещать прослушать...

— Хорошо, хорошо... Ко мне пройдемте...

Идем... У самой входной двери маленькая комнатка; вся беленькая, вся светленькая; кровать, покрытая тощим тюфяком и старым одеялом. Садимся у стола. Я читаю, он слушает

внимательно; кое-что исключает, кое-что вставляет... С Чеховым гладко проходит, с реформой хуже...

— Я,— говорю,— Лев Николаевич, записал, как я понял; постарался, насколько мог, стать на вашу точку зрения...

— Читайте... Читайте... Так... Так... Вот это не так, это не мои слова.

Подходит сын...

— Вот, папа, что я еще надумал. Видишь ли, какой еще пример можно дать: если я читаю и вижу в предыдущей строке букву «Ъ» на конце слова, то я уже знаю, что это дательный падеж, и угадываю смысл всей фразы — это облегчает чтение...

— Так, так! — подтверждает Лев Николаевич... — Прекрасно!.. Вы это так и запишите... Дательный падеж. Хорошо... Ну вот теперь все так... Ну дописывайте, а потом приходите на балкон без стеснения... Я буду там...

— Уехать я хочу сейчас, Лев Николаевич!

— Уже? Куда это?

— В Тулу... Я хочу телеграфировать поскорее в газету нашу беседу...

— Телеграфировать? Столько слов?..

— Да, конечно...

Уходит и оставляет меня одного в этом храме, где и дышится, и мыслится как-то свободнее, чем где бы то ни было... Дописываю и выхожу на улицу. У балкона Толстой и плачущая женщина. Мельком долетают до меня фразы:

— Так забрали, говоришь?..

— Забрали, батюшка, забрали... — и всхлипывает.

— Ну ладно, ладно, я дам тебе там немного.

И, заметив, что я хочу вернуться назад, обращается ко мне:

— Идите, идите, пожалуйста. Вот с Софьей Андреевной познакомьтесь...

Графиня здесь... Боже, до чего знакомы все здешние лица... И Софью Андреевну уже будто десятки лет знаешь...

Разговор с ней завязывается оживленный — много общих московских знакомых оказывается, а Толстой садится к столу и завтракает...

Изредка обращается ко мне:

— Вот еще хочу вам сказать: немцы тоже ввели у себя упрощение... Уничтожили «h» и «d» перед «t»; и гораздо стало труднее читать: нельзя привыкнуть, нельзя...

Графиня так любезно спрашивает:

— Что же, вы побудете у нас? Спросили его обо всем?

— Нет, я должен сейчас уехать в Тулу...

— Уже? Стоило приезжать из Петербурга в Ясную По-

ляну на два часа. Как тут у нас хорошо... Слышишь, Лев Николаевич, он уже хочет уезжать!..

— Да, да,— серьезно произносит Толстой,— ему нужно, он должен телеграфировать в газету...

— Ну, вот,— говорит графиня,— теперь вы хоронили Чехова, говорили с Толстым; материала масса...

Смотришь на них — на ласковую графиню, на Льва Николаевича, серьезно кушающего свои бобы, и хорошее, радостное чувство наполняет душу: какие они простые, какие славные... Какая милая, настоящая семья...

А при новом взгляде на Толстого нелепая, но упорная мысль приходит в голову: «А все-таки это не он, не тот, который здесь, передо мною, писал «Войну и мир» и «Анну Каренину».

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Зимой Россию посетил журналист Гуго Ганц, сотрудничающий в австрийских и германских газетах. Как полагается теперь всякому культурному иностранцу, приезжающему в Россию, он посетил и Л. Н. Толстого. То, что он рассказывает о дороге, об яснополянском доме Толстого, о деревне, рассказывалось много раз и русским читателям очень хорошо известно, но беседы с великим писателем всегда дают возможность узнать его мнение по некоторым интересным вопросам, и потому отчеты о них представляют глубокий интерес. Мы познакомим читателя с некоторыми моментами этих бесед.

— В настоящее время,— говорил, по словам Г. Ганца, Толстой,— я всецело нахожусь под влиянием двух немцев. Я читаю Канта и Лихтенберга¹ и очарован ясностью и привлекательностью их изложения, а у Лихтенберга — также остроумием. Я не понимаю, почему нынешние немцы забросили обоих этих писателей и увлекаются таким кокетливым фельетонистом, как Ницше. Ведь Ницше совсем не философ и вовсе даже не стремится искать и высказывать истину... Шопенгауэра я считаю и стилистом более крупным. Даже если признать у Ницше яркий стилистический блеск, то и это — не более как сноровка фельетониста, которая не дает ему места рядом с великими мыслителями и учителями человечества.

Когда собеседник, говоря о Готфриде Келлере², которого Толстой не знал, случайно упомянул имя Гете, Толстой заметил:

— Вы говорите, что Келлер в значительной степени идет от Гете. Ну тогда еще вопрос, буду ли я от него в восторге, ибо я не могу сказать, чтобы особенно любил вашего Гете.

И на восклицание совершенно ошеломленного немца он продолжал:

— У Гете есть вещи, перед которыми я безусловно преклоняюсь, которые принадлежат к лучшему, что когда-либо было написано. К этим вещам принадлежит «Герман и Доротея», но, например, лирические стихотворения Гейне производили на меня более сильное впечатление, чем стихотворения Гете.

— Одно замечание, граф. В таком случае ваше знание немецкого языка недостаточно, чтобы подметить существенную разницу: Гейне — виртуоз, который играет формой, в то время как у Гете каждое слово дышит внутренним чувством и вызвано внутренней необходимостью.

— Про нашего Пушкина тоже говорили, что его величие может познать лишь тот, кто очень хорошо сжился с духом языка. Я думаю, что это все-таки не вполне так. Конечно, перевод — не более как изнанка ковра, но мне кажется, что великие произведения сохраняют и в переводе свои достоинства: язык не может быть решающим в вопросе о ценности поэтического произведения. У Гете меня шокирует именно тот элемент игры, который вы приписываете Гейне. Гете, как и Шекспир, занимается только эстетической игрой, творит только для удовольствия, не кровью сердца... Любовь к человечеству я в гораздо большей степени нахожу у Шиллера и как раз это делает его более близким мне, чем Гете и Шекспир. Шиллер был весь полон священным стремлением к той цели, для которой он писал. У него не было холодного честолюбия артиста, который хочет только получше справиться с сюжетом. Он требует, чтобы ему сочувствовали и сострадали. Я предъявляю к великому художнику три требования: технической законченности, значительности темы и проникновения сюжетом. Из них последнему я придаю наибольшее значение. Можно быть великим писателем, если даже отсутствуют техническая законченность и владение предметом. У Достоевского, например, не было ни того, ни другого. Но нельзя сделаться великим писателем, если не писать кровью сердца... Я сам слишком слабо или слишком плохо был воспитан и не всегда могу заставить себя выдерживать этот критерий. Так, я не могу противостоять очарованию шопеновской музыки, хотя осуждаю ее, как искусство исключительно аристокра-

тическое, доступное пониманию немногих... Я часто смеюсь, но часто и раздражаюсь, когда меня упрекают в том, что мои учения ненаучны. Я утверждаю, напротив, что ненаучны позитивизм и материализм. Если я ищущу учения, по которому я могу жить, то только то логично, последовательно и научно, которое от первых посылок до последних заключений не содержит в себе противоречий. Скептицизм же приходит к полному отрицанию смысла жизни. Но и скептик хочет жить, иначе ему нужно было бы убить себя. А из того факта, что он остается жить, вытекает, что вся его философия для него — не более как игра ума, не имеющая значения для его жизни, — иначе говоря, она для него не истинна. А я ищущу посылки, исходя из которых я не только мог бы жить, но мог бы жить спокойно и весело. Эта посылка — Бог и долг самосовершенствования. С нею я остаюсь последовательным до конца и чувствую, что я прав не только диалектически, но и в отношении практической жизни.

Вернувшись от общих соображений к литературе, Толстой заговорил о Шекспире, о котором он готовит теперь большую работу отрицательного характера³.

— Если бы еще были способны без предубеждения приступить к чтению Шекспира, очень скоро нашли бы совершенно необоснованным благоговейное отношение к нему. Он груб, безнравствен, льстит сильным, презирает малых, клеветает на народ, бескусен в своих шутках, не прав в своих симпатиях, лишен благородства, опьянен успехом у современников, хотя его одобряли только несколько аристократов. И его художественный талант ценят слишком высоко, ибо лучшее он взял у предшественников и в источниках. Но люди слепы. Они под гнетом векового массового внушения. Прямо невероятно, какие представления можно пробудить в головах людей, если постоянно говорить с одинаковой точки зрения об одном и том же.

«РУСЬ»

С.

ОТЗЫВ Л. Н. ТОЛСТОГО

Лев Николаевич Толстой, осведомленный об ужасных событиях, происходивших в Петербурге 9 января¹, глубоко ими взволнован и потрясен.

Рассуждая о причинах и следствиях этих печальнейших явлений русской общественной жизни, нормальное течение которой за последнее время нарушено и переживает сейчас ужасные потрясения, Лев Николаевич не сочувствует обеим сторонам, столкновения между которыми, постепенно обостряясь, дошли до ужасов событий 9 января. Стороне слабейшей не сочувствует он на том основании, что средства, которыми она борется, — по его суждению, истекающему из его столь определенного миросозерцания, — нецелесообразны и что, по его мнению, она потому не достигает своей цели путями, ею избранными: пути эти лишь озлобляют ее и вызывают озлобление противной стороны.

Льву Николаевичу дороги интересы не рабочих-фабричных, а крестьян, и интересы фабричных, по его мнению, не совпадают с интересами крестьян.

Л. Н. сейчас с увлечением пишет большую статью о вопросах, выше затронутых². В этой статье он подробно развивает и дополняет мысли, недостаточно полно и ясно выраженные в известной депеше его, в начале прошлого декабря в американские газеты³. Он объясняет в этой статье кажущиеся лишь с первого взгляда, вследствие краткости изложения, противоречия основных положений названной депеши с суждениями, высказанными довольно подробно в двух его письмах, опубликованных, в большей их части, недавно в № 45 и 51 газеты «Наша Жизнь» за 1904 г.⁴. Как известно, реакционная часть общества и печати, столь несочувственно и даже враж-



*Толстой в своем кабинете. 1905 г.
Фото П. И. Бирюкова.*

дебно относящаяся обыкновенно к суждениям нашего великого мыслителя, с восторгом откликнулась на мысли, выраженные в названной депеше, в которых Л. Н. несочувственно относится к политическому движению, охватившему недавно почти всю мыслящую часть русского общества после известных резолюций земского съезда. Судя по статьям «Московских Ведомостей» и «Гражданина», публика могла думать, что великий яснополянский отшельник переменял свои основные суждения на систему управления наших правящих классов. Наши охранители-реакционеры (многие вполне bona fide*) торжествовали, что нашли поддержку в авторитете наиболее популярного в России человека.

Ознакомившись, хотя бы в выдержках, с упомянутым новым трудом Льва Николаевича, эти господа должны будут горько разочароваться, так как убедятся, что кажущееся единомыслие Л. Н. с ними в вопросе об умственном и политическом движении, охватившем с особою силою общество за последнее время, есть плод чистого недоразумения от недостаточно полного изложения суждений Л. Н. об основах государственных форм и формах общежития вообще. Статья эта скоро будет закончена. Предназначается она, как и вообще большинство трудов нашего великого писателя за последние два десятилетия его жизни, для опубликования за границею. Кто-то ведь, говорят, сострил, что в одном энциклопедическом словаре сказано: «Граф Л. Н. Толстой — великий писатель земли русской, кое-какие избранные сочинения которого читаются также в России». Надеюсь на днях познакомить читателей «Руси» с «избранными» местами названной статьи, которые приведут в уныние гг. Грингмутов⁵ и К^о, поспешивших опубликовать депешу Л. Н. в американские газеты и эксплуатировать ее в пользу их мракобесных суждений.

«ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТА»

〈ИНТЕРВЬЮ С ТОЛСТЫМ〉

〈...〉 Последние события всецело захватили внимание Льва Николаевича. Он необыкновенно бодр, здоров, много работает, сильно интересуется начавшимся в России движением и написал по поводу этого движения несколько больших статей¹, пред-

* добросовестно (лат.).

назначенных для иностранных изданий. Кроме политических статей Л. Н. Толстой пишет еще воспоминания о своем детстве².

— Я пишу эти воспоминания не без цели!— говорит Л. Н. Толстой.— Когда я умру, то непременно будут писать о моем детстве. Конечно, будут врать. Я и предпочел сам о себе написать всю правду.

Прежде Л. Н. Толстой читал чуть ли не все газеты; теперь не читает ни одной. По этому поводу он говорит: «Прежде я курил запоем; затем, желая бросить это вредное и совсем не нужное занятие, перестал курить свои папиросы, а курил «чужие», пользуясь любезностью курящих гостей. Так и по отношению к газетному чтению; прежде я читал все газеты запоем, а теперь узнаю новости от своих родных и знакомых, которые охотно сообщают мне о всех выдающихся новостях и событиях».

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

ВНЕШНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Граф Л. Н. Толстой беседовал о событиях дня с корреспондентом парижской газеты «Matin»¹.

Вот что он ему, между прочим, сказал:

«Несколько десятков тысяч людей, которые хотят реформ,— не русский народ: они лишь бесконечно малая часть его. Не следует забывать, что русский народ состоит из 120 миллионов крестьян, которые очень мало озабочены рабочим днем в десять часов или в восемь часов, вспомогательными кассами и требованиями стачек. Нужно подумать о том, что имеется огромная масса миллионов людей, обрабатывающих землю, трудящихся и страдающих и желающих лишь одного: чтобы земля, источник их труда и лишений, была их собственностью. Да, крестьянин имеет лишь одно в виду — чтобы земля не была предметом торга, купли и продажи, чтобы она не принадлежала государству, но чтобы она была исключительно общественной собственностью всех тех, которые в поте лица и в изнеможении тела работают с целью сделать ее плодотворной...

Русский народ не думает ни о какой революции. Впро-

чем, революции были возможны в конце XVIII и в первой половине XIX века. В настоящее же время правительство обладает слишком многочисленными средствами для репрессий, чтобы была возможность его вообще ниспровергнуть. Посмотрите в столицах, даже мостовые заменены асфальтом; как же вы хотите возобновить баррикады?»

Граф Толстой, по словам корреспондента, на ответственности которого всецело оставляем цитируемые мысли писателя, отрицательно относится к республиканскому режиму, называя его замаскированной деспотией.

«ЗАБАЙКАЛЬЕ»

СВЕДЕНИЯ ИЗ СТОЛИЦЫ

(От нашего корреспондента)

По сообщению лиц, на днях вернувшихся из Ясной Поляны, Л. Н. Толстой в последнее время совсем отказался от чтения газет, довольствуясь теми сведениями, которыми делится с ним близкие лица. На решение нашего великого писателя, несомненно, повлияло содержание газет, наполненных кровавыми ужасами войны.

— Свет увидел с тех пор, как перестал читать эти вещи, — шутя говорит Толстой.

Он много гуляет, преимущественно по лесу. Нога, ушибленная при падении с лошади, зажила. Писатель, несмотря на годы, чувствует себя так бодро, как никогда. Много работает.

Из беллетристических вещей, кроме «Хаджи-Мурата», содержание которого излагалось в печати, Толстой закончил и отделяет еще два произведения: «После бала» и «Божеское и человеческое»¹. Во втором из этих произведений фигурирует, между прочим, государственный преступник Лизогуб², обращающийся в тюрьме в верующего христианина и отправляющийся на казнь с Евангелием в руках. Все три вещи предназначены к напечатанию только после смерти писателя.

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

П. БАРКОВ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

〈...〉 — Пожалуйте, граф просят вас к себе,— пригласил меня лакей через полминуты!— после того как я попросил передать свою карточку Льву Николаевичу. «Великий писатель земли русской» принял меня в своем кабинете наверху.

— Простите,— начал Лев Николаевич, поздоровавшись со мной,— я чувствую себя не совсем здоровым и могу поговорить с вами только несколько минут, да и то не как с корреспондентом газеты, а как с человеком вообще.

— Почему же так, Лев Николаевич?

— Я здесь недавно говорил с одним корреспондентом по поводу нынешних событий; а он там взял и напечатал что-то обо мне где-то в «Ведомостях», что ли, или в «Листке» — сам я этого не читал,— и теперь я получаю массу ругательных писем с укорами за то, что будто бы я бранил интеллигенцию по поводу нынешних событий¹.

Лев Николаевич пожал плечами.

— Не знаю, когда я бранил ее,— продолжал он,— а между тем многие в письмах бранят меня за мои отзывы об интеллигенции. Конечно, бог с ними. Я не сержусь и отвечать на это не буду. Понапрасну люди только тратят семь копеек на марку, а я семь минут на чтение письма. Давно уже я отказываюсь от писем без марок, а теперь, пожалуй, скоро придется отказываться и от писем с марками. Нельзя только этого сделать, потому что на сто ругательных писем приходится десять деловых, на которые надобно отвечать.

— Большинство читающей публики, конечно, не поверили, Лев Николаевич, чтобы возбуждавшее такие толки интервью было точным воспроизведением ваших мыслей: прежде вы так смело всегда говорили о том, о чем другие боялись даже и заикаться.

— Я теперь убедился, что никакой пользы от этих разговоров (интервью) нет. Обыкновенно каждую свою статью я переделываю раз по двадцати, дополняю ее, обрабатываю, потому что многое кажется мне выраженным темно или неясно. При интервью же человек поговорит несколько минут, потом напишет и выхватит только отдельные выражения из разговора, которые далеко не выражают основных мыслей. Ну, и получается совсем не то. Поэтому я и решил отказы-

ваться от разговоров для газет. Все, что я думаю относительно теперешних событий, я высказываю сам в заграничной прессе.

— Но ведь всего этого мы, русские, лишены,— возразил я,— ядовитое замечание в одном энциклопедическом словаре о том, что «некоторые ваши сочинения читаются даже и в России»,— чистая правда.

Лев Николаевич пожал плечами и заметил, что теперь, кажется, стало свободнее в деле печати. Пришлось разуверить.

— Не понимаю,— заговорил Лев Николаевич,— почему не дадут свободы печати. От этого была бы даже громадная польза для самого правительства.

— В смысле большого доверия общества к консервативной печати?

— Да, и в этом отношении. Теперь иногда у князя Мещерского² попадаются такие статейки, которые заслуживали бы внимания и доверия, но им никто теперь не верит при существующем порядке вещей. При свободе же печати было бы другое отношение.

Кроме того, при свободе печати революционная пресса, высказываясь свободно, договорилась бы до таких крайностей, что многие благоразумные люди отвернулись бы тогда от нее.

Вообще, консервативная и революционная печать при свободе слова должны взаимно уравновешивать противоположные концы коромысла. А то правительство захватило один конец коромысла вот так,— Лев Николаевич зажал указательный палец правой руки между большим и указательным пальцами левой,— держит этот конец крепко и думает, что противоположный — консервативный — конец перевесит, а этого никогда и быть не может.

Удивительно, как князь Святополк-Мирский не дал свободы печати³. Я так и думал, что он сделает печать свободной.

Разговор коснулся духовенства.

— Не любит вас, Лев Николаевич, это сословие,— заметил я.

— Не все. У меня есть среди духовных много знакомых, которые пишут мне, говорят о своем разладе с самими собой и спрашивают, как быть. И я не могу бросить в этих людей камнем, когда у них за спиной целая семья.

В конце разговора Лев Николаевич сказал, что он в настоящее время работает над решением земельного вопроса в России по системе Генри Джорджа.

За завтраком в столовой собралась почти вся семья Льва Николаевича вместе с его зятем князем Н. Л. Оболенским. С Петербурга разговор перешел постепенно и на приписанные Льву Николаевичу неблагоприятные отзывы его об интеллигенции.

— Вполне понятно,— заметил Сергей Львович,— что отец отказывается сообщать свои мнения по поводу теперешних событий. Все эти мнения передаются в неверном освещении. Берутся только отдельные слова, а не весь ход мыслей. И получается совершенно обратный смысл. А реакционная печать пользуется такими сообщениями, берет из них только отдельные фразы и делает разные подтасовки.

— Но вот, что особенно возмутительно,— продолжал через несколько времени Сергей Львович, показывая мне книжку «Review of Reviews»⁴ с запачканными рисунками и выдранными страницами,— эта вот пачкотня целых страниц и вырывание целых статей. Иногда бывают напечатаны статьи отца во французских или английских журналах и газетах, и здесь мы получаем эти органы, где как раз вырваны статьи Льва Николаевича.

— Значит, Лев Николаевич лишен возможности читать самого себя в заграничных газетах и журналах?— спрашиваю я.

Сергей Львович пожал плечами.

— Но ведь Лев Николаевич почетный академик, а у нас, кажется, всякий генерал, даже и штатский, может выписывать книги из-за границы без всякой цензуры и пачканий?

— А для отца этого исключения не делается.

Разговор, между прочим, коснулся так называемого «отлучения» Льва Николаевича.

— А вы знаете,— заметила Софья Андреевна,— ведь митрополит писал мне, когда Лев Николаевич был болен, письмо, в котором советовал мне убедить Льва Николаевича приобщиться, ссылаясь на то, что все в воле божьей.

— И что же вы ответили ему, графиня?

— Вполне согласилась, что все в воле божьей, и сказала: «Да будет во всем воля его».

Перед прощаньем графиня познакомила меня со своим письмом «О призыве к миру», которое уже послано в одну из редакций⁵, но должно появиться во французских и английских газетах.

«РУСЬ»

Н. ШЕБУЕВ

НЕГАТИВЫ

Ясная Поляна

Еще 8 часов утра. Еще капли отшумевшего дождя не стяхнуты наземь с веток яснополянского парка. Еще нога вязнет в разбухшей почве... А мы — на прогулке.

Я приехал, чтобы воочию убедиться в невероятных на первый взгляд слухах, будто Толстой стоит совершенно в стороне от того общественного движения, которое подняло на ноги всю Россию, подняло, и замолодило, и заставило стариков верить, как юношей...

— Да. Я ушел от этого мира. Вот уже восемь месяцев, как я вовсе не читаю никаких газет. Бросил, как бросают курить. Третьего дня мне подсунули газету. Я прочел ее, и меня стало тошнить, как тошнит человека, который до сего воздерживался от курения... Самый язык, способ трактовки, темы — все казалось мне тошнотворным... Положим, я прочел добровольно весь газетный лист с начала до конца. Даже объявления, даже правительственные распоряжения...

— Тогда ничего нет удивительного... Подобное чтение и на нас, менее привычных, скверно действует. Но неужели вы не ждете с нетерпением газет хотя бы для того, чтобы узнать про войну?..

— О войне мне рассказывают домашние. Впрочем, о гибели нашего флота я прочел сам.

— Какое же впечатление произвело на вас цусимское поражение?

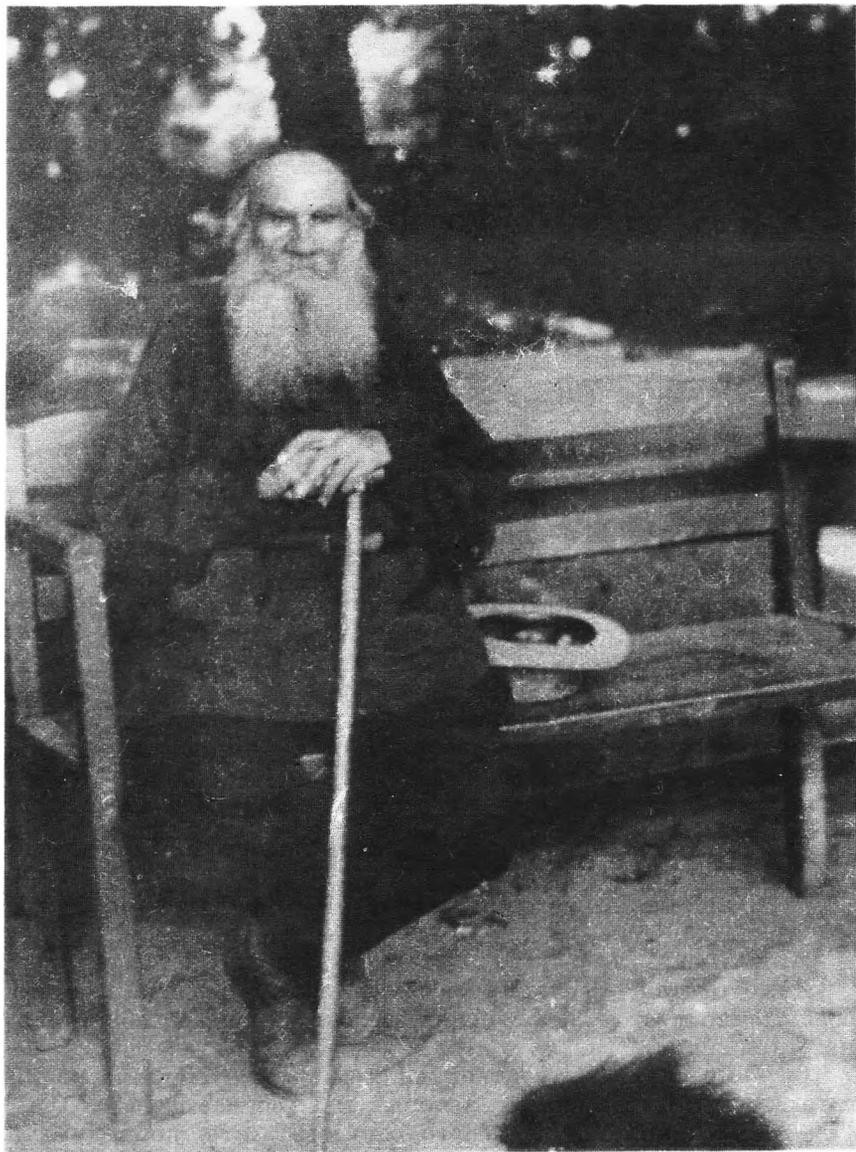
— За всю мою жизнь мне не приходилось переживать такого сильного потрясения, какое произвела на меня эта невероятная бойня. Да и вся эта война сплошной ужас: Лаоян, Мукден, Порт-Артур...¹ Мозг отказывается понимать, кому и для чего нужно все это...

— На общество цусимское поражение произвело неизгладимое впечатление и ускорило сближение партий...

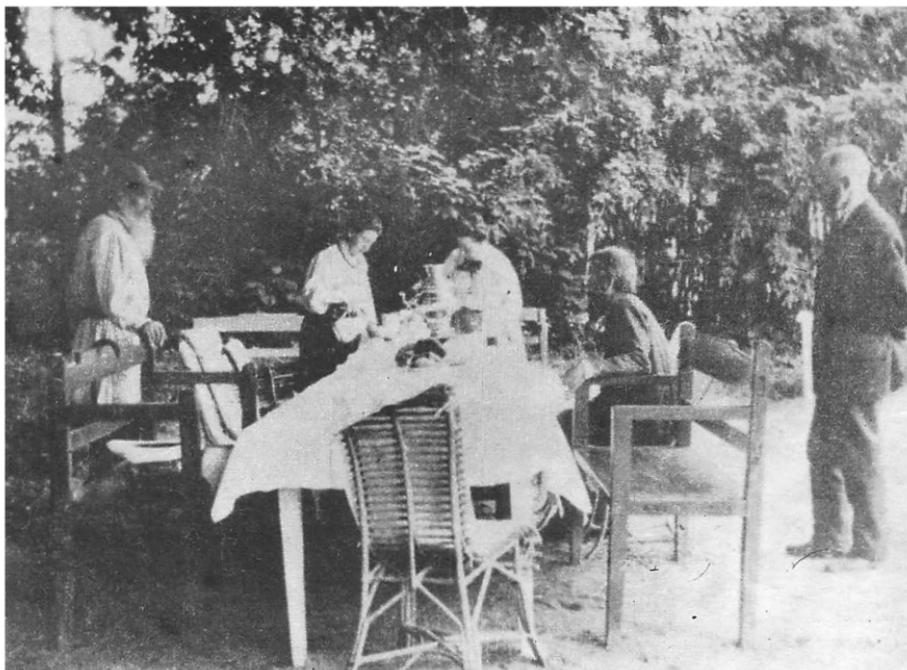
— Партий?.. Кому нужны эти партии?..

И Лев Николаевич начал говорить страстно, убедительно, властно. Как пророк.

Я не могу и не смог бы передать его речи, перифраз исказил бы ее и сделал бы банальной.



*Толстой 11—16 августа 1905 г.
Фото Д. А. Олсуфьева.*



*Толстой, П. И. Вирюков,
Ю. И. Игумнова, Д. П. Маковицкий
и А. Л. Толстая 3—4 июня 1905 г.
Фото В. Г. Черткова.*

Скажу только о своем впечатлении, вынесенном от нее. Мне посчастливилось. Толстой разговорился так, что сам несколько раз ловил себя, восклицая:

— Однако как я сегодня разошелся... Ну, да уж выскажу, что давно хочется.

И он высказал.

Да. Толстой — великий особняк земли русской — стоит совершенно в стороне от поднявшего всех нас освободительного движения.

Богатырь духа, он считает жалкими и ничтожными толки о тех минутных реформах, которых мы добиваемся...

— Я старик. Мне не много осталось жить, пора думать только о Боге. Вот почему я так далек от ваших совещаний, обсуждений, петиций...

И долго и горячо развивал Лев Николаевич свой взгляд на реформы. Но разве в силах я передать слабым пером его вдохновенную импровизацию? Передавать ее еще и потому



*Толстой возвращается после купанья.
25 мая — 4 июня 1905 г.
Фото В. Г. Черткова.*

нельзя, что в печати, по независящим обстоятельствам, невозможно касаться некоторых (и важнейших) аргументов, на которые она опирается.

Убедил ли меня Толстой?

Подавил авторитетом — да. Но не убедил.

— И это не плохо, о чем они хлопочут. Но это совсем не то, что нужно, необходимо. А необходимо одно — земля для крестьян. И этой земли не даст никакая конституция. Ее дало бы только такое правительство, которое состояло бы исключительно из крестьян. Но такого правительства нет нигде и не будет. А между тем крестьянину нашему в настоящее время нужна только земля, и ничего больше. Это сознает все крестьянство от мала до велика. И этот наш долг общество должно ясно сознать. Подобно тому как сорок лет тому назад общество сознало свой долг и состоялось первое освобождение крестьян от крепостной зависимости... теперь назрела потребность второй раз освободить их от крепостной зависимости. Для этого нужно дать им землю. И не путем выкупа, а отказавшись от прав на нее. Скажут — это невозможно. Скажут — этого нет нигде на Западе. Но в том-то и ошибка наша, что мы во всем слепо идем за Западом. Я и газеты-то бросил читать, между прочим, потому, что они пережевывают западные мысли. А между тем в крестьянском вопросе мы должны идти не за Западом, а впереди его...

— Почему это?..

— Потому что Запад на семьдесят процентов состоит из рабочих, а наше государство — на девяносто процентов из крестьян... Все реформы в западном духе, которые предлагают наши передовые люди, конечно, сами по себе не плохи. Но начинать с них в то время, как у крестьян наших нет главного — земли, это все равно что расчесывать волосы умирающему.

Итак, во всем нынешнем освободительном движении Толстого занимает прежде всего и после всего аграрная сторона.

— Но ведь проведение даже одной только аграрной реформы в том масштабе, как она представляется вам, тоже немислимо без общих реформ, о которых мы хлопочем. Значит, волей-неволей, хотя бы из аграрных мотивов, вы должны все-таки симпатизировать нынешнему освободительному движению.

— Нет. Я остаюсь совершенно холодным к нему. Я знаю, что многих удивляю этим. Но — я высказал вам то, что хотел... Ну, вы идите теперь пить кофе к Юлии Ивановне². А я еще пройдуся. Мне нужно подумать одному.



*Н. А. Андреев лепит бюст Толстого.
30 мая — 4 июня 1905 г.
Фото А. Л. Толстой.*

Однако недолго Лев Николаевич обдумывал программу работ нынешнего дня.

Не успели мы встать из-за чайного стола, за которым кроме меня был г. Чертков и молодая знаменитость — скульптор Н. А. Андреев³ (графини Софьи Андреевны не было, чувствует себя нездоровой и встала позже обыкновенного), как к нам подсел и Лев Николаевич.

Подали почту. Масса русских и заграничных газет.

— Вот вы браните газеты, — сказал я, — а сами получаете столько газет.

— Я не читаю их. Вот в этом итальянском журнале люблю смотреть карикатуры. В этом американском научно-религиозном — читаю почти все⁴. Раньше иностранные газеты просматривал. Да и то бросил: слишком уже цензура старательно зачерняет все интересные места.

— Неужели даже Толстой не может читать заграничных изданий без цензурных помарок? Неужели цензор считает себя обязанным заботиться о нравственном воспитании даже самого Льва Николаевича?

— Да. Вырезают целыми страницами. Портят книги. Безобразие!.. — И он добродушно улыбнулся.

— Ну, а русских газет я, откровенно говоря, не могу читать. Ну, посудите сами...

Тут Л. Н. взял номер первой попавшейся газеты и начал одну за другой читать телеграммы, правительственные сообщения, хроникерские заметки.

И после каждой добавлял:

— Это ложь. Это... кому это интересно?.. Это... Ну, можно ли голову засаривать подобными вещами?..

И Толстой вслух читал газету. И до того курьезно было это чтение, что Н. А. Андреев не воздержался от восклицания:

— А в самом деле, каким все это мелким, ненужным кажется в устах Льва Николаевича...

И Лев Николаевич добавил:

— Я хотел бы, чтобы серьезный литературный критик взял на себя труд серьезно разобрать номер любой газеты строчка за строчкой... Вы изумились бы, какие результаты дал бы этот анализ, вы увидели бы, как деморализует общество современная газета... Все, начиная с языка до подбора фактов, тенденциозно и развращающе!.. Вы изумились бы, увидев, какими мелкими и тусклыми интересами интересуется общество, потому что его приучили к этому газеты...

И он продолжал читать вслух военные телеграммы...

Да, Лев Николаевич стоит теперь в стороне от войны.

Но не в стороне от мира.

В парке посреди нервно вздрагивающих веток, сбрасывающих наземь холодные капли отшумевшего дождя, он вдруг остановился и спросил меня:

— А правда ли, что Америка предложила русскому правительству вести переговоры о мире?

— Правда... И русское правительство пошло навстречу этому движению⁵.

— Вот это хорошо. Вот это хорошо... Вот это хорошо...

И Лев Николаевич несколько раз в раздумье повторил эту фразу.



*Толстой за работой.
Фотография со скульптуры Н. А. Андреева.
1905 г.*

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

К. Т.

РАБОЧИЕ У Л. Н. ТОЛСТОГО

(Рассказ рабочего)

Я и один мой товарищ, тоже рабочий оружейного завода, собрались пойти в Ясную Поляну побеседовать с гр. Л. Н. Толстым. Пошли мы пешком; часов около 2-х дня пришли в усадьбу графа. Но его не было дома; нам сказали, что он поехал верхом по своему имению... Прождав некоторое время в деревне Ясной Поляне, мы опять вернулись в усадьбу.

Графа еще не было, но нас принял один из сыновей его, который, узнав, что мы пришли к отцу его побеседовать по некоторым нравственным и общественным вопросам, советовал нам подождать Л. Н., а пока дал нам две брошюры: «Пауки и мухи» и одну своего издания — сочинение самого Л. Н. о нравственной жизни.

Не доходя станции железной дороги, мы встретили самого Л. Н.; он ехал верхом. Мы остановили его и сказали, что заходили к нему для беседы. Он слез с лошади и пошел с нами.

Товарищ мой прежде всего спросил его, в каком положении находится его когда-то знаменитая яснополянская школа. Л. Н. махнул рукой:

— Я уже лет сорок в ней не принимаю никакого участия, она давно закрыта¹.

Затем разговор перешел на нас лично. «Вы кто такой?» — спросил меня граф, пристально всматриваясь в меня своими зоркими глазами.

— Я — оружейный рабочий, — ответил я.

— А вы каких взглядов придерживаетесь?

Я много слышал рассказов о том, что Л. Н. сам обыкновенно отлично разбирается в людях даже после короткого разговора с ними, и, признаюсь, мелькнула у меня мысль ответить, что никаких определенных взглядов у меня нет; но

товарищ мой, сам по убеждениям социалист-революционер, не дал мне времени и ответить и быстро сказал:

— Социал-демократ.

— Ну, и плохо ваше дело, — резко заметил Л. Н., — господа социал-демократы. Вы не с того конца все подходите, да и далеко вы ушли от природы. Вы взгляните, как в ней все постепенно развивается. Посмотрите на цветок; как он выбирает нужную ему почву, потом медленно и постепенно растет из семени, распускает лепестки и медленно превращается в красивое и здоровое растение. А вы хотите все сразу. Скупились в своих городах и на фабриках. Думаете оттуда повернуть жизнь. И о крестьянах вы мало заботитесь, а в них вся сила. Нельзя уходить от природы и от земли. У них вся правда. Дайте крестьянину землю, освободите его труд из рабства, и вся жизнь изменится. Тогда и ваша рабочая жизнь исправится. А то вы все: «Пролетариат, пролетариат!» — кричите, а жизнь ни на йоту не исправляется.

Граф долго говорил на эту тему, но, признаюсь, речь его, вопреки обычным рассказам об его манере говорить, не показалась мне особенно ясной и убедительной. Даже товарищу моему, который ближе меня стоял к симпатиям и желаниям графа, слова его, как я понял, тоже показались не особенно убедительными. Я было заспорил с ним, но после первых же моих слов, граф, видимо, оборвал разговор, было ясно: продолжать разговор об этом нельзя.

Он спросил меня, на каком именно заводе я работаю. Я ответил, что на оружейном.

— Как же вы вот оружие выделываете сами? Это грех, противно христианству.

На это я ответил, что есть, пить надо, а куда же деваться; и так работы сокращаются на заводах, да еще на заводах нас притесняют и начальство и полиция; не везде, где хотел бы, и работу найдешь; неволя и голод заставляют работать и на оружейных заводах.

Л. Н. вдруг замолчал, и беседа на эту тему оборвалась. Он бросил мне и моему товарищу несколько незначущих слов. Мы прошли еще некоторое время; разговор не клеился, и мы простились с графом.

Весть о нашем путешествии к Л. Н. Толстому быстро пошла по заводу, и, как что коснется Толстого — товарищи нам говорят. Вот таким образом и в конце октября, когда стало известно, что крестьяне-соседи Л. Н. Толстого сделали порубку в его лесу и что после этого в Ясную Поляну были вызваны казаки по просьбе владельцев Ясной Поляны², то нам товарищи просто проходу не стали давать.

— Вот ваш учитель,— упрекали они неведомо за что нас.— Учит вас, а у самого в имени казаки вызваны над мужичками нагаечками помахивать.

Мы хотя, конечно, не могли отвечать за графа, да и учителем нашим назвать его едва ли было правильно, но, признаться, было как-то невыразимо больно узнать эту весть.

Положим, мы потом узнали, что сам Л. Н. Толстой так объясняет это, что, мол, «это не мое дело, я в хозяйство не вмешиваюсь; там есть свои хозяева, моя семья и управляющие; они признали нужным позвать казаков — ну, пусть, это и будет их дело. Я никому насильно не навязываю своих мнений и желаний». А все же обидно, ужасно обидно и больно было мне и моему товарищу узнать эту историю: Лев Толстой, непротivление злу, Ясная Поляна и... вдруг казаки.

Ах, как это было неприятно слышать...

А между тем это факт.

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Н. С-ъ <С. БАСКИН-СЕРЕДИНСКИЙ>

Л. Н. ТОЛСТОЙ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

(Из беседы с ним)

8 апреля нынешнего года я подъезжал к Ясной Поляне. День был чудный, весенний.

Еще издали, у одной из пристроек графского дома, я заметил несколько человек, работающих в парниках. Подойдя к ним, я спросил, как мне увидеть Льва Николаевича. Мне указали на комнаты доктора Льва Николаевича.

Душан Петрович Маковицкий, постоянный врач графа, весьма любезный, ширококультурный, симпатичный человек.

В разговоре, принявшем вскоре непринужденный дружеский характер, я передал ему, что моей давнишней мечтой было посетить графа, что я приехал теперь «так просто», чтобы отвести душу, чтобы хотя немного отдохнуть от гула современной жизни.

Этими же словами объяснил я час спустя Льву Николаевичу, когда доктор любезно проводил меня к нему в кабинет, причину моего посещения.

Признаюсь, я как будто смутился, увидев перед собою бодрую характерную фигуру Льва Николаевича. Слышал я не



*Толстой и Д. П. Маковицкий 28 марта 1906 г.
Фото М. Л. Оболенской.*

раз, да и не мало читал, как редко граф уделяет кому-либо из своих собеседников более нескольких минут времени, ибо посетителям, подчас ужасно утомляющим графа, нет числа в Ясной Поляне.

Могу считать себя в этом отношении счастливее других, так как на мою долю выпало беседовать с Львом Николаевичем в течение двух дней, проведенных мною у него.

Выслушав меня, Лев Николаевич сказал:

— Мы с вами поговорим.

До вечера я провел время в гостеприимной семье Льва Николаевича, а затем беседовал с ним, и некоторые отрывки из этой беседы позволю себе здесь привести с подлинной точностью.

Мы сидели в кабинете графа.

— Какого вы мнения, Лев Николаевич, о двух наиболее популярных в настоящее время наших писателях — Горьком и Леониде Андрееве? — спросил я. — Многие, мне кажется, несправедливо упрекают их в отсутствии душевной мягкости и художественности, в грубости и считают их скоропреходящими?

— Нет, это справедливый упрек. Я совершенно такого же мнения.

— Какого вы мнения о декадентах?

— Это прыщ, даже не прыщ, а прыщик.

— Но ведь многие придают даже серьезное значение декадентам и прислушиваются к их исканиям, к их новым путям...

— Да стоит ли о них говорить? — возразил Лев Николаевич. — Говорю вам, это прыщик. Показали мне как-то их писания, так я ничего понять не мог.

— Кого же из новых писателей вы предпочитаете, Лев Николаевич?

— Вот — Чехов, я его люблю.

— А из поэтов? А впрочем, — спохватился я, — ведь вы поэтов не признаете.

— Это кто вам сказал? — спросил Лев Николаевич. — Я только не люблю стихов, ломаю их (подлинное выражение графа), не прислушиваюсь к музыке стиха, но художественную идею, художественный образ и глубину души автора, пишет ли он прозой или стихами, я всегда ценю. Вот, кстати, мне прислали новую книгу стихотворений Ратгауза¹. Этот пишет русским языком, есть душа... Я его хорошо знаю. Я обратил на него внимание.

— А какого вы мнения, Лев Николаевич, о других современных молодых поэтах? — и я назвал ряд довольно известных имен.



*Толстой 2—3 июня 1906 г.
Фото Н. Б. Любошица.*

— Нет, нет!— говорил граф, относя это к некоторым из перечисленных мною имен.

— А какого вы мнения, Лев Николаевич, о наших так называемых гражданских писателях?

Лев Николаевич ничего не ответил, лишь отмахнулся рукой.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

ЮР. БЕЛЯЕВ

У ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО

Мы сидели на верхней террасе. Был вечер. Липы стояли в полном цвету и сладко пахли. Стрижи, чирикавая, чертили круги над самыми нашими головами. Робко запевал соловей. С лаун-тенниса долетали веселые голоса.

Толстой — я застал его, по обыкновению, за чтением — отложил номер какого-то английского review* и усталым голосом сказал:

— Сейчас прочел статью одного английского публициста (он назвал его) о России. Он пишет, что крестьянам больше земли не нужно, потому что они не умеют ее обрабатывать. Какие пустяки! И тут же рядом прославление Трепова¹, который один будто все знает, все понимает...

Я высказал свое мнение относительно автора-англичанина, придворная ливрея которого достаточно ясно определилась за последние политические события в России.

— А вот и депутаты!— улыбаясь, продолжал Толстой и протянул мне книжку того же review, где были помещены портреты наших думских деятелей. «Знакомые все лица!» И как странно было видеть их здесь, далеко от Петербурга, и склоненную над ними голову Толстого, разглядывающего и улыбающегося...

— Вас, конечно, интересует Государственная Дума?²— спросил я.

Толстой поднял голову и ответил:

— Очень мало.

— Но вы все-таки следите за отчетами думских заседаний?

— Нет. Знаю о них больше по рассказам домашних. Если же случится заглянуть в газеты, стараюсь как-нибудь обойти это место... У меня от Думы три впечатления: комичное, возмутительное и отвратительное. «Комичное», потому что мне все кажется, будто это дети играют «во взрослых». Ничего

* журнала (англ.).

нового, оригинального и интересного нет в думских прениях. Все это слышано и переслышано. Никто не выдумал и не сказал ничего своего. У депутатов нет «выдумки», о которой говорил Тургенев. Совершенно так сказал и один купец, бывший у меня на днях. На то же жалуется мне в письме один умный англичанин. «Мы ждем,— пишет он,— указаний от вашей Думы нового пути, а вы рабски подражаете нам». Недавно получил очень хорошую книгу одного немца: его псевдоним Ein Selbstdenker³, то есть «самомыслящий»,— вот этого-то нет и следа в Думе. У депутатов все перенято с европейского, и говорят они по-перенятому, вероятно от радости, что у них есть «кулуары», «блоки», и прочее и что можно все это выговаривать. Наша Дума напоминает мне провинциальные моды. Платья и шляпки, которые перестали носить в столице, сбываются в провинцию, и там их носят, воображая, что это модно. Наша Дума — провинциальная шляпка. «Возмутительным» в ней мне кажется то, что, по справедливым словам Спенсера⁴, особенно справедливым для России — все парламентские люди стоят ниже среднего уровня своего общества и вместе с тем берут на себя самоуверенную задачу разрешить судьбу стомиллионного народа. Наконец «отвратительно» — по грубости, неправдивости выставляемых мотивов, ужасающей самоуверенности, а главное — озлобленности.

Толстой, несколько взволнованный, помолчал и начал снова, уже совершенно спокойно:

— А у нас теперь первая задача: помирить враждующих. Прекрасная задача. А между тем говорят только о политике. Можно заниматься политикой, но делать ее главной задачей жизни безнравственно. Ведь для человека открыт целый мир, прекрасный мир любви, искания правды, труда, мысли, искусства... Вот чем нужно жить и чем питать других. А ведь об этом никто не хочет и слышать. Слово ничего этого и не было, а всегда были только газеты и Дума. Это обрыв какой-то. И жизнь попала в этот обрыв...

Разговор, конечно, коснулся и аграрного вопроса.

— То, что я говорил прежде о земельном вопросе,— сказал Лев Николаевич,— то говорю и теперь: не отчуждать нужно земли и раздавать их крестьянам, а уничтожить старую вопиющую несправедливость. Я, записал сущность моего взгляда. Вот записка по этому поводу⁵. Пожалуйста, прочтите ее вслух.

Я читал:

«Полное разрешение земельного вопроса возможно только установлением одинакового равного права всех людей на всю землю...»

— Вот это,— прервал меня Толстой,— я прошу вас подчеркнуть: это особенно важно, а это постоянно забывается <...>.

Я еще не кончил, как Толстой пожелал развить свою мысль.

— Я не могу надивиться,— сказал он,— той ограниченности взглядов как правительственных деятелей, так и думских; как они не видят того, какую непобедимую силу им бы дала постановка вопроса о земле, не в виду сословий и партий, а на основании вечной справедливости, то есть решать вопрос так, чтобы было установлено, повторяю, одинаковое равное право всех людей на землю. Такое решение вопроса умиротворило бы все партии, уничтожило бы многовековую несправедливость. И при теперешнем положении дел такое решение напрашивается само собой для такой земледельческой страны, как Россия. Вместо того чтобы, как теперь, идти в хвосте западных народов, рабски подражая им, мы могли бы, ставши впереди них, им помочь в разрешении их вопросов. Nous avons beau jeu*. И удивительное дело: никто не пользуется этим.

Таковы мысли Толстого о земельном вопросе. Великий идеалист, как и всегда, смотрит широко, и проект его поистине грандиозен. Думские приказчики, конечно, будут возражать ему с казенным аршином в руках. Но здесь кстати будет вспомнить:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать:
В Россию можно только верить⁶.

Толстой знает Россию и верит в нее. Он заглядывает слишком далеко, потому что духовным глазам его представляется идеальное государство, о котором он только и заботится. Отсюда понятно, что Государственная Дума с ее мелочными, самоуверенными и злобными прениями кажется ему «комичной, возмутительной и отвратительной». Он говорит:

— Говоря о таком разрешении земельного вопроса, я не высказываю своего мировоззрения на общественное устройство, а становлюсь на точку зрения самого правительства, считая, что при существовании правительства лучшего разрешения вопроса не может быть. Старый режим невозможен. Но тот новый путь представительства, на который хотят вести нас, еще более невозможен. Русский народ подобен сказочному витязю, который стоит на распутье и читает надписи на камне, сулящие ему гибель на обеих дорогах. России предстоит новый выход.

* У нас все карты на руках (*фр.*).



*Толстой с дочерью М. Л. Оболенской
26—31 июня 1906 г.
Фото В. Г. Чергова.*

— Какой же это выход?

— Какой это выход, я постараюсь ясно высказать в том, что пишу теперь, и потому не буду неясно, кое-как высказывать это на словах. Еще удивляет меня,— продолжал он, помолчав,— неразумная деятельность правительства относительно репрессий. Казалось бы, ясно, что незаконные репрессии при свободе печати есть самое вредное и пагубное дело. Жертвы репрессий возводятся печатью в героев. Одно из двух: нужно уничтожить либо репрессии, либо свободу печати. Но свободу печати уничтожить нельзя. Стало быть, правительству, для того чтобы не вредить самому себе, нужно уничтожить репрессии.

Что касается «исхода» или нового выхода, который, по образному выражению Толстого, должен найти русский витязь, то о нём можно догадаться из логической последовательности философской теории яснополянского идеалиста. Это, конечно, мирный анархизм. Пассивное завладение землёю стомиллионным крестьянским населением и устройство жизни на новых началах. О будущей роли правительства в этой теории не может быть и речи. Открытым остается вопрос относительно народностей, входящих в состав Российского государства. Поляки, финны и другие племена интересны только в видах братского единения.

Века решат эту проблему русского философа, века и скрепят ее. Я счастлив, что слышал ее от самого Толстого, счастлив, что мир Ясной Поляны коснулся моей души, счастлив, что часть драгоценной мысли мне суждено перенести оттуда, как талисман из страны интеллигентного паломничества...

«ИСКРЫ»

П. СЕРГЕЕНКО

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Пятый час жаркого июльского дня.

Пролетка сворачивает с пыльного тульского шоссе и спускается с горы в зеленеющую низину, заканчивающуюся на горизонте темно-зеленым бугром.

Это и есть Ясная Поляна.

Ее не видно с дороги. Но когда экипаж переезжает небольшой зыбкий мостик, на фоне старинного парка отчетливо вырисовываются две белые круглые башни, воздвигнутые дедом по матери Л. Н. Толстого.

Едва экипаж приблизился к башням, как на нас повеяло, точно из фруктового магазина, ароматом яблок.

Это давал знать о себе знаменитый яснополянский сад, насаженный в дни хозяйственных увлечений Л. Н. Толстым и наводняющий в урожайные годы всю окрестность своими душистыми яблоками <...>.

Я отпускаю извозчика и вхожу в прихожую, полную тенистой прохлады и того особенного степенно-барского порядка, который чувствуется везде в Ясной Поляне.

В прихожей опять душистый запах яблок, стоит корзина с яблоками.

Постояв в прихожей и побывав на террасе, я отправился наверх. Но нигде не было ни души.

Получалось единственное положение, которого я мысленно не примерил к себе, подъезжая к Ясной Поляне...

Тут я вспомнил о докторе М.¹, который безвыездно живет у Толстых. Я прошел к нему.

Доктор, к счастью, был дома и, по обыкновению, писал. У него в комнате тоже пахло яблоками и чувствовался тот особенный, напоминающий турецкую мечеть или синагогу, степенный порядок, который почти всегда сопутствует людям с уравновешенным внутренним миром.

Доктор М.— словак и довольно известен в Венгрии как самоотверженный искусный врач и как популярный общественный деятель. Приехав несколько лет тому назад в Россию погостить в Ясную Поляну, доктор крепко привязался к ней, слился с ее интересами и незаметно пустил из своей благородной души во все стороны такие крепкие корни, что их трудно было бы и разорвать теперь без страданий для окружающих.

Доктор М. постоянно в труде или в думе и заботе о Льве Николаевиче. Он чутко следит за здоровьем нашего бесценного писателя и еще чутче относится к его духовной деятельности.

Прекрасный, незаменимый член Ясной Поляны, между прочим, доктор М., быть может, единственный человек, которому постоянно завидует Л. Н. Толстой.

— Я все завидую Душану Петровичу,— говорит он,— завидую его драгоценному качеству — молчаливости. У меня это никак не выходит.

И действительно, доктор М. говорит только тогда, когда было необходимо.

И милый доктор начал приветливо рассказывать мне о яснополянских событиях.

Не вполне владея русской речью и затрудняясь иногда над

некоторыми ударениями и выражениями, доктор тем не менее передавал свои мысли ясно, колоритно, с умственным изяществом и всегда с отсветом европейской культурности. Вот приблизительное содержание его речи.

— Лев Николаевич чувствует себя последнее время хорошо. Очень хорошо. Было как-то недомогание, были некоторые перебои в здоровье. Но теперь все прошло. Он бодр и светел. Ежедневно совершает продолжительные прогулки то пешком, то верхом. Много отдает времени общению с людьми и усиленно работает. Особенно хорошо работал вчера (22 июля) и окончил наконец свою последнюю работу «Два пути»². Кроме Александры Львовны (меньшая дочь Л. Н.), переписывающей рукописи отца, никто еще ничего не знает о последней работе Л. Н. Вчера ему так хорошо работалось, что он сам удивлялся своей продуктивности. Давно так не работал. Вообще вчерашний день можно назвать историческим в яснополянских анналах: не было гостей. Просители, дачники и разные посетители, разумеется, были. Но из приезжих никого не было. Удивительный день!

На дворе призывно прозвучал голосистый звонок, оповещавший разбредшихся яснополянцев о наступлении обеденного часа.

Когда мы пришли с доктором на террасу, заросшую зеленью, за столом сидела только яснополянская молодежь. Графиня Софья Андреевна была с визитом у соседей, а Лев Николаевич в последнее время стал позволять себе вольности и запаздывать к обеду, дорожа рабочим приливом.

Подают в Ясной Поляне два обеда: мясной и вегетарианский.

По поводу вегетарианства в Ясной Поляне недавно произошел за столом такой эпизод. Приехал англичанин, убежденный вегетарианец. За обедом зашла речь о вегетарианстве. Л. Н. спросил гостя:

— Но как же у вас прошел в семье вопрос о вегетарианстве? Мирно? Без неприятностей?..

— Неприятностей?— спросил как бы с удивлением англичанин.— Бури, ужасные бури происходили из-за этого.

Л. Н. улыбнулся и тихо проговорил:

— У меня бурь не было. Нет. Но свежий северный ветер случается.

— Легкий этакий бриз?

— Да-да...

И благодатный бог веселья пронесся над столом...

Только что откушали первое блюдо, как на площадке за-



Толстой и С. А. Толстая
26—31 июня 1906 г.

скрипели половицы и слышались быстрые шаркающие шаги. Вошел Лев Николаевич. Он был в белой длинной, как рубаха, блузе с отвисшим передом и широким полурасстегнутым воротником.

— А, здравствуйте!— весело проговорил он, называя гостей по имени, и начал приветливо здороваться.

Он почти не изменился наружно. Только борода несколько отросла и пожелтела, да в выражении лица появилось что-то мягкое.

К Л. Н. подошел слуга и своим медлительным, степенно-учтивым тоном заявил, что невдалеке от террасы поджидает целая компания посетителей. Действительно, в тени, на скамье, виднелась пестрая группа молодежи обоего пола.

— Я сейчас. Оставьте это,— сказал Л. Н. слуге, указывая на дымящуюся суповую чашку.

И, засунув правую руку за пояс блузы и быстро шаркая подошвами, Л. Н. направился к ожидавшей его молодежи. Там произошел переполох. Все повскакали и стояли с возбужденными лицами. Л. Н. близко подошел к ним, поздоровался, сказал несколько слов, которые трудно было расслышать, и аудиенция закончилась.

Но очевидно, сказанное им пришлось по сердцу посетителям, потому что Л. Н. был уже на ступенях крылечка, а две девушки все еще кланялись ему и взволнованными голосами говорили:

— Благодарим вас, Лев Николаевич!

Л. Н. присел к столу и с аппетитом начал есть горячий свекольник, усиленно двигая бородою и прислушиваясь к общему разговору.

После свекольника Л. Н. с таким же аппетитом заговорил о приходившей молодежи, иллюстрируя обыкновенно свои слова выразительными жестами.

Понимая свое исключительное положение, привлекающее к нему людей, Л. Н., очевидно, понимает, что и многие из молодежи тянутся к нему, преимущественно как мотыльки на свет. И он не обжигает им крыльев. Но относится просто и благожелательно, как кроткий дед к внукам, быстро определяя удельный вес их стремлений и делая, по обыкновению, тонкие наблюдения.

— Третьего дня у меня были,— рассказывает весело Л. Н.— студенты, все пытаются соблазнить меня революцией. Но кажется, им не удастся это. Нет, едва ли.

Рассказывая о посетителях, Л. Н. с добродушной улыбкой вспоминает об одном солдате, который явился в Ясную Поляну с настойчивым требованием, чтобы ему дали здесь

бумаги, чернил, перьев и проч. для занятия литературой.

— Но почему же он обратился именно к вам с этой просьбой?— спросил один из присутствующих.

— Вероятно, как к своему собрату,— поясняет Л. Н.

От солдата-сочинителя речь переходит на других «сочинителей». Один из присутствующих заговорил о секретном «толстовском деле», извлеченном из недр III отделения и напечатанном недавно в одном из журналов. Дело касалось обыска, произведенного в 1862 году в Ясной Поляне³, и связанной с этим обыском волокитой, в которой принимали участие все власти Российской империи, от сельского сотского до государя Александра II.

Л. Н. не читал этого дела и заинтересовался им. Гость, вынув из кармана оттиск, начал читать:

— «Граф Толстой, проживая в Москве, имел постоянные сношения со студентами, и у него весьма часто бывал студент Освальд...»

— Освальд?— с удивлением спрашивает Л. Н.

— Да, Освальд.

— Никогда не слышал о таком.

— Освальд, который и был впоследствии замешан в дело о распространении «Великороссов»⁴.

— Хм!..

— «...Зная, что граф Толстой сам много пишет, и полагая, что, может быть, он сам был редактором того сочинения, частный пристав приказал следить за ним Михаилу Шипову, как в Москве, так и по отъезде в имение его Тульской губернии...»

— Какие глупости.

— «...В Великом посту сего года привезены были к нему литографические камни...»

— Ничего подобного не было.

Когда чтение дошло наконец до того места, где бывший шеф жандармов, князь Долгоруков I, предписывает сделать дознание относительно того, что «дом графа Толстого охраняется в ночное время значительным караулом, а из кабинета и канцелярии устроены потайные двери и лестницы...», Л. Н. начал хохотать⁵.

— Даже не верится, что все это было,— говорил он с раскрасневшимся от смеха лицом.— Я знал этого самого Долгорукова. Предобрый был человек, но весьма ограниченный.

И видимо, насытившись «толстовским делом», Л. Н. сложил пальцы в пальцы и уже с ослабевшим вниманием слушал чтение исторических документов, лишь на особенно пикантных местах пропуская через нос:

— Хм!

Что означало и удивление, и порицание, и недоумение, и многое другое, смотря по обстоятельствам.

Солнце скрылось за парком, и вся Ясная Поляна погрузилась в умиротворяющую предзакатную тишину. Кругом было хорошо, как в раю.

Л. Н. потянул в себя воздух и спросил:

— А вам не слышится запаха яблок?

— Отчетливо слышится.

— У нас в этом году необыкновенный урожай яблок,— проговорил он, обводя глазами парк и, видимо, продолжая наслаждаться доносящимся благоуханием спелых яблок.— У меня есть моя излюбленная яблоня. Хотите, пойдемте к ней.

И мы пошли через парк в яблочный сад, где деревья были буквально усыпаны яблоками и кроваво-красными, и желтоватыми, и круглыми, и продолговатыми — всякими. Л. Н. то и дело останавливался и произносил свое универсальное «Хм!» по поводу изобилия яблок.

И действительно, тут было целое море яблок. На некоторых яблонях яблоки висели гроздьями, точно гигантский виноград, наклонивши до земли ветки. В воздухе беспрерывно слышались треск обламывавшихся веток и падения яблок, глухо ударявшихся о землю. Наготовить подставки для всех яблонь не было никакой возможности. Сад занимает около 40 десятин с тысячами отягченных плодами яблонь.

Мы бродили около часа, то нагибаясь под яблонями, то осторожно обходя их.

— Вот и она!— сказал, обрадовавшись, Л. Н., подходя к небольшой яблоне, под которой белело на траве множество небольших желтоватых яблок, отливавших цветом слоновой кости.

— Очень хорошие яблочки. Ну, давайте запастись!

И, нагнувшись с юношеской легкостью к земле и почти полуползая по траве, Л. Н. начал собирать яблоки и засовывать их по карманам. Когда карманы наполнились, он начал набирать яблоки в подол блузы, видимо наслаждаясь самим процессом собирания яблок. И едва ли кто-нибудь, не зная Льва Николаевича, признал бы в нем в эту минуту великого писателя русской земли, графа Льва Толстого. Обвисший подол блузы с оттопыренными карманами очень изменил его...

Когда мы отошли от милой яблоньки, Л. Н. заговорил о Кавказе. Дело в том, что я нуждался в сведениях, касающихся кавказского периода автора «Детства» и «Отрочества».

И он с трогательной готовностью начал рассказывать об этом. И, точно желая как можно лучше угостить меня, он выбирал самые колоритные эпизоды, причем, говоря о себе, все время сохранял тот полушутливый оттенок, которым проникнуто «Детство» и «Отрочество». Но когда Л. Н. заговаривал о любимейшем спутнике своей юности, о старшем брате Николае⁶, в голосе его появились мягкие, теплые ноты.

Действительно, это была замечательная личность. Он имел огромное влияние на автора «Войны и мира» и до сих пор, кажется, продолжает даже и оттуда оказывать свое благотворное действие, как все хорошие люди, никогда не умирающие в своей духовной сущности.

И Лев Николаевич рассказывал, как он вместе с братом поехал на Кавказ, как впервые пришлось ему быть в опасном объезде и как он трусил при этом, но делал вид, что ему, в сущности, в высшей степени безразлично.

Рассказывая о Кавказе, о пятидесятых годах, Лев Николаевич иногда вспоминал тонкую, как паутина, но типическую подробность и одним штрихом обрисовывал целый характер или событие. Закончивши какой-нибудь эпизод, он останавливался, поднимал слегка голову и в раздумье говорил:

— Что же бы вам еще рассказать?

Это так трогало меня, что я не находил слов для выражения моей благодарности.

Стало вечереть, когда мы вернулись отягченные яблоками, а я еще и впечатлениями незабвенной прогулки.

Л. Н. начал разгружать свои карманы и раскладывать по столам яблоки, чтобы потом угощать ими своих гостей.

Нельзя было без улыбки смотреть на эту процедуру. Казалось, неистощимы были карманы Л. Н. Вот он, перегнувшись на бок, шарит рукою в кармане и достает еще яблоко. Думается, что конец выгрузке.

— Последнее, Лев Николаевич?

— Нет, еще есть,— говорит он, как бы подзадоривающе, и, склонясь на другую сторону, достает из кармана еще яблоко.

Наконец все хранилища были опорожнены, и Л. Н. предложил перейти на балкон.

Был тихий теплый вечер. Некогда в такой же вечер Л. Н. имел на этом балконе фатальную для него беседу с молодой девушкой, Софьей Андреевной Берс⁷.

Впоследствии, в течение многих лет, Л. Н. встречал на этом балконе утро и проводил мечтательные минуты в тихие летние вечера...

Темные купы старых деревьев, окружавших лужайку, на

которую выходил балкон, казалось, плотнее сомкнулись и подступили к балкону, чтобы послушать своего милого хозяина... Из старых лип повеяло вдруг дождевой свежестью, и начал накрапывать теплый и мелкий-мелкий дождик.

Но на балконе было так хорошо, что Л. Н. только придвинулся ближе к двери, но не хотел уходить. Наступила продолжительная пауза. Затем Л. Н. тихо заговорил, делая постоянно паузы и повторяя иногда одно и то же выражение, ярче оттеняющее своей повторностью известный смысл.

Сводя все поступки человеческие к их первоисточнику — к духовному началу, Л. Н. сосредоточивает свое внимание не на числителях, а на знаменателях явлений жизни и говорит, что из-за смещения этих величин и происходит столько путаницы на земле... Только из-за этого. Вот и его хотят (то один, то другие) втянуть в кашу и сделать из него свое орудие, свой рупор. Но он хочет оставаться самим собою. Он сам умеет писать, и если ему понадобится выразить свое отношение к тому или другому вопросу, то он сам это сделает по силе своего разумения. В такое напряженное время, как настоящее, нельзя не быть достаточно осторожным в обращении со словом. Малейшая неточность может привести к грустным недоразумениям... И как наглядно заметны ошибки на других, относится ли это к отдельным личностям или к целым народам.

— Я читаю теперь, — сказал Л. Н., — книгу одного китайца о Японии⁸. Как ему ясны скрытые пружины всех действий соседнего народа. «Японцы, — говорит он, — пожертвовали всем своим достоянием, своими сынами и женщинами для достижения одного, — чтобы Западная Европа не презирала их. И они достигли своего. Но завоевание ли это?» — думает китайский автор. Китай — моя симпатия. Но и Япония очень интересует меня. У меня недавно гостил японский писатель Токо-Томи⁹. Он очень славный. И так ему шло, что он жил в беседке, и его японский костюм, который он надевал здесь! Мы о многом беседовали с ним. Но существуют пункты, где мы, кажется, еще не имеем общих узлов. Так, например, он приводил мне содержание поэмы в честь микадо... У них четверостишие называется поэмой. И вот в этой поэме говорится: «Когда ты сражаешься с врагом, то думай только о победе, но не забывай, что ты должен любить твоего противника». Тут очевидное противоречие. Я сказал это Токо-Томи. Но он, кажется, не чувствовал противоречия.

Во всяком случае, он благодарен ему за его приезд...

В темноте за деревьями послышались в конце парка стук колес и звон бубенцов.

— Кто-то едет на почтовых,— сказал Л. Н., прислушиваясь.

— А вы, Лев Николаевич, еще переживаете трепет ожидания перед приездом гостей?

— Иногда, конечно.

Наступила пауза.

Грузный экипаж с увеличивающимся грохотом и подымающим звоном бубенцов подъезжал к усадьбе. На углу дома экипаж остановился. Кто-то кого-то спрашивал:

— А здоровье как?

Л. Н. пошел к перилам балкона и наклонился, вглядываясь в темноту.

— Кто бы это был? Кто это?— спросил он, возвышая голос.

Но в это время экипаж тронулся и заехал за угол дома.

Через минуту получилось известие, что приехал В. Г. Чертков. Л. Н. оживился и, поднявшись, пошел встречать редкого гостя (В. Черткову только недавно разрешили въезд в Россию)¹⁰.

Через несколько минут Лев Николаевич, В. Г. Чертков и другие сидели на балконе, сосредоточив, главным образом, свое внимание, как это всегда бывает, на приезжем. В. Г. Чертков ровным и спокойным тоном рассказывал об Англии, о заграничных друзьях и единомышленниках. Л. Н. тихо и дружески подавал реплики.

Через некоторое время все перешли в столовую, где уже весело шумел лучезарный самовар и гостей ждало радушие хозяйки, душистый чай, свежий сотовый мед и другие соблазнительные вещи.

Началась оживленная беседа, затянувшаяся до полуночи.

Говорили о последних событиях, об искусстве, о религии, о современном положении журнального дела в России и проч. и проч. Л. Н. не только принимал деятельное участие в беседе, но постоянно углублял ее, просветлял и оживлял яркими примерами, возвышенными мыслями и тонким очаровательным юмором.

В памяти особенно запечатлелось одно положение. Речь шла о горячем распространителе произведений Л. Н. Толстого. И Л. Н. сказал:

— Не скрою, мне приятно, что он распространяет мои писания. Но я не знаю, нужно ли это для него. И вообще не знаю, нужно ли распространять мои сочинения? Хотя хорошо знаю, что мне нужно было их писать...

Придя в отведенную мне комнату и стараясь собрать в пучок все впечатления дня, я некоторое время не мог отдать

себе отчета, какая перемена произошла во Льве Николаевиче. А перемена была. Я это чувствовал. Прибавился какой-то новый лейтмотив в его песнях.

Я начал припоминать все подробности минувшего дня и обратил внимание, что за все время Лев Николаевич ни разу не повысил своего голоса, не нажал педали, не сказал ни одного колючего или раскаленного слова. Он был тих и ласков, видимо ощущая постоянную потребность доброты и благосклонности ко всем окружающим. В нем даже наружно как бы совершенно исчезло все то острое, шероховатое и щетинистое, что некогда так выпячивалось в его активной природе.

Он умиротворился и просветлел. Появилась особенная мягкость и «в выражении лица», и в глазах, и даже в тембре голоса.

И думалось: не обрел ли он наконец высшего на земле блага — внутренней гармонии, дающей человеку возможность проходить бестрепетно между волнующимися и приветливо между ожесточенными?..

На другой день утром благодатный бог вдохновения не посетил Льва Николаевича. Был ли причиной приезд В. Чертова или слишком напряженная деятельность накануне, но Льву Николаевичу в этот день не работалось. Он несколько раз появлялся на веранде и опять исчезал.

Часов в одиннадцать он собрался, чтобы пойти гулять. Но как только он появился на крыльчке, от дерева бедных отделились просители и подошли к нему. Он терпеливо выслушивал всех, причем иногда получалось такое впечатление, как будто он был доктором или читателем, а просители — книгами, которые он быстро прочитывал и легко усваивал их содержание.

Поговорив с просителями, Л. Н. ушел к себе и через минуту вернулся, оказав большинству денежную помощь.

Особенное внимание остановила крестьянка, с лицом, исполненным заботы, пришедшая издалека. Ей надо было оказать материальную помощь и написать прошение относительно ее арестованного мужа. И Л. Н. долго беседовал с нею, видимо увлеченный значительным содержанием этой серьезной книги.

Только что удалилась крестьянка, как из-за веранды показалась фигура полустранника в лаптях. В страннике было нечто и как бы лисье и детски простодушное. Он снял фуражку и заговорил о своем положении, но как-то особенно, с полутушным отношением к самому себе.

Л. Н. заинтересовался и этим созданием.

Солнце стояло уже почти над головою, когда Л. Н. ублаговторил всех посетителей и, взяв шляпу, направился в парк.

Но едва он сделал несколько шагов, как из-за кустов вышли три мужика с непокрытыми головами, и все разом заговорили о божеской милости.

С ними случилась неприятность. Яснополянский приказчик захватил их в лесу с срубленными деревьями и составил протокол. Они и решили обратиться в апелляционную инстанцию в лице Льва Николаевича. Он, не останавливаясь, начал расспрашивать мужиков об обстоятельствах дела и скрылся с ними в глубине парка.

Перед обедом опять появились группы посетителей, желающих видеть Льва Николаевича. Он опять выходил к ним, смотрел каждому пристально в глаза, словно делая моментальный снимок своим острым взглядом, отвечал прямо и искренно на вопросы, давал просящим книги и, возвратившись на веранду, делился впечатлениями...

И перед нами точно мелькала живая фотография.

Перед вечером появились еще гости.

За вечерним чаем в столовой, после горячей схватки Льва Николаевича с одним гостем в шахматы, опять возникла и продолжалась до полуночи оживленная беседа, постоянно подогреваемая, углубляемая и украшаемая участием в ней Льва Николаевича с его независимыми положениями, сильной аргументацией и бесподобными художественными подробностями. Но и в его тонких замечаниях, и в его юмористических сравнениях, и даже в принципиальных возражениях неумолчно звучал все тот же дивный лейтмотив, который так подкупал и трогал своей умиротворенной мягкостью.

«РУССКОЕ СЛОВО»

БУАЙЕ У ТОЛСТОГО

Известный французский ученый Буайе, путешествующий по России, посетил недавно Ясную Поляну, где он имел продолжительную беседу с гр. Толстым. С содержанием этой беседы Поль Буайе знакомит читателей газеты «Temps». Между прочим, Буайе спрашивал Толстого, как смотрит Л. Н. на современное положение дел в России. Отвечая на вопрос Буайе, Толстой указал, что на днях появится в печати его брошюра под заглавием «Смысл русской революции»¹, в которой будут точно отражены его взгляды по настоящему вопросу.

«Меня считают старым болтуном,— говорил Толстой.—

Но что же мне делать? Не могу же я говорить, что я не прав, когда я уверен в своей правоте!

Вопрос, собственно говоря, разрешается весьма просто. Где источник зла, которым страждет Россия и которое, по мнению некоторых (к числу которых я не принадлежу), ведет ее к смерти? Зло в том, что в России нет ни силы (*pouvoir*), ни власти (*autorité*).

Но необходимо условиться: что разуметь под словом власть? Власть может быть двух видов.

Власть *внешняя*, поддерживаемая силой, не одобренная совестью, — это власть, которая опирается на солдат, жандармов и урядников.

Власть *внутренняя*, основанная на свободном согласии граждан, и следовательно, нравственная и добрая, — это власть, обусловленная всеобщим повиновением закону.

К сожалению, в наше время в России мы не имеем ни той, ни другой власти. Я же принадлежу к числу тех, которые думают, что без власти не может существовать никакое общество.

Внутренняя власть, о которой я вам говорю, возможна лишь при нравственной связи (...).

А социалисты? Анархисты? Правда, их отрицательная критика справедлива и глубоко верна. Но насколько их построения жалки, насколько они бесплодны, насколько зиждутся на песке! Возьмем, например, 8-часовой рабочий день! А если мне благоугодно работать сегодня 15 часов, а завтра — всего один час?!

Так или иначе, перед Россией стоят сейчас два основных вопроса: передача всей земли крестьянам, т. е. непосредственным производителям, и введение единого налога по системе Джорджа. С разрешением этих двух вопросов разрешится и рабочий вопрос. Сельская молодежь не будет больше покидать широких полей, где жизнь свободна и привольна, и не будет больше истощать своих сил на фабриках и заводах. Цивилизация ничего не потеряет от того, что люди убедятся в бесполезности девяти десятых фабричных изделий.

Мне скажут, что все это химеры. Это было бы верно, если бы речь шла об Англии, где на сто жителей приходится десять крестьян, но не у нас, где крестьяне составляют 99 процентов населения. Нельзя же, в самом деле, требовать, чтобы мы, русские, делали революцию по прусскому образцу. Будем же действовать по-своему, а обсуждение проектов конституций «*made in France, in Englande or in Germany*» предоставим думским ораторам. Их поварские рецепты не говорят мне ровно ничего: я русский и желаю иметь русские кушанья».

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

А. ИЗМАЙЛОВ

У ЛЬВА ТОЛСТОГО

⟨...⟩ Из маленькой двери дома выходит служащий, одетый в пиджак, по-городскому. Возница отъезжает в сторону. Мы вручаем карточки. Одна-две минуты не из покойных... и ответ:

— Пожалуйте. Просят.

За провожатым идем через маленькие, с невысокими потолками комнатки, чистенькие, светлые, как на даче. На полках свежего леса — книги без переплетов, брошюры. Кажется, поднимаемся по маленькой лесенке. Входим в просторную комнату. На стенах фамильные портреты масляными красками. Ждем. Почему-то думается, что сейчас выйдет графиня, Софья Андреевна. Прислушиваемся.

В соседней комнате голоса. Дети. Над детскими головами — спокойный мягкий голос с почти женскими нотами. Нужно вслушаться, чтобы понять, что это говорит мужчина. «Не он ли? Не сам ли?»

— Вот завтра и захватишь... И эту книжку возьми...

Ласковый, кроткий голос, каким говорят с детьми. Узенькая дверь приотворяется, и в нее торопливо проскальзывают детские головки. Мне показалось — пятеро, шестеро.

В дверях показывается старик с большой седой бородой, большими нависшими седыми же бровями, в легнем черном пальто, в легонькой черной шапочке на голове... И это его лицо, страшно знакомое, милое, простое лицо, — то же и не то, что на портретах!..

— Пожалуйста, входите... Садитесь...

— Мы помешали?

— Нет, мы кончили. Пора... Теперь придут завтра... Это мой университет...

Маленькая комнатка необыкновенно уютна. Она так обильно уставлена столами, столиками, этажерками, креслами, что, идя по ней, надо остерегаться, как бы чего не задеть. Небольшой рабочий столик графа — самый обыкновенный «учительский» стол, с тремя длинными ящиками, притиснут на середине комнаты боком к стене. По ней на полках тянется в один ряд бесконечный энциклопедический словарь Брокгауза!

Столик дает подлинное впечатление рабочего. На нем, налево, грудка уписанных четвертушек. Такая же грудка поменьше — посредине стола на том месте, где, очевидно, совсем недавно происходила работа. Все, от этих тетрадок до книг и пера, уложено, как у аккуратного ученика.

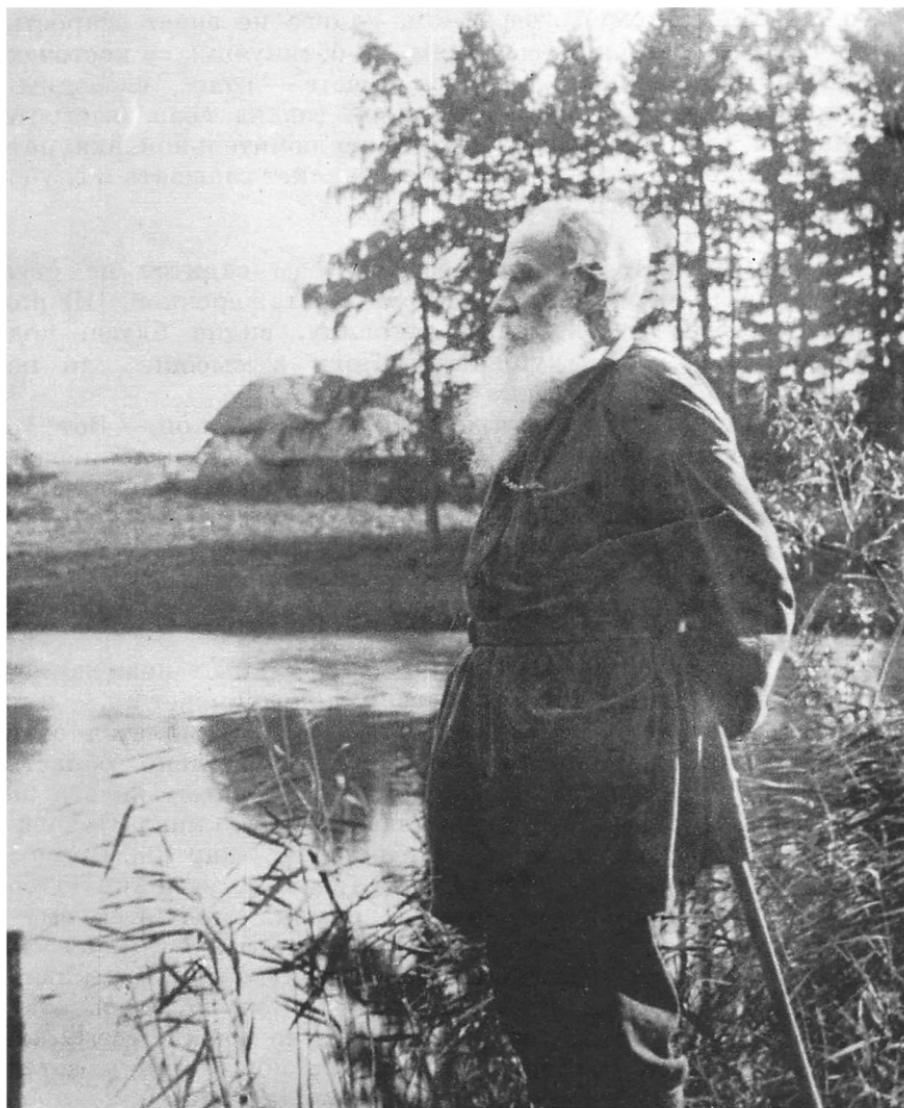
Рядом со столиком узкий стул. Усевшийся на нем окажется напротив хозяина, работающего за столиком. Около кресла маленькая этажерка с книгами всего с двумя полочками. В углу за столом большой старинного типа диван, обитый свежеею зеленою клеенкой.

Старообразное кресло в правом углу. По обоим углам на левой стороне от сидящего за столом еще два столика и этажерка по стене. На ближайшем ко входу столике разложены в порядке брошюры и книжки. На стенах — портреты, по видимому, все семейные. Не заметил писателей, великих людей.

Несмотря на совсем недавно перенесенную болезнь, Лев Николаевич держится бодро и смотрит прекрасно. Лета внешне сказались на нем неизбежною старческой сутуловатостью. Если кто по портрету представляет его высоким и коренастым, тот ошибается. Семидесятидевятiletний Толстой не кажется мощным. Теперь его нельзя назвать и высоким. Отыскивая позднее брошюрку, он стал у стены, и голова его только только превысила уровень первой полки, повешенной, в сущности, очень не высоко.

Ни один из портретов не передает очаровательной мягкости взгляда и доброты всего лица Толстого — взгляда типично русского умного мужика. На большинстве фотографий и портретов выражение глаз Толстого сурово, неприветливо, иногда прямо жестко и почти злобно. Оно именно мягко и кротко в действительности, и есть что-то милое, старческое в подтянувшихся губах и складках у носа. Брови разрослись широкими грядками, и именно они, в известном повороте, могут на воспроизведениях скрадывать предупредительное и внимательно-доброе выражение его глаз.

Глубокой старости не чувствуется ни в этом пристальном и яркосознательном взгляде, ни в самой фигуре Толстого, ни



*Толстой у пруда (позирует Нестерову)
28 июня 1907 г.
Фото В. Г. Черткова.*

в его шаге, быстром и уверенном, какого не знает старость. Руки его достаточно полны. Ни ям, ни обтянувшихся косточек, как обычно у стариков... И все вместе — голос, свободный от старческой медлительности, живой взгляд глаз, быстрота его шага и всех движений, печать исключительной аккуратности, лежащей на всем, — как-то заставляет забывать о глубокой старости Толстого.

Толстой предлагает нам место, и сам садится на стул между своим письменным столом и этажерочкой. Из-под пальто, застегнутого на одну пуговицу, видна блуза, подпоясанная тоненьким кушачком. Ноги в высоких, до колена, сапогах закинута одна на другую.

— Вы пишете и беллетристику, — говорит он. — Вот то, что теперь так далеко мне!.. Одно из занятий, где играют роль многие побуждения, не всегда очень почтенные... Много здесь личного самолюбия... Да...

— Конечно, Лев Николаевич, так. Но все же это область наиболее благородных проявлений самолюбия...

Гримаска морщит доброе лицо графа. Он отрицательно качает головой.

— Не самых лучших, — мягко, с очевидным нежеланием обидеть людей осуждаемой профессии, подчеркивает он, — и не всегда. Вы пишете еще об искусстве? — осведомляется он у Н. Н. Брешко-Брешковского. — Вот действительно область, где невозможно пройти со спокойным сердцем, нельзя не увлечься, не любить. Я очень люблю художника Орлова¹. Не знаете ли такого? Это все снимки с его картин. Посмотрите! — Граф кивает на стенку над диваном, увешанную более чем десятком фотографий в рамках под стеклом. — Посмотрите, сколько у него жизненной правды. Он ничего не сочиняет. Вот внизу «Освящение монопольки». Сама жизнь! Само говорит за себя. Или вон выше... Вон, кажется, эта... «Смерть старухи». Это правда, и это нужно прежде всего, как художнику, так и писателю. Я до сих пор учусь у детей. И писать надо у них учиться. Просто. Не мудрствуя. Чем дальше вникаешь в их язык, тем больше видишь недочеты своего, книжного. Я только теперь, например, почувствовал, какое это нехорошее слово «который», — неестественное, и стараюсь его не пользоваться. Сначала думалось, как же так без него обойтись, а теперь вижу: кинешь фразу так и этак, и отлично можно заменить его.

— Вы знаете, Лев Николаевич, что такую же антипатию к этому прозаическому местоимению питал Андерсен? Оно действительно всплывает поэзию...

— Да что вы? Вот не слышал. Это мне интересно. Еще французское *qui*, такое короткое, удобное, а наше — тяжелое, длинное... И, строго говоря, оно вопросительное — «который по счету». Зачем делать его относительным? Вот то, над чем я сейчас работаю, — граф поднял грудку листов, лежащую налево в белой обложке, — это делается по подсказкам детей и для них же.

— Вероятно, это «Круг чтения» для детей, как сообщили газеты?

— Именно. Вы знаете «Круг чтения»? Так вот я его во многом переделываю. И к лучшему. В мои года надо торопиться делать задуманное. Ждать уже некогда. Иду к смерти. И уже не с боязнью жду ее, а с равнодушием. И все что-нибудь случится и помешает. Вот болел. Было 39° температуры.

— Но теперь, слава богу, все обошлось совершенно?

— Да, и силы вернулись. Опять езжу верхом. Опять работаю. В своей спешке мы часто не замечаем многого хорошего в старом. Вот меня очень заинтересовал один старый французский писатель Вовенарг². — Граф взял со стола два маленьких волюма в старых переплетах. — Он писал максимы. И у него есть превосходные. Возьмите, например, вот эти о писательстве. Не правда ли, недурные? (Л. Н. прочитал наудачу два маленьких афоризма.) Мне хотелось бы кое-что отсюда перевести... Ну, а скажите, из новых русских писателей кем больше интересуются и кому вы сейчас отдаете предпочтение?

— Силен интерес к Леониду Андрееву. Интересуются Горьким. По моему мнению, этот интерес заслужен его двумя первыми томиками и далеко не оправдывается всеми дальнейшими.

— Большой успех имеет Куприн, — вставляет мой товарищ.

— Вот! — выразительно подхватывает Лев Николаевич. — Это настоящий писатель. Он крупнее их обоих. Он мне доставляет такое удовольствие, что я, случается, читаю его семье вслух. Вы знаете «В казармах»?.. Как он прекрасно взял солдата! Его «Поединок» слабее, потому что растянут. А это превосходно...

— И «Конокрады»...

— Да, и это. И «Allez». Он гораздо слабее в тех местах, где хочет провести современную тенденцию. Это уже ему не удается... Андреев — вычурный, деланный. Это не жизнь.

— В этом смысле у него был прекрасный рассказ «Жили-были».

— О чем, напомните...

— В одинокой больнице тоскливо умирает...

— Да, помню. Это хороший. А так — он искусствен. И Горький. Его сбили с толку. Читаешь — и видишь: сочинено, сочинено. Это не то что Чехов. У того всего несколько страничек, а видишь, как это серьезно, верно. Прочтешь — и хочется задуматься.

— Его смерть была тяжело принята вами?

— Да. Я любил его. Он и как человек был милый.

Разговор скользнул еще по некоторым литературным именам — Короленко, Ясинского и др. Я перестал думать, что Льву Николаевичу это скучно, после того как в минуту молчания он сам, с видимым любопытством, побудил нас на вопрос:

— Ну, а еще кто?

Сам Лев Николаевич коснулся и иностранной литературы.

— Смотрите, и там — не очень. Нет крупных. Возьмите хотя бы Францию. По моему мнению, там есть только один большой писатель. Имени его я, конечно, не назову. Вечерами у меня слабеет память. А интересный...

— Не Анатоль Франс?

— Конечно, Анатоль Франс. Не правда ли, он яркий? Опять-таки, кроме тех случаев, когда и он проводит свою излюбленную тенденцию... А область художества. Вот вам, — Лев Николаевич повертывается к Брешко-Брешковскому, — она знакома в особенности. Скажите, разве сейчас идет что-нибудь большое? Конечно, не указывайте на Репина — он не молод. Ведь нет? Такое время. Теперь все поглотила политика...

— Вы внимательно следили, Лев Николаевич, за Думой?³ И вообще, вас интересует газета?

— Не скажу ни того, ни другого. В семье, конечно, читали и говорили мне о всем интересном. Сам я читал только некоторые речи. Были, конечно, достойные внимания, но в целом Дума производила на меня впечатление комическое. Не скажу даже досадное, а именно комическое, в том понимании слова, какое, например, оттенял Шопенгауэр. Комичное, то есть противоположное естественному, нужному. Вот как если упал человек, когда он должен идти и не падать. Делалось именно то, чего не нужно было делать. Разве для счастья человечества нужно не то, чтобы люди сделались лучше, а то, чтобы собрались с бору да с сосенки и стали говорить. Надо понять, что современный распад кончится только тогда, когда общество задумается над собой и сделает себя лучше. Разве в парламентаризме спасение! Я и о правительстве одинаково говорю. Что оно думает! Что оно ду-

мает! Разве тем, что оно делает, оно вернет спокойствие?! До чего озлобленных людей приходится встречать! До чего все революционизировано. Вчера пришел ко мне один рабочий. Просил, чтобы я ему дал денег на револьвер. Он хочет мстить за своих, арестованных. Мне нужно было употребить все свое нравственное влияние, чтобы вывести его из этого гипноза... До чего обнищал народ! Сюда, в Ясную Поляну, за четыре, за шесть верст заходят, чтобы только получить какой-то гривенник! Какие пошли люди! Какие злодейства кругом!..

...После, уже во время вечернего чая, пришлось снова вернуться к этой теме. Граф на некоторое время уходил к своему новому гостю, одному из сельских учителей, приехавшему к нему за советом.

— Симпатичный,— сказал он о нем и с резким выражением сожаления добавил:— Но уж тоже захвачен революцией... Причастен одному союзу... Как жаль! Политика ослепила умы. И что делается! Страшно подумать! Но все-таки это, вероятно, нужная ступень в движении людей к лучшему.

— Вы верите в этот прогресс человечества, несмотря ни на что?

— Да, а разве можно не верить?

— Иногда берет сомнение, действительно ли человечество становится лучше. Казалось раньше, что этот прогресс несомненен. Но вот опять пошли ужасы, воскресли пытки — все то, перед чем бледнеет инквизиция...

— Жалко, что вы так думаете. Надо в это верить, иначе нельзя жить. Если бы я не верил, я бы перестал жить.

— Значит, на то, что сейчас происходит, на всю эту кровь вы смотрите как на нечто временное, переходное?

— Конечно, это было нужно человечеству, как урок. То, что сейчас происходит, есть именно неизбежный результат той недолгой жизни, какую мы вели. Нужно было, чтобы мы увидели, к чему должна привести та гниль, где мы построились. Так собаку, которая напакостила, надо ткнуть мордой в дерьмо, чтобы ее отвадить.

Лев Николаевич делает помогающий жест рукой. Каким-то глубоким и заражающим убеждением веет от его бодрых слов.

— После таких уроков мы пойдем, как надо жить. Вот в старину держали рабов и не чувствовали ужаса этого. Когда обойдешь сейчас крестьян и посмотришь, как они живут и что едят, становится стыдно за то, что у вас есть вот все это.

Лев Николаевич делает движение по направлению стола, на котором на чистой скатерти уставлен самовар, намазанный

маслом черный и белый хлеб, нарезанный ломтиками язык и т. п.

— Посмотрите у крестьян. У них на завтрак хлеб с зеленым луком. На полдник — хлеб с луком. И вечером — хлеб с луком. Будет время, когда богатым будет так же стыдно и невозможно есть то, что они едят, и жить, как они живут, зная об этом хлебе с луком, как стыдно нам теперь за наших дедов, державших рабов...

— К сожалению, не скоро еще это будет, Лев Николаевич.

— А у бога времени много.

Интонация этих слов была очаровательна. Веяние бесхитростной, терпеливой «мужицкой» мудрости было в них. Этот довод, произнесенный ласковым, кротким голосом, в тоне глубокого убеждения и вместе с едва уловимым оттенком милого лукавства спорщика, нашедшего под рукою готовый и неотразимый аргумент, — покорял. «Светло жить с такой верой», — подумал я.

Лев Николаевич на некоторое время оставил нас для приезжего учителя. Благодаря любезности графини, нам удалось провести и время его отсутствия с глубоким интересом.

Софья Андреевна производит обаятельное впечатление простоты и доступности. Невозможно верить, что уже 62 года этой удивительно сохранившейся высокой и мощной женщине, которой можно дать никак не больше 48—50. <...>

Графиня С. А. в настоящее время занята грандиозным трудом — писанием своих мемуаров, охватывающих всю ее жизнь, как до замужества, так во время него⁴. Работа, обещающая совершенно исключительный интерес, потому что, разумеется, никто не может и мечтать о таких богатых воспоминаниях и материалах о частной жизни великого писателя, какими обладает спутница его жизни. Софья Андреевна с видимым оживлением говорит о своем уже деятельно двигающемся произведении.

Жизнь Льва Николаевича восстанавливается здесь не только по годам, но даже по месяцам иногда. Единственную возможность к этому представляет богатейший архив графини, содержащий переписку с лицами, когда-либо соприкасавшимися с яснополянской семьей.

— С самим Львом Николаевичем моя переписка не велика. Я никогда не находила в себе духу надолго расставаться с ним. Но очень большую услугу мне оказывают мои письма к сестре, которой я всегда писала очень много и очень подробно обо всем.

В маленькой комнате, временно, по случаю переделки в доме Толстых, заменяющей столовую, вы видите высокие настенные полки, сплошь набитые связками писем в серых конвертах. Тут, очевидно, целая сокровищница,— и Тургенев, и Фет и т. д.

После довольно долгого антракта в комнату возвращается Лев Николаевич. Прямо радостно видеть его бодрую и быструю походку. Он подходит к этажерке и столику и перебирает книжки.

— Надо дать ему брошюрок,— говорит он о приехавшем к нему учителе.— А знаете ли вы вот эту брошюрку крестьянина Бондырева?⁵ Не знаете? Возьмите. Прочтите. Это очень дельное.

Лев Николаевич отделяет и передает нам маленькую книжечку «Посредника» — «Торжество земледельца или Трудолюбие и тунеядство». Брошюрке предпослано предисловие графа, где он выражает горячее сочувствие думам Бондырева об обязательности для каждого человека физического труда.

Граф возвращается к гостю на несколько минут. Графиня тем временем просит нас к чайному столу. Подходит и дочь графа с подругою и доктором, после своей основательной, часа в два, прогулки. Когда Софья Андреевна начинает разливать чай, в комнату входит Лев Николаевич. Он в том же пальто, только сдернул свою скуфейку. Граф садится в стороне от столика, положив ногу на ногу и засунув большой палец правой руки за поясok блузы. Надо думать, это его любимая поза. В такой именно он сидит на портрете с Чеховым⁶. Ее простота и непринужденность чрезвычайно гармонируют со всем его обликом.

Лев Николаевич крикает, только что преодолев маленькую лесенку, и шутит:

— Поднялся и уж устал. Точно мне семьдесят лет!

Лев Николаевич только присутствует при чаепитии, но не участвует в нем.

— И вы по-прежнему не едите мяса?

— Да, не ем. И они не едят (граф кивает на дочь). И, как видите, ничего. Мясное (он кивает на язык) ставим для приезжих.

Разговор возвращается к литературным работам Толстого, к труду графини, к которому Л. Н. относится с явным ласковым интересом. У самого графа сейчас кроме известной по газетам повести «Хаджи-Мурат» есть несколько совершенно

законченных вещей. Но он твердо решил не публиковать их при жизни, несмотря на многочисленные лестные отзывы.

— Я иногда даю читать написанное своим. Несколько дней назад читали «Хаджи-Мурата».

Читает отрывки из своих мемуаров и графиня. Интересные письма вводятся непосредственно в текст.

— У вас, Лев Николаевич,— спрашивает Н. Н. Брешко-Брешковский,— должно быть, по некоторым соображениям, письмо Победоносцева, которым он ответил вам при вашем обращении к нему по делу передачи письма к Александру III.

— Да, оно где-то у меня есть. Это было сразу после царевубийства в 1881 году. Предполагалось, что Победоносцев вручит мое письмо молодому государю. Но он был против моей мысли о непредании убийц казни. И он ответил мне... нехорошим письмом. Он отстаивал казнь и отказался передать письмо. Его передал один из великих князей... Нехорошее письмо!..

— А насколько справедливо,— спрашиваю я,— будто заходила речь о вашем заключении в монастырь? И действительно ли была сказана знаменитая фраза, что вас следовало бы послать в Соловки, но вам не сделают этой рекламы?

— Да, мне говорили это. И, с своей точки зрения, государь поступил, как наиболее выгодно было поступить ему тогда.

— Теперь вы дожили до времени, когда выясняются итоги победоносцевского закрепощения церкви. Эта история со священником Петровым...⁷ Потом это требование от священников-депутатов в три дня «переменить свои убеждения»!..

Лев Николаевич просит напомнить, в чем заключается эта последняя история, но с самого начала рассказа вспоминает ее.

— Да... Конечно... Но, осуждая одну сторону, я не могу не сказать и того, что не понимаю, как может священник быть революционером. Не могу понять,— задумчиво повторяет он.— Как хотите, это не совмещается...

К вопросу церкви и веры Лев Николаевич обнаруживает большой интерес. Он ставит вопросы о современной духовной школе, об элементах, идущих сейчас в монашество в академиях, говорит о своем и об общепринятом понимании личности Христа.

— В конечном итоге,— говорит Л. Н.,— получается одно у того, кто верит в его божественность, и у того, для кого он человек (...).

Лев Николаевич снова возвращается к некоторым литературным темам и именам, говорит об Андрееве, о Меньшикове⁸, отвечает на расспросы о своих гостях.

— Ко мне часто наезжают американские корреспонденты. Недавно были. Почему-то в Америке мной интересуются. Туда больше всего просят и автографов. Когда подали ваши карточки, я подумал, что это оттуда же. Вот на днях жду к себе моего друга, Черткова. Знаете это имя? Это будет для меня большая радость.

Графиня между прочим показывает альбом с фотографией Льва Николаевича. Есть среди них превосходные, и почти досадно, что, наряду с их существованием, в массах расходятся очень мало удачные снимки. Заходит речь о семье графа, о Льве Львовиче, сейчас находящемся в Швеции.

— А как вы с ним познакомились?— осведомляется граф, узнав, что мы знаем Льва Львовича.

— Что касается меня, то мы встретились в Малом петербургском театре, где шли почти бок о бок его и моя пьеса.

— Ваша пьеса как называется и какая ее идея?

С естественным чувством неловкости (занимать Льва Толстого своим «произведением!») я намечаю идею «Обреченных». «Современное поколение мало приспособлено для счастья и жизни в свободе. Не только оно не увидит счастья, но и то, которое уже пришло ему на смену. Как израильтяне блуждали 40 лет в пустыне, так современность должна создать новых людей для новой, радостной жизни, а сама она — обречена...»

— Это мысль, — вдумчиво говорит Л. Н. — Лет десять назад я сказал бы, что согласен с вами, если ограничивать вопрос интеллигенцией. Теперь я не сделаю даже и этого ограничения... И народ тоже, — прибавляет он со вздохом.

Было уже совершенно темно за окнами, когда мы покидали гостеприимную усадьбу. «Приличья простого слова» при прощании звучали в устах графа приветливо и ласково. Мы уезжали, очарованные прекрасным вечером.

Бубенчики уже звенели у подъезда. Был одиннадцатый час и темно, хоть глаз выколи. Работник светил фонарем. Доктор любезно спустился проводить нас.

Мы обменялись последними приветствиями, и возок побежал на Тулу... Собирался дождь.

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА»

Н. ВРЕШКО-ВРЕШКОВСКИЙ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ У ГРАФА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

⟨...⟩ За дверью послышался немолодой мужской голос:
— Так вот вы приготовьте это на завтра, а теперь свободны... ступайте...

Это он, это его голос!

Мы переглянулись с Измайловым и — это не фраза — буквально замерли оба...

Распахнулись низенькие двери. Трое босых ребятишек шмыгнули мимо и затопотали вниз по лесенке.

А на пороге стоял Лев Николаевич в шелковой шапочке, старом летнем пальто и высоких сапогах.

Он поздоровался и спросил:

— Кто вы такие и чем занимаетесь?

Станный в чьих-нибудь других устах, вопрос этот вышел у него так мягко, славно, располагающе...

Мы назвали себя, сказали, что пишем рассказы, повести, работаем в газетах...

Толстой повторил:

— Рассказы, повести... все это для меня кажется теперь таким далеким, таким далеким!..

Я не выдержал:

— И это вы говорите, Лев Николаевич, вы, написавший такие бессмертные, громадной художественности романы, как «Война и мир» и «Анна Каренина»?!

Толстой улыбнулся тихо и чуть заметно, чарующей улыбкой.

— Я этим вещам не придаю серьезного значения; их и теперь уже начинают забывать, а лет через пятьдесят и совсем забудут...

Конечно, хотелось возражать и возражать... Конечно, Толстой-художник переживет многие десятки поколений. В глухих городишках Лигурийского побережья я встречал итальянцев, зачитывавшихся «Анной Карениной».

Но слова великого писателя звучали такой верой, такой незыблемой искренностью, что протестовать не хватало духу...

Лев Николаевич кивнул на дверь, за которой скрылись босые дети:

— Это гораздо нужней и полезней, чем искусство...

Под словом «это» разумелась деятельность последних десятилетий резко порвавшего с искусством Льва Николаевича. Его богословско-нравственные книги и беседы.

Толстой сидел сбоку небольшого письменного стола. Все в этой комнате было небольшое, уютное, интимное. И этажерка с книгами, и столик между двумя креслами с крохотной лампочкой. Только громадный клеенчатый диван с прямой спинкой и прямыми подлокотниками напоминал простор и ширь былых дворянских усадеб.

Этот диван пришлый в Ясной Поляне.

И у него своя история...

Я смотрел на Льва Николаевича, как говорится, во все глаза... Ни один из бесчисленных портретов не передает его таким, какой он на самом деле.

Повсюду — суровое, иногда прямо жестокое выражение. Ничего подобного! Какая-то мягкая, чарующая кротость, разумная кротость во всем его облике. Кротость человека, написавшего «о непротивлении злу». Нет даже и призрака дряхлой старости. Ясные, зоркие серые глаза пытливо, нащупывающе смотрят под пучками характерных толстовских бровей. Лев Николаевич не велик ростом, но впечатление крупной фигуры. Руки красивые, белые, даже бледные; молодые без морщин и неизбежных желтых пятен старости. От физического труда не загребели ничуть.

Коснулись текущих событий. К Думе Толстой относится отрицательно.

— Плохая Дума... Я не понимаю этого... Собрали людей с бору да с сосенки, посадили их в одно место и сказали: «Думайте!» Разве можно думать по заказу?.. К тому же большинство не знает народа, не любит его, не желает знать его истинных нужд... Нет, нам не ко двору парламентаризм. Не в духе он русского народа! Нам нужно что-то другое, что именно, я не знаю, но только не парламентаризм. Пример Европы показал, что и там он не нужен... Далек я от того, чтоб защищать и правящий класс. Он виноват, ужасно, бесконечно виноват, во всем, что теперь делается в России. Да, разложение полное... Какое всеобщее одичание, как притупились и выродились во что-то зверское, чудовищное азбучные нравственные понятия! Вчера вот пришли ко мне двое безработных: жалкие, голодные, оборванные. Денег просят:

«Дайте нам на револьвер!» — «Зачем на револьвер?» — «Мы хотим убить наших врагов, тех, кто против нас...»

С печальным лицом и с грустью в голосе рассказывал Лев Николаевич, но нельзя было не улыбнуться. К кому угодно могли обратиться безработные со своей нелепой и жестокой

просьбой благословить их на убийство, но только не к Толстому, выстрадавшему свое непротивление злу и на днях перенесшему смерть близкого родственника от руки таких же безработных...¹

Я спросил:

— Лев Николаевич, в дни свобод было напечатано в газетах ваше письмо к императору Александру III². Получили ли вы на него ответ в свое время?

— Нет, никакого...

— А это правда, что государь сказал по поводу вашего письма: «Толстой хочет, чтобы я его сослал в Соловки, но я ему не сделаю этой рекламы».

— Правда...

Лев Николаевич спрашивал у нас, что выдвинула новейшая литература самобытного, яркого? В свою очередь мы интересовались узнать его мнение о том или другом писателе.

Отдавая должное Горькому и Леониду Андрееву, он ставит им в минус их искусственность, манерность.

— Когда читаешь вещь, автор должен ступаться за картинами, образами и героями; его не должно быть видно. Этим грешат и Андреев и Горький; они поминутно выглядят между строк каждый по-своему... Вот кого я считаю самым талантливым из молодых — это Куприна. Прекрасная школа, полный объективизм. Очень хороши его картинки казарменной жизни. «Поединок» растянут, длинен, но маленькие рассказы доставляли мне большое удовольствие; мы их вслух читали...

— Что вы скажете о Короленко?

— Не нравится... Тенденциозен...

Из поэтов нынешних Толстой ценит очень Ратгауза. По его мнению, в стихах Ратгауза много музыкальности, искренности и красоты...³

Вошел слуга:

— Там учитель приехал с Байкала...

Лев Николаевич встал:

— Сейчас, простите...

И вышел твердой походкой, слегка согнувшись.

Мы остались одни. Уже не было солнца, уже сгущался вечер. В стеклянную дверь балкона был виден старый запущенный сад. Если бы он был другой — аккуратный, симметричный, — это не шло бы к Толстому.

Послышались быстрые женские шаги, и, шурша платьем, обрисовалась в дверях Софья Андреевна. Графиня сразу овладела разговором, и через минуту нам казалось, что мы уже давно, давно гостим в Ясной Поляне.

По поводу возраста Льва Николаевича Софья Андреевна заметила:

— Я немногим его моложе, мне шестьдесят три года...

Если бы кто другой сказал, я не поверил бы! Прекрасный цвет лица, ни одной морщины, ни одного седого волоса. И это у матери девяти детей!

Какая великолепная, неувядающая пара — Софья Андреевна с Львом Николаевичем.

— Вы тяжело чувствуете, графиня, утрату вашего брата?

Бодрое живое лицо Софьи Андреевны омрачилось...

— Ах, это большое для меня несчастье!.. Я так любила покойного брата. Не потому, что он был мне близкий, но это был редкой души человек. Бескорыстный, он всего целиком отдавал себя на служение безработным... Тяжело ему было ладить с этими озлобленными людьми. Когда я была в Петербурге, совсем недавно, он мне жаловался, что они хватали его за горло, угрожая. «Мы тебя убьем!..» — «Что ж, убивайте», — отвечал брат.

В конце концов они исполнили свое обещание. Вообще теперь люди превратились в зверей. Вам рассказывал Лев Николаевич... на револьвер просили...

— Но у вас здесь, слава богу, спокойно?

— Не совсем. На днях мы были обворованы. Мужики соседней деревни украли у нас двадцать девять дубов...

Софья Андреевна занята капитальным трудом. Она пишет подробные воспоминания, обнимающие собой пространство времени больше полувека. Год за годом. День за днем. Теперь она остановилась на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов.

Книги эти будут изданы за границей одновременно на нескольких языках.

Каждое слово графини дышит теплой, вдумчивой любовью к Льву Николаевичу. Взяв себе жизнь созерцательную, он все дела предоставил своей умной, энергичной жене. Она ведет переписку, переговоры.

Одна крупная заграничная издательская фирма предлагает миллион рублей за собрание сочинений Толстого.

— Но я не могла согласиться... Они желают в полную ответственность...

— Теперь у нас нет нужды, но прежде, давно, мы были совсем бедные. Приходилось самой шить и для себя и для детей. Все они родились вот на этом диване; на нем же родился и Лев Николаевич.

У графини богатые литературные воспоминания... Картино и живо набросала она одно из посещений Тургеневым

Ясной Поляны. Он был весел, обаятелен и проплясал канкан, завезенный им из Парижа...

Встало перед нами многое далекое и забытое... Лев Николаевич в молодости сильно играл в карты и на биллиарде. В короткий срок он поплатился двумя имениями. Однажды в ночь он проиграл маркеру пять тысяч. После этого он переехал на Кавказ, где жил скромно до чрезмерности, на несколько рублей в месяц.

В свою последнюю поездку в Петербург Софья Андреевна побывала в Думе. Не понравилась ей Дума.

— Я предполагала, что услышу дело, а вместо дела, какой-то Озол или Мозоль битый час говорили о том, как у него совершали обыск...

Вошел Лев Николаевич и отобрал с этажерки несколько брошюр для учителя с Байкала. Ушел и вернулся к нам. А Софья Андреевна покинула кабинет, чтоб распорядиться чаем.

— Лев Николаевич,— обратился я,— Анатолий Федорович Кони говорил как-то мне о том впечатлении, какое произвела на него в чтении ваша повесть «Хаджи-Мурат»⁴. Он в громадном восторге. Думаете ее печатать?

— Не знаю... может быть... Потом...

Измайлов полюбопытствовал:

— А вообще у вас много художественных замыслов, Лев Николаевич?

— Замыслов много, и чем дальше, тем их больше... но удастся ли осуществить их? Все меньше и меньше времени остается... Пойдемте чай пить...

Мы прошли во временную столовую. Временную потому, что в доме идет ремонт, и Толстые ютятся в нескольких комнатах. Мы уже были за столом, как подошли с прогулки Александра Львовна и доктор. Лев Николаевич сел в сторону у открытого окна и не пил чай. Александра Львовна откупила ему бутылку с кефиром.

Коснулись живописи. Лев Николаевич интересовался, кого выдвинула за последнее время молодая школа. К символистам и декадентам не лежит его сердце. В пластическом искусстве, как и в литературе, он ценит искренность и реализм. Любимцы его: Репин, Ге, Суриков, Поленов, Виктор Васнецов, Нестеров...

— Какой больше всех ваших портретов нравится вам?

— Передающий меня лучше других, по-моему, портрет Крамского...

Оказывается, копия с Крамского, которую мы видели в гостиной, написана Софьей Андреевной. По словам графини, это

была ее первая попытка в живописи. Попытка блестящая, ибо можно было думать, что портрет копирован опытным, владеющим техникой мастером⁵.

С Измайловым, магистрантом духовной академии, Лев Николаевич долго беседовал на богословские темы.

Единственный раз в жизни пришлось Толстому иметь дело с Победоносцевым. Неприятное осталось впечатление.

— В восемьдесят первом году я написал ему большое письмо по поводу казни цареубийц... Победоносцев ответил мне. Он доказывал, старался убедить, что смертная казнь совершенно в духе христианства. Скверное было письмо...

— Лев Николаевич, это правда, что Победоносцев⁶ служил вам натурщиком для Каренина?

— Ни Победоносцев, ни Валув⁷, как думали некоторые. Каренин фигура созданная... Догадки же относительно «Войны и мира» имеют основание. В семье графов Ростовых много портретного сходства с нами, Толстыми...

Незаметно бежало время. Уже одиннадцать часов. Нам пора ехать в Тулу к ночному поезду.

Простились, вышли. В темноте позванивали бубенчики. Дорогой мы делились впечатлениями. И каждый признался, что вечер, проведенный в Ясной Поляне, один из самых светлых, чарующих в его жизни.

А кругом густилась темная, тяжелая, слепая мгла... Пруд меж косматыми деревьями мнился населенным кошмарными призраками...

В открытом поле лошади сбились с дороги... Накрапывал дождь.

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Д. П. СИЛЬЧЕВСКИЙ

ДЕНЬ У ЛЬВА ТОЛСТОГО

День 26-го июля навсегда останется памятным днем в моей жизни. В этот день я увидел Толстого.

Осенью и зимой 1902 года я переписывался с Л. Н. Толстым. Тогда, по его просьбе, переданной покойным Вл. Стасовым, я собирал, переписывал и посылал ему некоторые исторические и литературные материалы для повести из кавказской боевой жизни «Хаджи-Мурат», которую в то время Л. Н. писал.

Когда я закончил доставление ему собранных мною материалов, Л. Н. прислал мне теплое письмо, в котором советовал мне беречь свои глаза (в то время мне грозила слепота), добавляя: «Ваши глаза стоят дороже всех моих сочинений»¹.

Проживая нынешним летом на дачном положении в захолустном и отвратительном, но — как-никак — богоспасаемом граде Галиче, я уже собирался вернуться в Петербург, к своим обычным занятиям, и, располагая тремя-четырьмя свободными днями, задумал наконец съездить в Ясную Поляну, хотя для этого и приходилось сделать большой крюк.

Я известил Л. Н., что навещу его приблизительно в 20-х числах августа. Впоследствии Толстой, когда я был у него, говорил мне, что, в ответ на мое извещение, он послал мне (так ему твердо помнилось) пригласительное письмо². Утром 24-го июля я выехал из Галича и через двое суток после разнообразных дорожных приключений прибыл на станцию Щеккино.

⟨...⟩ Войдя в дом Льва Николаевича, я остановился в передней, установленной по стенам книжными шкафами. Через стекла я потом смотрел на вытисненные на корешках переплетов и на корешках обложек названия книг. Все в хаотическом беспорядке, и чего-чего только нет: «Жития святых» рядом с «Social Evolution» Benjamin Kid³ и т. д. и т. д. Сверху в переднюю спустился старик с седой бородой и нависшими кустистыми бровями, одетый в халат. Я сразу понял, что это он, последний из мировых писателей — тот Толстой, сочинениями которого я зачитывался в течение последних 45-ти лет.

Я почувствовал то знакомое мне смущение и ту робость, которые я уже испытывал давным-давно, в 1871 году, при первых встречах с М. Е. Салтыковым-Щедриным, Н. А. Некрасовым (которому меня представил тот же Щедрин) и с германским генерал-фельдмаршалом графом Карлом Мольтке.

Преодолев свою невольную робость, я отрекомендовался.

— Да, Дмитрий Петрович... как же, я писал вам, чтобы приехали.

Я признался, что еще не получал письма, и продолжал:

— Я отправил вам заказное письмо, где говорил, что афоризмы Вовнарга еще в 1892 году переведены г. Первовым и изданы Сувориным в его «Дешевой Библиотеке». Значит, и переводить их незачем, как бы там кто ни смотрел на философскую ценность вовнарговской «мудрости».

— Подождите и не говорите так быстро, — с невыразимо симпатичной, мягкой улыбкой и с добродушнейшим смехом

остановил меня Толстой.— Знаю, знаю, что вы — библиограф. Вам и книги в руки. Но дело в том, что Вовнарга переводил мой хороший приятель Русанов и...

— Какой же это Русанов? Не Николай ли Сергеич,— Н. Е. Кудрин-псевдоним — в «Русском Богатстве» Короленки и Михайловского?

Оказалось из объяснения Толстого, что это «Федот, да не тот». Это был совсем другой Русанов⁴.

— Кстати,— вспомнил Л. Н.,— благодарю вас за библиографическую помощь, которую вы оказывали мне при писании мною «Хаджи-Мурата»...

— Ну, вот еще что вспомнили. В письме вы сказали мне, что мое зрение дороже ваших сочинений. Скажите откровенно, Лев Николаич, эта фраза была деликатной фразой или написана была вами от сердца?

— Как же вы, Дмитрий Петрович, могли и можете еще сомневаться, что я действительно от души благодарил и благодарен был за вашу помощь мне, как библиографа и доброго человека?..

Мне стало неловко, я поспешил перевести разговор на другую тему.

Разговаривая, граф увел меня наверх, к себе в кабинет, и, усевшись там, мы продолжали беседовать, точно старые знакомые.

— А что теперь, как ваше здоровье, Лев Николаич?

— Да вот вы напомнили мне, что надо принять...

Граф налил в рюмку какую-то жидкость.

— Что ж это такое за лекарство?

— Эмская вода,— ответил Толстой.— Знаете, я очень плохо провел эту ночь. Ну да, слава богу, теперь чувствую себя хорошо.

Я осмотрелся. Кругом на столах и стенах были все книги, книги, книги, брошюры, брошюры и брошюры.

— А что это у вас за «Круг чтения»? Это ваше последнее сочинение? Оно вышло в свет? Признаться, я отстал за последнее время от библиографии. Были личные тяжелые обстоятельства...

— «Круг чтения» да «Письмо к китайцу»⁵ я считаю, пожалуй, лучшими из моих сочинений...

— Нет, Лев Николаевич,— перебил его я,— вы глубоко ошибаетесь: лучшее из всего, что вы написали,— это ваша «Война и мир»...

— Нет, это самое глупое из моих сочинений.

Я вытаращил глаза от изумления.

— Да вы это шутите или серьезно говорите?

— Серьезно. А если мой «Круг чтения» и «Письмо к китайцу» не имеют еще такого успеха, как «Война и мир», так это легко объясняется тем, что на свете больше глупых читателей, чем умных, и действительно хорошие книги у нас в России раскупаются медленно.

— Опять вы ошибаетесь, Лев Николаевич: первое издание «Мертвых душ» Гоголя в 1842 году было расхвачено в каких-нибудь два-три месяца.

— Ну, еще бы! — заметил Толстой. — Ведь «Мертвые души» — глубоко художественное сочинение.

— Но ведь вы не можете же быть сами судьей в собственном деле. Предоставьте это народу. Народ — верховный судья всего: и своей участи, и литературных произведений своих писателей...

Л. Н. рассмеялся тихим, славным, несравненным смехом...

— Чему же это вы смеетесь, Лев Николаевич?

— Да как же: вы так торжественно провозглашаете давно всем известные истины, вроде, например, того, что дважды два — четыре...

— Ну, — возразил я, — Пигасов⁶, например, говорил, что, по женской логике, дважды два выйдет не четыре, а стеариновая свечка, а Глеб Успенский — что из наблюдения народной жизни сперва как будто выйдет так, что дважды два — свинья морда...

— А вот я, в разговоре с вами, забыл даже, что мне пора идти гулять. Я распределил свое дневное время так.

И Толстой стал объяснять, в какие часы дня он гуляет, читает, пишет, ездит верхом и проч. Но, признаюсь, я плохо слушал его, занятый совсем другими мыслями.

— А вот, Дмитрий Петрович, сойдемте вниз.

И он повел меня в переднюю и указал на комнату против входных дверей.

— Отдохните с дороги. Ведь на железной дороге ночью вы, верно, мало спали.

— Совсем почти не спал. Так, дремалось малость...

— Ну, так и отдохните. Вот комната для гостей, распоряжайтесь здесь, как сочтете удобнее...

— Отдых мне, Л. Н., не нужен. Я отдыхать не буду. Я сплю только три-четыре часа в сутки.

— Это очень мало.

— Всякий человек спит столько, сколько требуется его натурой, его организмом для восстановления сил. <...>

<...> Возвращусь немного назад. До обеда, после верховой прогулки графа, когда он дал для чтения книги пришедшей к нему и сидевшей со мной под дубом женщине для ее племян-

ников,— граф ходил со мною по одной из ближайших к дому аллей. Между прочим, я сказал:

— В каждом из нас, людей — людей вообще, великих ли, малых ли, деятелей ли или бездельников, честных людей или подлецов — есть и хорошие, и дурные стороны. Достоевский даже среди самых отчаянных живорезов-каторжников — и у них находил хорошие стороны. Задача всех нас — развивать хорошие наши качества и уничтожить или ослаблять дурные. Вы достигли этого, вы идете по этому пути. Дай бог, чтобы и я, и другие шли с успехом по этому же пути.

Я говорил с графом совершенно откровенно, не стесняясь, как будто с давно знакомым. Встречаются иногда такие люди, с которыми при первом же знакомстве чувствуешь себя откровенно, поведаешь им все и о себе, и о своих тайных думах.

После обеда подошло десятка полтора близких знакомых и соседей графа и его семьи. Граф меня со всеми ними пере-знакомил. Но особенно граф рекомендовал мне,— «Мой близкий друг»,— сказал он про него с особым ударением,— Вл. Григ. Черткова, недавнего заграничного издателя так называемых «Запрещенных сочинений Толстого». Черткову я сказал, что я написал о нем две библиографические заметки и упомянул о своей серии биографий «Деятелей освободительного движения».

— А чьи биографии и характеристики вы печатали? — спросил меня Толстой.

Я назвал Радищева, Пестеля, Рылеева, Герцена, Петрашевского, Огарева, Добролюбова, Мих. Михайлова, Чернышевского, Бакунина, Лаврова и Михайловского.

Л. Н. засмеялся своим невыразимо славным, тихим смехом и сказал мне:

— Ну, вы никого не забыли. Вы правоверный, верный вашей религии — революции...

— Но я писал только о мертвых. О живых, еще находящихся среди нас,— например, о Вере Фигнер, Вере Засулич, князе Кропоткине, Лопатине, Дейч, Морозове — я ведь не писал и не включу их, по всей вероятности, если издам отдельно «Наших освободителей»...

— Да к тому времени — кто знает? — еще откроются новые мощи ваших святых,— с добродушнейше-лукавой, иронической улыбкой заметил граф и снова засмеялся...

Между прочим, Л. Н. тепло вспомнил о покойных С. Перовской, А. И. Желябове и Кибальчиче, друге моего отрочества и юности.

— А вот дружба дружбой, а служба службой,— заявил я.— Мне надо торопиться в Питер, и я хочу поспеть к 11-часовому ночному поезду.

— Да уж если вы непременно хотите уехать от нас сегодня,— (а то бы остались?— Я отрицательно покачал головой),— то мы вам заложим лошадь в экипаж.

Я поблагодарил, но отказался.

— Ну, как знаете,— сказал граф.— А вот что — я окончил сегодня новую статью. Так как Дмитрий Петрович торопится поспеть к поезду,— обратился Л. Н. ко всем присутствовавшим здесь,— то нельзя ли будет и прочесть ее еще при нем, при библиографе, тем более что именно по поводу этой статьи я хочу уполномочить Д. П. исполнить в редакциях петербургских газет одно важное для меня поручение.

— А долгое время займет чтение вашей статьи, Лев Николаевич?— спросил я его.

— С полчаса, пожалуй.

— Ну, хоть час,— я, во всяком случае, к поезду поспею. Я хожу по шесть-семь верст в час, а теперь только еще семь часов вечера,— сказал я.

После этого все — все на той же веранде — расположились группами; граф сидел рядом с чтецом (было нас 15 человек), и приступили к чтению. Чтец и декламатор попался прекрасный: я слушал очень внимательно.

Все соблюдали строгое молчание.

Статья графа была написана на тему заповеди «Не убий!»⁷. Со свойственным ему своеобразно могучим талантом и логической убедительностью он обращался и к нашему теперешнему правительству, и к нашим революционерам-террористам с просьбой, с мольбой — одному (правительству) прекратить «белый террор» — убийства посредством виселиц и расстрелов, к другой стороне — к революционерам — с тою же просьбой прекратить «красный террор» — убийства посредством динамитных взрывов, револьверных пуль, бомб и проч. Статья производила сильное, неотразимое впечатление и гипнотизировала слушателей.

По окончании чтения стали говорить об этой статье. Я заметил:

— Да ведь это «*Vox clamantis...*

—... *in deserto*»*— докончил, перебивая меня, Лев Николаевич.— Но ведь надо же по совести испробовать все доводы, чтобы прекратить кровопролитие. И я вас, Дмитрий Петрович, прошу оказать мне большую услугу.

* глас вопиющего в пустыне (*лат.*).

— Сделаю для вас все, что смогу.

— Вас знают в редакциях петербургских ежедневных газет?— спросил меня Л. Н.

— Должны знать.

— Так вот вы попросите, пожалуйста, издателей и редакторов, чтобы все они напечатали эту мою статью, которую вы сейчас слышали, — напечатали все в один день сразу⁸. Нечего, конечно, и говорить, что ни о каких гонорах и речи тут не может быть. Ведь я доказываю в своей статье неопровержимую истину, что...

— Что спокойствие и счастье дорогой нам отчизны, Лев Николаевич, настанет с прекращением террора и «белого», и «красного», и что я должен ходатайствовать перед редакциями петербургских наиболее влиятельных газет о помещении с означенной целью вашей статьи.

Я поблагодарил Толстого, крепко пожал ему руку и распрощался с ним, его семьей и друзьями, взял свою котомку (в которую заботливая рука графини наложила пирога, вареного языка и прочей снеди) и зашагал по парку.

«ГОЛОС МОСКВЫ»

Г. КЛ(ЕПАЦК)ИИ

НОВАЯ СТАТЬЯ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

Л. Н. Толстым написана статья на тему о непрекращающихся в России убийствах и зверствах под заголовком «Не убий никого». Эту статью Л. Н. хочет поместить в один и тот же день во всех газетах. По этому поводу сотруднику нашему, побывавшему в Ясной Поляне, удалось узнать — отчасти от самого Льва Николаевича, отчасти от лиц, близких к нему, — следующее:

Статья действительно написана Львом Николаевичем, но в настоящее время далеко еще не готова к печати. По обыкновению, Л. Н. каждый день ее изменяет: делает поправки, дополнения, сокращения и т. д. Всякий раз после такой черновой корректуры статья переписывается на пишущей машине, Л. Н. опять самым тщательным образом просматривает текст, и в результате — новые поправки, новая переписка.

За самое короткое время, по словам графини С. А. Толстой, статья выдержала около двадцати таких корректур.

— И вероятно, выдержит еще столько же!— добавляет, смеясь, Софья Андреевна.— Не дальше, как сегодня, то есть в субботу, опять со статьей произошло что-то. Я слышала, как Лев Николаевич давал какие-то пояснения барышне, которая у нас работает на пишущей машине, читал и показывал места, где сделаны поправки, волновался...

Это волнение в период, когда Лев Николаевич готовит что-либо для печати,— тоже характерная и хорошо знакомая черта писателя всем, кому приходилось видеть его в такое время.

И в данном случае состояние Л. Н. тем более понятно, что статья, по его мысли, должна появиться в один и тот же день не только в русских газетах, но и в наиболее распространенных заграничных изданиях.

Все заботы по печатанию статьи в заграничных изданиях взяло на себя одно лицо, близко стоящее к Л. Н.¹ и уже не раз исполнявшее подобные поручения.

— Я лишен возможности,— говорил Л. Н. нашему сотруднику,— поместить статью в московских газетах раньше, чем в заграничных изданиях, потому что, как мне объяснили, тогда эти последние издания ограничились бы перепечаткой из русских газет лишь выдержек статьи,— может быть, даже им угодных выдержек. А этого бы мне не хотелось. Пусть уж статья будет напечатана целиком. Поместить свою статью в какой-нибудь одной газете я тоже не могу, так как это легко могло бы быть истолковано в том смысле, что я ей отдаю предпочтение перед всеми остальными,— а при нынешней политической окраске газет еще скажут, пожалуй, что я примыкаю по своим убеждениям к той или другой политической партии.

От одной московской газеты я получил уже уведомление, что редакция согласна поместить мою статью одновременно с другими изданиями...

На вопрос, как скоро эта статья может появиться в печати, Л. Н. ответил:

— Думаю, недельки через три. Хотя с переводом статьи на иностранные языки дело может затянуться до месяца и больше...

В заключение остается лишь сказать, что статья в сжатой сильной форме сконцентрировывает, так сказать, в себе все взгляды Л. Н. на человеческие взаимоотношения, уже известные читающей публике. А лейтмотивом статьи является идея: «Не убий никого!»

Эта работа не мешает Л. Н. следить самым внимательным образом за всем, что творится в России, по газетам, а также за новыми книгами и брошюрами, которые появляются на нашем книжном рынке.

Вечера Л. Н. проводит в обществе гостей, которых сейчас в Ясной Поляне очень много.

— Полон дом!— как говорит Софья Андреевна...

«РЕЧЬ»

А. ВЕРГЕЖСКИЙ (А. В. ТЫРКОВА)

У Л. Н. ТОЛСТОГО

⟨...⟩ Приветливо и ласково расцеловался Толстой с моим спутником Ш.¹

— Как здоровье, Лев Николаевич?

— Отлично, отлично... Пишу Черткову, что я так здоров, что поглупел даже,— шутил он, пропуская нас в столовую.

Опять то же чувство простора и удобства, которым полна вся Ясная Поляна. Высокие потолки, окна с двух сторон заливают светом всю комнату. Посредине длинный обеденный стол. Старая мебель красного дерева, несколько мягких, глубоких кресел, кушетка, зеркало.

На белых штукатуреных стенах темные портреты предков в потускневших золотых рамах. Ничего лишнего, роскошного, модного. Настоящее дворянское гнездо, свитое не на показ, а для себя. И у хозяина простота, приветливость и тонкая благовоспитанность старого барина.

Наш приезд оторвал его от работы. Он не сразу ушел к себе, а присел тут же около стола, пока нам подавали чай, расспрашивал Ш. о семье, об общих знакомых, шутливо вспоминал всякие мелочи и подробности их прежних частых встреч. Мой спутник был когда-то толстовцем, но потом весь отдался земской и политической работе. Разговор скоро перешел на общественную тему. Это было в самые темные времена владычества Плеве², накануне японской войны.

— Да, да, трудно у нас. Темнота и насилие,— сдвинув мохнатые брови, сказал Толстой.

— Трудно, а только все-таки за последнее время есть надежда, оживает жизнь, двигается,— заметил мой спутник и стал рассказывать о съездах, о попытках к организациям,

о всех струйках, которые тогда уже пробивались наружу.

Толстой пытливо посматривал на оживленное лицо собеседника.

— Действительно что-то в народе совершается... Штундисты... И от воинской повинности начинают отказываться. Бродит у них дух. А ведь главное — это дух. Не создадите вы лучшей жизни, пока люди лучше не станут.

— А могут ли они стать лучше при теперешних политических формах? — спросил я.

— Вот, вот, это самое и есть самое вредное, — горячо заговорил Лев Николаевич. — Это погоня за внешностью, она только отвлекает от главного, от внутреннего совершенствования. Политика — это внешнее, а надо думать, непрестанно думать о духе. Перед нами еще столько нерешенных нравственных проблем. Вот, например, дети, — надо их крестить или нет? Или солдатчина... Или вот самое простое житейское дело. Идет крестный ход. Снять мне шапку или нет?

Мне показалось, что он шутит. Что это такое, мы говорим о конституции, о бесправии, об общем переустройстве жизни, а тут вдруг снимать шапку или нет! Но лицо Толстого было серьезно и задумчиво. Он стал рассказывать нам, как его сосед крестьянин, отрицая обрядность, вынес из избы все иконы и за это попал в Сибирь. Лев Николаевич много и упорно за него хлопотал, но ничего не мог сделать.

Рассказывает он отлично. Ярко, метко, кратко, одним-двумя словами, рисуя лицо, картину, бытовую подробность. Словом, так, как и должен рассказывать автор «Севастопольских рассказов» и «Анны Карениной».

— Вот вы находите, что мы напрасно бьемся из-за политики. Если так, зачем же вы хлопотали об этом мужике? Пусть бы шел в каторгу, если форма ничего не значит...

Толстой сразу рассердился, сдержанной, не явной досадой очень воспитанного человека. Но все-таки в глубоких маленьких глазах вспыхнул огонек.

— Ну да, хлопотал, потому что мне так хотелось. Не для него, а для себя. Мало ли я что для кого сделаю. Если вы у меня сахару попросите, я дам, даже водки дам, хотя я знаю, что это ни к чему, что это не важно. Только душа важна.

Мне не хотелось его раздражать, и я замолчал. Потом в течение дня я несколько раз замечал эту нетерпимость Толстого к возражениям, к противоположному мнению. В этом, быть может, сказывалась и страстность все еще неуходившейся могучей бурной природы, и самоуверенность человека, считающего себя обладателем абсолютной истины. А может быть, и та атмосфера, которой окутан великий писатель.

Большинство биографов и наблюдателей говорят о влиянии гр. Софьи Андреевны, которая вносит узкопрактическую, земную ноту в жизнь Толстого. Мне не пришлось ее видеть, ее не было в Ясной Поляне. Вообще из семьи никого не было. Было только несколько человек, очевидно близких знакомых и постоянных посетителей. И вот в их отношении к старому художнику, в их разговорах и рассказах было что-то такое душевное, такое лампадное, что мне почему-то вспомнилось детство, когда отец возил нас в монастырь, на поклон к старой игуменье. В ее комнате окна всегда были наглухо заперты; послушницы скользили бесшумно с опущенными глазами, а гости после каждого слова кланялись настоятельнице.

Тяжелее всего было то, что мы ясно видели, как эта атмосфера обособляет Толстого, завлакивает даже от его художественной пронизательности весь смысл жизни новой России. Позже нам и пришлось, с еще большей горечью, в этом убедиться, когда великий писатель выступил со своими маленькими обличениями всего освободительного движения.

Это особенно поражало моего спутника, который несколько лет не видал Толстого и нашел его очень изменившимся.

Среди завсегдатаев был молодой и безличный москвич, розовый, богатый и очень увлеченный обращением. Он почти исключительно рассказывал о Добролюбове³. Талантливый поэт-декадент тогда еще только успел удивить Москву своим обращением в странника-богомольца, своим грубым кафтаном, своим аскетизмом и суровым обличением чужого баловства. Юноша по простодушию рассказывал такие черточки, в которых ясно сказывалась рисовка и театральность бывшего эстета, ставшего проповедником. Но Толстой слушал так внимательно, так сочувственно, что было тяжело и больно.

— Да, да. Он и у меня был. Пришел в лаптях. Говор мужицкий. Я с ним два часа разговаривал и не подозревал, кто он такой, думал настоящий странник. А он все мне говорил, как я живу и что моя жизнь идет вразрез с моими мыслями. Так все прямо и говорил.

Лев Николаевич рассказывал об этом с какой-то детской почтительностью, совершенно не идущей к его старческому, бородатому лицу, которое знают грамотные люди всего света.

— Зачем же ему понадобилось по-мужицки говорить? — с чуть заметной усмешкой спросил мой спутник.

Розовый москвич стал усердно, захлебываясь, доказывать, что так и надо. Но Толстой быстрым взглядом окинул нас обоих и сразу переменял разговор. Видно было, что эти острые, в самую глубь человека проникающие глаза, прочли в нас

полное отрицание и лаптей, и посоха, и всей этой обличительной комедии. С уверенной простотой отличного собеседника Лев Николаевич переменял тему и заговорил о своей работе. Он писал тогда предисловие к книге какого-то американца, старавшегося разрушить авторитет Шекспира⁴. Не то с увлечением, не то с досадой Толстой доказывал нам, что Шекспир — это не особенно талантливый компилятор, ловко умевший пользоваться чужими произведениями. У него нет ни стиля, ни умения создать характер, ни истинного понимания человеческой психологии. Выходило так, точно только по недоразумению люди целые века зачитывались английским драматургом. Мы лениво возражали и были очень рады, когда наконец удалось перевести Толстого на другую тему.

Оказалось, что у него задумана еще другая работа⁵. Не помню — начал ли он ее тогда, или только собирал материалы. Это была повесть из жизни Николая I. Вернее — вся его жизнь.

— Помните, как Екатерина Вторая смотрела на маленьких внучат и жалела, что она не наметила сразу Николая в цари? И потом — конец. Севастополь уже отдан. Все валится. Николай Первый умирает. Он уже не может говорить и только сжимает кулак, жестом показывает молодому наследнику, как надо держать Россию.

Опять мы увидели перед собой могучего художника, владеющего волшебным даром приковывать и покорять чужое внимание. Не знаю, показалось ли мне, или это действительно было так, но, только когда он говорил, как будто и с увлечением, о Добролюбове, о непротивлении, о Шекспире, было что-то в его речах застывшее, ненужное. Зеленый свет, мерцавший в маленьких глазах, тускнел, уходил куда-то. Резче и несомненное выступало старчество. Пряталась нестареющая молодость духа.

Но когда он, отдельными штрихами, яркими картинами, рассказывал нам то о Николае I, то о Герцене, то о декабристах, — все лицо у него преображалось.

Была уже вторая половина дня. За окнами смутно чернели вершины больших и старых деревьев. Лампа с широким абажуром уютно освещала столовую. Лев Николаевич забрался на мягкую удобную кушетку и, очевидно сам увлекаясь и воспоминаниями, и образами, говорил своим тихим, гибким голосом. А мы, счастливые, что слушаем и видим того Толстого, которого всегда любили крепкой, не меняющейся любовью, жадно ловили каждое слово.

Особенно жизненно вставали перед нами декабристы. Он и лично, и по семейным преданиям хорошо знал их и, по-

видимому, предполагал все это внести в повесть о Николае. Как-то не верилось, что вся эта громада художественных образов останется нерожденной, а какая-то ненужная, нелепая статья о Шекспире уже несколько месяцев поглощает его внимание.

С проникновенной простотой рассказывал он нам новые подробности. Картину разжалования, которым руководил человек, сам принадлежавший к Союзу Благоденствия, Лев Николаевич передал с такой силой, что мой спутник не выдержал:

— Господи, Лев Николаевич, да бросьте вы Шекспира. Пишите вы скорее Николая. Ведь это опять что-нибудь вроде «Войны и мира» выйдет. За что же нас лишать...

И вдруг по лицу старика разлилась лукавая и довольная улыбка. Он почувствовал в этих словах такую искреннюю, такую горячую преданность Толстому-художнику, Толстому — великому писателю земли русской, что даже ему, избалованному похвалами на всех возможных языках, это польстило.

— Да, напишу, напишу, — добродушно сказал он, ласково глядя на укоризненное лицо Ш.

Быть может, смягченный художественностью собственных рассказов, он к вечеру стал милостиво говорить с нами о политике. На этот раз после непродолжительного спора он признал, что, конечно, против политической свободы он ничего не имеет.

— Ну конечно, нельзя же водить взрослого человека в коротком платье, надо новое сшить. Только это не главное, главное — душа.

Об этом мы и не спорили.

Нам обоим не хотелось уходить из этой столовой, из этого старого барского дома, который, точно неприступная крепость, возвышался над остальной Россией. Как ни была черна кругом ночь, как ни велика была вражда против Толстого, но у порога этого дома она оказывалась бессильной.

Это было настоящее царство, настоящая победа духа. Этот спокойный, милый, простой старик с острыми глазами и лицом Сократа владел тайной гения, сделавшей его неуязвимым.

И как ни двоилось впечатление между Толстым-резонером и Толстым-поэтом, сила его личного обаяния, простого и неотразимого, стирала все углы и сковывала одно общее впечатление, глубокое и невыразимое.

«РАННЕЕ УТРО»

Музыка в Ясной Поляне

Известная пианистка Ванда Ландовска во время своего недавнего артистического турне по России была в Ясной Поляне у Л. Н. Толстого. Вернувшись в Берлин, артистка рассказала о своих впечатлениях, вынесенных из этого посещения. Внутренняя, домашняя жизнь великого русского писателя описана всеми бывавшими у него достаточно подробно. Нового, конечно, рассказ ничего не вносит, но в нем интересно представляется характерная, малоизвестная подробность: какую роль играет музыка в домашней, интимной жизни Л. Н. Толстого. Ванда Ландовска, концертируя в прошлом декабре в Москве и встретившись в одном из концертов с графиней Толстой, супругой писателя, получила приглашение приехать на рождественские праздники в Ясную Поляну.

— В канун сочельника, — рассказывает пианистка, — мы приехали на станцию Щекино. Сани, присланные за нами, уже ожидали нас. До усадьбы надо было проехать десяток верст. Погода была ужасная, настоящая русская — зимняя: морозная вьюга и снежная метель во всей своей прелести. На одни сани был поставлен мой клавесин, на другие — сели мы. Нас закутали в присланные любезно графом и графиней шубы; но, невзирая на это, мы, благодаря 30-градусному морозу, прибыли в усадьбу достаточно промерзшими. Когда мы тронулись в путь со станции, вьюга закрутила такая, что саниами правил не кучер, а лошади, хорошо знавшие дорогу. Проплутав несколько часов, они привезли нас в конце концов к дому великого писателя. Жажда узреть великого человека



*Толстой и Ванда Ландовска 25 дек. 1907 г.
Фото С. А. Толстой.*

была так могуча, а обаятельный прием, который нас встретил, был так пленительно очарователен, что впечатления от опасного путешествия быстро рассеялись.

За неделю до нашего приезда с графом произошел несчастный случай: он упал с лошади и довольно сильно расшибся. Ушибы, однако, зажили скоро, и в дни нашего пребывания о них не было и помину. Граф чувствовал себя превосходно, предпринимая ежедневно свои обычные прогулки, поездки и занимаясь обширной корреспонденцией.

В 12 час. утром мы собирались все к завтраку. Часа полтора я играла, а после того Толстой уходил в кабинет работать. После обеда я принималась снова за игру — часов в 7 вечера и продолжала играть до 11¹/₂ часов. Так проходил каждый день.

Толстой необычайно музыкален и играет сам зачастую с своею дочерью в четыре руки. Толстой особенно любит музыку

классическую: Гайдн и Моцарт — самые его излюбленные музыканты. Из сочинений Бетховена пользуются его симпатиями не все. Из композиторов послебетховенского периода наибольший любимец его — Шопен. Классики Бах, Гендель, Рамо, Скарлатти вызывают в Толстом безграничное восхищение своим вдохновением.

— С трудом верится, — говорил Толстой, — что такие драгоценности покоятся в библиотеках и остаются мало знакомыми публике. Музыка этих композиторов уносит меня в другой мир... Я закрываю глаза, и мне кажется, что я живу в давно протекших столетиях, далеко ушедших от меня, хотя я уже перешагнул за восьмой десяток.

Толстой очень любит старинные французские танцы. Я каждый день должна была играть их ему. Сердцу Толстого ближе всего народные музыкальные темы. Одно время он занимался собиранием народных мотивов и часть их послал Чайковскому с просьбой обработать в гайденовском и моцартовском духе и стиле, но отнюдь не во вкусе Шумана или Берлиоза¹.

Мне приходилось играть Толстому по 5 часов, не переставая. И когда я высказывала опасение, что музыка может повлиять на его нервы, Толстой возражал мне, что, напротив, классики действуют успокоительно, далеко не так, как большинство новейших произведений. Когда из игранного мною что-либо не нравилось ему, он деликатно, но вполне откровенно это высказывал мне. Все, что я ни играла, он анализировал с глубочайшим пониманием, как настоящий музыкант.

Множество музыкальных замечаний, высказанных Толстым, Ландовска записала как крайне меткие музыкально-критические замечания.

В Ясной Поляне, по ее словам, культ музыки стоит очень высоко. Графиня и все ее дети очень музыкальны. Старший сын, Сергей, композиторствует, младшая дочь, Александра, прелестно исполняет русские песни, сама аккомпанируя себе на балалайке, в то время как слушающие хлопают в ладоши, а девица Маклакова², сестра известного депутата Государственной Думы, приплясывает при этом.

Таков рассказ пианистки Ландовска о тех нескольких днях, которые она провела в доме великого человека и про которые она говорит, что они останутся навсегда незабвенными днями в ее жизни.



*Толстой на прогулке в парке.
Январь — февраль 1908 г.
Фото В. Г. Черткова*

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИСТОК»

К—О

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

О жизни и теперешних трудах великого писателя лица, прибывшие из Ясной Поляны, сообщают много интересных подробностей.

Полоса небывалых снежных заносов захватила и тихую Ясную Поляну с ее 70 домишками, рассыпанными на отлогом взморье у самых границ казенной засеки.

Хатенки, лежащие внизу, занесены почти до самых крыш. Заметены и дороги.

Но Лев Николаевич каждый день совершает свои далекие прогулки верхом, кутаясь в большой теплый платок, которым он чрезвычайно оригинально обвязывается. Середину наматывает на живот, а концы захлестывает на плечи, потом на шею и завязывает узлом на затылке.

— Так теплее, — смеется он. — Никуда продувать не будет. А главное, живот в охране.

— Но это уж усиленная охрана? — пробуют возразить домашние.

— Именно усиленная. Погодите, дойдет и до чрезвычайной¹.

Навещает Л. Н. своих друзей почти ежедневно, делая для этого верст шесть в одну сторону в д. Овсяниковку, где живет старушка, удивительной души женщина, М. А. Шмидт² и верст восемь в другую сторону, где живет его друг и последователь П. А. Булыгин³.

По утрам же Л. Н. усиленно занимается. Современные вопросы его очень волнуют, и всякого приезжающего свежего человека он подробно расспрашивает о течениях мысли и общественной жизни. Иногда пробегает и газету. Его поражает умение некоторых публицистов писать так много и так спешно.

Об одном из таких публицистов он скаламбурил:

— Он скорее Мельников⁴. И в воде никогда не нуждается, — всегда через край.

Задумал теперь Л. Н. большую работу, где намерен изложить все свои переживания и верования, но так, чтобы и для детей было понятно⁵.

— Это мое завещание. Кажется, больше уже не успею ничего написать.

Очень часто зовет к себе деревенских детей и читает им написанное. Потом просит их пересказать, и уже с их пересказа все поправляет.

Это его старинный метод, по которому написаны лучшие вещи его. Его знаменитая сказка «Бог правду видит», которую он сам считает самым выдающимся из всех его произведений, написана тоже со слов пересказа его маленьких учеников <...>.

О юбилее и предстоящих торжествах Л. Н. знает и с великою скромностью встречает всякую новую весть об этом⁶.

— Ну, зачем? Столько шума! Можно подумать, что я в самом деле заметный человек. Одно только хорошо, — добавил он, — это еще раз сильнее напоминает мне о смерти. Напишите эпитафию и прочитайте обратно, — выйдет юбилей. И наоборот.

Когда близкий друг его В. Г. Чертков, приехавший из

Англии и поселяющийся теперь около Ясной Поляны, спросил у Льва Николаевича, какой самый приятный был бы для него юбилейный дар от людей, он уклонился от ответа.

Но когда затем Чертков напомнил об издании его сочинений и о том, чтобы сделать их доступными для всех, Л. Н. оживился и горячо подхватил:

— Ну конечно, это было бы самое лучшее, что можно сделать для меня.

Когда ему сказали, что съедутся со всего мира люди и пожелают его приветствовать, он был очень тронут обнаруживающимся здесь единением.

— Только об одном просил бы,— заметил он,— чтобы депутатии не были многолюдны. Мне хотелось бы с каждым поговорить, каждому сказать несколько слов и близко почувствовать его, а если соберется много, надо будет говорить ко всем сразу, а я этого не умею — застыжусь и пере забуду, что нужно сказать.

«РУССКОЕ СЛОВО»

В. КУРБСКИЙ (Г. С. ПЕТРОВ)

У Л. Н. ТОЛСТОГО

⟨...⟩ Последний раз я видел Льва Николаевича 7—8 лет тому назад¹. Тогда он выглядел ссохшимся. Воображение, приученное многочисленными портретами, рисовало очертания могучего, костистого организма, а действительность давала все значительно уменьшенным. Теперь Лев Николаевич, наоборот, выглядел сравнительно даже пополневшим. Ходит твердою поступью. При случае даже частыми, бойкими шажками. Говорит без тени старческого шамканья или шепелявенья. Только глаза слегка помутнели, утратили былую пронизательность и острый блеск. Да и память стала изменять.

— Привез вам, Лев Николаевич, целый короб поклонов из Петербурга и Москвы.

И перечисляю имена художников, писателей, общественных деятелей, людей, много раз и подолгу гостивших у Льва Николаевича.

— Позвольте, позвольте,— перебивает Лев Николаевич,— такого-то и такого-то я помню, а это кто?— называет Лев Николаевич последнее сказанное мною имя.— Я помню это имя, но кто он такой — я забыл. Вы мне опишите, и я вспомню.



*Толстой и Куприн.
Карикатура из журнала «Серый волк». 1908 г.*

Графиня Софья Андреевна приходит на помощь нам:
— Ты помнишь его? Помнишь то-то и то-то? Он такой-то и такой.

— Да, да,— вспоминает Лев Николаевич.— Теперь вспоминаю. Как же? Он еще говорил тогда то-то и то-то, написал то-то и то-то.

Затем Лев Николаевич обращается ко всем и спокойно, не смущаясь, без сожаления говорит:

— В молодости мы думаем, что нашей памяти, нашим способностям восприятия конца-края нет. К старости чувствуешь, что и у памяти есть границы. Можно так заполнить голову, что и держать более не может: места нет, вываливается. Только это, пожалуй, к лучшему. Сколько мусора и всякой дряни мы набиваем в голову. Слава богу, что хоть к старости голова освобождается. На что, например, мне теперь помнить того или другого, когда мне важнее всего на пороге смерти помнить самого себя.

О смерти Лев Николаевич говорит часто. И говорит спокойно. Как пассажир на станции в ожидании поезда. Смотрит на часы и говорит: «Скоро поезд. Скоро поеду. До свиданья, друзья».

Но и на пороге смерти Лев Николаевич любит жизнь, любит здоровое проявление ее. Зашла речь о литературе, о писателях, о новых литературных течениях — Лев Николаевич разгорячился:

— Чего они крутят, чего они выдумывают? Тужатся-тужатся, и ничего не выходит. Ни людей таких нет, как они пишут, ни жизни. Даже язык натуженный². Ни слов, ни выражений таких, как у них, нет в русской речи. Один вот только офицер Куприн. Вы меня простите,— извинился Лев Николаевич,— а я его зову «офицер Куприн». Он не тужится и не выдумывает, а как вот, бывало, и Чехов, возьмет кусочек жизни, как мы, например, сейчас за столом, и напишет. И людей нарисует, и душу их покажет, и жизнь изобразит.

Среди гостей один музыкант, известный композитор и пианист³. Графиня просит его сыграть.

— Что вы желаете?— спрашивает пианист.

Лев Николаевич принимает горячее участие в обсуждении программы предполагаемого концерта. Называет одного композитора, другого, третьего. Разбирает произведение за произведением. Указывает, где какая часть слаба, какая превосходна. Дивисься музыкальной памяти восьмидесятилетнего старика.

Моя соседка шепчет мне, что и доселе сам Л. Н. нет-нет да и сядет за рояль.

— Раз Лев Николаевич,— рассказывает соседка,— сел играть в четыре руки с Сергеем Ивановичем (Сергей Иванович — гость, композитор-пианист), и как он тогда волновался!

— Ну еще бы,— говорю я,— если бы обратно: Сергея Ивановича пригласить, вместо рояля, писать со Львом Николаевичем в две руки «Крейцерову сонату» или «Воскресение», то тогда бы, наверное, дрожал бы и волновался Сергей Иванович!

В одиннадцать часов вечера кончаются и музыка, и разговоры, и Лев Николаевич идет спать.

Часть гостей наутро рано уезжает, и Лев Николаевич прощается с ними с вечера: утром он выходит не ранее десяти.

[...] Работает в настоящее время Л. Н. по преимуществу над «Кругом чтения»⁴. «Круг чтения на весь год» составлен Л. Н. давно, но, как он и сам признал, не совсем удачно. Л. Н. выписывал из разных мудрецов и писателей изречения и набирал их по нескольку на каждый день года, но подбор этот был сделан случайно, без всякой связи. Без всякой связи и между изречениями, и без связи с днем, на который они поставлены. Теперь Л. Н. вырабатывает свою законченную систему: тридцать ступеней добродетели. Сообразно порядку этих ступеней на каждый день месяца подбираются особые изречения. И так тридцать дней, целый месяц. На новый месяц круг повторяется. Ступени проходят те же, но изречения на каждый день подобраны новые.

Этой работе Лев Николаевич придает громадное значение.

— Здесь будет отражено все мое мировоззрение,— говорит Л. Н.— Это — мое последнее завещание.

Но мировоззрение Льва Николаевича давно уже и так ясно определилось, а завещанием его дорогим являются его бессмертные творения. И «Круг чтения», любимый Львом Николаевичем, может быть, более других произведений, как последнее дитя, дитя утешения, нового ничего не скажет. Интересно разве будет только лишний раз отметить, кто из великих мировых писателей и мудрецов был к концу жизни Льва Николаевича наиболее близок его духу... Сам Л. Н. говорит, что его сильнее других сейчас волнует и захватывает дух мудреца-императора Марка Аврелия⁵. По-прежнему любимцем Льва Николаевича остается также великий американский писатель Генри Джордж⁶. Во время разговора Лев Николаевич любит принести свой «Круг» и угостить собеседника оттуда изречениями Генри Джорджа или Марка Аврелия.

Временами попадают среди выбранных чужих мыслей собственные изречения Льва Николаевича. Это — жемчужины. Вот для примера: «Любой нищий, получив полхлеба, поделится краюшкой с другим бедняком, и ни один царь, завладев половиной земного шара, не успокоится, чтобы не захватить и другую половину». <...>

Большим облегчением для Л. Н. является теперь граммофон, присланный Эдисоном⁷ из Америки. При граммофоне пятьдесят чистых валиков. Валик вставляется, и Л. Н. говорит в трубу, сказанное и увековечивается. Домашние после с валика записывают. Так образуется если не библиотека, то фонотека, хранилище речей и изречений Л. Н., сказанных им самим, его голосом.

Для потомства это будет иметь живой и громадный интерес. Представьте, что мы могли бы сейчас слышать живой голос Гомера, как он поет свои рапсодии. Голос Сократа, как он беседует на площади один. Голоса Данте, Шекспира, Гете, Канта, тысяч других мудрецов, поэтов, писателей. <...>

Легко сохранить кинематографом также и движение, фигуру, выражение лица, всю обстановку усадьбы, дома, комнат Льва Николаевича. Все это так просто, так доступно и так важно. И у нас ничего доселе не сделано.

Завтракает Л. Н. позже домашних. Как придется: в 2, в 2¹/₄, в 2¹/₂ часа. Когда кончит свои занятия. Appetit хороший. Л. Н. съедает два яйца, один-два помидора с картофелем, протертой зелени какой-нибудь, молоко. После завтрака прогулка. Часа на два, иногда и побольше. Это составляет 8, 9, а то и 10 верст. По снегу, по сугробам, через ухабы. Прогулка доставляет большое удовольствие Льву Николаевичу. Ему, видимо, приятно одно уже то, что он, несмотря на свои 80 лет, может так много ходить.

Вернувшись с прогулки, Л. Н. ложится на часок отдохнуть. В шесть общий обед, а после обеда у Л. Н. опять занятия. К нему ежедневно приходят десяток-полтора деревенских ребят, и Л. Н. занимается с ними историей, географией и евангельскою историей⁸. Последним более всего. Л. Н. занят писанием евангельской истории в изложении для детей.

Я видел рукопись. Л. Н. работает усердно над этим. По несколько раз переправляет слова, отыскивая более подходящее выражение. Дети служат критиками. Л. Н. внимательно следит за своими учениками и по их лицам проверяет, насколько удался ему тот или иной рассказ. Сам Л. Н. с увлече-



*Толстой и Н. Н. Гусев
с крестьянскими мальчиками — учениками Толстого.
Январь 1908 г. Фото А. Л. Толстой.*

нием ведет занятия с детьми. И любит, и после рассказывает о своих учениках. Ученики также, видимо, заинтересованы: приходят за час до занятий. Ждут, скоро ли позовут к Льву Николаевичу.

После занятий с учениками дверь в рабочую комнату Л. Н. открывается. Немного сутуловатая фигура выходит в общую комнату и, заложив руки за пояс блузы, переходит от одного к другому члену общества. Читают, играют в шахматы, занимаются музыкой, беседуют. Л. Н. — живой участник во всем. Около десяти вечерний чай, и в одиннадцать Л. Н. прощается, идет спать. <...>

Сколько еще дней будет с нами этот великий старик?

Хотелось бы, чтобы не только еще месяцы, но и целые годы.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

П. СЕРГЕЕНКО

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(Вечерние курсы)

I

По кособокому оврагу, отделяющего сельцо Ясную Поляну от графской усадьбы, тянутся холодные зимние тени.

Никогда, говорят, Ясная Поляна еще не была так занесена снегами и как бы отрезана от всего мира, как в текущем году. Особенно бросается это в глаза, когда подъезжаешь к усадьбе не со стороны тульского шоссе, а со стороны деревни. Точно два разобщенных, молчаливых лагеря. Нигде ни следа. Ни одной вешки, поставленной на повороте заботливой рукой.

В усадьбе загораются огни. Просвечиваясь чрез отягченные ином деревья, огненные блики придают длинному двухэтажному дому характер какого-то волшебного замка... Воздух делается чутким и звонким, как тонкая льдинка.

II

На горе, в занесенной снегом деревне, тоже загораются огни. И молчаливый лагерь как бы оживает. Слышатся детские голоса. Они все громче разносятся по всей окрестности. Ванька пронзительно выкликает Федьку, Федька — Ваську.

И таинственный синий овраг, казавшийся непроходимым, вдруг наполняется, как проснувшийся дортуар, звонкими голосами и веселым задором детей... Дети шумной гурьбой сбегают по кособокому на занесенный снегом пруд и, пронзительно визжа и барахтаясь в свежем пушистом снегу, с победоносными криками направляются к графскому дому, точно завоеватели какие-нибудь. Все это «вольнотрусы» яснополянских вечерних курсов.

В Ясной Поляне — опять 60-е годы¹.

Л. Н. Толстого опять потянуло к старой, невыветрившей-

ся симпатии — к юной крестьянской России. И в его усадьбе — опять вечерние общеобразовательные курсы, а в комнатах — опять географические карты, глобусы и т. п. Но и курсы, и все — уже как бы под другим меридианом и при другом освещении.

Тогда, в начале 60-х годов, Л. Н. искренно учительствовал и совершенно серьезно думал установить с деревней новые, независимые человеческие отношения, оставляя вне классов все по-старому: все вековые овраги незаполненными общими с народом усилиями...

Но этот мираж быстро рассеялся. И через некоторое время Л. Н. сам говорил об этом как о своей «внутренней школе», через которую он должен был пройти:

— Это последняя моя «любовница» меня очень сформировала. И мне трудно теперь себя понять таким, каким я был год тому назад... Дети ходят ко мне и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который некогда был во мне, но которого уже не будет...

И теперь Л. Н. уже не учительствует, а, как сам он говорит, пользуется занятиями с детьми, «чтобы самому поучиться у них». И он очень дорожит общением с крестьянской детворой и пытливо прислушивается к детскому мнению, точно раздумывая, какой урожай дадут миру эти русские озими?

III

Из деревни по кособогу шумно сбегает новая группа детей. Молчаливый яснополянский парк, точно старик, убитый сединой, вздрагивает иногда и, затрепав отяжелевшими ветвями, сыплет на землю снежную пыль. Это вызывает новый прилив задора. Дети визжат и толкают друг друга в снежные сугробы, как в вороха лебяжьего пуха. За визгом и криками дети не слышат пискливого голоса, взывающего к ним. Вдали плетется малыш в больших валенках и женском платке. Это, вероятно, и стесняет свободу его движений. Он поминутно завязывает в глубоком снегу, кряхтит и сопит. Руки у него мокры от снега и озябли. Но он настойчиво преодолевает все препятствия и, нащупав ногами протоптанную дорожку, буйно устремляется к крыльцу графского дома. Достигнув заветной двери с тугой пружиной, малыш, весь в снегу и испарине, с трудом одолевает дверь и победоносно просится прямо в «аудиторию», т. е. в комнату для гостей, приспособленную

для занятий с детьми. От малыша на аршин веет морозной свежестью и горячим, порывистым дыханием.

Молодой, исполнительный слуга, бегающий с деловым видом по лестнице наверх и обратно, тщетно делает мимоходом замечания крестьянским мальчикам, чтобы они не хлопали так сильно дверью, не вносили с собой столько снега и вообще вели себя «поаккуратнее». Но дети, очевидно чувствовавшие себя как дома, оставались детьми и вели себя с полной непринужденностью. До церемоний ли, понимаете, тут, когда дело касается наук!

IV

Наверху, в столовой, кончали обед. Услышав громкое хлопанье дверью внизу, Лев Николаевич оживился и сказал шутливо:

— Мои учителя пришли.

Но вид у него в этот вечер был нездоровый — с красноватыми веками и впалыми щеками. Он не совсем хорошо себя чувствовал, плохо спал ночью и плохо работал. Это, как всегда, отразилось на нем. По лицу графини Софьи Андреевны мелькнула тень беспокойства. Она наклонилась к мужу и с тревожной ноткой сказала:

— Ты бы отдохнул немного после обеда... Занятия с мальчиками так утомляют тебя...

— Нет, почему же? — ответил успокоительно Л. Н., видимо подбадривая себя, чтобы успокоить графиню.

И, поднявшись, он прошел, старчески сутулясь, в свой кабинет, а через минуту вышел оттуда с приготовленными для лекции бумагами и оживленным лицом... У него был вид старого немецкого профессора, дающего приватные уроки. Скрипя ступеньками по лестнице, Л. Н. почти юношеской походкой быстро сошел к ожидавшим его детям.

Дети, увлеченные местническим спором, где кому сидеть, при появлении Льва Николаевича весело закричали:

— Здравсте, Лев Николаевич! Здравсте, Лев Николаевич!

Некоторые мальчики, однако, сейчас же, нисколько не стесняясь присутствием Льва Николаевича, перенесли свое внимание на спор о местах и, напирая один на другого, враждебно ворчали:

— Не пхайся!

— А ты не лезь!..

Но были и такие, которые все время не спускали глаз с

милого учителя и зорко следили за каждым его движением.

Как бы не видя и не слыша ворчунов, Лев Николаевич приступил к занятиям. Он был кроток и сосредоточен. И может быть, действительно не слышал ворчунов, как музыкант не слышит уличного шума во время исполнения любимой пьесы.

Аудитория налаживалась сама собою.

V

Л. Н. подошел к деревянной перегородке с припиленной к ней географической картой и, указав на ней и разъяснив, что такое «северный полюс», начал читать приготовленную лекцию о знаменитом путешествии Нансена². Л. Н. читал не повышая, не поднимая голоса и вообще не тонировал и не подлаживался под детский стиль, но от времени до времени делал пояснительные вставки, что такое «Норвегия», «полярные страны» и т. п., и показывал на карте путь Нансена.

Аудитория на этот раз, однако, налаживалась плохо. С одной стороны, самая идея Нансена найти зачем-то какой-то «северный полюс», очевидно, не захватывала внимания крестьянских детей, а с другой — неугомонившиеся ворчуны нервировали аудиторию своей возней и спорами.

Л. Н. продолжал читать о приключениях Нансена, не делая ни одного замечания.

Но местнические страсти вдруг снова вспыхнули и заглушили голос Льва Николаевича.

Он жалостливо взмолился.

— Ой, ребята, вы не даете заниматься!

Но сейчас же как бы смутился, прервал чтение и перенес внимание на разрешение спорного вопроса.

Оказалось, что некоторым действительно сидеть негде. Избранных было больше, нежели званых. Но часть аудитории уже заинтересовалась путешествием Нансена и принялась сама устанавливать порядок:

— Тише! Молчите!

И постепенно Нансен начал завладевать общим вниманием. Некоторые фразы и слова из лекции вызывали замечания и оживленный обмен мыслей.

Л. Н. прочитал о полярных морозах, достигающих 50°.

Послышался детский вздох:

— И вот, должно быть, холодно!

Аудитория загудела и начала вместе с лектором сравнивать яснополянские холода с полярными... И образ Нансена с его выносливостью и приверженностью идее стал, очевидно, близок яснополянским детям. (На другой день они рассказывали о Нансене сознательно и толково.)

Лекция продолжалась около 20-ти минут. Но и за это время Л. Н. успел «кое-чему научиться», как он впоследствии говорил. Дети научают его сосредоточивать внимание на сердцевине предмета и выражать свои мысли с наивозможной ясностью.

— И как только,— говорил он,— сам усвоишь что-нибудь ясно и выразишь ясно усвоенную мысль, дети мгновенно схватывают. Ах, какие это молодцы! Особенно хороши два мальчика. Они никогда не заявляют о себе. Но когда их спросишь, всегда отвечают удивительно хорошо. Только вот я сам часто путаюсь, пока доберусь до сути и найду для нее подходящую форму.

VI

После географии, в связи с Нансеном, началась проверочная беседа о предыдущей лекции: «Что такое время?»

И как только Лев Николаевич заговорил о времени, аудитория встрепенулась и зашумела, точно молодой лес.

— Я знаю!.. Позвольте мне сказать, Лев Николаевич!..

И несколько детских лиц, горевших мыслью, потянулось к Льву Николаевичу. Но он не поддавался соблазну, а, окинув аудиторию своими все еще необыкновенно зоркими глазами, обратился к спокойно сидевшему небольшому мальчику:

— А ты знаешь, что такое время?

— Знаю,— твердо и спокойно ответил малыш и, как бы вырубывая слова, начал говорить с растяжкой:— Времени нет... Прошедшее время... когда я жил...

— Его нет, потому что оно уже прошло,— голосисто и наперебой заговорили мальчики.

— Пойдите, ребята! Пускай один говорит,— просит Л. Н., видимо любясь молодым философом.

Тот, не смущаясь и устремив на Льва Николаевича немигающий взгляд, продолжает:

— Будущее время — завтра... послезавтра...

— Его еще не наступило... И его тоже нет,— выкрикивают снова мальчики.

— Постоите же, ребята!

— И будущего времени тоже нет,— твердо продолжает малыш.— Есть только настоящее время. Но и настоящего времени тоже нет...

— Также нет,— с радостным оживлением подхватывает Лев Николаевич.— Нет настоящего времени, потому что оно только точка, только маленький мосточек между прошедшим и будущим. И вот едва я успел сказать это, как сказанное — уже в прошедшем. Ну, дальше.

— Так и дух,— говорит юный философ.

— Для духа тоже нет времени... Дух вечен,— неудержимо раздаются детские голоса.

Малыш спокойно выдержал длинный интервал и, когда аудитория затихла, твердо заявил:

— Время только для тела...

— Лев Николаевич! А когда душа будет выходить из тела, мы будем чувствовать, как она выходит?— спрашивает один мальчик.

Аудитория на мгновение замирает.

— Нет, мы будем с духом, а чувствует только тело,— говорит вдумчиво и сосредоточенно Лев Николаевич.

И несколько детских голосов присоединяются к нему:

— Душа же бесплотна...

Прислушиваясь к этой своеобразной аудитории, иногда не верится, что она состоит из крестьянских детей.

Л. Н. поднимается. Дети с криками обступают его.

— Лев Николаевич, и мне сегодня! И мне, Лев Николаевич! Вчера вы мне не давали.

Это дети просят у Льва Николаевича книжек, которыми он иногда награждает их после занятий. Л. Н. с трудом прокладывает дорогу и объявляет:

— Книжки потом. А теперь послушайте фонограф, который кое-что расскажет вам.

Сенсация. Дети шумно бросаются в прихожую и тесной толпой окружают стоящий у лестницы фонограф Эдисона с узким сплюснутым рупором. Всем хочется быть поближе к чуду.

Лев Николаевич впервые применяет фонограф, как своего помощника, на вечерних курсах. И его, видимо, живо интересуется дебют помощника. В прихожей появляются гости и члены семьи Льва Николаевича. Они размещаются на лестнице и по сторонам. В комнате полутемно. Горит одна небольшая лампа, помещенная наверху, у перегородки, которая отделяет людскую от передней.

Все лица обращены к фонографу и полусливаются в тени.

Дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, заведующая фонографом, прилаживает валик. Наступает напряженная тишина. Фонограф, зашипев, издает хрипящие и сначала неясные звуки. Дети смеются и теснятся у фонографа. Очень уж забавно. Некоторые мальчики приближают уши к самому рупору. Дивно: оттуда раздается человеческий голос!

Фонограф передает наговоренный Львом Николаевичем рассказ Лескова «Под праздник обидели»³. Узнать в неприятных хриповатых звуках голос Льва Н-ча никак нельзя. И сам Лев Николаевич, видимо, не узнает своего голоса и слушает, как посторонний. Но постепенно слух свыкается с сиплыми звуками, и общее внимание сосредоточивается на трогательном рассказе Лескова.

Лев Николаевич стоит около стены, заложив руку за пояс блузы. Весь он и все его лицо в тени. Но клочок волос на левом виске и часть бороды пронизаны светом лампы и кажутся каким-то светлым облачком, висящим в полутьме. Он сосредоточенно следит за юной аудиторией, которая все больше и глубже захватывается содержанием лесковского рассказа. Особенное оживление вызывают слова мальчика: «Мама, мама!» — хорошо переданные в фонограф Львом Николаевичем. Взрослые слушатели тоже поддаются общему впечатлению. И вообще вся картина: полумрак комнаты, молчаливая, согбенная фигура старика, наполнившего весь мир своим именем, мужчины и дамы, сидящие на лестнице, тесно сплоченная и как бы застывшая группа крестьянских мальчиков в больших валенках, — все имело необычный характер и напоминало какую-то милую сказку.

И к концу лесковского рассказа, когда купец заявляет глубоким тоном, почему он не может быть судьей других, общее внимание достигло особенной напряженности.

Но фонограф вдруг прошипел: «Вот и все» — и умолк, ко всеобщему огорчению.

Всем, видимо, было грустно расставаться не только с симпатичным героем лесковского рассказа, но и с тем особенным душевным настроением, которое все переживали в необычной аудитории.

Лев Николаевич похвалил фонограф и сделал движение к лестнице. Дети окружили.

— Лев Николаевич, дайте мне книжечку сегодня!

— И мне!

— И мне!

Л. Н. был в недоумении. Но затем с решимостью наклонился к детям и, приглядываясь к ним, начал их отделять за плечи, одних — направо, других — налево.

— Вы идите домой! Вы вчера получили. А вы подождите.

И, отстранив детей с лестницы, Л. Н. ушел наверх.

Но раздались протесты:

— Я вчера не получал, Лев Николаевич!

— И я не получал!

Л. Н. полуобернулся с лестницы и, видимо стараясь говорить как можно мягче, произнес своим особенным тоном, исключаяющим всякие прения:

— Я вам сказал: сегодня вы не получите книжек. И уходите с богом. А вы подождите!..

Часть детей беспрекословно удалилась. Но некоторые остались за стеклянной дверью, поджидая своих счастливых товарищей.

Через некоторое время Лев Николаевич появился с пачкой книжек и, руководствуясь какими-то соображениями, начал раздавать книжки с разбором.

— Это — тебе! Нет, стой!.. Лучше вот это тебе. А это — тебе!..

Мальчики с веселыми криками ушли на деревню, а семья Льва Николаевича и гости — наверх, к вечернему чаю.

IX

Но иногда вечерние курсы в Ясной Поляне заканчиваются необыкновенно красивыми эпизодами. Занятия с детьми глубоко интересуют Льва Николаевича. И зачастую он к ним готовится как добросовестный профессор к университетским лекциям. Особенное значение он придает беседам с детьми по поводу предыдущих лекций. И вот однажды по поводу лекции по астрономии яснополянские вольнослушатели заявили Льву Николаевичу, что они разыскивали по его способу Полярную звезду на небе и никак не могли найти ее. Невзирая на холодный вечер, Л. Н. с юношеской быстротою накинул на себя пальто и, выйдя с детьми на воздух, начал объяснять им взаимное отношение звезд.

И трудно было придумать более символическую картину, как занесенная снегом Ясная Поляна и Лев Николаевич Толстой, стоящий ночью в снегу, среди крестьянских детей, и указывающий им на звездное небо.

«РУССКОЕ СЛОВО»

П. А.—Ч (П. А. СЕРГЕЕНКО)

ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Приехавший из Ясной Поляны один из друзей Л. Н. Толстого рассказывает, что Лев Николаевич в настоящее время совершенно оправился от случившегося недавно с ним несчастья.

Дело было так.

Во время прогулки Л. Н. посторонился перед проезжающими санями, но так неудачно, что его задело по ногам крылом саней. И задело так больно, что некоторое время Л. Н. не мог ходить и, против обыкновения, даже жаловался на боль, когда его спрашивали окружающие.

Но теперь все «образовалось». И жизнь в Ясной Поляне потекла по старому, по испытанному руслу: с тихими «сосредоточенными утрами», продуктивными рабочими днями и прелестными интимными вечерами. <...>

В последние дни дороги совсем испортились и покрылись просовами, так что и по дороге ходить рискованно, а сворачивать в сторону уж истинное горе, осложняющееся еще тем, что провалившаяся в снег нога иногда касается подснежной воды, и валенки мгновенно превращаются во влажную губку.

Но Л. Н. все-таки каждый день совершает неизменно утром и после завтрака прогулки на воздухе, запасаясь на них свежестью и вдохновением. И когда на днях знатный морозец скрепил разрыхлевший снег и образовал прочный наст, Л. Н. с такой юношеской легкостью совершил длиннейшую прогулку и вернулся домой таким оживленным и жизнерадостным, что любо было смотреть на него. И все похваливая и удивительный наст, и ярко солнечное утро, и жизнь, которая так хороша на 80-м году, он с аппетитом выпил чашку какао и с аппетитом приступил к работе.

А работы у него, как всегда, на 48 часов в сутки.

30 марта он закончил вчерне свой большой и сложный труд — свод своего мирозерцания¹. Это довольно толстая стопка исписанных на пишущей машине страниц. И, любуясь работой переписчиц, как художник игрой светотеней, Л. Н. сказал с оттенком сокрушения:

— И как я перепорчу всю вашу работу. Сначала, впрочем, буду стараться и вырисовывать каллиграфически всякую букву (Л. Н. сделал рукою закругленный жест), но затем увлекусь и пойду крестить страницы и так, и этак...

Но пока отделка законченного вчерне издания отложена на время. В настоящее время Л. Н. уже захвачен новой работой². И снова он — весь огонь и напряжение.

И как меткий стрелок не пропускает мимо себя ценной дичи, так и Л. Н. не пропускает мимо ни одного слова, относящегося к его работе. И, прислушиваясь к теперешним беседам в Ясной Поляне, нетрудно догадаться, о чем в настоящее время пишет Л. Н.

Но уважим его особенность: подобно пчелам, он не любит, когда заглядывают в его лабораторию.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

В. БУЛГАКОВ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Только что вернулся из Ясной Поляны, где виделся и разговаривал с Л. Н. Толстым.

Здоровье Л. Н., если судить по его внешнему виду, находится в прекрасном состоянии: живостью и мощью веет от высокой фигуры великого старца; не меньшей бодростью проникнуты и его речи. Только однажды в течение беседы с уст Л. Н. сорвалась фраза:

— Я теперь устал и занят!

Чем занят Л. Н.? На днях в одной из московских газет проскользнула заметка, что Л. Н. работает над новым сочинением, которое должно явиться отражением всего его мировоззрения, сводом всех его мыслей. Это сообщение не вполне точно, именно в той части, где говорится о том, что Л. Н. занят «новым сочинением». На самом деле он занят новой переработкой своего «Круга чтения», изложение которого должно принять более строгий, систематический вид. Л. Н. считает действительно «Круг чтения», особенно в новой, еще неизвестной никому редакции, лучшим воспроизведением своего мирозерцания. Работе этой он придает большое значение и усиленно занимается ею, не выходя иногда из своего кабинета с утра часов до трех дня.

— По двенадцати раз переписываю я одно и то же! — говорил мне Л. Н. — Писатель должен строго относиться к своей работе и соблюдать в ней своего рода целомудрие!.. Это, вероятно, будет уже моя последняя работа, — добавил он.

Современные писатели, по мнению Л. Н-ча, относятся к

своим опытам недостаточно критически и осмотрительно.

— Нынче так много писателей,— говорил Л. Н.,— всякий хочет быть писателем!.. Вот я уверен, что среди почты, которую только что привезли, непременно есть несколько писем от начинающих писателей. Они просят их прочесть, напечатать... Но как целомудрие нужно соблюдать, так и в литературе следует высказываться лишь тогда, когда это становится необходимым. По моему мнению, писатель должен брать то, что не было до него описано или представлено. Как начинал писать я? Это было «Детство»... И вот когда я писал «Детство», то мне представлялось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства.

Далее разговор коснулся той атаки, которую повели известные круги против Л. Н. в связи с подготавливавшимся чествованием его юбилея¹. Наряду с угрозами и бранью Л. Н. получает также и выражения искренней любви и сочувствия и так отзывается на них:

—Конечно, это сочувствие очень приятно, но... у меня в молитве... Я ведь составил себе молитвы, которые припоминаю себе каждый день... Так вот там я говорю: «Радуйся, когда тебя ругают!» Радуйся потому, что эта ругань, право, загоняет тебя внутрь самого себя, заставляет в себе самом сосредоточиться...

Сильно взволновало Льва Николаевича полученное им при мне письмо от одного из его последователей, Молошникова², привлекаемого петербургским окружным судом к ответственности за распространение брошюр Толстого.

Оказывается, за последнее время случаи привлечения к суду «толстовцев» участились. Что касается отношения Л. Н. к юбилею, то близкие к нему лица просят за выражение его мнения считать только его собственные письма, напечатанные в газетах, а не анонимные сообщения русских и иностранных корреспондентов; в письмах же Л. Н. высказывается чисто отрицательное отношение к юбилею.

Вообще в Ясной Поляне недовольны той неточностью, которую иногда страдают репортерские сообщения о Л. Н. Так, недели две тому назад в одной большой газете появилось изложение содержания новой якобы повести Л. Н. под заглавием «Отец Сергей»³. В действительности повесть эта написана Львом Николаевичем уже около шести лет тому назад.

На праздниках Ясную Поляну посетили сын Л. Н., писатель Л. Л. Толстой, пианист Гольденвейзер и другие гости. Не так давно уехал оттуда Г. С. Петров.

Снег вокруг деревни еще не совсем стаял и, как везде в

Тульской губ., здесь стоит настоящая весенняя распутица. Это, однако, не мешает Льву Николаевичу делать свои ежедневные утренние прогулки.

«РУССКОЕ СЛОВО»

СВОИ <П. А. СЕРГЕЕНКО>

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

С прилетом певчих птиц начался и усиленный приезд гостей в Ясную Поляну. Каждый день кто-нибудь приезжает или с каким-нибудь «проклятым вопросом», или с томительной надеждой, или просто чтобы проведать дорогого писателя. В Ясной Поляне даже выработалось выражение: «гость пошел».

И действительно, прилив гостей в Ясную Поляну за последнее время не оставляет желать большего изобилия.

Третьего дня съехалось в Ясную Поляну столько гостей, что, пожалуй, и городничему не нашлось бы уже свободного места. Гостили сестры Стахович, О. Родзевская, Н. Сухотина, А. И. Толстая и др.¹ Затем приехали изобретатель упрощенного способа цветной фотографии С. М. Прокудин-Горский², представитель издательской фирмы «Свет» П. Е. Кулаков³, литератор П. А. Сергеенко и др.

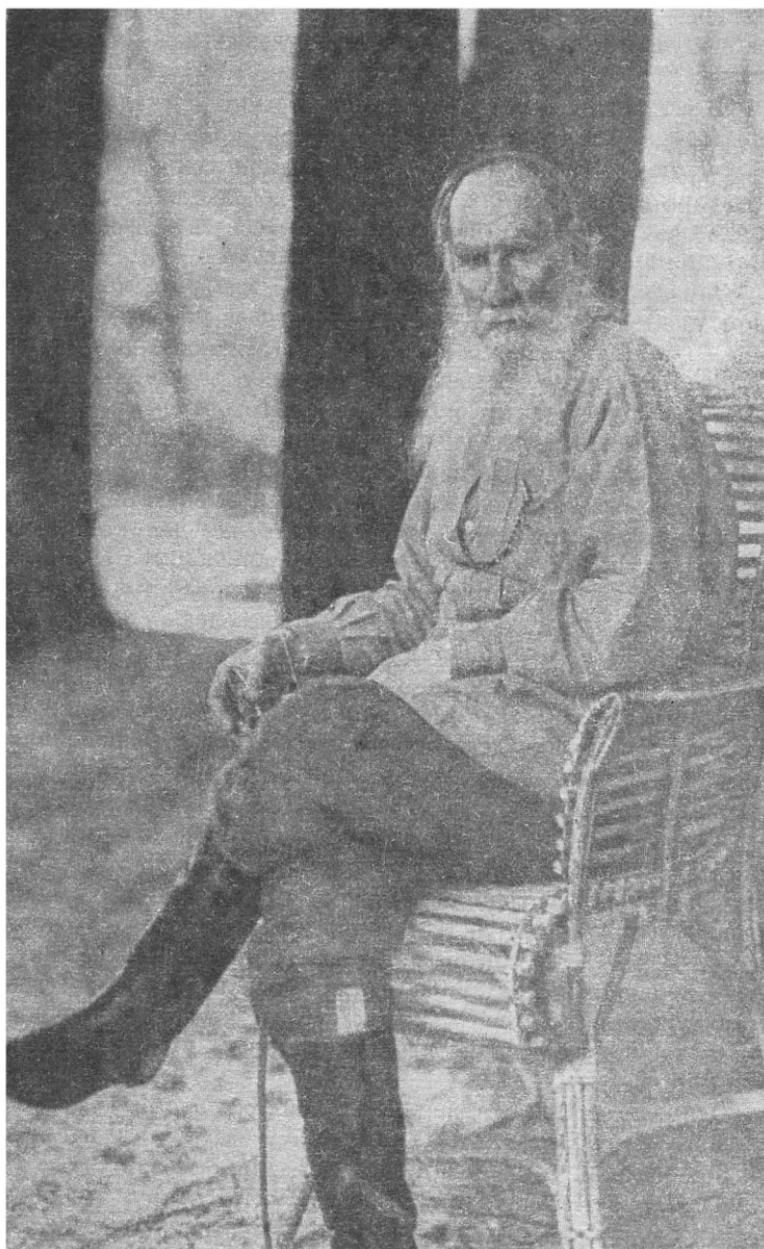
Прокудин-Горский и Кулаков приезжали с разрешения Льва Николаевича со специальной целью — сделать ряд цветных и стереоскопических снимков Ясной Поляны.

Л. Н. терпеливо и радушно отдавал себя в распоряжение фотографов и мило подшучивал над одним любителем-фотографом:

— Непременно заведу себе «браунинг». С «браунингом» меня еще не снимали.

Но цветная фотография очень заинтересовала Л. Н. И он несколько раз заводил с г. Прокудиным-Горским беседу о принципах и возможностях цветных изображений.

— Меня очень интересует, — сказал он, — как вам удадутся сделанные снимки, потому что цветная фотография принадлежит, как мне кажется, к такого рода произведениям,



*Голстой 23 мая 1908 г.
Фото С. М. Прокудина-Горского.*

которые только тогда хороши, когда они совершенны, иначе получается скорее тягостное впечатление, нежели удовольствие.

И все время, когда г. Прокудин-Горский снимал Льва Николаевича, писатель не переставал расспрашивать ученого-фотографа о различных перипетиях цветных изображений. И видимо, ему доставляло особенное удовольствие, что г. Прокудин так любовно и взыскательно относится к своему делу. Сделано было несколько десятков снимков.

За вечерним чаем возник и захватил всех разговор о молодом писателе Леониде Семенове и его новой повести, присланной Льву Николаевичу в корректуре⁴. Л. Н. с большим мастерством прочитал вслух одну главу из повести, где описываются ужасающие этапы, проходимые приговоренными к казни. Особенно потрясающи сцены, в которых фигурирует гимназист, приговоренный к казни. Прочитанный Львом Николаевичем отрывок произвел на всех глубокое впечатление. Некоторые не могли сдержать душивших их слез, хотя автор нигде не прибегает ни к каким кричащим эффектам, а все время сохраняет спокойный, вдумчивый тон корректного рассказчика, который боится пересолить, чем недосолить.

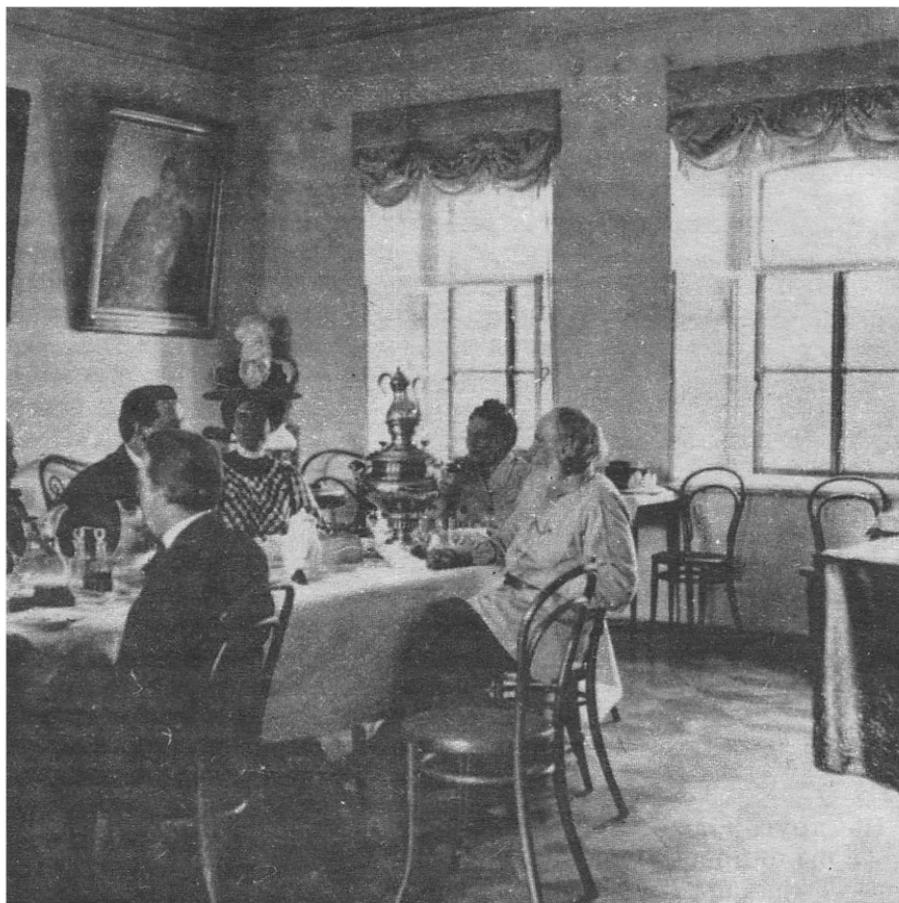
Заговорив после чтения с отеческою нежностью о молодом писателе, Л. Н. подчеркнул это особенное свойство истинного художника держать читателя в напряженной иллюзии, ни на мгновение не отталкивая его фальшивыми нотами.

— И как не понимают этого некоторые из современных писателей,— сказал Л. Н. с блестящими от влаги глазами,— что первое и необходимое условие всякого художественного произведения есть чувство меры, чувство художественного такта. И что за досада бывает: только отрешись на секунду от окружающей тебя обстановки и перенесешься в мир иллюзий, как вдруг какая-нибудь глупая, фальшивая нота — и все очарование исчезло. И ничем уже не вернешь его.

Один из гостей заговорил о влиянии толстовского «Божеского и человеческого», которое чувствуется в рассказе Л. Семенова. Л. Н. горячо и серьезно запротестовал:

— Нет, нет! Минуя всякую скромность, скажу, что нельзя и сравнивать мою повесть с прекрасным рассказом Семенова⁵.

И Л. Н., как тонкий гастроном о вкусных блюдах, начал с аппетитом приводить различные подробности из семеновской повести.



*Толстой, С. М. Прокудин-Горский и другие
в зале яснополянского дома 23 мая 1908 г.
Фото П. Е. Кулакова.*

— В истинном художественном произведении,— сказал он,— нет пределов для эстетического наслаждения. Что ни мелочь, что ни строка, то и источник наслаждения. Припомните, как тонко отмечено одним летучим намеком нервное состояние конвойного, искусственная речь прокурора, животноводский страх смерти в гимназисте и т. д.

И Л. Н. еще долго и одушевленно говорил о молодом писателе.



*Толстой за игрой в городки:
Фото Т. Танселя.*

На другой день новые посетители и просители. Особенно много было просителей. И эта сторона жизни, кажется, больше всего омрачает лучезарный закат нашего великого писателя.

— Я очень часто переживаю теперь,— сказал он с грустной ноткой,— тяготы богатых людей, не наслаждаясь положением богатого человека.

И Л. Н. с комическими нотками в голосе рассказал историю о своей «пенсии».

— Около двадцати лет назад,— сказал он,— я отказался от авторских прав и от владения имуществом. Я как бы умер для собственности. Но оказалось, что я умер не вполне. Я написал несколько пьес, которые идут в императорских театрах. Гонорар за эти пьесы — около семисот рублей в год — и составляет мою «пенсию». Как-то я хотел было отказаться и от этого соблазна. Но мне объяснили, что если я откажусь от гонорара за пьесы, то эти деньги пойдут ни на что другое, как на усиление балета! Да, да! Вы не смейтесь, я говорю совершенно серьезно. Тогда я решил в сердце своем: пускай уж лучше

я буду усиливать помощь беднякам, чем способствовать усилению балета...

Молодежь с веселым смехом и шутками шумно спускается по лестнице, чтобы идти в парк и предаться состязанию в городки. Л. Н. заражается молодым оживлением и присоединяется к игрокам. Все идут на площадку, где очерчены «городки». Л. Н. распределяет играющих на две группы и, привешивая в руке с игрецким нетерпением «швырок», становится в позицию. Всякий удар «противников» и соратников вызывает с его стороны горячее одобрение или удручающее восклицание. Видно, он весь в «городках». Наконец наступает его очередь. Л. Н. отставляет ногу, делает широкий размах и сильным движением бросает швырок к «городку». Швырок, гудя и свистя, перелетает через «городок».

— Ай!— вскрикивает Л. Н., точно с ним случилось несчастье. И, размахнувшись, пускает новый швырок. Но опять неудача. Однако в следующую очередь Л. Н. успевает овладеть чувством расстояния и, при общем дружном крике, с треском выбивает из «городка» всю «пушку».

Не верилось даже, что перед глазами был восьмидесятилетний старик, столько переживший на своем веку...

Но время все-таки, кажется, хочет взять свое. Игра в городки в этот вечер не обошлась даром Льву Николаевичу: он чувствовал себя усталым и перед сном сказал живущему в Ясной Поляне врачу Д. П. Маковицкому:

— Сегодня я чувствую такую усталость, как будто я уже старик и мне семьдесят лет...

Какая дивная старость!

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА»

К. В.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И ДЕТИ

Один из последних посетителей Ясной Поляны, на днях возвратившийся оттуда, поделился с нами своей беседою с Л. Н. Толстым, касающейся исключительно школ и нравственного воспитания детей.

«С понятным волнением я подъезжал утром 16 августа к Ясной Поляне.

Всякие приемы посетителей были отменены даже для близ-

ких ко Льву Николаевичу лиц; только накануне состоялся консилиум, признавший положение больного очень трудным¹.

Я было отказался от своего намерения увидеть Льва Николаевича и хотел ограничиться разрешением осмотреть усадьбу, сорвать цветы, которыми Лев Николаевич и больной любуется из окна.

Я вошел в известную многим небольшую переднюю с широкими ясеневыми библиотечными шкапами.

Здесь меня встретил молодой приветливый секретарь Льва Николаевича².

Узнав, что я приехал издалека, с целью услышать от Льва Николаевича его взгляды на нравственное воспитание крестьянских детей, он не решился отпустить меня.

— Льва Николаевича больше взволнует, если вы уедете, не повидав его, чем если он поговорит с вами.

Постарайтесь, чтобы говорить с ним не пришлось долго,— он устает.

Не прошло 10 минут, как я был приглашен подняться к Льву Николаевичу.

Через кабинет и небольшую проходную комнату я прошел к Льву Николаевичу.

Шторы приспущены, в спальне полумрак.

На простой кровати, под простым одеялом, полулежал приподнятый на подушках Лев Николаевич.

Приветливо, словно давнишнему знакомому, протянул Лев Николаевич руку и указал на стул около круглого столика у изголовья, на который сын его М. Л. поставил стакан кофе.

Льву Николаевичу только что поставили максимальный термометр.

Мих. Львович вышел, мы остались одни.

Круто изменился за четыре недели болезни Лев Николаевич.

Лицо исхудалое, исхудалые руки, осунувшийся, приблизившийся к своим годам, которых никто не давал ему до болезни.

Изменили, дали ему изможденный образ, те страдания, которые он испытывает во время болезни и на которые никому не жалуется.

Щемило сердце и все же — явление, которое испытали многие,— сидишь около Льва Николаевича и чувствуешь, словно сидел у него каждый день и прежде.

Лев Николаевич взглянул мне в глаза.

Мы встретились. Светлые, полные ясной жизненной правды, прозорливые и пронизывающие глаза его.

В них горит еще столько жизни, что можно верить, что

Лев Николаевич еще много лет проработает и даст яркий свод своего учения, откроет полно и доступно всем свое мирозерцание.

Я сказал о цели своего прихода к нему.

Передаю, что говорил Лев Николаевич, опуская некоторые подробности:

— Тот главный предмет воспитания — религиозный, вами неверно названный нравственным, важен не только <для> крестьянских детей, но для всех детей, детей русских, немецких, французских, американских. <...>

Еще минувшей зимою, во время занятий в яснополянской школе, я читал детям в выдержках составленный мною «Детский круг чтения», и понятия о Боге, о правде, о назначении человека, сообщенные им без фальши, детьми были хорошо усвоены.

«Детскому кругу чтения», которым я, кажется, заканчиваю весь свой земной путь, я придаю важность и хотел бы, чтобы в школах нашлись люди, ищущие истину, которые сумеют им пользоваться при учении детей.

Больше 40 лет назад я находил отраду в занятиях в яснополянской школе и испытывал теперь огромное удовлетворение в своих последних занятиях в этой школе в прошлую зиму.

Следует учить детей истине и помнить, что ребенок стоит ближе каждого взрослого к идеалу правды и добра. Поэтому, прежде всего, каждому нужно жить хорошо, чтобы своею жизнью давать детям пример добра.

Я написал книгу о последних школьных занятиях в Ясной Поляне³. Эта книга будет хорошею в руках добрых учителей.

Да, многое, многое достижимо, придет лет через триста... Лет через триста!..

.....
Вы рассказываете о прекрасных священниках, сеятелях истины и трезвой трудовой жизни.

Много ли их и во что обходится им искание истины?

Ко мне в минувшую зиму приезжали трое, среди них один из бывших священников. Взгляды его я не разделял. Он не понравился мне...

Два других заставили меня отказаться говорить с ними.

Один из них закатил мне вопрос: что я думаю о вечности материи, в чем ее сущность?

Пока скажу, что лишь любовью к детям и истинным общением с детской душою возможно создать счастливое человечество.

Вот почему из всех вопросов жизни, волнующих людей,

самый важный, мировой вопрос — воспитание детей, и главное — их религиозное воспитание.

Лев Николаевич говорил тихо, с перерывами, но говорил вдохновенно, прекрасно.

Он устал, ласково протянул руку, которую я с чувством благодарного ученика поцеловал, как целовал когда-то в детстве руку труженика — моего отца».

«ЮЖНЫЙ КРАЙ»

И. А. БОДЯНСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

...Лев Николаевич показался мне ниже ростом, чем я ожидал; спина его сильно сгорблена, но как будто не от старости, а от лежавшей на ней большой невидимой тяжести.

Поздоровавшись с доктором и г. Щербаком¹, Л. Н. подал мне руку. Я назвал свою фамилию.

— Не может быть?— воскликнул Л. Н., как-то отскакивая, но потом извинился и сказал:— Это просто на меня нашло затмение. Когда вы назвали свою фамилию, я принял вас за вашего отца и, увидав молодое лицо, удивился.

Потом Л. Н. подошел к роялю и стал рассматривать разложенные подарки. Наша папка, как видно, не понравилась Л. Н.

— А вот Касаткин² прислал копию своей картины,— сказал Л. Н., вынимая из большого конверта фотографию известной картины «Жена рабочего» (оригинал этой картины находится в академии художеств и изображает худую бледную женщину, сидящую с ребенком на заводском дворе).

— Мне она не нравится,— говорил Л. Н.,— не поймешь, чего эта женщина задумалась, больна ли она, болен ребенок или муж пьянствует? Что вы скажете, господин художник?

Разговор перешел на искусство.

Потом Л. Н., взяв стакан чаю, ушел к себе, г. Щербак же направился в парк, позвав и меня.

В этот же день за обедом я снова встретился с Л. Н. Он сидел в кресле, был очень весел и сыпал каламбурами и анекдотами. После обеда Л. Н. куда-то исчез, и мы его опять увидели только за чаем на балконе. После чая все расположились у круглого стола в углу залы.

Я не помню хорошо разговора, который велся, но помню, что в конце заговорили об искусстве, и я сказал такую фразу:

— Не находите ли вы, Л. Н., что искусство является у нас предметом роскоши?

Л. Н. согласился с этим и почему-то быстро ушел к себе в комнату.

Через некоторое время я услышал голос Л. Н., спрашивающего меня. Я поднялся с дивана, но он, увидав меня, подошел и сел рядом в кресло.

— Я согласен, — сказал он, — что искусство в настоящее время является предметом роскоши, но вы, художники, можете все ж таки принести громадную пользу именно иллюстрациями. Иллюстрации доступны всем, и в этом их громадное достоинство.

К ужину приехала Мария Львовна с мужем, и разговор стал общим. В это же время была получена масса телеграмм, и, прежде чем сесть за ужин, графиня стала читать их вслух. Многие телеграммы были написаны напыщенным слогом и почти целиком из всевозможных прилагательных, выслушав которые Л. Н. сказал только одну фразу: «Кадилом да по носу» — и попросил дать знать на почту, чтоб телеграммы не пересылались, а задерживались. После ужина мы стали прощаться, и Л. Н., обращаясь к Щербаку, откровенно сказал: «Я вас не оставляю ночевать, так как мы ждем много гостей и вас, пожалуй, негде будет положить». Потом обратился ко мне: «Передайте привет Репину и спросите, почему он давно не был здесь».

Приехав в Петербург, я принялся за портрет-офорт Л. Н. по фотографиям, сделанным мною. Приблизительно через год гравюра была готова и, вставив один экземпляр в раму, я его послал в Ясную Поляну с письмом к графине, где вспоминал о Л. Н. и Ясной Поляне. В ответ мною получено было приглашение бывать в Ясной Поляне. <...>

Приехал я 15 сентября 1904 года³ рано утром; графиня вышла только к 12 часам. Перед ее выходом я успел вынуть из чемодана фотографии, сделанные моим знакомым. Фотографии были стереоскопические и изображали проводы запасных на войну по железной дороге.

Сцены были сняты действительно потрясающие. Тут была и молодая женщина в истерике, и народ, бежавший за поездом. Я попросил передать их Л. Н. Вскоре Л. Н. вышел со стереоскопом ко мне. Фотографии на него подействовали очень сильно.

— Это не фантазия художника, — говорил Л. Н., — это на-

тура, и так сильно еще ни один художник не передавал, а вот взгляните, какой славный мужик стоит.— И тут у Льва Никол(аевича) в голосе прозвучал рыдающий звук.— Вот где ужас войны передан. Посмотрите,— обратился Л. Н. к убирающему со стола лакею (женской прислуги я в Ясной Поляне почти не видал) и, давая стереоскоп, добавил:— Двигайте здесь, пока отчетливо не увидите все изображение.

Насколько мне помнится, Л. Н. не садился в этот день за работу, хотя и ушел к себе, а С. А. говорила, что никак не ожидала того сильного впечатления, которое произвели фотографии.

За завтраком графиня сама разливала бульон, но когда я заявил, что я вегетарианец, то Л. Н., взяв тарелку, налил мне своего вегетарианского супу. Этим, думаю, он невольно выразил сочувствие вегетарианству.

После обеда приехал от больной дочери Л. Н., Марии Львовны, доктор Душан Петрович, и Лев Николаевич удалился с ним и долго беседовал. Вечером Л. Н. не показывался. Вся компания собралась у круглого стола. Графиня шила детские одеяла.

После ужина Л. Н. вынес брошюрку, сказав мне:

— Вот, прочтите одну из моих последних брошюр. Она прислана издателем ее, Чертковым, из Англии, у меня имеется только один ее экземпляр.

Это была брошюра «Единое на потребу»⁴. Сидя в углу, я прочел ее и... решил не пускать в свет свою статью.

На другой день, после завтрака, когда Л. Н. уехал верхом, С. А., показывая мне портреты Л. Н. работы Репина, Крамского и Серова, заметила, что хороших портретов Л. Н. очень мало и великолепен только портрет, написанный Репиным.

К обеду приехали Илья Львович и несколько знакомых Л. Н. Разговор был отвлеченный и общий. После обеда Л. Н. стал меня расспрашивать о моей жизни и о том, что я работаю. Я ответил, что пишу большую историческую картину.

— Зачем историческую?— спросил Л. Н. с видимым огорчением.— Какой смысл?

— Я нахожу это красивым,— и, главным образом, поэтому пишу ее. А вы не против красоты?..— спросил я Л. Н.

— Нет, нет,— живо ответил Л. Н.,— красота должна существовать в искусстве.

Потом Л. Н. пригласил меня в свою комнату. Вообще обстановка яснополянского дома не богата, и такую обстановку всегда можно увидеть в любом помещицьем доме средней руки, но обстановка комнаты Л. Н. совсем скромна: небольшой письменный стол, полки с книгами, на стене Сикстинская

Мадонна и фотографии с картин; посреди комнаты кровать, и больше ничего бросающегося в глаза.

— Вот, взгляните, как вам нравится этот художник,— спросил Л. Н., указывая на фотографии с картин Орловского⁵.— Я очень люблю этого художника. Он вышел из крестьянской среды, очень любит ее, знает ее жизнь и пишет только из ее быта.

После чая Л. Н. ушел к себе. <...>

«РЕЧЬ»

А. ХИРЬЯКОВ

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Четвертый день после юбилея¹. После праздника наступают дни будничных забот, и хотя все еще везут и письма, и телеграммы, но уже не в прежнем количестве, и можно подвести некоторый итог тем откликам, которыми отзывалась родина на торжество ее великого сына. Можно хоть немного разобраться в этом потоке любви. <...>

Думаю, что читателям будет интересно узнать мнение самого Толстого о полученных им приветствиях.

Вот мнение Льва Николаевича, записанное во время нашей беседы стенографом:

«В огромном большинстве писем и телеграмм,— заметил Толстой,— говорится, в сущности, одно и то же. Мне выражают сочувствие за то, что я содействовал уничтожению ложного религиозного понимания и дал нечто, что людям в нравственном смысле на пользу, и мне это одно радостно во всем этом — именно то, что установилось в этом отношении общественное мнение. Насколько оно искренно — это другое дело, но когда установится общественное мнение, большинство прямо пристает к тому, что говорят все. И это мне, должен сказать, в высшей степени приятно. Разумеется, самые радостные письма народные, рабочие».

Сначала Толстой читал получаемые приветственные письма, но потом их оказалась такая масса, что, во избежание чрезмерного утомления, можно было прочитывать только особенно интересные, но тут оказалась другого рода опасность: интересные письма слишком волновали. Я могу сказать по собственному опыту, что мне трудно было удерживаться от

слез при чтении некоторых писем. Так что и избранные письма можно читать лишь небольшими порциями.

Говоря о приветствиях, нельзя умолчать и о высказанных Толстому порицаниях, другими словами — ругательных письмах. Характерно, что все те, которые мне пришлось пересматривать, — анонимные. Все они производят впечатление написанных с чужих слов, без какого-либо знакомства с произведениями Толстого. Надо признаться, что письма эти производят весьма жалкое впечатление. Нет ни яду, ни остроумия. Одно сквернословие.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Н. МОРОЗОВ

СВИДАНИЕ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

(Письмо к редактору)

Глубокоуважаемый В. М.! Спешу вам сообщить обещанные при сегодняшнем разговоре в Думе новости о Толстом.

28 сентября я посетил его вместе с моим другом В. Д. Лебедевой. Наш великий писатель совершенно оправился от своей недавней болезни, и только нога по временам побаливает, если долго приходится сидеть в одном и том же положении; но он ходит так свободно, что этого совершенно незаметно.

Он поразил меня энергией и силой своей умственной деятельности. Через 2—3 часа беседы о разных интересных предметах он вырисовался предо мной как человек, всецело занятый вопросами умственной и нравственной жизни. Я ясно понял, что эти вечные вопросы высоко развитых умов, — вопросы о том, каковы наши отношения к остальному миру и к окружающим людям, до того поглощают его, что все обыденные события окружающей жизни кажутся ему совершенно ничтожными, проходят на его умственном горизонте как мимолетные тени. Ему все равно, в чем ему подадут чай или обед: в деревянной чашке или в золотом блюде, пишет ли он на деревянном обрубке или на мраморном столе с инкрустациями. Не все ли это равно перед лицом тех великих мировых вопросов, которые наполняют всю его жизнь, не оставляя места для обыденных житейских мелочей?

В осеннем наряде Ясная Поляна при въезде в парк оставляет впечатление старинной запущенной богатой усадьбы.

Дом, где живет Лев Николаевич вместе со своей женою и дочерью, меблирован очень просто. Все семейство, не исключая и графини, — вегетарианцы и не употребляют ничего мясного.

Те, кто посещали Льва Николаевича ранее меня, рассказывали мне, что он обладает острым, пронизывающим взглядом, но я, как ни вглядывался, не мог заметить решительно ничего подобного. Он смотрел на меня таким добрым и ласковым взглядом, что я решительно даже и представить не могу, каким образом этот взгляд кому-нибудь мог показаться острым или пронизывающим насквозь... Разговор весь вечер не прерывался, и казалось, что никогда в моей жизни он не бывал таким легким и свободным, как в этот вечер. Мы говорили о всевозможных философских вопросах и в результате согласились на том, что хотя изучение природы и не дает в настоящее время полного ответа на все волнующие нас мировые вопросы, но если смотреть на современную научную деятельность как на простую закладку фундамента для работ будущих поколений, которые, опираясь на наш труд, могли бы ближе подойти к познанию вечной истины, то современная наука находит себе полное оправдание и заслуживает полного сочувствия. Говорили также о моей книге, об Апокалипсисе¹, которую Лев Николаевич не читал, считая ее чисто астрономическим произведением, но, узнав, что она на две трети историческая и написана в астрономической части популярно, обещал прочесть и написать мне свое мнение о ней. Говорили о современной деятельности министра народного просвещения², причем Лев Николаевич выразился, что его способ действий есть простой результат «дурного воспитания».

Я не могу вам рассказать в этой коротенькой заметке всего, о чем мы говорили. У Льва Николаевича такая глубокая и разносторонняя натура, что в предметах для разговора никогда не чувствуешь недостатка, а чувствуешь только недостаточность времени для того, чтобы обсудить детально все возникающие из разговоров вопросы. Все семейство было очень приветливо с нами, и вся поездка оставила по себе самое приятное воспоминание.

Сердечно преданный

Николай Морозов.

1-го октября 1908 г.

«РУССКОЕ СЛОВО»

СТУДЕНТЫ У Л. Н. ТОЛСТОГО

Во вторник в Ясную Поляну из Москвы выехал студент Русов¹, чтобы передать Л. Н. Толстому адрес студентов университета. Вместе с ним ездил еще один студент.

Рано утром 29-го октября студенты прибыли на ст. Козлова Засака.

В Ясной Поляне студентов встретил секретарь Льва Николаевича Н. Н. Гусев:

— Лев Николаевич сейчас работает, мы его в это время не беспокоим.

Г. Русов передал Гусеву адрес с просьбой вручить его Льву Николаевичу.

В 9 часов утра студентов пригласили пить кофе.

Сейчас здесь, в Ясной Поляне, гостит только Татьяна Львовна с мужем М. С. Сухотиным и маленькой дочкой «Татьяной Татьяновной»², как зовут ее обитатели Ясной Поляны.

За кофе Татьяна Львовна рассказывает о здоровье Л. Н. В понедельник он себя чувствовал очень плохо. Целый день пролежал в постели, не мог работать, ничего не ел. Сегодня же снова работает. Говорит, что мало жить осталось. Бойтся, что не успеет кончить всего, что хотелось бы ему сказать людям.

В коридоре раздались быстрые шаги, и в столовую вошел сам Лев Николаевич. Выглядит он таким бодрым, здоровым, что не хочется верить рассказам о его болезни, не верится, что ему уже девятый десяток пошел.

— Благодарите ваших товарищей. Я еще адреса вашего не читал, но уверен, что вы в нем пишете много незаслуженных мною похвал. Пойдемте, поговорим.

Лев Николаевич интересуется, чем занята сейчас молодежь.

— Это хорошо, что политика затихла в университете. Не надо насилий над людьми. А политика, в чем бы она ни выражалась, всегда заключает в себе желание одного человека подчинить себе волю других людей. Какими искусствами, какой литературой больше занимаются студенты? Нехороша нынешняя литература. Слишком много в ней самоуверенности. Специализируется человек в чем-нибудь и уже думает, что может всякие вопросы решать.

— Я высшее образование понимаю не в смысле непременно прохождения университетского курса,— продолжал Л. Н.,— есть много хороших книг, по которым человек может

учиться. Есть умные люди, с которыми он, в случае чего, может посоветоваться. И можно гораздо лучше научиться без вашего университета.

В дальнейшем Лев Николаевич крайне резко отозвался по поводу событий на Балканском полуострове, и в частности о захвате Австрией Боснии и Герцеговины³.

— Это какая-то шайка разбойников,— говорит он, между прочим, и по адресу Австрии.— Уже создан свой жаргон: аннексия, компенсация и прочее. Мне одна сербка прислала письмо. Спрашивает, как быть дальше. Я сейчас ей пишу ответ⁴. Пусть сербы спокойно занимаются своим трудом. Не надо нового кровопролития.

Узнав, между прочим, что среди студентов стали зарождаться религиозно-философские кружки, Лев Николаевич очень заинтересовался этим. Что они главным образом изучают? Таким образом, разговор перешел постепенно на религиозную тему.

— Вообще, можно проследить много общего во всех религиозных верованиях человечества. Например, заповедь: любви бога и ближнего своего,— ее можно найти в религиях всех народов!— закончил Л. Н. свою беседу.

И Л. Н. пошел снова работать. На этих днях он заканчивает свой «Ответ сербке», или, как он сам называет: «Закон любви и закон насилия».

Также составляет новый «Круг чтения».

— Это «Учение жизни»,— определил Лев Николаевич этот «круг» студентам.

В 12 часов дня студенты уезжали. Л. Н. перед отъездом позвал их в свой кабинет. Он сидел в кресле на колесах.

— Меня очень огорчает, что вы не хотите даже позавтракать у меня. Меня вы нисколько не стесните, а мне очень приятно поговорить с вами.

На этот раз разговор зашел о декадентах, а затем о романе Арцыбашева «Санин»⁵, Л. Н. сказал:

— Может быть, я стар стал. Но я не понимаю декадентов. Относительно «Санина» Л. Н. отозвался так:

— Арцыбашев своим «Саниным» думал открыть что-то новое. Публика поверила ему. Между тем еще в древности были эпикурейцы — Санины. Нового Арцыбашев ничего не сказал.

По этому поводу Лев Николаевич говорил вообще об отношениях мужчины и женщины. Прочел несколько изречений из своего нового «Круга чтения» относительно брака: «Сто раз обдумай, прежде чем жениться. И если есть хоть какие-нибудь сомнения — не женись».

— Недавно один гимназист или студент мне писал,— добродушно улыбнулся Лев Николаевич.— Он высчитал, что если бы жить по-христиански — без войны, без убийств,— то теперь бы на каждую квадратную сажень земного шара приходилось бы по три, по четыре человека. Но он забыл самое главное — что христианство вместе с этим проповедует также целомудрие и воздержание. Как воспитать в себе эти качества? Не помню, какой именно древний мудрец сказал: пойди в жаркий день работать в поле, а затем подойди к к ключу, возьми в рот воды, но не глотай ее, а выплюнь обратно. Это будет первая ступень к воздержанию.

Русов поинтересовался судьбой романа Льва Николаевича «Отец Сергей». Великий писатель ответил:

— Ну, это пустяки. Первую часть я написал. Да стыдно на старости лет этим заниматься. Мне многое хотелось бы написать. У меня много материала собрано по истории русской революции. Вот если бы я был моложе...

И Лев Николаевич задумался.

При прощании Л. Н. по просьбе Русова дал свой портрет с собственноручной надписью: «Московскому студенчеству».

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Д. АНУЧИН

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Л. Н. Толстой является такой центральной личностью, известия о нем вызывают такой широкий интерес, что каждый, кому случится посетить теперь Ясную Поляну, как бы обязывается поделиться с обществом сведениями о здоровье и деятельности великого нашего писателя. Пишущему эти строки пришлось на днях побывать в знаменитом имении, и он считает уместным воспользоваться страницами «Русских ведомостей», чтобы сообщить о том немногом, что ему привелось видеть и слышать в несколько часов, проведенных им в гостеприимной Ясной Поляне, и сделать таким образом это немногое известным для более широкого круга читающей публики.

Прежде всего, конечно, о здоровье Льва Николаевича. Многочисленным почитателям нашего маститого писателя, конечно, будет приятно узнать, что здоровье его вполне восстановилось, что если иногда он и страдает от своего давнишнего недуга, дающего себя знать сильной изжогой, то в общем

он свеж и бодр и, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему гуляет в парке, ездит верхом, а главное — продолжает также работать, мыслить и писать, беседовать и учить. Конечно, неумолимое время наложило и на него свою печать; за шесть лет, прошедших с тех пор, как я его видел, он постарел, похудел, согнулся. Сын его, Лев Львович, говорил мне, что ранее он был ниже отца, а теперь уже оказывается выше его ростом. По словам близких, даже 5—6 последних месяцев сказались на его телесном виде. Но в общем существенные черты облика остались, на мой взгляд, те же, и глаза, может быть менее яркие и живые, смотрят с тем же выражением, отражают на себе, если можно так выразиться, тот же внутренний дух, то же проникновение. И лицо, несущее на себе неизбежный отпечаток старости, особенно в челюстях при их движении, не выказывает, однако, старческой немощи; оно не болезненно-красно и не болезненно-бледно, а согрето тем теплым желтоватым колоритом, который мы привыкли видеть у почтенных стариков, ведущих правильную жизнь и занятых более духовным, чем мирским.

Несмотря на свои 80 лет, Лев Николаевич и теперь не знает очков и свободно разбирает самый мелкий шрифт. Вдаль он видит хуже и в двух саженьях, например, не может даже разобрать, надета ли его дочерью цепочка или что она держит в руках. Некоторою близорукостью Лев Николаевич страдал и в молодости; немало, по его словам, приходилось ему упустить из-за этого на охоте зайцев. Но в очках он никогда не испытывал надобности, хотя помнит, что еще когда был студентом в Казани и гулял около башни Сумбеки, татарин предлагал ему купить очки, поясняя, что все хорошие господа «очкам носят».

Встает Лев Николаевич обыкновенно раньше своих домашних и даже зимой часов в восемь, в девятом отправляется на прогулку. Вокруг дома, в парке, расчищены дорожки, кроме того, наезжена дорога к въезду в парк, где стоят две старинные башни («пришпект», как назвал мне эту дорогу приехавший к крыльцу на санях мужик). По этому пришпекту и дорожкам и отправляется совершать свою прогулку Лев Николаевич, как необходимый моцион перед занятиями. Я встретил его возвращавшегося обратно в валенках, в старом коричневом пальто с меховым воротником, в круглой шапочке, с палкой в руке, сопровождаемого собакой. Собака бросилась было на меня, но по окрику Льва Николаевича скоро успокоилась.

— Утро,— пояснил Лев Николаевич,— я посвящаю молит-



*Толстой на прогулке в ноябре 1908 г.
Фото В. Г. Черткова.*

ве, не просительной, — молитва-просьба — это детское суеверие, — а воспоминанию о своем отношении к природе, к ближним, к самому себе и размышлению о необходимом для самосовершенствования.

В дальнейшей беседе Л. Н. расспрашивал меня о новых просветительных учреждениях, между прочим, об университете Шанявского¹, причем сообщил, что в последнее время стали чаще обращаться к нему с просьбами о денежной помощи в целях образования. Одни просят просто по бедности, другие — на какое-либо задуманное ими дело или предприятие, но молодежь — чаще на образовательные нужды. Подходя к дому, Л. Н. увидел приехавшего на розвальнях крестьянина. Оказалось — орловский, захотел попросить; Л. Н. предложил обождать и, войдя в переднюю, распорядился, чтобы вынесли серебряную монету. По-видимому, обращение с подобными просьбами — дело здесь обычное.

Возвратившись с прогулки, Лев Николаевич поднимается на второй этаж, в свой кабинет, куда ему приносят кофе

с молоком и хлебом. Завтракает он отдельно, приступая вместе с тем и к своим занятиям. Кабинет его отделен комнатой от столовой, двери в которую, а равно двери из комнаты в кабинет на это время притворяются, чтобы его не беспокоил шум и разговор. В столовую с утра подается самовар, заваривается чай и кофе, ставится хлеб, масло, сыр, и по мере того, как встают домашние, здесь в течение двух-трех часов не перестают сменяться люди и не умолкает говор. Графиня Софья Андреевна встает обычно поздно, поэтому самовар стоит на столе часов до 11—12-ти. Лев Николаевич давно уже в это время сидит у себя и только иногда появляется в столовой, если нужно что сказать или спросить или если у него что-нибудь не ладится; тогда он иногда принимается даже раскладывать пасьянс, покуда не найдет возможным вернуться снова к своей работе. Утром он обыкновенно просматривает и газеты; ему высылаются многие, но читает он теперь обычно только две — одну московскую и одну петербургскую. Отчетами о Государственной Думе он не интересуется и вообще относится к этому учреждению не особенно почтительно. «Партии, фракции, блок, кулуары, — все заняли из иностранного лексикона, — заметил он, — странно и смешно все это слышать». Шлют также отовсюду Льву Николаевичу журналы, брошюры, книги; лежат они и в кабинете, и в столовой, и в других местах. «Не знаем, куда их и девать», — жаловалась гр. Софья Андреевна. И как ни стремится Лев Николаевич сосредоточиться на том, что наиболее важно и необходимо, о чем надо и думать, и писать, пользуясь немногим остающимся временем, однако не может он отстраниться и от надоедливой современности; приходится и в газеты заглядывать, и с новыми книжками знакомиться. Видел я у него и только что вышедший том нового издания сочинений Эртеля², развернутый на странице, где уже отмечено карандашом одно размышление заключенного в тюрьму человека, и только что изданный в русском переводе (и уже-запрещенный, к огорчению Л. Н-ча) «Разговор о религии» Шопенгауэра³, и английское издание избранных мыслей из Корана и т. д. Отнимает время и просмотр корреспонденции — чтение получаемых ежедневно писем. Пишут по разным поводам и русские, и иностранцы, просители и поклонники, нуждающиеся в разъяснении и утешении и изливающие свою злобу и ненависть; последнего рода письма Лев Николаевич считает полезными и поучительными для себя. На письма, заслуживающие внимания, Лев Николаевич отвечает: он пишет теперь свой ответ большей частью сжато и кратко на конверте письма (подобно некоторым другим знаменитым людям, как, например, Дарвин, Л. Н. скуп на бумагу),

а развивает эти мысли уже его секретарь Н. Н. Гусев. Все эти письма с краткими ответами на них сохраняются и могут послужить впоследствии материалом для биографии и для истории эпохи. Николай Николаевич Гусев — молодой человек, занимающийся у Л. Н-ча около года; два месяца ему пришлось уже отсидеть в крапивенской тюрьме, кажется, за рассылку произведений Л. Н-ча⁴. Относительно писем простых людей, крестьян и рабочих, Л. Н. говорил мне, что среди них попадаются написанные с большим смыслом и указывающие на такое развитие, какого десять — двадцать лет тому назад нельзя было встретить в этом классе.

Немало хлопот вызвала у домашних Л. Н-ча разборка полученных ко времени его юбилея телеграмм, писем и посылок, которые продолжали получаться еще и долго спустя. Всего было получено около 2500 приветствий, в том числе иные за множеством подписей (до 500—800), от крестьян, рабочих, учащихся и т. д. Число чиновников почтово-телеграфной конторы в недели, ближайšie к юбилею, было увеличено, тем не менее они были завалены работой, что не помешало им, впрочем, прислать приветствие и от себя с выражением удовольствия, что им пришлось потрудиться по такому случаю. Подарки были самые разнообразные; недавно еще один изобретатель прислал аппарат для увлажнения в комнате воздуха (посредством испарения многих вставляющихся в аппарат намоченных пластинок), объясняя, что так как Лев Николаевич страдает иногда бессонницей, то аппарат может содействовать успокоению нервов и лучшему сну. Домашние стали также собирать вырезки из газет по поводу юбилея Л. Н-ча, наклеивая их в большую переплетенную книгу из чистых листов. За время нескольких месяцев наполнилась уже почти вся книга, в которой ругательные проклятия черносотенных газет и юродивых фанатиков фигурируют наряду с прочувствованными заявлениями преданных поклонников и почитателей. Известный близкий человек к Л. Н-чу, В. Г. Чертков, собирает при посредстве бюро вырезок все вообще известия о Л. Н-че и все отзывы об его произведениях, как необходимый материал для суждения об отношении к нему современников.

Нередко Л. Н-чу приходится отрываться от работы для беседы с лицами, желающими его видеть. Являются почитатели, корреспонденты, иностранцы, крестьяне, рабочие, сектанты, лица, ищущие разъяснения или утешения, а то и движимые простым любопытством. По мере возможности Л. Н-ч не отказывает в приеме и или спускается вниз и принимает в комнате, предназначенной для приезжих (а летом и вне дома, под известным вязом), или у себя, наверху. Главная доля

времени, однако, до 2-х и более часов, отдается работе над составлением и писанием предназначенного к печати и исправлением написанного. Кабинет Л. Н-ча хотя и невелик, но уютен и выходит окнами на юг, в парк (летом из кабинета открывается дверь на балкон). В парке перед окнами никого нет (здесь стараются не ходить и не беспокоить Л. Н-ча, когда он работает), и потому ничто его не отрывает от его мыслей. На стенах кабинета множество портретов его близких, его бывших и теперешних друзей и знакомых. Скромных размеров письменный стол, с двумя на нем свечами, бумагами, письмами, книгами; вращающаяся этажерка с книгами, распределенными по группам, обозначенным ярлыками с надписями; полка с книгами на стене, клеенчатый диван, кресло и еще небольшая мебель — вот вся обстановка рабочей комнаты. За кабинетом видна такая же скромная спальня с кроватью и с висящим на стене портретом (яркими красками) покойной дочери Л. Н-ча Марии Львовны⁵. На письменном столе раскрытая рукопись, написанная на «Ремингтоне» и во многих местах исправленная, но подлежащая еще поправкам и добавлениям. Как и прежде, Л. Н-ч выправляет старательно все свои писания, причем иное переписывается на «Ремингтоне» по нескольку раз, прежде чем примет окончательный вид.

За последнее время Л. Н-ч был занят тремя вещами. Написана была большая статья «Закон насилия и закон любви», затем «Письмо к сербской женщине» в ответ одной сербке⁶, спрашивавшей его мнения о последних событиях на Балканском полуострове, и, наконец, продолжалось составление известного «Круга чтения». Письмо к сербке разрослось в целую статью из нескольких глав. Оно появится в скором времени — кажется, 6-го или 9-го декабря — разом в нескольких иностранных газетах. Это все уже работы законченные, но Л. Н-ч, окончив одно, немедленно принимается за другое. Теперь он занят Индией и пишет статью по поводу одного полученного им оттуда письма и вообще по поводу современного движения в Индии, направленного к изменению тамошнего государственного строя⁷. Эта работа вызвала у него ознакомление с литературой по Индии, с религиозными воззрениями сейков (Sikhs), с новейшими проявлениями мысли индусов (сочинения Вивекананды и др.) и т. д. Интересуется он также Китаем, и очень понравилось ему присутствие из Шанхая (напечатанное в «Русских ведомостях»)⁸, в котором говорится о возможности объединения в будущем людей на общих нравственных началах великих религий. Жалуется он только на трудность разъяснения некоторых вопросов по имеющейся и доступной литературе об этих странах.

Умственные силы Л. Н-ча, по-видимому, остались прежние, только память стала ему изменять. Попутно, обдумывая более крупные писания, он набрасывает или диктует меньшие, небольшие рассуждения на известную тему или даже художественные картинки. Так, им написана недавно характерная сцена военного суда над отказавшимся от военной службы солдатом⁹. Но вообще от беллетристики он отказался. «Странно было бы,— сказал он мне,— если бы я в мои годы, при малом времени, мне остающемся, занимался описанием картин природы, восхода солнца или любовной интриги, когда есть много важного и необходимого, что надо обдумать и о чем следует сказать. Я не только не пишу ничего беллетристического,— продолжал Л. Н-ч,— но и не читаю, разве уж когда утомишься и не хочется делать ничего другого, пробегаю несколько лучших стихотворений Пушкина».

Проработав до 2-х часов, Лев Николаевич обыкновенно садится за свою вегетарианскую трапезу, когда уже домашние отобедали (некоторые из них теперь, впрочем, тоже перешли к вегетарианскому питанию). После обеда, если погода позволяет, Л. Н-ч отправляется на прогулку верхом. «Для привычного человека,— сказал мне Л. Н-ч,— это не утомительно; трудно только влезть на лошадь, а затем чувствуешь себя спокойно; да и езжу я теперь шагом». Прогулку он делает иногда верст за 15; его, впрочем, не отпускают одного; кто-нибудь из домашних едет за ним в санях. Лошадь его приучена к такой езде и ступает большими шагами. Вернувшись с прогулки, когда уже зимою смеркается, Л. Н-ч не садится обыкновенно больше за работу, а проводит время в кругу домашних, в столовой, двери в которую из соседней комнаты (и из кабинета) раскрыты. Столовая эта представляет из себя большую комнату с окнами, выходящими одни на юг, другие — на север. Западная стена ее украшена большими портретами Льва Николаевича в разные эпохи его жизни, портретом гр. Софьи Андреевны и портретами дочерей Марии и Татьяны Львовны. На противоположной — восточной — стене — старинные портреты предков: князя Волконского, кажется, одного из князей Горчаковых, еще старинный портрет одной монахини, бывшей княжны. Посредине залы — длинный обеденный стол; в углах диваны, перед ними — столы, кресла; на столах между окнами — наваленные книги; у восточной стены — рояль. Здесь проводит обыкновенно Л. Н-ч вечер, то беседуя или читая (или слушая чтение или игру на рояле) или, наконец, играя в шахматы или в винт. Кроме гр. Софьи Андреевны и дочери Александры Львовны здесь обыкновенно бывает кто-нибудь из приезжих, родных, напр., Татьяна Львовна

с супругом г. Сухотиным, при мне был еще приехавший из Петербурга Лев Львович; большею частью присутствует также В. Г. Чертков, затем живущие постоянно или временно гостящие знакомые, секретарь г. Гусев, домашний врач г. Маковицкий, а нередко кто-нибудь из реже бывающих знакомых или почитателей. Вообще же с соседними землевладельцами сношений, кажется, нет; при мне был председатель крапивенской земской управы Н. А. Игнатьев (врач по образованию, воспитанник московского университета), но он был приглашен графией специально по делу, и, по его словам, был здесь ранее только один раз, и то уже много лет тому назад. Что касается В. Г. Черткова, то он приезжает почти ежедневно. Поселился он недавно поблизости, верстах в трех, где приобрел себе участок земли и выстроил дом. По внешности это видный мужчина, с большим лбом, зачесанными взад волосами, открытыми глазами, одетый просто, в больших сапогах; значение его, как преданного последователя Л. Н-ча, достаточно известно.

Л. Н-ч сидит в своей блузе, подпоясанной ремнем, в брюках, запущенных за голенище сапог, и беседует или обдумывает ходы в шахматы или карты. Если есть кто из новых приезжих, он предпочитает беседу, обмен мыслями по интересующим его вопросам. А интересуют его теперь по преимуществу вопросы, имеющие отношение к религии, к великой науке жизни и правильного миропонимания. <...>

Увлеченный выработкой правильного миропонимания, исполненный сознанием важности закона любви и нравственной задачи жизни, Лев Николаевич относится, как известно, отрицательно ко всему тому, что отвлекает от этой задачи, что направляет мысли и чувства к иным вопросам знания, искусства, деятельности, помимо неизбежных забот о существовании путем полезного и честного труда. Наука, по его мнению, ищет не того, что нужно, увлекается тем, что неважно и несущественно. Бредихин¹⁰ узнал, конечно, больше о кометах и других светилах, чем знает о них дикарь, но ведь и знание Бредихина — только этап на пути к бесконечному, и через несколько сот лет воззрения Бредихина будут представляться астрономам немногим выше понятий дикарей. Говорят об эволюции, о происхождении видов, о развитии человека из животного («Учение Дарвина мне особенно противно», — выразился Л. Н-ч), о первобытном человеке, о клеточке; но ведь все это не может объяснить смысла жизни, не в состоянии приблизить нас к пониманию вечного и бесконечного, не научит нас тому, что особенно нам нужно, в чем заключается благо и счастье отдельных людей и всего человечества, — тому,

чтобы сблизить и объединить людей в общем миропонимании и в признании закона любви. Восставая против науки и вообще против так называемого прогресса, Л. Н-ч не может, однако, отрицать, что, например, усовершенствованные способы сообщения, ускоренный обмен мыслей между народами, распространение знаний и просвещения способствуют сближению между людьми; уже теперь просвещенные китайцы, персы, индусы читают произведения Л. Н. Толстого, как они общаются и вообще к европейской мысли, а в будущем в этом общении просвещенных личностей лежит, несомненно, залог и более тесного духовного сближения между народами. Сам Л. Н-ч признает, что время национализма и узкого патриотизма уже проходит, что в умах передовых людей складывается более широкое человекопонимание, что люди эти ценят и уважают других людей не по их принадлежности к тому или иному классу, сословию, к той или иной национальности, вере и т. д., а по их духовному развитию и нравственным качествам, по их служению высшим идеалам человечества. Чем более будет умножаться число таких просвещенных и развитых людей, тем более, конечно, человечество будет освобождаться от стадных чувств, низменных инстинктов, грубых суеверий, тем сильнее будет проявляться стремление к объединению в высших интересах мирного общежития и деятельного умственного и нравственного прогресса.

Но достижение всех этих целей просвещения, развития, самосознания, прогресса немислимо без настойчивой работы мысли, без непрерывного движения в области знания, искусства и их применений; это движение так же необходимо, как необходимы условия свободного гражданского и политического общежития, в котором бы личность и общество не были подавлены и потребности народной жизни находили бы разумное, справедливое удовлетворение. Плодотворное же развитие мысли предполагает свободу последней; нельзя заставить людей думать только об одном и не думать о другом; невозможно положить преграды пылливому человеческому уму. Но если бы это и было возможно, то оно было бы не только бесполезно, но даже вредно, так как одностороннее развитие ума способно привести его к ограниченности и фанатизму. Гармоническое развитие необходимо как для отдельной личности, так и для всего человечества, и, как ни важно объединение людей в законе любви, оно не может и не должно вести к отрицанию других направлений духовной деятельности, в которых находят удовлетворение человеческий ум и чувство, которые ведут к высшему развитию выработавшихся в человеке сил и способностей, которые расширяют умственный

кругозор и усиливают власть человека над силами природы.

В ответ на мое замечание, что для правильного понимания явлений как в жизни природы, так и человека необходимо изучение их образования или развития, что в этом разъяснении развития можно найти и оправдание многих явлений в жизни народов, Лев Николаевич возразил, что это лишнее, что надо исходить из определенного миропонимания и, в смысле науки о жизни, брать лучшее, как оно есть. Когда мы питаемся, мы обращаем внимание на качество и вкус пищи и не интересуемся тем, откуда эта пища привезена и как ее изготовили; так и в духовной сфере мы должны брать нужное и важное, не вдаваясь в напрасные изыскания, откуда, когда, как это нужное и важное явилось или было усвоено. Хорошее не нуждается в историческом разъяснении, а дурное не может найти себе оправдание в истории. Ведь и пытки, и виселица имеют историческое оправдание, но их нельзя оправдать законом любви.

Коснувшись далее учения о непротивлении злу, Л. Н-ч сказал, что он знает, как смеялись над такими мыслями, считали их вздором, старались доказать их нелепость, указывая на случаи необходимой обороны, законного возмездия и т. д. Но чем более он живет, тем более убеждается, что противление злу всегда вызывает противление другому злу, и так без конца. Убивали революционеры, думая на этом построить народное благо, а в ответ последовали казни, которыми хотят достигнуть также блага, но которые вызывают новое озлобление, и так всегда. Благо никогда не достигается насилем.

Отрицая национализм, стремясь к всечеловечности, Л. Н-ч, однако, остается настоящим русским человеком и говорит, что нигде не мог бы жить, кроме как в России. Там, на Западе, все поставлено в известные рамки, введено в определенную колею; здесь, у нас, все еще *im Werden** и способно дать самородные ростки. Попутно Л. Н-ч коснулся и аграрного вопроса. Как известно, он разделяет воззрения Джорджа и думает, что они совпадают и с убеждениями русской народной массы. Русский народ сохранил еще представление о земле, что она — общее достояние, а произведения труда могут быть собственностью отдельных лиц. Земельная собственность явилась в результате захвата, насилия, и этот взгляд крепко держится в народе. Сколько бы недостатков ни было связано с крестьянской общиной, в основе ее лежит правильное представление о земле как общем достоянии, разделяемом по частям в пользование отдельных членов общины.

Л. Н-ч не принимает участия в вечернем чае; он выпивает,

* в становлении (*нем.*).

самое большее, чашку миндального молока, съедая иногда еще кусок простого (не сдобного) хлеба. Часов около одиннадцати он отправляется спать, но иногда страдает от бессонницы. В случаях нездоровья он пользуется советами своего домашнего врача г. Маковицкого, но, как тот говорил мне, не особенно любит принимать лекарства, да и я, — заметил г. Маковицкий, — даю их только в самых необходимых случаях. <...>

В разговоре с Л. Н-чем я спросил его, между прочим, не думает ли он куда поехать из Ясной Поляны, но получил в ответ: «Куда мне ехать, отсюда меня повезут только на дрогах». Будем надеяться, что это последует еще не скоро и что при правильном образе жизни и при заботах и уходе родных и близких жизнь Л. Н-ча сохранится еще в течение многих лет. <...>

«РУССКОЕ СЛОВО»

П. СЕРГЕЕНКО

ГЕРЦЕН И ТОЛСТОЙ

Начало сентября 1904 года.

В Ясной Поляне группа гостей.

За вечерним чаем в огромной полуосвещенной столовой идет оживленная беседа, усердно подогреваемая Вл. В. Стасовым. Он гостит в Ясной Поляне со своим неизменным спутником И. Я. Гинцбургом¹. И в столовой то и дело гремит буйный голос «былинного богатыря могучей кучки». Все в нем огромно и громозвучно.

Стасов демонстрирует на конце стола привезенные им фотографии, на которых он снят в различных положениях с М. Горьким и И. Е. Репиным на даче в Куоккала...

Л. Н. Толстой не принимает особенного участия в беседе. А демонстрация фотографий, видимо, совсем его не интересует. И вероятно, чтобы только не охлаживать увлекающегося 80-летнего юношу, Л. Н. иногда полуодобрительно произносил: «Г-м!», когда к нему подсовывались фотографии.

Весь этот день Л. Н. был занят какой-то напряженной работой. И его сосредоточенное лицо с раздвоившейся белой бородой являло не то чтобы усталость, а некоторое отчужде-

ние или, скорее, отдаление от происходящего вокруг него.

Особенно это выразилось, когда зашла речь о тогдашней «весне», делаемой в России кн. Святополк-Мирским². Стасов и другие гости очень увлекались «весенним» периодом и возлагали на кн. Святополк-Мирского великие надежды.

Л. Н. грустно покачал головой.

— Ну что может сделать один... какой-то Миропольский или как там его?.. Нет, нет, я не верю, чтобы из этого вышло что-нибудь хорошее.

Речь перешла на прежние весенние дни в России: на 50-е и 60-е годы. Кто-то упомянул о Герцене.

На Стасова это подействовало, как стук дирижерской палочки на музыкантов. Он с юношеским увлечением заговорил о Герцене, о его обаятельной личности и о своем знакомстве с Герценом в Лондоне. Но, лишенный художественной палитры, милейший Владимир Васильевич не прибавил к портрету Герцена ни одного яркого мазка.

— Ах, Герцен! — сказал, оживляясь, Лев Николаевич. — А я как раз сегодня просматривал его. Какой удивительный талант!

И Л. Н. начал полуцитировать прочитанный им намеренно юмористический очерк Герцена о смотре войск в Австрии³. Но затем, видимо не полагаясь на память и желая угостить нас чем-то особенно вкусным, Л. Н. попросил принести из его кабинета книжку Герцена.

— Вы послушайте, как все это удивительно метко у него схвачено! — говорил Л. Н. интригуя и подсаживаясь к столу.

Принесли небольшую потертую книгу: «Немой свидетель о заслуге»⁴.

* * *

Будучи в ударе, Л. Н. читает юмористические вещи бесподобно.

И тут, читая искрящиеся юмором отрывки из Герцена, он как-то особенно вкусно пропускал сквозь белые пушистые усы юмористические нотки, когда читал о «габсбургской губе» кронпринца, о «зачислении по химии» после смерти и т. п.

Было действительно прелестное эстетическое угощение, прерываемое взрывами смеха всех присутствовавших, самого Льва Николаевича особенно.

(Он бывает очень смешлив. И его иногда так же тянет посмеяться, как некоторых к рюмке водки или к хорошей сигаре.)

После чтения Стасов опять заговорил о Герцене, о его жизни

в Лондоне и т. п., но опять не давая ни ярких красок, ни характерных штрихов. Лев Николаевич не возражал и не поддакивал Стасову, а только повторял свое универсальное «гм».

— Владимир Васильевич, ведь Лев Николаевич лично знал Герцена и бывал у него в Лондоне,— шепнул Стасову один из присутствовавших, когда внимание Льва Николаевича было на минуту отвлечено чем-то.

Стасов откинулся своей богатырской фигурой на спинку стула, всплеснул от радостного изумления руками и молебно загудел на весь дом:

— Лев Николаевич, напишите ваши воспоминания о Герцене! Ведь это так страшно интересно! Так глубоко значительно!.. Ради бога, не откладывайте!..

Л. Н. улыбался и пытался отделаться какой-то шуткой, вроде того, что он «уж столько написал пустяков в своей жизни, что пора и честь знать».

В. В. Стасов вскрикивал при этих словах, как будто ему рвали зуб:

— Ай, что вы говорите!

* * *

⟨...⟩ В январе текущего года в Ясную Поляну пришел с чемоданчиком в руке один из горячих почитателей Льва Николаевича, некто В. В. П⟨люснин⟩⁵. Оказалось, что он совершил чуть ли не кругосветное путешествие, пока добрался до Ясной Поляны. Сам он из Сибири, сын зажиточных родителей. Но, почувствовав влечение к «новой жизни», оставил отца и мать и прилепился к своей идее. Был в Японии, был в Америке, в Англии и достиг наконец обетованной земли. С этим-то искателем новой жизни преимущественно и говорил Лев Николаевич за обедом в Ясной Поляне 15-го января текущего года, расспрашивая своего гостя о Сибири, о Японии, об Америке и различных подробностях морского путешествия.

— А вы, Лев Николаевич, могли бы вынести подобное морское путешествие,— спросил один из гостей.

Л. Н. на секунду задумался.

— Не знаю, мог бы ли теперь. Но когда в 60-м году я ехал в Лондон, со мною в проливе произошло нечто странное, а главное — столь неожиданное, что я тут же,— Л. Н. нерешительным взглядом обвел присутствующих и, улыбаясь, добавил с комическим недоумением: —...И отдал дань морю. И настолько, вероятно, это было нехорошо с моей стороны, что один матрос даже сделал мне замечание... Но на обратном пути, через

Голландию, хоть и гораздо дальше пришлось ехать по морю, я отлично вел себя...

Разговор сосредоточивается на лондонских впечатлениях. Л. Н., перед этим полужаловавшийся, полурадовавшийся, что в последнее время иногда забывает, что было вчера, с мельчайшими деталями рассказывает о лондонских улицах в 60-х годах минувшего века, о литературном вечере, на котором читал Диккенс, несколькими изумительными штрихами набрасывает портрет Диккенса, затем рассказывает о своей первой встрече с Герценом. Сначала Л. Н. хотел просто посетить Герцена, как русский. Но его не приняли. Тогда он послал наверх свою карточку. Через некоторое время послышались быстрые шаги, и по лестнице, как мяч, слетел Герцен. Он поразил Льва Николаевича своим небольшим ростом с наклоном к полноте, светившимися умом глазами и точно каким-то душевным электричеством, исходившим из него.

— Живой, умный, интересный,— пояснил Л. Н., по обыкновению как бы иллюстрируя свои мысли движениями рук,— Герцен сразу заговорил со мною так, как будто мы давно знакомы, и сразу заинтересовал меня своей личностью. Я ни у кого потом уже не встретил такого редкого соединения глубины и блеска мысли... Он сейчас же,— это я хорошо помню,— повел меня почему-то не к себе, а в какой-то соседний ресторан сомнительного свойства. Помню, меня это даже несколько покорило. Я был в то время франтом, носил цилиндр, а Герцен был даже не в шляпе, а в плоской фуражке. К нам тут же подошли польские деятели, с которыми Герцен возился тогда. Он познакомил меня с ними. Но потом, вероятно, сожалел, потому что сказал мне, когда мы остались вдвоем: «Сейчас видна русская бестактность: разве можно было так говорить при поляках?» Но все это вышло у Герцена непосредственно и даже обаятельно. Я не встречал более таких людей, как Герцен... И всегда скажу, что он неизмеримо выше всех других политических деятелей. У него была глубина понятий, острота мысли и религиозное сознание... У него же я познакомился и с Огаревым. Но Огарев уже не то. Он милый, хороший, но не то. И у Тургенева этого не было... Но Тургенев был тоже милый и обаятельный человек,— успешно добавил Л. Н., как бы желая предупредить всякую мысль, что он питает к Тургеневу неблагоприятное чувство.— Кстати, куда девалась фотография Герцена с Огаревым, которую они мне подарили?— спросил Лев Николаевич, обращаясь к домашним.

Ему объяснили, что фотография взята Сергеем Львовичем для отпечатания и распространения⁶.

Л. Н. делает одобрительный знак и опять с особенной душевностью начинает говорить о Герцене, о его замечательном языке, о силе мысли, о тонком остроумии.

— Как это удивительно верно у него: «Когда бы люди захотели, вместо того, чтобы спасти мир, спасти себя; вместо того, чтобы освободить человечество, себя освободить, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества»⁷ <...>.

Продолжая восхищаться Герценом, Л. Н. вспоминает об одном своем друге, молодом французе, живущем на Кавказе и написавшем монографию о Герцене⁸. Л. Н. с нежным сочувствием отзывается об этой работе и говорит:

— Очень бы хотелось написать предисловие к ней. Но не знаю, успею ли. Жить осталось так мало...

* * *

Вспоминается еще одна беседа со Львом Николаевичем о Герцене.

Дело было в 1893 г. Я был вечером в конце марта у Толстого в их доме, что в Долго-Хамовническом переулке. По обыкновению, были гости. Помню, были: И. И. Горбунов-Посадов, художник Н. А. Касаткин, потом пришел студент Макалов (теперешний златоуст Государственной Думы) и др. Льва Николаевича не было. Беседа плелась кое-как. Но вот он появился. И все сразу оживились, несмотря на его усталый вид. Но усталость его была только физическая, лицо же сияло каким-то особенным отблеском. У него в этот день было нечто вроде большого праздника. Л. Н. закончил наконец и отправил за границу свою любимейшую работу, над которой горел душой несколько лет: «Царство Божие внутри вас». Это и сообщало его лицу особенный отблеск. Не помню уж по какому поводу заговорили о Герцене. Л. Н. еще более озарился и начал глубоким тоном говорить, как огромно значение Герцена для России.

— Ведь ежели бы выразить значение русских писателей процентно, в цифрах, — сказал Л. Н., показывая на пальцах, — то Пушкину надо бы отвести 30%, Гоголю — 20%, Тургеневу 10%, Григоровичу и всем другим около 20%, а все остальное надо отнести на долю Герцена. Он изумительный писатель! Он глубок, блестящ и проницателен. И, будь он доступен русскому обществу, не было бы 1-го марта...⁹

«РЕЧЬ»

Н. ШУБАКОВ

У Л. Н. ТОЛСТОГО

27 декабря депутация от толстовского комитета представителей научных и литературных кружков петербургского университета в составе пяти студентов, в том числе и автора настоящих строк, прибыла в Ясную Поляну с адресом Л. Н. от петербургских студентов.

Приехали мы в имение Л. Н. рано утром.

Во втором часу дня — время, назначенное нам Л. Н. для встречи, — подошли мы к самой усадьбе. Нас пригласили в рабочий кабинет Л. Н. В дверях мы были встречены самим Л. Н., приветливо и радушно улыбавшимся. Мы вручили ему покрытый несколькими тысячами подписей адрес.

— Очень рад, очень рад, — говорил, усаживая нас, Л. Н. — Я читал, что вы едете, и ждал вас... Не забывает меня русская молодежь. Большое спасибо ей.

Наступила минута несколько неловкого молчания. Л. Н., казалось, понимал наше смущение, и некоторое время мы сидели молча, осматривая незатейливое убранство кабинета, по стенам которого развешаны портреты выдающихся людей всего мира, отдельные фигуры рафаэлевской Мадонны, расставлены книги.

— Что теперь делается в университете? — прервал наше молчание Л. Н. — Меня это очень интересует. Были у меня ваши московские товарищи, рассказывали о последних событиях в студенческой жизни. Что же теперь делается у вас?

Мы в общих чертах обрисовали текущую студенческую

жизнь, указав, что студенчество в настоящее время усиленно занимается наукой.

— Знаете,— сказал Л. Н., когда рассказ был окончен,— вам, конечно, странным кажется мой взгляд на науку, на университет. Вы с ним несогласны. Не правда ли? Но,— придвинулся ближе и засмеялся Л. Н.,— хоть вам, быть может, это и неприятно, я все-таки и вам хочу еще раз указать на него. Теперь так все увлекаются наукой, говорят о ее необходимости и роли в жизни человека. Когда-то, не так давно, было суеверие — богословие. Люди от него отказались и отказываются. Наука — тоже суеверие. Человеку нужно совершенствоваться, нужно учиться понимать жизнь. Годна ли для этой цели наука? Вы видите в ней источник этого совершенствования, а ведь это не так. Наука вас давит, приучает, быть может против вашей личной воли, шаблонно, по учебнику мыслить. Подчиняясь измышленным, непоколебимым будто бы аксиомам,— пример — пресловутый «исторический закон»,— вы теряете возможность самостоятельного, свободного мышления и не можете, таким образом, совершенствоваться. Человеку нужны познания, но познания во всех областях жизни.

Тут Л. Н. нарисовал рукой круг.

— Из центра круга идут радиусы — отрасли знания. Нужны они все, но в небольшом размере, ибо человек не может вместить всего. К чему же бесконечно удлинять один из радиусов в ущерб другим? Самая безобидная наука — это математика, но и она излишняя. А право? В самом его существе лежит необходимость насилия. Право — это продукт государства, основанного и поддерживаемого насилием. Я понимаю вашего профессора Петражицкого¹, который стремится одухотворить право. Но его труды не нужны и бесплодны... Университет, таким образом, ненужная роскошь.

— Что же, Лев Николаевич, может заменить университет?

— Что? Общение с людьми, чтение. Человек более опытный в жизни, если вы обратитесь к нему, конечно, не откажет вам в добром совете и указании. То же сделает и хорошая книга.

— Но скажите, Лев Николаевич, что же делать нам, студентам?

— Это вопрос, на который трудно ответить. Но по совести и вполне искренно я сказал бы вам то же самое, что сказал бы священнику, если бы он задал мне такой же вопрос. Что делать? — Расстрчься.

Л. Н. указал на большой, висящий в углу портрет Генри Джорджа.

— Вы его, конечно, знаете? Это человек, которого я очень люблю. Скажите, его учение все так же малопопулярно? Да? Странно, странно, — покачал головой Л. Н. — И ведь это везде, не только у нас в России. Вот только в Австрии он пользуется всеобщим признанием.

— Теперь многие видят спасение в идеях социализма, — немного погодя заговорил Л. Н. — Я не могу разделять этого. Социализм односторонен. В нем обращается главное внимание на экономические условия жизни человека, прикасающиеся к нему извне, и слишком мало уделяется на внутреннее, на совершенствование самого человека... Я верю в осуществление анархизма. Я разделяю идеи Кропоткина, Бакунина, но не разделяю их тактики. Анархизм должен победить не путем революционным, путем насилия, а путем мирным. Для этого необходимо развитие этического сознания в человечестве.

На днях я получил письмо от одного индуса². Они голодают и бедствуют, а между тем британская армия в Индии в большей своей части состоит из этих же индусов. Таким образом, они сами гнетут свой народ. И это вполне понятно. Индус-солдат обеспечен, обеспечена и его семья. И так будет до тех пор, пока он не проникнется сознанием своего греха пред близкими. А что это этическое сознание просыпается, просыпается и у нас, я вижу по многим фактам. Я знаю лиц, добровольно отказавшихся под влиянием этого сознания от своих богатств...

Разговор перешел на тему о националистическом движении в России в последнее время.

— Я различаю две стороны этого движения, — сказал Л. Н., — политическую и культурную. Первой, конечно, сочувствовать не могу, вторую от души приветствую. Политический национализм основан на тех же принципах, на каких основано государство — на принципах насилия одних над другими.

— Если бы вы знали, — помолчав, добавил Л. Н., — как меня мучат эти насилия. В особенности эти ужасы смертной казни.

Лицо Л. Н. приняло страдальческое выражение, голос пресекался, на глазах показались слезы. Видно было, какие душевные муки он переживает.

— Обыкновенно те, кто защищает смертную казнь, ссылаются на два места Евангелия. Говорят, что Христос поощрял и оправдывал насилие, и видит это в его изгнании торгующих

из храма и в словах о мече, который нужно извлечь из ножен... А вот читал я, что пишет в «Новом Времени» А. Столыпин³. Такого кощунства я никогда не слышал и не знал. Ведь он доказывает, что в Евангелии содержится не только поощрение насилиям, но и укор тем, кто этого насилия не применяет... Как больно и тяжело читать это! И никто не ответил на это кощунство. Я смотрел газеты и нигде не встретил ответа ему!

Мы указали Л. Н. на статью В. Д. Набокова в «Речи»⁴.

— Не знаю, не читал... Но ведь этого мало. Надо было возмущаться, везде должно было быть указано на то, до чего дошли защитники смертной казни... А я не могу, не могу не говорить... Вот на днях написал еще одну статью о смертной казни...⁵

Л. Н. поднялся с кресла, несколько утомленный разговором.

— Посмотрите мой кабинет. Я как-то получил от Эдиссона в подарок его аппарат, и недавно приезжали ко мне посланные им несколько человек, чтобы записать мой голос. Не хотелось мне говорить в аппарат,— добродушно улыбаясь, сказал Л. Н.,— да ничего не поделаешь, скажет, подарок принял, а отблагодарить не хочет. Наговорил пластинку... Только боялся наговорить глупостей. Стар уж я, и память мне изменяет,— с той же улыбкой продолжал Л. Н.— Скажешь что-нибудь такое, и пойдут гулять по всему свету твои слова... Люди смеяться будут... Вот вам пример,— добавил Л. Н.,— к тому, что я говорил о науке. Ведь Эдиссон, мне рассказывали, нигде не учился и сам додумался до своих великих изобретений...

Мы попросили у Л. Н. его портрет с автографом в дар студентам петербургского университета и несколько малых портретов для некоторых научных кабинетов университета. Л. Н. обещал в скором времени переслать их нам.

Мы перешли в зал, где был приготовлен чай. За столом были уже Софья Андреевна, Сергей Львович, Александра Львовна и близкие родственники Л. Н., приехавшие к нему на праздник. Тут же стояла украшенная общими усилиями семьи Л. Н. елка. Завязалась общая беседа, во время которой Л. Н. попрощался с нами.

— Прежде чем уехать из наших мест, посетите моего дорогого друга Владимира Григорьевича (Черткова),— сказал на прощанье Л. Н.,— он очень хочет поговорить с вами. Благодарю за ваше посещение и за труд, который вы понесли, приехав ко мне. Расстояние не маленькое. Передайте мой привет и благодарность петербургским студентам.

Мы распрощались. Часу в шестом мы были у Владимира

Григорьевича и оживленно беседовали с ним и его последователями и друзьями о науке, университете и пр.

Был десятый час вечера, когда мы покинули Ясную Поляну.

Бодрый, крепкий еще, несмотря на свои годы, Л. Н. с его доброй улыбкой, прекрасными светлыми глазами, старческим слабым голосом останется у нас в памяти навсегда.

Не забудется никогда этот день, проведенный в Ясной Поляне, и полуторачасовая беседа с великим стариком.

«ЖИЗНЬ»

Ф. КУПЧИНСКИЙ

ТИШИНА

(У Льва Николаевича Толстого)

...Ясная Поляна!.. Вот она!..

Тишина, белая, снежная тишина охватила аллею заперенных снегом елей, на пруд, на дом, белая-белая, снежная, чистая легла тишина. <...>

И внутри дома была тишина...

— Лев Николаевич встает, сейчас выйдет к вам...— говорит мне его секретарь Н. Н. Гусев...

Это молодой человек, просто одетый, с большими ясными глазами. Мы садимся и говорим.

— На днях Лев Николаевич чувствовал себя плохо и даже не вставал дня три; нынче он совсем поправился...

Мне говорит о Льве Николаевиче много, подробно добрый, мягкий голос, говорит любовно, внимательно, заботливо.

Чувствую, что от этого человека тянутся к тому старцу нити светлой и прекрасной любви.

За дверью послышался голос, бодрый и громкий:

— Где?.. Здесь?.. Я иду...

Туда вышел Гусев, а ко мне вошел спокойной, уверенной походкой старик, одетый в блузу ниже колен. Большая разросшаяся борода, энергичное, просветленное, думающее лицо. Глаза, немного красные, под густыми нависшими седыми бровями, все в морщинках светлое, ясное лицо озарено улыбкой приветствия, дышит вниманием вопроса.

Говорили о войне.

Говорили про то, что писалось о войне.

Говорили про то, что знает и что думает народ о войне, и про то, что надо, чтобы знал и думал народ о войне...

И потом стали говорить о смертных казнях...

О том, что во Франции парламент благословил правительственные убийства.

О том, что в Париже собираются толпы людей, чтобы не пропустить жестокого, редкого по отвратительности своей зрелища убивания людей гильотиной.

Другим, сразу совсем другим стало спокойное, просветленное лицо: глубокая, заветная дума скорбной тенью легла на ясное лицо...

— Ужасно то, что они делают, не знают сами, как ужасно! Не понимают того, что народ знает этот ужас, знает, что этого не надо; ведь если он идет смотреть, и шумит, и неистовствует, — он не потому так делает, так ведет себя, что согласен, а только потому, что там он — толпа, неразумная, слепая толпа... Не ведает она, что творит...

Говорил человек старый, так много дум и боли накопивший к этой страшной правде, и тихо, и пламенно, и значительно, и сильно звучал голос, весь напоенный, весь дышащий протестующим, могучим, как скрытый огонь, негодованием.

И потом кончил так говорить:

— Я не могу об этом... это слишком...

И встал, такой сосредоточенный, с наклоненной низко головой, от которой борода стлалась светлой волной по широкой груди...

— Я не могу об этом!.. Я пойду погулять... вы побудьте... я пойду...

— Вы напишите, Лев Николаевич, сейчас здесь эти несколько мыслей, чтобы запечатлеть этот разговор... Снимем фотографию, и я постараюсь, где сумею, поместить на видном месте в газетах еще новое слово об этом... Напишите...

Остановился, посмотрел глубоко в глаза, задумался, вздохнул...

— Не могу сейчас написать... Как напишу сразу?.. Не люблю я сразу писать, не умею так что-нибудь писать... Неожиданно. Уж не сетуйте на меня — не напишу сейчас... пойду... А вы пойдите в столовую... кофе выпейте...

— Напишите, Лев Николаевич!..

— Вы знаете... не могу же я глупость какую-нибудь написать... все-таки *poblesse oblige!** Подумать надо раньше, что написать... Не знаю...

И вышел тихий, задумчивый, весь наполненный великой внутренней скорбью.

* положение обязывает! (фр.)

Мы пили кофе в столовой, когда Лев Николаевич вернулся с прогулки и быстро прошел в свой кабинет...

— Не напишет он,— говорит мне Гусев,— хотя я пойду к нему еще, напомню; он говорил мне сейчас, что вы просите. Действительно, ведь это нужно заняться, тогда можно... Вы возьмите из его статьи «Не могу молчать».

И он принес мне эту известную ныне всему миру статью, чтобы я выбрал несколько строк из нее для фотографического воспроизведения с его факсимиле.

Я стал перечитывать и выбирать...

Быстро вернулся Гусев. Глаза блещут, улыбается:

— Пишет. Пришел с прогулки, сел и пишет; это для вас; сейчас принесет!..

И смеется.

В столовой, большой, светлой, тихо. Старые-старые зеркала, старые портреты, старая рояль, старые стулья, в углу круглый стол с книгами. Еще несколько столов с книгами по углам, на книгах все надписи... Одна книга остановила мое внимание. Обложка цветная. Нарисованы русские витязи в латах; в русских витязей стреляют руки незримых людей из «браунингов», а русские витязи руки на груди скрестили и молятся.

Эта книга прислана, видимо, Пуришкевичем. Его произведение¹. Перечень людей, убитых революционерами и принадлежавших к знаменитому союзу архангела Михаила. На книге собственная пуришкевичевская надпись: «Вот когда бы вам надо было сказать: «не могу молчать!..»

— Sapienti — sat!..*

Принесли почту. Масса газет и писем. Стали разбирать.

В столовую быстро вошел взволнованный Лев Николаевич с листиком бумажки в руках.

— Вот... написал... Не напечатаете — все равно... А иначе не могу... Как хотите, не могу иначе говорить... Вот, прочтите вслух...

Я с трудом стал разбирать и передал Гусеву. Он громко читал, а я смотрел на старое-старое лицо, все оживленное, в глаза, полные огня, на всю, теперь не спокойную, не тихую фигуру очень взволнованного Льва Николаевича.

Читая, он поправлял.

— Не напечатаете ведь?..

— Обещаю вам, что будет напечатано, Лев Николаевич, как есть, весь этот листок будет сфотографирован.

Бросая быстрый, глубокий взгляд, повернулся, весь полный какой-то скрытой думы, и вышел из столовой...

* Понимающему — достаточно (лат.).

А мы тут же попросили Татьяну Львовну, дочь Льва Николаевича, переписать на машине, чтобы не ошибиться после, разбирая почерк.

〈...〉 Через каких-нибудь два часа были в Туле...

А там следующий разговор.

Встретил нескольких жандармских офицеров.

Спрашиваю одного:

— Скажите, если хотите, так просто... интересно мне: арестовали бы вы Толстого, если бы вам приказали?..

— Почему спрашиваете?..— встревожился он, удивленный обращением к нему незнакомого человека.— Почему?..

— Да просто увидел вот вас тут и спрашиваю; мне интересно... Ответьте, если хотите...

— Мы, знаете, не смеем не слушаться... Все равно, каждого арестуем, если прикажут...

Добавлять не приходится.

«РУССКОЕ СЛОВО»

С. СПИРО

ТОЛСТОЙ О ГОГОЛЕ

Во время «гоголевских дней»¹ я отправился в Ясную Поляну побеседовать с Л. Н. Толстым о Гоголе.

Результат поездки превзошел все мои надежды.

Лев Николаевич дал мне о Гоголе свою статью.

— Одна моя приятельница,— сказал Лев Николаевич,— недавно говорила со мной о «Старосветских помещиках», и после этого я стал перечитывать их. Когда я перечитываю Гоголя, то всегда перечитываю его «Переписку с друзьями», далеко не оцененную Белинским² и содержащую чрезвычайно много драгоценного рядом с очень дурным и возмутительным для того времени.

— Впрочем,— добавляет Лев Николаевич,— я кое-что записал о Гоголе.

Лев Николаевич просит своего секретаря Н. Н. Гусева дать ему эти, как он называет, «листки из дневника».

Я прошу у Льва Николаевича разрешения опубликовать эти «листки»,— напечатать у нас, в «Русском Слове».

Лев Николаевич дает свое согласие.

Я перечитываю их вслух, а Лев Николаевич делает некоторые поправки.

Затем отдает мне.



*Толстой в кабинете
за раскладным столиком 17 марта 1909 г.
Фото В. Г. Чергкова и Т. Тапселя.*

Перечитывая письма Гоголя, Лев Николаевич на некоторые из них ставил свои пометки...

В зависимости от того, согласен или нет с выражаемой Гоголем мыслью, он «ставил балл».

Оценка «пятибалльная».

Привожу ее в том виде, в каком она была передана мне Н. Н. Гусевым.

Пометки Льва Николаевича при перечитывании «Выбранных мест из переписки с друзьями»
(Март, 1909)

Завещание. Отмечено №: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном».

Женщина в свете — 5.

Значение болезней — 5+.

О том, что такое слово — 5+++.

О помощи бедным — 2.

Об Одиссее — 1.

Несколько слов о нашей церкви и духовенстве — 0.

О том же — 0.

О лиризме наших поэтов — 1.

Отмечено №: «...у меня напыщенно, темно и невразумительно».

Споры — 4.

Христианин идет вперед — 5.

Карамзин — 1.

О театре — 5.

Предметы для лирич. поэта — 5.

Советы — 5+.

Просвещение — 0+.

Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

Нужно любить Россию — 1.

Поставлено 5: «Один Христос... любовь к братьям».

Нужно проездиться по России — 1.

Что такое губернаторша — 0+.

Русский помещик — 0.

Исторический живописец Иванов — 1.

Чем может быть жена для мужа — 1.

Страхи и ужасы России — 4.

Близорукому приятелю — 5.

Занимающему важное место — 1.

Чей удел на земле выше — 5 за начало, до слов: «последний нищий».

Напутствие — 1.

В чем существо русской поэзии — 2.

Светлое Воскресенье — 1.

Письмо к Россети — 3.

О Современнике — 2.

Авторская исповедь — 1.

Разговор наш коснулся еще предстоящих «гоголевских дней».

— Каково ваше мнение, Лев Николаевич, о чувствовании Гоголя?

— Я не могу никак сочувствовать этому чувству, так же как не могу приписывать вообще искусству того значения, которое принято в нашем так называемом высшем, но в действительности низшем, по нравственному складу, обществе. И поэтому, по моему мнению, если бы каким-нибудь чудом провалилось, уничтожилось все, что называется искусством и художеством, то человечество ничего не потеряло бы. Если бы оно и лишилось кое-каких хороших произведений, то зато избавилось бы от той ужасной, зловредной дребедени, которая теперь неудержимо разрастается и заливает его.— Сказав это и добродушно улыбнувшись, Лев Николаевич прибавил:— Ну, кажется, хороший повод, чтобы меня ругали...

В этот мой приезд Лев Николаевич принял меня в своем кабинете. Он был в теплой суконной рубашке-блузе, в сапогах. Выглядел совершенно бодрым. Когда вставал — ходил, слегка опираясь на палку.

— Как ваше здоровье, Лев Николаевич?— спросил я после первых приветствий.

— Чувствую себя хорошо. Ведь в прошлый раз, когда вы были, я лежал³. Теперь поправился. Да какой, впрочем, разговор о здоровье в восемьдесят лет... Надо ждать желанного конца.

По окончании беседы о Гоголе я спросил о работах Льва Николаевича.

— На верстаке у меня много работ,— сказал Лев Николаевич,— но я так слаб, что кидаюсь от одной к другой.

«РАННЕЕ УТРО»

Д. Н(ЕИФЕЛЬДТ)

БЕСЕДА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

30 и 31 мая наш корреспондент, будучи в Ясной Поляне, имел счастье несколько раз беседовать с Львом Николаевичем. Даем сводку важнейших мнений, услышанных нами от Льва Николаевича.

По вопросу о регламентации вероисповедных отношений¹ Лев Николаевич говорит:

— Как можно вероисповедные права регламентировать? Свободу веры человека ничто не в силах со стороны, внешней, уложить в какие-либо специально определенные рамки. Регламентация веры — это, собственно, указания на то, какие неприятности можно еще учинить человеку за его веру.

В беседе по любимейшему для Л. Н. вопросу о нравственном самоусовершенствовании Л. Н. говорит:

— Это самый частый вопрос, с которым ко мне обращаются. Таков уж человек. Но беда в том, что большинство так обыкновенно рассуждает: я не могу стать совершенным — так не для чего и стараться. Махнул рукой и поплыл по течению, как и все остальные. Это прискорбная ошибка в жизни многих. Борьба с собой и есть радость в жизни. Каждая маленькая над собой победа — шаг вперед. В области добра нет ведь границ для человека. Он волен, как птица! Что же мешает ему быть добрым?

— Трудно, Л. Н., жить по вашему нравственному учению, — вставили мы замечание.

— Так я ведь не говорю, — любовно пояснил Л. Н., — стань завтра совершенством. Упади раз, два, три, но поднимись. И еще раз упади, но все поднимайся.

Речь зашла о современных Вавилонах, о городах.

Л. Н. так смотрит:

— Из-за каких только праведников города держатся на земле?.. Видно, что они нужны, — говорит Л. Н., — нам не дано все знать. Может быть, царящие в них Содом и Гоморра ведут именно к лучшему... Но личности в отдельности городская обстановка не должна касаться. Где бы ты ни жил, куда бы тебя ни закинула судьба, в какой бы угол, закоулок, клетку и загородку жизнь тебя ни кинула — все равно, в деревне ли или в городе, — будь человеком, носи тепло любви ко всем. Только и всего.

Об интеллигенции Л. Н. так говорит:

— Я не понимаю, как это интеллигенция составляет отдельный класс. Отдельного класса интеллигенции нет. Интеллектуальная сила всюду: и в душе простой крестьянки, и на верхах...

Раз человек живет вопросами духа, прислушивается к своей совести — тот и интеллигент.

Об искусстве мне пришлось услышать от Л. Н. еще следующее:

— Искусство должно давать чувствовать людям красоту. Вот например, предо мною дуб. Он живет. Весною он хорошеет, одевается листвою. Вот этой красотой дать радоваться другим и должен художник. Чем большее число людей будет испытывать удовольствие, тем совершенней художественное изображение.

Говорили еще о детях. О том, как особенно тяжка их доля в больших городах. Как раз в настоящее время Л. Н. пишет по просьбе одного американца статью о религиозном воспитании детей². Статья эта, как сказал мне Л. Н., будет вскоре им кончена. <...>

Л. Н. добавил, что эта статья, на его взгляд, совершенно цензурна, таким образом, она, значит, сможет сделаться общим достоянием людей.

Наконец, из того, что мне пришлось услышать от Л. Н., не могу не отметить еще его слова, в которых вылились его исключительно строгие моральные требования к служителям печатного слова.

Л. Н. сказал:

— Пьянство может проститься, прелюбодеяние — тоже, убийство даже... Но нет более великого греха, как прелюбодеяние словом...

«РАННЕЕ УТРО»

Д. Н. (ЕИФЕЛЬДТ)

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(От нашего корреспондента)

Ясная Поляна еще не проснулась. Над белым домом, в котором живет Лев Николаевич, над грудами распутившейся



*Толстой и И. И. Мечников
на террасе яснополянского дома 30 мая 1909 г.
Фото С. Г. Смирнова.*

сирени и далее, кругом, над всей зеленью, что стелется во все стороны, висит какая-то торжественная тишина.

Там — за каким только? — окном спит еще или уже, быть может, проснулся он, живущий в умах и сердцах людей всего земного шара.

Вот это знаменитое «дерево бедных» у входа в дом, к которому стекаются просители Л. Н. из простых. Это старый ясень (кажется)¹; на нем же небольшой колокол на ремне, в который звонят для созыва к завтракам и обедам, — больше, кажется, по традиции, так сказать, чем по нужде.

Я приехал слишком рано. Мой провожатый, стрелочник со станции Засека, заглядывает, заслоня руками с обеих сторон глаза, в окно передней. Никого там не видно.

Он пожимает плечами:

— Никого...

Я прошу его не хлопотать, расплачиваюсь с ним и отпускаю его.

Вскоре у объятых еще утренней тишью дома появляется садовник в сопровождении 5—6 крестьянских девочек-подростков с носилками и лопатами. Судя по выговору, которым садовник торопит девочек, он — немец, несмотря на свою вполне русскую внешность.

Им нужно посыпать песком и убрать кругом площадку пред домом. Может быть, по случаю приезда в этот день И. И. Мечникова.

Работа спорится у босоногих подростков. Они быстро подметают площадку и разметывают по ней свежий песок, непрерывно подшучивая друг над дружкой. Невольно бросается в глаза эта непринужденность и бойкость молодых работниц у барского — как бы то ни было — дома.

А через свежеусыпанный песок к «дереву бедных» переступают уже, несмотря на утреннюю рань, пугливо озираясь по сторонам и на дом, два каких-то скитальца. Пришли, уселись и опять исподлобья пугливо глянули по сторонам...

Подсаживаюсь к ним. Кто такие?

Один, оказывается, землекоп-орловец, здоровенный бело-волосый детина с тупым лицом; другой — мастеровой с городским помятым лицом лентяя. Пришли за милостыней к Л. Н. Хотя бы по пятаку дал — скромные их ожидания.

Землекоп делает, впрочем, оговорку:

— Работенки бы дал на месяц! Эга... — и завистливо, но с опаской бросает опять кругом взгляд.

По-видимому, ему тут очень нравится.

Так, в ожидании, мы и не заметили, как он вышел из дома и направился к нам.

По свежерассыпанному песку приближался он, Лев Николаевич, весь в белой парусине, белом картузе и с палкой в руках. Он идет прямо на нас. Мы встали. Лев Николаевич подошел к «левому флангу», к мастеровому, не спрашивая его, сунул свою руку в широкий карман блузы и всучил ему монету.

— Не пей! — отрубил ему Лев Николаевич.

Мастеровой тряхнул только обнаженной головой. Попало, должно быть, в точку.

Белобрысому детине Лев Николаевич сунул монету без слов. Он поднял только на него на миг пучки своих седых, суровых бровей. Глаза Льва Николаевича будто не проснулись еще...

Следующая очередь была моя. Я сказал, что я корреспондент, приехал повидать его и спросить о некоторых вещах.

— Что мне с вами делать? — сурово спросил, глянув на меня на одно мгновение, Лев Николаевич, и снова его не то усталые, словно не проснувшиеся еще глаза закатились под лес седых бровей. — Сегодня ко мне Мечников приезжает. Я хотел бы с ним наедине говорить... — добавил тотчас же Лев Николаевич тем же суровым тоном.

Я сказал, что у меня, как у корреспондента, нет никакого желания — да и прав я, понятно, не имею претендовать на присутствие при беседе его с Мечниковым. Редакция газеты поручила мне лишь узнать и сообщить, как будет гостить Мечников в Ясной Поляне, а если это не затруднит Льва Николаевича, то и побеседовать с ним.

Лев Николаевич выслушал...

— Идите за мной! — позвал он меня головой. — Так какая ваша газета?

Я назвал наше «Раннее Утро».

Я поспешал за Львом Николаевичем, обогнув с ним сперва дом, вдоль кустов цветущей сирени, а затем — вниз по узкой аллее, между стенами деревьев, в глубь сада.

— Здоровье ваше как, Лев Николаевич? — осведомился я несколько, так сказать, задним числом.

Лев Николаевич остановился и быстро обернулся ко мне.

— Ближе к смерти! — быстро проговорил он.

На лице его была уже добрая, зовущая к себе улыбка. Глаза его уже проснулись. Я увидел их мягкую синеву...

— Теперь я пойду. По утрам я гуляю... А чем смогу вам помочь — хорошо.

Я поклонился ему, а он быстро пошел вперед, не опираясь даже на свою желтую — не то бамбуковую, не то камышовую — палку и держа ее, немного приподняв от земли.

Я стоял как вкопанный, невольно прикованный глазами к удалявшемуся в глубь узкой аллеи во всем белом Льву Николаевичу, пока его совершенно не обняли и не скрыли из моих глаз листья и гуща сада.

* * *

Вскоре, в 9 часу, в Ясную Поляну прибыл И. И. Мечников. Мы, корреспонденты, узнали со слов секретаря Льва Николаевича, что Лев Николаевич встретил в доме Илью Ильича и... тотчас же вернулся в свой кабинет к прерванной работе.

Чета Мечниковых (И. И. приехал сюда с супругой) привела себя в порядок с пути, затем им предложили кофе. Принимают их Лев Львович и Александра Львовна <...>.

* * *

После завтрака в честь гостей, И. И. Мечникова и его жены, все присутствовавшие в Ясной Поляне смешались на открытой террасе у дома, являющейся в летние дни столовой Толстых.

Тут 30 мая, около 2 час. пополудни, я впервые слышал живое слово-мысль Льва Николаевича. Такие часы не забываются в жизни.

Первая фраза, услышанная мною тут, на террасе, из уст Льва Николаевича, была милая шутка, до которых суровый с виду Лев Николаевич, как хорошо известно уже, большой охотник.

Из «стороннего элемента» на террасе тотчас же появились два газетных фотографа — с дозволения графини.

До того как уважить просьбу фотографов, Софья Андреевна сделала им маленький допросец: не враги ли?

Секретарь Льва Николаевича, молодой человек в очках и косоворотке, Н. Н. Гусев, удостоверил, что от безусловно «дружественных держав».

Графиня быстро поверила.

— А то ведь знаете?.. «Новое Время»... Я написала этому Меньшикову², — энергично заговорила графиня, — что на порог не пущу больше их корреспондента. Приедет — со стражником выпровожу. Слово даю!..

Все это было произнесено, правда, весьма энергично, но, надо заметить, без тени злобы.

Радостные фотографы ринулись на террасу.

Лев Николаевич сел в плетеное кресло в глубине террасы, а И. И. Мечников против него, продолжая с ним беседу.

Фотографы, волнуясь, стали «наводить».

— Мы с вами, Илья Ильич, ведь не боимся их? Верно? — обратился вдруг Лев Николаевич в сторону фотографов. — Стреляйте, стреляйте!..

Один из взволнованных фотографов взмолился, прерывая беседу Льва Николаевича с Мечниковым:

— Лев Николаевич, вас немножко бы со света...

Лев Николаевич рассмеялся:

— За что же, мой милый, меня со света?.. Я еще жить хочу!

Фотограф, расплывшись в сплошную улыбку, заторопился поправиться...

— Что вы, Лев Николаевич... Сто лет вам еще жить... Я на счет света, что падает на вас. Снимать неудобно...

Не переставая улыбаться всем озаренным солнцем радостным лицом, Лев Николаевич послушно пересел так, чтобы фотографам было вполне удобно.

— Теперь вам хорошо?..

Беседа Льва Николаевича с И. И. Мечниковым и его супругой возобновилась.

* * *

Я не могу сейчас не взять на себя чрезвычайно смелую, понятный, попытку описать лицо Льва Николаевича в этот незабвенный час.

Таким лицом это не было уже ни вечером того же дня, ни в следующий день, когда я снова видел Льва Николаевича и беседовал с ним.

Как будто вся радость этого майского полдня, ласковое, но не жгучее еще солнце, белоснежная ароматная сирень и вся зелень кругом, все радостное, чем жило кругом видимое и невидимое бедному человеческому глазу, — все как в сказочном зеркале отразилось в этом одухотворенном лице человека не от мира сего. И оно, это лицо, любовно влекло к себе, без власти, но властно зовя отразить в нем и свою радость, какая она там ни есть, сколько там ее ни скопилось в душе каждого, — отразить в этом сказочном зеркале мировой радости.

Лишь жалкая какая-то паутинка, называемая тоном, приличьем и т. п., сдерживала от слез умиления.

* * *

Мечников и Толстой продолжают беседу, начатую ими во время завтрака.

Мечников рассказывает Льву Николаевичу о том, каким

успехом пользуются его художественные произведения среди французов.

Лев Николаевич говорит ему:

— В детстве нас водили смотреть на балаганы. Чтобы собрать публику, перед балаганами показывали куклы. Мои художественные произведения имеют такое же значение. Они собрали публику. Благодаря им теперь читают мои последние произведения (т. е. религиозно-философские).

Беседа их, при участии уже и г-жи Мечниковой, переходит к вопросу об искусстве. Точнее, г-жа Мечникова задает ряд вопросов Льву Николаевичу, а Лев Николаевич отвечает.

— Ценность искусства в том, что оно объединяет людей,— говорит Лев Николаевич.— Все, что объединяет людей,— нравственно, а что разъединяет,— безнравственно. Понятно, объединение должно достигаться не на почве плотских изображений, безнравственных образов и тому подобное.

Через несколько минут с уст Льва Николаевича сходит следующий тезис:

— Чем ниже степень развития существа, тем оно совершенней. Например, пудель (пудель подбежал к террасе) более совершенен, чем человек. Человек же,— говорит Лев Николаевич,— самое несовершенное существо. Потому-то, Илья Ильич,— заключает Лев Николаевич, и в голосе его слышна нота шутки,— потому-то ваши микроорганизмы наиболее совершенные существа в мире!

Мечников и все кругом смеются.

— Среди микроорганизмов тоже есть добрые и злые, Лев Николаевич,— подчеркивает шутку Мечников.

Начинают собираться на прогулку.

* * *

Тем часом к Льву Николаевичу подходит интеллигентного вида проситель.

— У меня к вам,— доносится,— личное дело, Лев Николаевич.

Лев Николаевич уловил уже, по-видимому, многозначительность тона просителя.

— По личному?— переспрашивает он.— Это хорошо. Идем, идем...

И уводит просителя к себе.

Проходит минут 10—15. Лев Николаевич с своим просителем не возвращаются.

Сегодняшнее радостное настроение Льва Николаевича общилось всем, не исключая графини Софьи Андреевны.

Она неузнаваема. Она чрезвычайно оживилась и возбужденно рассказывает — явно, кажется, ошибившись, — скромному фотографу, принятому за журналиста, о массе труда, что ей приходится тратить на работу по управлению имением, о заботах своих относительно детей и т. п.

Лев Николаевич отпустил наконец своего просителя и вышел сам в войлочной шляпе, готовый к поездке, с небольшой плеткой в руках.

Его проситель с возбужденно разгоревшимся и в то же время счастливым лицом отходит в сторону, в аллею. Его нагоняет секретарь г. Гусев. Они обмениваются краткими вопросами и ответами.

Оба довольны и жмут друг другу руки.

Этот был сейчас у Льва Николаевича с «исповедью».

* * *

Шарабаны подъехали к крыльцу. На первый садится Лев Николаевич с Мечниковым; на второй — дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, с г-жой Мечниковой. Экскортирует их верхом Лев Львович.

— Можно трогать? — осведомляется Лев Николаевич, держа вожжи.

В этот миг его нельзя узнать.

Он лет на 10—15 помолодел.

— Трогайте! — произносит Софья Андреевна.

Совершенно молодым жестом руки Лев Николаевич шлет остающимся в Поляне поцелуй за поцелуем по воздуху.

Уехали <...>.

Под вечер, часу в 5-м, Лев Николаевич возвратился с поля.

И. И. Мечников и г-жа Мечникова с сыном и дочерью Льва Николаевича возвратились несколько раньше в шарабане. Лев Николаевич же, пересевши на обратном пути на лошадь, возвратился с другой стороны усадьбы верхом. Он сам оставил лошадь в конюшне и возвратился в дом по одной из аллей сада.

Поездка, видимо, утомила его, но все же он с плеткой в руках, в сапогах с голенищами и в своей войлочной шляпе выглядел довольно бодро.

У «дерева бедных» его ожидала группа крестьян. Он направился прямо к ним и стал их слушать. Речь шла о какой-то помощи в посеве и т. п. Вскоре крестьяне потянулись гуськом от дерева и дальше от усадьбы, с обнаженными головами, по-видимому удовлетворенные в своей просьбе.

Л. Н. ушел в дом отдыхать.

По заведенному в Ясной Поляне порядку, обед подается в 6, в начале 7 вечера. Чтобы занять гостей, графиня Софья Андреевна доставила им дорогое удовольствие — прочла им несколько отрывков из новых художественных произведений Льва Николаевича.

В 7 час. вечера состоялся обед, а затем все высыпали в парк, что у дома.

Лев Николаевич был тут же, в центре всех, без фуражки, с обнаженной головой, в блузе и в своей привычной позе: заложив руки за пояс. Переходя от одной группы к другой, он вслушивался, заговаривал, посмотрел, как идет игра Александры Львовны и нескольких барышень из деревни (мне сказали о них, что они — дочери бакалейного торговца)... Лев Николаевич присел наконец на садовую скамью в аллее близ игравших в городки. Рядом с ним сел И. И. Мечников, а по обе стороны и за спиною Льва Николаевича присели и прислонились к деревьям слушатели.

Речь шла о земельном вопросе. Говорил почти исключительно И. И. Мечников, оказавшийся, сверх ожидания, глубоко заинтересованным в политическом разрешении земельного вопроса.

И. И., надо заметить, стоит на довольно умеренной, чтобы не сказать консервативной, платформе в разрешении аграрного вопроса. Герценштейновский³, т. е. кадетский, проект он считает радикальным... Частному крестьянскому владению он отдает предпочтение пред общинным и т. д. У самого у него имение в Киевской губернии.

Лев Николаевич напомнил гостю об одобряемой им, Толстым, земельной теории Генри Джорджа.

Утомлен ли был к вечеру Лев Николаевич, или оттого, что уровень политического разговора его не удовлетворял, но он больше молчал. Быть может, также тут сказалось просто желание Льва Николаевича остаться только хозяином, оставляя в стороне бесполезную для одного вечернего часа полемику...

Лев Николаевич стал больше следить за ходом игры в городки.

Лев Львович вскоре осведомился, не желает Лев Николаевич погулять.

Лев Николаевич тотчас же охотно согласился.

— Да, да... Сейчас пойдем...

Он направился в дом, из которого тотчас же вышел снова в темном летнем пальто и белой фуражке.

Опустив руки в широкие карманы пальто и оставаясь в центре, имея по одну сторону И. И. Мечникова, а по другую — сына, Льва Львовича, они, втроем, направились по всем аллеям

парка, мелькая меж деревьев то там, то здесь. Говорил больше, жестикулируя, И. И. Мечников; Лев Николаевич же сосредоточенно слушал, слегка — к вечеру — сгорбившись.

* * *

Вечерние сумерки сгустились над Ясной Поляной, Мечниковы решили в этот же вечер возвратиться в Москву. Вечером в доме был чай. Гостящий у Толстых пианист г. Гольденвейзер исполнил несколько любимых Львом Николаевичем музыкальных вещей⁴.

Наступила минута прощания хозяина с гостями.

Лев Николаевич расстался с Мечниковым чрезвычайно сердечно. Последней фразой Льва Николаевича при прощании была такая:

— Хотя я, Илья Ильич, смерти и не боюсь, но, чтобы доставить вам удовольствие, обещаю: проживу ровно сто лет!

* * *

Впечатление, произведенное на Мечникова Л. Н. Толстым, было, как я своевременно передал уж вам по телеграфу, чрезвычайное.

Я спросил о нем И. И. Мечникова на станции Засека, при отправке вам своих депеш. Сюда из Ясной Поляны его с супругой доставили на лошадях уже в темноте. Вся фигура И. И. была, так сказать, полна глубокой думы. Характерный штрих: Илья Ильич в глубоком раздумье положил деньги кассиру, а сам ушел на платформу; его затем уже разыскал станционный сторож и вручил ему билет.

* * *

Разбираясь в своих впечатлениях после 2-дневного пребывания близ Льва Николаевича, я хочу отметить одну, кажется, не ошибочно подмеченную мною особенность относительно него.

После беседы с его участием уходишь и чувствуешь, что во все время беседы в воздухе на открытой террасе висел какой-то камертон, который назвали бы «камертоном на искренность».

Под влиянием его как бы подымается собственное твое понимание движения души собеседников Льва Николаевича.

Не глядя на них, начинаешь вдруг почему-то чувство-

вать, по одному лишь тону их речи: «Нет, этого Лев Николаевич не одобрит». Или: «Нет, с этим не согласится...»

Говорю: по одному лишь тону собеседника, не вслушиваясь даже,— естественно, многим это покажется удивительным и странным,— в содержание их слов.

Но вот собеседник Льва Николаевича, как бы пробуя невидимые струны, фальшивя, сбиваясь, затем вдруг берет настоящую ноту! С этого момента — чувствуется — Лев Николаевич весь с ним. <...>

* * *

В настоящее время жизнь Льва Николаевича протекает так.

Встает он в 8 или 9 час. утра и тотчас же отправляется на прогулку. Возвратившись, Л. Н. пьет кофе и садится за работу. Работа Льва Николаевича продолжается обыкновенно до 1¹/₂—2 час. дня, и за нею следует завтрак. После завтрака Лев Николаевич отправляется в продолжительную прогулку верхом. Л. Н. предпочитает во время прогулки ездить по лесу. Вернувшись с прогулки, Лев Николаевич ложится отдыхать. Этот отдых продолжается до 6—6¹/₂ час. вечера. После него — обед. Обед Л. Н., как общеизвестно, вегетарианский. Окружающих же он нисколько не неволит быть также вегетарианцами.

Вечерним отдыхом для Л. Н. является затем игра в шахматы или слушание музыки. Сейчас его партнером по игре в шахматы — пианист Гольденвейзер, живущий по соседству. Его же игру Л. Н. любит слушать.

Вечерний чай Л. Н. проводит в общем кругу.

* * *

<...> Как я уже сообщал, в бытность в Ясной Поляне Мечникова, их обоих, т. е. Льва Николаевича и гостя, очень усердно общелкивали фотографы. Были профессиональный фотограф и любители.

После того как были сделаны снимки, пошли сомнения, удачны ли будут фотографии? Больше шансов имел, понятно, профессиональный фотограф.

— Кто же тут настоящий фотограф? А, господа?

Лев Николаевич, который вел все время беседу и как будто и не наблюдал за фотографической вокруг него шумихой, первый помог и указал всем:

— Вот он, настоящий фотограф,— и указал на него.— Вы ведь видели, как он сделал крышкой вот так...

И Лев Николаевич повторил действительно типичный для фотографа-профессионала жест. Раскрытому инкогнито осталось только расцвести сплошной улыбкой.

* * *

Когда уходишь из Ясной Поляны, дорога к Засеке идет, спускаясь вниз в ложбину, а Ясная Поляна сплошной стеной ее деревьев и всей зеленью высится вверху, впереди.

Был 7—8 час. вечера. Остаток дневного света еще не уступал совершенно место мгле сумерок. И вверху, вдали на этой уходящей в небо темно-зеленой стене, когда я невольно вскинул вверх глаза, стоял Толстой, весь в белом. Одна лишь белая человеческая, всем знакомая его фигура в грандиозной темно-зеленой оправе...

* * *

За два дня я видел на лице Льва Николаевича лишь раз другой улыбку. За все остальное время он остается в памяти суровым, страдающим, и сильно — почему-то думается минутами — страдающим...

Радости на лице его мало...

«РУССКОЕ СЛОВО»

С. СПИРО

ТОЛСТОЙ О И. И. МЕЧНИКОВЕ

Еще в прошлый мой приезд в Ясную Поляну, когда уже стало известно, что приехавший в мае 1909 года в Москву из Парижа И. И. Мечников собирается побывать у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, я заручился согласием Льва Николаевича рассказать мне о впечатлениях знакомства со знаменитым профессором.

На следующий день после пребывания И. И. Мечникова в Ясной Поляне в назначенный мне час я был в Ясной Поляне. Секретарь Льва Николаевича Николай Николаевич Гусев встретил меня внизу и попросил подождать в нижних «комнатах для гостей».



*Толстой и И. И. Мечников едут в Телятинки
к Чертковым 30 мая 1909 г.
Фото С. Г. Смирнова.*

— Сейчас я скажу Льву Николаевичу,— сказал Н. Н. и ушел.

Обыкновенно, по приглашению Льва Николаевича, я подымался наверх и шел к нему в кабинет, но в этот раз совершенно для меня неожиданно открылась дверь, и вошел сам Лев Николаевич с приветливой улыбкой.

— Здравствуйте, здравствуйте,— сказал он,— ну, что... «экзаменовать» меня пришли?..

Лев Николаевич был в отличном настроении духа и, шутя, продолжал:

— Ну что ж, «экзаменуйте»!..

Я ожидал, что после приема гостей накануне, после проведенного с ними целого дня, увижу Льва Николаевича сильно утомленным, и был страшно удивлен его бодрым и веселым видом.

Я высказал это ему, на что он сказал:

— Как видите, я нисколько не утомлен и прекрасно себя чувствую... Ну, что же вам сказать о И. И. Мечникове?—

продолжал он.— Илья Ильич произвел на меня самое приятное впечатление.

Я не встретил в нем обычной черты узости специалистов, ученых людей. Напротив, широкий интерес ко всему, и в особенности к эстетическим сторонам жизни.

С другой стороны, самые специальные вопросы и открытия в области науки он так просто излагал, что они невольно захватывали своим интересом.

Я был поражен его энергией: несмотря на ночь, проведенную в вагоне, он так был оживлен и бодр, что представлял прекрасное доказательство верности его гигиенического, отчасти даже нравственно-гигиенического, режима, в котором, по-моему, важное значение имеет то, что он не пьет, не курит и ни в какие игры не играет.

— Вы говорили о художественных произведениях?

— Да. Между прочим, он никак не хотел верить, что я забыл содержание «Анны Карениной»...

Я ему говорил, что если бы я теперь что-нибудь написал, то это было бы вроде второй части «Фауста», то есть такая же чепуха. А он мне рассказал свое объяснение этой второй части — очень остроумное...¹

В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича, — даже моя повесть «Смерть Ивана Ильича» имеет некоторое отношение к покойному, очень милому человеку, бывшему прокурору тульского суда...²

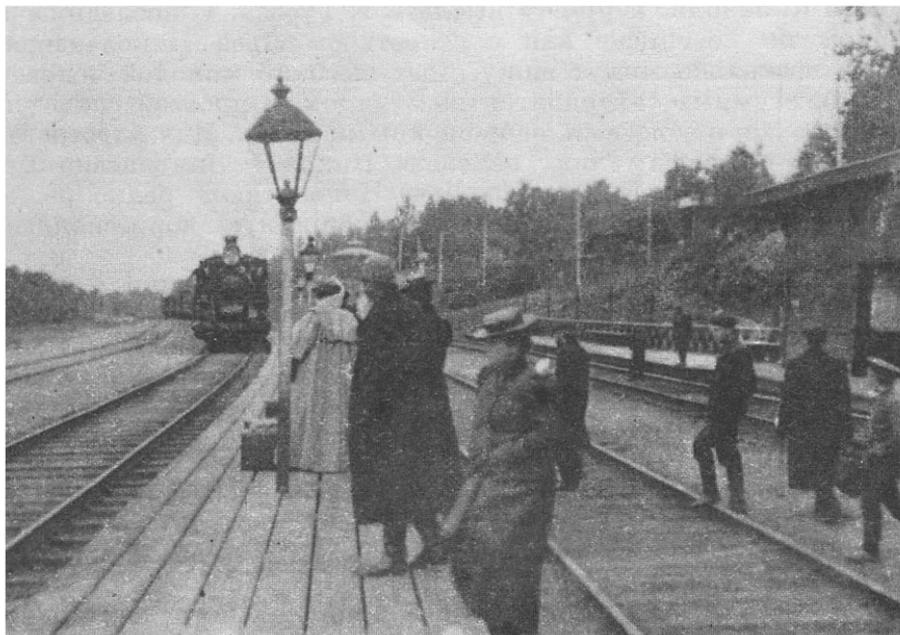
Лев Николаевич на минуту задумался и потом вспомнил еще один очень интересный эпизод:

— После разговора о вегетарианстве, о котором говорили домашние, Мечников стал рассказывать о племени антропофагов, живущем в Африке, в Конго. Он рассказал интересные подробности о том, как они едят своих пленных. Сначала пленного ведут к военачальнику, который отмечает у него на коже тот кусок, который он оставляет для себя. Затем пленного поочередно подводят для таких отметок к остальным — по старшинству, пока всего не исполосуют.

— Меня это в высшей степени заинтересовало, — продолжал Л. Н., — и я спросил у Мечникова: «Есть ли у этих людей религиозное мирозерцание?»

И на это он ответил. По его словам, они веруют в «обогащение» предков.

Я попросил сообщить мне более подробные материалы, касающиеся жизни этих людей, и он обещал мне прислать их³, а также прислать свое сочинение «Les essais optimistiques», в котором изложено его объяснение второй части Фауста.



*Толстой на станции Засека (отъезд в Кочеты)
8 июня 1909 г.
Фото Т. Гапселя.*

— Вообще,— сказал в заключение Лев Николаевич,— я от этого свидания получил гораздо больше всего того хорошего, чего ожидал.

«ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

И. ПЕРПЕР

У ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО И ЕГО ДРУЗЕЙ

〈...〉 Подхожу к красивой, большой веранде; по одной стороне ее качается цветущая сирень.

Я чувствую, что Лев Николаевич находится там, и, не желая нарушать его покой, останавливаюсь. Какая-то женская фигура, завидев меня, тщательно завешивает веранду. Я усаживаюсь недалеко под большим тенистым деревом, на широкой удобной скамье, возле веранды и перевожу дух. Отдохнув

и кого-то завидя, я прошу выслать г. Гусева. С последним я знаком по переписке как с секретарем Льва Николаевича. Через несколько минут вижу, идет высокий молодой человек лет 30, с умным, интеллигентным лицом, в простой ситцевой косоворотке, с волосами, заброшенными назад. Иду навстречу, называю свою фамилию, он свою. Николай Николаевич Гусев, большой друг и приятель Льва Николаевича, редко, редко отлучается от него, ведет всю его обширную корреспонденцию и помогает в его литературных работах.

Мы усаживаемся и беседуем довольно оживленно.

Жажда, вследствие быстрой ходьбы, начинает меня мучить, и я прошу дать мне стакан воды. Н. Н. уходит и приносит мне стакан хлебного квасу. Во время нашей беседы приходят одни за другими нищие; Ник. Ник. оставляет меня каждый раз, идет им навстречу, кое-что спрашивает и дает им денег. Многие из них просят книжки Льва Николаевича, и Н. Н. дает им по несколько штук народных рассказов Льва Николаевича, изд. «Посредник». Н. Н. успел уже предупредить Льва Николаевича о моем приезде. Среди беседы Н. Н. говорит мне, что Лев Николаевич идет.

Я иду навстречу солнцу интернационального вегетарианского мира, иду так легко, просто, не смущаясь, как будто каждый день видал его, как будто лишь недавно расстался с ним.

Лев Николаевич жмет мне крепко руку и садится в уголок скамьи, рядом со мной.

Он ростом выше среднего; глаза голубые, глубокие; брови седые, густые, торчащие вперед; борода окладистая, широкая и красивая. Одет в косоворотке, раскрытой около шеи; на голове носит белую, простую, старую и легкую фуражку, надетую на лоб; опирается на палку. Говорит внятно и ясно.

Я с него не спускаю глаз, и по-прежнему чувство какой-то близости к нему заставляет меня говорить с ним совершенно спокойно, как с добрым, старым другом.

Все то, что Лев Николаевич говорил, я передаю и его, и своими словами, так как буквально, каждое слово его, конечно, не мог запомнить.

Лев Николаевич расспрашивает меня подробно о «Вегетарианском Обозрении», в котором он сотрудничает¹, о числе подписчиков, средствах для издания и пр., и я отвечаю на все его вопросы.

«Лев Николаевич,— говорю я,— я спешил к Вам, надеясь застать Мечникова, с которым хотел бы поговорить о вивисекции. Я пишу теперь по этому вопросу и хотел бы знать, как он и Вы смотрите на это?»

Лев Николаевич отвечает: «Вопрос о вивисекции, как и всякий нравственный вопрос, можно решать только субъективно: что я должен и чего не должен делать. Если рассуждать объективно, то есть о том, нужна ли, полезна ли вивисекция, то спорам конца не будет.

Обе стороны приведут массу аргументов в свою пользу. Но если человек действительно относится сознательно к своим поступкам, взвешивает их, то для него вопрос этот решенный. Это все равно что религиозный вопрос: каждый находит себе своего Бога, каждый должен его познать в самом себе».

Я упоминаю о «Записках врача» Вересаева и затрагиваю попутно другие вопросы. Лев Николаевич рассказывает мне подробно о своей беседе с Мечниковым, бывшим у него днем раньше². Особенно его заинтересовало сообщение Мечникова об антропофагах, живущих в Африке в Конго и не лишенных религиозных зачатков. Он предполагает познакомиться поближе с этим вопросом. Говорим еще о М. П. Арцыбашеве, рассказ которого «Кровь» Лев Николаевич рекомендовал в наш журнал³, вегетарианстве и другом.

Затем Лев Николаевич подымается, вновь крепко жмет мне руку, обещает кое-что написать для «Вег(етарианского) Обзор(ения)» и отправляется бодро на веранду. Я знаю, что скоро вновь его увижу. <...>

3-го июня, вечером, часов в 7, я и С. Д. Николаев⁴ отправляемся к Льву Николаевичу.

Грязь липкая, скверная, кругом лужи и ручейки, небо пасмурное так и готово вновь заплакать.

Я решаю пойти лучше босиком, снимаю обувь, засучиваю выше колен брюки и иду.

Из Ясной Поляны мы должны отправиться на станцию жел(езной) дор(оги), поэтому у каждого из нас в руках ручной багаж. <...>

Подходим сбоку к дому, где в нижнем этаже имеется уютная приемная. Нас встречают Николай Николаевич и Душан Петрович.

Обмываю руки и лицо, вычищаю от прилипшей грязи платье и поднимаюсь с Сергеем Дмитриевичем наверх в кабинет Льва Николаевича.

Последний накануне сделал какой-то резкий поворот своей больной ногой, растянул себе этим какую-то жилу и принужден был сидеть в своем передвижном кресле, вытянув больную ногу, чтобы не тревожить ее.

Перед ним небольшой подвижной столик, на котором он раскладывает пасьянс. Лев Николаевич приветливо здоровается с нами и просит нас подождать, пока он окончит раскладку.

Я осматриваю кабинет.

На противоположной от меня стене висит Сикстинская Мадонна Рафаэля, другие Мадонны и несколько гравюр; под гравюрами находится длинная деревянная полка с словарем Брокгауза и Ефрона и другими книгами. Около меня большое окно, выходящее в парк. Возле одной из стен широкий диван. В кабинете еще два-три столика с книгами и один большой кабинетный стол с двумя свечками по сторонам, за которым, должно быть, Л. Н. работает. На столе чернильный прибор, книги, брошюры и пр. По стенам гравюры и портреты.

Я сажу напротив Льва Николаевича, довольно близко, и люблюсь его простым, мудрым и хорошим лицом.

Одет он, как и позавчера, в косоворотке. Я впервые вижу его высокий лоб и красивые, старческие седые волосы.

Старое чувство близости к нему не оставляет меня, и мне кажется, что я тут уже неоднократно бывал.

Лев Николаевич откладывает карты в сторону и обращается с некоторыми вопросами к своему другу С. Д. Николаеву.

В свою очередь я также задаю вопросы Льву Николаевичу, касающиеся «Вегетарианского Обозрения», и получаю лестные для себя ответы.

Вопрос заходит об университете. Я отношусь отрицательно к нему и привожу несколько примеров из своей студенческой жизни для иллюстрации сказанного.

Лев Николаевич говорит: «Я читал, что многие профессора растягивают нарочно свои лекции так, чтобы их окончить как раз к сроку, то есть читают по сезонам».

Разговор на эту тему продолжается. Я говорю: «Мне приходилось бывать на лекциях известного философа Вундта в Лейпцигском университете. Так как Вундт очень стар, то он последние слова фраз не произносит ясно; несмотря на то что у меня слух хороший, я, стоя около Вундта, у дверей, не слышал порой окончаний его мыслей и выражений, а между тем в аудитории сидело на многих скамьях несколько сот человек, которые, наверно, его не слышали, значит, это какой-то самообман».

Лев Николаевич, обращаясь ко мне: «А сколько Вундту лет?»

«Думаю, семьдесят, во всяком случае за шестьдесят, он стар и говорит слабо».

«Сергей Дмитриевич,— говорит Лев Н.,— возьмите словарь и прочтите о нем».

С. Д. берет с полки словарь Брокгауза, подходит к окну и читает, что Вундт родился в 1832 году, был профессором в Цюрихе, а потом перешел в Лейпциг, что система его филосо-

фии включает в себя спинозические и кантовские начала, но он все-таки расходится с ними и идет по своей самостоятельной тропе. К сожалению, зрение мое напряжено больше слуха, и суть философии Вундта я не улавливаю. Лев Николаевич слушает очень внимательно, полузакрыв глаза, держит левую руку на колоде карт, качает порой головой в знак согласия с теорией Вундта и приговаривает: «Верно». Статья эта принадлежит Владимиру Соловьеву, хорошо и сжато написана и читается Сергеем Дмитриевичем очень хорошо.

Заходит разговор о предстоящем празднике, приезде в Ясную Поляну сына великого человека Генри Джорджа⁵: Лев Н. спрашивает о нем Сергея Дмитриевича и получает ответ, что сын продолжает дело отца, много пишет, и недурно.

Л. Н. говорит: «Мне снилось ночью, что сын Генри Джорджа уже приехал и говорит по-русски».

Л. Н. заводит длинную, долгую беседу с С. Д. о Генри Джордже, о монополиях и трестах. С. Д. отвечает на вопросы, дает нужные объяснения, приводя сейчас же умные, житейские примеры. Л. Н. во многом с ним соглашается и говорит как бы про себя: «Великий, великий человек был Генри Джордж, а Европа его еще не оценила».

В это время входит сын Льва Николаевича, Лев Львович, и тоже принимает участие в разговоре.

Заканчивая разговор о Генри Джордже, Л. Н. говорит, что окончательного, исчерпывающего ответа на некоторые вопросы Генри Джордж не даст, да в этом и нужды нет. Идеал всегда должен быть впереди, к нему нужно всеми силами стремиться, но стараться зажать идеал в руках — излишне, ибо тогда бы не было жизни, движения, так как в поисках истины — сама жизнь, и в процессе стремления к ней, в улучшении своего «я» и приближении к расширяющемуся и становящемуся все выше и выше идеалу — все благо человеческой жизни.

«Лев Николаевич, — говорю я, — противники вегетарианства не хотят признавать этого, они бросают нам упреки в том, что мы не достигаем своего идеала, что отказываемся от мясоедения, а между тем употребляем животные продукты в виде обуви и пр.; но их упреки в самой своей основе неверны, кроме того, техника в настоящее время идет нам навстречу, например, мой кошелек (показываю его Льву Николаевичу) из металла, а ботинки совсем без кожи». Говоря это, я снимаю свою обувь и подаю ее Льву Николаевичу.

Обувь моя представляет из себя «гимнастические туфли», приготовляемые товариществом «Проводник».

Л. Н. внимательно осматривает ее, остается довольным и говорит, что употребляет вегетарианское мыло, не имеющее в себе животных жиров <...>.

От этой темы переходим на разговор о вегетарианстве, и Л. Н. говорит:

«Вегетарианство — первая ступень, на которую должен стать всякий человек, желающий начать новую, более чистую и осмысленную жизнь». <...>

Как раз теперь я работаю над «Детской Мудростью»⁶ и пишу о вегетарианстве, мне нужно будет дать кое-что для вашего журнала весьма хорошего и которому я желаю широкого распространения».

«А что представляет из себя ваша «Детская Мудрость»? — спрашиваю я. «Она вроде «Круга чтения», — говорит Л. Н., — разделена на номера и включает в себе рассказы и сцены, рисующие мудрость детей, столь часто пренебрегаемую и не замечаемую взрослыми. Подайте мне ту папку!» Я беру со стола объемистую черную папку и подаю ему.

Л. Н. раскрывает ее, вынимает оттуда лист бумаги и прочитывает нам мастерски недавно сделанный им перевод с немецкого, из журнала «Wohlstand für Alle»*. Маленькая вещица эта очень глубока и представляет из себя диалог между отцом и сыном. На работе сын задает отцу детские вопросы, из которых само собой, шаг за шагом, выясняется вся фальшь современной жизни с ее капитализмом, милитаризмом и т. п. Отцу все труднее и труднее отвечать на прямые, искренние вопросы мальчика, и он заканчивает такими словами: «Однако, малый правду рассудил»⁷.

Л. Н. очень выразительно и с какой-то радостью прочел эти последние слова диалога. Этот прочитанный им в венском журнале набросок навел его на мысль написать самому ряд подобных же сенок. Перевод нам всем очень понравился, и мне сейчас же сделалось ясным, что за прекрасный и глубокий труд будет представлять из себя «Детская Мудрость».

Л. Н. рассказывает нам тему одной из задуманных им сенок из жизни детей, об их отношении к убийству животных и безубойному питанию. Я упоминаю вскользь о его рассказе для детей «Волк», написанном на ту же тему. <...>

В это время Н. Н. Гусев, сидевший все время в уголке у дверей, выходит и потом возвращается с почтой. Кроме бандеролей имеется 12 писем. Д-р Д. П. Маковицкий ставит зажженную свечу поудобней для Л. Н., и посыльный первым

* «Всеобщее благосостояние» (нем.) — анархистский журнал, издававшийся в Вене.

делом берется за корректуру книжки «Мысли на каждый день», переработанной вновь Львом Николаевичем из «Круга чтения» и содержащей мысли, тесно связанные по содержанию друг с другом и составляющие нечто целое, единое и самостоятельное на каждый месяц.

Труд этот очень дорог Льву Ник., и, перелистывая страницы, он радуется чистоте работы и ясному шрифту.

«Прочитать ли вам с первого июня или на сегодняшнее, третье?» — спрашивает нас Л. Н.

«И то, и другое», — отвечает Сергей Дмитриевич.

Лев Николаевич, при одной свече, без всяких искусственных стекол, прочитывает нам внятно, толково и ясно мысли великих мудрецов, приговаривая почти после каждой довольным голосом: «Как хорошо!»

И действительно, мысли глубоки, содержательны и наводят на серьезные размышления. Недаром Л. Н. так высоко ставит и любит этот труд.

Придет время, и книга эта станет настольной книгой многих миллионов людей и озарит своим духовным, глубоким и мудрым содержанием их темное существование.

По окончании чтения Л. Н. открывает объемистое письмо; оказалось, что в нем был медальон Гоголя, посланный Льву Николаевичу комитетом по устройству памятника Гоголя в Москве. Медальон ему понравился, и он сейчас же был осмотрен всеми присутствующими. Медальон этот сделан из бронзы, и изображен на нем Гоголь с чересчур вытянутой шеей и глубоко печальным лицом.

Л. Н. прочитывает нам сопроводительное письмо комитета, подписанное: «Городской голова Гучков»⁸.

Так как мы сидим у Льва Николаевича уже более двух часов, да и на поезд уже пора, то мы с Сергеем Дмитриевичем решаем уходить.

Подхожу к Льву Николаевичу, жму ему руку, благодарю и прощаюсь с ним...

«РУССКОЕ СЛОВО»

В. К(УПРИЯНОВ)

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

От нашего тульского корреспондента

2-го августа Ясную Поляну посетили члены XI всероссийского лесного съезда, который происходит сейчас в Туле.

В этот день члены съезда ездили осматривать подгородное лесничество — Козлову Засеку.

Кто-то подал мысль посетить Льва Николаевича. Она была мигом подхвачена и одобрена.

Тут же составили письмо к графине Софье Андреевне с просьбой сообщить, могут ли они посетить Л. Н., и отправили письмо с нарочным.

Желание видеть великого старца настолько было сильно, что экскурсанты, в числе около 150 человек, не выдержали и двинулись пешком в Ясную Поляну, не дожидаясь возвращения посланного.

Экскурсантов пригласили в сад.

Через несколько минут Лев Николаевич появился среди профессоров в черных сюртуках и лесничих в мундирах и тужурках с зелеными кантами и блестящими погонями.

От имени гостей выступил профессор Н. С. Нестеров¹ из Москвы.

— Дорогой Лев Николаевич! — сказал он. — Члены XI всероссийского лесного съезда, собравшись в Туле, из глуши лесов, с разных концов Европейской России и Сибири, не могли удержаться от страстного желания видеть вас и принести глубочайшее приветствие и поклон великому мыслителю. Мы счастливы видеть вас и выражаем горячее, задушевное пожелание, чтобы еще долго-долго раздавалось ваше живое слово на благо человечества.

Лев Николаевич, растроганный этой задушевной речью, в свою очередь благодарил экскурсантов в самых простых и теплых выражениях.

В беседе с гостями Л. Н. интересовался, будет ли на съезде, кроме специального лесного, что-нибудь общечеловеческое.

Любезно распростившись с экскурсантами, Лев Николаевич подарил всем по экземпляру своей брошюры: «Обращение к русским людям»².

«РУССКОЕ СЛОВО»

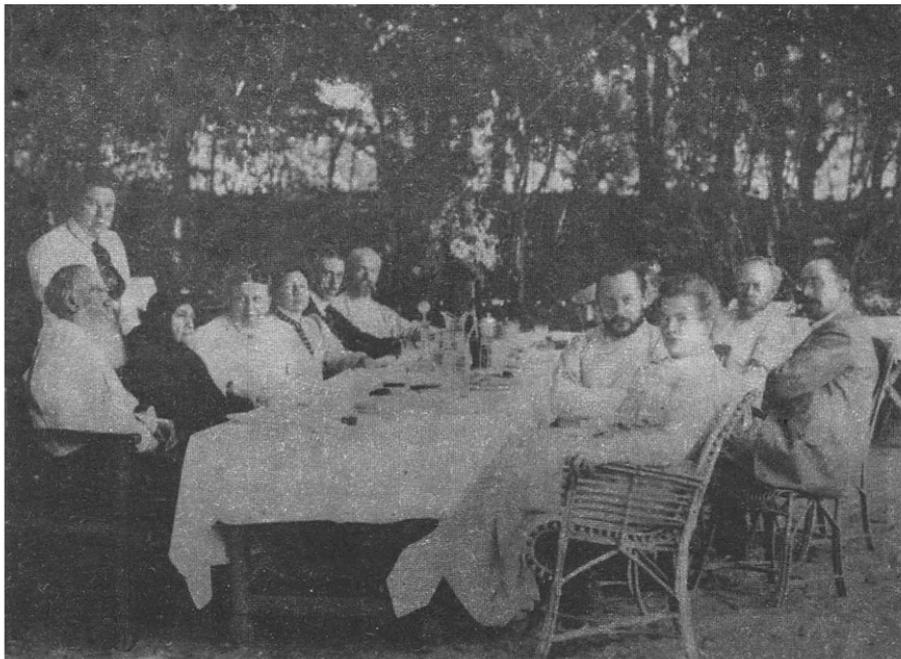
Д. Д. ОБОЛЕНСКИЙ

У Л. Н. ТОЛСТОГО

Я провел вчера несколько часов у Льва Николаевича Толстого.

Я приехал в момент возвращения Л. Н. с прогулки верхом. Он ездил с дочерью Александрой Львовной по окрестностям Ясной Поляны.

Невольно вспомнилось, как 50 лет тому назад я впервые



*Толстой в кругу близких 28 августа 1909 г.
Фото Ф. Т. Протасевича.*

был у Л. Н. и поехал с ним верхом на охоту¹. Мне было тогда 14 лет, так что я мог бы праздновать полувековой юбилей моих посещений Ясной Поляны. Я не скрою, что немало горжусь этим... И не могу не сказать, что я всегда с радостью вспоминаю беседы мои с Л. Н...

Я застал Толстого грустным и взволнованным.

Накануне, вечером, в Ясную Поляну явились крапивенский исправник и становой и взяли под стражу личного секретаря Льва Николаевича — Н. Н. Гусева². Арест был мотивирован приказом администрации: выслать Гусева в Пермскую губернию на два года за революционную пропаганду.

— Это недоразумение, — сказал Лев Николаевич. — Гусев никакой пропагандой не занимался, а отвечал на мои письма, под мою диктовку. И людям, спрашивающим по религиозным вопросам, он высылал книжки мои, как, например, «В чем моя вера», — общеизвестные.

— Это прямо мучение, — продолжал Лев Николаевич. — Взяли Черткова, теперь взяли Гусева. Почему же меня не



*Отъезд Н. Н. Гусева в ссылку
8 августа 1909 г.*

берут? Это было бы справедливее. Не дали человеку даже времени сдать мне мои письма, бумаги, дела... Ведь громадная у меня переписка, и все было в руках Гусева. И вот из-за меня сейчас человек в тюрьме...

И много на эту тему говорил Л. Н., и не раз слезы навертывались на его глазах.

— Пишу,— продолжал Л. Н.,— и посылаю к губернатору дочь, чтобы просить отослать Гусева хоть не этапным порядком, дать ему возможность за наш счет доехать хоть с некоторым комфортом.

Все домашние Л. Н., конечно, тоже взволнованы, и невольно разговор вращался около ссылки Гусева.

— И какое озлобление теперь,— сказал еще Лев Николаевич.— Я получаю ежедневно угрожающие и ругательные письма; возьмите для примера полученное сегодня. Автор его, неизвестный мне Захар Суслов, советует мне у себя на дворе или в огороде сделать могилу-склеп и гроб заказать. И какое правописание: *гроб* через п (*грон* мне сулит). Это тяжело, и я

ответил бы автору, но адреса нет. Я было собрался в Швецию на конгресс мира; я и речь хотел сказать на пользу мира, о котором всю жизнь мечтаю, хлопочу и стараюсь, да вот не пришлось ехать,— забастовка помешала, и конгресс отложен на год³. Я бы, хоть перед смертью, мог на конгрессе без стеснения высказаться о заветной своей мысли — об ужасах войны и о причинах, вызывающих войну,— да видно, не суждено.

Лев Николаевич говорил взволнованно.

И давно не было так тяжело на душе у меня, как этот раз, когда я слушал Л. Н. и глядел на его взволнованное лицо.

— Не могу забыть, что Гусев из-за меня сейчас в тюрьме, с тифозными,— прощаясь, еще повторил Л. Н. <...>

«РУССКОЕ СЛОВО»

П. СЕРГЕЕНКО

У ПОЛЮСА

(Из поездки в Ясную Поляну)

<...> Беседа началась с истории высылки Н. Н. Гусева, который в последнее время был одним из незаменимых звеньев в Ясной Поляне. Я ждал минорных нот. Но с первых же слов, произнесенных Львом Николаевичем, стало ясно, что гусевская история если и пронеслась здесь бурей, то очистительной бурей. И как только пыль осела — чистое и глубокое небо снова засияло над Ясной Поляной. <...>

* * *

Говорил Лев Николаевич кротко и ласково, с приветливым лицом и светлой улыбкой. Зачем сердиться? Куда спешить? У бога времени много, и все своевременно образуется — как бы говорили его смягченные ноты.

А всякий раз, когда кто-нибудь из присутствующих вносил в беседу острый, осудительный оттенок, осуждая какое-нибудь лицо или сословие, Л. Н. с мягкой настойчивостью переводил

разговор на другие темы или направлял его в прежнее, в ровное, русло.

— Нет, нет,— говорил он с паузами и как бы иллюстрируя свои слова движениями рук,— боюсь я этого. Боюсь осуждать. И прямо скажу: мне не надо никаких усилий для этого, как только я вникаю в условия жизни тех лиц, о которых идет речь... Тогда все ясно становится, как дно источника через чистую воду...

— Но разве вам не тяжело сознавать, что Гусева нет с вами?— спросили у Льва Николаевича.

— Конечно, было бы приятнее, чтобы Николай Николаевич был с нами... Общение с ним было всегда так легко. Но в конце концов, ничего ведь, кроме хорошего, из того, что его выслали, не может выйти и для него, и для меня... Так что...

— Но Гусеву придется жить теперь в глухой деревне и при очень тяжелых условиях,— участливо говорит Софья Андреевна.

Л. Н. задумчиво выдерживает паузу и, не изменяя кроткого тона, говорит:

— Почему? Он и там найдет для себя удовлетворяющую его работу... Непременно найдет. Он живет внутренней жизнью. А для этого никакие внешние обстоятельства не могут быть помехой.

— Но Гусев был таким надежным помощником вам...

— Да, да, это был удивительный помощник, понимавший многое с полуслова,— сказал с нежностью Лев Николаевич и кротко добавил:— Но пока управляемся и без него... Я уже получил несколько предложений от своих знакомых, готовых приехать в Ясную на место Гусева. В этом, однако, нет пока надобности... Корреспонденция в последнее время несколько уменьшилась...Хотя ругательных писем по-прежнему достаточно. Особенно от дам. Удивительные есть особы!— говорит с улыбкой Л. Н.

И, с грустной тенью на лице, он рассказывает, как одна дама обращалась к нему относительно своего сына, воспитанного в ненависти ко Льву Николаевичу.

— Странное отношение к своему долгу: прививать детям ненависть к людям,— говорит недоумевающе Л. Н. и, как бы спохватившись, что впал в осудительный тон, переводит разговор на другую тему...

* * *

— А как же, Лев Николаевич, вы будете теперь с некоторыми вашими работами, в которых вам помогал Гусев?— спросил один из присутствующих.

— Ах, это все делают вот они... И замечательно хорошо делают,— сказал с разлившейся в голосе мягкостью Лев Николаевич, указывая глазами на дочь и живущую в Ясной Поляне переписчицу-стенографистку, сидевших в углу за круглым столом¹.

Кто-то ссылается на газеты, где было напечатано об удрученном состоянии Льва Николаевича по поводу высылки Гусева, и как он плакал при расставании с Гусевым и проч.

— Да, да, я плакал,— мягко соглашается Л. Н.— Но не потому, что Гусева арестовали, так как, повторяю, ничего, кроме хорошего, для него и для меня из этого не может выйти... Плакал же я потому, что пришлось быть свидетелем...— Л. Н. делает паузу, видимо подыскивая наиболее мягкое выражение, и говорит:— Тяжелых явлений... Вообще, под старость я становлюсь слезливым,— подшучивает он над собою и с дружеской улыбкой обращается к одному из своих гостей:— Смотрю я на вас и думаю: вы плохо играете в шахматы или нет?

— Ну, как вам сказать, Лев Николаевич?.. Ведь я почти всегда проигрываю. Но у Сергея Львовича (сын Л. Н.) я выигрываю иногда.

— Вот как! Тогда отлично. Сережа играет лучше меня. И мы с вами сыграем непременно...

Возникает общий незначительный разговор. Л. Н. складывает пальцы, как бы держа шар в руках, опускает голову и, видимо, отходит мысленно от всего окружающего.

Но от времени до времени он наклоняется слегка вперед и вставляет в общий разговор какую-нибудь умиротворяющую реплику, напоминая иногда человека, проносящегося на гигантских шагах. Вот-вот он, кажется, совсем на земле, даже выбивает пыль ногою... Но мгновение — и его уже нет... Он весь в воздухе, весь на фоне небес...

* * *

М. Н. Толстая, сестра Льва Николаевича², вспоминает в беседе с одним из присутствующих о комическом эпизоде, случившемся в женской обители, что около Оптиной пустыни. Там гостил один из почитателей Льва Николаевича, с фотографическим аппаратом. Расхаживая с монахинями по обители, любитель-фотограф говорил:

— Вот это мы тоже снимем. Может быть, теперь. А может быть, в другой раз...

Пощелкал затвором, погостил и уехал. А в женской обители переполох и брожение. Одна из монахинь поняла фотографический термин «снять» в буквальном смысле, что вот приедут-де посланцы от Толстого и *снимут* с лица земли все церковные постройки и всю обитель в Шамордино. С трудом улеглось волнение.

Лев Николаевич качает головою и, чтобы не причинить огорчения любимой сестре, тихо подсмеивается, затем, видимо, роется в памяти и выискивает глазами, кому бы сказать или сделать что-нибудь приятное.

Вспомнивши, что один из присутствовавших³ подарил ему когда-то палку с сиденьем, Л. Н. ласково обращается к нему:

— А я всякий раз во время прогулки вспоминаю вас... и всегда добром. Кстати, как подвигается ваша работа?

Центр беседы передвигается на готовящийся сборник толстовских писем⁴. Л. Н. благожелательно говорит, с неостывающей теплотой в голосе, о работе своего собеседника и одобряет принятую им систему классификации писем.

Собеседник мнется. У него щекотливая просьба ко Льву Николаевичу. В некоторых письмах затронуты за живое живые лица. Нельзя ли сделать купюры?

Лев Николаевич сразу слетает на землю и загорается весь.

— Не только ничего не имею против этого, а прошу вас об этом,— говорит он с оживлением.— Теперь я никогда не написал бы этого...

И разговор переходит на письма как на литературный материал. Лев Николаевич вспоминает о вышедшем сборнике чеховских писем и говорит:

— Я не читал их. И едва ли прочту когда-нибудь. Но чеховские письма, вероятно, очень интересны?

Кто-то говорит, что чеховские письма можно читать, как слушать музыку. Они необыкновенно увлекательны и полны светящегося юмора. По интересу их можно сравнить с письмами Пушкина.

— Ну, еще бы у Пушкина было плохо?— говорит Л. Н. значительным тоном, думая, что речь идет о произведениях Пушкина.

Софья Андреевна поясняет, о чем идет речь. Но Л. Н. не помнит пушкинских писем и шутливо разводит руками:

— Все стал забывать...

Но после небольшой паузы добавляет серьезно:

— Нет, не все... Недавно читал Канта...⁵ И все помню... Отлично помню. И как у него все прекрасно!..

— Но он излагает свои мысли ужасно тяжелым языком,— говорит один из собеседников.

Л. Н. сидит, сложив пальцы рук так, как будто охватив ими небольшой шар. Наступает пауза. Л. Н. заметно колеблется. Ему не хочется возражать собеседнику, чтобы не нарушить мягкого темпа беседы, но, очевидно, не хочется и давать в обиду Канта, оставляя его без защиты. И, сохраняя мягкий, дружелюбный тон, Л. Н. говорит:

— Да, да... Язык у него действительно бывает иногда сложный... Но зато мирозерцание!.. Но ясность и глубина мыслей!.. Удивительные!..

И, перейдя, вероятно по ассоциации идей, от Канта к другим представителям *великого понимания*, Л. Н. начинает любовно развивать положение Лао-Дзе⁶ о неделании.

Дух, заключенный в телесную оболочку, стремится освободиться. Но у тела часто свои задачи, не сливающиеся с духовными. Вот почему человеку как земному существу иногда лучше всего спокойствие, неделание...

— Недавно я писал об этом моим друзьям, стараясь выяснить перед ними тщету всяких предприятий в известное время...

Беседа подошла как раз к тому пункту, который наиболее интересовал меня, как один из внутренних процессов, переживаемых в настоящее время Л. Н. Толстым.

— Итак, наилучшее для человека в известный период — *неделание*? Вроде того, как не следует делать никаких усилий для того, чтобы высвободить птенца из скорлупы... Это может только повредить ему. В свое же время он сам вылупится, силой своей сущности. Так что неделание не значит *ничего неделание*, а может быть, один из самых активных по сосредоточенности процессов в нашей жизни.

Л. Н. признает это положение, но переходит на конгресс мира в Стокгольме и делает оговорку:

— Бывают, однако, положения, — говорит он, как бы взвешивая свои слова, — которые обязывают. Нечто вроде *noblesse oblige*. И относительно конгресса мира я был — *oblige*. Мое положение обязывало меня, не думая о результатах, — подчеркивает Л. Н., — сказать то, что, может быть, в настоящее время никто, кроме меня, громко этого не скажет. Вот почему я и хотел поехать в Стокгольм, а затем отослать свой доклад в Берлин, Шмидту... Евгению Шмидту, о котором вы знаете, чтобы он прочитал мой доклад.

— А при чем здесь какой-то Закс, который входил с вами в переписку по этому поводу?

— Закс?.. Ах да, Закс — это организатор публичных чтений⁷.

— И он действительно предлагал вам выступить лектором в Берлине?

Лев Николаевич улыбается:

— Да, да. Он даже предлагал мне прислать пятьдесят тысяч вперед за десять лекций... Но я ответил ему... Что я ему ответил? Да, да — что я не могу приехать... Кажется, что так именно я ответил ему...

* * *

Один из присутствующих говорит о циркулирующих слухах относительно истинных причин несостоявшегося в Стокгольме конгресса мира и о проекте присуждения нобелевской премии Льву Николаевичу.

Вопрос о премии Л. Н. пропускает мимо ушей. Но вопрос об истинной причине несостоявшегося конгресса в Стокгольме временно захватывает его. Видимо, он ничего не читал по этому поводу и ничего не знает, кроме того, что конгресс не состоялся.

Вопрос о конгрессе мира заинтересовывает и Софью Андреевну. Начинают искать газеты, где было напечатано об этом. Но, как часто бывает, именно тех номеров газет, где было напечатано о конгрессе, и нет в наличии. Они исчезли куда-то.

Софья Андреевна сама ищет газеты и наводит справки.

Но Лев Николаевич уже оттолкнулся от земли и кротко просит Софью Андреевну не беспокоиться:

— Бог с ними!.. Не надо.

* * *

Слуга накрывает стол и звенит чайной посудой. Лев Николаевич, заложив руки за пояс блузы, тихо прохаживается по комнате, уходит на некоторое время к себе в кабинет и, возвратившись, предлагает заподозренному шахматисту сыграть в шахматы.

Играет в шахматы Лев Николаевич всегда с интересом, начиная часто королевским гамбитом. Играет он довольно быстро и творчески, боится долгодумов и предпочитает играть с более сильными игроками. Но иногда бывает рассеян в игре, или, скорее, слишком сосредоточен на иных ходах.

В несколько минут Лев Николаевич приводит своего потерявшегося партнера к сдаче и старается утешить его:

— Очевидно, вы редко играете... Сыграемте еще...

Начинается вторая партия.

Софья Андреевна сидит невдалеке от шахматистов и поднимает вопрос о печатающейся иллюстрированной биографии Льва Николаевича⁸. Она не удовлетворяет графиню. Графи-

ня сама составляет нечто вроде жизнеописания своего мужа и, по свойственной людям слабости, склонна думать, что ее работа будет лучшей из работ подобного рода.

Шахматный партнер Льва Николаевича, не отрицая достоинств труда графини, выражает, однако, ту мысль, что всякая задача написать чью-нибудь биографию останется в конце концов в воздухе. Потому что никто не может написать удовлетворительно даже своей собственной биографии, освещая на расстоянии очень многое совсем не так, как оно было в действительности.

— А если приводят только истинные факты и документы?

— Во-первых, истинные факты и документы — только леса вокруг души человека, а во-вторых, самый подбор фактов уже не может не быть окрашен личностью биографа. Из целой серии известных фактов вы выберете один, а я другие. Вот уже и произвольное окрашивание.

Лев Николаевич смотрел сосредоточенно на шахматы.

— Вам не мешает наш разговор?

— Нет, нет, пожалуйста, — говорит он весело, но делает неудачный ход и вскрикивает голосом отчаяния: — Ай, что я сделал!

Однако предложение партнера переменить ход отклоняет, теряет фигуру за фигурой и, исчерпав все усилия, сдается.

— Теперь я начинаю питать к вашей игре некоторое уважение. Давайте третью, — говорит с оживлением Лев Николаевич, с места ведет атаку и в несколько минут разбивает наголову своего партнера.

* * *

10-й час. Подают чай и фрукты. Л. Н. не участвует в чаепитии, а тихо прохаживается по комнате, подходя на минуту то к одному, то к другому, чтобы сказать что-нибудь интересное или приятное.

За столом идет разговор осудительного характера, т. е. разбирают, критикуют и осуждают действия некоторых лиц. Наступает пауза.

— А я все думаю об этом самом, — сосредоточенно говорит Л. Н., — думаю о действиях этих людей. И повторяю: мне не надо никаких усилий, чтобы удержаться от осуждения их. И во мне они вызывают скорее чувство жалости, чем неприязни. У меня как-то недавно спросили: не тянет ли меня к художественным работам? Я сказал: «Ужасно тянет». И мне очень бы хотелось написать художественное произведение. Но не с дидактическим или каким-нибудь программным содержанием, а чисто психологическое, в котором были бы выведены только

характеры — не внешние, как Чичиков, Ноздрев и т. п., а сложившиеся внутренне и не могущие пока быть иными, чем они есть... Как А., как Б... и другие (и Лев Николаевич назвал несколько лиц, известных всем присутствующим)⁹. И когда поймешь это, то как же тут можно сердиться? И еще хотел сказать... Есть два сорта людей. Одни подобны колесу, ремень которого переведен на шкив. Колесо вертится, — сказал Л. Н., указывая руками, как вертится колесо, — и, передавая энергию своего движения через шкив другим колесам, производит работу. Другие же люди — и они встречаются во всякой области: и в науке, и в общественной жизни — подобны колесу, приводный ремень которого соскочил со шкива. Колесо быстро вертится — в-р-р, в-р-р, — засмеялся Л. Н., делая рукою в светлом рукаве быстрое вращательное движение, — а толку никакого.

И, вероятно, подумавши, что в сказанных словах и тоне их тоже таится элемент осуждения, Л. Н. как бы оттолкнулся от земли и сосредоточился в себе.

* * *

Возникает беседа о жгучих злобах дня: об успехах воздухоплавания¹⁰ и об открытии северного полюса.

Но Л. Н. отсутствовал душою во время этой беседы. И когда к нему обратились с вопросом о проблемах воздухоплавания, он, неохотно отрываясь от чего-то милого, сказал полумашинально:

— Не знаю... У меня нет отношения к этим явлениям... Не знаю. В последнее время всеми результатами технических открытий пользовались пока только правительства да сытые классы — с самыми дурными целями. Так что... Нет, ничего не могу сказать...

Один из присутствующих говорил, между прочим:

— И что такое, в сущности, северный полюс? Minimum центробежного движения и преобладание центростремительного?

Никто ничего не возразил на это. Л. Н. сидел молча, со сложенными руками, и тихо перебирал пальцами.

Мне невольно подумалось:

«Да он-то и представляет собою в настоящее время полюс человечества»...

* * *

Бьет одиннадцатый час ночи.

Я встаю и прощаюсь, чтобы ехать на станцию Засеку.

— Как, вы уже отправляетесь?

Я держу в своей руке руку Льва Николаевича и страстно хочу сказать ему то главное, ради чего я ехал в Ясную Поляну. Но волнение заливает нужные формы, и я выпускаю руку.
— До свидания!

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

⟨И. И. ГОРБУНОВ-ПОСАДОВ⟩

Л. Н. ТОЛСТОЙ В МОСКВЕ

После с лишком 8-летнего перерыва Москва увидела в своих стенах Л. Н. Толстого, приехавшего повидаться со своим другом В. Г. Чертковым. О предстоящем приезде Льва Николаевича знало лишь несколько лиц, которые, опасаясь, что многолюдная встреча может обеспокоить великого писателя, приняли все меры к тому, чтобы весть о его приезде не распространилась по Москве.

Старый красный деревянный дом в Хамовниках не приготовился к встрече своего старого хозяина. Когда около 9-ти часов вечера Л. Н. со своими спутниками прибыл сюда, дворня, живущая тут, была немного поражена. Она совершенно не знала, что приедет Л. Н., и не приготовилась. Случилась маленькая неудача. Предполагалось, что супруга Сергея Львовича, живущая зимою в этом доме, приедет сюда, чтобы встретить Льва Николаевича. Но что-то перепутали, и М. Н. Толстая¹, супруга Сергея Львовича, успела приехать с дачи лишь наутро. Дом открыли. Стали искать какого-либо освещения. Не без затруднения была наконец зажжена небольшая лампа. Эта необычная обстановка настроила всех на самый веселый лад. Смелся все время и Лев Николаевич. Позже было несколько таких же затруднений. Так, чай, оказалось, «пропахнул» сильно лежавшей по соседству камфорой... Ужин Льву Николаевичу привез в «судках» из одной вегетарианской столовой известный пианист Гольденвейзер...

Л. Н. осведомился о семьях нескольких своих друзей, с которыми ему хотелось свидеться, но, к огорчению Л. Н., они оказались в отъезде. Л. Н. принял одного лишь посетителя, крестьянина Саф-нова², заинтересовавшего его своей статьей об его сочинениях. В беседе с Саф-вым Л. Н., между прочим,

особенно предостерегал его от «соблазна писательства», сказал ему, что много писать нельзя, и указал на себя как на писателя, который по 6—7 и больше раз переписывает то, что напишет.

После этого Л. Н. имел беседу с И. И. Горбуновым-Посадовым, стоящим во главе издательской фирмы «Посредник». Речь зашла, главным образом, о новой серии книжек, которая сейчас особенно занимает Л. Н. Эти книжки должны дать читателю представление о всех религиях мира и вместе с тем пояснить ему, что среди всех людей бог — единый...

Вскоре Л. Н., утомленный переездом, распростился с бывшими в доме.

Утром случился эпизод, столь типичный для Льва Николаевича. Проснувшиеся домашние были довольно продолжительное время уверены, что Л. Н. еще спит, так как из комнаты, где он спал, ничего не было слышно. Вскоре, однако, оказалось, что Лев Николаевич, встав необычайно рано, ушел из дому побродить по Москве. Вскоре Лев Николаевич возвратился в сопровождении опоздавшей приездом невестки гр. М. Н. Толстой, которую он встретил на Пречистинке.

По Пречистенке Л. Н., между прочим, прокатился на конке. Невестке своей он затем передавал с удовольствием, что кондуктор конки узнал его и поздоровался с ним.

Около 11-ти часов утра Л. Н. выехал из дома, чтобы отправиться в место жительства В. Г. Черткова — в имение Пашковых (недалеко от платф. Апрелевка по Брянской дороге). Здесь Л. Н. решил прожить неделю-другую в близкой ему по духу среде. Но перед отъездом на вокзал Л. Н. пожелал повидать Москву. По Пречистенке и Моховой он поехал в экипаже к Кузнецкому мосту. Здесь он сошел с извозчика, пожелав пройти по Кузнецкому пешком.

И во время езды по улицам, и в то время, когда Л. Н. прошел несколько кварталов по Кузнецкому, наблюдались беспрерывно одни и те же внезапные мимические сцены. Прохожие останавливались, извозчики махали друг другу с козел и т. д., обращая внимание на неожиданно появившегося на улицах Москвы великого писателя³. Редкие не узнавали его. Глубокие молчаливые поклоны все время сопутствовали Л. Н. на его пути.

Л. Н. остановился у окон большого книжного магазина и внимательно всмотрелся во все разложенные книги. Затем по совету Гольденвейзера Л. Н. посетил музыкальный магазин Циммермана, в концертной зале которого слушал исполнение музыкальных пьес репродукционным аппаратом «Миньон», воспроизводящим исполнение пьес выдающимися современ-

ными пианистами. Л. Н. сам выбирал пьесы. По его просьбе были исполнены пьесы Шопена, Грига и др. Наибольшее впечатление на Л. Н. произвела «Баллада» Шопена. Сидя в кресле и слушая, Л. Н. много раз повторял:

— Как хорошо! Как хорошо!..

О репродукционном музыкальном аппарате Л. Н. высказался, что нужно радоваться изобретению его, так как он дает возможность и бедному человеку слушать за недорогую плату великие музыкальные произведения, и к тому же еще в исполнении талантливых людей.

Тут Л. Н. и его спутников сфотографировали, и по его желанию к группе присоединились, к несказанной их радости, служащие магазина. На обратном пути с Кузнецкого к Арбату и дальше на Брянский Л. Н. осмотрел памятник Гоголю. Л. Н. обошел памятник, чтобы лучше осмотреть его, и остался им, в общем, недоволен. Л. Н. сказал, что-то духовное, что художник хотел, по-видимому, вложить в памятник, непонятно...⁴

Отсюда Л. Н. приехал прямо на вокзал Брянской жел. дороги. Тут к приезду его собралась уже большая и разношерстная толпа. С четверть часа Л. Н. оставался в зале вокзала, беседуя за столиком с В. Г. Чертковым, дочерью и несколькими близкими. А вокруг все время стояла благоговейно настроенная толпа с обнаженными головами, жадно запечатлевая образ дорогого и редкого гостя. Затем в сопровождении дочери, В. Г. Черткова и врача г. Маковицкого Л. Н. перешел в вагон 3-го класса поданного поезда. Вокруг, в вагоне заняли свои места, в необычном соседстве с великим писателем, обычные третьеклассные пассажиры. Толпа хлынула из вокзала на платформу, терпеливо ожидая отхода поезда. Некоторое время продолжалась еще толкотня на площадке вагона, куда спешили запоздавшие, чтобы увидеть Льва Николаевича. Через несколько минут поезд тронулся, Л. Н. уехал. А вслед ушедшему поезду долго еще были обращены радостные, возбужденные лица... Ожидают, что на обратном пути из Апрелевки Л. Н. снова остановится в Москве.

«ГОЛОС МОСКВЫ»

Л. Н. ТОЛСТОЙ В МОСКВЕ

Вчера утром в пустынном Хамовническом переулке замечалось усиленное движение.

Не говоря уже о любопытных, привлеченных туда вестью о



*Толстой в музыкальном магазине Циммермана
4 сент. 1909 г.
Фото Т. Танселя.*

прибытии в Москву Льва Николаевича, в дом Толстых, где остановился Л. Н., потянулись его друзья, знакомые.

Около 10 час. утра можно было видеть интересную процессию — трех извозчиков, на одном из которых ехал Лев Николаевич с А. Б. Гольденвейзером, следом за ними на других двух извозчиках Александра Львовна, В. Г. Чертков с сыном, И. И. Горбунов-Посадов и мистер Т.¹, фотограф В. Г. Чертова.

Процессия остановилась на Кузнецком мосту у музыкального магазина Ю. Г. Циммермана.

С необычайной легкостью Лев Николаевич чуть не спрыгивает с пролетки и входит в сопровождении своих спутников в магазин, идет наверх, прямо в концертный зал, уставленный роялями. А. Б. Гольденвейзер требует валики с музыкальными лентами к новому репродукционному музыкальному аппарату «Миньон».

Выбор останавливается на «Полонезе As-dur» Шопена.

Когда раздались первые звуки, Л. Н. стал подпевать, а затем слушать, сидя в глубоком кресле.

Служащие узнали Л. Н., как по лицу, так в особенности по его неизменному костюму,— блузе, перетянутой поясом, высоким сапогам и круглой шапочке...

«Полонез», очевидно, очень знаком и любим Л. Н., во время его исполнения Л. Н. улыбался, делал жесты, потом на глазах его показались слезы.

«Полонез» передавался в исполнении И. И. Падеревского².

После этого были сыграны Штрауса-Грюнфельда: «Frühlingsstimmen», пьеса, тоже очень понравившаяся Льву Николаевичу, и дальше «Feurzauber» Вагнера, «Риголетто», парадфраза Листа, его же «Nocturn № 3», увертюра «Тангейзера» Вагнера и даже шубертовский «Militaire Marsch» и др.

Между прочим, была исполнена одна из вещей Грига.

Лев Николаевич выслушал ее очень внимательно, но по окончании сказал:

— Я не люблю Грига.— И, немного помолчав, добавил:— И вообще, не люблю декаденщины,— причем губы его сложились в усмешку.

Демонстрация пьес продолжалась около 1 1/2 часа.

Чем ближе время подходило к 12, тем чаще спутники Льва Николаевича поглядывали на часы.

Как во время исполнения пьес, так и по окончании музыки, с Льва Николаевича было сделано множество фотографических снимков.

Кроме личного фотографа В. Г. Черткова, мистера Т., Лев Николаевич дал разрешение сделать снимок приглашенному фотографу И. К. Фишеру.

Во время сеанса Л. Н. был необыкновенно весел и много шутил. Он несколько раз обращался к присутствующим с вопросом: «Смирно я сижу?»— и сам же отвечал: «Сижу, как статуя...»

Во время снимания Л. Н. настоял на том, чтобы служащие, находящиеся в зале, непременно снялись вместе с ним.

Уезжая, Л. Н. очень благодарил представителей фирмы.

Надо было видеть, с какою легкостью Л. Н. вскочил на извозчицью пролетку.

Этого никто не ожидал. Александра Львовна, обычно очень внимательно следящая за Львом Николаевичем и постоянно его предупреждающая, не успела даже сказать своего обычного «Осторожнее, отец...».

Все сели, длинная фигура В. Г. Черткова, севшего в одну пролетку с Л. Н., заслонила собой фигуру дорогого московского гостя.

Лев Николаевич поехал на Брянский вокзал, откуда он уехал в именье известного Пашкова, близ ст. Апрелевка.

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

У Л. Н. ТОЛСТОГО

От Москвы до усадьбы на 36-й версте по Брянской жел. дор. близ деревни Крекшино, где живет сейчас семья Чертковых, Лев Николаевич со всеми своими спутниками доехал третьего дня вполне благополучно. В общем вагоне 3-го класса, в котором ехал Л. Н., ему, естественно, не дали покоя. К нему присаживались с самыми разнообразными вопросами. Л. Н. терпеливо все выслушивал и высказывался. Так, напр., один земский врач довольно продолжительно развивал перед Л. Н. план замены для дачной молодежи футбола, танцев и т. п. земледельческим трудом и т. д. Еще более хлопот Л. Н. причинила целая группа лиц, обступивших его с просьбами дать свое факсимиле на купленных ими карточках Льва Николаевича. Лев Николаевич безропотно удовлетворял и все эти просьбы.

Кондуктор поезда, не имея карточки Л. Н., преподнес ему для подписи два снимка с памятника Гоголю в Москве. Л. Н., к несказанной радости кондуктора, и на них поставил свое факсимиле.

В начале пути Л. Н. чувствовал себя утомленным, но в конце приободрился и высказал, что поездка в вагоне — большое удовольствие.

Усадьба, в которой гостит сейчас у В. Г. Черткова Лев Николаевич, лежит в 1 ¹/₂ верстах от полотна железной дороги. К ней ведет довольно плохая проселочная дорога, густо обсаженная березой и другими деревьями. Усадьба стоит в четверти версты от деревни Крекшино, в густом, искусственно насаженном парке. Центральное здание усадьбы — двухэтажное, высокое, белое строение с широкой террасой впереди. Вблизи усадьбу облегают красивый пруд, а дальше, вокруг, — лес и поляны. Комната, в которой живет сейчас Л. Н., находится в нижнем этаже дома, с высокими и широкими окнами и белоснежными сплошными занавесями.

Лев Николаевич чувствует себя совершенно бодро. Вчера вместе с В. Г. Чертковым и другими гостями Л. Н. совершил свою первую поездку по окрестностям. Вообще семья Чертковых прилагает все старания к тому, чтобы жизнь Л. Н. в их усадьбе ничем не разнилась в распределении времени — часов работы, прогулок, еды и т. п. — от обыкновенной, сложившейся для Л. Н. в Ясной Поляне. Для верховой езды Л. Н. В. Г. Чертковым приготовлена хорошо выезженная лошадь.

При Льве Николаевиче, как сообщалось уже, находится в усадьбе его дочь Александра Львовна, врач г. Маковицкий и его старый друг-слуга. Кроме четы Чертковых в усадьбе сейчас есть еще и молодежь, относящаяся, понятно, к Льву Николаевичу с большой любовью.

Делясь с окружающими своими впечатлениями от Москвы, Лев Николаевич, между прочим, высказал, что несколько случаев массового общения с людьми (главным образом на вокзалах) доставили ему мало радости. В общении между людьми, — сказал он, — самое важное, чтобы они видели прежде всего друг в друге человека. А так как он, «к сожалению, — как дословно выразился Лев Николаевич, — человек, что называется, с именем», то получается в отношениях какая-то фальшь... И стыдно как-то!..

Уличная жизнь города, от которой Л. Н. отвык, произвела на него большое впечатление. «Чужое все это мне, — говорил Л. Н., — вся эта масса мечущихся людей»... Но, цитируя одного древнего мудреца, Л. Н. выразил сожаление, что оторвался от этой части человеческой жизни, так как, оторвавшись от части людей, теряешь много в представлении о всем человеческом. Л. Н. не прервал своей работы. Сейчас им обрабатывается популярная статья для народа об абсурде многих общепризнанных фетишей в жизни¹. Занимает его еще сильно другая тема — ответ одной польке о польском вопросе².

Как сообщалось уже, у Чертковых Л. Н. пробудет неделю, а быть может, и больше.

«РЕЧЬ»

А. ХИРЬЯКОВ

ОКОЛО Л. Н. ТОЛСТОГО

Четвертого сентября Л. Н. Толстой приехал в имение Крекино, чтобы провести несколько дней в обществе своего друга В. Г. Черткова, высланного из Тульской губернии по прошениям некоторых черносотенных дворян и местной администрации.

Так как мне пришлось как раз в это время гостить у Черткова, то я и считаю своим долгом поделиться с читателями своими впечатлениями.

Второй час дня. В доме, где живут Чертковы, хлопоты и суета.

Это довольно большой двухэтажный каменный дом в английском вкусе, так называемого елисаветинского стиля. С обеих сторон дома прекрасные зеленые лужайки, а дальше за ними прекрасный парк тоже наподобие английских парков.

Как раз для Чертковых, еще недавно принужденных жить в Англии и еще не забывших своего изгнания.

Самого Черткова нет дома. Он уехал в Москву и приедет вместе со Львом Николаевичем. Сестра его жены, невестка Льва Николаевича О. К. Толстая¹, поминутно заглядывает в комнату, предназначенную для великого писателя, заботливо осматривая: не забыто ли что?

Как долго тянется время!

Но вот где-то слышится лай собак и стук приближающейся линейки.

О. К. Толстая кричит мне, что долгожданные гости приближаются. Мы все выбегаем и видим, как к балкону подъезжает линейка, в которой сидит дочь Льва Николаевича Александра Львовна, Чертков и д-р Маковицкий, а за ними, верхом на темно-гнедой лошади, легкой рысцой приближается и сам Лев Николаевич.

Мне становится жаль, что я не захватил из моей комнаты фотографического аппарата; так картинно сидит на лошади этот старый богатырь; но уже поздно, да, пожалуй, и совсем ловко вместо приветствия нацеливать на человека фотографический аппарат.

Лев Николаевич подъезжает к балкону и ловко спрыгивает на землю.

Он бодр, светел, весь еще под впечатлением своей московской прогулки. По отзывам очевидцев, это было какое-то чуть что не триумфальное шествие.

Все сразу узнавали великого писателя, все невольно обращали внимание и спешили к нему и за ним. На вокзале один носильщик, несший вещи какой-то дамы, бросил вещи и, не обращая внимания на крики их владелицы, побежал за Толстым. Люди курившие, при входе Льва Николаевича, переставали курить, бросая на пол недокуренные папироски.

А виновник всей этой суматохи только конфузился, не зная, как бы сделаться незаметнее, как бы поменьше привлекать внимания окружающих.

На другой день после приезда Л. Н. получилось известие, что фирма Циммерман присылает в Крекшино музыкальную

машину «Миньон», игра которой так понравилась Льву Николаевичу.

Это, конечно, опять заставило вспомнить Москву, и в частности те пьесы, которые слушал Лев Николаевич.

— Какие чувства заставляет переживать музыка, — замечает Лев Николаевич, — инструмент играет, а я чувствую, что это все я. Я такой мужественный, я такой нежный, я страдающий, я веселый... Когда к музыке присоединяют слова, они мне не нужны, они только мешают.

— Ну как же мешают, — возражает кто-то, — а если слова прекрасны и сливаются с музыкой в одно целое? Разве тогда они могут мешать?

— Не знаю, ~~ка~~ знаю, — говорит Л. Н., — может быть, слова и нужны, но мне-то лично при музыке их не надо. Мне все равно, что слова, что просто трам-трам. Я воспринимаю мысль автора, выраженную в звуках, и она будит во мне известные чувства, которые могут не соответствовать прибавленным к музыке словам.

Лев Николаевич с увлечением говорит о музыке, о важности простоты в музыке, так же как и в литературе, и тут же ловит себя на противоречии, так как любимец его, Шопен, далеко не всегда прост. Но что прощается Шопену, то не прощается ни Григу, ни Вагнеру.

На другой же день после приезда устраивается поездка вместе со Львом Николаевичем в деревню Ликино. В Ликине живет кустарь, выделяющий удивительно мелкие бирюльки. Промысел этот переходит по наследству от отца к сыну, с сохранением приемов ремесла и даже, вероятно, и инструментов. Никаких особых приспособлений, кроме самого примитивного токарного станка и обыкновенных больших стамесок, не было, и нельзя было не удивляться, какие необычайно мелкие изделия получались благодаря сноровке работавшего человека.

Невольно вспомнилась легенда Лескова о стальной блохе и о тульском левше. У ликинских кустарей тоже глаза пристрелялись и без помощи «мелкоскопа» выделялись бирюльки величиною с просыное зерно.

Спутники Л. Н.-ча стали выбирать и покупать различные произведения ликинских кустарей, а сам Л. Н. не проявлял к бирюлькам особого интереса. Он предпочел заняться детьми, которые целой гурьбой прибежали к избе и облепили окно, из которого высунулся «дедушка».

Предполагалось, что обратно Л. Н. поедет с нами на линейке, но оказалось, что дороги так плохи, что путешествие верхом все-таки спокойнее, чем в экипаже.

Л. Н. чувствовал себя не совсем хорошо и почти ничего не ел, так что было страшно, не отразится ли вредно эта утомительная прогулка на его здоровье. Но когда Л. Н. вышел к ужину из своего кабинета бодрым и оживленным, то все опасения сразу исчезли.

— Я здоров, как Новый мост,— отвечал Лев Николаевич французской поговоркой на вопрос, как он себя чувствует.

Вечером, накануне моего отъезда², после нашей обычной партии в шахматы, Л. Н. предложил прочесть вслух несколько писем, полученных им от людей, страдающих за свои слишком мирные убеждения.

От коротких безыскусственных страничек веяло глубокой искренностью и евангельской простотой. Это не были письма учеников к учителю, последователей к проповеднику. Это писали простые искренние люди о своих страданиях и надеждах, писали к человеку, который чувствовал в своем чутком сердце такие же страдания и жил теми же надеждами.

На другой день утром, перед самым отъездом, я еще раз увиделся со Львом Николаевичем. Он только что вернулся с утренней прогулки по окрестностям. Он весь дышал какой-то особенной бодростью под лучами солнца, а в руке был небольшой пучок запоздалых осенних цветов: клевер, тысячелистник и еще какие-то.

Мы распрощались, и через несколько времени я уже ехал в поезде (...).

«РУССКОЕ СЛОВО»

А. ПАНКРАТОВ

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ГОСТЯХ У В. Г. ЧЕРТКОВА

(От нашего корреспондента)

Поезд останавливается в Крекшине. У местных крестьян эта маленькая платформа носит название «Пашковской платформы».

Направо дорога к имению Пашковой. Широкая, живописная, лесная. В версте и самое имя.



*Толстой среди крестьян Крекшина в сент. 1909 г.
Фото В. Г. Чергова.*

Редкий по красоте уголок. Посредине длинный пруд с купальней. На одной стороне разбросаны хозяйственные постройки и стоит дом управляющего. А на другой — тщательно закутанный в зелень большой, красивый дом, где живет В. Г. Чертков и гостит Л. Н. Толстой.

Кругом, куда только достанет глаз, — леса и леса. Толпяся задумчивые сосны, нарядные ели и легкомысленные березы. Налет осенней желтизны создает особое настроение — я бы сказал, «грустно-бодрое». Не весна, а осень, наша русская ядреная осень — «пора надежд»...

Я думал, что встречу обычную старую барскую усадьбу. У дома покосились колонны, облезла облицовка, кое-где крыша проросла мохом. Словом, знакомая родная картина...

А нашел образцовую хозяйственную ферму, которой место где-нибудь около Лондона. Дом, где живет сейчас Л. Н., выстроен в английском вкусе. В нем канализация, водопровод, все удобно, чисто, гладко (...).

В 80 лет тяжело путешествовать по нашим железным дорогам. Но Лев Николаевич не остановился пред этим, чтобы увидеть своего друга.

* * *

Мы с доктором Беркенгеймом стояли у входа в парк, когда Лев Николаевич приехал верхом с прогулки.

Каким молодцом смотрит великий старец на лошади! Прямой, крепкий, сильный. За ним ехал его гость — молодой звенигородский земский врач Никитин. Его гофмаршальский вид не выигрывал от сравнения с Л. Н.

Лев Николаевич подъехал к крыльцу, сам слез с лошади и сразу постарел. Уже стариковской походкой, немного сторбившись, вошел в дом.

В гостях у В. Г. Черткова он чувствует себя превосходно. Как-то особенно хорошо настроен. Вполне здоров. Много работает и делает длинные прогулки по окрестностям.

В его сочинениях последних дней особенно часто звучит, как торжественный, победный аккорд: «Жить хорошо».

Местные крестьяне еще не успели его узнать, и это приятно Льву Николаевичу. Он ведет с ними беседы не как «человек с именем», а как «старичок, встретившийся на пути».

На днях он написал миниатюру — маленький диалог с крестьянином. Последний так и называет его — «старичок»¹.

Разговор — о душе. Теплый, приятный, ласковый. Он оставил сильное впечатление в душе чуткого Л. Н.

Когда миниатюру читали вслух в семейном кругу Льва Николаевича и дошли до фразы: «С таким народом жить можно», великий писатель прослезился.

Родственно-близки его душе и скорбь народа, и величие его духа, не сломленного вековой неправдой...

Третьего дня он разговаривал на прогулке с доктором Никитиным. Передавал о своей встрече с сапожником.

Тот жаловался на то, что жизнь его полна нужды. Земли мало, заработков нет.

Лев Николаевич сказал доктору:

— Нынешнее состояние общества и государства похоже на состояние перед отменой крепостного права. И тогда люди говорили, как говорят сейчас: «Так дольше жить нельзя». Но тогда был выход в уничтожении рабства, а теперь выхода нет. У Западной Европы берут лишь минусы ее. Так, например, взяли один крупный минус — земельный — и создали неудачный закон девятого ноября...²

Л. Н. Толстой сейчас много пишет. Третьего дня он кончил «письмо-статью» по польскому вопросу. Ответ польской женщине.

Та спрашивала его: «Почему вы ничего не пишете в защиту польского народа?»

Толстой ответил в том же духе, как он писал и в «Письме к индусу».

Он, конечно, противник угнетения. Но средство избавления от угнетателей он видит не в вооруженном восстании, которое увеличивает только несчастье людей, а в осуществлении людьми добрых отношений, основанных на любви.

«Письмо-статья» обещана Львом Николаевичем одному литератору и на днях будет ему отослана для печати³.

На «Ремингтоне» переписаны его тоже новые статьи-ответы на запросы: «О праве» — ответ студенту. «О науке» — ответ крестьянину⁴.

В последней статье изложен его практический взгляд на нашу современную науку:

— Теперь учат многому ненужному и, наоборот, на нужное, полезное не обращают внимания.

Кроме ответов, Л. Н. уделяет время одной интересной работе. Он намерен сделать выборку изречений религиозно-нравственного характера из сочинений древних мудрецов. Теперь он сидит над сочинением Лао-Тсе.

Им уже написано предисловие к этому большому труду⁵.

Столовая пашковского дома с дверью на террасу. Посредине длинный стол. На стене в паспорту плакаты.

— Это — толстовские «мысли мудрых людей» на сегодняшний день.

В. Г. Чертков каждый день переписывает на «Ремингтоне» из «Мыслей» изречения и вешает в комнате, где собираются все.

«Мысли» читает сам Лев Николаевич. Читают и другие.

Тут же висит «Учение о жизни» Толстого, тоже составленное им из изречений древних мудрецов.

Лев Николаевич разговаривает с г-жой Линевой⁶. Она москвичка. Ее интересы — в народной музыке. В Москве у нее народная консерватория. Каждое лето она ездит по России в платочке на тарантайке и записывает народные песни. Нынешнее лето она была в славянских землях с целью сравнить нашу народную песню с песней словацкой.

По другую сторону Льва Николаевича — жена В. Г. Чертова, тоже музыкантша, интересующаяся народной музыкой.

Для Льва Николаевича музыка не только отдых, удовольствие, но и предмет живейшего интереса.

Он просит г-жу Линеву привезти к нему фонограф с записанными на нем народными песнями. В понедельник она обещает приехать с фонографом.

А в воскресенье у него будет домашний концерт. Гольденвейзер, Сибор и Могилевский⁷ приедут, чтобы играть перед великим писателем.

— Вы интересуетесь музыкой, — говорит Льву Николаевичу г-жа Линева, — а пишете статьи против искусства?

— Я только против ложного искусства... Кроме того, музыка не служит таким средством для развития жадности человеческой, как другие виды искусства. Композитор получает мало за свои композиции, а композиторство не развито так, как развито, например, писательство. С каждой почтой я получаю несколько писем от крестьян с рукописями. Они просят напечатать. А пишут в надежде, что им хорошо заплатят...

Заговорили опять о музыке.

— Не люблю я Грига. Декадент... Отсутствие мелодий, оригинальничанье...

Льву Николаевичу возражали. Но он, терпеливо выслушав возражения, твердо стоял на своем:

— Не люблю декадентщины... А у Грига что-то искусственное, натянутое...

Он допил чашку чая с медом и отправился к себе отдохнуть перед обедом.

Через минуту на двери столовой красовалась вывеска. На картоне написано крупными буквами: «Лев Николаевич спит».

Все притихло, замерло...

«ГОЛОС МОСКВЫ»

Ф. ТИЩЕНКО

Л. Н. ТОЛСТОЙ У В. Г. ЧЕРТКОВА

〈...〉 — Узнаете ли Вы меня, Лев Николаевич?

— Как же, знаю,— проговорил Л. Н. и добавил:— Вот Владимир Григорьевич сказал, что вы приехали...

Я отрекомендовал Льву Николаевичу своего молодого спутника как большого любителя литературы и человека, который очень желал видеть его.

— А зачем меня видеть?— сказал Лев Николаевич резко, почти с гневом.— Что за польза из того, что кто-нибудь из нас любитель литературы? А я вот всю литературу забыл, и что сам писал — все забыл. Я думаю теперь только о том, как бы лучше прожить остаток жизни. Вот сегодня приехал ко мне старик. Не знает литературы, а мы с ним наговорились до слез...

— Извините меня, Лев Николаевич,— сказал я,— но вы и теперь мне кажетесь человеком, всей душой преданным литературе, живущим больше всего интересами литературы, не перестающим ей служить...

— Как так?

— Ведь вы и теперь все пишете и пишете. Будет ли это письмо к индусу или письмо к польке по польскому вопросу — все это не что иное, как своеобразная литературная деятельность в широком смысле... Вы собираете изречения мудрецов...

— Да, вы так понимаете...— проговорил Лев Николаевич и замолчал, по-видимому согласившись со мной.

Еще две-три фразы, и Лев Николаевич оставил меня, присоединившись к одной из дам. 〈...〉

«РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ»

ПРИЕЗД Л. Н. ТОЛСТОГО

Вчера Лев Николаевич снова прибыл на очень короткое время в Москву проездом из Крекшина обратно в Ясную Поляну. Он пробудет сегодня в Москве до полудня и затем со скорым поездом Курской жел. дороги, отходящим в 12 ч. 30 м. дня, уедет.

Несмотря на то что час приезда Л. Н. по его просьбе, чтобы не вызывать шума, держался в секрете, восторженная встреча великого писателя хотя бы небольшой толпой все же получилась. Поезд прибыл в 5 час. дня. Никто его не ожидал. На платформе были лишь одинокие фигуры. Впереди на первом пути стоял пассажирский поезд, который должен был отойти через несколько минут. Но вот поезд, доставивший Льва Николаевича с его спутниками, подошел; едва в одном из окон 2-го класса показалась хорошо знакомая всем седая голова, как у вагона по чьему-то невидимому дирижерству выросла как будто из-под земли толпа. Это смешались пассажиры, приехавшие с тем же поездом, в котором прибыл Лев Николаевич, с пассажирами, поспешившими сюда через полотно из поезда, который должен был отойти. К ним присоединилась волна людей, так или иначе разузнавшая о приезде Л. Н., и у площадки вагона, когда показался великий писатель, стояла уже живая, возбужденная толпа, с каждой минутой увеличивавшаяся.

Толпа окружала и сопровождала Л. Н. вплоть до того момента, когда вместе с гр. С. А., дочерью, В. Г. Чертковым и своим врачом Л. Н. сел в экипаж и поехал в Хамовники, к старому дому Толстых.

О последних днях пребывания Л. Н. в Крекшине можно добавить еще, что в числе многих других паломников его посетила также группа народных учителей¹. Л. Н. посвятил им целый вечер.

Затем с двумя англичанами из Лондона Эдиссон, являющийся, к слову, горячим поклонником Л. Н., прислал в Крекшино особенно усовершенствованный кинематографический аппарат для снимков с Л. Н. Л. Н., не соглашавшийся до сих пор, чтобы с него делали кинематографические снимки, не мог на этот раз не уступить просьбе Эдиссона, и с него сделаны снимки во время поездки на прогулку².

Здесь, в Крекшине, Л. Н. получил известие от своего друга Шмита из Берлина³ о том, что берлинская полиция, не имея



*Голстой в Долго-хамовническом переулке.
18—19 сент. 1909 г.
Фото В. Г. Черткова.*

будто бы ничего против того, чтобы известную статью о мире прочитал сам Л. Н., поставила Шмиту условием представление статьи на предварительную цензуру.

Прочитав это известие, Л. Н. сказал:

— А что, если я да вдруг приеду в Берлин. Представляю себе их переполох! Я думаю, что их готовность предоставить мне прочитать мой доклад без сокращений основана в большой степени на расчете, что мои годы не позволят мне ехать в Берлин...

Эта статья о мире, приготовленная для отложенного стокгольмского конгресса, появится вскоре за границей на трех языках.

Наблюдения и впечатления Л. Н. над крестьянской жизнью в окрестностях Крекшина вылились у него в два наброска, в форме диалогов, в которых фигурирует он и встретившийся ему крестьянин.

О двух неделях, которые Л. Н. провел в Крекшине, В. Г. Чертков составил брошюру со многими иллюстрациями. Содержанием ее послужат главным образом мысли и мнения, которые Л. Н. высказал за это время.

Вчерашний вечер Л. Н. провел в своем доме, в Хамовниках, в кругу своих близких. После вечернего чая, в 10 час. вечера, Л. Н. в сопровождении нескольких друзей совершил прогулку на Арбат. Здесь он зашел со своими спутниками в один из кинематографов. Его тотчас же, понятно, узнали и стали приветствовать. Л. Н. просмотрел несколько картин, которыми, к слову, остался недоволен, и отправился обратно в Хамовники на покой.

«НОВОЕ ВРЕМЯ»

АЛЬФА (А. Л. ОБОЛЕНСКИЙ)

М. Д. ЧЕЛЫШЕВ У ЛЬВА ТОЛСТОГО

Член Думы Челышев, не устающий в борьбе с пьянством, с винной монополией, давно мечтал съездить в Ясную Поляну и заручиться советом и содействием Л. Н. Толстого. Желание Челышева осуществилось. 8 октября, после московского съезда, он побывал в Ясной Поляне и вот что рассказывает о своей четырехчасовой беседе с Львом Николаевичем:

— Приехал я в Ясную Поляну в половине седьмого вечера. Лев Николаевич в это время отдыхал. Но не успел я подняться наверх, как послышались шаги Толстого, и он вышел

ко мне навстречу. Я хотел сразу же приступить к делу и начал уже рассказывать о том, какую борьбу я затеял, но Толстой меня прервал.

— Подождите, после обеда. Я люблю говорить всегда один на один.

Разговор об интересующем Чельшева предмете начался еще за обедом.

— Вы имеете неотразимое влияние на всю интеллигенцию, — обратился к Толстому депутат, — в особенности на молодежь. Вас слушают, многие живут по вашим советам. Когда я заговаривал о пьянстве, меня часто спрашивали, был ли я у вас и советовался ли с вами. Вот я и хотел просить вас написать при случае по этому вопросу и заставить вашим словом одуматься людей. С нами школа, армия, в которой запрещена чарка, церковь, в последней беседе Столыпин заявил о желании содействовать, остается главное — интеллигенция.

Толстой выслушал и сказал, что он всегда сочувствовал тому, что сейчас слышит. Он не находит никакого оправдания тому, что взимают налоги через кабаки. При этом Толстой поинтересовался, какие доходы Чельшев выискал вместо винной монополии.

Чельшев подробно рассказал Л. Н. о законопроектах, прениях в Думе и прочел выдержки из своих речей. Толстой очень изумился, узнав, что думское большинство отклонило желание о воспреещении торговли вином в голодных местностях.

— Дело не в форме, — заметил Толстой, — а в сущности, и Дума была неправа. Не дело вообще у нас делают: прежде всего надо устроить крестьян, их жизнь. Надо помнить, что в них одно спасение.

После обеда Лев Николаевич пригласил депутата к себе в кабинет и стал подробно расспрашивать его и о борьбе с пьянством, о работах Думы и о планах на будущее. Посмотрел придуманную думской комиссией этикетку для бутылок, нашел ее длинной и сам составил такую подпись: «Водка — страшный яд; большой вред телу и душе»¹.

Затем Толстой рассказывал об «едином налоге» на землю, о котором он много думает, о том, что крестьянам в Думе надо соединиться вместе, о темноте народной, о недостатке образования и о многом другом.

— Вся надежда на крестьян, — заметил Л. Н. — В них есть душа, одаренная богом, они религиозны, чисты, умеют любить друг друга, чего у нас нет...

И Толстой подвел Чельшева к развешанным на стене фотографиям с картин Орлова². На одной из них изображено возвращение солдата в деревню и первое свидание с женой,

которая во время его отсутствия прижила ребенка; солдат прощает жену.

— Видите, что он сделал,— заметил Л. Н.— Какая сила любви в народе...

Когда Лев Николаевич возвращался к своей любимой теме, заговаривал о народе, глаза его блестели и голос дрожал.

— А вот другая картина: старшина пришел за оброком. Посмотрите, в каком положении живет народ. Ничего-то для него не делается.

— Я читал вашу речь о народном образовании, где вы говорите, что под видом просвещения совсем не то дают народу. Вы верно поняли, а вот другие не могут понять, не развивают в детях любовь к ближнему, не учат этому ни в одной школе. Недавно я прочел, что какой-то ученый открыл семь тысяч разновидных мух. Кому это нужно? А между тем такими вопросами многие заняты, а о человеке, об его нужде подумать некому.

Проговорили часа полтора; присутствовавший при беседе доктор Маковицкий повел Чельшева за книжками и нагрузил его целой кипой. Минут через пятнадцать депутата снова позвали в кабинет ко Льву Николаевичу.

Чельшев рассказал Толстому о своем плане сделать вывоз хлеба за границу государственной регалией, с тем чтобы крестьяне могли ссыпать свои запасы в амбары по волостям, из которых образовывались бы государственные запасы. Толстой внимательно все прослушал и просил прислать ему критику по этому вопросу, если он будет обсуждаться в Думе.

На прощание Лев Николаевич спросил:

— А когда у вас в Думе отменят смертную казнь? Неужели не понимают, как безнравственно лишать человека жизни?

С напутствиями успеха и пожеланиями не ослабевать в начатой борьбе уехал Чельшев из Ясной Поляны, очарованный Толстым.

— Я никогда не сказал бы,— замечает депутат,— что Льву Николаевичу восемьдесят лет: он такой бодрый, свежий, так ясно мыслит.

ЖУРНАЛ «СИНЕ-ФОНО»

ВЛАДИМИР КОНЕНКО

У ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

В начале сентября этого года мы отправились к графу Льву Николаевичу Толстому с поручением получить от масти-

того писателя разрешение на производство с него синема-тографических снимков, и если окажется возможным, то и выполнить самые снимки.

Не без волнения выскочили мы — я и мой сотоварищ — из экипажа у двух массивных колонн, стерегущих вход в парк Ясной Поляны.

Вот он, тот тихий уголок, где погруженный в свои думы и творческую деятельность почти безвыездно проживает «великий писатель земли Русской»!

Широкая дорога-аллея приводит нас к утонувшему в зелени небольшому каменному дому, снежно-белому на фоне листвы... Все тихо... и каждый шаг отдается под сводами вековых лип, обступивших площадку перед домом, на которую выходит веранда.

Никого нет, никто не выходит нас встретить, и мы сами как бы боимся нарушить тот величавый покой, которым близкие Льва Николаевича, а пожалуй даже и сама природа, окружили его жизнь...

Наши карточки с просьбой о позволении переговорить о деле переданы графине через вышедшего слугу — самого Льва Николаевича мы не решаемся беспокоить. И действительно, как нам сообщила София Андреевна, Л. Н. был усиленно занят приготовлениями к отъезду на другой день к В. Г. Черткову, приведением в порядок бумаг, начатых работ и прочим.

Мы должны отметить то полное сочувствие, с которым отнеслась графиня к нашей просьбе. Ей самой очень желательны снимки, имеющие целью увековечить для близких Льва Николаевича моменты из его жизни, и, как во время этой нашей поездки в Ясную Поляну, так и во время последующих, София Андреевна оказывала нам всяческую помощь в деле производства снимков, и все переговоры с Львом Николаевичем относительно его согласия позировать перед аппаратом велись почти исключительно через нее.

Увы, можем мы только сказать, убеждения графа, великие идеи пророка заветов всеобщей любви и счастья делают несовместимой с ними возможность позирования для синемаграфов... Это же передал нам и Л. Н. во время наших кратких разговоров при встречах с ним на обычных ежедневных утренних прогулках...

Тем не менее нам было предложено произвести снимки, запечатлеть моменты из повседневной жизни Л. Н.

Первой из предпринятых нами работ были снимки поездки Л. Н. на станцию Щекино, откуда он отправился через Москву в гости к В. Г. Черткову.

Надо ли говорить, что мы были вовремя на местах. Бегут по-

следние минуты ожидания... Едут... Плавно, почти шагом выкатывает из ворот усадьбы парная коляска с Львом Николаевичем и провожающей его супругой. Вслед за ней тройка с Александрой Львовной, младшей дочерью писателя, и другими сопровождающими... С легким ворчаньем бежит лента в аппарате, поглощая в себя все, что видит зоркий глазок объектива, чтобы потом показать все виденное всему миру на экране...

Но мы торопимся. Едва лишь экипажи миновали аппарат, мы спешим обогнать их на наших лошадях, чтобы иметь возможность снимать приезд на станцию.

Здесь, на платформе Щекина, мы работаем не менее удачно. Приезд, вход на станцию, прогулка Льва Николаевича по перрону в ожидании отъезда, сцены встречи с приехавшими с этим же поездом родственниками и, наконец, последние моменты отправления в путь — все это схвачено аппаратом <...>.

В то время когда пишутся эти строки, снятые нами моменты из жизни Льва Николаевича уже превратились в ленту, которую на днях увидит Москва, Россия, а за нею и ряд других стран.

Получив первый экземпляр ленты, мы, снова заручившись предварительным согласием графини, поспешили в Ясную Поляну, чтобы продемонстрировать перед Львом Николаевичем произведенные с него снимки¹.

Одновременно мы захватили с собой подбор других лент для демонстрации. Приготовления к сеансу начаты были утром. На площадке перед домом (сеанс решили дать на открытом воздухе) мы водрузили экран, установили аппарат, скамьи и стулья для зрителей...

Сеанс производился при помощи оксиацетиленового аппарата бр. Пате.

Все готово. К шести часам начали уже собираться первые зрители — детишки из прилежащей к имению деревни. Лишь только смерклось, сейчас же после обеда, Лев Николаевич, София Андреевна, Александра Львовна, прочие обитатели дома и бывшие в доме гости уже собрались на местах... Приехал кое-кто и из соседей. Главную массу зрителей составили крестьяне, которых собралось человек до двухсот.

Вспыхнул зажженный аппарат, ослепительно белым квадратом отразился на экране среди вечерней темноты столб света из аппарата.

Сеанс начался.

Не стоит говорить о техническом успехе сеанса. С этой стороны мы были достаточно вооружены, чтобы не иметь основания беспокоиться. Но, кроме того, когда окончилось представление и под направленным на нее повернутым зеркалом рефлектора оживленная толпа возвращалась по саду домой, мы видели еще горящие глаза детей, веселые лица взрослых.

Мы слышали слишком лестные отзывы, восторженные восклицания.

Но нам было важно мнение Льва Николаевича, который, будучи утомлен, ушел несколько раньше конца сеанса.

Великий писатель остался доволен виденным. Он передал нам, что считает разумным и поучительным зрелищем те видовые и научные картины, которые мы демонстрировали в Ясной Поляне (Военно-Грузинская дорога, город Дели в Индии, на табачных плантациях и пр.). Снимок, произведенный с Льва Николаевича, был показан дважды...

На другой день мы уехали обратно, имев удовольствие поднести графине Софии Андреевне привезенный нами единственный экземпляр снимков с Льва Николаевича. Картина эта уже предназначена для музея имени Толстого.

Что же мы можем сказать в заключение?

Еще до сих пор Лев Николаевич не является полным сторонником синематографа, не находит его исключительно полезным с определенной точки зрения явлением.

Будучи слишком молодым сама по себе делом, синемафотография, развиваясь с бешеной быстротой, безусловно не могла идти исключительно прямыми путями к тому все возрастающему значению ее в жизни человечества, которое она завоевывает с каждым днем.

Были, безусловно, отклонения от истинного пути.

Но теперь синемафотограф уже сделал первый шаг по пути своего великого будущего.

Из странствующего балагана — он стал театром.

Еще немного — и синемафотограф станет школой.

Нашим детям он будет главным научным пособием, ему раскроют широко двери университетов.

И еще более того. Синемафотограф станет средством пропаганды великих идей.

Мы уверены поэтому, что недалеко то время, которое примирит Льва Николаевича с синемафотографом. <...>

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ»

Г. ГРАДОВСКИЙ

ДВА ДНЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

⟨...⟩ Едва успел я снять пальто в передней, как на лестнице показалась видная, быстрая в движениях, не молодая, но далеко еще не старая дама с приветливой улыбкой, с протянутой рукой. Меня встретила графиня Софья Андреевна Толстая.

Несколько слов, звуков ее голоса было достаточно, чтобы утихли все мои тревоги и исчезла щекотливость первого знакомства. Привычная, врожденная светскость и искренность С. А. произвели обычное чарующее впечатление.

— Может быть, вам угодно пройти в свою комнату, а Лев Николаевич ждет вас наверху... Обед готов,— добавила графиня, когда я, по старине, поцеловал ее руку и поблагодарил за ее письмо, за приглашение, за встречу.

Наскоро переодевшись, я поднялся наверх и вошел в большую залу, где был накрыт стол. Прямо против двери, справа от Софьи Андреевны, сидел Лев Николаевич Толстой. Я быстро подошел. Он встал и, протягивая руку, сказал несколько слов, за точность которых не поручусь, но смысл их был тот, что он рад познакомиться; но опасается, что мои ожидания чрезмерны и не оправдаются.

Мне казалось, что Лев Николаевич боится, как бы я его не замучил расспросами. Я ответил, что счастлив уже одним видом его, осуществлением давней моей мечты.

Мое место было с противоположной стороны, против хозяина и возле хозяйки Ясной Поляны. С этой минуты завязался оживленный, непринужденный разговор, как будто все мы были давно знакомы. Графиня представила меня дочери Александре Львовне, подруге ее и доктору Маковицкому.

Если меня спросят, какие кушанья подавались, какие напитки были предложены, и вообще станут допрашивать о чем-либо вещественном и домашнем, вроде сервировки или скатерти, о чем так много места отводится в иных «литературных» воспоминаниях, особенно женских,— то я заранее отказываюсь отвечать. Все было прекрасно, все отвечало самым придирчивым требованиям, давно всем известным правилам и взглядам нашего гениального писателя и «учителя жизни».

Насколько позволяло приличие, я не спускал глаз с Льва Николаевича. Он был в зимней, черной блузе, с черным кожа-

ным поясом, в обычных простых сапогах с видневшимися голенищами. По внешности это было единственное лицо, не отвечавшее большому залу, с окнами с двух сторон, с громадными портретами лучших живописцев, современными и старыми, известными по выставкам, с роялем, множеством книг на столах, не успевших еще упрятаться в библиотечные шкафы, и с двумя анфиладами комнат, параллельно идущими из этого зала в глубины поместительного каменного дома, где гости и родные могут без стеснений жить по неделям и месяцам, а хозяева не менять своих привычек и занятий. Но можно ли останавливаться на внешности, на одежде Льва Николаевича, когда слышишь его голос, приветливый, мягкий, иногда с легким отзвуком юмора или даже шутки, или когда находишься под притягательной силой его добрых блестящих глаз, в которых так и светятся правда, прямота, сердечность. Под такими чарующими влияниями не только нельзя удивляться, каким образом очутился в барской обстановке этот опростелый старый мужичок, но ищешь и оглядываешься, где разместились музы и все эмблемы славы, гения, мудрости.

Вопреки опасениям, вызванным известиями об обморочных припадках вследствие московских проводов, Лев Николаевич выглядел бодро, и скорая походка его нисколько не говорила об усталости. Спешу заявить, что, несмотря на возникшие было и проникшие в газеты тревожные известия, мною вынесены очень утешительные известия.

Надо заметить, что по поводу московских событий в Ясной Поляне проявляется некоторое различие в оценке. Графиня Софья Андреевна видит в них подтверждение тех опасений, с которыми она противилась предположенной было поездке Льва Николаевича в Стокгольм на международный съезд мира. Связанные с этим съездом волнения и, в особенности, морской переезд, крайне пагубно отразились бы на здоровье Льва Николаевича. Софья Андреевна очень довольна, потому что стокгольмский съезд не состоялся; но московские неожиданные манифестации в честь Льва Николаевича произвели самое отрадное впечатление, были светлым, теплым лучом среди тех неприятностей, которые чинились в последние годы «великому писателю земли русской». Выражалось, однако, и такое мнение, что даже ласка увлекающейся, восторженной толпы представлялась крайне грозным явлением, что были минуты, когда, казалось, эта ласка раздавит в своих объятиях любимого писателя, что не удастся его провести сквозь тысячи народа, волны которого бессознательно набегали на самих себя, на передние ряды, не зная, что делалось впереди. Как бы то ни было, в конце концов все обошлось благополучно,

и раздавшийся в Москве «глас народа» оставил в Ясной Поляне самое отрадное впечатление.

Лев Николаевич много расспрашивал о М. М. Стасюлевиче¹ по поводу недавнего его чествования и вспоминал, как М. М. писал ему однажды в виде шуточного упрека, что Л. Н. все-де «гарцует на коне» в деревне. Толстой, по-видимому, не знал, что М. М. Стасюлевич на два года старше его и родился тоже 28-го августа. С особым участием спрашивал Лев Николаевич и об участии А. М. Хирьякова² и с грустью удостоверился, что ему не миновать годового заключения за какие-то вины «по делам печати».

— Вот вы всю жизнь сражались с цензурой,— обратился ко мне Лев Николаевич.— Как же вам удалось избежать этой участи?

— Право, не знаю,— отвечал я,— может быть, потому, что я юрист, но ни я никогда не беспокоил суды, ни меня никто не тянул туда, ни власти, ни частные лица.

А в настоящее время, может быть, меня считают слишком старым и безвредным, хотя случалось, что за мои статьи налагались штрафы теми лицами, которые были в кадетской куртке или в гимназическом мундирчике, когда я писал о том же, что им представляется теперь опасным или вредоносным.

Заинтересовался Лев Николаевич и кассой взаимопомощи литераторов и ученых³, но мне довольно трудно было изложить ее основания, которые с первого взгляда всегда представляются неясными и довольно сложными. Но всего внимательнее отнесся Лев Николаевич к моей долговременной болезни и неожиданному выздоровлению. Когда я сказал, что не могу отличить действительно происходившего от болезненной грезы, тяжелого, страдальческого сна, Лев Николаевич подтвердил, что нечто подобное испытывал и он сам.

— А что же врачи?— спросил он.

— Да последние шесть лет я вовсе не лечился, а когда они лечили мою больную душу, то я допекал расспросами: не могут ли они указать мне, где находится душа, и если она не в пятках, то как они берутся врачевать то, чего не видят, о чем имеют самые смутные понятия. Я только и стал оправляться, когда вырвался из лечебницы,— прибавил я.

Лев Николаевич, по-видимому, очень остался доволен моим рассказом и выводами и сочувственно поддакивал, когда я передавал, какие страдания я испытывал, когда боялся, что разучился писать. Графиня Софья Андреевна, присутствовавшая при этой беседе, заявила, что Льву Николаевичу иногда приходила тревожная мысль о психической болезни, и она давала ему обещание ни под каким предлогом

не отдавать его в больницу или на произвол врачей. <...>

Яснополянский зал напомнил мне чрезвычайно уютную и привлекательную комнату в дачной местности около Петербурга, где могли собираться все члены семьи и гости, не мешая друг другу и занимаясь каждый своим делом, для беседы, для чтения и музыки.

Особенно уютным местом в этом зале является тот угол, где находится большой круглый стол, на котором по вечерам горит высокая лампа с большим абажуром.

«За круглым столом» мы и беседовали после обеда. Вероятно, многие из посетителей Ясной Поляны знают этот стол и навсегда сохраняют в памяти все, что тут говорилось или читалось.

После приведенной уже мною беседы Лев Николаевич, по-видимому, несколько утомился; он ушел в свой кабинет. Я воспользовался этим случаем, чтобы осведомиться у графини Софьи Андреевны, как она относится к описаниям или отчетам о пребывании в Ясной Поляне?

Мое положение было и щекотливое, и ответственное. Я желал быть каким-то соглядатаем, чинить своего рода сыск или разведку, чтобы потом доставить «любопытный материал» для газет и их читателей, не справляясь с желаниями радушно принявших меня хозяев. Но, с другой стороны, на мне, как на писателе, лежала *обязанность* поделиться с бесчисленными почитателями Толстого моими впечатлениями, всем тем, что во мне самом, в моем уме и сердце, пришло во время моего свидания и общения с величайшим современным человеком. Хотя после многочисленных жизнеописаний и той богатой, обширной литературы, которая существует на всех языках о Толстом и образовалась при участии самых замечательных людей, очень трудно сказать что-нибудь новое, неизвестное, но все же, может быть, и запоздалое слово пригодится. Малейшая черта или подробность, относящаяся к такой личности, имеет известную ценность. Меня станут рашивать, и я должен буду отвечать.

Графиня Софья Андреевна быстро и не задумываясь освободила меня от всех сомнений.

— О, ведь мы живем, как в фонаре. Чего только о нас не пишут и не говорят. Мы давно привыкли и к критике, и к правде, и даже к самым враждебным, злобным и выдуманым сообщениям, толкам, пересудам. А ведь вы *наш*, — добавила Софья Андреевна, — не правда ли, вы *наш*?

Конечно, этот очаровательный ответ, дружески, доверчиво звучавший, превысил все мои ожидания. Я всегда был *их*, вместе со всеми истинными представителями русской и все-

общей литературы, с тех пор, как еще в молодости читал и потом много раз перечитывал любимейшие произведения величайшего художника слова и психолога, умеющего так *просто* писать и так глубоко захватывать самые сложные явления и личной, и общей, русской и общечеловеческой жизни; Толстой пишет *просто*, но всегда знает, *для чего* работает его перо. Оно всегда служило и служит высокой, идеальной цели. <...>

Кончился *первый день* моего пребывания в Ясной Поляне. Прощаясь с Софьей Андреевной, я справился о местных порядках, о неписаном уставе этой резиденции великого таланта. Она ложится поздно, посвящая много часов своим письменным занятиям, переписке. Лев Николаевич встает в 8 час. утра и идет гулять. В это время его избегают беспокоить. Он любит одинокие прогулки, отдается своим мыслям, что-нибудь обдумывает, статью ли или ответ на какой-нибудь письменный запрос по важному предмету. Он сам выходит в зал в обычные часы к семье, к посетителям, к завтраку, после полудня, к обеду в 6 часов и вечером, и уходит к себе, когда устает или желает работать. По-прежнему Лев Николаевич часто ездит верхом и особенно подвижен и общителен в ясные, хорошие дни. По дорогам ездить не любит, почему случаются те или другие приключения.

Летом или осенью какая-нибудь ветвь заденет или заросший травой пенёк попадет под ногу лошади, а зимой подвернется занесенная снегом канава или невидимая яма. Кто любит верховую езду, кому случалось пускать во всю мочь коня на охоте или на войне, тот поймет, почему Лев Николаевич избегает скучных, проторенных, заезженных дорог и предпочитает езду напрямик, по невидимым дорожкам, среди неведомых полей, где ближе к природе, к лесной чаще, к нетронутой первобытности. <...>

К завтраку, после полудня, в большом зале опять все ожило. К вчерашнему малочисленному обществу прибавился еще один гость. Приехал из Москвы талантливый пианист, профессор московской консерватории г. Гольденвейзер. Он тоже принадлежит к числу почитателей и друзей Л. Н. Толстого и каждое лето живет на даче вблизи Ясной Поляны. Его принимают как *своего*, близкого человека.

Лев Николаевич вернулся с прогулки бодрым, с оживленным цветом лица, с блестящими, сияющими глазами, как сияло в тот день небо. Никаких признаков усталости не замечалось. Разговор завязался около той работы, которая обычно кипит в Ясной Поляне.

Каждый день со всех концов света получают письма и кни-

ги, а иной раз и посылки с разного рода «вещественными знаками невестественных отношений»⁴, — как прекрасно выразился Гончаров. Писем почта приносит средним числом около тридцати в день. Их надо прочесть, разобрать по сортам, отложить требующие ответа и выделить в особенности те, на которые Лев Николаевич желает ответить лично. Подобная же классификация совершается и с книгами. Все они записываются, иные откладываются для просмотра, а остальные попадают в многочисленные шкафы, размещенные по всему дому.

Две комнаты отведены для писем и письменных занятий. Еще недавно в них работал в качестве секретаря Н. Н. Гусев, а теперь трудятся Александра Львовна и ее подруга. С их позволения я осмотрел эту *литературную лабораторию*, предназначенную для облегчения всемирных сношений «великого писателя земли русской» и для распространения его «учений о жизни». Все стены заняты полками со множеством разделений, наполненными пачками уже отработанных писем. Текущей, еще незаконченной перепиской завалены столы. Я попросил Александру Львовну <...> и ее подругу показать мне одно письмо (о нем будет еще речь впереди). Мне немедленно отыскали это письмо с конвертом и вложенным в него черновым ответом, написанным собственноручно Львом Николаевичем⁵.

Письмо было от крестьянина и касалось религиозных сомнений и вопросов. Известно, что почерк Льва Николаевича необычайно еще тверд, крупен и разборчив; но рукописи его, со множеством переделок и поправок, обличая быстрое, вдохновенное творчество, чудесно соединенное с тщательной, всесторонне обдуманной обработкой, очень часто представляют трудно читаемые (для непривычного глаза) гвоздеобразные письмена. В «лаборатории» они переписываются (в настоящее время или при посредстве машин) и отправляются по назначению в благообразном, четком виде, а подлинники, «оригиналы», как говорится на типографском языке, хранятся. Дальнейший путь этого ежедневно нарастающего рукописного труда заканчивается теперь в музее, образовавшемся временно в Москве по почину графини Софьи Андреевны Толстой. Впоследствии, надо надеяться, все это культурное и историко-литературное богатство сделается достоянием открытого в Петербурге общества имени Толстого⁶, когда осуществится положенная в основу его мысль о сооружении специального литературного дома-музея в честь великого писателя.

Из яснополянской «литературной лаборатории», — как мною названы эти две комнаты, — я вышел с тем чувством глубочайшего уважения, которое понятно для каждого просвещенного

человека, а тем более для писателя или историка, и которое возникает всякий раз при посещении ученого или просветительного учреждения. По счастью, в яснополянскую «лабораторию» еще не заглядывало «недреманое око», в избытке неудачной подозрительности; но из нее вырван и увезен, неведомо «за что и почему», в так называемом «административном порядке», без следствия и суда, главный, привычный, крайне необходимый труженик.

По моему глубочайшему убеждению, «престиж власти», не говоря уже о конституции и «правовом порядке», много выиграл бы, если бы в Ясную Поляну был возвращен главный сотрудник гениального, во всем свете чтимого писателя. Н. Н. Гусев обречен на бедствия и мучительное бездействие в одном из северных уездов Пермской губернии; не лучше ли, не полезнее ли ему трудиться в Ясной Поляне во имя культурной, у всех просвещенных народов высоко ценимой цели? Решительно не могу примириться с мыслью, чтобы правительству и государству было достойно и в каком-либо отношении выгодно напрасно карать Гусева и огорчать великого писателя, осложнять труды последних годов его жизни.

По своей любви к родине Лев Николаевич не может и не хочет покинуть Россию; но нельзя вообразить какое-либо государство, которое отказалось бы от чести оказать ему самое широкое гостеприимство.

А у нас родину-мать превращают в злую мачеху!

Я спрашивал Льва Николаевича, и он мне ответил коротко и ясно:

— Ни в каких «революциях» Гусев не повинен. Это ни с чем не сообразное подозрение. <...>

Мною уже переданы подробности о той трудной работе, которую доставляют письма, во множестве получаемые в Ясной Поляне. Лев Николаевич не без юмора, благодушно обрисовал мне главнейшее содержание этих писем и распределил их по отделам, установил классификацию этой переписки.

Мною записана эта «классификация» в тот же день, при помощи Софьи Андреевны, в таком виде:

1) Письма *просительные*, распадающиеся на два подотдела: а) о деньгах и б) о покровительстве, приискании мест и т. п. Это самая значительная категория.

2) Письма *с рукописями*, с желанием узнать мнение, получить одобрение, содействие в напечатании.

3) Письма *бранные*, очень часто с грубейшими ругательствами, бессодержательные и анонимные.

4) Письма об *автографах*, портретах, иной раз с «хитре-

цей», чтоб добиться ответа и этим путем получить более длинный автограф, нежели обычная подпись или надпись «на память».

5) Письма о *советах* и *назиданиях* в житейских затруднениях, брачных делах, в религиозных и философских вопросах и сомнениях, в важнейших политических, социальных и национальных столкновениях.

Наибольшее внимание и главнейшую личную работу Льва Николаевича вызывают, без сомнения, письма последней категории... На общие вопросы он отвечает печатно — статьями, брошюрами, рассказами. На личные вопросы и сомнения даются письменные ответы, большею частью в переписанном виде. Особым уважением пользуются письма простых людей, крестьян, которых, как и детей, Толстой горячо любит и ценит часто гораздо более иных «ученых», за доброту, за здравый смысл и неиспорченную душу, восприимчивую к «закону Бога».

— Если на конверте надписано: «Толстову», а не Толстому, то я знаю уже, что пишет крестьянин, что брани тут не будет и что надо ответить, — сказал мне Лев Николаевич. <...>

...Никто более Толстого не отзывчив к текущей жизни: его она захватывает и самыми болезненными явлениями, малейшими признаками какого-нибудь улучшения; даже небольшой луч света в общей или частной жизни привлекает его внимание.

Зашел как-то разговор о новейших успехах воздухоплавания. Лев Николаевич желал выяснить разницу между аэропланами и дирижаблями.

— А вы полетели бы? — спросил он меня.

— Полетел бы.

И я рассказал, что давно знаком с генералом Кованькой⁷ и просил взять меня еще тогда, когда, кроме водородных «пузырей», предоставленных на волю ветру, да неудачных «летабельных крыльев», ничего лучшего не было. Со слов г. Кованько я сообщил, что полет не сопряжен с неприятностями, вроде качки и морской болезни, и что получается такое ощущение, что не летишь вверх, не поднимаешься, а будто земля опускается, уходит вниз. Лев Николаевич очень заинтересовался.

— Так земля опускается, уходит вниз? — переспросил он и добавил: — Это хорошо, это пригодится мне для одного сравнения.

Мне очень желалось узнать, для чего именно, для какого довода и в каком произведении это сравнение понадобится; но, верный принятому решению, я не обеспокоил Толстого своими расспросами.

Вечером около «круглого стола» Лев Николаевич играл в шахматы с г. Гольденвейзером. На вопрос, знаю ли я эту умную игру, я ответил, что очень ее любил, но должен был бросить. Она меня сильно волновала, и какая-нибудь неудачная партия мерещилась во сне. А Толстой играет спокойно и после двух партий, по-видимому, не чувствовал ни малейшего утомления. Удивительные жизненные силы! <...>

Во время шахматной игры Лев Николаевич неожиданно обратился ко мне:

— Мне говорили, что вы привезли мне свои книги. Где же они?

— Не для вас, а для яснополянской библиотеки, — ответил я. — Для вас едва ли они представляют какой-нибудь интерес.

Лев Николаевич взял мой сборник («Итоги»)⁸ и просмотрел оглавление.

— А, воспоминания... Я люблю воспоминания, непременно прочту, — сказал он.

Когда кончилась шахматная партия, Лев Николаевич встал и прошелся несколько раз мимо нас. Вдруг он шутливо, добродушно стал упрекать Софью Андреевну и меня, что мы все говорим о нем. Я не выдержал, меня потянуло к нему. Я взял его руку и ответил на необычайно мило выраженный укор.

— Лев Николаевич, извините, но разве возможно в вашем присутствии говорить о ком-либо, кроме вас?.. Я набираюсь даже смелости и решаюсь зачислиться в число тех просителей, которые надоедают вам просьбами о портрете, автографе, книжке... Подарите мне все это.

Он увел меня в свой кабинет и предложил выбрать любой из последних фотографических снимков.

— Всем этим в обилии снабжает меня Чертков.

Я выбрал кабинетный, наиболее большой и удачный грудной снимок. На нем, как нарочно, оказалось изречение самого Толстого о «законе Бога» и об одинаковой сущности его во все времена и для всех людей. Книжку Лев Николаевич сам выбрал для меня. Это «На каждый день» (за июнь) — труд, который Лев Николаевич считает самым важным в числе своих произведений. Вручая ее, он мне сказал:

— Прошу вас прочесть это непременно.

— Конечно, прочту и буду справляться с ее «изречениями» до конца жизни.

Надписи писал Лев Николаевич без чернильницы, каким-то особым пером, вынув его, кажется, из кармана; я слышал о таком пере, но в первый раз видел его. Перо, видно, всегда



*Толстой за работой.
Ноябрь — декабрь 1909 г. Фото С. А. Толстой.*

при нем. Мирное, небольшое орудие, а как бояться его, когда оно заговорит против зла.

В кабинет вошел г. Гольденвейзер, и, югда Лев Николаевич выполнил мое желание, мы обратились к нему с просьбой сыграть что-нибудь. Вернулись в зал, и известный московский пианист сел за рояль. Раздались чудные, задушевные звуки Шопена. Исполнено было прекрасно, сознательно несколько пьес, в том числе и Шумана.

Лев Николаевич слушал внимательно, задумчиво, не шевелясь. Мне казалось, что на глазах его показались слезы. Не могла великая душа не тронуться великой музыкой. Я завидовал пианисту.

Когда все смолкло и г. Гольденвейзер закрыл рояль, я напомнил, что появились новые сведения об отношениях Шопена и Жорж Занд и о ее влиянии на его творчество.

Толстой резко, односложно отозвался о писательнице, и разговор на этом оборвался.

«УТРО РОССИИ»

Н. ЛОПАТИН

ВЕСТИ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Приехал я к Толстому утром. Боялся, не явлюсь ли слишком рано, а между тем застал его уже возвращающимся с прогулки. Подвижной и легко загорающийся от каждой новой мысли, как всегда, он выглядел, однако, озабоченным, расстроенным.

— Как ваше здоровье, Лев Николаевич?

— Ничего. Отлично гулял сегодня утром, чувствовал себя великолепно, думал, что утренняя работа пойдет хорошо. Вдруг явилась какая-то барышня, требует разрешения разных вопросов, нервничает, ничего толком не может объяснить. Не знаю, как ее и успокоить!

Лев Николаевич разводит руками.

— Тяжело!

Но сейчас же, невольно переходя от мелкой заботы текущего часа к крупной, омрачающей целый период жизни, начинает говорить о современном положении вещей.

— Какое время! Какое ужасное время! Репрессии кошмаром нависли со всех сторон. Нельзя говорить, нельзя писать, нельзя печатать! Вы слышали, «Круг чтения» попал под запрет и в издании Горбунова-Посадова, и в издании Сытина?¹ Я только недавно узнал эту новость!

Лев Николаевич, говоря это, сильно волнуется. По всему видно, как глубоко затрагивает его этот вопрос. В львиной мощи его протеста чувствуется тоска пророка, которому нужна миллионная аудитория, которого от этой аудитории насильно удаляют.

Я пытаюсь перевести разговор на другую тему. Спрашиваю про текущие работы и узнаю, что на днях во всех зарубежных изданиях одновременно будет опубликована большая статья Льва Николаевича «Чингисхан», касающаяся вопросов русской современной действительности².

— Откуда взялось такое заглавие? — интересуюсь я.

— А это воспоминания о Герцене. Помните у него рассуждение о том, что сделал бы Чингисхан, будь у него в распоряжении телеграф, железные дороги и другие усовершенствования современной культуры³.

Разговаривая, переходим в столовую <...>.

На столе подан кофе, на рояле лежит только что принесенная почта.

В этой чудовищной груде газет, книг и писем неустрашимо разбирается Александра Львовна, дочь писателя, принявшая на себя функции личного секретаря, после высылки Н. Гусева. Продолжая свою работу, она любезно сообщает мне статистику состава ежедневной почты.

— Писем бывает штук 20—30 в день. Мы их всегда считаем. Сегодня, например, было 28. Но таких, которые действительно интересны, выбирается два, много три. Поступает масса просьб о денежной помощи. Приблизительно на сумму 1500—2000 руб. в день. Затем присылается много рукописей, для прочтения, особенно стихов. Большая часть—совсем плохих, даже безграмотных. Бывают также ругательные письма.

— И много?

— Нет, не очень. Все-таки почти каждый день. <...>

Лев Николаевич между тем удаляется в кабинет работать. Однако время от времени возвращается в столовую, вмешивается в общий разговор, потом снова уходит. Снизу получается известие, что курсистка хотела бы поговорить с ним⁴. Лев Николаевич, видимо, чувствует себя для этого слишком нервным.

— Пойди, поговори с нею, успокой ее как-нибудь! — говорит он одному из семейных, и в этих словах звучит хорошо известный завет Ясной Поляны: «Из этого дома никто не должен уходить неутешенным! Здесь неоскудевающая сокровищница духовной силы, частицу которой может получить всякий просящий!»

После перерыва, вызванного курсисткой, разговор касается

доклада, написанного для мирной конференции. Я узнаю уже известную новость, что в Берлине публичное прочтение этого доклада было запрещено. Тихое, убеждающее слово яснополянского отшельника показалось опасным для бряцающих оружием немцев. Соглашались разрешить чтение, но с такими выпусками, на которые Лев Николаевич не мог дать разрешения.

Прочтен был доклад целиком где-то в Швейцарии, но это, конечно, уже не имело большого значения.

Мне очень хотелось знать взгляд Льва Николаевича на некоторые текущие события. Начал расспрашивать, но меня постигло разочарование. Те факты, которые важны для нас, живущих сегодняшним днем, для него, мудреца, почти не существуют.

Он погружен в вопросы человеческой личности и судеб всего человечества. То же, что лежит между сферами этих двух понятий, интересует его мало. Он почти не читает газет. Только изредка просматривает «Русские Ведомости» или «Новую Русь». Деятельность Государственной Думы его не привлекает, потому что разбираемые в ней вопросы, с его точки зрения, недостаточно существенны.

— Ну, а успехи воздухоплавания? — спрашиваю я. — Они-то должны были бы затрогивать Льва Николаевича. Благодаря им может исчезнуть война, пожрав самую себя, сделавшись жестокой, до полной невозможности воевать.

— Нет, — отвечает Александра Львовна. — Отец не предвидит такого конца войнам. Он настаивает на том, чтобы люди прекратили сражаться на основании внутреннего убеждения в безнравственности этого занятия!

В это время возвращается куда-то исчезавший на полчаса Лев Николаевич. Оказывается, он не выдержал, пошел еще раз поговорить с курсисткой и добился наконец того, что успокоил ее, примирил с волновавшими ее вопросами.

Лицо его сияет сознанием принесенного облегчения, но снова начинается разговор о репрессиях и опять на это мудрое старческое лицо набегают волна грусти.

Он уходит в кабинет, но работе его в этот день, по-видимому, суждено часто прерываться. Через несколько минут он появляется опять в столовой с газетою в руках.

— Прочтите! — предлагает он, указывая на одно место печатающегося в газете «Выбранного чтения на каждый день». Я начинаю читать про себя.

— Нет, нет, вслух! — просит Лев Николаевич, и, читая вслух, я замечаю по его лицу, какую радость доставляет глубокая мысль этому человеку, живущему мудростью и для мудрости. <...>

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

ИВ. МИТРОПОЛЬСКИЙ

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

⟨...⟩ А. Г. Михелес (директор общества «Граммфон») передал Льву Николаевичу о намерении Акционерного Общества «Граммфон» выпустить пластинки специально для школ и народа, и Лев Николаевич горячо откликнулся на эту мысль.

— Давайте народу полезные развлечения, давайте ему на ваших пластинках в популярном изложении мысли и советы хороших писателей,— сказал он,— и ваша пластинка принесет такую же пользу, как и книга.

— Этого, собственно, мы и хотим достигнуть,— сказал А. Г. Михелес,— вступив в соглашение с «Обществом деятелей периодической печати»... Нами уже записан Вересаев, предполагается целый ряд других записей.

— Я вам дам свой сборник «На каждый день»,— прервал его Лев Николаевич,— и отмечу там наиболее популярные места. Советую вам ими воспользоваться для записей на пластинках¹.

На другой день он действительно передал А. Г. Михелесу этот сборник с собственноручными отметками.

Было произведено всего пять записей Л. Н. Толстого: две на русском языке, одна на французском и по одной на английском и немецком языках. Запись велась в библиотеке.

«РУССКОЕ СЛОВО»

А. С.

ТОРЖЕСТВО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(От нашего специального корреспондента)

Славное, с несколько резким ветром, солнечное утро. 20 минут дороги от станции бегут незаметно, и лошади, запряженные по-здешнему «гусем», уже катят по аллее всемирно известной усадьбы.

Всего только десятый час, а Лев Николаевич уже на прогулке.

— Когда назначено открытие библиотеки?

— В два часа. Князь Долгоруков¹ уже там. На деревне, первый дом направо.

Едем туда.

Все, что успеваешь схватить здесь глаз: деревья, пелена снега, искрящиеся на солнце просветы, женщины с ведром, приветливые, очевидно привыкшие к гостям, псы, дом, большая белая терраса с летней мебелью, лыжи у дверей, сломанная лопата — рождают одно, связанное с *ним* с *его* именем чувство.

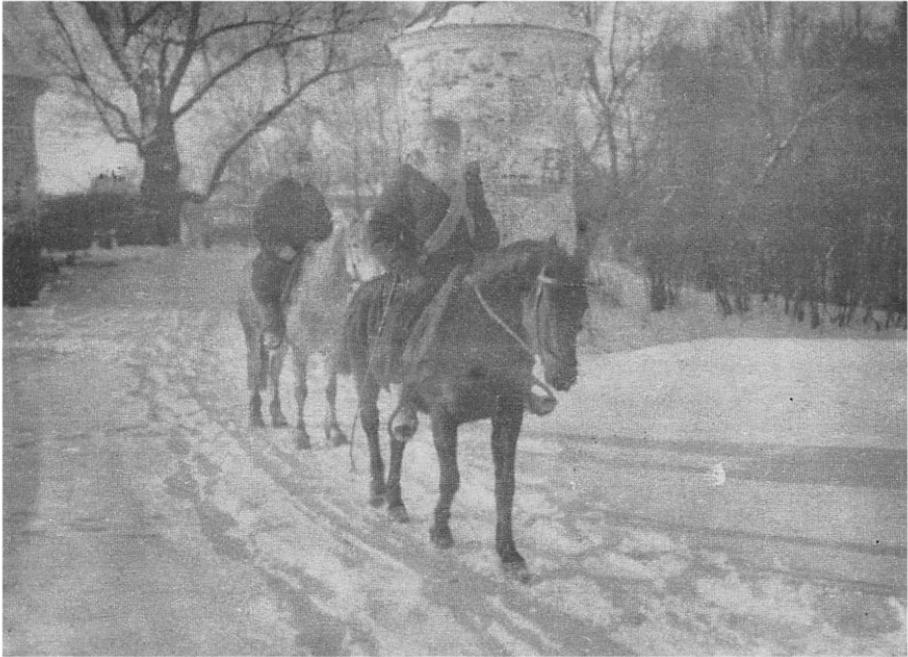
Здесь он ходит каждый день, там между деревьев, летом, то и дело мелькает его проворная фигура.

Как-то не верится, что великий человек так близко, — и это, в следующий момент, дает известную неудовлетворенность, почти разочарование.

Кн. Павел Дмитриевич Долгоруков действительно в библиотеке и спешно устанавливает в шкапы привезенные им накануне книги.

Книг много — три больших тюка.

Все они, не исключая самых дешевых, в переплетах и в общем представляют собою довольно полный подбор книг для чтения и самообразования. Не забыты, конечно, русские писатели-классики, и среди последних, разумеется, ближайший, как говорится, «виновник» возникновения яснополянской библиотеки — Лев Николаевич Толстой. <...>



*Толстой на лошади и Д. П. Маковицкий
31 янв. 1909 г.
Фото В. И. Савельева.*

Ответственной заведующей библиотекой будет графиня Софья Андреевна.

Для выдачи книг сначала пригласили учителя местной церковноприходской школы.

Он дал принципиальное согласие. Потом, после поездки в город, объявил, что лишен возможности принять на себя эти обязанности.

По городским слухам, ему будто бы там было сказано: служите или нам, или Толстому.

Вероятно, обязанности библиотекаря будут поручены кому-нибудь из служащих на усадьбе.

Пока П. Д. размещает на стенах картинки, в библиотеку заходят муж Татьяны Львовны М. С. Сухотин, составитель биографии Льва Николаевича П. И. Бирюков, Александра Львовна и Татьяна Львовна.

Последняя — в сопровождении своей маленькой дочери «Татьяны Татьяновны», как зовут ее в семье.



*Толстой на открытии народной библиотеки
31 янв. 1910 г.
Фото В. И. Савельева.*

Каждого приходящего из усадьбы непременно сопровождают одна или две собаки.

Все поочередно приносят известие, что Лев Николаевич вернулся с прогулки и работает.

Графиня Софья Андреевна уехала.

Из гостей находятся в усадьбе, кроме князя Долгорукова и П. И. Бирюкова, англичанка г-жа Шанкс², горячая последовательница и проповедница религиозно-нравственных идей Льва Николаевича, которые она, как говорят, уже успела провести в жизнь путем устройства на своей родине толстовской общины, или колонии.

К двум часам библиотека приведена в порядок: пол вымыт, прибита полочка для глобуса, с хозяйской половины принесены стол и несколько стульев. Снаружи, над крыльцом,

укреплена вывеска: «Народная яснополянская библиотека московского о-ва грамотности».

Время — к двум часам.

С крыльца библиотеки видна сквозь деревья аллея, идущая от яснополянского дома.

Откуда-то появившиеся мальчишки смотрят туда и беспрестанно сообщают:

— Идет граф!..

И через минуту:

— Нет, не он. Это наши ребята катаются.

Проходит еще несколько минут нетерпеливого ожидания.

На аллее между деревьями мелькает силуэт всадника на лошади, которого сначала принимают за Льва Николаевича.

Но это едет доктор Душан Петрович, ведя в поводу другую лошадь.

На этот раз, однако, мальчишки не ошибаются.

Лев Николаевич действительно идет.

Поднимаясь в гору, он слегка горбится и опирается на палку.

Впереди него, в двух шагах, с палкой в зубах, с важным видом шествует черный пудель Маркиз.

За Львом Николаевичем идут Татьяна и Александра Львовны, М. С. Сухотин, «Татьяна Татьяновна», кн. Долгоруков, г-жа Шанкс, П. И. Бирюков и др.

Маленькая библиотечная комната наполняется настолько, что нельзя уже отворить дверь.

Тут же, в группе близких Льву Николаевичу, несколько крестьян, с которыми он здоровается за руку.

— А где же ученики Льва Николаевича? — беспокоится кто-то.

— Семен, Тарас и Давид, — с улыбкой называет их Лев Николаевич³.

За ними хотят послать, но в этот момент они приходят сами.

Лев Николаевич садится у стола.

Он кажется несколько утомленным.

В качестве председателя московского общества грамотности кн. П. Д. Долгоруков обращается к нему с речью <...>:

«Члены московского общества грамотности, учреждая эту библиотеку, получают огромное удовлетворение, если доставят вам хотя маленькое удовольствие таким способом чествования вашего восьмидесятилетия. Мы надеемся, что библиотека эта послужит делу просвещения близких вам людей — жителей этой округи.»

Вам же, дорогой Лев Николаевич,— заключил свою речь князь,— члены московского общества грамотности низко кланяются и желают вам сил и здоровья на возможно долгие годы на благо и для просвещения не только людей этой округи, но и во всей России, и далеко за ее пределами».

— Я очень благодарен,— отвечает Лев Николаевич,— и уверен, что и мои близкие благодарны.

Усталость оставляет его, и он, поднявшись со стула, подходит к картинам.

Князь Долгоруков дает краткие объяснения.

— Вот виды России...

— Да, хорошие виды,— замечает Лев Николаевич,— но их не так любят, как картинки исторические.

От картин Лев Николаевич переходит к шкапам с книгами, внимательно просматривает последние и делает замечания.

— Дмитриев. Повести и рассказы. В первый раз узнаю о таком писателе⁴.

— Это что такое? Бенкур?

П. И. Бирюков передает содержание книги.

— Диккенс, полное собрание — это хорошо,— одобряет Лев Николаевич.

— Лермонтов, Гоголь... А Пушкин есть?

— Есть,— отвечает г. Бирюков.

— Сочинения Некрасова,— смотря на корешки книг, продолжает Лев Николаевич.— «Записки из мертвого дома» Достоевского. Достоевский не весь?

Кн. Долгоруков объясняет, что Достоевского имеются лишь избранные произведения.

В течение каких-нибудь пяти минут Лев Николаевич успевает ознакомиться со всей библиотекой.

Кн. П. Д. Долгоруков, показывая книгу для записи, напоминает Льву Николаевичу, что, согласно его указанию, в нее внесена графа для отзывов читателей о прочитанном.

— Да, это очень важно,— говорит Лев Николаевич.

Когда он выходит вместе со всеми на крыльцо, фотограф просит разрешения снять участников торжества.

Лев Николаевич покорно останавливается. Близкие окружают его тесной группой. Возле крыльца направо становится чучка его бывших учеников.

Аппарат щелкает.

— Теперь все?— кротко осведомляется Лев Николаевич.

Ему подают лошадь, которая что-то упрямится, пока Александра Львовна не берет ее под уздцы.

Лев Николаевич садится и, в сопровождении доктора Душана Петровича, едет на свою обычную прогулку.

Его твердая посадка на седле вызывает общую похвалу. — Он сегодня чудно себя чувствует! — вырывается у Татьяны Львовны.

Оказывается, что и теперь еще «не все».

Когда Лев Николаевич, миновав усадьбу, направляет лошадь на дорогу к Засеке, фотограф опять вырастает перед ним с своим аппаратом.

И издали видно, как Лев Николаевич, задержав лошадь, внов покорно останавливается и «позирует».

Едва гости из усадьбы уходят, как на смену им, словно вода из прорвавшейся плотины, в библиотеку вливается толпа деревенских ребят, сейчас же с жадностью принимающихся рассматривать интересные картины.

Задержавшийся здесь кн. Долгоруков напоминает им о необходимости бережного отношения к картинам.

— Тише! Так нельзя. Вы изорвете!..

Весь вечер 31-го января Лев Николаевич был в самом лучшем расположении духа.

Оживленно беседовал с окружающими, читал, играл в шахматы с кн. П. Д. Долгоруковым.

Несколько раз разговор заходил о только что открытой библиотеке, и Лев Николаевич выразил намерение лично просмотреть книги и сделать, какие он найдет нужными, указания об изъятии некоторых книг и пополнении библиотеки новыми.

«РУССКОЕ СЛОВО»

П. СЕРГЕЕНКО

ВЕЧЕР В ЯСНОЙ

⟨...⟩ В вагоне мне рассказывали о замечательном эпизоде, случившемся недавно со Львом Николаевичем в Туле.

В судебной палате судили крестьян Денисовых¹. Дело было темное и запутанное. Судили, как в большинстве случаев судят.

Вдруг в зал суда вошел старик с типическими чертами русского крестьянина и, севши, начал прислушиваться.

Кто-то узнал старика, и по залу пронесли магические слова: «Лев Толстой здесь!»

И случилось не поддающееся описанию. Зал суда преобра-

зился, как по мановению волшебства. Гнетущая атмосфера исчезла. Все стали неузнаваемы.

И когда прокурор, волнуясь и краснея, начал говорить обвинительную речь, то всем было ясно, что и он прежде всего живой человек, взволнованный и потрясенный случившимся.

И слова обвинителя говорили одно. А все его взволнованное существо доказывало другое, что нельзя было подвести ни под какую статью уложения о наказаниях.

Защитник тоже очень волновался. Шутка ли: надо было проповедовать человеческое в присутствии представителя человечества!

Впрочем, присутствовавшие мало обращали внимания как на прокурора, так и на защитника. Они прислушивались к *иному* голосу, который убедительнее всех прокуроров говорил им, что «на земле мир» возможен только тогда, когда созреет в «человецех благоволение».

И *этот* голос одержал победу: подсудимые были оправданы.

* * *

Полозья скрипят. Бубенцы звенят. Скоро и Ясная Поляна.

Мы проезжаем деревню с широкой засугробившейся улицей и спускаемся с небольшой горы в старинный седой парк с просвечивающими между деревьев огнями.

Вместе со мною подъезжает к крыльцу молодой человек, студент Б.², поселившийся невдалеке от Ясной Поляны. Его мечта — заменить собою Н. Н. Гусева и хоть немного помочь Льву Николаевичу в его работах.

Мы вместе входим в прихожую с книжными шкапами и тут же знакомимся.

Слуга сообщает, что Лев Николаевич совершенно здоров и сидит наверху, в столовой.

Я поднимаюсь по скрипучей лестнице наверх. В большой, полуосвещенной комнате, у длинного стола с цветами сидела семья Толстых. Лев Николаевич играл в шахматы с своим зятем М. С. Сухотиным.

С первого взгляда я не нашел во Льве Николаевиче никакой перемены. Но затем мне показалось, что в лице его время от времени появлялись тени усталости и грусти. И было такое впечатление, будто он только что вернулся с утомительной прогулки, расставшись надолго с милым другом.

Эти «тени» появлялись не раз в течение вечера, проведенного мною в Ясной Поляне.

Особенно заметно это было, когда за чаем зашла речь о России и плохой жизни наших крестьян. Л. Н. слушал обвинение с грустным видом, и когда заговорил, то в нем сразу вспыхнули горячие ноты в защиту народа.

— Если народ наш,— сказал Л. Н.,— живет плохо, то одна из главных причин заключается в том, что мы мерзки и живем отвратительно, живем, как паразиты...

Льву Николаевичу стали возражать. И купцы-де, и ученые, и фабриканты тоже не живут трудами своих рук.

Но Л. Н., видимо, нашел эти аргументы настолько незначительными, что даже и не возражал на них, а перенес беседу на свою поездку в Тулу.

Он около 40 лет не был на суде³ и ездил в Тулу вместе со своим старым приятелем и единомышленником М. В. Булыгиным⁴, который должен был выступить на суде в качестве защитника. И Льва Николаевича поразило в суде бросающееся в глаза несоответствие между *правом* и *правдой*. Чем дальше правда, тем все яснее и проще на суде. Чем ближе правда, тем труднее суду разобраться в ней и выйти с честью из своего положения.

Таково приблизительно было впечатление Льва Николаевича.

Лев Николаевич рассказал, как он делал в Туле попытки, чтобы повидаться с одним подсудимым и по-человечески поговорить с ним. В имении Фигнеров (певцы)⁵, невдалеке от Ясной Поляны, один из рабочих убил кинжалом лесного порубщика и теперь сидит в тюрьме. С ним-то и хотелось Льву Николаевичу побеседовать.

— Помимо сего,— сказал он,— меня еще очень интересует психология этого человека. Убил *кинжалом* такого же мужика, как и сам. Почему кинжалом? И откуда у него кинжал?

Но все его старания повидаться в Туле с убийцей не привели, однако, к желанной цели. Барьеры оказались непреодолимыми даже и для Толстого.

А ему, видимо, необходимо это было для разрешения какой-то важной задачи, занимающей его, потому что он сейчас же как-то связал рассказ об убийце с полученным письмом от одного рабочего из Сибири.

И, не сгоняя с лица грустной тени и все тем же печально-

недоумевающим тоном, каким он говорил о суде, Л. Н. начал передавать содержание полученного письма. Но на полужае остановился.

— Нет, нет!.. Необходимо прочесть самое письмо.

Доктор и друг Льва Николаевича, Душан Петрович, быстро, но бесшумно и молчаливо приносит нужное письмо.

Стараясь подавлять волнение, Л. Н. начал читать.

Письмо было очень сильно по языку и лаконизму аргументаций, искренно по тону и ужасающе по содержанию. Неведомый корреспондент старался, с дружелюбными вставками, убедить Льва Николаевича, что делами любви на этом свете ничего не добьешься, а можно улучшить свое положение только упорной и беспощадной борьбой, уничтожая своих врагов и *даже их детей*, чтобы очистить поле от сорных трав.

В заключение корреспондент выражал сожаление, что Льву Николаевичу не придется, вероятно, дожить до этих счастливых дней...

— Слава богу, что не доживу, — проговорил Л. Н. с страдальческим выражением. И глаза его затуманились.

Он ответил на это письмо⁶, характер которого не является исключительным за последнее время. И всякий раз в подобных случаях Льву Николаевичу хочется помочь людям в самом главном для них: в указании страшной пропасти, к которой может привести заблуждающийся ум...

* * *

Сила вещей так складывает в настоящее время жизнь Льва Николаевича, что он вынужден бывает отдавать и большую часть своего времени, и наивысшее напряжение своей души переписке с неизвестными ему людьми, обращающимися в Ясную Поляну со своими скорбями, упованиями и всякими «проклятыми вопросами» со всех концов мира...

Но noblesse oblige — как Л. Н. сам иногда характеризует свое положение.

В последнее время в Ясную Поляну стали направляться запросы по поводу кооперативного движения в России. И Л. Н. горячо откликается на эти запросы, заявив недавно в полупуш-ливой форме, что в настоящее время в России единственное приличное занятие для порядочных людей — это кооперация.

Кроме писем, у Л. Н. в настоящее время, как всегда, не-

сколько начатых работ. Недавно он окончил два очерка, один — в виде сна, другой — из деревенской жизни⁷.

Но оба отложил до поры до времени. На очереди более назревшее.

— Работы на триста лет, а жить осталось несколько дней,— говорит он.

Но да продлятся эти дни еще надолго ко благу людей!

«РУССКОЕ СЛОВО»

А. П(АНКРАТОВ)

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(От нашего корреспондента)

По пути на Юг я заехал в Ясную Поляну. Ехать мимо и не заехать к Л. Н. Толстому непростительно для журналиста. Тихий, затерянный сейчас в сугробах снега, дом великого писателя дает всегда столько нового, хорошего...

Лев Николаевич только что вернулся с обычной продолжительной прогулки. Бодрый, свежий...

— Раздавал сейчас книжечки крестьянам,— сказал он, войдя ко мне в «нижнюю» комнату.

Два, три его ласковых слова, и моя робость исчезла. Мы разговорились. Я спросил его о «Чингис-хане». Эту статью он написал недели две тому назад.

— Она не для нашей печати!— сказал он.— Разве можно... Я назвал ее сначала «Анархизм». В ней я восстаю против власти...

«Чингис-хан» будет напечатан за границей, в Лондоне.

— Я написал недавно еще три статьи: «Три дня в деревне»¹. Это можно печатать и у нас.

В первой статье говорится о бродягах и странниках, которых так много ходит по деревням и селам. Во второй, озаглавленной: «Живущие и умирающие», описывается печальная жизнь крестьян. В третьей говорится о податях.

Л. Н. Толстой не интересуется теперь художественной литературой, редко читает ее и сам совсем не пишет художественными образами. Его «Три дня в деревне» — простое репортерское изображение деревенской жизни, с моралистическими выводами.

Заговорили о Туле, откуда я только что приехал. Об адвокате В. О. Гольденблате...²

— Я все к нему посылаю крестьян. Он, наверно, тяготится?.. Вот недавно послал к нему с одним, очень неприятным для меня, судебным делом. Такой нехороший случай. Один священник обольстил жену своего церковного сторожа. Муж застал их на колокольне, собралась толпа прихожан.

Я слышал уже об этом деле от В. О. Гольденבלата.

— Мне очень неприятно говорить о таком деле, — продолжал Лев Николаевич, — наши крестьяне и так ненавидят духовенство. А ведь и между духовенством есть хорошие люди...

Я передал со слов В. О. Гольденבלата, что, как выясняется, дело обстояло не так: сторож и его жена мстили священнику за что-то и сами создали картину обольщения им женщины, улучив удобный момент, когда священник был на колокольне.

— Я-то слышал одну сторону, — сказал Л. Н., — это хорошо, что священник оказывается невиновным...

И другое дело направил недавно Л. Н. к В. О. Гольденבלату. Тоже тяжелый случай из жизни деревни. Крестьянин постучал в избу своего соседа. Ему отперла жена соседа. Он повалил ее на пол и хотел изнасиловать. Муж ее был в избе. Увидал, схватил топор и убил насильника на месте.

Все эти «дела» всегда очень волнуют Л. Н., так живо принимающего к сердцу нужды проходящих к нему крестьян.

Мы простились. Л. Н. легкой походкой прошел наверх заниматься. Оттуда доносился стук пишущей машинки.

«УТРО РОССИИ»

МИСТЕР РЭЙ (С. С. РАЕВСКИЙ)

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ У Л. Н. ТОЛСТОГО

Как уже сообщала наша газета, Л. Н. Андреев проездом из Орла в Москву был у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Эта давножданная, но не налаживавшаяся по разным причинам встреча двух русских писателей происходила в чрезвычайно интересной обстановке. По нашему поручению корреспондент «Утра России» был специально командирован в Финляндию и со слов Л. Н. Андреева записал содержание беседы с Л. Н. Толстым:



*Толстой и Л. Андреев 22 апр. 1910 г.
Фото В. Ф. Булгакова.*

Отправляясь по поручению редакции «Утра России» в Финляндию, я опасался, что застаю Л. Н. Андреева слишком утомленным дорогой. Но опасения мои оказались совершенно напрасными — Леонид Николаевич нисколько не чувствует усталости после долгого пути, с увлечением отдается занятиям цветной фотографии и почтительно выслушивает критиков, немилосердно бранящих его опыты с масляными красками. Гостей у него, как всегда, полон дом. С увлечением и много рассказывает Леонид Николаевич о своей поездке к Толстому.

Часть из того, что было рассказано, мы и представляем, с согласия Леонида Николаевича, нашим читателям.

— Он светится весь, — говорит он о Льве Николаевиче. И частые повторения слов «светозарность, святость, сияние» производят такое впечатление, точно поездка в Ясную Поляну была для него паломничеством.

На первых же ступеньках яснополянского дома ему довелось встретиться с теми особенными людьми, которые постоянно обращаются к Льву Николаевичу за помощью. Это люди удивительной искренности, люди, непременно несущие в жизни какое-нибудь тяжелое испытание. На этот раз на террасе Льва Николаевича ожидала дама с двумя дочерьми-гимназистками — одной из них было 13, другой — 15 лет. Андреев впоследствии встретился с этой дамой на станции — ее испытание заключалось в том, что дочери ее проникнуты самыми пошлыми интересами. Своими хулиганскими выходками они привели ее в совершенное отчаяние, и она решила поехать к Толстому, чтобы тот повлиял на них... Но, по заявлению самих девиц, Лев Николаевич «даже не понравился им».

Приезд Андреева совпал с получением в Ясной Поляне известия о тяжелой болезни Александры Львовны. Но, с другой стороны, встреча была удачна, так как не было посторонних людей, и Лев Николаевич свободно располагал своим временем.

Непосредственно за обменом приветствий состоялась прогулка, в которой приняли участие Софья Андреевна и Михаил Львович. Но вскоре писатели остались одни. Лев Николаевич водил своего гостя по самым глухим местам, нигде не придерживаясь дороги, тщательно избегая даже тропинок. Идет Лев Николаевич очень легко, ничуть не задыхаясь, и ориентируется с поразительной легкостью.

Темы разговора были разнообразные.

— Я не предполагал застать вас дома, — сказал, между прочим, Леонид Николаевич, — подъезжая, я видел кого-то проезжавшего верхом, и мне показалось, что это вы.

— Нет, с сегодняшнего дня я больше не катаюсь, — ответил Лев Николаевич, — это вызывает нехорошие чувства.

Только впоследствии Андреев узнал причину, заставившую Льва Николаевича отказаться от любимых прогулок. На этих днях к яснополянскому дому подкатил какой-то старый, седой полковник, разодетый, как на парад, в орденах и отличиях². Он приехал «обличать» Льва Николаевича. Между прочим, он указал на поездки верхом — это должно производить на крестьян нехорошее впечатление.

— Да и лошадь совсем старая...

— Старая-то старая, а красивая. Нехорошо.

Неизвестно, какие еще обвинения представил полковник, но только, кончив беседу с Львом Николаевичем, он заплакал и воскликнул, обращаясь к Татьяне Львовне:

— Вы знаете, кто я? Я — предатель!.. Я написал в стихах обличение Льва Николаевича, а теперь я вижу, что Лев Николаевич — святой человек. Вот, посмотрите...

И он вытащил из кармана брошюрку.

— Их четыре тысячи отпечатано, и я должен теперь уничтожить их!

Полковник уехал расстроенный, а Лев Николаевич категорически отказался от верховой езды — необходимого моциона, о любви к которому Льва Николаевича излишне говорить. Домашние очень обеспокоены этим отказом, так как возле дома Лев Николаевич гулять не любит, а дальние прогулки для него слишком утомительны.

Из других интересных посещений Лев Николаевич рассказывал о двух японских философах³, бывших у него накануне. Но к Японии он не относится с большой симпатией — он видит за японцами стремление к внешней цивилизации; совершенно иначе он относится к другим восточным народам, и много раз подчеркивал свою связь с китайцами и индусами. Постоянная переписка и свидания с лучшими представителями этих народов укрепляют в нем давнее убеждение, что *ex oriente — lux**.

Погода, прекрасная с утра, стала портиться. Нашли тучи, зашумел ветер. Уже началась гроза с сильным дождем, когда показался старый каменный флигель, в котором никто не живет; и под каменным навесом крыльца счастливо укрылись писатели, причем последние шаги Лев Николаевич пробежал бегом. И было вовремя: воздух резанул сильный град...

Тут же по близости бродила, не умея укрыться от дождя и задирая на голову красный сарафан, деревенская дурочка Паша⁴.

* свет — с востока (лат.).

— Что, Паша, промокла? — окликнул ласково Лев Николаевич. — Иди к нам, здесь сухо.

Дурочка свернула с дороги и зашла под навес.

— Ну, вот... А наряд-то свой попортила, — ласково говорил Лев Николаевич, разглядывая дурочку.

А дурочка смеялась и что-то бормотала в ответ.

Когда немного стихла гроза, писатели вышли из своего убежища и вторично попали под дождь возле самого дома. Здесь Лев Николаевич снова слегка побежал навстречу домашним, вышедшим с плащами и зонтиками.

За обедом велись деревенские разговоры: о грозе, о том, кто кого видел и на какой лошади проехал встречный; о том, что в такой-то деревне сошла баба с ума... Поднялся вопрос: пьяницы или не пьяницы горяченские мужики? Юноша Чертков (сын В. Г. Черткова)⁵ сказал:

— Да у них репутация такая.

Лев Николаевич возразил:

— Вот так бывает: создается репутация, а потом и не отвяжешься.

И, слегка подумав, добавил добродушно:

— Хотя пьют-то они сильно...

Неожиданно обед был прерван: послышался издали звон бубенцов, и к крыльцу подкатила лихая тройка. Доложили, что приехал некто Б-в, молодой и разгульный, часто выпивающий господин⁶. Вышел к нему Михаил Львович.

— Ну, что? — с интересом, весь сияя, каким-то мягким, внутренним смехом спросил Лев Николаевич.

— Да приехал пьяный совсем, — ответил Михаил Львович. — Товарища с собой привез — так тот совсем не встает, бормочет что-то... Говорит, что хотел бы о душе побеседовать.

— Ну, а ты что сказал?

— Да сказал, что он выпил и пусть придет, когда проспится.

— Ну, а он?

— А он говорит, что может только пьяный. Трезвый боится.

Лев Николаевич тихо засмеялся и сказал с крайним добродушием, ни к кому, собственно, не обращаясь:

— Я люблю пьяниц.

И долго жалел о том, что не приняли пьяного, разгульного, но, видимо, не злого Б-ва.

После обеда, за чаем, коснулись вопроса об упадке литературы, и Лев Николаевич сказал:

— Кто теперь пишет на Западе? Вот во Франции никого нет. А были Гюго, Мопассан, Золя. Да и у нас были...

А еще раньше, во время прогулки по лесу, Лев Николаевич жаловался, что ничего не понимает в стихах современных поэтов.

— Может быть, вы знаете, для чего они так пишут? — спросил он Леонида Николаевича.

Но Леонид Николаевич не мог ему ответить.

— Может быть, меня Фет испортил, но не могу я помириться с этой их непростотою. А как хорошо писал Фет о весне...

И с тихой задумчивостью, глядя под ноги на молодую травку, Лев Николаевич сказал стихи о душистой черемухе, о весенних зорях...

Вообще, о литературе говорилось много.

Лев Николаевич не успевает совершенно следить за литературой, да и не имеет особенной охоты, занятый религиозно-философскими вопросами. Целый ряд писателей, о которых с большой похвалой говорил Леонид Николаевич, оказались совершенно неизвестными Льву Николаевичу (С. Ценский, Крюков и некоторые другие)⁷. О Куприне⁸ Лев Николаевич беседовал с большим интересом и удовольствием; сам разыскал номер «Утра России», в котором был напечатан рассказ Куприна «По-семейному» — очень искренний, красивый и ясный, как определил его Леонид Николаевич; сам же вслух и прочел его, и только к концу остановился и сказал, обращаясь к Ольге Львовне⁹:

— Кажется, очень чувствителен конец, а я теперь слаб стал — прочти ты.

Спрашивал Лев Николаевич и о критиках. Между прочим, Леонид Николаевич указал на Чуковского, который умеет и смеет касаться тем, до которых не решаются спуститься высокопоставленные критики. Как на образец, он указал на статью Чуковского о кинематографе¹⁰ — этом новом «художественном» явлении последних дней, имеющем такое громадное влияние на толпу. Имея в виду именно это влияние, Леонид Николаевич рассказал о своих впечатлениях от русского и заграничного кинематографа; упомянул о своем совете русскому кинематографисту Дранкову устроить конкурс для писателей в целях создания лучшего репертуара. Эта мысль, видимо, понравилась Льву Николаевичу, и несколько раз он возвращался к этой теме, внимательно и подробно расспрашивая.

После того разговор перешел на общественные темы: о массовых самоубийствах, о казнях. Волнуясь, Лев Николаевич прочел несколько выдержек из известной статьи о самоубийствах доктора Жбанкова, напечатанной в «Современном Мире»¹¹.

Позднее Лев Николаевич встал из-за стола, и Софья Андреевна искренно и просто посвятила Леонида Николае-

вича в жизнь яснополянского дома. Много рассказывала она о семейных делах, о жизни своей с Львом Николаевичем, водила его в свою комнату. Все большое хозяйство, все дела по изданию лежат на руках Софьи Андреевны. До 93-го года она вела записки о жизни Льва Николаевича¹².

— Это теперь,— сказала она,— знают все подробности о жизни Льва Николаевича, а тогда ведь никого не было.

Насколько велики ее труды и заботы и какое значение имеют они для всех, почитающих Льва Николаевича, показывает недавнее открытие: в старых бумагах она нашла письмо Льва Николаевича, помеченное 52-м годом и адресованное к одному из его друзей¹³. В нем Лев Николаевич просит все скверные, слабые и «пошлые» места в «Детстве» и «Отрочестве» считать делом рук цензуры... И сейчас она занята разборкой рукописей. Это громадный труд. Все это на клочках, а привычка Льва Николаевича не дописывать слова страшно затрудняет сличение. Над этим работает несколько человек. В течение вечера действительно к ней постоянно подходили с вопросом: «Что написано?»

Энергичная, увлекающаяся Софья Андреевна кажется совсем молодой.

— Недавно,— рассказывала она,— захотелось музыки. Села и сыграла сонату Бетховена. И Левушка сидел и слушал. И почувствовала я себя совсем молодой...

Между прочим, Софья Андреевна рассказывала о своем посещении в Москве Литературно-Художественного кружка. Стахович читал доклад о Льве Николаевиче, и ей были устроены шумные овации. После того ей показали помещение кружка.

— И вдруг вижу: сидят люди за зелеными столами и играют, и у всех дам лица перекошены от азарта. И я говорю: да это игорный дом! При чем тут бюст Льва Николаевича? И вообще, какое отношение имеет Лев Николаевич к игорному дому?

В конце вечера Софья Андреевна прочла новый рассказ Льва Николаевича: «После бала»¹⁴.

Уходя спать и пожимая руку Андреева, Лев Николаевич сказал:

— Ого, какой вы сильный! Вы, вероятно, занимаетесь гимнастикой?

— Нет, не занимаюсь,— ответил, улыбаясь, Леонид Николаевич, встряхивая руку.

И у самого у него рука крепкая, сильная, горячая.

— Вы знаете,— встретил утром Лев Николаевич,— я все думал о кинематографе. И ночью все просыпался и думал. Я решил написать для кинематографа. Конечно, необходимо,

чтобы был чтец, как в Амстердаме, который бы передавал текст. А без текста невозможно.

После обычной своей одинокой прогулки Лев Николаевич пригласил и Андреева, и они долго ходили по старой липовой аллее и беседовали. Шел разговор о личных делах. Лев Николаевич спросил, как относится Андреев к писательскому съезду, и Леонид Николаевич ответил, что отрицательно.

— Да, да,— сказал Лев Николаевич,— они и меня приглашали, но я написал письмо, говорю, что, при настоящих ограничениях, считаю съезд не достигающим цели и даже вредным¹⁵. Я просил, чтобы в случае, если они опубликуют мое письмо, то пусть опубликуют полностью. На это они отвечают мне, что полностью напечатать невозможно, так как письмо содержит в себе резкую критику правительства... Ну,— махнул рукою Лев Николаевич,— пусть их!..

Ласково прощаясь, Лев Николаевич сказал:

— Дайте вас поцеловать...

Суммируя свое впечатление от поездки, Леонид Николаевич сказал:

— Сейчас Лев Николаевич представляет единственное в мире явление. Он давно уже переступил какую-то грань, за которой нет борьбы, за которой — тишина и сияние святости. Он светится весь. В каждой его улыбке, взгляде, в каждой морщине лица столько же, если не больше, глубочайшей мудрости, как и в его словах. И быть может, даже не так важно слышать его, как видеть.

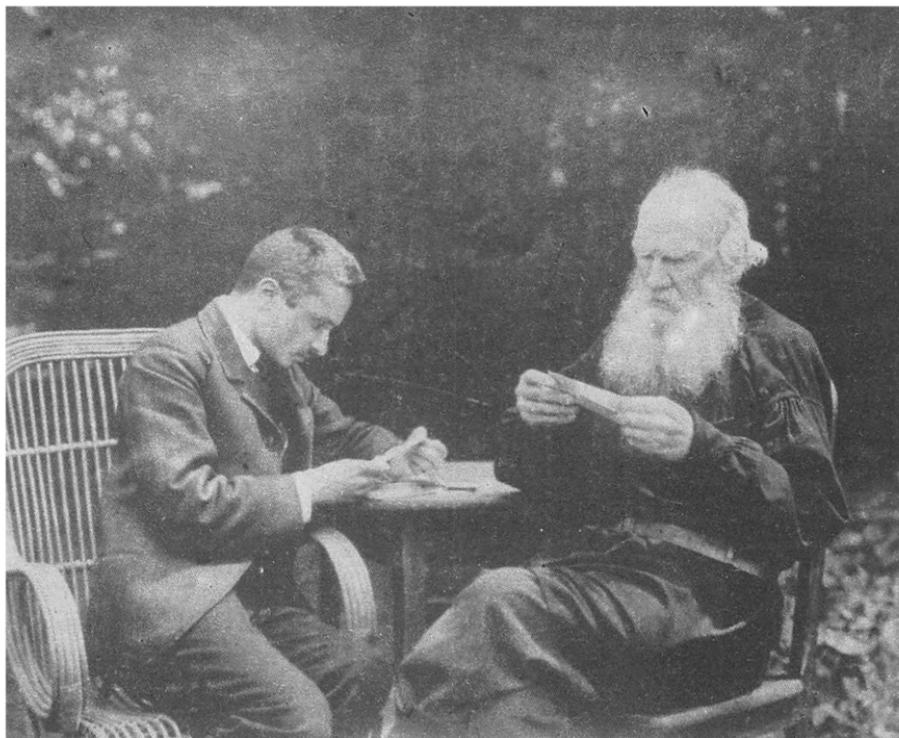
Ни один портрет не передает Толстого. Все они рисуют его крайне суровым, но он весь мягок, начиная с глаз, с улыбки, с бороды, и кончая теплой фланелевой рубашкой. Только в бровях его осталась некоторая суровость...

Со стороны домашних Лев Николаевич окружен необыкновенными заботами и вниманием. Вся жизнь Софьи Андреевны — это служение Льву Николаевичу. Можно сказать наверное, не касаясь вопроса о духовном воздействии, что долголетие Льва Николаевича, этой единственной в мире удивительной старостью, осененной ореолом мудрости и святости, мы обязаны графине Софье Андреевне.

Все в доме проникнуто какой-то высшей искренностью и добротой. И все необыкновенно просто. И даже самый дом у них какой-то добрый...

В заключение Леонид Николаевич сказал:

— Я особенно слежу за тем, чтобы о моем посещении Толстого не писалось произвольно. Так, мне очень неприятна появившаяся в «Театральном Еженедельнике» заметка: она является для меня крайне нежелательной...



*Толстой и В. Ф. Булгаков
за разбором почты 19 мая 1910 г.
Фото В. Г. Черткова.*

«РУССКОЕ СЛОВО»

РАБОЧИЕ У Л. Н. ТОЛСТОГО

Вчера возвратилась в Москву группа слушателей, рабочих Пречистенских курсов, посетившая Ясную Поляну.

Группа состояла из рабочей молодежи (26 чел.).

Прибыв в Ясную Поляну, экскурсанты чрез депутатов просили разрешения повидать и беседовать со Львом Николаевичем.

Лев Николаевич вышел в парк, где, окруженный молодежью, беседовал с ними более часа, сначала гуляя по парку, затем присев на скамью.

Рабочие забросали Л. Н. вопросами. Спрашивали о современных событиях. Интересовались его взглядами на тех или иных писателей, говорили о религии, науке.

— Я не могу отвечать на столько вопросов сразу, — смеясь говорил Лев Николаевич.

Один из рабочих, мечтающий подготовиться и стать со временем народным учителем, спросил Л. Н. о его взгляде на деятельность народных учителей.

— Стоит ли работать, учиться, чтобы потом всего себя посвятить обучению народа?

— Не это нужно, — возразил Л. Н. — У народа мы должны учиться, а не его учить. Вы выбьетесь на более высокое место из него и сядете ему на шею. Вы счастливички, — говорил он рабочим. — Настоящие рабочие там, в деревне.

Л. Н. очень удивился, видя работниц в шляпах, модных поясах и пр.

Рабочие не могут удержаться и не задать вопросов о политических событиях, о Финляндии...¹

Беседа очень утомляет Л. Н., и экскурсанты, прекращая свои вопросы, просили лишь Л. Н. сняться с ними.

У крыльца яснополянского дома снимается ряд фотографических снимков фотографами-экскурсантами и другими.

Простившись с Л. Н., рабочие покинули Ясную Поляну.

«ОБОЗРЕНИЕ ПСИХИАТРИИ, НЕВРОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ»

В. ЛЮСТРИЦКИЙ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ В МОСКОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ ДЛЯ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ

В середине июня 1910 года Лев Николаевич Толстой приехал пожить к своему другу Черткову в окрестности с. Мещерского. Дача, где жил Чертков, «Отрадное», находится при-



*Толстой в Покровской психиатрической больнице
18 июня 1910 г.
Фото В. Г. Черткова.*

близительно в $1\frac{1}{2}$ —2 верстах от Московской Окружной лечебницы.

19 июня 1910 года товарищи, побывавшие у Льва Николаевича, для приглашения его на кинематографическое представление, назначенное в лечебнице на 20 июня в воскресенье, на конференции врачей сообщили, что Лев Николаевич обещал быть на этом представлении и, кроме того, приезжает в тот день, т. е. 19 июня, в три часа дня для осмотра лечебницы.

Эта радостная весть, эта возможность увидеть «великого писателя земли русской» быстро облетела всю лечебницу и мгновенно заслонила и как бы прекратила нить обычных интересов и разговоров... Неизвестно откуда взялось легкое волнение, и к трем часам все врачи лечебницы, их семейные и другие служащие не спускали глаз с дороги от дачи Мальвинского «Отрадное»: не едет ли он. Среди ожидавших было несколько детишек. Невольно думалось, зафиксируются ли представления, полученные сегодня у нас, до периода взрослой

жизни, когда, быть может, великого старца уже не будет в живых...

Мы, врачи, встретили Льва Николаевича внизу в вестибюле и здесь с ним поздоровались. Психиатр привыкает наблюдать за мимикой, жестикуляцией, манерой говорить, ассоциациями и невольно обращает внимание и на эту сторону даже у Льва Николаевича. Можно отметить, что зрачки у Льва Николаевича равномерны, сужены; радужные оболочки сильно обесцвечены. Мимическая мускулатура довольно подвижна, преобладающее выражение ее — светлое, самое симпатичное благожелательство, что по преимуществу выражается в сокращении большой скуловой мышцы совместно с приподнятым нижним веком. Такое выражение часто прерывалось выражением глубокой думы. Брови прямые, нависли над глазами, имеются две вертикальные складки на переносье; как известно, прямые и опущенные брови и эти складки суть, по Сикорскому, три мимических признака мышления. Если прибавить, что лоб Льва Николаевича с достаточно развитыми лобными буграми и достаточной высоты, слегка превышающей длину носа, то можно его лоб характеризовать так: красивый, благородный лоб мыслителя.

В области нижней ветви *n. facialis* с правой стороны преимущественно в мышцах квадратной нижней губы и треугольной нижней губы отмечается клоническая судорога, смещающая нижнюю губу в сторону. Уши сформированы правильно, симметрично расположены, но велики.

Лицо по своему складу напоминает лицо великорусского крестьянина. Стан согбен. Походка и движения быстры. Одет Лев Николаевич был в чистую белую рабочую блузу с ремennым кушаком, за который он по временам закладывал свои ладони. На голове мягкая шляпа, на ногах сапоги поверх брюк. Свое пальто он то снимал, то опять надевал, например когда шел по пустым коридорам, вероятно для того, чтобы не простудиться.

В общем, несмотря на свои 82 года, Лев Николаевич представлял собою пример хорошо сохранившейся бодрости; одышки при ходьбе и движении у него нельзя было заметить.

Голос у Льва Николаевича негромкий, спокойный, говорит он не торопясь, даже медленно. На основании медленного темпа речи можно предполагать, что акт мышления у Льва Николаевича даже несколько замедлен — это все равно как работа глубоко забирающего плуга.

Затем все мы гурьбой пошли на мужскую половину: сначала прошли по пансионерскому мужскому отделению, далее



Толстой в Троицкой окружной больнице

19 июня 1910 г.

Фото В. Г. Черткова.

в наблюдательное, полуспокойное, спокойное и наконец в беспокоеное отделение.

В наблюдательном отделении Лев Николаевич подробно осмотрел изолятор, который несколько раз называл «карцер», спрашивал, кого сюда помещают. В садике этого отделения он снялся среди душевнобольных. Наиболее долго он здесь говорил с испытуемым Поповым (*paranoia chronica*) и заболевшим психически арестантом Федоровым (также *paranoia chronica*). Между прочим, первый из этих больных спросил Льва Николаевича, придет ли на земле бессмертное царство и скоро ли оно придет. Из расспросов оказалось, что Попов под «бессмертным царством» разумел такую жизнь, когда человек не будет обижать другого человека, всем будет хорошо жить и т. п. На этот вопрос Лев Николаевич ответил: «Такая жизнь несомненно наступит на земле», — и далее на дополнительный вопрос о времени наступления: «Мы не знаем, когда она наступит, но она наступит; каждый человек должен

стараться, чтобы такая жизнь наступила скорее, а для этого каждый должен жить хорошей нравственной жизнью». Этому же больному Лев Николаевич сказал, что он одинаково относится к Евангелию, Брамизму, Буддизму и Конфуцианству, где такая жизнь возвещается. Когда тут же зашла речь об отлучении великого старца от православной церкви¹, он сказал спокойно: «Ну и на здоровье. Это их дело». Затем Попов заметил, что вот Лев Николаевич сказал так: «Душа у всех одинакова». В дальнейшем Попов стал и Льву Николаевичу высказывать свой бред, что он, Попов, Петр Великий, живет уже 200 лет и т. д. Лев Николаевич продолжал слушать, затем пытался переубедить больного и просил его «так» не говорить, добавив: «Вы так хорошо начали говорить, а теперь говорите другое». Простившись с этим больным, Лев Николаевич подошел к следующему своему собеседнику, больному Федорову, и, узнав от него, что он старообрядец с Рогожского кладбища, произнес: «Среди старообрядцев с Рогожского кладбища у меня много друзей». Когда Льву Николаевичу сообщили, что этот Федоров осужден военно-окружным судом на смертную казнь, которая ему заменена бессрочной каторгой, великий старец при словах «смертная казнь» как бы из глубины души издал возглас: «Ах!» и покачал головою. Направляясь к выходу из садика этого отделения, Лев Николаевич спросил окружающих врачей о том, может ли он этим больным прислать книг своего произведения.

Лев Николаевич непременно, несмотря на предупреждения о небезопасности, захотел побывать в беспокойном мужском отделении; в садике этого отделения он долго оставался и безбоязненно беседовал с самыми опасными в смысле агрессивности больными. Что именно говорил здесь Лев Николаевич, я не знаю, так как ради его охраны многие врачи и я также, встав около него, повернулись лицом к окружающим больным и за последними внимательно следили. Желающих поговорить со Львом Николаевичем оказывалось все больше и больше, кругом сходились, образовалась порядочная толпа; в связи с этим шум около Льва Николаевича усилился. Под конец еще возбудились несколько слабоумных больных и стали издавать бессмысленные громкие крики. Когда Лев Николаевич выходил из садика этого отделения, крик был невероятный, а Лев Николаевич со слезами на глазах сказал: «Простите, простите, что я их так разволновал».

Затем прошли в мастерские при мужском спокойном отделении. Посмотрел внимательно, но опять-таки заинтересовался больше личностью, чем обстановкой, вступал в разговор с ра-

ботающими душевно больными, расспрашивал больных, почему они находятся в лечебнице. Часто различных больных Лев Николаевич спрашивал: «Какой губернии?»

На женской половине в наблюдательном отделении Льва Николаевича увидела больная Аннина (*dementia paranoidea*) и стала его всячески бранить, правильно называя его по имени и фамилии. Лев Николаевич заметил: «Что она имеет против меня?» — и прошел дальше. В том же отделении одна больная при виде проходивших обнажилась. Лев Николаевич сказал, обращаясь к сопровождавшему его Черткову: «Заметили ли вы, что сделала эта женщина?» — и тут же добавил слова, по-видимому относящиеся к душевно больным: «Женщины циничнее мужчин».

Проходя по спокойному женскому отделению, Лев Николаевич встретил больную, ныне выписавшуюся Б., поправлявшуюся после алкогольного психоза (*Alcoholismus chronicus*). После объяснения врача, какое заболевание имеется в этом случае, он спросил, часто ли бывают психические заболевания под влиянием злоупотребления алкоголем и чем такие заболевания характеризуются.

После этого пришли в помещение конференции врачей, разговаривали относительно группировки больных по отделениям. Но лишь только Лев Николаевич услышал, что он не проходил по женскому беспокойному отделению, которое, как непроходное, осталось в стороне, он немедленно и непременно пожелал опять идти в отделения, для того чтобы осмотреть это отделение.

В женском беспокойном отделении он был сразу окружен шумливыми беспокойными больными. Кто просил о выписке, кто пятачок, кто чтобы пускали в церковь, были и такие, которые просто бесцельно кричали. Уходя из этого отделения, Лев Николаевич спросил о религиозности больных; получив ответ, что многие больные, особенно эпилептики, религиозны, он поинтересовался узнать, каким образом удовлетворяются религиозные потребности больных. Затем он сказал, что душевно больные несчастны, что врачам-психиатрам нелегко видеть страдания их и что психиатры, вероятно, долго не могут привыкнуть смотреть на своих больных как на «больничный материал».

Осмотр лечебницы продолжался около 2 часов. После него Лев Николаевич на дворе лечебницы снялся вместе со всеми врачами.

Кроме этого, следует отметить то обстоятельство, что Лев Николаевич интересовался жизнью низших служащих и осмотрел помещение для них при одном из отделений.

По пути в отделения Лев Николаевич заходил в электроводолечебницу, посмотрел души, электрические аппараты и электрическую световую ванну. Когда ему демонстрировали подвижной душ, или, как его чаще называют, душ Charcot, то Лев Николаевич сделал какую-то пометку в своей записной книжке; точно так же, когда врач, дающий объяснения, сказал, что шкаф для электричества световых ванн устроен по идее Kellog'a, Лев Николаевич переспросил фамилию и быстро сделал пометку в своей записной книжке². По поводу демонстрируемых приборов он часто задавал вопрос: «Помогает ли?»

Так осматривал Лев Николаевич Московскую Окружную лечебницу для душевнобольных. Резко бросалась в глаза разница между осмотром лечебницы кем-либо из лиц, не знакомых специально с психиатрией. Первые идут туда, куда их ведут, и видят то, что им показывают, Лев же Николаевич прежде всего непременно пожелал осмотреть наблюдательное отделение, а также, несмотря на отсоветывания, беспокойные отделения, ради одного из беспокойных отделений он даже второй раз отправился в обход. Мысль такого плана в осмотре лечебницы ясна, проста и глубока: именно в тех отделениях, где пребывают опасные и беспокойные больные, естественно, режим менее свободный, более стеснительный; больным в тех отделениях не так удобно и уютно, и вот оценить эти отделения, увидеть худшее, если можно так выразиться, в лечебнице, посмотреть, как обращаются с больными в этих отделениях, — разве не значит это получить истинное представление о характере учреждения.

Равным образом особенность осмотра Льва Николаевича, заключающаяся в интересе к условиям жизни низших служащих, также характерна.

Но самое важное, что должно быть отмечено из знаменательных моментов пребывания Льва Николаевича в психиатрической лечебнице, — это его обращение с больными. Деятельность психиатра зиждется на теоретической подготовке и на практических знаниях, но, кроме того, на принципах любви к страждущему. Последнее не следует недооценивать в области призрения душевнобольных.

Не обладая, по-видимому, теоретическими и практическими знаниями по психиатрии, Лев Николаевич, как и следовало ожидать, относился к душевнобольным именно так, как этого требуют идеалы любви к страждущему, и с этой стороны явил лишний раз высокий личный пример, как можно было бы относиться к душевнобольным. <...>



*Толстой читает свою статью
в «Отрадном» 21 июня 1910 г.
Фото В. Г. Черткова.*

«ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ»

В. МОЛОЧНИКОВ

СУТКИ В «ОТРАДНОМ» С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Было так хорошо, что не знаю, с чего начать. Буду рассказывать по порядку.

День клонился к вечеру, когда я сошел на ст. Столбовая Московско-Курской ж.д.

От станции до «Отрадного» — где поселился Чертков — 8 верст, которые я проехал в деревенской бричке вместе с молодым человеком — помощником Черткова.

Дорогой мы проехали две, кажется, деревни. В одной из них мое внимание невольно остановилось на человеке, равномерно шагающем по утопанному кругу вокруг дерева. Человек ни разу не оглянулся в нашу сторону.

Оказывается, это один из тех тихих умалишенных, которых

окружная психиатрическая лечебница, расположенная в Мецкерском, распределяет по деревням.

Я узнал от молодого спутника моего, что Л. Н. посещал таких больных и вступал с ними в беседы. Между прочим, ему захотелось поговорить и с этим человеком. Но Л. Н.-чу трудно было обратить на себя внимание больного, который упорно не замечал его.

Тогда Л. Н. избрал такой метод: он пошел вслед за больным по кругу, и тотчас начался разговор. На мой вопрос об этих беседах Л. Н. сказал: «Я давно уже решил, что нельзя установить грани между здоровым и больным (в смысле безумия). Разница только в степени».

Льва Николаевича застал я бодрым и жизнерадостным, но момент моего приезда омрачен был тревожной телеграммой из Ясной Поляны о болезни графини Софьи Андреевны. Решено было завтра уехать. Тем не менее вечер проведен был очень содержательно. <...>

* * *

— Есть у вас, Владимир Анфалович,— обратился вдруг ко мне Л. Н.,— еще друзья-единомышленники?

Я сказал, что есть еще интересный молодой, душевный человек <...>.

— Хотя,— говорю я,— теперь я вижу мало пользы в поведении и тем более остерегаюсь этого слова... Самое большое, чего я могу позволить себе, это помогать внутреннему духовному росту, по мере того как духовные силы во мне самом возвышаются. А что человек должен или чего не должен делать — боюсь указывать.

— Верно,— ответил Л. Н.— Но трудно бывает удержаться, когда видишь, что человек может освободиться от страданий и найти истинное счастье,— трудно удержаться, чтобы не помочь ему. И такую помощь я — что ни говорите — нахожу позволительной, когда действие вытекает из духовных основ, а не из тщеславия или других мотивов. Вчера еще, допивая кефир, я заметил в бутылке попавшую муху. Я наклонил бутылку и вижу, как обмокшая муха делает страшные усилия ползти. Ну, как тут не помочь?!

Между тем вспоминаю, как со спокойной совестью я в молодости пристреливал зайцев и мысль пожалеть их не приходила и в голову.

И все это потому, что теперь я, сравнительно с тогдашним состоянием, духовно вырос.

Так что самый большой подвиг не имеет истинной ценно-

сти, если побуждение к нему не исходит из требований души, и, напротив, по-видимому ничтожное, незаметное доброе дело, даже слово, вызванное требованием совести, имеет важное для жизни значение. Так что главные силы для хорошей жизни должны быть направлены *на себя*.

* * *

Приехал ожидаемый из Петербурга музыкант Эрденко и дал концерт на скрипке, под аккомпанемент жены¹. Льву Николаевичу очень понравилась свободная игра скрипача (музыка — его любимое искусство), особенно вещи Шопена. Жалели только, что в репертуаре музыканта было мало народной музыки, хотя была с большим успехом сыграна еврейская молитва «Кол-Нидре». Г. Эрденко, по его словам, много работал, ездил по еврейским городам, чтобы передать весь торжественный характер этой молитвы, читаемой накануне Судного дня.

Потом обедали. Обед был из самых простых вегетарианских блюд (каша, зелень), на простом длинном, покрытом клеенкой столе, вокруг которого кто где расположились все домашние, и Лев Николаевич, и служащие, и доктор, и гости. Все блюда поставлены были на стол — ешь, что хочешь.

Решено было, что часа в четыре, до отъезда Льва Николаевича, гг. Эрденко сыграют еще раз, а тем временем Лев Николаевич пошел в свой кабинет. Через короткое время Александра Львовна (теперешний секретарь), пригласила меня от имени отца наверх к нему для прочтения в тот день написанной вещи. Я с радостью пошел. Одновременно пришли Чертков, Страхов и еще два человека.

Простая уютная комната, простой рабочий стол, рукописи, книги, диван, два-три стула — вот вся обстановка.

Лев Николаевич объявил, что желает прочесть нам написанную сегодня вещь², которая служит как бы ответом на его же статью «Номер газеты»³.

Познакомив меня вкратце с статьей «Номер газеты», Лев Николаевич приступил к чтению. Читает Лев Николаевич просто, оттеняя важные места.

Постараюсь, как умею, вкратце пересказать то, что запечатлелось.

Лев Николаевич читает первый попавшийся номер газеты и приходит в ужас от того, чем люди занимаются. И решает так: или я безумен, или безумны те все, кто живет и действует так, как видно по газете.

Где же критерий? Как отличить разумную жизнь от безумной, раз на одной стороне все, на другой — я?

Паскаль говорит: «Если бы сон проходил в такой же последовательности, как действительность, то сон можно бы принимать за настоящую жизнь».

Но живущий во сне ведь не сомневается в действительности его тогдашней жизни. Где же общий признак для того, чтобы отличить сон и безумие от действительной жизни?

Признак есть. Это наличность нравственного чувства. Если в поступках своих человек руководится нравственным чувством, т. е. делает нравственные усилия, то такая жизнь действительная, разумная. Во сне мы не делаем нравственных усилий, в каком бы гадком поступке мы ни застали себя. Чтобы перестать делать гадость, необходимо проснуться к действительной жизни. То же и с безумием,— тогда нравственное чувство в бездействии. Жизнь, стало быть, только тогда действительна, когда мы делаем нравственные усилия.

Нравственное усилие мы можем делать лишь в момент настоящего, и живем мы, следовательно, в настоящем. Нравственное чувство не знает соображений о будущем, о последствиях поступков, вытекающих из его руководства.

Когда Л. Н., перебирая листик за листиком, окончил чтение, он предложил присутствующим высказаться. Я так занят был мыслями о прочитанном, что, к сожалению, не совсем понял то, что говорили другие. Помню только свое замечание.

Ссылаясь на утверждение самого же Л. Н-ча, я напомнил, что нельзя разграничивать людей здоровых от безумных: дело в степени, а потому, сказал я, тут приходится сказать, что живем мы действительной, разумной жизнью постольку, поскольку руководимся нравственным чувством.

С этим Лев Николаевич согласился.

В четыре часа стали готовиться к отъезду. Перед этим Лев Николаевич вызвал меня прогуляться, чтобы наедине поговорить о моих внутренних колебаниях в связи с предстоящим судом.

Я рассказал ему, что по условиям семейной жизни мне, как ни больно это, придется, вероятно, пойти на компромиссы — придется оправдываться...

На это Л. Н. ответил так:

— Человек с своими поступками, если он правдив, всегда находится в положении диагонали в постоянно удлиняющемся параллелограмме. Сколько ни удлиняй фигуру, а диагональ будет лишь *приближаться* к прямому углу, но никогда не станет перпендикулярна основанию.

Так и человек в своем духовном росте: чем больше растет его сознание духовной жизни, тем больше он удаляется от страха, страданий, похотей и все приближается к бесстра-

шию, спокойствию, свободе. Но пока человек жив, он совершенно никогда не освободится от требований тела. А потому я в таких случаях спрашиваю себя: для чего я делаю то, что хочу делать, для себя, для души или для людей, для славы?

Это с одной стороны, а с другой, я стараюсь помнить, что живу я духом только в настоящем, соображение о будущем — дело телесное, а потому не надо думать о том, что может выйти из моих поступков, мне важно лишь в настоящем поступать так, как велит мне Бог-Любовь, живущий во мне.

Мы вернулись и, перед тем как тронуться в путь, музыканты сыграли еще несколько вещей. Заметно было, что Л. Н-чу не нравится музыка Чайковского, он даже сказал это, хотя не объяснил почему⁴.

Заговорили о том, как трудно обучать музыке. Л. Н. сказал, что и не следует обучать.

— У каждого есть своя особенность, которую можно поддерживать и развить, а когда начнут в музыке, или ваянии, или живописи педантично учить людей без таланта, то получается лишь *подобие* художника.

Я спросил, почему одна и та же музыка на одного производит действие, а на другого нет? Тот же Шопен умиляет Л. Н-ча, а на простого, рабочего человека не оказывает никакого действия, в то время как простая народная песня, как, например, та, которую пел скопец, очень может повлиять на него. Требуется ли известного рода музыкальное воспитание?

Лев Николаевич ответил так:

— Все предметы искусства только тогда хороши, когда они могут быть поняты *всем* народом, но не отдельным обособленным классом, хотя думаю, что чувство восприимчивости дано не всем равно.

* * *

Лошади были уже поданы, и заторопились на станцию. Я пошел в переднюю одеться.

Я поехал сзади со «святым Душаном», как называет Л. Н-вич яснополянского доктора Д. П. Маковицкого.

Наши лошади немного заупрямились, и мы приехали позднее. Л. Н. сидел на платформе на скамейке. По его приглашению я сел рядом, и он снова напомнил мне о моем деле.

— Помните, о чем мы вчера читали? Надо рассчитать свои силы и обстоятельства. Приходится помнить и о страданиях жены... И тогда уже решать... Главное, не нужно заботиться о мнении людей. Знаю, что это трудно. Я уже достаточно удовлетворен славой, и то приходится ловить себя если

не на искании славы, то хоть на желании поддержать хорошие отношения.

Так продолжалась наша беседа. Толпа любопытных постепенно увеличивалась, но еще не обступала. Прошла старуха — нищая и стала просить. Л. Н. дал гривенник, дали и другие.

— Хотелось бы поговорить с нею, да боюсь привлечь к себе внимание, — сказал Л. Н.

Подошел поезд, стали усаживаться во втором классе.

— Я всегда прошу их, чтобы в третьем классе, а они все во второй тянут, — сказал мне Л. Н.-вич. — Чертков все оберегает меня и не верит, что в третьем мне приятнее.

Звонок. Второй. Мы поцеловались и простились. Последних слов его я уже не расслышал. Его доброе лицо показалось в окне.

Через час я ехал в другую сторону. Но я вспоминал его слова: «Мы идем к одной цели».

«ВРЕМЯ»

А. ХИРЬЯКОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Исполняя желание редакции и сообщая о своем свидании с Л. Н. Толстым, я прежде всего должен оговориться, что ни о каких особенно интересных разговорах я сообщить не могу, так как виделся я слишком короткое время, да и это время было занято частью игрой в шахматы, а частью выслушиванием чтения одного знакомого Льва Николаевича, который читал свою статью — изложение теории Генри Джорджа¹.

Я приехал тотчас после обеда, часов около семи, — самое удобное время для посещения, так как в это время Лев Николаевич бывает большею частью свободен.

Вскоре после первых расспросов о здоровье Л. Н. предложил мне сыграть в шахматы, на что я с удовольствием согласился, зная любовь Л. Н. к этой игре. Мне много раз приходилось играть с Л. Н. в шахматы, и обыкновенно выигрывал я, но в прошлом году счастье отвернулось от меня, и Л. Н., к своей большой радости, выиграл у меня две или три партии. Надо было теперь отыграться, и я решил сосредоточить все внимание, и действительно победа оказалась на моей стороне. Но я все-таки не мог не заметить, что победа давалась гораздо труднее, чем прежде. Было ясно, что Лев Николаевич на 83 году стал играть лучше, чем раньше.

Во время нашей игры подошла графиня Софья Андреевна и стала просматривать какой-то сборник статей, посвященных Льву Николаевичу, прочитывая иногда вслух отдельные места, которые почему-либо обращали на себя ее внимание.

Речь зашла о давно прошедших временах, и я воспользовался этим случаем, чтобы исполнить просьбу одного сверстника Льва Николаевича, поступившего когда-то в ту же самую батарею, в которой служил Л. Н.² Старик просил спросить Льва Николаевича, помнит ли он тот гимнастический опыт, который проделывал Л. Н. в батарее и о котором рассказывали его заместители. Опыт заключался в том, что Л. Н. ложился на пол на спину и сгибал руки в локтях так, что развернутые ладони приходились около плеч. На ладони становился человек и затем Л. Н. медленно выпрямляет руки вверх, подымая стоявшего на ладонях человека.

Лев Николаевич ответил, что он в точности не помнит, но что, может быть, и проделывал что-нибудь в этом роде. Другое же воспоминание своего сверстника и товарища по батарее о попытках искоренить среди солдат и офицеров привычку к скверным ругательствам, Лев Николаевич помнил. И это вполне понятно, так как забота о нравственном улучшении человека до сих пор является одним из наиболее интересующих великого писателя вопросов.

Пока мы разговаривали, Льву Николаевичу кто-то подал корректуры маленьких сборников, отдельных изречений великих мыслителей по различным нравственным вопросам. Сборники эти издаются «Посредником», и Л. Н. очень дорожит ими и с большим удовольствием сообщил мне, что получил письмо от одной сельской учительницы, которая решила прочитывать наиболее понятные изречения в своей школе и беседовать с детьми на затронутые в этих изречениях темы. Льву Николаевичу очень бы хотелось, чтобы этот пример вызвал подражания и у других учительниц и учителей.

«РУССКОЕ СЛОВО»

С. Л.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Один из друзей Л. Н. Толстого, только что вернувшийся из Ясной Поляны, рассказывает, что Л. Н. уже совершает прогулки пешком и снова охвачен жаждою работы.

Но разрушительные следы налетевшего недуга все же



*Толстой и С. А. Толстая
(последний снимок Толстого) 25 сент. 1910 г.
Фото С. А. Толстой.*

чувствуются¹. Л. Н. очень ослабел и имел вид человека, перенесшего изнурительную болезнь. Лицо его бледно, походка медленна, голос тихий, с перерывами.

Но тем сильнее впечатление чего-то, как бы светящегося в нем теплым, немерцающим светом. Необыкновенной мягкостью и душевностью веет от тихой, замедленной речи. Л. Н. скажет несколько слов и остановится. А иногда еще и повторит фразу. И эти паузы и повторения не ослабляют внимания, а сосредоточивают его, сообщая беседе какую-то непередаваемую интимность.

Преданнейший друг Льва Николаевича доктор Душан Петрович объясняет случившееся со Л. Н. рядом сложных причин на почве желудочного отравления. Почти всю ночь на 4-е октября Л. Н. не приходил в себя, страдая такими судорогами, что гр. Софья Андреевна горестно обхватывала руками ноги мужа и с трудом удерживала их.

И какие подробности были при этом!

Не приходя в себя и, видимо, страшно ослабевший телесно, Л. Н. продолжал, однако, свою земную роль и слабыми движениями пальцев выводил на одеяле буквы, повторяя «душа», «разумность», «государственность» и т. п.

Болезнь захватила его в разгаре работы над статьей славянским социалистам². Впрочем, произносимые Л. Н. слова могли относиться и к только что законченной им философской работе в виде письма к брату Н. Я. Грота³, задумавшему создать гротовский сборник. Статья Л. Н. о Гроде написана с пленительной дружественностью к умершему философу и трактует о тех духовных мостах и оврагах, которые существовали между ними...

* * *

5-го октября за обедом и затем за вечерним чаем Л. Н. хотя и медленно и ослабевшим голосом, но принимал уже горячее участие в общей беседе, или, правильнее, был центром и светом этой беседы о современных событиях, о писательстве, о поэзии.

Говорили о смерти Муромцева⁴. Л. Н. интересовался, как и при каких условиях скончался Муромцев. Особенный интерес выказал Л. Н. к характеристике личности Муромцева. Один из присутствующих сказал, что Муромцев всегда казался как бы изваянным из белого мрамора. Л. Н. задумался, взвешивая что-то в уме, и сосредоточенно произнес:

— Основа жизни — правдивость. А если есть правдивость, то и все есть.

От беседы о Муромцеве перешли к писательству. Л. Н., подавляя страдальческие нотки в голосе, рассказывает, как ежедневно его осаждают начинающие писатели и писательницы различными статьями, повестями и стихами.

— Особенно много стихов!— говорит безнадежно Л. Н.— И все почему-то стали писать стихами. И дамы, и мастеровые, и даже крестьяне! Почему стихи? Прежде этого не было. И откуда взялось это?..

И, продолжая говорить тихим, потускневшим голосом, Л. Н. дает ряд летучих мыслей и ярких определений истинной поэзии и чем должны быть стихи. Стихи только тогда стихи, когда их нельзя передать в прозе, не исказив их красоты и выразительности. А когда человек думает и чувствует прозой, а пишет стихами, то это совсем плохо.

— Вот Тютчев,— говорил Л. Н., как бы загораясь.— Я знал его лично. Старенький, маленький. Говорил гораздо лучше по-французски, чем по-русски. А какие писал стихи! Как хорошо у него стихотворение «Silentium». Как это?

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои...

Л. Н. останавливается и старается припомнить дальнейшие строфы. Старшая дочь Л. Н. Т. Л. Сухотина подсказывает:

Пускай в душевной глубине
И всходят, и зайдут оне.

И совместно со Л. Н. прочитывает «Silentium». Особенное впечатление производит на одного из присутствующих строка:

Мысль изреченная есть ложь.

Л. Н. сочувственно кивает головой и говорит:

— Не только это, а все прекрасно в этом стихотворении. Только у одного Пушкина и встречается нечто подобное.

И начинается как бы пушкинский вечер в Ясной Поляне. Читают на память «Мицкевича»⁵, «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Когда для смертного умолкнет шумный день» и другие стихотворения. Читают с паузами. Один забывает какое-нибудь слово, другой подсказывает и продолжает стихотворение.

Л. Н. делает сочувственные реплики. Особенно нравится

ему «Когда для смертного умолкнет шумный день». Последнюю строчку в этом замечательном стихотворении Л. Н. даже передал по-своему и вместо: «Но строк печальных не смываю» — заменил: «Но строк позорных не смываю»...

Было уже поздно. Вдруг опять телеграмма срочная и с нарочным из Тулы. Татьяна Львовна распечатывает телеграмму. Одна петербургская газета убедительно просит сообщить о состоянии здоровья Л. Н. Надо ответить и отослать с ожидающим нарочным. Графиня Софья Андреевна садится в уголке к столу и спрашивает, что написать.

— Напиши, что умер и похоронили,— говорит с улыбкой Л. Н.

— Но непременно нужна и подпись: «Лев Толстой»,— слышится голос.

Все смеются. И Л. Н. веселее всех. Секретарь Льва Николаевича В. Булгаков рассказывает об аналогичном эпизоде из жизни Марка Твена, когда он писал в газетах, что слухи о его смерти в значительной степени преувеличены. Л. Н. заразительно смеется. Заходит речь о Марке Твене, потом о других писателях.

12-й час ночи.

Л. Н. поднимается и приветливо со всеми, а с дочерьми с шутливой нежностью, прощается и медленной походкой уходит к себе. В длинном халате его фигура кажется выше и тоньше. Он закрывает за собою дверь в гостиную и в кабинет, куда еле доносятся звуки из столовой. Но остальным не хочется расходиться. В столовой так тепло и уютно, и все обвеяно присутствием Л. Н. Кому-то приходит в голову завести граммофон с веселыми песнями. Один из присутствующих с тревогой спрашивает:

— А это не обеспокоит Льва Николаевича?

Графиня Софья Андреевна успокаивает:

— Нет, нет! Левочка любит это. Но надо поставить что-нибудь по его вкусу.

Ставят пластинку со штраусовским вальсом. Раздаются радостно звенящие звуки вальса. В кабинете слышится стук. Отворяется дверь в столовую, на пороге показывается Л. Н.

— Как это удивительно! Как прекрасно!— говорит он, прислушиваясь к вальсу.

А приезжий гость не может оторвать глаз от белой фигуры в дверях и думает: «А ты сам еще удивительнее, еще прекраснее!..»



Станция Астапово.
7—8 ноября 1910.
Фото В. И. Савельева.

«ГОЛОС МОСКВЫ»

Т. ТАМАНСКАЯ

НА ПУТИ В КОЗЕЛЬСК

28 октября мне нужно было ехать из Белева в Козельск. В Белеве в зале 1-го класса я неожиданно увидела Толстого.

Он сидел с своим спутником за большим столом и завтракал. После второго звонка Л. Н. зашел в наш вагон — единственный пассажирский вагон товарно-пассажирского поезда. Пассажиров много. Все больше крестьяне. В вагоне очень тесно, душно, пахло тулупами и махоркой.

Л. Н. поместился недалеко от меня и занял длинную лавку. Напротив сидели какой-то мужичок и женщина, и здесь же поместился спутник Л. Н. Одет был Л. Н. в черную суконную поддевку. В вагоне он разделся и остался в черной рубашке, доходящей почти до колен, и в высоких сапогах. На голову вместо

круглой суконной шляпы надел черную шелковую ермолку.

Затем Толстой завел разговор с крестьянином и очень интересовался его жизнью. Спрашивал, где работал, куда едет, сколько душ в семье, какой надел, кто помещик, бывают ли ссоры с помещиком?

На последний вопрос крестьянин ответил, что ссоры случаются и дело доходило даже до губернатора, так что были присланы солдаты.

В разговор вмешался местный землемер г. В. и начал защищать помещика. Л. Н., с большим вниманием слушавший крестьянина, быстро повернулся к заговорившему и спросил:

— Вы знакомы с этим делом? Расскажите, что вы знаете об этом.

Л. Н. слушал с большим вниманием.

Затем разговор перешел на хуторское хозяйство. Толстой высказался о нем отрицательно и заявил, что он против выделения крестьян из общины.

Внимательно слушавший его крестьянин неожиданно спросил:

— Куда же это ты, отец, едешь?

Л. Н. ответил, что в Оптину пустынь.

— Хорошо, отец, хорошо, вот ты там на старости лет и попятись, чтобы душу свою спасти.

Л. Н. полусушутя, полусерьезно ответил, что так он и собирается сделать.

Разговор коснулся крестьянской нравственности. Г. В. начал доказывать Толстому, что у крестьян нет никаких нравственных устоев.

— Вот,— говорил он,— они заботятся о своей душе и советуют даже поступать в монастырь.

Г. В. начал доказывать грубость крестьян:

— Соберутся они лес резать, не найдут межи и — глядишь — уже поругались и подрались, соберутся траву косить — снова ссора и драка.

Л. Н. в тон ему возразил:

— Соберутся ученые люди в Государственную Думу, смотришь — уж поссорились и до драки недалеко, а тоже вот и ученые,— и добавил:— Я за то люблю крестьян, что они мало рассуждают.

В это время Толстой заметил, что крестьянин дал своему сыну (парню лет 16-ти) курить. Л. Н. сказал ему:

— Зачем ты сыну вред делаешь? Я вот теперь чаю не пью, а землянику, и так привык, что не могу без нее обойтись. Очень она вкусная.

После этого Л. Н. снова заговорил о крестьянах и сказал,

что считает главным их недостатком суеверие и что интеллигентные люди должны им помочь от этого освободиться.

Здесь в разговор вмешалась я и сказала, что вот для уничтожения этих недостатков и служат учительницы.

Толстой возразил:

— Нет, учительница, как получит диплом, сейчас же садится на шею мужику, потому что большинство идет в учительницы не по призванию, а по необходимости.

Потом Л. Н. начал говорить о том, что в жизни кроме зла есть и добро, в которое он глубоко верит.

Затем разговор перешел на дарвинскую теорию. Л. Н. отрицает ее и говорит, что это «выдумки жиреющих людей». Г. В., наоборот, доказывал правильность ее и все живущее сводил к первоначальной клетке.

На это Л. Н. спросил его:

— Ну, а клетка откуда?

— Бог сотворил,— отвечал г. В.

Л. Н. сказал ему на это:

— Почему же бог, если мог сотворить клеточку, отчего не мог сотворить целого человека? Я лично не верю в бога, который может творить, но я знаю, что бог есть, в этом уверен.

— Почему?

— Потому что я чувствую и сознаю его присутствие в моей душе.

Я спросила Л. Н., что мне делать по окончании гимназии. Толстой ответил, что не советует поступать на курсы:

— Там вам будут в голову забивать то, что совсем чуждо вашей душе. Теперь много хороших книг, и каждый, желающий развиться, может из них взять то, что нужно ему. А на курсах вы получите диплом и, как все, кончающие учебные заведения, получив его, сядете на шею мужиков. А если поступите на курсы, то обязательно скажете: «А прав был Лев Николаевич».

Потом Л. Н. спросил, есть ли у меня способности к преподаванию и люблю ли я детей. Я ответила утвердительно. Тогда он посоветовал мне поступить сельской учительницей и учить ребятишек.

— Чего же придерживаться при школьном обучении?— спросила я.

Л. Н. сказал, что ответ на это я найду в книге: «Мысли мудрых людей», а еще лучше в «Евангелии».

От школы перешли к науке вообще и ее завоеваниям.

— Люди уже летать умеют!— заметила я.

— Предоставьте птицам летать,— ответил Толстой,— а людям надо передвигаться по земле.

В это время начало темнеть. Поезд приближался к Козельску. Л. Н. заторопился и начал быстро одеваться. Одевшись, он вынул из кармана электрический фонарь и, шутя, осветил им крестьянина. Я при этом не могла удержаться, чтобы не заметить ему:

— Вот, Лев Николаевич, наука и пригодилась!

— Ну, без этого можно свободно обойтись,— ответил Л. Н.,— да это не очень удобно, часто портится, а главное, от этого люди лучше не будут.

После этого Л. Н. вышел на площадку. Здесь я попросила его написать мне что-нибудь и подала ему карандаш и лист почтовой бумаги. Но он вынул самопишущее перо и сказал:

— Ну, я вам только напишу: «Лев Толстой».

В Козельске Л. Н. попросил меня показать ему, где стоят извозчики.

— Пишите мне, если встретятся какие вопросы,— сказал Толстой, усаживаясь в экипаже. Толстой простился со мной... навеки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1886

Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну (Поместье графа Л. Н. Толстого).— Исторический вестник, 1886, март, № 3, с. 535—543. Перепечатано с сокращениями в сб.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1, с. 346—355.

Григорий Петрович Данилевский (1829—1890), автор исторических романов «Беглые в Новороссии», «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва» и др. В 1869—1890 гг.— редактор газеты «Правительственный вестник».

Желая ближе познакомиться с Толстым, Данилевский передал ему в 1885 г. через С. А. Юрьева свои книги с сопроводительным письмом, в котором писал: «Я же лично очень бы желал Вас видеть <...> около 20—22 сентября, так как два года назад я написал, а теперь обрабатываю повесть «Сожженная Москва» и хотел бы поговорить с Вами о некоторых, знакомых Вам, материалах к ней. Будете ли Вы в это время в Ясной Поляне или в Москве?» (письмо от 22 августа 1885 г. См.: Апостолов Н. Н. Лев Толстой и его спутники. М., 1928, с. 218).

Встреча Данилевского с Толстым состоялась 22 сентября 1885 г.

¹ Текст телеграммы неизвестен.

² Очерк «Знакомство с Гоголем» напечатан в журнале «Исторический вестник» (1886, № 12, с. 473—503).

³ Знакомство состоялось, по-видимому, в конце 1855 г. на вечере у скульптора, медальера и художника Федора Петровича Толстого.

⁴ Отношение Толстого к Герцену не всегда было таким. Известны его восхищенные отзывы о личности Герцена и его книгах. См. об этом: Розанов А. С. Толстой и Герцен. М., 1972, а также в интервью Толстого С. С. Орлицкому и другим в настоящем издании.

⁵ «Похождения Родерика Рэндома» принадлежат перу английского пи-

сателя Смоллетта (1721—1771), старшего современника мадам Жанлис (1746—1830).

⁶ В фотоателье «Светопись» С. Л. Левицкого в Петербурге был сделан знаменитый групповой снимок шести писателей: Гончарова, Тургенева, Толстого, Григоровича, Дружинина, Островского.

⁷ Ошибка: Толстой поступил в Казанский университет в 1844 г.

⁸ В книге Томаса Карлейля «Sartor Resartus. Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрекса» (1833—1834). Толстой читал эту книгу в 1877 г. (т. 62, с. 346).

⁹ Антонио де Труэва (1819—1899), автор повестей и рассказов на народные темы. Толстой ошибочно считал его молодым писателем, он мог читать о нем в статьях Э. Денегри (Л. И. Мечникова) в русских журналах «Отечественные записки» (1869, № 8, с. 375) и «Дело» (1874, № 2, с. 132—133).

¹⁰ Т. Г. Мордкина, прапрабабка Толстого по отцовской линии.

¹¹ Учились в Москве Илья и Лев, скончался в начале 1886 г. Алексей.

¹² Критик Александр Петрович Милуков (1817—1897) писал о «художественном беспристрастии» Толстого, создающего картины «эпической борьбы» «под стенами нашей современной Трои» (М и л ю к о в А. П. К портрету шести русских писателей.— Русская старина, 1880, апрель, с. 865).

¹³ Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

¹⁴ Журнал «Ясная Поляна» выходил ежемесячно в 1862 г.

В. Грибовский. У графа Л. Н. Толстого.— Неделя, 1886, 17 и 24 августа, № 33 и 34.

Вячеслав Михайлович Грибовский (1867—?), юрист по образованию, позднее профессор по кафедре права. В гимназические годы за свободное толкование Евангелия был определен в лечебницу для душевнобольных. Толстой узнал о Грибовском из его письма, в котором тот просил о встрече. Толстой попросил встретиться с Грибовским, тогда 18-летним гимназистом, П. И. Бирюкова. «Мне очень интересны взгляды Грибовского,— писал Толстой Бирюкову в начале апреля 1885 г.— Если вы еще увидите его и он выскажет их вам, сообщите мне в общих чертах» (т. 63, с. 227).

Грибовский впервые был в Ясной Поляне летом 1885 г., разговаривал с Толстым и «очень» ему «понравился» (т. 83, с. 209). Толстой познакомил его со своими запретными тогда сочинениями «Исповедь» и «В чем моя вера?». Под псевдонимом «В. Вогезский» Грибовский опубликовал в газете «Неделя» «Беседы с графом Л. Н. Толстым» (1885, 3 и 17 ноября, 1 декабря, № 44, 46 и 48). Эти «Беседы» были искусным монтажом отрывков из «Исповеди», вложенных непосредственно в уста Толстому. Окончание этой публикации было запрещено Главным управлением по делам печати.

Второй раз Грибовский был в Ясной Поляне в 20-х числах мая 1886 г. «Грибовский очень молод,— писал Толстой В. Г. Черткову 27—28 мая.— Это главное, что надо помнить о нем...» (т. 85, с. 356). Публикуемая статья основана на впечатлениях второй поездки к Толстому.

¹ Ошибка: в гл. II повести «Холстомер».

² Издательство «Посредник» было создано в 1884 г. по инициативе Толстого в целях народного просвещения и пропаганды взглядов, близких Толстому. Руководили издательством В. Г. Чертков и П. И. Бирюков, позднее — И. И. Горбунов-Посадов. Издательство выпускало большими тиражами и по дешевой цене произведения Толстого и других авторов.

³ О каких неоконченных произведениях Толстого идет речь, не установлено.

⁴ Вероятно, Адам Васильевич Олсуфьев (1833—1901).

⁵ Толстой резко критиковал теорию Мальтуса, изложенную в его книге «Опыт о народонаселении» (рус. пер. Спб., 1868), в трактате «Так что же нам делать?» (т. 25).

⁶ Римский консул Менений Агриппа (503 г. до н. э.) рассказал народу Рима, изгнанному на Авентинский холм, притчу «Члены и желудок». Толстой иронизирует, называя Агриппу предтечей позитивизма Огюста Конта (1798—1857).

⁷ «Так что же нам делать?» (1882—1886). Главы 29—31 и 33—38 посвящены науке и искусству.

⁸ По-видимому, Сергей Семенович Урусов (1827—1897).

⁹ Это место почти дословно повторяет фрагмент гл. XXXVII трактата «Так что же нам делать?».

¹⁰ В книге Мэтью Арнольда (1822—1888), английского философа и литератора, «Литература и догма» Толстой, как он пишет Л. Д. Урусову 1 мая 1885 г., нашел «половину» своих мыслей (т. 63, с. 242).

¹¹ Здесь и далее имеются в виду две декларации: «Непротивление» и «Декларация чувств» американского поэта и публициста Уильяма Ллойда Гаррисона (1805—1879).

¹² Ошибка: в течение тридцати лет Гаррисон издавал газету «Либерейтор» (1835—1865).

¹³ «...» Как Гаррисон, так и Толстой главным образом сходятся во взгляде на общественную жизнь; оба они в основу всего кладут нравственность и этику, оба требуют упрощения людских отношений и уничтожения многих форм общественного существования. Насколько симпатично учение Гаррисона, мы можем судить из следующей выписки его декларации: «Мы защищаем не якобинские доктрины. Дух якобинства есть дух возмездия, насилия и убийства. Он не боится бога и не взирает на людей. Мы были бы проникнуты духом Христа, если бы придерживались наших принципов; нам не было бы возможности в этом случае быть не порядочными, умышлять измену или участвовать в каком-либо вредном деле; мы должны покоряться всякому человеческому приказанию только во имя господя; должны повиноваться всякому требованию, исключая такого, которое противно заповедям Евангелия, и ни в каком случае не должны противиться исполнению закона, разве только кратким исполнением».

Приводим эти строки в переводе графини Софьи Андреевны Толстой, специально посвятившей несколько свободных часов разбору витиеватой декларации.

А. Молчанов. В Ясной Поляне.— Новое время, 1890, 7(19) июня, № 5125. Перепечатывалось с сокращениями: Новый мир, 1963, № 3, а также в сб.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1, с. 468—472.

Александр Николаевич Молчанов (1847—?), беллетрист, публицист, корреспондент газеты «Новое время». Газета «Новое время» присылалась Толстому редакции.

Молчанов встретился с Толстым 1 июня 1890 г. О своих посетителях этого дня Толстой записал в дневнике: «Корреспондент Молчанов — пустой, и тульский Баташев и доктор — еще лучше... Я очень не в духе» (т. 51, с. 47).

Интервью Молчанова с Толстым было перепечатано в европейских газетах и имело широкие отголоски. Молодой Р. Роллан писал другу семьи Герцена Мальвиде фон Мейзенбург 2 июля 1890 г.: «Читали ли вы интервью с Толстым относительно Вильгельма II и Бисмарка? Толстой не без сочувствия смотрит на реформы, предпринятые императором, но Бисмарка презирает от всего сердца» (Дружба народов, 1960, № 11, с. 241).

¹ Английский журналист и переводчик Эмилий Диллон, опубликовавший «Крейцерову сонату» на английском, писал Толстому 9 (21) сентября 1890 г.: «Я сделал все, что мог для достижения цели, которую я считаю достойной» (ГМТ).

² Книга П. Алексеева «О пьянстве» с предисловием Толстого «Для чего люди одурманиваются?» появилась в свет в 1891 г. в издательстве «Русская мысль», одним из руководителей которого был критик В. А. Гольцев.

³ Первое упоминание о замысле, воплощенном позднее Толстым в сборнике «Круг чтения».

⁴ О Бисмарке, немецком рейхсканцлере, осуществившем объединение Германии на прусско-монархической основе, писал журналист «Нового времени» Евгений Львов (См. Львов Е. Разговор с князем Бисмарком.— Новое время, 1890, 5 и 6 мая, № 5093 и 5094).

⁵ Вильгельм II, вступивший на престол в 1888 г., осуществил некоторые реформы в рабочем законодательстве: запрещение работы на фабриках для подростков, сокращенный рабочий день для женщин и т. п. В дневнике от 10 апреля 1890 г. Толстой скептически отозвался о значении этих реформ: «Занятие очевидно праздное и бесполезное» (т. 51, с. 36).

⁶ Замысел романа о подмененном ребенке не был осуществлен Толстым (следы его остались в «Воскресении», в истории ребенка Нехлюдова и Катьюши). Однако замысел этот занимал Толстого и в поздние годы, о чем свидетельствуют записи в дневнике 14 сентября 1896 г.: «Вспомнил два прекрасные сюжета для повестей: самоубийство старика... и подмена ребенка в воспитательном доме» (т. 53, с. 107) и 10 августа 1905 г. «Рассказ: подмененный ребенок» (т. 55, с. 157). Л. Д. Опульская высказывает предположение, что случай с подмененным ребенком рассказал Толстому директор московского Воспитательного дома, к которому Толстой обращался по делу о кормилице для дочери Чертковых Ольги (см.: Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892. М., 1979, с. 211).

⁷ В мае 1890 г. в газетах появились сообщения, будто бы сыновья Толстого упрекают его в «расточительности», в том, что он слишком щедро помогает крестьянам. Отвергая эти слухи, Сергей, Илья и Лев поместили в газете «Новое время» (27 мая 1890 г.) опровержение этих сообщений.

⁸ Исаак Борисович Файнерман (1862—1925), одно время крайний последователь идей Толстого, поселился в середине 80-х г. в деревне Ясная Поляна и занимался крестьянским трудом.

Граф Л. Н. Толстой в суде. Нам пишут из Крапивны.— День, 1890, 11 ноября, № 901.

Толстой был в г. Крапивна 26 и 27 ноября 1890 г. Суть взволновавшего его дела заключалась в том, что четыре яснополянских крестьянина были обвинены в убийстве своего односельчанина — конокрада Гавриила Болхина (в тексте ошибочно — Николай). В дневнике Толстой записал 27 ноября: «Встал очень рано, пошел ходить, к полиции и потом — в острог. Опять убеждал подсудимых быть единогласными; напились кофе и пошел в суд. Жара и стыдная комедия. Но я записывал то, что нужно было для натуры» (т. 51, с. 110). Благодаря присутствию Толстого был вынесен мягкий приговор: «Одного совсем оправдали, а трем очень смягчили» (т. 65, с. 197).

Существует предположение, что история убийства конокрада использована в повести «Фальшивый купон» (гл. XIV—XV).

¹ Неточно: Толстого сопровождали дочь Мария Львовна, племянница В. С. Толстая и племянница В. А. Кузминская.

1891

А. Суворин. Литературные заметки.— Новое время, 1891, 7 (19) июня, № 5485.

Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912), журналист, издатель «Нового времени» был в гостях у Толстого 1 июня 1891 г. «Он производит впечатление человека робкого и очень интересующегося всем», — отметила в дневнике С. А. Толстая (Толстая С. А. Дневники: В 2-х т. М., 1978, т. 1, с. 187—188).

¹ Автор «Мимочки на водах» Л. И. Веселитская (1857—1936), писавшая под псевдонимом В. Микулич.

Октав Гудайль в Ясной Поляне.— Вестник иностранной литературы, 1891, № 12, с. 318—322.

20 августа 1891 г. философ Н. Я. Грот (1852—1899) привез к Толстому иностранных посетителей: писателя Октава Гудайля, физиолога и психолога Шарля Рише и профессора литературы из Бордо Треверэ. Толстой отметил в дневнике: «Мало интересны» (т. 52, с. 50). С. А. Толстая записала 20 августа 1891 г.: «Очень интересно было слушать сегодня разговоры Левочки, Рише и Грота» (Дневники, т. 1, с. 207).

¹ Речь идет о торжествах, связанных с заключением франко-русского союза, оформленного соглашением от 15 августа 1891 г.

² Полотно И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (1885).

Мисс Гангуд в гостях у Л. Н. Толстого.— Исторический вестник, 1892, № 1, с. 276—283.

Изабелла Флоренс Хэпгуд, переводчица «Севастопольских рассказов», «Детства», «Отрочества», «Юности» и других книг Толстого на английский язык, посетила дом в Хамовниках в ноябре 1888 г. Летом 1889 г. она была у Толстого в Ясной Поляне. Письма Хэпгуд Толстому см. в публикации Э. Бабаева (Литературное наследство, т. 75, кн. 2, с. 407—413). Перевод статьи Хэпгуд «Толстой у себя дома» см.: Вопросы литературы, 1984, № 2.

¹ В. Б. Стевен рассказал о своем посещении Толстого в статье «Визит к графу Толстому» (Cornhill Magazine, vol. 65, 1892, p. 597—610).

² Имеется в виду Генри Райдер Хаггард (1856—1925), английский писатель и публицист, автор романов «Копи царя Соломона» (1885), «Дочь Монтесумы» (1893) и др.

Н. Р. Литературная конвенция. V. У гр. Л. Н. Толстого.— Новости дня, 1894, 3 марта, № 3848. Газета присылалась Толстому редакцией.

Автор статьи — Николай Осипович Ракшанин (1858—1903), беллетрист, драматург, театральный критик. С февраля по июнь 1894 г. «Новости дня» печатали цикл статей-интервью Ракшанина под общим названием «Литературная конвенция» — по вопросу о присоединении России к числу государств, обеспечивающих авторское право на перевод и распространение произведений писателя. Еще до беседы с Ракшаниным Толстой высказался против конвенции в письме, опубликованном иностранной печатью (Journal des Débats, 25 февраля (8 марта) 1894 г.). Он заявил, что никому не даст «исключительного или даже предпочтительного права издания своих сочинений или переводов с них» (т. 67, с. 42).

¹ Илья Данилович Гальперин-Каминский (1858—1936), переводчик на французский язык русской художественной литературы, в том числе сочинений Толстого. В 1894 г. Гальперин-Каминский приехал из Франции в Петербург, убеждая русских литераторов присоединиться к конвенции.

² Кроме Толстого Н. Ракшанин интервьюировал по вопросу о конвенции И. Н. Потапенко и А. П. Чехова.

Блюменталь у графа Л. Н. Толстого. (Корреспонденция из Берлина).— Новое время, 1894, 22 апреля, № 6517.

Оскар Блюменталь (1852—1917), немецкий театральный критик и драматург, основатель Лессинг-театра (1888). Был у Толстого во время гастролей театра в Москве зимой 1893—1894 гг. В книге Н. Н. Гусева «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» (М., 1960) время посещения Блюменталем Толстого ошибочно отнесено к ноябрю — декабрю 1894 г. (см. с. 159).

В позднейших воспоминаниях о Толстом Блюменталь писал: «Я очутил-

ся здесь в несколько затруднительном положении, так как я пришел с целью интервьюировать, а оказался в положении интервьюируемого. Я явился с намерением ставить вопросы, а вынужден был отвечать сам. Новое литературное движение в Германии; политическая жизнь, как она развернулась при Вильгельме II; имена народившихся новых талантов на поприще новелл и драматических произведений; основы представления и инсценирования пьес, как они изображались гастролировавшим в Москве Лессинг-театром... словом, все чрезвычайно интересовало графа» (Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом, М., изд-во «Златоцвет», 1911, с. 69).

¹ Речь идет о пьесе «И свет во тьме светит», автобиографической драме, над которой Толстой работал в 1896—1897, 1900 и 1902 гг., но которая так и осталась незаконченной.

² Картина «Боярыня Морозова» (1887) В. И. Сурикова, с которым Толстой был лично знаком с 1879 г.

³ Шестилетний Ванечка Толстой (1888—1895).

В. Серова. Встреча с Л. Н. Толстым на музыкальном поприще.— Русская музыкальная газета, 1894, апрель, № 4, с. 81—85.

Валентина Семеновна Серова (урожд. Бергман, 1846—1924), композитор и музыкальный критик. Автор воспоминаний о муже — композиторе А. Н. Серове и сыне — художнике В. А. Серове (См.: Серова В. С. Серовы Александр Николаевич и Валентин Александрович. Спб., 1914).

В. Серова встречалась с Толстым, по-видимому, в 1886 и 1890 гг. (См.: Серова В. С. Как рос мой сын. Л., 1968, с. 38—39). В марте 1886 г. Серова обратилась к Толстому с письмом, в котором просила прислать ей текст пьесы «Первый винокур». В 1886 г. эта пьеса с музыкой, сочиненной В. Серовой, была поставлена в селе Единокове Тверской губернии.

¹ Опера «Уриэль Акоста» Серовой была поставлена в 1887 г. в Киеве и в 1893 г. в Петербурге на сцене Малого оперного театра.

² На пасхальной неделе.

³ Николай Васильевич Верещагин (1839—1907), брат художника В. В. Верещагина, пытался наладить артельное сыроварение в России по образцу Швейцарии. Одновременно занимался просветительской деятельностью и организовал народный театр.

И. С. У графа Толстого в Ясной Поляне.— Самарская газета, 1895, 9 марта, № 53.

Автор статьи не установлен.

¹ Профессор Казанской духовной академии А. Ф. Гусев выпустил в Казани и Москве целый ряд книг и брошюр с критикой идей Л. Н. Толстого.

² Князь В. П. Мещерский (1839—1914) издавал ультраконсервативную газету «Гражданин» (1872—1914).

³ Речь идет о Дмитриии Александровиче Хилкове (1858—1914), опротивившемся аристократе, последователе Толстого.

⁴ Имеются в виду книги А. Гусева: «Любовь к людям в учении гр. Л. Толстого и его руководителей» (Казань, 1892), «Основные «религиозные» начала гр. Л. Толстого» (Казань, 1893), «О клятве и присяге» (Казань, 1891) и др.

⁵ Павел Иванович Вирюков (1860—1931).

Московские новости.— Новости дня, 1895, 12 апреля, № 4250.

Толстой был в Московском окружном суде 11 апреля 1895 г. В дневнике он отметил: «За это время был в суде. Ужасно. Не ожидал такой неимоверной глупости» (т. 53, с. 23). В записной книжке Толстой сделал обширную запись, касающуюся процедуры судебного заседания, для романа «Воскресение», над которым в то время работал (т. 53, с. 245—247).

С. К. День у Толстого.— Новости дня, 1895, 8 ноября, № 4460.

Автор статьи — журналист Семен Лазаревич Кугулихес (1862—?), писавший под псевдонимом С. Кугульский. К. Ф. Вальц и С. А. Черневский были у Толстого 4 ноября 1895 г.

¹ Карл Федорович Вальц (1846—1929), театральный художник московских императорских театров.

² Сергей Антипович Черневский (1839—1901), в это время главный режиссер Малого театра, обращавший в своих постановках особое внимание на историческую верность костюмов и обстановки.

³ Толстой читал пьесу артистам Малого театра 23 ноября 1895 г.

Conto. У гр. Л. Н. Толстого.— Курьер торговли и промышленности, 13, 14 и 15 декабря 1895 г., № 641, 642, 643.

Псевдоним раскрыть не удалось.

¹ Роман «Воскресение». Толстой начал работу над новой редакцией романа в декабре 1895 г.

² Толстой был на представлении «Власти тьмы» в театре «Скоморох» 12 декабря 1895 г. «Знаменитый писатель,— сообщал журнал «Литературное обозрение» (1895, № 52)— одет был в свой обычный зимний костюм; на нем были полубубок, валенки и войлочная шапка. В театре он находился вместе со своим сыном, приехав совершенно инкогнито, и поместился в «райке», на второй лавочке».

³ Толстой присутствовал на репетиции в Малом театре своей пьесы 28 ноября 1895 г.

1896

Н. Ракшанин. Беседа с графом Л. Н. Толстым (Впечатления).— Новости и Биржевая газета, 1896, 9 января, № 9. О Н. О. Ракшанине см. с. 464.

¹ Анна Алексеевна Бренко-Левинсон (1849—1934), актриса, создательница Пушкинского театра в Москве и драматическая писательница, с осени 1895 г. руководила драматической школой в Петербурге. Автор пьесы «До-таевцы» (М., 1884).

² Имеется в виду статья «Идея «Власти тьмы» в «Петербургской газете» (1896, 3 января, № 2).

³ После появления статьи Н. Ракшанина Бренко обратилась с письмом к Толстому, в котором просила подтвердить факт чтения ему своей пьесы. Толстой ответил письмом, напечатанным «Новостями и Биржевой газетой» 14 января 1896 г. (№ 14). В кратком письме Толстого говорилось: «Очень хорошо помню, как вы читали мне вашу драму и как она мне очень понравилась и местами сильно тронула меня» (т. 69, с. 12).

⁴ Рассказ Чехова «Драма» (1887).

⁵ Дело Колосковых, положенное в основу сюжета «Власти тьмы», было рассказано Толстому прокурором Тульского суда Н. В. Давыдовым. Позднее Толстой сам знакомился в архиве с этим делом (т. 26, с. 706).

⁶ В «Письме из Варшавы» Н. В—а (Московские ведомости, 1896, 2 января, № 2) говорилось о письме Толстого к М. Урсину (М. Э. Здзеховскому), опубликованном польской газетой. В письме от 10 сентября 1896 г. Толстой высказывался против всякого национального патриотизма (т. 68, с. 165—170).

⁷ В декабре 1895 г. состоялся 2-й съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.

⁸ По-видимому, речь идет о будущем романе «Воскресение».

Нард. В чем счастье? (Беседа с Л. Н. Толстым).— Петербургская газета, 1896, 10 декабря, № 341. Псевдоним Нард раскрыть не удалось.

Встреча журналиста «Новостей дня» с Толстым произошла между 18 ноября, когда Толстой приехал в Москву, и первыми числами декабря 1896 г.

1897

Икс. Граф Л. Н. Толстой в Петербурге.— Петербургская газета, 1897, 13 февраля, № 43.

Автор статьи не установлен. Под псевдонимом Икс в 90-е г. в Петербурге писал, в частности, Илья Николаевич Измайлов.

Толстой приехал в Петербург, чтобы проститься с высылаемыми издателями «Посредника» В. Г. Чертковым и П. И. Бирюковым. Чертков должен был уезжать в Лондон, Бирюков высылался в провинцию. «У Черткова, известного толстовца,— писал Чехов Суворину 8 февраля 1897 г.,— сделали обыск, отобрали все, что толстовцы собрали о духоборах и сектантстве,— и таким образом вдруг, точно по волшебству, исчезли все улики против г. Победоносцева и аггелов его... Уезжает он 13 февр<аля>. Л. Н. Толстой поехал в Петербург, чтобы проводить его; и вчера повезли Л<ьву> Н<иколаевичу> теплое пальто. Едут многие провожать, даже Сытин. И я жалею, что не могу сделать то же» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 6, с. 290).

¹ Сообщение о приезде Толстого «по личным делам» (Петербургская газета, 1897, 9 февраля, № 9).

² П. И. Бирюков.

³ Толстой остановился у своего приятеля А. В. Олсуфьева.

⁴ Афанасий Федорович (а не Федор Афанасьевич) Бычков (1818—1899), археограф и библиограф. О встрече Толстого с ним, а также с философом и поэтом Владимиром Сергеевичем Соловьевым (1853—1900) до сих пор не было известно.

⁵ В начале 1897 г. в Петербурге был создан Союз взаимопомощи русских писателей при Русском литературном обществе. Среди его членов были Д. Мамин-Сибиряк, В. Короленко, Н. Михайловский, Ин. Анненский и другие. Цель Союза — объединение писателей на почве профессиональных интересов, для постоянного между ними общения и охранения добрых нравов среди деятелей печати. См.: Устав Союза взаимопомощи русских писателей при Русском литературном обществе. Спб., 1897.

⁶ Суд чести при Союзе писателей призван был разбирать дела о плагиате, клевете и т. п.

⁷ По-видимому, штаб-ротмистр Иван Георгиевич Эрдели. Его жена М. А. Эрдели — племянница С. А. Толстой.

Н. Чудов. День в Ясной Поляне. — Орловский вестник, 1897, 29 июня, № 171.

Николай Александрович Чудов, журналист, печатавшийся в 90-е г. в «Орловском вестнике», позднее в «Волжском слове» и «Южном крае». После коронации Николая II Чудов написал обличительное стихотворение о Ходынской катастрофе и отпечатал его на гектографе. Это стихотворение «Николаю II на память о коронации» послужило причиной судебных преследований. Чудов сидел в остроге, позднее сослан в Вологодскую губернию. Толстой отнесся к нему с интересом: «...человек ...умный, горячий и хорошо пишущий, за что он пострадал много и продолжает страдать» (т. 72, с. 179).

Чудов был в Ясной Поляне 19 июня 1897 г. и написал статью по свежему впечатлению. Он посылал Толстому гранки, что явствует из его письма: «Прилагаемая статья была уже набрана и досыта урезана цензурой, когда я задал себе вопрос: «Хорошо ли я поступаю?.. Если вы запрещаете, не откажите написать до выпуска воскресного номера...» (ГМТ).

¹ Уильям Томас Стэд (1849—1912) — журналист, социолог и общественный деятель гостил у Толстого неделю в мае 1888 г. Автор книги «Правда о России» (1888).

² Имеются в виду сочинения Толстого «Царство божие внутри вас» (1890—1893) и «Письмо к членам Петербургского комитета грамотности» от 31 августа 1896 г.

³ Трактат «Что такое искусство?» (1897—1898).

⁴ Речь идет, вероятно, о повести «Отец Сергей», начатой Толстым в 1896 г., и романе «Воскресение».

⁵ 18 мая Толстой отослал письмо Николаю II по поводу отнятия детей у самарских молокан, религиозных сектантов, отвергавших обряды православия. Толстой советовал царю прекратить «позорящие Россию гонения за веру» (т. 70, с. 72—75).

⁶ Имеются в виду картины французского художника Жана Франсуа

Милле (1814—1875). Картина «Angelus» (1839) находится в Лувре, и репродукции с нее были широко распространены в России. Рисунок Милле «Отдыхающий копач» («Человек с мотыгой») Толстой упоминает в качестве примера в трактате «Что такое искусство?».

Из разговора с Ломброзо.— Русские ведомости, 1897, 18 августа, № 227.

Чезаре Ломброзо (1835—1909), итальянский психиатр, антрополог и криминалист. Его теорию «преступного типа» Толстой считал ложной. Ломброзо прибыл в Москву как гость XII Международного съезда врачей, проходившего в Большом театре под председательством Н. В. Склифосовского. Он выступил на съезде с докладом, в котором назвал имя Толстого как одного из писателей, в сочинениях которого «первый раз эстетика заключает тесный союз с учеными». Ломброзо посетил Ясную Поляну 11 августа 1897 г. В написанных позднее воспоминаниях (Ломброзо Ц. Мое посещение Толстого. Женева, изд. Элпидина, 1902) он писал о своих разговорах с Толстым: «Я видел совершенную невозможность говорить с ним, не раздражая его, о некоторых предметах и особенно о том, что у меня больше всего лежало на сердце,— убеждать его, например, в справедливости теории «прирожденных преступников», которую он упрямо отрицал, хотя он, как и я, лично видел такие типы и описывал их» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. 2-е изд. М., 1960, т. 2, с. 99).

В дневнике 15 августа 1897 г. Толстой отметил: «Был Ломброзо, ограниченный, наивный старичок» (т. 53, с. 150). В письме к А. К. Чертовой он тогда же дал такую характеристику: «Мало интересный человек, не полный человек» (т. 88, с. 47).

¹ Макс Нордау (1849—1925), немецкий публицист и писатель.

² Боледа Мария Львовна Толстая.

³ С. А. Толстая записала в дневнике свое впечатление от Ломброзо: «Маленький, очень слабый на ногах старичок, слишком дряхлый на вид по годам, ему 62 года» (Дневники, т. 1, с. 282).

А. Гермониус-финн. В Ясной Поляне. II. У Льва Толстого.— Одесский листок, 1897, 30 октября, № 259.

Аксель Карлович Гермониус (1860—1912) писал под псевдонимом Финн в 80-е г. в «Петербургской газете», затем в одесских изданиях. Публикуемый очерк — второй из серии трех статей, посвященных впечатлениям от Ясной Поляны.

¹ Константин Михайлович Орехов — бывший ученик яснополянской школы и последователь взглядов Толстого, крестьянин деревни Ясная Поляна, в избе которого первоначально остановился А. Гермониус (см.: Одесский листок, 1897, 26 ноября, № 255).

² 6 сентября 1897 г. Толстой отправил письмо, ранее адресованное Николаю II с протестом против преследований молокан, у которых отбирали детей, в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей». Письмо было напечатано в этой газете 15 октября 1897 г. (№ 282).

³ Цитата из пьесы Шекспира «Гамлет».

⁴ Работа «Что такое искусство?» появилась впервые в журнале «Вопросы философии и психологии» (1897, № 5 и 1898, № 1). В английском издании вышла в 1898 г. в переводе Э. Моода несколькими отдельными выпусками (приложение к журналу «The New Order»).

⁵ 5 октября 1897 г. Толстой обратился в редакцию журнала «Русская мысль» с рекомендацией стихотворения Вячеслава Дмитриевича Ляпунова «Пахарь» (т. 70, с. 161). Стихотворение было напечатано в № 1 за 1898 г. в сопровождении письма Толстого.

⁶ Одно из многочисленных антитурецких восстаний на Крите, начавшееся в 1896 г., привело к греко-турецкой войне 1897 г. Неподготовленная к войне Греция потерпела поражение.

⁷ По-видимому, Капнист Эмилия Алексеевна (1847—1903).

⁸ Леонид Егорович Оболенский (1845—1906), публицист, критик и философ. В 80-е г. издавал «Русское богатство», где печатался Толстой.

⁹ Очерки Власа Михайловича Дорошевича (1864—1922) о Сахалине были изданы отдельно лишь в 1903 г. По-видимому, Толстой испытал некоторое разочарование, познакомившись с этой книгой, потому что впоследствии дважды отозвался о ней неодобрительно (см.: Маковцкий Д. П. Яснополянские записки. М. 1979, кн. 2, с. 256 и 284).

1898

Кн. Д. Оболенский. В Москве у гр. Л. Н. Толстого. — Камско-Волжский край, 1898, 20 января, № 639.

Дмитрий Дмитриевич Оболенский (1844—?), помещик, коннозаводчик, давний приятель семьи Толстого (домашнее прозвище Миташа). Навестил Толстого в Москве 11 января 1898 г.

¹ Альфред Дрейфус (1859—1935), офицер французского Генерального штаба, по национальности еврей, несправедливо обвиненный в предательстве и отправленный на каторгу. Э. Золя выступил в его защиту с рядом статей и с памфлетом «Я обвиняю» (опубликован во Франции в начале января 1898 г.).

² Спор о воспитании дочери Тургенева Полины 27 мая 1861 г. в имени Фета Степановка едва не привел к дуэли между Толстым и Тургеневым.

Я — в. У графа Л. Н. Толстого. — Курьер, 1898, 8 февраля, № 39.

Подпись под статьей Я — в принадлежит В. Яковлеву, сотруднику газеты «Курьер» и журнала «Мир божий».

¹ В ноябре 1897 г. Золя стал публиковать статьи в газете «Фигаро» в защиту Дрейфуса, а затем, когда газета отказалась его печатать, продолжил борьбу изданием брошюр «Письмо юным» и «Письмо Франции». Часть молодежи, настроенная шовинистически, встретила эти статьи с возмущением, и группы молодых «антидрейфусаров» устраивали демонстрации возле дома Золя и били стекла в его квартире.

² Статья о деле Дрейфуса и участия в нем Золя не была написана Толстым.

М. Полтавский. <Р. Левенфельд> у графа Толстого.— Биржевые ведомости, 1898, 8 (20) сентября, № 244. Газета присылалась Толстому редакцией.

Рафаил Левенфельд (1854—1910), немецкий ученый-славист, переводчик Толстого, его биограф. В июле 1890 г. гостил в Ясной Поляне, собирая материал для биографии Толстого. В русском переводе появились его работы о Толстом: «Граф Л. Н. Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание» (М., 1897) и «Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и разговорах с ним самим» (Русское обозрение, 1897, № 10, с. 539—608).

1 и 2 июля 1898 г. Р. Левенфельд был вновь в Ясной Поляне (См.: Толстая С. А. Дневники, т. 1, с. 396) и его впечатления были опубликованы в газете «*Frankfurter Zeitung*» (27 и 28 августа 1898). Журналист, писавший в «Биржевых ведомостях» под псевдонимом М. Полтавский, передал по-русски его статью почти полностью.

¹ Толстой был в Германии в июле — августе 1860-го и в марте — апреле 1861 г.

² Пьеса Г. Гауптмана в русском переводе имеет название «Одинокие». Позднее, в 1900 г., Толстой смотрел эту пьесу на сцене Московского Художественного театра.

³ Речь идет о сочинениях Жозефа Эрнеста Ренана (1823—1892) «История происхождения христианства» (т. 1—8, 1863—1883), Давида Фридриха Штрауса (1808—1874) «Жизнь Иисуса» (1864, 2-е изд.) и Эдуарда Рейсса (1844—1891), автора нового комментированного перевода Библии.

⁴ Речь идет о Владимире Григорьевиче Черткове.

⁵ Работа Ильи Яковлевича Гинцбурга (1859—1939) «Толстой, пишущий за столом» сделана с натуры в 1891 г.

⁶ Ваня Толстой умер в 1895 г.

⁷ Родители С. А. Толстой снимали дачу в Покровском-Стрешневе. Покровское-Глебово расположено рядом.

⁸ Байрёйт — город в Баварии, связанный с именами композиторов Вагнера и Листа. В нем проходили знаменитые музыкальные фестивали.

⁹ Ошибка: драму «Сандра» писала Татьяна Львовна.

¹⁰ Шиллеровский театр в Берлине открыт в 1894 г. на средства акционерного общества. Директор театра Р. Левенфельд старался создать просветительный театр с дешевыми билетами и классическим репертуаром.

¹¹ За Фрицем Рейтером (1810—1874) была слава рассказчика-юмориста. Возможно, Толстой был знаком лишь с его «Рассказами из 1813 года», печатавшимися в 1878 г. в «Русском вестнике» (№ 5 и 7).

¹² Христиан Фридрих Хеббель (Геббель) (1813—1863), драматург, поэт и прозаик. Книгу «Шварцвальдских деревенских рассказов» Бертольда Ауэрбаха (1812—1882) Толстой читал еще в 1856 г.

¹³ Толстой был в Риме в январе 1861 г. Сопровождавший его художник — возможно, Сергей Иванов, брат Александра Иванова (см.: Маковик и Д. П. Яснополяские записки, кн. 2, с. 9).

¹⁴ Толстой считал неудачной строку: «И молния грозно тебя обвивала...» в стихотворении Пушкина «Туча» (1835).

¹⁵ Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (1794—1869) был с 1835 г. вице-президентом Академии наук. Толстой действительно часто посещал его дом в Брюсселе, но с французским философом Пьером Жозефом Прудоном (1809—1865) и с польским историком и революционером Иоахимом Лелевелем (1786—1861) он познакомился не в доме Дондукова-Корсакова. Он навестил их, имея рекомендации от Герцена.

¹⁶ Ошибка: Толстой из Лондона переехал в Брюссель.

¹⁷ Жозеф-Альбер де Сиркур (1801—1879), известный французский дипломат, в 1840-е годы приезжал в Россию.

¹⁸ Встречи с Александрой Андреевной Толстой (1817—1904) в Швейцарии относятся к первой поездке Толстого за границу в 1857 г.

¹⁹ Плаксин Сергей Иванович, автор сборника стихов «Голгофа» (Одесса, 1903) был в те годы мальчиком.

²⁰ Толстой перешел с Владимиром Петровичем Боткиным (1837—1869) через перевал Мон-Сени в Италию 3 (15) июня 1857 г.

²¹ Графиня Александра Ильинична фон дер Остен-Сакен, родная сестра отца (1795—1841), была назначена опекуной малолетних Толстых. Но главную роль в их воспитании играла Татьяна Александровна Ергольская (1792—1874).

²² Повесть «Хаджи-Мурат» задумана в 1896 г.

²³ Левенфельд неточно пересказывает сюжетную канву будущего романа «Воскресение».

²⁴ Первое публичное представление комедии «Плоды просвещения» состоялось в Туле 15 апреля 1890 г.

1899

Не-фельетонист. У графа Л. Н. Толстого.— Новое время, 1899, 1 (18) марта, № 8269.

Псевдоним принадлежит писателю и журналисту Николаю Михайловичу Ежову (1862—1941). Ежов был у Толстого, по-видимому, 1 или 2 марта 1899 г. После публикации интервью, по просьбе издателя Суворина, Ежов вторично посетил Толстого 8 марта 1899 г. и передавал следующие слова писателя: «Ваш фельетон относительно пушкинского праздника и меня написан верно, я не могу возразить ни против единого слова» (см. Литературное наследство, т. 69, кн. 2, с. 319).

¹ 5 февраля 1898 г. Т. Л. Толстая записала в дневнике слова отца, что «нам, русским, странно заступаться за Дрейфуса, человека ничем не замечательного, когда у нас столько исключительно хороших людей было повешено, сослано, заключено на всю жизнь в одиночные тюрьмы» (Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. М., 1979, с. 408).

² Имеется в виду эпизод в декабре 1856 г., когда издатель «Русского вестника» М. Н. Катков, обиженный на И. С. Тургенева за его сотрудничество

с «Современником», обвинил его в двуличии. Толстой написал опровержение в защиту Тургенева и просил его напечатать. «Катков, согласившийся выполнить мою просьбу,— рассказывал Толстой,— снабдил мой ответ такими комментариями, что я поспешил остановить публикацию своего письма, чтобы предотвратить их появление в печати» (Литературное наследство, т. 75, кн. 2, с. 66).

³ «Этого Толстой никогда не говорил и не мог сказать, потому что Толстой не поп и не ханжа»,— комментировал Ежов приписанные Толстому слова о «панихиде» в письме от 3 марта 1899 г. А. С. Суворину (Литературное наследство, т. 69, кн. 2, с. 320).

Сергей Печорин <С. А. Сафонов>. *Беседа с Л. Н. Толстым*.— Россия, 1899, 10 (23) мая, № 13.

Сергей Александрович Сафонов (1879—1904), писавший под псевдонимом Сергей Печорин, поэт, журналист. «Беседа с Л. Н. Толстым» — вторая статья в печатавшемся им цикле «Письма о голодных». Голод, охвативший в 1898—1899 гг. ряд губерний России, в особенности Поволжье, вызвал заметные отклики в печати. По примеру прошлых голодных лет Толстой получал с разных сторон пожертвования в помощь голодающим и организовывал их распределение.

¹ Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938) совместно с В. М. Дорошевичем издавал с 1899 г. газету «Россия», которую представлял автор интервью.

² Внимание жертвователей к Самарской губернии объяснялось, в частности, публикацией Толстым в «Русских ведомостях» (1899, 4 марта, № 62) письма к нему А. С. Пругавина о голоде в этом районе.

1900

С. Орлицкий. *У графа Л. Н. Толстого*.— Русский листок, 1900, 8 января, № 8.

С. Орлицкий — псевдоним Станислава Станиславовича Окрейца (1834—?), писателя и журналиста.

¹ Цензурные изъятия коснулись при первой публикации десятков глав. Три главы, в том числе глава о богослужении в тюремной церкви, были выброшены совсем.

² В англо-бурской войне 1899—1902 гг. против Англии, защищавшей свои империалистические интересы, воевали Трансвааль и Оранжевая республика буров.

³ Гаагская мирная конференция, проходившая с 18 мая до конца июля 1899 г.— многосторонняя международная встреча, пытавшаяся установить порядок мирного разрешения межгосударственных споров. «Гаагская мирная конференция,— писал Толстой в телеграмме газете «Нью-Йорк Уорлд»,— есть только отвратительное проявление христианского лицемерия» (т. 72, с. 117).

⁴ Из Трансвааля писал Толстому журналист Уильям Х. Причард (см.: Литературное наследство, т. 75, кн. 1, с. 481). О событиях в Южной Африке Толстой переписывался также с Григорием Михайловичем Волконским (1864—1912), внуком декабриста С. Г. Волконского.

⁵ Известный русский биолог И. И. Мечников (1845—1916) выдвинул свою теорию старения и смерти, согласно которой причиной старения являются яды, выделяемые микроорганизмами, в частности в кишечной флоре, и рекомендовал в целях борьбы со старостью определенные гигиенические меры и режим питания.

⁶ В. В. Стасов был у Толстого в Москве 5—8 января 1900 г. Таким образом, в один из этих дней взято и интервью С. Орлицкого.

Н. Нильский. Прогулка с Л. Н. Толстым.— Новости дня, 1900, 9 января, № 5972. Автор статьи — московский журналист Николай Миронович Никольский, писавший под псевдонимами Н. Нильский, Снегов, Антип.

¹ Во время тяжелой болезни Толстого в ноябре — декабре 1899 г. его лечил врач Павел Сергеевич Усов (1867—1917) (см.: Толстая С. А. Дневники, т. 1, с. 455).

² Николай Ильич Стороженко (1836—1906) — историк литературы, исследователь творчества Шекспира, профессор Московского университета.

³ Пьесы Г. Гауптмана «Ганнеле» и «Потонувший колокол» Толстой критиковал в трактате «Что такое искусство?» (т. 30, с. 105 и 117).

⁴ Пьеса Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (в старом переводе — «Когда мы, мертвые, воскресаем») неоднократно критиковалась Толстым.

⁵ Толстой был 24 января 1900 г. в Московском Художественном театре на пьесе «Дядя Ваня» Чехова, а 16 февраля 1900 г. смотрел спектакль «Одинокие» Гауптмана.

Николай Энгельгардт. У гр. Льва Ник. Толстого.— Новое время, 1900, 31 января, № 8595.

Николай Александрович Энгельгардт (1861—1942), критик, журналист. По упоминанию, что Толстой «за последние дни» был на представлении «Дяди Вани», можно определить, что интервью Энгельгардта взято между 25 и 30 января 1900 г.

¹ Через посредство Н. И. Стороженко, работавшего в Румянцевском музее (ныне Гос. библиотека им. В. И. Ленина), Толстой получал некоторые нужные ему для литературных занятий книги.

² Брату Н. А. Энгельгардта, Михаилу Александровичу Энгельгардту (1861—1915), Толстой написал знаменитое письмо 20 декабря 1882 г.— подобие исповеди, в которой говорил, что он «страшно одинок» (т. 63, с. 112—124).

³ Отец Н. А. Энгельгардта, Александр Николаевич Энгельгардт (1832—1893), химик, агроном, автор книги «Письма из деревни». В имении Батицево была сделана попытка создать трудовую колонию-коммуны из мо-

лодых людей образованного круга, переселившихся в деревню из Москвы и Петербурга. Попытка, отчасти близкая «толстовству», но до конца не принятая Толстым, окончилась неудачей.

⁴ См. интервью с С. Орлицким в наст. изд.

⁵ О впечатлениях Толстого от спектакля «Дядя Ваня» см.: Л а к ш и н В. Толстой и Чехов. 2-е изд. М., 1975, с. 386—389.

⁶ Речь идет о книге П. А. Кропоткина, имя которого не упоминалось в печати, «Fields, Factories and Works hops» («Поля, фабрики и мастерские»). Толстой читал эту книгу в январе 1900 г.

Разные разности. («Смоленский вестник» о Толстом).— Неделя, 1900, 22 октября, № 43.

Разные разности (Вл. И. Немирович-Данченко в Ясной Поляне).— Там же.

Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858—1943), драматург и режиссер, один из основателей Художественного театра. Оставил о встречах с Толстым воспоминания в книге «Из прошлого» (М., 1936). Был в Ясной Поляне 11 октября 1900 г.

¹ Пьеса «Живой труп» (1900) не была окончательно отделана Толстым, осталась в его бумагах, впервые опубликована после его смерти и поставлена Художественным театром в 1911 г.

² Горький навестил Толстого с В. А. Поссе за три дня до Немировича-Данченко — 8 октября 1900 г.

1901

Г. М(оде)ль. Граф Л. Н. Толстой в Ясной Поляне.— Одесский листок, 1901, 3 (16) июля, № 169.

Автор статьи — Григорий Исидорович Модель (1871—?), публицист, хроникер одесских газет.

Наум Львович Аронсон (1872—1943), известный скульптор, уроженец Витебской губернии, живший постоянно в Париже. Участник многих европейских художественных выставок. Был у Толстого в середине июня 1901 г. Его пребывание в Ясной Поляне в дневнике С. А. Толстой отмечено дважды: 14 и 20 июня 1901 г. «Живет сейчас скульптор Aronson, бедняк-еврей, выбившийся в Париже в восемь лет в хорошего, талантливого скульптора. Лепит бюст Льва Николаевича и мой; bas-relief — Тани, и все недурно» (Дневники, т. 2, с. 20). Кроме бюста Толстого в бронзе Аронсоном было сделано два портрета Толстого карандашом и около восьмидесяти набросков.

¹ Толстой продолжал в это время работу над повестью «Хаджи-Мурат».

² Князь Павел (Паоло) Петрович Трубецкой (1866—1938), скульптор.

³ Илья Яковлевич Гинцбург (1853—1939), скульптор.

⁴ Ольга Константиновна Толстая, урожд. Дитерихс (1872—1951), первая жена Андрея Львовича Толстого.

⁵ Имеется в виду рассказ «Охота пуще неволи» из «Четвертой русской книги для чтения» (т. 21).

⁶ Исаак Яковлевич Павловский (1852—1924), пользовавшийся псевдонимом И. Яковлев, был корреспондентом «Нового времени» и других русских изданий в Париже.

Из Ясной Поляны. Русские ведомости, 1901, 18 июля, № 191.

¹ В июле 1901 г. Толстой болел малярией в тяжелой форме.

² «Единственное средство» (т. 34).

³ А. Рамазесхану (т. 73, с. 101—104).

⁴ Князь Мирза Риза Хан, иранский поэт и дипломат, при письме от 29 июня 1901 г. прислал Толстому перевод своей оды «Мир». Толстой ответил ему благодарственным письмом 10 (23) июля 1901 г. (т. 73, с. 94—95).

⁵ По-видимому, книга Н. J. Brunhes «Ruskin et la Bible» («Рёскин и Библия»).

1902

Внутренние известия. Ялта (От нашего корреспондента).— Петербургские ведомости, 1902, 29 апреля, № 114.

Автор статьи не известен.

¹ Зиму 1901/02 г. Толстой провел в Крыму, где тяжело болел, в особенности в январе — феврале 1902 г.

² Александр Яковлевич Острогорский (1868—1908), педагог, один из издателей журнала «Образование». Толстой протестовал против того, что в объявлении об издании журнала ему было приписано сочинение украинской легенды «Сорок лет», ранее обработанной Н. И. Костомаровым. См. письмо Толстого П. А. Буланже от 28 февраля 1902 (т. 73, с. 210). Толстым было написано лишь «Окончание...» легенды, а вся она отредактирована.

³ Этьен-Александр Мильеран (1859—1943), французский публицист и политик, был первым социалистом, согласившимся принять участие в буржуазном правительстве (1899). Глава французских социалистов Жюль Гед (1845—1922) не признавал компромиссов и обличал Мильерана как предателя.

⁴ Генри Джордж (1839—1897), американский публицист и экономист. Толстой высоко ценил и пропагандировал его теорию единого налога на землю.

⁵ Дмитрий Васильевич Никитин (1874—1960), домашний врач Толстого в 1902—1904 гг.

Беседа с Л. Н. Толстым.— Русские ведомости, 1902, 31 августа, № 240.

Адольф Тейхерт (1854—1907), австрийский поэт, переводчик и журналист. Посетил Толстого в Москве в апреле 1901 г.

¹ Во французском журнале «Ревю дэ де монд» (1902, август) появились

записки писательницы Т. Бентзон (Мария-Тереза Блан, 1840—1907) о ее визите к Толстому. Их текст см.: Литературное наследство, т. 75, кн. 2, с. 35—39.

² Книга стихов «По следам гения» (1900).

³ Мысль, развитая Гюго во II главе 5-й книги романа — «Вот это убьет то».

⁴ Колридж Самюэль Тейлор (1772—1834) — английский поэт так называемой «озерной школы». В 1794 г. написал антиякобинскую драму «Падение Робеспьера» (совместно с Р. Саути), мистические поэмы «Старый моряк» (1817), «Кристалль» (1816). Колридж — автор курса лекций о Шекспире.

⁵ В «Предисловии к роману Поленца «Крестьянин» Толстой сочувственно процитировал определение Мэтью Арнольдом роли критики: «...выдвигать и указывать людям все, что есть самого лучшего как в прежних, так и в современных писателях» (т. 34, с. 276).

Musca. В Ясной Поляне (Беседа с Л. Н. Толстым).— Одесские новости, 1902, 3 сентября, № 5736.

Автор статьи — Федор Генрихович Мускатблит (1878—?), журналист, критик, один из первых биографов А. П. Чехова. Имея в виду указание в тексте, что в Ясной Поляне в этот день был доктор Никитин (ошибочно названный Михаилом Дмитриевичем), а накануне уехала в Москву С. А. Толстая, можно заключить, что Ф. Мускатблит посетил Ясную Поляну 3 августа 1902 г.

¹ Толстой делал вставки и замечания к своей «Биографии», написанной П. И. Бирюковым (см. т. 34).

² Намек на режиссуру Художественного театра, охотно прибегавшую к эффектам звукового фона на сцене. «Я им живых мух для большей правды наловлю и пошлю», — говорил, по свидетельству Ю. Д. Беляева, Толстой (Толстой и о Толстом. М., 1928, вып. 4., с. 18).

«Режиссер С. Ратов у Толстого».— Русское слово, 1902, 4 (17) сентября, № 197. Газета присылалась Толстому редакцией.

Сергей Михайлович Ратов — режиссер Нового Народного театра в Петербурге (на Мойке). Был у Толстого 16 августа 1902 г. вместе с художником К. В. Изенбергом по просьбе руководительницы театра Л. Б. Яворской. Целью посещения было поговорить с Толстым о пьесе «Власть тьмы», готовившейся к постановке, а также ближе познакомиться с бытом яснополянских крестьян, чтобы придать спектаклю большую достоверность. Постановка была осуществлена Новым театром, но большого успеха не имела.

¹ В опубликованных позднее воспоминаниях «День с Толстым» (Солнце России, 1912, 7 ноября, № 145) С. Ратов приводил также такие слова Толстого: «Играйте, как написано, — вот и все. Только не сгущайте красок; действующие лица все ясны. Никита должен быть красивым, ловким парнем, щеголем, деревенским Дон-Жуаном, но в глубине души парень он недурной... Матрену, говорят, играют злодейкой... Не знаю, нужно ли это. Стрепетова хорошо играла, судя по отзывам, только лучше играть ее непонимающей, что она

делает. Вот Анютку сыграть трудно... Есть ли у вас такая Анютка? Надо, чтобы она ребенком казалась; побольше непосредственности надо; вообще, все бы проще, лучше будет».

У Л. Н. Толстого. — Биржевые ведомости, 1902, 25 октября (7 ноября), № 291.

Поль Буайе (1864—1949), французский славист, редактор «Revue des études Slaves» («Журнала славистики»). Неоднократно бывал у Толстого (5 сентября 1895 г., 16—18 июля 1902 г., 21 октября 1902 г., 28 августа 1906 г. и 29 августа 1910 г.). Оставил книгу воспоминаний о встречах с Толстым (Воуег R. Chez Tolstoi. Entretiens à Jasnaia Poliana. Paris, 1900). В качестве корреспондента газеты «Le Temps» Буайе поместил ряд репортажей о беседах с Толстым (27—28 августа 1901, 2 и 4 ноября 1902, 29 августа 1910 г.). Отрывок из воспоминаний Поля Буайе «Три дня в Ясной Поляне» напечатан в русском переводе в книге «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников» (т. 2, с. 266—270).

¹ Александр Иванович Эртель (1855—1908), писатель, автор романа «Гарденины», высоко ценимого Толстым.

² Мария Николаевна Толстая (1830—1912) была монахиней в Шамординском монастыре.

³ Описка: имеется в виду Татьяна Львовна.

⁴ Книга Альберта Метэнка «Социализм без доктрин». Толстой, согласно воспоминаниям Буайе, говорил ему, что прочел ее с большим интересом.

⁵ Жан Жорес (1859—1914), французский социалист, историк, талантливый оратор.

⁶ Толстой цитирует роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

Здоровье Л. Н. Толстого. — Русское слово, 1902, 15 (28) декабря, № 345.

С 5 декабря 1902 г. Толстой болел инфлюэнцией в тяжелой форме. Газеты досаждали Толстому постоянными заметками о состоянии его здоровья, пока он не обратился через посредство «Русских ведомостей» ко всем редакциям с просьбой не печатать сведений о его болезни (Русские ведомости, 1902, 9 декабря, № 343). Это, однако, не остановило журналистов.

¹ Толстому читали «Записки революционера» П. А. Кропоткина — книгу, не упоминаемую в печати.

² Павел Александрович Буланже (1865—1925).

³ Илья Васильевич Сидорков (1858—1940), многолетний слуга Толстого.

1903

Ю. Беляев. В Ясной Поляне. — Новое время, 1903, 24 апреля, № 9746.

Юрий Дмитриевич Беляев (1876—1917), журналист, драматург, театральный критик. Толстой выправил гранку статьи Беляева. 3 мая 1903 г. Толстой писал брату: «Беляев мало способный человек. Спасибо ему, что он прислал

свою статью в корректуре, и я, по его разрешению, многое выключил, а то было еще хуже и бестактно» (т. 74, с. 12).

¹ Газеты уделяли много внимания инциденту, происшедшему на выставке санкт-петербургского Общества художников вокруг картины Бунина «Толстой и Репин на рыбной ловле». Рассчитанная на скандал картина изображала Толстого и Репина без одежды, и некто С. Любошитц написал карандашом во всю длину полотна слово «мерзость», за что был привлечен к судебной ответственности (см.: Новое время, 1903, 3 (16) апреля, № 9727).

² Толстой писал о Хитровке в трактате «Так что же нам делать?» (1882—1886). Он принял участие в московской переписи в январе 1882 г.

³ Александр Петрович Иванов (1836—1911), бывший офицер. В начале 80-х гг. Толстой нашел его в одном из притонов Москвы и давал работу — переписывать свои сочинения.

⁴ Имеется в виду пьеса «Три сестры», поставленная в Художественном театре 31 января 1901 г.

⁵ Пьеса Октава Мирбо (1848 или 1850—1917) «Дела есть дела», о которой газета «Новое время» подробно писала 12 (25) апреля 1903 г. (№ 9734), посвящена разоблачению прожженного авантюриста и дельца нового пошиба, терпящего моральный крах в собственной семье. Толстой прочел эту пьесу в июне 1903 г. О. Мирбо посвятил Толстому русский ее перевод («Власть денег»). Толстой ответил на это письмом, в котором говорил, что французское искусство произвело на него в свое время «впечатление открытия», и выражал признательность автору пьесы (т. 74, с. 194—195).

⁶ В 1903—1905 гг. Толстой начал писать свои «Воспоминания», подвигнутый на это своим биографом П. И. Бирюковым. Однако написано было лишь девять глав, действие в которых доведено до 1837 г. (т. 34).

⁷ В «Миссионерском обозрении» (1903, № 6, с. 863—865) с указанием, что письмо перепечатано из журнала «L'Européen». Письмо К. Г. Халилееву от 22 сентября 1902 г. содержало рассуждения Толстого о благе болезни и близости смерти как просветления (т. 73, с. 295—296).

Алексей Мошин. Поездка в Ясную Поляну.— Новости дня, 1903, 18 мая, № 7164.

Алексей Николаевич Мошин (1870—1928), писатель, автор книги «Штрихи и настроения» (М., 1901), в качестве предисловия к которой помещена беседа автора с Л. Н. Толстым. Приводим ее текст:

«Граф Л. Н. Толстой сказал мне:

— Я ничего не читал из ваших беллетристических произведений... Это ужас, сколько развелось теперь писателей, это просто ужас!.. И как мало имеющих право писать! Я не говорю о вас, я не читал ваших вещей, — повторил граф, — но я не понимаю, зачем так много пишут!

— Что меня касается, — ответил я, — то, может быть, и очень плохо пишу, но пишу я потому, что не могу не писать... как не может щегол не петь... хотя он и не умеет петь по-соловьиному, а только по-своему...

— Петь, вы сказали... Песня — дело хорошее, да только песня-то эта

уж очень дорогая,— сказал граф строго.— Из-за этой песни наборщики свинцовую чахотку себе наживают!..

Я видел перед собой грозного судию: его неизъяснимо чудные серые глаза, зеркало гениальной души, светились и укором, и обличением, и как будто спрашивали меня, дерзкого человека, смеющего писать: «Что ты можешь сказать в свое личное оправдание?»

— Я написал довольно много, напечатано же сравнительно очень мало... Выпускаю только то, что оказывается пригодным, хотя бы и для маленьких периодических изданий... Да, я знаю, теперь так много пишущих, что все органы печати завалены материалом...

В знак согласия граф кивнул головой.

— Вот я и думал, что если, несмотря на то, мои вещи принимаются и печатаются,— значит, они хоть куда-нибудь, хоть для чего-то пригодны...

— Да как же не принимать и не печатать,— возражал граф,— когда теперь даже о всяких пустяках удивительно хорошо пишут! Как ловко теперь барыни пишут!.. Множество барынь пишет теперь... До чего развита в наше время техника — уму непостижимо!.. У Достоевского никогда такой техники не было, какая теперь у барынь... И до чего длинно пишут... Ужас!.. Как начнут писать какую-нибудь вещь, так могут ее до бесконечности писать...

— А меня вот упрекают в том, что слишком коротко пишу,— говорят: короче птичьего носа!..

— Коротко пишете? Это хорошо... Расскажите-ка мне содержание какой-нибудь вашей вещи.

Я почти слово в слово помнил содержание моей маленькой вещицы «Секрет Митрича» и рассказал графу.

— Хорошо,— сказал Лев Николаевич,— только вот одно неверное положение: в Евангелии вовсе не сказано, что кто хочет быть «там», в загробной жизни, первым, тот должен быть здесь слугой... А сказано это и по отношению к земной жизни...

— Но простой человек — Митрич,— возразил я,— он мог по-своему толковать. Он только той надеждой и жил, что «там» ему воздастся за то, чем он был обойден здесь... И многие в народе этой верой и надеждой живут.

— Да, это правда,— согласился Лев Николаевич.

— Ну, пока у вас есть о чем писать,— с доброй улыбкой сказал граф,— пишите!..

Москва, 28 января 1900 г.»

¹ Рассказ «Альберт» (1857—1858).

² «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» (1868).

Скриба. В Ясной Поляне.— Одесские новости, 1903, 13, 17 и 22 июня, № 6026, 6030, 6033.

Автор статьи — Евгений Андреевич Соловьев (1867—1905), критик, исто-

рик литературы, писавший под псевдонимами Андреевич и Скриба. Соловьев-Андреевич был в Ясной Поляне 1 июня 1903 г.

¹ Из рассказа М. Горького «Коновалов» (1896).

² Михаил Петрович Новиков (1871—1939), крестьянин Тульской губернии, друг Толстого, автор рассказов и статей из крестьянской жизни.

³ В газете «Новое время» 7 февраля 1903 г. (№ 9673) С. А. Толстая поместила «Письмо в редакцию», в котором обвиняла Леонида Андреева в связи с его рассказом «В тумане» в том, что в противовес Л. Н. Толстому он любит будто бы «наслаждаться низостью явлений порочной человеческой жизни».

⁴ Толстой занял должность мирового посредника 4-го участка Крапивенского уезда в мае 1861 г., читал крестьянам Положение 19 февраля и пытался по справедливости разрешать их споры с помещиками. В результате возмущения дворян Крапивенского уезда уволен от своей должности «по болезни» в мае 1862 г.

И. И. Попов. Из записной книжки туриста (Ясная Поляна).— Восточное обозрение, Иркутск, 1903, 9 декабря, № 282. Газета присылалась Толстому редакцией.

Иван Иванович Попов (1862—1942), журналист, в молодые годы народовец. После ареста по делу Г. Лопатина, Якубовича-Мельшина и других был выслан в Забайкалье. В Сибири редактировал «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник». И. И. Попов навестил Ясную Поляну 16 октября 1903 г.

¹ Георг Брандес (1842—1927), датский критик, и Эжен Мельхиор Вогюз (1848—1910), французский историк литературы,— имена авторитетные в России начала XX в.

² Хрисанф Николаевич Абрикосов (1877—1957), последователь Толстого, периодически жил в Ясной Поляне и в 1902—1905 гг. был добровольным помощником Толстого. Григорий Моисеевич Беркенгейм (1872—1912) в 1903 г. исполнял в Ясной Поляне обязанности домашнего врача.

³ В октябре — ноябре 1903 г. Толстой работал над статьей «О Шекспире и о драме».

⁴ Ошибка: дед и бабушка С. А. Толстой не были прототипами главных героев «Войны и мира». Речь идет о портретах Толстых и Волконских — предков самого писателя.

⁵ Рассказ об этом эпизоде, исходивший, по-видимому, от родственницы Толстого и фрейлины двора А. А. Толстой, не считается достоверным, хотя и фигурирует во многих дореволюционных источниках биографии писателя.

⁶ Александр III принял С. А. Толстую 13 апреля 1891 г. и разрешил печатать «Крейцерову сонату» только в собрании сочинений Толстого. Для отдельных изданий она была запрещена.

⁷ Арья-бабо — персонификация милосердия как нравственной категории в ламаистской мифологии монголов и бурят.

⁸ Эдуард Джемс. Толстой перевел его статью о духоборах для журнала «Образование». Статья была запрещена цензурой. Текст перевода неизвестен.

1904

А. Зенгер. У Толстого.— Русь, 1904, 15 (28) июля, № 212.

Алексей Владимирович Зенгер (1873—?), журналист, сотрудник «Руси» и сатирических журналов начала века. Газета «Русь» высылалась редакцией Толстому.

¹ Похороны Чехова, умершего 2 (15) июля 1904 г. на немецком курорте Баденвейлер, состоялись в Москве 9 (22) июля. Процессия проследовала от Николаевского вокзала через весь город до кладбища Новодевичьего монастыря. Гроб несли на руках.

² В мае 1904 г. созданная Академией наук комиссия по вопросам реформы орфографии во главе с академиком Ф. Ф. Фортунатовым опубликовала проект упрощения русского правописания, согласно которому, в частности, изымались из алфавита буквы ъ и ь.

³ Речь идет о поэме Горького «Человек» (1904).

Немецкий журналист в Ясной Поляне.— Русские ведомости, 1904, 13 августа, № 224.

Гуго Ганц — редактор венской газеты «Zeit». Был у Толстого с женой в январе 1904 г. Им опубликована книга: G a n z Н. «The Land of Riddles» (Russia of to day) (N. J. and London, 1904), три главы которой посвящены Толстому.

¹ Георг Кристоф Лихтенберг (1742—1799), немецкий писатель и философ, некоторые афоризмы которого включены Толстым в «Круг чтения».

² Готфрид Келлер (1819—1890), швейцарский писатель, писавший на немецком языке. Наиболее известен его воспитательный роман «Зеленый Генрих» (1879—1880).

³ Статья «О Шекспире и о драме», над которой Толстой работал в конце 1903-го и начале 1904 г., была впервые опубликована в газете «Русское слово» (1906, 12, 14—18, 23 ноября, № 277—282 и 285).

1905

С. Отзыв Л. Н. Толстого.— Русь, 1905, 27 января, № 20. Автор статьи не установлен. Газета присылалась Толстому редакцией.

¹ Расстрел мирной демонстрации петербургских рабочих 9 января 1905 г., шедших с петицией к царю.

² «Об общественном движении в России» (т. 36).

³ В депеше филадельфийской газете «North American Newspaper» от 18 ноября 1904 г. (т. 75, с. 181—182) Толстой скептически отнесся к выступлениям земств с требованием ограничить самодержавие. Содержание ответа Толстого американской газете было опубликовано «Московскими ведомостями» 30 ноября 1904 г. (№ 331), а вслед за тем перепечатано и другими русскими газетами.

⁴ В газете «Наша жизнь» были помещены: в № 45 от 20 декабря (2 января) 1904 г.— изложение письма «Ко всем людям, имеющим власть» (см. «Царю и его помощникам»; т. 34), в № 51 от 28 декабря (10 января) 1904 г.— телеграмма «В редакцию Северо-Американской газеты» от 18 ноября 1904 г.

⁵ Журналист Владимир Андреевич Грингмут (1851—1907), сотрудник «Московских ведомостей», имел стойкую репутацию реакционера и черносоптенца.

(Интервью с Толстым).— Вечерняя почта, 1905, 8 февраля, № 49. «Вечерняя почта» присылалась Толстому редакцией.

¹ В январе — феврале 1905 г. Толстой работал над статьями «Об общественном движении в России» и «Единое на потребу».

² В дневнике от 1 февраля 1905 г. Толстой отметил, что «понемногу» пишет свои воспоминания (т. 55, с. 122).

Внешние известия.— Новое время, 1905, 15 февраля, № 10398.

¹ Корреспондент газеты «Matin» Бурден был у Толстого 6—7 февраля 1905 г. Отзыв Толстого о Бурдене см.: Литературное наследство, т. 37—38, с. 556.

Сведения из столицы (От нашего корреспондента).— Забайкалье, 1905, 6 марта.

¹ Над рассказом «После бала» Толстой работал в 1903 г., над произведением «Божеское и человеческое» — в 1903—1906 гг.

² Революционный народник Дмитрий Андреевич Лизогуб (1849—1879) послужил Толстому прототипом его героя Синегуба.

П. Барков. В Ясной Поляне.— Биржевые ведомости, 1905, 26 апреля, № 8791.

Приезд П. Баркова в Ясную Поляну отмечен 15 апреля 1905 г. в дневнике С. А. Толстой (т. 2, с. 232). Д. П. Маковицкий в тот же день записал:

«Когда приехал корреспондент «Биржевых ведомостей», Л. Н. сказал ему:

— Разговариваю с вами не как с корреспондентом, но как с приятелем. Не пишите интервью» (Яснополянские записки, кн. 1, с. 248).

¹ Речь идет о статье М. Романова «Л. Н. Толстой о последних событиях в России» (Русский листок, 1905, 8 апреля, № 96). В этом интервью говорилось, будто бы Толстой советовал окатить революционеров и либералов «холодной водой».

² В газете «Гражданин».

³ Петр Данилович Святополк-Мирский (1857—1914), министр внутренних дел, до своей отставки в январе 1905 г. пробовал привлечь буржуазную оппозицию на сторону правительства и провозглашал политику «доверия» к обществу.

⁴ Английский журнал «Review of Reviews», издаваемый У. Стэдом, присылался Толстому редакцией.

⁵ С. А. Толстая опубликовала в газете «Times» при посредстве В. Г. Черткова открытое письмо по вопросам русско-японской войны и заключения мира.

Н. Шебуев. Незаписки.— Русь, 1905, 3 (16) июня, № 146.

Николай Георгиевич Шебуев (1874—1937), публицист и писатель, корреспондент газеты «Русь». Был в Ясной Поляне 30 мая 1905 г.

¹ Перечислены главные поражения русской армии в русско-японской войне: Лаоянское сражение 11—21 августа (24 августа — 3 сентября) 1904 г.; падение Порт-Артура 20 декабря 1904 г. (2 января 1905 г.); Мукденское сражение 6 (19) февраля — 25 февраля (10 марта) 1905 г.; разгром в Цусимском сражении балтийской эскадры 14—15 мая 1905 г.

² Юлия Ивановна Игумнова (1871—1940), художница, одно время исполняла обязанности секретаря Толстого.

³ Николай Андреевич Андреев (1873—1932), скульптор. 6—8 марта 1905 г. лепил в Ясной Поляне бюст Толстого. Второй его приезд в Ясную Поляну — с 30 мая по 4 июня 1905 г.

⁴ Американский теософский журнал «Worlds Advance Thought», издаваемый Люси Малори в Портленде, присылался Толстому редакцией.

⁵ Портсмутский мирный договор 1905 г. был заключен в результате посредничества между Россией и Японией президента США Теодора Рузвельта.

1906

К. Т. Рабочие у Л. Н. Толстого (Рассказ рабочего).— Биржевые ведомости, 1906, 21 февраля, № 9197.

Автор статьи не установлен.

¹ Толстой прекратил занятия в яснополянской школе в 1863 г.

² Казаков в Ясной Поляне не было. Софьей Андреевной был нанят стражник-черкес, и это породило ложные слухи.

Н. С-ъ. Л. Н. Толстой о современной литературе (Из беседы с ним).— Биржевые ведомости, 1906, 18 мая, № 9296.

Автор статьи — Самуил Захарович Баскин-Серединский (1851—?), киевский поэт и журналист. Был у Толстого 8—9 апреля 1906 г.

Д. П. Маковицкий отметил в «Яснополянских записках»: «Перед обедом пришел киевский журналист, стихотворец, талмудист Баскин-Серединский. Спрашивал Л. Н. о непротавлении злу, декадентстве, говорил о Талмуде. Читал ему свои стихи. Просил автограф на портрете. Принес два экземпляра роскошного издания книги Ратгауза. Л. Н. пробыл с ним около часу» (кн. 2, с. 103). Позднее, в 1908 г., Толстой так оценил стихи Баскина-Серединского:

«Стихи того отрывка, который вы прислали мне, очень слабы, и я не советовал бы вам заниматься стихотворством» (т. 78, с. 76).

¹ Даниил Максимович Ратгауз (1868—1937), лирический поэт, на слова которого писали романсы Чайковский, Кюи, Рахманинов. Сообщение Баскина-Серединского, повторенное также в «Русских ведомостях» в феврале 1907 г., будто бы Толстой считает Ратгауза «одним из самых видных русских поэтов нашего времени», вызывало иронию у Толстого (см.: Маковицкий и Д. П. Яснополянские записки, кн. 2, с. 107 и 369). Книги Ратгауза (Полн. собр. стихотворений, Спб., 1906, т. 1—2) были привезены Толстому самим Серединским и сохранились в яснополянской библиотеке.

Юр. Беляев. У гр. Л. Н. Толстого.— Новое время, 1906, 16 июня, № 10867. Об авторе см. на с. 478.

Ю. Д. Беляев вторично был в Ясной Поляне 5—6 июня 1906 г. Толстой отметил в дневнике 6 июня 1906 г.: «Был корреспондент, и я кое-что и о Генри Джордже написал и ему сказал о Думе и репрессиях» (т. 55, с. 230).

Д. П. Маковицкий в тот же день записал: «После обеда Л. Н. на балконе с Ю. Д. Беляевым. Около полутора часов разговаривали. Потом гуляли. Л. Н. дал ему записку с переводом из сиднейского «Standart» о системе Генри Джорджа. (...) Когда Беляев уехал, говорили о нем, удивлялись, что ему только 27 лет» (Яснополянские записки, кн. 2, с. 155—156).

Беляев прислал Толстому гранки проведенного с ним интервью, и 12—13 июня 1906 г. Толстой занимался исправлением корректур. В письме Беляеву от 12 июня 1906 г., похвалив его статью, Толстой замечал: «Извините, что я позволил себе некоторые изменения и исключения, и так же, как вы мне, даю вам *carte blanche* изменять и восстановить исключенное» (т. 76, с. 160). В записной книжке Толстой отметил, что, перечитав интервью, решил «исключить личное» (т. 55, с. 356), убрать упоминание фамилий деятелей Государственной думы А. Ф. Аладына, С. А. Муромцева, М. М. Ковалевского.

¹ Дмитрий Федорович Трепов (1855—1906), московский обер-полицмейстер, а после 9 января 1905 г.— петербургский военный губернатор, известный своей жестокой репрессивной политикой.

² I Государственная дума открылась 27 апреля 1906 г. и заседала до 8 июля 1906 г.

³ Псевдоним Г. Мюллера, приславшего Толстому свою брошюру «Wahrheit und Irrtum der Materialistischen Weltanschauung» (Berlin, 1906).

⁴ Герберт Спенсер (1820—1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. Толстой относился скептически к его теориям.

⁵ См. «Единственное возможное решение земельного вопроса» (т. 36).

⁶ Стихотворение Ф. И. Тютчева (1866).

П. Сергеевко. В Ясной Поляне.— Искры, 1906, № 36. Журнал «Искры» пересылался Толстому редакцией.

Петр Алексеевич Сергеенко (1854—1930), писатель и критик, много лет был знаком и переписывался с Толстым. Автор книги «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой».

П. А. Сергеенко посетил Ясную Поляну 23—24 июля 1906 г.

¹ Д. П. Маковицкий.

² Статья «Две дороги», получившая окончательное название «О значении русской революции» (т. 36).

³ По доносу сыщика Шипова в Ясной Поляне 6—7 июля 1862 г. был произведен в отсутствие Толстого обыск. «Дело 1862 г.» было напечатано в журнале «Всемирный вестник» (1906, № 6. Приложение).

⁴ «Великорусс» — первая нелегальная печатная прокламация в России (1861 и 1863 гг.).

⁵ Долгорукий (Долгоруков) Василий Андреевич (1804—1868) в 1856—1866 гг. был шефом Корпуса жандармов и начальником III Отделения. О Долгорукове и эпизоде обыска 1862 г. Д. П. Маковицкий записал слова Толстого: «Я его знал, этого Долгорукова, шефа жандармов; добрейший человек был и очень ограниченный, пустейший мот, консервативный.— Далее Л. Н. сказал:— Нельзя себе представить человека, более чуждого политике, чем я был в те времена. Это (обширность «Дела» — 53 номера,— участие в нем министров, царя) мне подтверждает, какое количество глупостей делает теперь правительство» (Яснополянские записки, кн. 2, с. 184).

⁶ Николай Николаевич Толстой (1823—1860), старший брат Толстого.

⁷ Этот разговор на балконе яснополянского дома описан в статье С. А. Толстой «Женитьба Л. Н. Толстого» (см.: Дневники, т. 1, с. 477).

⁸ Ку Х у н-м и н. Et nunc, reges, intelligente! Причины русско-японской войны. Шанхай, 1906. (На англ. языке).

⁹ Токутоми Рока (Кэндзиро) (1868—1927), японский писатель, увлекавшийся идеями Толстого. Был в Ясной Поляне 17—21 июня 1906 г.

¹⁰ После восьми лет изгнания В. Г. Чертков вернулся из Англии в Россию и встретился с Толстым 24 мая 1905 г.

Буае у Толстого.— Русское слово, 1906, 12 (25) сентября, № 225.

О Поле Буае см.— с. 478. В Ясной Поляне Буае последний раз был 28 августа 1906 г. По свидетельству Маковицкого, Толстой разговаривал с Буае во время верховой прогулки. «Буае не мог записывать и потому хуже описал беседу» (Яснополянские записки, кн. 2, с. 260).

Важный оттенок для понимания беседы Буае с Толстым дает в своих воспоминаниях присутствовавший при их встрече С. Т. Семенов:

«Буае ужасался нищете, невежеству, бесхозяйственности русского народа и не видел никаких просветов для него в будущем... Лев Николаевич не соглашался с этим.

— Поразительная самоуверенность,— говорил он потом о Буае,— думает, что вот они сделали несколько революций, установили республиканское правление и достигли всего, что нужно людям, а загляните к ним и вы увиди-

те, что и у них не лучше, чем у других» (Семенов С. Т. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Спб., 1912, с. 111).

¹ Имеется в виду статья «О значении русской революции» (т. 36).

1907

А. Измайлов. У Льва Толстого.— Биржевые ведомости, 1907, 3, 4 и 5 июля, № 9977, 9979 и 9981.

Александр Алексеевич Измайлов (1873—1921), журналист, критик. Был в Ясной Поляне 14 июня 1907 г. вместе с Н. Н. Брешко-Брешковским: интервью с Толстым перепечатано также в кн.: Измайлов А. Литературный Олимп. Спб., 1911, с. 37—61.

Д. П. Маковицкий записал 15 июня 1907 г.:

«Измайлов сидел возле Л. Н.— беседовал, как мне, пришедшему поздно, показалось, тихо, спокойно, интимно. На другом конце стола Софья Андреевна вела с Брешковским другой, оживленный разговор <...>.

«Мне всегда такие люди бывают приятны,— говорил Л. Н., когда гости уехали» (Яснополянские записки, кн. 2, с. 452). 27 июня в Ясную Поляну была прислана и выправлена корректура интервью с Толстым (там же, с. 464).

¹ Николай Васильевич Орлов (1863—1924), художник-передвижник. Толстой написал «Предисловие» к его альбому «Русские мужики» (1908).

² Люк де Клапье Вовенарг (1715—1747), французский писатель, моралист. В 1907 г. Толстой составил «Избранные афоризмы и максимы Вовенарга».

³ II Государственная дума заседала с 20 февраля по 2 июня 1907 г.

⁴ Записки С. А. Толстой «Моя жизнь» (1904—1917), до сих пор лишь частично опубликованные.

⁵ Тимофей Михайлович Бондарев (1820—1898), крестьянин-сектант, автор книги «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца».

⁶ Имеется в виду фотография П. Сергеевко, сделанная на террасе дачи Паниной в Гаспре 12 сентября 1901 г.

⁷ Григорий Спиридонович Петров, священник, депутат II Государственной думы в 1907 г. был лишен сана за вольнодумство.

⁸ Михаил Осипович Меньшиков (1859—1918), публицист газеты «Новое время», знакомый и адресат Толстого.

Н. Брешко-Брешковский. В Ясной Поляне у графа Льва Николаевича Толстого.— Петербургская газета, 1907, 26 июня, № 172.

Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874—1943), писатель и художественный критик. Был в Ясной Поляне 14 июня 1907 г. вместе с А. Измайловым.

¹ 19 мая 1907 г. группа эсеров-максималистов убила брата С. А. Толстой, инженера путей сообщения Вячеслава Андреевича Берса.

² В письме, отправленном в марте 1881 г. Александру III, Толстой призывал его помиловать приговоренных к смертной казни революционеров-первомартовцев.

³ О Ратгаузе и отношении к нему Толстого см. с. 485, прим. 1.

⁴ А. Ф. Кони гостил в Ясной Поляне 1—4 апреля 1904 г. Тогда и могло происходить чтение глав «Хаджи-Мурата».

⁵ Ошибка: Софья Андреевна называла портрет «своим», так как заказала Крамскому копию для себя.

⁶ Константин Петрович Победоносцев (1827—1907), обер-прокурор Синода, был ярым врагом Толстого и писал Александру III, что под влиянием сочинений писателя «умственное возбуждение» «угрожает распространением странных, извращенных понятий о вере, о церкви, о правительстве и обществе» (см.: Письма Победоносцева Александру III, т. 2, с. 253).

⁷ Петр Александрович Валуев (1814—1890), в 1861—1868 гг. занимал должность министра внутренних дел.

Д. П. Сильчевский. День у Льва Толстого.— Биржевые ведомости, 1907, 2 и 3 августа, № 10029 и 10030.

Дмитрий Петрович Сильчевский (1851—1919), журналист, библиограф. Посетил Ясную Поляну 26 июля 1907 г. Н. Н. Гусев записал следующий отзыв о Сильчевском Толстого:

«После ухода Сильчевского стали о нем говорить и отзывались неодобрительно. Но Лев Николаевич сказал:

— Он хорош. Он тяжел, но хорош» (Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым, с. 331).

¹ Сильчевский цитирует по памяти. «...Моя работа не стоит ваших глаз...» — написал ему Толстой 17 ноября 1902 г. (т. 73, с. 329).

² Письмо было отослано, но не дошло. Сохранилась пометка на конверте рукой Толстого: «Благодарить за извещение и написать, чтобы приезжал» (т. 77, с. 301).

³ Брошюра «Социальная эволюция» (Лондон, 1894) принадлежала перу английской женщины-социолога Бенжамен Кидд (1858—1916). Хранится в яснополянской библиотеке Толстого.

⁴ Вовенарга перевел для Толстого Гавриил Андреевич Русанов (1846—1907), близкий его знакомый с 1883 г.

⁵ Под этим названием было напечатано письмо к Ку Хунмину (октябрь 1906 г.)

⁶ Герой романа И. С. Тургенева «Рудин».

⁷ В начале июля 1907 г. в Петербурге был арестован Н. Е. Фельтен за издание брошюры Толстого «Не убий» (1900). Это послужило толчком для писания Толстым статьи «Не убий никого» (т. 37).

⁸ Статья «Не убий никого» с большими купюрами была напечатана 6 сентября в газете «Слово», а 8 сентября перепечатана «Русскими ведомостями» и рядом других газет.

Г. Кл-ий. Новая статья графа Л. Н. Толстого.— Голос Москвы, 1907, 8 августа, № 183.

Автор статьи — журналист Генрих Осипович Клепацкий был у Толстого

4 августа 1907 г. (см.: Маковецкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 2, с. 471).

¹ В. Г. Чертков.

А. Вергежский. У Л. Н. Толстого.— Речь, 1907, 9 сентября, № 213.

А. Вергежский — псевдоним Ариадны Владимировны Борман, урожденной Тырковой (1869—?), писательницы и журналистки. Была у Толстого 7 октября 1903 г. В письме к жене С. А. Толстой Лев Николаевич отметил это посещение: «У нас вчера был Шаховской с либеральной сотрудницей по газете» (т. 84, с. 364).

¹ Дмитрий Иванович Шаховской (1861—1940), земский и политический деятель. Знаком с Толстым с 1895 г.

² Вячеслав Константинович Плеве (1846—1904), министр внутренних дел и шеф жандармов в 1902—1904 гг.

³ Александр Михайлович Добролюбов (1876—1944?), русский поэт. Литературную деятельность начал как символист. Примкнув к сектантам, отказался от воинской повинности, отбывал тюремное заключение. После 1905 г. отказался от литературной деятельности.

⁴ Эрнст Кросби (1846—1906), американский писатель, с 1894 г. знаком с Толстым. К его статье о Шекспире Толстой писал предисловие, которое разрослось в большую работу «О Шекспире и о драме» (1903—1904).

⁵ Работая над главами о Николае I для «Хаджи-Мурата» в 1903 г., Толстой увлекся темой «Николай I и декабристы» и одно время думал писать самостоятельное произведение на эту тему.

1908

Музыка в Ясной Поляне.— Раннее утро, 1908, 29 февраля, № 85. Первоначально интервью с В. Ландовской напечатано в берлинском журнале «Welt-Spiegel».

Ванда Ландовска (1877—1959), польская пианистка и клавесинистка, была в Ясной Поляне 23—26 декабря 1907 г. Ландовска приехала со своим клавесином и играла для Толстого Баха, Моцарта, Шопена, а также старинные французские, английские, польские и другие народные песни. «Все и Лев Николаевич в восторге», — отметила в дневнике 24 декабря 1907 г. С. А. Толстая (Дневники, т. 2, с. 276). Д. П. Маковецкий записал 5 января 1908 г. следующее суждение Толстого: «Ванда Ландовска мне была приятна тем, что играла вещи, записанные тогда, когда композиторы еще не находились под суеверием искусства» (Яснополянские записки, кн. 2, с. 598). Н. Н. Гусев отметил слова, с которыми Толстой обратился к В. Ландовской: «Я вас благодарю не только за удовольствие, которое мне доставила ваша музыка, но и за подтверждение моих взглядов на искусство» (Два года с Л. Н. Толстым, с. 69).

¹ В декабре 1876 г. Толстой послал П. И. Чайковскому сборник русских

народных песен, предлагая обработать их в «Моцарто-Гайденовском роде» (т. 62, с. 297).

² Мария Алексеевна Маклакова (1877—?), подруга Т. Л. Сухотиной, сестра адвоката и думского деятеля В. А. Маклакова.

К — о. В Ясной Поляне. — Петербургский листок, 1908, 2 (15) марта, № 60.

Автор статьи не установлен.

¹ Игра слов: «Охрана», или «Охранное отделение», — местный орган департамента полиции в России.

² Мария Александровна Шмидт (1844—1911), друг и единомышленница Толстого, жила в имении Т. Л. Сухотиной Овсянниково.

³ Михаил Васильевич Булыгин (1863—1943), бывший гвардейский офицер, владелец хутора Хатунка вблизи Ясной Поляны. Инициалы «П. А.» указаны ошибочно.

⁴ По-видимому, речь идет о Михаиле Осиповиче Меньшикове, публицисте «Нового времени».

⁵ «Учение Христа, изложенное для детей» (т. 37).

⁶ В августе 1908 г. предполагалось празднование 80-летия Толстого.

В. Курбский. У Л. Н. Толстого. — Русское слово, 1908, 14 (27) марта, № 62.

В. Курбский — псевдоним Григория Спиридоновича Петрова (1862—1925), священника, лишённого сана, либерального публициста.

Петров был у Толстого 24—25 февраля 1908 г. Толстой читал его интервью. Оценка Петровым учения Толстого, его слова о том, что Толстой — это «гений старой, отживающей России», вызвали неудовольствие писателя. «Нежелание не только войти в душу человека, но даже быть добросовестным перед собой, перед своей совестью. Он революционер, и все, кто не согласен с ним, ничего не знают...» (Гусев Н. Н. Два года с Толстым, с. 214). Эта полемическая часть статьи опущена в нашем издании.

¹ Г. С. Петров впервые был у Толстого в 1902 г.

² Речь шла о Леониде Андрееве. Н. Н. Гусев записал в дневнике:

«За чаем был разговор о современных писателях. Петров и Софья Андреевна много говорили о Леониде Андрееве. Лев Николаевич долго слушал молча, не вмешиваясь в разговор. Наконец он сказал:

— Главная его беда в том, что его превознесли, — и вот он тужится написать что-нибудь необыкновенное» (Два года с Толстым, с. 112).

³ Сергей Иванович Танеев (1856—1915).

⁴ В феврале 1908 г. Толстой закончил пятую редакцию «Нового круга чтения».

⁵ Толстой высоко ценил сочинения римского императора и философа Марка Аврелия (121—180), его книгу «Размышления наедине с собой».

⁶ Начиная с середины 90-х гг., Толстой горячо пропагандировал сочинения американского публициста и экономиста Генри Джорджа (1839—1897), его теорию «единого налога» на землю.

⁷ 4 января 1908 г. Толстой получил в подарок от американского изобретателя Томаса Эдисона (1847—1931) звукозаписывающий аппарат — фонограф.

⁸ Толстой возобновил занятия с яснополянскими детьми в октябре 1907 г.

П. Сергеенко. В Ясной Поляне (Вечерние курсы).— Русские ведомости, 1908, 2 апреля, № 77. О П. А. Сергеенко см. с. 486. Преподавание Толстого в новой яснополянской школе Сергеенко наблюдал во время своего приезда 13—15 января 1908 г.

¹ Имеется в виду яснополянская школа Толстого 1861—1862 годов.

² Фрицьоф Нансен (1861—1930), норвежский исследователь Арктики, в 1888 г. первым пересек Гренландию на лыжах, а в 1893—1896 гг. руководил полярной экспедицией на корабле «Фрам».

³ Толстой впервые прочел крестьянским детям, и «с успехом», рассказ Н. С. Лескова «Под праздник обидели» 16 апреля 1907 г. «Л. Н. сам был очень тронут этим рассказом»,— записал Маковицкий (Яснополянские записки, кн. 2, с. 415).

П. А—ч. Из Ясной Поляны.— Русское слово, 1908, 9 апреля, № 83.

Автор статьи, по-видимому, Петр Алексеевич Сергеенко. О нем. см. с. 486. П. А. Сергеенко гостил в Ясной Поляне 30 марта 1908 г.

¹ «Закон насилия и закон любви». Работа над статьей продолжалась и после этой даты.

² Толстой усиленно интересовался в эту пору темой смертной казни. Позднее это вылилось в статью «Не могу молчать».

В. Булгаков. В Ясной Поляне.— Русские ведомости, 1908, 19 апреля, № 91.

Валентин Федорович Булгаков (1886—1966) познакомился с Толстым 23 февраля 1907 г. В 1908 г. вновь приезжал в Ясную Поляну, будучи еще студентом историко-филологического факультета Московского университета. В 1910 г. стал секретарем Толстого. Автор книги «Л. Н. Толстой в последний год его жизни» (М., 1957).

¹ 28 августа 1908 г. Толстому исполнялось 80 лет. В Москве и Петербурге создавались юбилейные комитеты. Это вызвало резкое недовольство мракобесов. Печать обошла заметка «Лев Толстой и дикари» (Последние новости, 1908, 4 февраля, № 18, и другие газеты), где говорилось о выходках против Толстого тульских черносотенцев.

² Владимир Айфалович Молочников (1871—1936) в письме, которое Толстой получил 10 апреля 1908 г., пересылал составленный по его делу обвинительный акт. Толстой выразил желание сам поехать в Петербург и явиться на суд.

³ Над повестью «Отец Сергей» Толстой работал в 1889—1891, 1895 и 1898 гг.

Свой. В Ясной Поляне.— Русское слово, 1908, 24 мая (6 июня), № 119.

Свой — псевдоним П. А. Сергеенко. О Сергеенко см. с. 486, Сергеенко был в Ясной Поляне 21—22 мая 1908 г.

¹ Сестры М. А. Стаховича — Мария Александровна, в замужестве Рыдзевская (1866—1924) и Софья Александровна (1862—1942). Ольга Константиновна Рыдзевская — дочь Марии Александровны; Наталия Михайловна Сухотина (1882—1925) — дочь М. С. Сухотина; Анна Ильинична Толстая (1888—1954) — дочь Ильи Львовича Толстого.

² Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863—?), ученый химик, специалист по цветной фотографии. Снятая в этот день цветная фотография Толстого впервые опубликована в журнале «Записки русского технического общества» (1908, август).

³ Петр Ефимович Кулаков, крымский помещик, основатель фирмы «Стереографическое издательство «Свет».

⁴ Рассказ Леонида Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского (1880—1917) «Отрывки» («Смертная казнь»). Толстой рекомендовал его для напечатания издателю «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу.

⁵ Слова Толстого подтверждены записью Маковицкого: «В «Божеском и человеческом» описание того, что переживают в душе приговоренные и исполняющие приговор, несравненно ниже, чем у Леонида Семенова» (Яснополянские записки, кн. 3, с. 95).

К. В. Л. Н. Толстой и дети.— Петербургская газета, 1908, 28 августа № 236.

Автор статьи неизвестен. Имя посетителя Толстого, прибывшего в Ясную Поляну 16 августа 1908 г., также остается невыясненным. Однако можно не сомневаться, что именно это лицо имеет в виду Маковицкий в записи от 16 августа 1908 г.: «Утром приезжал председатель Общества трезвости из Петербурга (или из Петербургской губернии), у него сто тысяч членов. Общество под покровительством православного священника, пока компромисс. Он сам сын врача, свободомыслящий. У них есть и пять школ. Приехал спросить Л. Н., как руководить этими школами» (Яснополянские записки, кн. 2, с. 168).

¹ В июле и первой половине августа 1908 г. Толстой страдал воспалением вен на ноге.

² Н. Н. Гусев.

³ Речь идет, по-видимому, о статье «Беседы с детьми по нравственным вопросам» (1907).

И. А. Бодянский. Воспоминания о Ясной Поляне.— Южный край, 1908. Иллюстрированное прибавление к № 9472 от 28 августа.

Иван Александрович Бодянский, художник-гравер, сын единомышленника Толстого помещика А. М. Бодянского (1842—1916), заплатившего пятилетней ссылкой за верность своим взглядам.

Впервые И. А. Бодянский был у Толстого в последних числах августа

1903 г., в дни его 75-летнего юбилея. Второй раз — 15 сентября 1905 г.

¹ Бодянский приехал в Ясную Поляну в компании Антона Петровича Щербака (Щербакова, 1863—1936), крестьянского деятеля, уроженца Харьковской губернии; доктор — Д. В. Никитин.

² Художник Николай Алексеевич Касаткин (1859—1930) незадолго до этого, 2 августа 1903 г., посетил Толстого и услышал от него о своем творчестве «много ...неприятного». (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 135).

³ Ошибка: по-видимому, 15 сентября 1905 г.

⁴ Брошюра «Единое на потребу» вышла в свет в Лондоне в издательстве «Свободное слово» в августе 1905 г.

⁵ Ошибка: речь идет о Н. В. Орлове.

А. Хирьяков. После юбилея.— Речь, 1908, 4 (17) сентября, № 211.

Александр Модестович Хирьяков (1863—1946), литератор, последователь Толстого, сотрудник издательства «Посредник». Хирьяков посетил Ясную Поляну 8—9 сентября 1908 г.

¹ 28 августа 1908 г. широко отмечалось 80-летие со дня рождения Толстого. О поздравительной почте дает представление такой факт: 28 августа в Ясной Поляне было получено 600 телеграмм, 29 августа — еще 1000.

Н. Морозов. Свидание с Л. Н. Толстым (Письмо к редактору).— Русские ведомости, 1908, 3 октября, № 229. В примечании к публикации говорилось: «Встретившись на торжественном открытии университета Шанянского с Николаем Александровичем Морозовым, только что вернувшимся из Ясной Поляны от Л. Н. Толстого, редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский просил Н. А. Морозова сообщить некоторые подробности этого свидания». Письмо Н. А. Морозова перепечатано в кн.: Морозов Н. А. Повести моей жизни. В 3-х т. М., 1947, т. 3, с. 310—314.

Николай Александрович Морозов (1854—1946), народоволец, узник Шлиссельбургской крепости, ученый и литератор. Был у Толстого 28 сентября вместе с В. Д. Лебедевой, родственницей Софьи Перовской. Лебедева впоследствии вспоминала: «Весь вечер... граф расспрашивал Морозова о жизни в крепости». Сказал, что в первый раз ему «приходится видеть человека, прошедшего 20 лет жизни в тюрьме» (Лебедева В. Встреча с Л. Н. Толстым.— Современник, 1912, № 4). Толстой весьма сочувственно относился к Морозову и в письме Н. В. Давыдову от 28 сентября 1908 г. характеризовал его так: «Он очень почтенный и милый человек, кроме своей учености» (т. 78, с. 239). Мемуарные записки Морозова Толстой читал «с величайшим интересом и удовольствием» (т. 77, с. 78).

¹ Морозов Н. А. Откровение в грозе и буре (Апокалипсис). Спб., 1907.

² Министр народного просвещения Александр Николаевич Шварц (1848—1915) проводил реакционную политику в области образования, препятствовал обучению женщин в университете.

Студенты у Л. Н. Толстого.— Русское слово, 1908, 31 октября (13 ноября), № 253.

Автор статьи не установлен. Депутация от московского студенчества посетила Ясную Поляну 29 августа 1908 г. по случаю 80-летия Толстого.

¹ Николай Николаевич Русов (1884—?), студент, впоследствии беллетрист, критик.

² Татьяна Михайловна Альбертини (урожд. Сухотина, род. в 1905), внучка Толстого, дочь Татьяны Львовны Толстой (1864—1950) и Михаила Сергеевича Сухотина (1850—1914).

³ В 1908 г. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину.

⁴ «Ответ сербке» вылился в статью «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (т. 37). «Закон насилия и закон любви» — другая статья Толстого.

⁵ В письме к М. Докшицкому от 11 февраля 1908 г. по поводу романа Арцыбашева «Санин» Толстой ужасался «не столько гадости, сколько глупости, невежеству и самоуверенности» автора (т. 78, с. 58).

Д. Анучин. Несколько часов в Ясной Поляне.— Русские ведомости, 1908, 27 ноября, № 275.

Дмитрий Николаевич Анучин (1843—1923), профессор университета, этнограф, антрополог и археолог, один из редакторов «Русских ведомостей». Анучин состоял в переписке с Толстым с 1891 г. В статье «Из встреч с Толстым» (Русские ведомости, 1908, 28 августа, № 199) Анучин рассказал о встречах с Толстым в апреле 1894-го и марте 1902 г.

Д. Н. Анучин был в Ясной Поляне 21 ноября 1908 г. вместе с профессором П. Д. Долгоруковым, Е. А. Звегинцевым и председателем Крапивенской земской управы Н. А. Игнатьевым для обсуждения вопроса об открытии в деревне Ясная Поляна народной библиотеки-читальни. Маковицкий записал в дневнике: «Л. Н. с Анучиным разговаривали о науке и поспорили. Анучин сначала возражал на все и переходил с предмета на предмет. Л. Н. горячился, потом позвал Анучина в кабинет (где, вероятно, извинился за горячность). Когда вернулись, Анучин вел себя сноснее» (Яснополянские записки, кн. 3, с. 251). Прочитав статью Анучина в «Русских ведомостях», «Л. Н. удивлялся его памяти, все подробности помнит. Ведь не записывал» (там же, с. 257). А вспомнив об Анучине спустя несколько дней, Толстой сказал: «Ему нисколько не интересно было, что я говорю, а просто, чтобы запомнить. Он того типа человек, у которого от себя внутренней работы никакой нет, а восприимчивость огромная» (там же, с. 270).

¹ В народном университете, открытом 1 октября 1908 г. по замыслу и на средства Альфонса Леоновича Шанявского (1837—1905) в Москве, Толстого привлекал принцип «свободного» образования, не связанного с получением дипломов.

² 14 ноября 1908 г. Толстой закончил перечитывать «Гардениных» Эртеля и сочувственно отзывался об этом романе.

³ Переводчик П. Пороховщиков в ноябре 1908 г. прислал Толстому книгу: Шопенгауэр А. О религии. Диалог. Спб., 1908.

⁴ Н. Н. Гусев просидел в тюрьме в Крапивне с 22 октября по 20 декабря 1907 г. Его обвиняли, в частности, в высказываниях против царя.

⁵ Портрет Марии Львовны Толстой работы Н. Н. Ге (1891).

⁶ Статья «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (т. 37) вызвана письмом Анжи Петробутевой из Белграда от 24 сентября (7 октября) 1908 г.

⁷ «Письмо к индусу» (т. 37).

⁸ 30 октября 1908 г. в «Русских ведомостях» было напечатано приветствие Толстому из Шанхая по случаю его 80-летия.

⁹ Имеется в виду эпизод 1866 г., когда Толстой выступил в суде защитником рядового Василия Шабунина, давшего пощечину оскорбившему его офицеру. Этот эпизод Толстой изложил в виде письма своему биографу П. И. Бирюкову («Воспоминания о суде над солдатом», т. 37).

¹⁰ Федор Александрович Бредихин (1831—1904), русский астроном.

П. Сергеенко. Герцен и Толстой. — Русское слово, 1908, 25 декабря (7 января 1909), № 299. О П. А. Сергеенко см. с. 486. С некоторыми изменениями статья вошла в книгу П. Сергеенко «Толстой и его современники» (М., 1911).

¹ В. В. Стасов и И. Я. Гинцбург гостили в Ясной Поляне 3—6 сентября 1904 г.

² См. прим. 3 на с. 483 (к статье П. Баркова).

³ Статья «Августейшие путешественники» (статья вторая, 1867). См. Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т., т. 19, с. 283—284.

⁴ Книга «Немой свидетель о заслуге» не значится в описании библиотеки Толстого в Ясной Поляне.

⁵ Василий Васильевич Плюсин (1877—1942), последователь Толстого из Хабаровска.

⁶ В 1940 г. фотография Герцена и Огарева, подаренная Толстому, приобретена московским Литературным музеем.

⁷ «С того берега». См. Герцен А. И. Указ. соч., т. 6, с. 119.

⁸ Последователь Толстого из Франции Виктор Лебрен (1882—1979) в 1906 г. начал составлять сборник афоризмов, суждений Герцена с биографическим очерком о нем, который перерос в самостоятельную рукопись «Герцен и революция».

⁹ Толстой считал, что влияние Герцена уберегло бы революционное движение от увлечения террором и в этом смысле предотвратило бы царубийство 1 марта 1881 года.

1909

Н. Шубаков. У Л. Н. Толстого. — Речь, 1909, 3 (16) января, № 2.

Н. Шубаков — студент юридического факультета Петербургского университета. Был у Толстого в составе делегации из пяти студентов 27 декабря 1908 г. Делегация вручила Толстому приветственный адрес (т. 56, с. 524)

по случаю его юбилея. «Л. Н. с ними около полутора часов беседовал в кабинете», — записал Д. П. Маковицкий (Яснополянские записки, кн. 3, с. 288).

¹ Лев Иосифович Петражицкий (1867—1913), юрист, профессор Петербургского университета, член I Государственной думы. Толстого интересовали речи Петражицкого в Думе по аграрному вопросу (см.: Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 2, с. 160).

² Таракуатта Дас (1884—1958), индийский публицист и журналист, корреспондент Толстого и адресат «Письма к индусу» (т. 37).

³ Александр Аркадьевич Столыпин, журналист, сотрудник «Нового времени», брат министра внутренних дел П. А. Столыпина. 20 декабря 1908 г. Толстой написал письмо А. Столыпину по поводу его «Заметок» в защиту смертной казни (Новое время, 1908, 18 декабря, № 11772): «Стыдно, гадко. Пожалейте свою душу» (т. 78, с. 294).

⁴ Владимир Дмитриевич Набоков (1869—1922), редактор-издатель газеты «Речь», кадетский публицист.

⁵ Возмущенный «Заметками» А. Столыпина Толстой в 20-х числах декабря 1908 г. пишет статью «Смертная казнь и христианство» (т. 38).

Ф. Купчинский. Тишина (У Льва Николаевича Толстого). — Жизнь, 1909, 9 февраля, № 7.

Филипп Петрович Купчинский (1844—?), поэт и публицист, живший преимущественно за границей. 6 февраля 1909 г. Д. П. Маковицкий записал: «Утром был сотрудник «Новой Руси» Купчинский, ее бывший военный корреспондент из Маньчжурии. Приехал для того, чтобы получить от Л. Н. несколько строк против смертной казни. Л. Н. написал страницу и отдал ему. Купчинский сказал, что будут печатать как факсимиле, по несколько слов в каждом номере, а если из-за этого на пятом номере «Новую Русь» закроют, не будут жалеть» (Яснополянские записки, кн. 3, с. 322).

Автограф Толстого был воспроизведен факсимильно на одной странице со статьей Ф. Купчинского в газете «Жизнь». Редактор газеты Николай Петрович Лопатин за эту публикацию был заключен в тюрьму на три месяца.

¹ Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870—1920), монархист и черносотенец, депутат II—IV Государственной думы. Составил книгу некрологов убитых революционерами лиц (Александра II, Мезенцева и др.), которую в 1908 г. читал Толстой (см.: Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 3, с. 282).

С. Спиро. Толстой о Гоголе. — Русское слово, 1909, 24 марта, № 68.

Сергей Петрович Спиро — журналист, драматург и актер. В предисловии к книге «Беседы с Л. Н. Толстым» (М., 1911) Спиро утверждал, что перед появлением в газете взятых им интервью «почти каждую рукопись просматривал Лев Николаевич, некоторые сам корректировал...» (с. 1).

Спиро брал у Толстого интервью о Гоголе 22 марта 1909 г. Когда в следующий раз, 20 мая 1909 г., он приезжал в Ясную Поляну, чтобы узнать мнение Толстого о сборнике «Вехи», Н. Н. Гусев спросил после ухода Спи-

ро, «не трудно ли было ему с ним». «Нет,— ответил Лев Николаевич.— Он очень приятный человек» (Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым, с. 256).

¹ В конце марта 1909 г. отмечалось столетие со дня рождения Гоголя.

² В. Г. Белинский резко осудил последнюю книгу Гоголя в рецензии, напечатанной в «Современнике» (1847, т. 1, № 2) и в письме к Гоголю от 15 июля 1847 г.

³ Спиро в первый раз посетил Толстого во время его болезни 3 февраля 1909 г. и записал с его слов рассказ о встрече с епископом Парфением, опубликованный в «Русском слове» (5 февраля, № 28).

Д. Н. Беседа с Л. Н. Толстым.— Раннее утро, 1909, 2 июня, № 124.

Автор статьи — Давид Семенович Нейфельдт, корреспондент и фотограф газеты «Раннее утро».

¹ Этот вопрос возник в связи с обсуждением в Государственной думе в мае 1909 г. закона о старообрядцах.

² Джон Севитт из Америки, выходец из России, обратился к Толстому с вопросом о религиозном воспитании детей. Толстой ответил ему большим письмом, над которым работал 18—25 мая 1909 г. (т. 79).

Д. Н. В Ясной Поляне (От нашего корреспондента).— Раннее утро, 1909, 2, 3, 4 и 5 июня, № 124, 125, 126, 127.

Автор — Д. С. Нейфельдт.

Приезд в Ясную Поляну Нобелевского лауреата Ильи Ильича Мечникова (1845—1916), о котором много писали в газетах, был заметным событием. «Ничего приезда в продолжение четырех лет в Ясную Поляну так не ждали, как Мечникова»,— свидетельствует Маковицкий (Яснополянские записки, кн. 3, с. 422). Мечников с женой Ольгой Николаевной Мечниковой (1858—1844) пробыл у Толстого с утра до вечера 30 мая. Прощаясь с Толстым, Мечников сказал: «Это один из лучших дней нашей жизни...» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, с. 272). В ответ «Лев Николаевич сказал, что ждал, что свидание будет приятно, но не ждал, что настолько» (там же).

¹ «Дерево бедных» — вяз.

² Самодержавно-черносотенное направление статей М. О. Меньшикова в 1908—1909 гг. не раз вызывало негодование Толстого.

³ Михаил Яковлевич Герценштейн (1859—1906), профессор-экономист, высказывался в Думе за экспроприацию помещичьих земель крестьянами.

⁴ Александр Борисович Гольденвейзер (1875—1961), пианист, постоянный посетитель дома Толстого, в этот вечер играл Шумана, Шопена, Скрябина (см. Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 3, с. 425).

С. Спиро. Толстой о И. И. Мечникове.— Русское слово, 1909, 3 (16) июня, № 125.

О С. П. Спиро — см. с. 496. Спиро был в Ясной Поляне 31 мая 1909 г. На этот раз его посещение оказалось тягостно Толстому: «...неприятно было, фальшиво» (т. 57, с. 77). Статья была просмотрена Толстым в корректуре.

¹ Мечников высказывал предположение, что во второй части «Фауста»

символически отражена старческая любовь Гёте (см.: Мечников И. И. Этюды оптимизма. М., 1964, с. 258—264).

² Иван Ильич Мечников (1836—1881), тульский прокурор, послужил отчасти прототипом главного героя повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886).

³ Мечников прислал Толстому книгу Эд. Фоа «Путешествие по Африке от Замбезии до Французского Конго» (La traversée de l'Afrique du Zambèse au Congo Français).

И. Перпер. У Льва Николаевича Толстого и его друзей.— *Вегетарианское обозрение*, 1909, 15 августа и 15 сентября, № 6 и 7.

Иосиф Иосифович Перпер (1886—1965), литератор, издатель «Вегетарианского обозрения». Был в Ясной Поляне 1 и 3 июня 1909 г. Д. П. Маковицкий записал в дневнике 1 июня 1909 г.: «Сегодня был Перпер из Кишинева, издатель «Вегетарианского обозрения», 24-летний симпатичный, серьезный молодой еврей» (Яснополянские записки, кн. 3, с. 426).

¹ В письме к Перперу от 26 января 1909 г. Толстой хвалил «прекрасно» составленный 1-й номер журнала «Вегетарианское обозрение» и обещал: «Очень рад буду сотрудничать в нем, если будет случай» (т. 79, с. 46).

² См. с. 497.

³ Михаил Петрович Арцыбашев (1878—1927), русский писатель. Толстой резко отзывался о его романе «Санин», но хвалил рассказы «Бунт» и «Кровь». Последний — о том, как для гостей забивают домашнюю птицу и как охотники убивают дичь,— целиком вписывался в вегетарианскую проблематику.

⁴ Сергей Дмитриевич Николаев (1861—1920), экономист, последователь Толстого, переводил на русский язык произведения Генри Джорджа.

⁵ Генри Джордж-младший (1862—1916), американский журналист, приехал в Ясную Поляну 5 июня 1909 г.

⁶ Над сборником «Детская мудрость» Толстой работал в 1909—1910 гг. (т. 37).

⁷ Т. 37, с. 451.

⁸ Николай Иванович Гучков, промышленник, московский городской голова.

В. К. В Ясной Поляне (От нашего тульского корреспондента).— *Русское слово*, 1909, 6 (19) августа, № 180.

Автор заметки — Куприянов Виктор Г (ригорьевич?).

Д. П. Маковицкий записал 2 августа 1909 г.: «В Туле выставка лесоводства и всероссийский съезд лесничих. Члены съезда сегодня осматривали питомник Казенный лесничества, на шоссе в лесу против Ясной Поляны. Оттуда пришли числом двести, с местным лесничим М. М. Морозовым, хорошим знакомым Л. Н-ча. Л. Н. вышел к ним перед террасой. Хотел спросить Морозова, есть ли среди них желающие поговорить с ним, очень будет рад» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 27).

¹ Николай Степанович Нестеров (1860—1926), лесовод.

² «Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу» (1905).

Д. Д. Оболенский. У Л. Н. Толстого.— Русское слово, 1909, 9 (22) августа, № 182.

О Д. Д. Оболенском — см. с. 470. Оболенский был в Ясной Поляне 5 августа 1909 г.

¹ Этот эпизод 1858 г. описан в «Отрывках» из воспоминаний Оболенского (Международный Толстовский альманах, 1909, с. 239—240).

² Гусев был арестован 4 августа 1909 г. и выслан по постановлению министра внутренних дел «за революционную пропаганду и распространение недозволенных книг» (см.: Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910, с. 705).

³ 6 июля 1909 г. Толстой получил приглашение принять участие в XVIII Международном конгрессе мира в Стокгольме. В начале августа он составил доклад для конгресса, но узнал из газет, что конгресс отсрочен вследствие забастовок рабочих в Швеции. Толстой полагал, однако, что действительной причиной отсрочки было то, что устроители конгресса «побоялись» его приезда (см.: Макавицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 4, с. 30).

П. Сергеенко. У полюса (Из поездки в Ясную Поляну).— Русское слово, 1909, 1 (14) октября, № 224.

О П. А. Сергеенко см. с. 486. В статье отражены впечатления Сергеенко от поездки в Ясную Поляну 23 августа 1909 г.

¹ Дочь Александра Львовна Толстая (1884—1979) и ее подруга Варвара Михайловна Феокритова (1875—1950).

² Мария Николаевна Толстая, монахиня Шамординского монастыря.

³ Имеется в виду сам П. А. Сергеенко.

⁴ Сергеенко готовил сборник «Писем» Л. Н. Толстого в трех томах, начавший выходить в 1910 г.

⁵ В августе 1909 г. Толстой перечитал трактат Канта «Религия в пределах только разума».

⁶ Лао-Тзе — китайский философ (VI в. до н. э.).

⁷ Жюль Закс, глава «Концертной дирекции» в Германии, предлагал Толстому организовать серию его публичных выступлений с докладом о мире.

⁸ Имеется в виду книга: Молоствов Н. Г., Сергеенко П. А. Лев Толстой. вып. 1—2.

⁹ Толстой назвал своего сына Андрея Львовича и П. А. Столыпина (см.: Макавицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 4, с. 52).

¹⁰ Сергеенко рассказал о слете восьмидесяти аэропланов в Реймсе и о дирижаблях (см. там же).

⟨И. И. Горбунов-Посадов⟩. Л. Н. Толстой в Москве.— Русские ведомости, 1909, 5 сентября, № 204.

Иван Иванович Горбунов-Посадов (1864—1940), издатель «Посредника», друг Толстого. Авторство устанавливается на основании записи в дневнике Д. П. Маковицкого (Яснополянские записки, кн. 4, с. 61).

3—4 сентября 1909 г. Толстой был в Москве проездом в Крекшино, где жил В. Г. Чертков, высланный из пределов Тульской губернии.

¹ Мария Николаевна Толстая (урожд. Зубова; 1867—1937), вторая жена Сергея Львовича Толстого.

² Петр Николаевич Софронов, крестьянин Нижегородской губернии.

³ В статье Чужого (Н. Е. Эфроса) в «Современном слове» (1909, 10 сентября, № 622) дано такое яркое описание появления Толстого на московских улицах: «Утром часов в десять-одиннадцать Толстой был на Кузнецком мосту. Поразительно легкой и энергичной для восьмидесятилетнего старика походкой шел он в гору, веселый, видимо возбужденный кипением большого города. И где проходил Толстой,— останавливалось движение. Прохожие точно встали в тротуар. Вырывались восклицания. Лица изображали и чрезвычайную растерянность от неожиданности такой встречи, и восхищенную радость. Глаза долго смотрели вслед уходившему. Затем приросшие ноги отрывались от камней и спешили за великим стариком. Хотелось быть поближе, видеть хоть его спину, седые пряди, выбивающиеся из-под шапки...»

⁴ В кругу близких Толстому лиц считали, что в корреспонденции «Русских ведомостей» сообщение об отрицательном отношении писателя к памятнику Гоголя, созданному Н. А. Андреевым, неточно. «Л. Н. совсем не критиковал его, а сказал, что он понимает художника, что он хотел выразить. Гоголь смотрит на гуляющую внизу публику серьезно, грустно. Но духовное нельзя выразить скульптурой» (Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 4, с. 62).

Л. Н. Толстой в Москве.— Голос Москвы, 1909, 5 сентября, № 204. Автор статьи не установлен.

¹ Томас Тапсель (?—1915).

² Игнацы Ян Падеревский (1860—1941), польский пианист и композитор.

У Л. Н. Толстого.— Русские ведомости, 1909, 6 сентября, № 205.

В комментарии к «Яснополянским запискам» Маковицкого автором корреспонденции без достаточных оснований назван Д. С. Нейфельдт (см. кн. 4, с. 41 и 439).

¹ «Разговор с прохожим» (т. 37).

² «Ответ польской женщине» (т. 38).

А. Хирьяков. Около Л. Н. Толстого.— Речь, 1909, 11 (24) сентября, № 249. О Хирьякове см. с. 493.

¹ Ольга Константиновна Толстая.

³ А. М. Хирьяков уехал из Крекшина утром 7 сентября 1909 г.

А. Панкратов. Л. Н. Толстой в гостях у В. Г. Черткова (От нашего корреспондента).— Русское слово, 1909, 11 (25) сентября, № 209.

Александр Саввич Панкратов (1872—1922), журналист. Встречался с Толстым 11 сентября 1909 г.

¹ «Разговор с прохожим» (т. 37).

² Закон от 9 ноября 1906 г.— часть столыпинской аграрной реформы. Разрешил крестьянам выход из общины на хутора и отруба.

³ «Ответ польской женщине» 12 сентября 1909 г. был послан редактору «Журнала для всех» В. А. Поссе.

⁴ «Письмо студенту о праве» (т. 38) и «О науке. Ответ крестьянину» (т. 38).

⁵ Статья «Учение Лао-Тзе» (т. 40).

⁶ Евгения Эдуардовна Линёва (1853—1919), певица и собирательница народных песен, встречалась с Толстым 14 сентября 1909 г.

⁷ 13 сентября скрипач Борис Осипович Сибор (1880—1961), виолончелист Абрам Ильич Могилевский и А. Б. Гольденвейзер исполняли в присутствии Толстого трио Гайдна, Бетховена и Аренского (см.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, с. 324—325). «Играли... превосходно»,— отметил Толстой в дневнике (т. 57, с. 138).

Ф. Тищенко. Л. Н. Толстой у В. Г. Черткова.— Голос Москвы, 1909, 12 сентября, № 209.

Федор Федорович Тищенко (1858—?), украинский писатель, постоянный корреспондент Толстого.

Приезд Л. Н. Толстого.— Русские ведомости, 1909, 19 сентября, № 214. Автор статьи не установлен.

¹ 14 сентября 1909 г. Толстой встречался с группой народных учителей (около сорока человек) Звенигородского уезда.

² Кинематографическая съемка Толстого во время прогулки состоялась 17—18 сентября 1909 г.

³ Эуген Генрих Шмит (1851—1916), венгерский литератор, анархист, постоянный корреспондент Толстого.

Альфа. М. Д. Чельшев у Льва Толстого.— Новое время, 1909, 11 (24) октября, № 12063.

Автор статьи — Алексей Леонидович Оболенский (Фовицкий). Михаил Дмитриевич Чельшев (1866—1915), самарский городской голова, депутат III Государственной думы. Чельшев был в Ясной Поляне 7—8 октября 1909 г. Толстой записал в дневнике: «Вчера был Чельшев. Соединение ума, тщеславия, актерства и мужицкого здравого смысла, и самобытности, и подчинения. Не умею описать, но очень интересный. Много говорил» (т. 57, с. 149—150).

¹ По просьбе Чельшева Толстой переслал ему ярлык для бутылок с водкой, написанный факсимильно, собственной рукой (см.: Макавицкий и Д. П. Яснополянские записки, кн. 4, с. 79 и 442).

² См. прим. на с. 487 (к статье А. Измайлова).

Владимир Коненко. У Льва Николаевича Толстого.— Сине-фоно, 1909, октябрь, № 1.

3 сентября 1909 г. Д. П. Маковицкий записал: «Л. Н. увещевал кинематографистов, чтобы не снимали, но они не унимались. Снимали у столбов, перед вокзалом, на перроне. Просили Л. Н. разрешить снять его гуляющим по саду. Он им отказал, но они не постыдились все-таки снять его, когда с вокзала пошел погулять» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 59).

¹ С. А. Толстая записала в дневнике 24 сентября 1909 г.: «Вечером показывали кинематограф, и собралась вся деревня» (Дневники, т. 2, с. 294).

Г. Градовский. Два дня в Ясной Поляне.— Биржевые ведомости, 1909, 15, 17, 21 октября и 13, 15 ноября, № 11364, 11367, 11373, 11413, 11417. Об этом же см.: Градовский Г. К. Поездка в Ясную Поляну.— В кн.: Публицист-гражданин. Пг., 1916, с. 150—172.

Григорий Константинович Градовский (1842—1915), либеральный публицист. Был в Ясной Поляне 4—5 октября 1909 г. Маковицкий записал в дневнике: «Л. Н. был Градовскому приятен, но Градовский не был ему интересен: насквозь либерал» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 65).

¹ Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826—1911), публицист, историк и журналист, многолетний редактор «Вестника Европы».

² А. М. Хирьяков был приговорен судом к году крепости за редактирование в нежелательном духе газеты «Голос».

³ «Касса взаимопомощи литераторов и ученых» в Петербурге была основана при участии Г. К. Градовского.

⁴ Цитата из романа «Обыкновенная история» (1847).

⁵ Имеется в виду письмо Н. Ф. Потапова и ответ ему Толстого 4 октября 1909 г. (т. 80, с. 125—126).

⁶ Общество Толстого возникло в связи с юбилеем писателя по инициативе М. А. Стаховича и других в Петербурге в 1908 г.

⁷ Александр Матвеевич Кованько (1856—1919) — один из первых русских военных авиаторов, начальник школы воздухоплавания.

⁸ В книгу Г. К. Градовского «Итоги (1862—1907)» (Киев, 1908), помимо политических очерков и фельетонов, вошел раздел: «Воспоминания (бытовые, литературные, военные)».

Н. Лопатин. Вести из Ясной Поляны.— Утро России, 1909, 24 ноября, № 40.

Николай Петрович Лопатин (1880—1914), журналист, после трехмесячного заключения за публикацию заметки Толстого «Нет худа без добра» (о смертных казнях) в газете «Жизнь» приехал в Ясную Поляну 21 ноября 1909 г. Маковицкий отметил в дневнике: «Он понравился Л. Н.: нашёл его умным и скромным человеком» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 109).

¹ В газете «Книжный листок» от 21 ноября (№ 45) сообщалось об изъятии из продажи очередного выпуска «Круга чтения» в издании «Посредника».

² Статья «Чингисхан с телеграфом» имела также другое название — «Пора понять» (т. 38).

³ В статье Герцена «Письмо к императору Александру II (По поводу книги барона Корфа)» (1857).

⁴ Маковицкий пишет: «Утром пришла пешком с Козловки девица из Москвы, очень нервная, расстроенная, за успокоением к Л. Н-чу» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 109).

Ив. Митропольский. В Ясной Поляне.— Кривое зеркало, 1909, № 4.

Иван Иванович Митропольский (1872—?), редактор газеты «Столичная молва», писатель, журналист. Был в Ясной Поляне 17—18 октября 1909 г. вместе с писателем И. А. Белоусовым, представителем общества «Граммофон» А. Г. Михелесом, механиком Максом Гампе, Н. С. Никольским и его помощником Ренгердом. В дневнике Толстого отмечено: «Вечером приехали с граммофоном и фонографом 6 человек» (т. 57, с. 153). Маковицкий записал 18 ноября 1909 г.: «Утром фонофонщики томили Л. Н. вместо 20 минут, как обещали, целые часы. Говорил в трубу Л. Н. в отвратительном, нагретом и пропитанном запахом масла и испарениями воздухе по-русски и по-английски, по-французски и по-немецки будто бы для общества русских писателей, а в действительности для фирмы «Граммофон» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 80).

¹ Пластинки с голосом Толстого хранятся в ГМТ. Текст их опубликован в кн.: Живые слова/Под. ред. И. И. Митропольского. М., 1910, вып. 1, с. 13—17.

1910

А. С. Торжество в Ясной Поляне (От нашего специального корреспондента).— Русское слово, 1910, 2 февраля, № 26.

Автор заметки, по-видимому, В. Г. Куприянов. Был в Ясной Поляне вместе с фотографом «Русского слова» 31 января 1910 г.

Толстой скептически отнесся к церемонии открытия библиотеки в деревне Ясная Поляна. «Все очень выдуманно, ненужно и фальшиво»,— записал он в дневнике (т. 58, с. 14). «Я смотрел списки библиотеки,— сказал Толстой Маковицкому,— нехорошо составлено. Что ни посмотрел — все пустяки» (Маковицкий Д. П. Яснополянские записки, кн. 4, с. 173).

¹ Павел Дмитриевич Долгоруков (1866—1927), общественный деятель, кадет, председатель Московского общества грамотности.

² Мария Яковлевна Шанкс (1866—?), английская художница, пропагандистка идей Толстого.

³ Маковицкий называет следующих яснополянских крестьян, учеников Толстого, присутствовавших на открытии библиотеки: Тараса Фоканова, Степана Резунова, Адриана Болхина и Алексея Жидкова (Яснополянские записки, кн. 4, с. 171).

⁴ По-видимому, книга Н. Дмитриева «Недалекое прошлое» (Спб., 1865).

П. Сергеенко. Вечер в «Ясной».— Русское слово, 1910, 5(18) февраля, № 28.

О П. А. Сергеенко см. на с. 486. Сергеенко был в Ясной Поляне 26—27 января 1910 г. Маковицкий записал 26 января: «Вечером приехал П. А. Сергеенко; привез граммофон от общества, который раньше Л. Н. отклонил, и пластинку со словами Л. Н. из «Круга чтения». Сергеенко приехал и по делу печатания писем Л. Н-ча.

⟨...⟩ Сергеенко, как всегда, много говорил Л. Н., сидевшему в кресле у дверей» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 165). Толстой отметил в дневнике, что ему «было неприятно» (т. 58, с. 13).

¹ 16 января 1910 г. Толстой был в Туле на выездном заседании Московской судебной палаты: судили крестьян, ехавших обозом, по дороге повздоривших с почтальоном и обвиненных в ограблении почты.

² Валентин Федорович Булгаков.

³ Ошибка: в 90-е гг. Толстой неоднократно бывал в суде — в Москве, Туле и Крапивне.

⁴ Михаил Васильевич Булыгин пытался организовать защиту крестьян на процессе, происходившем в Туле.

⁵ В Тульской губернии, в пятнадцати верстах от Ясной Поляны, было имение певца Николая Николаевича Фигнера (1857—1918).

⁶ На письмо ссыльного С. И. Мунтянова от 5 января Толстой ответил 24 января 1910 г. (т. 81, с. 73—75).

⁷ «Сон» и «Три дня в деревне» (т. 38).

А. П. В Ясной Поляне (От нашего корреспондента).— Русское слово, 1910, 17 февраля, № 38.

Автор статьи — А. С. Панкратов. См. о нем на с. 500.

Панкратов был в Ясной Поляне 6 февраля 1910 г. Маковицкий отметил: «Утром был корреспондент «Русского слова» А. С. Панкратов. Он был раньше в Туле — разузнать о суде над юрьевскими крестьянами, на котором присутствовал Л. Н.

Л. Н.: «Очень рад, что я хорошо и долго поговорил с ним» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 176).

¹ «Три дня в деревне» состояли из трех очерков: «Первый день. Бродячие люди»; «Второй день. Живущие и умирающие»; «Третий день. Подати».

² Борис Осипович Гольденблат (1864—?), тульский адвокат, к услугам которого не однажды прибегал Толстой.

Мистер Рэй. Леонид Андреев у Л. Н. Толстого.— Утро России, 1910, 29 апреля, № 134.

Мистер Рэй — псевдоним журналиста Савелия Семеновича Раевского. Воспоминания Л. Андреева о встрече с Толстым «За полгода до смерти» см. также: Солнце России, 1910, ноябрь, № 53 (93). Перепечатано в сб.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 410—413.

Л. Андреев был в Ясной Поляне 21—22 апреля 1910 г. Толстой записал

в дневнике 21 апреля: «Потом приезжал Андреев. Мало интересен, но приятное, доброе обращение. Мало серьезен» (т. 58, с. 41). В. Ф. Булгакову Толстой сказал: «Хорошее впечатление. Умный, у него такие добрые мысли, очень деликатный человек» (Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год своей жизни. М., 1957, с. 201).

¹ Михаил Львович Толстой (1879—1944), сын Толстого.

² Отставной полковник Троицкий-Сенютович.

³ Харада Тацуку (1860—?), директор училища в Японии, и Ходжэ Мизутуки (Мидзутуки), слушатель народного университета в Москве.

⁴ В позднейших воспоминаниях Л. Андреев называет ее Палаша, в действительности — Параша.

⁵ Владимир Владимирович Чертков (1889—1964).

⁶ Владимир Александрович Бибиков (1877—?), тульский помещик.

⁷ Писатели, начавшие приобретать известность в первое десятилетие века: Сергей Николаевич Сергеев-Ценский (1875—1958) и Федор Дмитриевич Крюков (1870—1920).

⁸ Об отношении Толстого к Куприну см. с. 433.

⁹ Ошибка: имеется в виду Ольга Константиновна Толстая, невестка Л. Н. Толстого.

¹⁰ Кинематографу посвящены многие страницы К. Чуковского в его книгах «Нат Пинкертон и современная литература» и «Куда мы пришли».

¹¹ В день приезда Л. Андреева Толстой читал вслух статью Д. Н. Жбанкова «Современные самоубийства» (Современный мир, 1910, № 3).

¹² После 1893 г. С. А. Толстая продолжала вести свои записи, хотя временами менее систематично.

¹³ Письмо Толстого Н. А. Некрасову от 27 ноября 1852 г. (т. 59, с. 214).

¹⁴ Рассказ «После бала» написан в 1903 г., но оставался не напечатанным при жизни Толстого.

¹⁵ Письмо Г. К. Градовскому от 6 апреля 1910 г. (т. 81, с. 211).

Рабочие у Л. Н. Толстого.— Русское слово, 1910, 10 (23) июня, № 131.

Автор корреспонденции неизвестен. Рабочие, слушатели Пречистенских курсов были в Ясной Поляне 6 июня 1910 г. «Очень хорошо с ними говорил»,— отметил Толстой в дневнике (т. 58, с. 62). Маковицкий записал слова Толстого: «Очень милые ребята, все рабочие; приехали нарочно. Вопрос за вопросом — кто о Дарвине, кто о Геккеле. Мне приятно было с ними» (Яснополянские записки, кн. 4, с. 270). Картина этой встречи осталась и в воспоминаниях С. Т. Семенова: «Лев Николаевич шел, тесно окруженный молодежью, обратно от башен вверх и говорил. Вид у него был усталый, говорить на ходу ему было трудно, но молодежь, жадно слушая его, ничего не замечала; я попросил Льва Николаевича сесть где-нибудь и сидя разговаривать, он свернул в аллею английского сада: дошел до одной скамейки и сел, но и сидя он говорил с трудом. Я попросил молодых людей не утруждать его расспросами, но они и слышать не хотели: недаром же они сюда ехали, у них сотни вопросов, и эти

вопросы нужно разрешить» (Семенов С. Т. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Спб., 1912, с. 140—141).

¹ В июне 1910 г. обсуждался правительственный проект о Финляндии, где возникло движение за независимость, с целью «охраны русских имперских интересов».

В. Люстрицкий. Лев Николаевич Толстой в Московской окружной лечебнице для душевнобольных.— Обзорение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии, 1910, декабрь, № 12.

В примечании к статье указывается, что текст статьи впервые сообщен В. В. Люстрицким на собрании врачей в толстовские траурные дни — 11 ноября 1910 г.

В дневнике Толстого 16 июня 1910 г. записано: «В три часа пошел в Мецкерское к сумасшедшим (...). Ходил по всем палатам. Не разобрался еще в своих впечатлениях и потому ничего не пишу» (т. 58, с. 65). Разговоры Толстого после посещения лечебницы были записаны В. Ф. Булгаковым и Д. П. Маковицким. На вопрос А. Л. Толстой, какое он вынес впечатление, Толстой ответил: «Ужасное» (см.: Маковицкий Д. П. Яснополяские записки, кн. 4, с. 276). Однако 19 июня он пошел осматривать другую, расположенную неподалеку от Отрадного лечебницу для душевнобольных в селе Троицкое. 20 июня вновь был там на сеансе кинематографа.

¹ 20—22 февраля 1901 г. Толстой определением Синода был отлучен от православной церкви.

² См. т. 58, с. 183.

В. Молочников. Сутки в «Отрадном» с Л. Н. Толстым.— Жизнь для всех, 1910, № 8—9.

Владимир Айфалович Молочников (1871—1936), новгородский ремесленник, последователь Толстого. Был в Отрадном 22—23 июня 1910 г. Он недавно вышел из заключения, где отбывал наказание за распространение запрещенных произведений Толстого, и ожидал нового суда. В. Булгаков записал 22 июня: «Приехал новгородский корреспондент Льва Николаевича (...) В. А. Молочников, маленький, юркий, наблюдательный, умный, разговорчивый» (Л. Н. Толстой в последний год его жизни, с. 293).

¹ Михаил Гаврилович Эрденко (1886—1940), скрипач и педагог. Его жена Евгения Иосифовна Эрденко (1880—1953), пианистка.

² Статья «О безумии» (т. 38).

³ Статья «Номер газеты» была написана в феврале 1909 г.

⁴ «Никогда так не наслаждался,— сказал Толстой.— Но мне не понравилась «Колыбельная» Чайковского» (Маковицкий Д. П. Яснополяские записки, кн. 4, с. 286).

А. Хирьяков. Последняя встреча с Л. Н. Толстым.— Время, 1910, 1 ноября, № 77.

О А. Хирьякове — см. с. 493.

А. М. Хирьяков приезжал в Ясную Поляну из Телятинок 26 и 27 сентября 1910 г.

¹ Сергей Дмитриевич Николаев.

² Н. А. Крылов, отец академика А. Н. Крылова. О Толстом Н. Крылов упомянул в своей статье «Очерки из далекого прошлого» (Вестник Европы, 1900, № 5, с. 145).

С. Л. В Ясной Поляне.— Русское слово, 1910, 9(22) октября, № 232.

Автор статьи неизвестен. По-видимому, корреспонденция составлена со слов П. А. Сергеенко, приехавшего в Ясную Поляну вечером 4 октября и пробывшего там 5 октября (см.: Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год его жизни, с. 408—410).

¹ 3—4 октября Толстой тяжело болел.

² Статья «О социализме» (т. 38).

³ «Воспоминания об Н. Я. Гроде» (т. 38).

⁴ Сергей Андреевич Муромцев (1850—1910), юрист, профессор Московского университета, председатель I Государственной думы.

⁵ Имеется в виду стихотворение «Он между нами жил...» (1834).

Т. Таманская. На пути в Козельск.— Голос Москвы, 1910, 18 ноября, № 266.

Т. Таманская — воспитанница Белевской гимназии. О разговоре Толстого с ней пишет Д. П. Маковицкий в статье «Уход Льва Николаевича» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 2, с. 434—435).

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТОЛСТОГО

- Альберт* 188, 480
Анархизм. См.: *Пора понять*.
Анна Каренина 18, 26, 27, 32, 35, 64, 66, 74, 102, 111, 161, 209, 213, 266, 280, 362
Божеское и человеческое 220, 308, 483, 492
Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть 10, 74, 80, 85—87, 89, 90, 91—94, 177, 466, 467, 477
Война и мир 4, 8, 15, 18, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 35, 72, 86, 102, 111, 142, 189, 202, 209, 213, 249, 266, 271, 273, 274, 283, 481
Волк 368
Воскресение 10, 15, 88, 90, 95, 108, 131, 143, 147, 148, 161, 292, 462, 466—468, 472
〈*Воспоминания*〉 186, 219, 483
〈*Воспоминания о Н. Я. Гроге*〉 452, 507
〈*Воспоминания о суде над солдатом*〉 328, 495
В чем моя вера? 371, 460
Детская мудрость 368, 498
Детство 24, 35, 111, 202, 248, 249, 305, 434, 464
Для чего люди одурманиваются? 55, 462
Единое на потребу 218, 316, 483, 493
Единственное возможное решение земельного вопроса 485
Единственное средство 476
Живой труп 10, 156, 475
Закон насилия и закон любви 303, 321, 327, 491, 494
И свет во тьме светит 10, 75, 76, 465
Исповедь 125, 460
Ко всем людям, имеющим власть. См.: *Царю и его помощникам*.
Крейцера соната 55, 74, 75, 126, 170, 171, 203, 292, 462, 481
Круг чтения 259, 273, 274, 292, 293, 304, 313, 321, 327, 368, 369, 412, 414, 416, 417, 462, 482, 490, 502, 504
На каждый день. См.: *Круг чтения*.
Не могу молчать 304, 491
Не убий 488
Не убий никого 276—279, 488
Несколько слов по поводу книги «Война и мир» 189, 480
〈*Нет худа без добра*〉 502
Номер газеты 446, 506

- О безумии 446, 447, 506
〈О Гоголе〉 344
О значении русской революции 244, 253, 486, 487
О науке. Ответ крестьянину 393, 501
О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии 321, 327, 495
О социализме 452, 507
О Шекспире и о драме 202, 215, 282, 283, 481, 482, 489
Об общественном движении в России 216, 218, 482, 483
Обращение к русским людям. К правительствам, революционерам и народу 499
Окончание малороссийской легенды «Сорок лет», изданной Костомаровым в 1881 г. 476
Отец Сергей 108, 305, 322, 468, 491
Ответ польской женщине 387, 393, 395, 500, 501
Отрочество 24, 35, 111, 202, 248, 249, 434, 464
Охота пуще неволи 476
Первый винокур 78—81, 465
Письмо к индусу 327, 393, 395, 495, 496
Письмо к либералам. См.: Письмо к А. М. Колмыковой от 31 августа 1896 г. 107
Письмо к китайцу 273, 274
Письмо к сербке. См.: О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии.
〈Письмо студенту о праве〉 393, 501
Плоды просвещения 74, 80, 132, 156, 472
Поликушка 130
Пора понять 415, 427, 503
После бала 220, 434, 483, 505
Предисловие к альбому «Русские мужики» Н. Орлова 487
Предисловие к роману В. Фон Поленца «Крестьянин» 170, 477
Предисловие к статье Эдуарда Карпентера «Современная наука» 115
Разговор с прохожим 387, 392, 393, 398, 501
〈Севастопольские рассказы〉 20, 29, 35, 280, 464
Семейное счастье 32
Смертная казнь и христианство 340, 496
Смерть Ивана Ильича 36, 498
Сон 430, 504
Так что же нам делать? 46, 47, 99, 461, 479
Три дня в деревне 427, 504
Учение Лао-Тзе 393, 501
Учение Христа, изложенное для детей 288, 293, 490
Фальшивый купон 463
Хаджи-Мурат 10, 131, 160, 181, 202, 220, 264, 270, 271, 273, 472, 475,
489
Холстомер 460
Царство божие внутри вас 107, 336, 468
Царю и его помощникам 483
Чем люди живы? 81
Чингисхан с телеграфом. См.: Пора понять
Что такое искусство? 107, 110, 115, 120, 124, 132, 148, 170, 175, 468, 470,
474
Юность 32, 464

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрикосов Хрисанф Николаевич* 201, 202, 481
Аврелий Марк 292, 490
Агриппа Менений 46, 461
Аксаковы Сергей Тимофеевич, Иван Сергеевич, Константин Сергеевич
- 19
Аладьин Алексей Федорович 485
Александр II 247, 496, 503
Александр III 203, 264, 268, 481, 487, 488
Алексеев Петр Семенович 55, 462
Альбергини Татьяна Михайловна (урожд. *Сухогина*) 320, 419, 421, 494
Альфа. См.: *Оболенский А. Л.*
Амфитеатров Александр Валентинович 138, 473
Андерсен Ханс Кристиан 258
Андреев Леонид Николаевич 10, 175, 196, 236, 259, 260, 265, 268,
428—435, 481, 490, 504, 505
Андреев Николай Андреевич 229, 230, 484, 500
Андреевич. См.: *Соловьев Е. А.*
Анненский Иннокентий Федорович 468
Аннина, душевнобольная 442
Анучин Дмитрий Николаевич 322—332, 494
Апостолов (Арденс) Николай Николаевич 459
Аренский Антон Степанович 501
Арнольд Метью 26, 49, 170, 461, 477
А. С. 418—423, 503
Аронсон Наум Львович 158—163, 475
Арцыбашев Михаил Петрович 321, 365, 471, 494, 498
Ауэрбах Бертольд 25, 124, 128, 471
- Бабаев Эдуард Григорьевич* 464
Байрон Джордж Ноэл Гордон 170
Бакунин Михаил Александрович 275, 339
Барков П. 221—223, 483
Баскин-Серединский Самуил Захарович 234, 236, 238, 484, 485
Баташев Александр Степанович 462
Бах Иоганн Себастьян 286, 489
Белинский Виссарион Григорьевич 10, 195, 344, 497
Белоусов Иван Алексеевич 503
Беляев Юрий Дмитриевич 7, 9, 182—187, 238—242, 477,
478, 485
Бенкур 422
Бентзон Т. См.: *Блан Мария Тереза*
Беркенгейм Григорий Моисеевич 201, 202, 392, 481
Берлиоз Гектор Луи 286
Берс Вячеслав Андреевич 268, 269, 487

- Бетховен Людвиг Ван* 11, 286, 434, 501
Бибиков Владимир Александрович 432, 505
Бирюков Павел Иванович 83, 102, 103, 173, 419—422, 460, 461, 466, 467, 477, 479, 495
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен 57, 462
Блан Мария Тереза 170, 477
Блок Александр Александрович 15, 16
Блюменталь Оскар 72—76, 464, 465
Бодянский Александр Михайлович 316, 492.
Бодянский Иван Александрович 314—317, 492, 493
Бодянский Осип Максимович 19
Болхин Адриан Григорьевич 503
Болхин Гавриил 60, 61, 463
Бондарев Тимофей Михайлович 263, 487
Бонсл Стивен 17
Бонье Андре 17
Боткин Владимир Петрович 130, 472
Боткин Сергей Петрович 130
Брандес Георг 199, 481
Бредихин Федор Александрович 329, 495
Бренко-Левинсон Анна Алексеевна 91—96, 466, 467
Брешко-Брешковский Николай Николаевич 258, 260, 264, 266—271, 487
Брокгауз Фридрих Арнольд 257, 366
Брюсов Валерий Яковлевич 16
Буайе Поль 178—180, 253—254, 478, 486
Будда (Сиддхарта Гаутама) 108, 128
Буланже Павел Александрович 181, 476, 478
Булгаков Валентин Федорович 3, 304—306, 424, 454, 491, 504—507
Булыгин Михаил Васильевич 288, 425, 490, 504
Бунин Иван Алексеевич 6, 15
Бунин, художник 183, 479
Бурден, французский журналист 219, 220, 483
Бычков Афанасий Федорович 103, 468
- Вагнер Рихард* 108, 148, 385, 389, 471
Валуев Петр Александрович 271, 488
Вальц Карл Федорович 85, 86, 466
Васнецов Виктор Михайлович 270
Вергежский А. См.: Тыркова А. В.
Вересаев Викентий Викентьевич 365
Верещагин Василий Васильевич 81, 465
Верещагин Николай Васильевич 465
Веселитская Лидия Ивановна 62, 463
Вивекананда Свами 327
Вильгельм I 57
Вильгельм II 57, 462, 465
Вовенарг Люк де Клапье 259, 272, 273, 487, 488
Возеский В. См.: Грибовский В. М.
Вогюэ Мельхиор де 199, 481
Волконский Григорий Михайлович 474
Волконский Николай Сергеевич 328
Волконский Сергей Григорьевич 474
Вольтер Франсуа Мари Аруэ 4, 25, 182, 199
Воронцов Михаил Семенович 181
Вундт Вильгельм Макс 366, 367
Гайдн Франц Йозеф 286, 490, 501

- Гальперин-Каминский Илья Данилович* 68, 464
Гампе Макс 503
Ганц Гуго 213—215, 482
Гапгуд. См.: *Хэпгуд И.*
Гаррисон Уильям Ллойд 50, 51, 461
Гаррисон Уэндель Филипп 51
Гауптман Герхардт 124, 149, 471, 474
Ге Николай Николаевич 26, 125, 160, 270, 495
Гебель. См.: *Хеббель*
Гегель Георг Вильгельм Фридрих 45
Гед (Гедда) Жюль 167, 476
Гейне Генрих 11, 119, 214
Геккель Эрнст Генрих 505
Гендель Георг Фридрих 286
Гермониус (Финн) Аксель Карлович 110—117, 469
Герцен Александр Иванович 10, 20, 145, 197, 275, 282, 332—336, 459, 462, 472, 495, 503
Герценштейн Михаил Яковлевич 357, 497
Гете Иоганн Вольфганг 11, 25, 124, 170, 214, 293, 362, 498
Гинцбург Илья Яковлевич 125, 160, 332, 471, 476, 495
Гладстон Уильям Юарт 18
Гозоль Николай Васильевич 4, 10, 19, 20, 28, 32, 175, 189, 196, 274, 336, 345—347, 369, 380, 383, 386, 422, 459, 496, 497
Гольденблат Борис Осипович 428, 504
Гольденвейзер Александр Борисович 3, 305, 358, 359, 381, 382, 384, 394, 408, 412, 414, 493, 497, 501
Гольцев Виктор Александрович 55, 462
Гомер 22, 32, 170, 293
Гончаров Иван Александрович 20, 28, 176, 409, 460
Горбунов-Посадов Иван Иванович 336, 381—384, 414, 461, 500
Горчакова Татьяна Григорьевна 31, 328, 460
Горчаковы 202, 328
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) 10, 11, 15, 16, 157, 172, 175, 184—186, 190, 193, 211, 236, 259, 260, 269, 332, 475, 481, 482
Градовский Григорий Константинович 404—414, 502
Грибовский Вячеслав Михайлович 35—54, 460
Григ Эдвард Хагеруп 383, 385, 389, 394
Григорович Дмитрий Васильевич 11, 19, 20, 25, 28, 336, 460
Грингмут Владимир Андреевич 483
Грот Константин Яковлевич 452
Грот Николай Яковлевич 63, 452, 463, 507
Грюнфельд Альфред 385
Гудайль Октав 63—66, 463
Гусев Александр Федорович 82, 83, 466
Гусев Николай Николаевич 3, 7, 320, 326, 329, 344—346, 353, 356, 360, 361, 364, 365, 368, 371—375, 409, 410, 415, 424, 464, 488—490, 492, 495, 497, 499
Гучков Николай Иванович 369, 498
Гюго Виктор 170, 432, 477
Давыдов Николай Васильевич 93, 467, 493
Данилевский Григорий Петрович 18—35, 459
Данте Алигьери 11, 293
Дарвин Чарлз Роберт 325, 329, 457, 505
Дейч Лев Григорьевич 275
Декарт Рене 45
Денисовы, крестьяне 423

Джемс Эдуард 204, 482
Джордж Генри 26, 33, 168, 222, 254, 292, 331, 339, 357, 367, 449, 476, 485, 490, 498
Джордж Генри (сын) 17, 367, 498
Диккенс Чарлз 18, 67, 108, 209, 335, 422
Диллон Эмилий 55, 462
Дмитриев Николай Дмитриевич 422, 503
Добролюбов Александр Михайлович 281, 282, 489
Добролюбов Николай Александрович 195, 275
Докшицкий Моисей Менделевич 494
Долгорукий (Долгоруков) Василий Андреевич 247, 486
Долгоруков Павел Дмитриевич 418—423, 494, 503
Дондуков-Корсаков Михаил Александрович 129—472
Дорошевич Влас Михайлович 116, 117, 470, 473
Достоевский Федор Михайлович 4, 10, 28, 67, 144, 214, 275, 422, 480
Дранков Александр Иосифович 433
Дрейфус Альфред 119, 122, 134, 135, 470, 472
Дружинин Александр Васильевич 20, 460
Ежов Николай Михайлович 134—136, 472, 473
Екатерина II 282
Ергольская Татьяна Александровна 130, 472
Ермаков Артур Федорович 17
Ефрон Илья Абрамович 366
Жанлис Мадлен Фелисите 21—23, 460
Жбанков Дмитрий Николаевич 433
Желябов Андрей Иванович 275
Жидков Алексей Онисимович 503
Жорес Жан 179, 478
Закс Жюль 377, 499
Засулич Вера Ивановна 275
Звегинцев (Звягинцев) Евгений Алексеевич 494
Здзеховский Мариан Эдмундович 467
Зенгер Алексей Владимирович 9, 206—213, 482
Златоуст Иоанн 25
Золя Эмиль 119, 121, 122, 134, 136, 432, 470
Ибсен Генрик 11, 75, 144, 149, 474
Иванов Александр Андреевич 471
Иванов Александр Петрович 185, 479
Иванов Сергей Андреевич 471
Игнатъев Николай Алексеевич 329, 494
Игумнова Юлия Ивановна 228, 484
Изенберг Константин Васильевич 477
Измайлов Александр Алексеевич 255, 257—266, 271, 487
Измайлов Илья Николаевич 467
Икс 102—105, 467
И. С. 82—85, 465
Кайдаш Николай Федорович 17
Кант Иммануил 213, 293, 376, 377, 499
Капнист Эмилия Алексеевна 116, 470
Карлейль Томас 28, 107, 460
Карпентер Эдуард 115
Касаткин Николай Алексеевич 314, 336, 493
Катков Михаил Никифорович 472, 473
К. В. 311—314, 492

Келлер Готфрид 214, 482
Кибальчич Николай Иванович 275
Кидд Бенжамен 272, 488
Клегацкий Генрих Осипович 277—279, 488
К—о 287—289, 490
Ковалевская Софья Васильевна 145
Ковалевский Максим Максимович 485
Кованько Александр Матвеевич 411, 502
Коллинз Уильям Уилки 18
Колосковы (Ефрем Петрович, Марфа Ионовна, Евфимья) 467
Колридж Самюэл Тейлор 170, 477
Коненко Владимир 400—403, 502
Кони Анатолий Федорович 131, 270, 488
Констан Бенжамен 25
Конт Огюст 46, 47, 461
Копылова Анисья Степановна 36, 41, 108
Короленко Владимир Галактионович 16, 260, 268, 273, 468
Корф Модест Андреевич 503
Корш Федор Адамович 91
Костомаров Николай Иванович 476
Крамской Иван Николаевич 24, 32, 125, 270, 316, 488
Крилмен Джеймс 17
Кропоткин Петр Алексеевич 275, 339, 475, 478
Кросби Эрнест 489
Крылов Николай Алексеевич 450, 507
Крюков Федор Дмитриевич 433, 505
К. Т. 232—234, 484
Кугулихес (Кугульский) Семен Лазаревич 85—87, 466
Кудрин Н. Е. См.: Русанов Н. С.
Кузминская Вера Александровна 463
Кулаков Петр Ефимович 306, 492
Куприн Александр Иванович 10, 259, 268, 291, 433, 505
Куприянов Виктор Григорьевич 369, 370, 498, 503
Купчинский Филипп Петрович 341—344, 496
Курбский В. См.: Петров Г. С.
Кутузов Михаил Илларионович 21—23
Ку Хун-мин 250, 486, 488
Кью Цезарь Антонович 485
Лавров Петр Лаврович 275
Лакшин Владимир Яковлевич 9, 11, 475
Ландовска Ванда 284—286, 489
Лао-цзы (Лао-тсе, Лао-тзе) 377, 393, 499
Лебедева Вера Дмитриевна 318, 493
Лебрен Виктор Анатольевич 336, 495
Лёвенфельд Рафаил 122—133, 471, 472
Левицкий Сергей Львович, 20, 25, 460
Лейбниц Готфрид Вильгельм 45
Лелевель Иоахим 130
Ленау Николаус 128
Ленин Владимир Ильич 12
Леонардо да Винчи 72
Лермонтов Михаил Юрьевич 4, 422
Лесков Николай Семенович 8, 301, 389, 491
Лессинг Готхольд Эфраим 45
Лешковская Елена Константиновна 87
Лизогуб Дмитрий Андреевич 220, 483

- Линева Евгения Эдуардовна 394, 501
 Лист Ференц 385, 471
 Лихтенберг Георг Кристоф 11, 213, 482
 Ломброзо Чезаре 109, 110
 Лонгфелло Генри Уодсуорт 50
 Ломатин Герман Александрович 275, 481
 Лопатин Николай Петрович 414—416, 496, 502
 Львов Евгений 57, 462
 Любошитц Семен Борисович 479
 Люстрицкий В. 437—443, 506
 Ляпунов Вячеслав Дмитриевич 115, 116, 470
 Македонский Александр 22
 Маклаков Василий Алексеевич 336, 490
 Маклакова Мария Алексеевна, 286, 490
 Маковицкий Душан Петрович 3, 234, 243, 244, 265, 270, 311, 316, 332, 365, 368, 383, 387, 388, 400, 404, 421, 422, 426, 448, 452, 470, 471, 483—489, 491, 492, 494—506
 Макшеев (Мамонов) Владимир Александрович 87
 Малори Люси 484
 Мальгус Томас Роберт 46, 47, 461
 Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович 468
 Мандельштам 25
 Мезенцев Николай Владимирович 496
 Мейзенбург Мальвида фон 462
 Мельников-Печерский Павел Иванович 28
 Меньшиков Михаил Осипович 265, 288, 353, 487, 490, 497
 Метэнк Альбер 179, 478
 Мечников Иван Ильич 362, 498
 Мечников Илья Ильич 145, 190, 351—362, 364, 365, 474, 497, 498
 Мечников (Э. Денегри) Лев Ильич 460
 Мечникова Ольга Николаевна 353—356, 497
 Мецгерский Владимир Петрович 82, 220, 465
 Мидзатуки (Мидзутаки) Ходжэ 431, 505
 Микулич В. См.: Веселитская Л. И.
 Милле Жан-Франсуа 469
 Мильеран Этьен-Александр 167, 476
 Милюков Александр Петрович 32, 460
 Мирбо Октав 186, 479
 Мирза Риза Хан 476
 Мистер Рэй. См.: Раевский С. С.
 Митропольский Иван Иванович 417, 503
 Михайлов Константин. См.: Орехов К. М.
 Михайлов Михаил Ларионович 275
 Михайловский Николай Константинович 195, 273, 275, 468
 Михелес А. Г., 417, 503
 Мицкевич Адам 453
 Могилевский Абрам Ильич 394, 501
 Модель Григорий Исидорович 158—163, 475
 Молоствов Николай Германович 499
 Молочников (Молошников) Владимир Айфалович 305, 444—449, 491, 506
 Молчанов Александр Николаевич 55—60, 462
 Мольтке Хельмут Карл 272
 Моод Эльмер (Алексей Францевич) 470
 Мопассан Ги де 186, 189, 209, 432
 Мордкина Т. См.: Горчакова Т. Г.
 Морозов М. М., лесничий 498

Морозов Николай Александрович 275, 318, 319, 493
Моцарт Вольфганг Амадей 286, 489, 490
Мошин Алексей Николаевич 187—189, 479, 480
Музиль Николай Игнатъевич 87
Мунтъянов Семен И. 504
Муромцев Сергей Андреевич 452, 453, 485, 507
Мускатблит Федор Генрихович 171—177, 477
Мюллер Г. 239, 485
Мюссе Альфред де 88
Набоков Владимир Дмитриевич 340, 496
Нансен Фритъоф 298, 299, 491
Наполеон I 21, 23
Наполеон III 57
Нард 96—101, 467
Нейфельдт Давид Семенович 348, 349, 351—360, 497, 500
Некрасов Николай Алексеевич 4, 272, 422, 505
Немирович-Данченко Владимир Иванович 155—157, 475
Нестеров Михаил Васильевич 270
Нестеров Николай Степанович 370, 499
Никитин Дмитрий Васильевич 168, 172, 176, 392, 393, 476, 477, 493
Николаев Сергей Дмитриевич 365—367, 369, 498, 507
Николай I 202, 282, 283, 489
Николай II 468, 469
Никольский Николай Миронович 6, 146—150, 474
Никольский Н. С. 503
Никулина Надежда Алексеевна 87
Нильский Н. См.: Никольский Н. М.
Ницше Фридрих 213
Новиков Михаил Петрович 194, 198, 481
Нордау Макс 109, 469
Норов Авраам Сергеевич 21—23
Оболенский Алексей Леонидович 398—400, 501
Оболенский Дмитрий Дмитриевич 118—120, 370—373, 470, 499
Оболенский Леонид Егорович 116, 470
Оболенский Николай Леонидович 223, 315
Огарев Николай Платонович 275, 335, 495
Окрейц Станислав Станиславович 141—145, 459, 473—475
Олсуфьев Адам Васильевич 43, 103, 461, 467
Опульская Лидия Дмитриевна 17, 462
Орехов Константин Михайлович 110—112, 114, 115, 117, 469
Орлицкий С. См.: Окрейц С. С.
Орлов Николай Васильевич 258, 317, 399, 400, 487, 493
Освальд, студент 247
Остен-Сакен Александра Ильинична 131, 472
Островский Александр Николаевич 19, 20, 25, 81, 460
Острогорский Александр Яковлевич 167, 176, 476
Павловский Исаак Яковлевич 163, 476
Падарин Николай Михайлович 87
Падеревский Игнацы Ян 385, 500
Панина Софья Владимировна 166, 487
Панкратов Александр Саввич 390—395, 427, 428, 501, 504
Паркер Теодор 26
Парфений, архиерей 497
Паскаль Блез 45, 128, 447
Пате, братья (Шарль и Эмиль) 402
П. А.-ч. См.: Сергеенко П. А.

- Паша (Параша) 431, 432, 505
Пашковы Василий Александрович и Александра Ивановна 382, 385,
390
Первов, переводчик 272
Перовская Софья Львовна 275, 493
Перпер Иосиф Иосифович 363—369, 498
Пестель Павел Иванович 275
Петр I 22
Петражицкий Лев Иосифович 338, 496
Петрашевский (Буташевич) Михаил Васильевич 275
Петробутева (Петрович) Анджа Мита 495
Петров Григорий Спиридонович 264, 289—294, 305, 487, 490
Печорин Сергей. См.: Сафонов С. А.
Плаксин Сергей Иванович 130, 472
Плеве Вячеслав Константинович 279, 489
Плюснин Василий Васильевич 334, 495
Победоносцев Константин Петрович 264, 271, 467, 488
Поленов Василий Дмитриевич 270
Полец Вильгельм фон 170, 477
Поливанов Василий Петрович 22
Полтавский М. 122, 471
Попов Иван Иванович 199—205, 481
Попов, душевнобольной 440—441
Пороховщиков Петр Сергеевич 495
Поссе Владимир Александрович 475, 501
Потапенко Игнатий Николаевич 71, 464
Потапов Николай Ф. 502
Прокофий, крестьянин 41—42, 48
Прокудин-Горский Сергей Михайлович 306, 308, 492
Протопопов В. В. 9
Причард Уильям Х. 474
Пругавин Александр Степанович 473
Прудон Пьер Жозеф 130, 472
Пуришкевич Владимир Митрофанович 343, 496
Пушкин Александр Сергеевич 4, 10, 129, 135, 136, 142, 209, 214, 328,
336, 376, 422, 453, 472
Радищев Александр Николаевич 275
Раевский Савелий Семенович 428—435, 504
Ракшанин Николай Осипович 68—72, 91—96, 464, 466, 467
Рамазесхан А. 476
Рамо Жан Филипп 286
Раггауз Даниил Максимович 236, 268, 484, 485, 487
Рагов Сергей Михайлович 177, 477
Рафаэль Санти 337, 366
Рахманинов Сергей Владимирович 485
Резунов Степан 503
Рейсс Эдуард 125, 471
Рейтер Фриц 128, 471
Ренан Жозеф Эрнст 125, 471
Ренгерд 503
Репин Илья Ефимович 64, 102, 106, 125, 160, 260, 270,
315, 316, 332, 463, 479
Риддер-Гаггард. См.: Хаггард
Рише Шарль 63, 463
Розанова Сусанна Абрамовна 459
Роллан Ромен 462

- Романов М. 483
 Рузвельт Теодор 484
 Русанов Гавриил Андреевич 273, 488
 Русанов Николай Сергеевич 273
 Русов Николай Николаевич 320—322, 494
 Руссо Жан-Жак 11, 25, 45, 124, 170, 179, 196, 478
 Рыбаков Константин Николаевич 87
 Радзевская (Рыдзевская) Ольга Константиновна 306, 492
 Рыжов Иван Андреевич 87
 Рылеев Кондратий Федорович 275

 С. 216, 218, 482
 Садовская Ольга Осиповна 87
 Садовский Михаил Провович 87
 Сакия-Муни. См.: Будда.
 Салтыков (Н. Щедрин) Михаил Евграфович 175, 272
 Санд Жорж 414
 Сафонов Сергей Александрович 137—140, 473
 Свой. См.: Сергеенко П. А.
 Святополк-Мирский Петр Данилович 222, 333, 483
 Севитт Джон 497
 Семенов Сергей Терентьевич 487, 505, 506
 Семенов-Тянь-Шанский Леонид Дмитриевич 308, 492
 Сергеев-Ценский Сергей Николаевич 433, 505
 Сергеенко Петр Алексеевич 242—244, 246—253, 295—304, 306, 308, 310,
 311, 332—336, 373—381, 423—427, 485—487, 492, 499, 504, 507
 Серов Александр Николаевич 81, 465
 Серов Валентин Александрович 125, 316, 465
 Серова (Бергман) Валентина Семеновна 76—81, 465
 Сибор Борис Осипович 394, 501
 Сидорков Илья Васильевич 181, 478
 Сикорский Иван Алексеевич 439
 Сильчевский Дмитрий Петрович 271—277, 488
 Сиркур Жозеф Альбер де 130, 472
 Сисмонди Жан Шарль Леонар Сисмонд де 25
 Скарлатти Алессандро 286
 Склифосовский Николай Васильевич 469
 Скотт Вальтер 18
 Скриба. См.: Соловьев Е. А.
 Скрыбин Александр Николаевич 497
 С. Л. 450, 452—454, 509
 Смоллетт Тобайас Джордж 460
 Соболевский Василий Михайлович 318, 493
 Сократ 293
 Соловьев Владимир Сергеевич 103, 367, 468
 Соловьев Евгений Андреевич 12, 190—198, 480, 481
 Соломон, царь 58, 69
 Софокл 120
 Софронов Петр Николаевич 381, 382, 500
 Спенсер Герберт 239, 485
 Спиноза Бенедикт (Барух) 25, 45
 Спиро Сергей Петрович 7, 9, 344—347, 360—363, 496, 497
 Стасов Владимир Васильевич 145, 176, 271, 332—334, 474, 495
 Стасюлевич Михаил Матвеевич 406, 492, 502
 Стахович (Рыдзевская) Мария Александровна 306, 492
 Стахович Михаил Александрович 434, 492, 502
 Стахович Софья Александровна 306, 492

Стивен Вильям Барнс 67, 464
Столыпин Александр Аркадьевич 340, 496
Столыпин Петр Аркадьевич 399, 496, 499
Стороженко Николай Ильич 148, 150, 151, 474
Страхов Николай Николаевич 4, 25, 30
Страхов Федор Алексеевич 446
Стрепетова Полина Антиповна 477
Стэд Уильям Томас 106, 468, 484
Суворин Алексей Сергеевич 62, 63, 272, 463, 467, 472, 473
Суриков Василий Иванович 75, 270, 465
Суслов Захар 372
Сухотин Михаил Сергеевич 161, 176, 320, 329, 419, 421, 424, 492, 494
Сухотина Наталия Михайловна 306, 492
Сытин Иван Дмитриевич 414
Таманская Т. 455—458, 507
Танеев Сергей Иванович 291, 292, 490
Тапсель Томас 384, 385, 500
Таракуатта Дас 496
Твен Марк (Сэмюэл Клеменс) 454
Тейхерт Адольф 169—171, 476
Теккерей Уильям Мейкпис 67, 130
Теннисон Альфред 18
Тишендорф Константин 26
Тищенко Федор Федорович 395, 501
Токутоми (Токо-Томи, Токи-Томи) Рока (Кэндзиро) 250, 486
Толстая Александра Андреевна 130, 472, 481
Толстая Александра Львовна 8, 127, 176, 244, 270, 286, 301, 328, 340, 353, 356, 357, 370, 383—385, 387, 388, 396, 402, 404, 409, 415, 416, 419, 421, 422, 430, 446, 499, 506
Толстая Анна Ильинична 306, 492
Толстая Вера Сергеевна 463
Толстая Дора Федоровна (урожд. Вестерлунд) 111, 117, 125
Толстая (Оболенская) Мария Львовна 32, 110, 127, 315, 316, 327, 328, 463, 469, 495
Толстая Мария Николаевна, мать Толстого 27
Толстая Мария Николаевна, сестра Толстого 178, 375, 376, 478, 499
Толстая (урожд. Зубова) Мария Николаевна 381, 382, 500
Толстая (урожд. Дитерихс) Ольга Константиновна 162, 388, 433, 476, 500, 505
Толстая Софья Андреевна 3, 7—9, 13, 24, 30, 31, 41, 51—54, 58, 59, 64, 65, 106, 115, 125—128, 141, 145, 155, 157, 158, 160—162, 167, 172, 196, 202, 203, 212, 213, 223, 229, 244, 249, 255, 262—265, 268—271, 277—279, 281, 284, 291, 297, 315, 316, 325, 328, 340, 353, 355—357, 370, 374, 376, 378, 379, 396, 401—410, 419, 430, 433—435, 445, 450, 452, 454, 461, 463, 468, 469, 471, 474, 475, 477, 481, 483, 484, 486—490, 502, 505
Толстая (Сухотина) Татьяна Львовна 8, 32, 64, 106, 125, 132, 161, 178, 203, 320, 328, 345, 419, 421, 422, 453, 454, 471, 472, 475, 478, 490, 494
Толстой Алексей Львович 32, 460, 476
Толстой Андрей Львович 42, 53, 54, 127, 476, 499
Толстой Иван Львович («Ванечка») 59, 76, 126, 465, 471
Толстой Илья Львович 36, 37, 41, 316, 460, 463, 492
Толстой Лев Львович 111, 112, 117, 125, 126, 265, 305, 323, 329, 353, 356, 357, 367, 460, 463
Толстой Михаил Львович 198, 312, 430, 432, 505
Толстой Николай Николаевич 25, 249, 486
Толстой Сергей Львович 32, 59, 189, 223, 286, 335, 340, 375, 381, 463, 500

- Толстой Федор Петрович 20, 459
 Треверэ, профессор 463
 Трепов Дмитрий Федорович 238, 485
 Троцкий-Сенютович, отставной полковник 431, 505
 Трубецкой Павел Петрович (Паоло) 160, 475
 Труэва Антонио де 29, 460
 Тургенев Иван Сергеевич 4, 11, 19, 20, 28, 39, 56, 118, 120, 129, 176, 196,
 197, 208, 239, 263, 269, 270, 335, 336, 460, 470, 472, 473, 488
 Тургенева (Брюэр) Полина 470
 Тыркова Ариадна Владимировна 279—283, 489
 Тютчев Федор Иванович 453, 485
 Уайт Эндрю Д. 17
 Урсин М. См.: Здзеховский М. Э.
 Урусов Леонид Дмитриевич 461
 Урусов Сергей Семенович 47, 461
 Усов Павел Сергеевич 146, 474
 Успенский Глеб Иванович 56, 174, 274
 Успенский Николай Васильевич 56
 Файнерман Исаак Борисович 59, 463
 Федоров, душевнобольной 440, 441
 Фельтен Николай Евгеньевич 488
 Феокритова Варвара Михайловна 499
 Фет Афанасий Афанасьевич 19, 25, 263, 433, 470
 Фигнер Вера Николаевна 275
 Фигнер Николай Николаевич 425, 504
 Финн. См.: Гермониус А. К.
 Фихте Йоганн Готлиб 45
 Фишер И. К., фотограф 385
 Фoa Эдуард 498
 Фоканов Тарас 503
 Форселлес 117
 Фортунатов Филипп Федорович 482
 Франс Анаголь 186, 260
 Хаггард Генри Райдер 67, 464
 Халилеев Константин Григорьевич 479
 Харада Тацуку 431, 505
 Хеббель Христиан Фридрих 128, 471
 Хилков Дмитрий Александрович 82, 465
 Хирьяков Александр Модестович 317, 318, 387—390, 406, 449, 450,
 493, 500, 502, 506, 507
 Хомяков Алексей Степанович 19
 Хэпгуд Изабелла Флоренс 67, 464
 Цезарь Гай Юлий 22
 Циммерман Юлий Генрих 382, 384, 388
 Чаадаев Петр Яковлевич 20
 Чайковский Петр Ильич 286, 448, 485, 489, 506
 Чаннинг Уильям Эллери 50
 Челышев Михаил Дмитриевич 398—400, 501
 Черневский Сергей Антипович 85, 87, 466
 Чернышевский Николай Гаврилович 275
 Чертков Владимир Владимирович 384, 432, 505
 Чертков Владимир Григорьевич 55, 125, 229, 251, 252, 265, 275, 278,
 279, 288, 289, 316, 326, 329, 340, 341, 371, 381—386, 388, 390, 392, 394—398,
 401, 432, 442, 444, 446, 449, 460—462, 471, 484, 486, 489, 500, 501
 Черткова Анна Константиновна 469

Черткова Ольга Владимировна 462
Чехов Антон Павлович 10, 15, 93, 117, 149, 152, 175, 186, 207—209,
211—213, 236, 260, 263, 291, 376, 464, 467, 474, 475, 477, 482
Чингисхан (Темучин) 12, 415
Чудов Николай Александрович 9, 106—109, 468
Чужой. См.: *Эфрос Н. Е.*
Чуковский, врач 203
Чуковский Корней Иванович 433, 505
Шабунин Василий 495
Шамиссо Адельберт фон 128
Шанкс Мария Яковлевна 420, 421, 503
Шаняевский Альфонс Леонович 324, 493, 494
Шаховской Дмитрий Иванович 279, 281, 283, 489
Шварц Александр Николаевич 493
Шебуев Николай Георгиевич 224, 226, 230—231, 484
Шекспир Уильям 11, 25, 170, 214, 215, 282, 283, 293, 470, 474, 477, 489
Шелли Перси Биши 170
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих 124, 128, 170, 214
Шипов Михаил 247, 486
Шлегель Август Вильгельм 25
Шмидт Мария Александровна 288, 490
Шмит Эуген (Евгений) Генрих 377, 396, 398, 501
Шопен Фридерик Францишек 11, 148, 214, 286, 383—385, 389, 414, 446,
448, 489, 497
Шопенгауэр Артур 25, 45, 160, 213, 260, 325, 495
Штандель Евгений 8
Штраус Давид Фридрих 125, 471
Штраус Иоганн (сын) 385, 454
Шубаков Н. 337—341, 495
Шуберт Франц Петер 385
Шуман Роберт 286, 414, 497
Щербак (Щербаков) Антон Петрович 314, 315, 493
Эдисон Томас Алва 12, 293, 300, 340, 396, 491
Эмерсон Ралф Уолдо 26
Энгельгардт Александр Николаевич 152, 474
Энгельгардт Михаил Александрович 152, 474
Энгельгардт Николай Александрович 150—153, 474
Эпиктет 128
Эрдели Иван Георгиевич 105, 468
Эрдели Мария Александровна 468
Эрденко Евгения Иосифовна 446, 506
Эрденко Михаил Гаврилович 446, 506
Эргель Александр Иванович 178, 325, 478, 494
Эфрос Николай Ефимович 500
Юрьев Сергей Андреевич 459
Юшкова Пелагея Ильинична 131
Яворская Лидия Борисовна 477
Яковлев В., журналист 121, 122, 470
Яковлев И. См.: *Павловский И. Я.*
Якубович (Л. Мельшин) Петр Филиппович 481
Ясинский Иероним Иеронимович 260
Brunhes H. J. 476
Conto 87—90, 466
Kellog 443
Musca См.: *Мускатблит Ф. Г.*
Selbstdenker См.: *Мюллер Г.*

СОДЕРЖАНИЕ

- 3 В. Лакшин. Лев Толстой глазами современников
1886
- 18 «Исторический вестник». Г. Данилевский. Поездка в Ясную
Поляну
- 35 «Неделя». В. Грибовский. У графа Л. Н. Толстого
1890
- 55 «Новое время». А. Молчанов. В Ясной Поляне
- 60 «День». Граф Л. Н. Толстой в суде
1891
- 62 «Новое время». А. Суворин. Литературные заметки
- 63 «Вестник иностранной литературы». Октав Гудайль в Ясной
Поляне
1892
- 67 «Исторический вестник». Мисс Гапгуд в гостях у Л. Н. Тол-
стого
1894
- 68 «Новости дня». Н. Р(акшанин). Литературная конвенция.
У графа Л. Н. Толстого
- 72 «Новое время». Блументаль у графа Л. Н. Толстого
- 76 «Русская музыкальная газета». В. Серова. Встреча с Л. Н. Тол-
стым на музыкальном поприще
1895
- 82 «Самарская газета». И. С. У графа Толстого в Ясной Поля-
не
- 85 «Новости дня». Московские новости
- 85 «Новости дня». С. К(угульский). День у Толстого
- 87 «Курьер торговли и промышленности». Conto. У гр. Л. Н. Тол-
стого

- 91 «Новости и биржевая газета». Н. Ракшанин. Беседа с графом Л. Н. Толстым
 96 «Петербургская газета». Нард. В чем счастье?

1897

- 102 «Петербургская газета». Икс. Граф Л. Н. Толстой в Петербурге
 106 «Орловский вестник». Н. Чудов. День в Ясной Поляне
 109 «Русские ведомости». Из разговора с Ломброзо
 110 «Одесский листок». А. Гермониус-финн. В Ясной Поляне. У Льва Толстого

1898

- 118 «Камско-Волжский край». Кн. Д. О〈боленский〉. В Москве у гр〈афа〉 Л. Н. Толстого
 121 «Курьер». 〈В.〉 Я〈ковле〉в. У графа Л. Н. Толстого
 122 «Биржевые ведомости». М. Полтавский. 〈Р. Левенфельд〉 у графа Толстого

1899

- 134 «Новое время». Не-фельетонист 〈Н. Ежов〉. У графа Л. Н. Толстого
 137 «Россия». Сергей Печорин 〈С. А. Сафонов〉. Беседа с Л. Н. Толстым

1900

- 141 «Русский листок». С. Орлицкий 〈С. С. Окрейц〉. У графа Л. Н. Толстого
 146 «Новости дня». Н. Нильский 〈Н. М. Никольский〉. Прогулка с Л. Н. Толстым
 150 «Новое время». Николай Энгельгардт. У графа Льва Ник. Толстого
 154 «Неделя». Разные разности 〈«Смоленский вестник» о Толстом〉
 155 «Неделя». Разные разности 〈Вл. И. Немирович-Данченко в Ясной Поляне〉

1901.

- 158 «Одесский листок». Г. М.〈оде〉ль Граф Л. Н. Толстой в Ясной Поляне.
 164 «Русские ведомости». Из Ясной Поляны

1902

- 166 «Петербургские ведомости». Внутренние известия. Ялта
 169 «Русские ведомости». Беседа с Л. Н. Толстым
 171 «Одесские новости». Мусса 〈Ф. Г. Мускатблит〉. В Ясной Поляне
 177 «Русское слово». 〈Режиссер С. Ратов у Толстого〉
 178 «Биржевые ведомости». У Л. Н. Толстого.
 180 «Русское слово». Здоровье Л. Н. Толстого.

1903

- 182 «Новое время». Ю. Беляев. В Ясной Поляне.
 187 «Новости дня». Алексей Мошин. Поездка в Ясную Поляну
 190 «Одесские новости». Скриба 〈Е. А. Соловьев〉. В Ясной Поляне.

- 199 «Восточное обозрение». И. И. Попов. Из записной книжки туриста (Ясная Поляна)
- 1904
- 206 «Русь». А. Зенгер. У Толстого.
213 «Русские ведомости». Немецкий журналист в Ясной Поляне.
- 1905
- 216 «Русь» С. Отзыв Л. Н. Толстого.
218 «Вечерняя почта» (Интервью с Толстым)
219 «Новое время». Внешние известия.
220 «Забайкалье». Сведения из столицы.
221 «Биржевые ведомости». П. Барков. В Ясной Поляне.
224 «Русь». Н. Шебуев. Негативы.
- 1906
- 232 «Биржевые ведомости». К. Т. Рабочие у Л. Н. Толстого
234 «Биржевые ведомости». Н. С—ъ (С. Баскин-Серединский) Л. Н. Толстой о современной литературе.
238 «Новое время». Юр. Беляев. У гр. Л. Н. Толстого.
242 «Искры». П. Сергеенко. В Ясной Поляне
253 «Русское слово». Буайе у Толстого.
- 1907
- 255 «Биржевые ведомости». А. Измайлов. У Льва Толстого.
266 «Петербургская газета». Н. Брешко-Брешковский. В Ясной Поляне у графа Льва Николаевича Толстого.
271 «Биржевые ведомости». Д. П. Сильчевский. День у Льва Толстого
277 «Голос Москвы». Г. Кл(епацк)ий. Новая статья графа Л. Н. Толстого
279 «Речь». А. Вергежский (А. В. Тыркова). У Л. Н. Толстого.
- 1908
- 284 «Раннее утро». Музыка в Ясной Поляне
287 «Петербургский листок». К—о. В Ясной Поляне.
289 «Русское слово». В. Курбский (Г. С. Петров). У Л. Н. Толстого
295 «Русские ведомости» П. Сергеенко. В Ясной Поляне
303 «Русское слово» П. А—ч. (П. А. Сергеенко). Из Ясной Поляны
304 «Русские ведомости». В. Булгаков. В Ясной Поляне
306 «Русское слово». Свой (П. А. Сергеенко). В Ясной Поляне.
311 «Петербургская газета». К. В. Л. Н. Толстой и дети.
314 «Южный край». И. А. Бодянский. Воспоминания о Ясной Поляне
317 «Речь». А. Хирьяков. После юбилея
318 «Русские ведомости». Н. Морозов. Свидание с Л. Н. Толстым
320 «Русское слово». Студенты у Л. Н. Толстого.
322 «Русские ведомости». Д. Анучин. Несколько часов в Ясной Поляне.
- 524

1909

- 337 «Речь». Н. Шубаков. У Л. Н. Толстого
 341 «Жизнь». Ф. Купчинский. Тишина (У Льва Николаевича Толстого)
 344 «Русское слово». С. Спиро. Толстой о Гоголе.
 348 «Раннее утро». Д. Н (ейфельдт). Беседа с Л. Н. Толстым
 349 «Раннее утро». Д. Н (ейфельдт). В Ясной Поляне
 360 «Русское слово». С. Спиро. Толстой о И. И. Мечникове.
 363 «Вегетарианское обозрение». И. Перпер. У Льва Николаевича Толстого и его друзей
 369 «Русское слово». В. К (уприянов). В Ясной Поляне
 370 «Русское слово». Д. Д. Оболенский. У Л. Н. Толстого
 373 «Русское слово». П. Сергеенко. У полюса.
 381 «Русские ведомости». (И. И. Горбунов-Посадов). Л. Н. Толстой в Москве
 383 «Голос Москвы». Л. Н. Толстой в Москве.
 386 «Русские ведомости». У Л. Н. Толстого
 287 «Речь» А. Хирьяков. Около Л. Н. Толстого
 391 «Русское слово». А. Панкратов. Л. Н. Толстой в гостях у В. Г. Черткова.
 395 «Голос Москвы». Ф. Тищенко. Л. Н. Толстой у В. Г. Черткова
 396 «Русские ведомости». Приезд Л. Н. Толстого
 398 «Новое время». Альфа. М. Д. Чельшев у Льва Толстого.
 400 «Сине-фоно». Владимир Коненко. У Льва Николаевича Толстого.
 404 «Биржевые ведомости». Г. Градовский. Два дня в Ясной Поляне.
 414 «Утро России». Н. Лопатин. Вести из Ясной Поляны.
 417 «Кривое зеркало». Ив. Митропольский. В Ясной Поляне.

1910

- 418 «Русское слово». А. С. Торжество в Ясной Поляне
 423 «Русское слово». П. Сергеенко. Вечер в «Ясной»
 427 «Русское слово». А. П (анкратов). В Ясной Поляне
 428 «Утро России». Мистер Рэй (С. С. Раевский). Леонид Андреев у Л. Н. Толстого
 436 «Русское слово». Рабочие у Л. Н. Толстого
 437 «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии». В. Люстрицкий. Лев Николаевич Толстой в Московской окружной лечебнице для душевнобольных
 444 «Жизнь для всех». В. Молочников. Сутки в «Отрадном» с Л. Н. Толстым
 449 «Время». А. Хирьяков. Последняя встреча с Л. Н. Толстым
 450 «Русское слово». С. Л. В Ясной Поляне
 455 «Голос Москвы». Т. Таманская. На пути в Козельск
 459 Примечания
 508 Указатель произведений Толстого
 510 Указатель имен

Беседы и интервью с Львом Толстым

СОСТАВИТЕЛЬ В. ЛАКШИН

Редактор **Н. Листикова**

Художественный редактор **А. Никулин**

Технический редактор **В. Соколова**

Корректоры **В. Лыкова, Г. Панова**

ИБ № 3824.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 19.11.86. Формат 60×84/16. Гарнитура школьная. Печать офсетн. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 30,69. Усл. кр.-отт. 61,38. Уч.-изд. л. 32,16. Доп. тираж 20 000 экз. Заказ 527. Цена 2 руб. 50 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Госкомиздат РСФСР

Полиграфическое производственное объединение «Офсет» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Волгоградского облисполкома. 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6.

И58 **Интервью** и беседы с Львом Толстым/Сост. вступ. статья и коммент. В. Я. Лакшина.— М.: Современник, 1987.—525 с., портр., ил. (Б-ка «Любителям российской словесности»).

Это уникальное издание составили беседы, интервью и репортажи русских и иностранных журналистов о встречах с Л. Н. Толстым, опубликованные в русской периодической печати конца XIX—начала XX века. Впервые собранные воедино, они пополняют летопись жизни и творчества великого русского писателя, отражая отношение современников к личности Толстого, его философии.

Каждая публикация, помещенная в книгу, доносит до читателя живой голос Льва Николаевича. Тематический диапазон его бесед необычайно широк: философия, эстетика и политика, крупнейшие явления мировой и русской культуры, текущий день и история, собственное художественное творчество.

2 руб. 50 коп.

СОВРЕМЕНИК